КОНТИНЕНТ

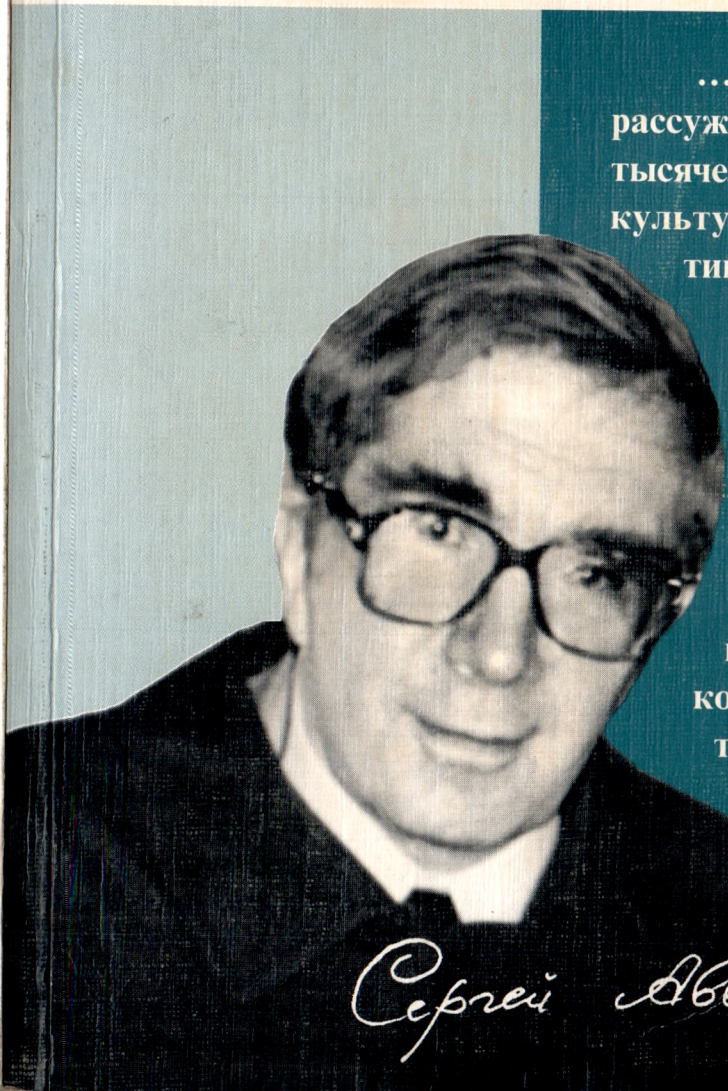
119

2004

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 119

КОНТИНЕНТ



… До чего легко рассуждать о веках и тысячелетиях, об идеях и культурно-исторических типах, и до чего всё усложняется, чуть задумаешься о живых людях. А ведь перед Богом стоят не «типы», а люди; у каждого из нас тайна, до конца разделенная только с Богом; и только Бог нас судит.

Сергей Аверинцев

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка)* **и 73218**

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати», а также

15706

в зеленом Объединенном каталоге «Пресса России»
(адресная система подписки)

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 14.00 до 16.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60
"ГРАФОМАН" – 1-й Крутицкий пер., 3; тел. 276.31.18
"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97
"ЛЕТНИЙ САД" – Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83
"ПИРОГИ" – Б. Дмитровка, 16; тел. 229.34.53 и
Никольская, 19/21; тел. 921.58.27
"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 951.75.96
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА (Ленинка) –
1 читательский подъезд, книжный киоск
СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80
"ФАЛАНСТЕР" – Б. Козихинский пер., 10; тел. 504.47.95
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге
Магазины "ЛЕТНИЙ САД":

Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3
ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15



Нашего любимого писателя,
нашего давнего друга,
члены редколлегии «Континента»
Фазиля ИСКАНДЕРА
поздравляем
с 75-летием!

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

119

2004, № 1
январь — март

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(095) 924-91-51
Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Александр КЫРЛЕЖЕВ, Светлана ОПАРИНА,
Мария РЕМИЗОВА, Владимир СОТНИКОВ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Сергея Сергеевича Аверинцева

«Как все ценное, вера — опасна...» *Интервью Сергея Аверинцева журналисту Илье Медовому (2001)* 9

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Из проповедей 16

Ольга СЕДАКОВА
Слово Аверинцева 27

Фазиль ИСКАНДЕР
Из новых стихов 34

Литературный дебют

Антон САВИН
Исход ветхого человека. *Повесть* 35

Игорь МЕЛАМЕД
Стихи последних лет 136

Александр КУЗНЕЦОВ-ТУЛЯНИН
Человек из рая. *История одного сватовства* 142

Валентина СИНКЕВИЧ
По реке Делавэр. *Стихи* 163

РОССИЯ И МИР

От редакции 165

Всего одна жизнь. *Рассказ казачки Александры Никифоровны Миньковой из станицы Тишанской Волгоградской области* 167

Леон АРОН
Чеховский экзистенциалист, или
От интеллигенции к среднему классу 187

У книжной полки

Татьяна СОТНИКОВА
В мире мутантов, или Хроника упущенных возможностей 206

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни
/январь — февраль 2004 г./ 216

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской истории и современности
в русской периодике 2003 г. 245

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Сергей ЮРСКИЙ
Теперь и навсегда. *Памяти Симона Маркиша* 249

РЕЛИГИЯ

Ислам и христианство: проблемы диалога 267

Александр ЗОРИН
Римские этюды. *Записки паломника* 291

Свидетельства Меджугорья
Вицка обращается к молодым 303

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (*декабрь 2003 г. — февраль 2004 г.*) 330

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль *в русской периодике 2003 г.* 338

ГНОЗИС

У книжной полки

Георгий ЧИСТЯКОВ
Бога никто выдумать не может 346

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая, историософская и
культурологическая мысль России *в русской периодике 2003 г.* . . . 353

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН
Реабилитация свободы 371

Владимир ХОЛКИН
«Время есть замедление вещей преходящих...» 383

У книжной полки

Слава СЕРГЕЕВ
Тайный агент, или Коронация (всего нового) 403

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика.
Четвертый квартал 2003 г. 417

ИСКУССТВО

Анатолий СЛЕПЫШЕВ
Наброски о Париже 452

Стало уже печальной традицией нашего журнала — помещать на обложке лицо дорогого нам человека, навсегда ушедшего от нас. За последний год такая обложка — третья. Вслед за Ларисой Пияшевой и владыкой Антонием, митрополитом Сурожским, пришел черед Сергея Сергеевича Аверинцева. Он умер 21 февраля этого года, не дожив и до шестидесяти семи.

Очень трудно выразить словами, чем был Аверинцев для нашей интеллигенции и в эпоху позднесоветского застоя, и в постсоветские времена. Человеком, который нес свободу, нес каждым своим словом, всем своим существом, был олицетворением ее. Эта свобода не призывала на баррикады, ничего общего не имела со своеволием, была она строгой, взыскательной — и безграничной. Это была свобода такого полета, той высоты, откуда только и открывается, как разумно и ладно, как стихотворно стройно сложен и зарифмован наш мир. И еще свобода эта была доброй и щедрой. Аверинцев свободу излучал и свободно ею делился.

Сергей Сергеевич был не просто членом редколлегии нашего журнала — он был нашим верным и надежным другом. К сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы, — автором, хотя в последние годы мы не раз анонсировали его выступления и, в частности, давно задуманное и обещанное нам Сергеем Сергеевичем «Интервью с самим собой». Но все не доходили, видимо, руки — а нам все казалось, что время еще есть, не будем торопить, подождем...

И вот времени уже нет, совсем нет. Но, прощаясь с Сергеем Сергеевичем, мы все-таки печатаем другое его интервью — то, которое он дал в 2001 г. журналисту Илье Медовому и которое по разным причинам (за исключением малой его части, напечатанной в № 7 «Московских новостей» 27 февраля — 4 марта с.г.) до сих пор не было опубликовано. Мы печатаем также в некотором сокращении стенографические расшифровки магнитофонных записей нескольких проповедей С. С. Аверинцева, которые были произнесены им в 1993 году в Соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери бывшего Сретенского монастыря, и посвященное памяти С. С. Аверинцева Слово о нем Ольги Седаковой.

«КАК ВСЕ ЦЕННОЕ, ВЕРА — ОПАСНА...»

Интервью Сергея Аверинцева журналисту Илье Медовому (2001)

— В записках Василия Розанова есть такое признание: «Мне и одному хорошо, и со всеми. Я не одиночка, и не общественник. Но когда я один — я полный, а когда со всеми — не полный... Одному лучше — потому что когда я один — я с Богом». Вы могли бы разделить его состояние, оно Вам понятно? Как Вы пришли к вере? Что дает Вам вера в Бога?

— Ну, одиночества в жестком смысле этого слова не было ни у Розанова, ни у меня; потому что какое бы недоверие ни вызывали у меня, честно говоря, его откровенничанья, не такой же я изверг, чтобы не верить ему, что ему было вправду хорошо с его Варварой Дмитриевной. Ну так вот, и мне всю жизнь хорошо с моей женой (только разговариваем мы друг с другом уж точно больше,

чем разговаривали они). И тогда уже человек даже на необитаемом острове ведет жизнь общительную... Но если цитата из Розанова есть выражение вопроса о том, предпочтительнее ли для меня жить «с Богом», чем «в обществе», в зоне публичного, — да, предпочтительнее, и притом много реальнее. Хотя я понимаю, что говорить похвалы тишине и уединению все-таки для публикации, т. е. для публичности, не совсем морально безопасно; как бы ни получилось, что все становится попросту риторической темой... Исходя из этого, еще опаснее продолжать ответ на Ваш вопрос и переходить к его второму пункту, т. е. к вере. С другой стороны, однако, I Послание апостола Петра (3:15) велит нам: «...будьте готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ...» В послушании этому слову скажу, что любая точка зрения в сравнении с традиционным вероучением, как оно выражено в Символе Веры, в центральных догматических определениях Вселенских Соборов и в творчестве таких Отцов Церкви, как, скажем, Григорий Богослов, Максим Исповедник или Августин, представляется мне непозволительным и прямо-таки невыносимым упрощением, которого не должна принимать совесть моего ума. Как странно думать, что в христианской вере умники усматривали и усматривают что-то простенькое, «веру угольщиков», как сказано у Гейне, утешающую этих самых угольщиков, но стесняющую мысль образованного человека! Чувствуем ли мы нашу мысль стесненной, например, знаменитым догматом IV Вселенского Собора, согласно которому соединение Божественной и человеческой природ в Богочеловечестве Христа «неслиянно, непревращенно, неразделимо и нераздучимо»? Я лично ощущаю не стеснение, а скорее уж испуг от простора... Да, христианство «просто» в том смысле, что оно любому простецу в любое время умело сказать то, что могло до конца дней наполнить, обогатить и облагородить жизнь этого простеца; но оно не проще, а гораздо сложнее и многостороннее, чем какая бы то ни было искусственная конструкция интеллектуалов на религиозную тему. Каждый получает от него свое: Преподобный Антоний Великий слышит в храме за литургией чтение про то, что для достижения совершенства надо продать все добро и вырученные деньги раздать нищим, — и тут же выполняет услышанное, а после уходит в пустыню; а сложному и острому, чуткому к противоречиям уму Блаженного Августина, как и его же литературному гению, опыт веры задает задачи, которых хватит на всю жизнь. Великий Паскаль, перейдя от своих физико-математических занятий к теологическим, не «опростился», а поднялся на следующий порядок сложности (и смелости) мысли. Отцы Церкви не виноваты, что обычная для них, питомцев философских и риторских школ, живость хорошо нюансированных интонаций в переводе, как правило, вытесняется тоном гораздо более затрудненным, даже ненатуральным; но и по переводу, если только он добросовестен, видно, что чего-чего, а простоватости там не видать.

С христианской простотой дело обстоит так же непросто, как с христианским смирением: знаете, Иоанн Богослов говорит нам: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (I Ио. 3, 2), — тут и храбрый человек должен бы просто испугаться, однако когда мы, не дай Бог, ханжим, говоря про смирение, мы норовим сделать лицо поскучнее, а безбожник вор-

чит свое: «Да из вас рабов хотят сделать!» Что делать — не слышим. А ведь людям, которые вправду пробуют верить, что они уже сейчас дети Божии, а потом будет то, чего заранее и вообразить нельзя, просто необходимо жестко «смирять себя», чтобы не свихнуться. Как все ценное, например, любовь, культура, творчество, — вера опасна; поскольку она ценнее всего остального, она опаснее всего остального. С высоты опаснее падать, чем выше, тем опаснее. Христианство открывает такую перспективу, какой не открывает ни одна религия; но эта перспектива уравновешивается предупреждениями о возможности иллюзий («прелести»), требованиями духовной трезвенности и смирения. Не надо думать, будто господа атеисты первыми открыли, что религиозная жизнь, практикуемая не по разуму, может вызвать страшное помрачение рассудка и нравственного сознания. Не вольнодумцы додумались до мысли, что утративший духовные ориентиры верующий может быть куда опаснее любого неверующего. Никто не знал этого лучше и не описал точнее, чем классики православной аскетической традиции. То, что называется смирением, — единственное средство избежать сумасшествия. Но это именно средство для совсем иной цели.

Вы спросили, что мне дает вера. Могу ответить только так: да все! Всему весело распускаться и цвести в этой укрывающей тени — и радостям встречи с другим человеком, и радостям уединения. (Вы знаете, образ Божьей тени, в которой укрывается человек, — очень важная составляющая библейской метафорики, как это и понятно, если иметь в виду климат Святой Земли, в переводах это притушевывается.)

— Как Вы думаете, почему в духовных поисках молодого поколения во всем мире такое большое место стали занимать философские и религиозно-мистические учения Востока? Почему многие россияне уходят в другие религии? Означает ли это, что нравственный опыт христианства себя исчерпал?

— Ну, что-что, а увлечение, о котором Вы говорите, не ново ни для Запада, ни — по меньшей мере с 60-х годов, не говоря о временах влияния г-жи Блаватской — для нас. Но, разумеется, по причинам нарастающей глобализации Восток за это время, так сказать, физически приблизился... Ряд моментов способствует повышенно романтическому обаянию религий Востока. О них узнают не от бабушки, а из ученой книжки. Они, какой бы развитой ни была их метафизика, существенно более — повторю это еще раз — одноплановы, чем христианство. Вот пример: буддизм рассматривает как полноценную жизнь для своих верующих только монашество — и это понятно; конфуцианство очень высоко ставит отца семейства, не видя в безбрачии проку, — и это тоже понятно; но когда христианство возводит брак на ступень таинства и прямотаки подобия отношений Христа и Церкви, ставя при этом монашеский подвиг еще, еще выше, — такое понять действительно трудно. Недаром в ранней Церкви развитие аскетического пыла вызвало те поползновения судить о брачной жизни как о христианстве второго сорта, которые были осуждены на соборе в Ганграх Пафлагонских. Нравственный опыт христианства — полнее и сложнее; как раз поэтому его труднее вместить.

— Почему, на Ваш взгляд, интерес россиян к православию среди активных групп населения сейчас явно угасает? Что нужно сделать для того, чтобы в полной

мере был реализован творческий потенциал Церкви, и она стала привлекательной для всех жаждущих слова Истины?

— Видите ли, я не очень склонен думать о приходе людей к вере или отходе от нее в категориях статистических, припахивающих понятиями моды и «рейтинга». Существенное, будь-то благо, будь-то беда, здесь происходит по большей части беззвучно. Насколько я понимаю, вдохновляемые православной верой труды милосердия в нашей стране только начинаются; это не тема ни для mass-media, ни для интеллектуальных разговоров, просто кто-то возле нас жертвует без остатка свои силы, только и всего. Во всяком случае, вера живет в самой глубине сердца, оттуда излучаясь на все остальное, — или ей жить негде. Именно поэтому я недоверчиво отношусь к попыткам уж больно полагаться на то, что весь наш народ словно бы с такого-то числа объявлен православным — почти так, как он же недавно объявлялся цитаделью атеизма. И куда-то подевался вопрос, еще вчера казавшийся таким острым, прямо-таки вопросом жизни и смерти: какие найти слова, чтобы вот им — молодежи, например, — говорить о Боге? Два священника не так давно спорили: один говорил, что нужно привлекать души ко Христу, это самое важное; другой возражал — сейчас, мол, важнее всего восстанавливать храмы, были бы храмы, а люди сами придут. Со стороны второго собеседника это не было, насколько могу судить, проявлением примитивной умственной ограниченности, он знал, что говорит, — и тем хуже. Словно всего опыта советского безбожия, пришедшего прямо в непорушенное старорежимное благолепие, храмовое и всякое иное, еще мало. Словно память куда-то подевалась... Это страшно, потому что опыт оплачен кровью, и кровь эта пролита не нами, ныне живущими людьми, а теми, кто был лучше нас. Неужели все было напрасно?... Я не был сторонником позднеперестроечного красноречия шумных призывов Церкви к покаянию — кается каждый в своем сердце; однако нельзя брать такой тон, будто проблем нет и не было, будто понятия, скажем, вроде «христолюбивого воинства» самопонятны и сами собой разумеются. Нельзя после семи с лишком десятилетий атеистического общества играть в предреволюционный истеблишмент, который и тогда не был мудрым, иначе не пришел бы к катастрофе, однако же был в некотором простейшем смысле подлинным и мог практиковаться bona fide — мол, не нами положено, не на нас и кончится, тоже ведь позиция. Но когда само собой разумеющиеся вещи кончаются, нельзя восстановить их прежнего статуса. Слава Богу, к вере все это не относится, потому что вера живет по законам чуда и находит путь из гроба. Но к определенному стилю социального поведения это относится. Желающие могут, конечно, играть в игры вроде Дворянского собрания или казачества. Но Церковь Христова — не предмет и не место для игр.

По моему мнению, напрасно мы перестаем ценить опыт, накопленный такими православными русскими людьми в изгнании, как, скажем, владыка Антоний Блум. Они нашли способ сохранять сокровище веры при полном разрушении всех иллюзий насчет «православного общества», да еще приумножать это сокровище, приводя к Православию тех, кто не родился православным, а стал им в акте свободного личного выбора, оправдывая древнее изречение Тертуллиана: «христианами не рождаются, а становятся». Для владыки Антония пустыня

современного секуляризма — как та пустыня, в которой жили пустынножители, его душа словно закалена этой пустыней. Тут есть чему учиться.

— В отношениях православных и католиков много проблем. Патриарх Алексий II никак не может встретиться с Папой Римским... Что мешает взаимопониманию и сотрудничеству? Что может помочь переломить ситуацию?

— Ну, если иметь в виду, как накоплялись взаимные конфессиональные обиды из столетия в столетие, насколько затруднительно было бы еще в начале XX века вообразить себе хотя бы ту степень контактов, какую увидела вторая половина того же века, то внутренний ропот хоть немного, но стихает. Но вина, конечно, есть. Совсем без вины никто не остался. Мне несколько раз приходилось отвечать на аналогичные Вашему вопросы и на Западе, и в России, и я избрал своим принципом — говорить перед западными слушателями о том, что, по моему мнению, достойно критики в облике и поведении западной стороны (т. е. прежде всего об обмирщении, представляющем проблемы не только для православных русских, но порой, как мне приходилось убеждаться, и для старых католиков, когда-то, в коммунистическое время, дорого плативших за свою веру). В соответствии с этим принципом, который продолжает казаться мне правильным, в интервью российской газете я буду говорить о нашей части вины. Самым печальным и здесь мне представляется забвение очень дорого купленного опыта поры тотальной войны против веры как таковой. Казалось, мы что-то увидели тогда, что-то поняли. Все забыто. Кроме всего прочего, на пути к более богословски трудному вопросу об «экуменизме» в обычном смысле этого слова, т. е. о контактах межконфессиональных, стоит как будто бы не представляющий богословских проблем, однако ж неразрешенный вопрос о единстве хотя бы православной ойкумены. С одной стороны, никто не отменял канонических определений относительно Вселенских Патриархатов, прерогативы которых когда-то были очень важны для Москвы (хотя одним из последствий этого был раскол). С другой стороны, очевидно, что со времени Халкидонского собора (451 г.) в реальной жизни православного мира очень многое изменилось. Отношения между православным Константинополем и православной Москвой в церковно-правовом отношении всерьез не выяснены, а любви и мудрости не хватает, как кажется, с той и с другой стороны. Поэтому в отношениях экуменических все время подспудно сказывается и разделение ролей между двумя Патриархатами, дивергенция их позиций. Но это тема, для меня слишком серьезная и, откровенно говоря, слишком человечески болезненная, чтобы отделаться от нее несколькими словами в соответствии с масштабом интервью.

К числу островков мира относится основанный католиком сразу же после II Ватиканского собора монастырь в Бозе на севере Италии, где христиане различных конфессий делят труды, аскетическую жизнь и ежедневные молитвы, хотя во избежание нарушения верности каждого своей Церкви на воскресную литургию все расходятся по храмам своих вероисповеданий. Оказавшись там, я был поражен, в частности, сердечными отношениями монастыря с Сербским Патриархатом. Совершенно чужда не только конфессиональному прозелитизму, но и более тонкому навязыванию партнерам либеральных норм

община Святого Эгидия в Риме. Им свойственно стремление перейти от хитросплетений церковной дипломатии к человеческому общению с верующими разных конфессий (хотя дипломатическая работа в самом конкретном смысле им никак не чужда — они стремятся работать как миротворцы в местах вовсе не только и не столько конфессиональных, сколько национальных и политических конфликтов, предотвращая кровопролитие). Они не учат, не перевоспитывают, они встречаются. По-моему, это довольно реальный путь.

— В нашей стране на протяжении двух столетий особую духовную миссию выполняла интеллигенция. Нужна ли она сегодняшней России?

— Если бы я думал, что не нужна, я бросил бы свои занятия. Конечно, понятие «интеллигенция» допускает слишком много различных толкований. Для меня интеллигенция — что-то вроде сословия, цеха, гильдии; у нее есть или должны быть свои корпоративные правила. Я к этому сословию или гильдии принадлежу, а потому нахожу абсолютно запретным для себя умиляться «интеллигентности» или бранить «интеллигентщину». Особую обязанность интеллигента я вижу вот в чем: ему платят за то, что он занимается работой мысли, и он обязан делать это дело как следует, непрерывно подыскивая возражения самому себе и борясь за возможно большую степень свободы своей мысли от своих собственных личных и групповых предубеждений, травм, аффектов, не говоря уже о социальном заказе. Такая свобода в чистом виде не существует, но есть большая разница между усилием стремления к ней и отказом от усилия, когда в идеал возводится мышление «национальное», «классовое», «расовое». Чушь, человек имеет национальные и социально-групповые чувства, это другое, но мысль — это мысль лишь постольку, поскольку подобные эпитеты к ней все-таки неприложимы. Поэтому тот, кто занят мыслью, должен хотя бы в моменты мышления ощущать себя вне игры. Ему нельзя быть конформистом и лучше, если возможно, не быть и мятежником, потому что амплуа мятежника требует слишком много так называемой ангажированности, т. е. пристрастности, мыслительной несвободы (другое дело, когда обнаглевший конформизм облыжно объявит мятежом всякий отказ дуть в его, конформизма, дудку). Уход от этих обязанностей в национальную, расовую и классовую вовлеченность французский эссеист первой половины века Жюльен Бенда назвал, как известно, «предательством клерков» (словесная игра основана на общем обозначении для средневекового ученого клирика и для новоевропейского интеллигента, которые объединены обязанностью отрешенно взирать на общие для всех людей понятия). Еще раз, это не означает бесчувственности, это означает обязанность распознавать собственные эмоции и отличать их от мыслей. А самые мелкие эмоции, которые от нашего брата всегда неподалеку, — это сентиментальное умиление «интеллигентностью» и, еще хуже того, антиинтеллигентский аффект. Интеллигенция имеет право и обязанность критиковать себя — в конце концов, сборник «Вехи» написали русские интеллигенты. Но аффект ненависти против своей гильдии — это психическая патология, если в основе лежит надрывная ненависть к себе самому, и гораздо более вульгарная низость, если в основе лежит ненависть к коллегам и конкурентам, к тем, кого все время приходится встречать и дышать с ними одним воздухом.

— История культуры — это и история письменности. А сейчас наметился кризис цивилизации слова. Чем, на Ваш взгляд, он обернется?

— Я думаю, что «кризис цивилизации слова» — словосочетание, объединяющее в себе много разных феноменов, каждый из которых требует отдельного разговора. Во-первых, можно говорить о кризисе языковой традиции, наступающей в результате социальных сдвигов и этнических смешений, «восстания масс», возрастающего числа представителей типа «человека ниоткуда». Такое уже наступало много раз — скажем, когда из распада латинского языка начали прорастать поначалу несуразные стебельки новых языков. Это мы узнавали из книжек по истории. Помнится, в бытность зазнайкой-подростком я обожал думать про себя: «Я — последний римлянин». Подразумевалось, что кругом варвары. С тех пор я перестал быть подростком и стараюсь больше не позволять себе приступов меланхолического зазнайства. Во-вторых, сильно действие телевизионных внушений, внушавших такой интерес Маклюэну; в меня они энтузиазма не вселяют. Ну, и компьютерные игры, конечно, способствуют бессловесности. Особенно сильно воздействие на синтаксис: вытесняются сложные предложения, что разрушает механизм нюансирующей оговорки. Не в первый раз поддаюсь искушению призвать всех на борьбу за точку с запятой. В-третьих, уж очень много слов было сказано, слишком много перебирания возможностей риторики — тоталитаристской, антитоталитаристской, всякой. Я не приверженец так называемых деконструктивистских обличений «дискурса» как такового, но нахожу ситуацию объективно небезопасной. Мы не можем больше практиковать словесную неосторожность с чистой совестью, как это было еще недавно и не будет больше никогда.

— Император Марк Аврелий сказал: очень немного нужно, чтобы сделать жизнь счастливой. Вы с этим согласны? Если — да, то что бы Вы включили в «очень немного»?

— Я совсем не похож на стоика, однако начну с одной констатации, которую Марк Аврелий, мне кажется, одобрил бы: для счастливой жизни нужно как можно меньше думать о счастье, воздерживаться от вопроса, счастлив ли я, не накликать вопросом отрицательных ответов, не коллекционировать таких ответов; нужно безусловно запретить себе измерять объем полученного счастья, искать недостачи, предъявлять всем и всему иски относительно недостач и т. п. Никогда еще такое множество народа не было заражено привычкой думать о собственном существовании в категориях счастья; полно психоаналитиков и психотерапевтов, а депрессивные неврозы и психозы преизобилуют. Если я не сохраню того, что в христианской аскетике называется «памятью смертной», т. е. способности, не отворачиваясь и не жмуря глаз, смотреть в сторону неуклонно приближающегося конца, если я буду то ли деловыми стрессами, то ли эйфорией отвлекать себя самого от знания о смерти, я не смогу быть здрав и, следовательно, не могу быть счастлив.

А теперь перехожу к темам менее стоическим: кое-что мне нужно, я никак не могу сказать, что выше нужд. Для счастья мне нужно, прошу прощения за избитый оборот, любить и быть любимым. Слава Богу, мы с женой прожили вместе уж около сорока лет. Вы знаете, Клодель сказал, что лучшее время любви — между серебряной и золотой свадьбами; я думаю, что он прав, и вот мы это

переживаем. И на втором месте — работоспособность. Только бы не вконец разваливалась память, только бы подольше ясная голова! И всякому человеку нужна толика надежды относительно путей его страны. Ну, и дети, мои взрослые дети, их благо. Их жизнь имеет свое собственное содержание и направление — но я-то не перестану чувствовать себя за них ответственным до конца моих дней.

Сергей АВЕРИНЦЕВ

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ

Слово на Евангельское чтение в Неделю о мытаре и фарисее
(07.02.93)

Братья и сестры! Верховный приговор Господа нашего поставил молитву мытаря выше, чем самодовольную молитву фарисея. Служба сегодняшнего дня подтверждает этот приговор, и наши чувства привычно к нему присоединяются. Но чтобы согласие нашего сердца с приговором Господа нашего не было слишком привычным и слишком легким, чтобы мы поняли глубину и силу приговора Господа, нам будет нелишне подумать обо всем, что мог бы сказать фарисей в свою пользу.

Мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». И действительно, Господь наш называл фарисеев лицемерами или, может быть, лицедеями, если иметь в виду значение греческого слова, употребленного в Евангелии. Но Господь наш имел право и власть так назвать фарисеев. Мы же должны задуматься, в каком смысле фарисей — это лицемер? В жизни мы можем называть лицемером человека, который попросту притворяется перед людьми: на глазах у людей принимает вид добродетельного и порядочного человека, а едва люди отвернутся, ведет себя совершенно противоположным образом. О фарисее из выслушанной нами сегодня притчи мы такого не знаем. Он говорит перед Богом и перед самим собой, а не перед людьми, и у нас нет оснований полагать, что он не исполнял в повседневной жизни того, о чем говорил. Он действительно постился дважды в неделю, он действительно, надо полагать, не позволял себе ни малейшего упущения, отсчитывал десятую долю от каждого своего дохода и приобретения в жертву храму. Это не так мало. И такие, по-человечески говоря, порядочные люди, которым не нужно было чужого, которые не согрешили воровством или блудом, — такие люди немало терпели в повседневной жизни от людей, подобных мытарю.

Мытарь — это сборщик налогов, очень часто позволявший себе беззаконие, бравший много сверх того, что ему полагалось (собственно, на этом и держалось налоговое дело в те времена), да еще находившийся на службе у оккупационных властей — у язычников, иноземцев. Земная власть — власть римского наместника — давала преимущество мытарю, и в повседневной жизни, надо полагать, фарисей и его друзья, такие же люди, как он, терпели от людей, подобных мытарю.

И вот для фарисея приходит час реванша. Он — в храме; он видит у входа смущенную и раздавленную сознанием своей вины фигуру мытаря, одного из тех, от кого он терпит в повседневной жизни. Но хотя бы здесь, в храме, святыня, Закон, Божье благоволение — это-то принадлежит ему, фарисею; это его, страшно сказать, карта, которую он может использовать в игре против мытаря. Там, на улице, мытарь имеет над ним власть, но здесь, в храме, все принадлежит фарисею. Ему принадлежит самый Закон, Закон и он — как будто одно. В том-то и ужас проблемы фарисея, что фарисеи, как правило, не были вульгарными лицемерами, то есть обманщиками, ведущими себя противно своим словам, едва от них отвернутся. Это были серьезные люди. И как будто бы можно только позавидовать обществу, уважавшему не богатство, не земную власть, не роскошь, не любострастие и моду, но ученость и благочестие, стремление в точности осознать Закон и в точности его исполнить. Конечно, мы можем сказать (и это будет правда), что отношение фарисеев к исполнению Закона было чересчур мелочным. Но так ли уж легко провести границу между необходимой точностью в исполнении Божьего Закона и недолжной мелочностью? В конце концов, по отношению к величию Бога, все, что можем сделать мы, незначительно. Но разве мы не призваны и в малом исполнить наш долг?

В чем же вина фарисея? Прежде всего в том, что он судит самого себя и судит мытаря — вместо Бога. Он как будто посягает на престол, уготованный для последнего Суда Божьего, он уже предвосхищает этот Суд. Но, братья и сестры, так ли уж легко нам удержаться от того, чтобы предвосхищать Суд Божий? и говорить от имени Бога, вместо Бога?

Далее. Фарисей заявляет о довольстве собой. Как ему кажется, ему остается только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным исполнителем Закона, а не грешником. Но здесь существо дела опять-таки не в том, что фарисей дерзает так о себе говорить. Ну, хорошо, мы, наученные евангельской притчей, не будем так говорить — мы будем хитрее фарисея. Но ведь духовные учителя вот такое смирение на словах, которому не научился фарисей, воздержание от слов — только слов, но не чувствований, — называли смиренноглаголанием и противопоставляли истинному смирению. Если мы из этой притчи научимся всего-навсего воздержанию от каких-то слов, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, искреннее, если хотите. Он вправду говорит то, что думает и чувствует. Чувства же его связаны с тем, что норма Закона, которую он видит перед собой и вполне справедливо почитает, — норма эта не живая. Из чего это видно? Из того, что ему представляется, будто он до этой нормы дорос, что он ей соответствует, что он исполнил Закон. Это значит, что его закон не живой. Почему? Потому что, если бы его закон был живым, если бы норма, в соответствии с которой он живет, была живая, она бы росла вместе с ним — так, как это показано в Нагорной проповеди. Да, сказано — «не прелюбы сотвори», и фарисей, очевидно, исполнил это — он не совершает физического блуда, коль скоро дерзает благодарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты сердца, чистоты тех глубин сердца, которых человеческий взгляд не всегда видит. В нашем сердце есть такие глубины (об этом задолго до психологии нашего столетия говорил блаженный Августин), которые — бездна, вообще не проницаемая для нашего взгляда.

Мы знаем, что собратья этого фарисея жизнь Самого Живого Бога ставили как бы ниже Закона, потому что приписывали Самому Богу занятия Законом в Его блаженной вечности. Такое мнение было у фарисейских учителей того времени и последующего. Нам легко, конечно, посмеяться над образом Бога, который в Своей блаженной вечности занят тем, что размышляет над Своим собственным Законом — как вечный, небесный, бессмертный, всемогущий и пренепорочный фарисей. Нам легко над этим посмеяться, но такой ход мысли, когда Закон поставлен наравне с живым Богом или превыше Его, — это очень страшный ход мысли, совсем не простой, по существу.

И далее. Фарисей не довольствуется тем, что благодарит Бога за свою верность Закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющий его, фарисея, праведность. Надо сказать, что само слово «фарисей» происходит от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей — это тот, кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты, но также и от прочих людей, которые нечистые, которые не таковы, как он. Поскольку он — исполнитель Закона, почитаемый и признаваемый в качестве такового обществом, его обязанность — свидетельствовать о Законе и учить Закону грешников. Но он этим отделяет себя не только от греха, но и от грешника, и таким образом сам кладет перед собой непреодолимое препятствие в исполнении своего долга учить Закону, передавать другим то благо, которое, как он убежден, дано ему самому. Ибо грешный человек и все мы, в силу нашей греховности, привыкли очень живо чувствовать чужое самоутверждение. И когда нам говорят правду, но таким образом, что эта правда должна быть ударом, нас сражающим и обеспечивающим нам поражение в некоей игре, в некоем состязании с тем, кто с нами разговаривает и нас поучает, мы не принимаем поучения. И фарисей, проводя черту разделения уже не между собой и грехом, но между собой и грешниками, отделяя себя от грешников, сам делает все возможное для того, чтобы не быть учителем и никого ничему хорошему не научить.

Мы знаем, что безбожная мысль выступала со многими укоризнами в отношении типа благочестивого, религиозного человека, исполнителя религиозного Закона. Эти обвинения, когда они исходят от безбожников, от злой страсти, направленной против веры, имеют в себе, конечно, много клеветнического и несправедливого. Но постольку, поскольку верны слова псалма пророка Давида «всякий человек есть ложь», поскольку мы — недостойные свидетели истинной веры в этом мире и не изъяты из этого суждения, постольку в обвинениях, во множестве прокурорских речей вновь и вновь произносимых безбожниками против благочестивцев, есть некая доля истины. И христианство, Христово учение, Евангельское учение — это единственное религиозное учение, учение благочестия, которое способно увидеть, и принять, и предложить нам в назидание в этой притче ту долю истины, которая придает какую-то силу немощной хуле нечестия против благочестия. Только одно Христово учение способно научить нас этому из того, как нас, людей, которые через несколько недель должны будут исполнять обязанности поста, нас, приходящих в воскресный день в храм, как нас может увидеть, ну, скажем, мытарь.

Да будем мы всегда жить с живой мерой, которая есть Сам Христос. Когда святые, великие святые и великие подвижники, укоряли себя, называя себя

«великими грешниками», это не было смиренноглаголанием. Они говорили так не потому, что у христиан принято называть себя «великими грешниками», а потому, что они действительно в своем живом сердце, в своей живой совести, возраставшей вместе с ростом их подвигов, видели себя великими грешниками. Потому что перед ними была не мертвая мерка, до которой можно дорасти, но Божие Небо над головой. И они, живые, в это Небо росли, и Небо всегда оставалось бесконечно высоким над их головой. Приверженцы других религий могут все исполнить и сказать: «Ну, вот, мы все исполнили!». Не будем обманывать себя, не будем смеяться над приверженцами этих религий. В любой религии все исполнить очень трудно, это дело серьезное. Но христианин никогда, ни на секунду не может почувствовать и сказать: «Вот, я все исполнил», — потому что его мера — живая, Сам Господь наш.

Слово на Евангельское чтение в Великий Четверг (*15.04.93*)

Перед самым началом Своих страстей Господь собирает учеников на Тайную вечерю. Хотя Господь наш имел право сказать: «Я ничего не говорил втайне» (как Он сказал Своим врагам); хотя христианству чуждо настроение заговора и конспирации, а тем более пустая игра в мнимые тайны, в таинственность, в секреты, как это свойственно оккультистам, в сердце христианства — тайна. Вечеря Христова — тайная. Во-первых, потому, что ученики собираются вокруг Учителя, ненавидимого миром, ненавидимого Князем мира сего, пребывающего в кольце злобы и смертельной опасности, которая являет великодушие Христа и требует верности от учеников. Это требование, нарушенное страшным предательством со стороны Иуды и несовершенно исполняемое другими учениками, которые впадают в дрёму от уныния, от унылых предчувствий, когда им должно бодрствовать с Христом во время моления о Чаше. Петр в оторопи страха с клятвами отрекается от своего Учителя. Все ученики разбегаются. Но грань между верностью, хотя бы несовершенной, и полнотой предательства остается. Это страшная грань: непримиримое столкновение между Его великодушием и святостью, между Царством Божиим, которое Он возвещает и приносит людям, и царством Князя мира сего. Это настолько непримиримо, что, приближаясь к тайне Христа, мы оказываемся перед последним выбором. Ведь мы приближаемся ко Христу так близко, как верующие других религий и вообразить не могут. Они не могут вообразить, что можно так приблизиться к Богу, как мы, когда мы вкушаем Христову плоть и пьем Его кровь. Это помыслить трудно, а каково выговорить! Каково было апостолам услышать впервые слова, которыми Господь устанавливал истину Евхаристии! И горе нам, если мы не испытываем хотя бы малой доли того трепета, который тогда должен был охватить апостолов.

Тайная вечеря является тайной и потому, что она должна быть укрыта от враждебного мира, и потому, что в ее существе — непроницаемая тайна последнего снисхождения Богочеловека к людям: Царь царствующих и Господь господствующих Своими руками омывает ученикам ноги и таким образом являет Свое смирение всем нам. Чем можно превзойти это? Только одним: предать Себя на смерть. И Господь делает это.

Мы — слабые люди. И когда наши сердца мертвеют, нам хочется благополучия. Но пока у нас живое сердце, грешное, но живое, — о чем тоскует живое сердце? О том, чтобы был предмет любви, бесконечно достойный любви, чтобы можно было такой предмет любви найти и служить ему, не жалея себя. Все мечтания людей — неразумны, потому что это мечтания. Но они живые, пока живое сердце стремится не к благополучию, а к жертвенной любви, к тому, чтобы нас обрадовали неизреченным великодушием к нам и чтобы нам какой-то долей великодушия ответить на это и верно послужить Царю царствующих и Господу господствующих, который так великодушен к Своим слугам. Господь наш в лице апостолов назвал нас своими друзьями. Об этом более страшно подумать, чем подумать о том, что мы рабы Божьи. Раб может в поклоне спрятать глаза; друг не может уклониться от того, чтобы встретить взгляд своего друга — укоризненный, прощающий, видящий сердце. Тайна христианства, в отличие от мнимых тайн, которыми ложные учения соблазняют людей, — это как непроницаемая для взгляда глубина прозрачнейшей воды, которая, однако, так велика, что дна мы не видим; да и нет его — дна.

Что можно сказать в этот вечер? Только одно: что Святые Дары, которые будут нам вынесены и поданы, — это те самые тело и кровь Христовы, которые в невообразимом потрясении сердца вкушали апостолы. И это наше собрание — это та самая длящаяся Тайная вечеря. Будем молиться, чтобы нам не выдать Божьей тайны — тайны, которая сплачивает нас со Христом, чтобы мы пережили эту теплоту тайны, не предали ее, чтобы мы ответили на нее хотя бы самой несовершенной верностью.

Блаженный Августин говорил о Евхаристии довольно трудные для нашего малодушного сердца слова. Он толковал Евхаристию, в частности, как призыв к мученическому подвигу: за тело и кровь, которые Христос предал за нас, мы должны быть готовы отдать наше тело и нашу кровь. К подвигу мученичества в полном смысле призваны немногие, и не будем говорить о вещах, слишком для нас высоких. Но если Господь наш предает нам, омыв наши ноги, Свое тело и Свою кровь, как же нам не терпеть великодушно хотя бы те малые невзгоды, которые нам приходится терпеть?!

Помолимся, чтобы нам никогда не забывать тайны, в которую мы взяты великой тайной — Тайной вечерью, чтобы нам никогда не выдать ее врагам видимым и невидимым, никогда не иметь окаменевшего нечувствия в отношении к ней. И чтобы наше сердце рвалось послужить Царю царствующих, который так милосерден, так близок — до последней близости, до близости вкушаемого нами Яства.

И еще одна мысль должна посетить каждого, кто слушает это Евангельское чтение. Мы видим, что Господь наш в земной Своей жизни соблюдал ветхозаветный Закон. И в город Иерусалим Он пришел в связи с тем циклом празднеств, которые были у иудеев, — между иудейской Пасхой и иудейской Пятидесятницей. Он пришел не разрушить, но исполнить, и Его жизнь началась с того, что Он по Закону подвергся обрезанию. Почему же в одном Господь наш так последовательно бросал вызов законничеству — в вопросе о полном бездействии, которого иудейские законники требовали от человека в субботу? Конечно, это учит нас тому, что доброта важнее обряда, важнее обря-

довой правильности, это избавляет нас от опасности обрядоверия. И всё-таки, кажется, дело не только в этом. Что значило для верующего иудея особо строгое почитание субботы? — Что творящая деятельность Бога окончена к седьмому дню: в седьмой день Бог опочил от трудов Своих, и эта завершенность Божьего творения празднуется каждую субботу. И бездействие верующего — свидетельство о его вере в то, что мир изменен не будет. (Хотя у иудеев во времена Христа было учение, не очень ясное, о будущем веке и о воскресении, в которое верили фарисеи; саддукеи, впрочем, отрицали его, так что это еще не было всеобщей верой.) Если празднуется покой Бога, понимаемый как полное бездействие, как прекращение Его творчества, значит, мир стабилен. Это описано со скорбной красотой в книге Екклесиаста: что было, то и будет.

Этому Господь наш противопоставляет другое учение, не разрушающее смысл Ветхого Завета, но его дополняющее: покой Бога — это не прекращение Его творчества (хотя мир Божий завершен и совершенен в той мере, в какой он не испорчен действием падших духов и падших людей). Мы и сейчас, видя каждое творение Божье — распускающиеся ветви весной и любое другое творение, — слышим слова Творца о том, что это весьма хорошо. И всё же замысел Бога еще не осуществлен — замысел о преображении мира. Бог создал нас людьми, а мы сами себя сделали падшими людьми. Но Бог хочет нас возвести к такому достоинству, для которого апостол Иоанн в своем послании не находит и слов, говоря: мы сейчас дети Божии, но не знаем, что будем. И слова Господа: Отец продолжает делать, продолжает творить, и Я продолжаю. Знамение этого — исцеление в субботу.

Милость Божия безгранична, щедра, она упреждает человека, его просьбы и мольбы, не говоря уже о его исправлении. Но милость Божия требовательна. Мы знаем, как мы себя ведем с чужими маленькими детьми и со своими детьми. Чужих маленьких детей, за которых мы не несем ответственности, мы рады приласкать, если уж не вовсе злые люди, дать им что-нибудь сладкое, обрадоваться за них и ничего от них не требовать. Мы за них не отвечаем. Это для них и для нас радость на мгновение, не имеющая продолжения и дальнейшего смысла. Но Бог добр к нам не как чужой дядюшка, который дарит нам конфетку и идет своим путем, ничего от нас не требуя. Христос встречает исцеленного Им человека и напоминает ему о том, что великая милость, им полученная, — это одновременно и требование: не греши. Чем больше Бог нам дает, тем больше Он от нас и требует.

Еще лучше будет, если мы поймем, что Его требовательность к нам — это самое лучшее, что Он нам дает. Слова «не греши» были сказаны человеку, исцеленному от очень тяжелой, очень длительной болезни, вызволенному из горчайшей беды. Но каждый из нас, даже живущий благополучной и как будто безопасной жизнью, не знает, над какими безднами проводит его, не зрящего, не видящего этих бездн, рука Божия. И эти слова обращены к каждому из нас: не греши, чтобы с тобой не сделалось чего худшего. Ибо даже те из нас (а много ли таких среди нас?), у кого нет воспоминаний о прошедшей мимо, чудом миновавшей тяжелой беде или беде уже настигшей и потом отступившей, имеют все основания знать, что с нами каждое мгновение может быть много хуже. Мы привели себя и Божий мир в такое состояние, когда беды должны с нами слу-

чаться. И благоразумно нам — не говоря о том, что это долг благодарности — не грешить, потому что не по грехам нашим поступает с нами Господь.

Помолимся о том, чтобы Бог воздвиг наши расслабленные души, расслабленные сердца и чтобы он совершил дело возрождения нашего Отечества. И мы сегодня должны ещё молиться о душах тех, кто своей кровью заплатил за победу нашего Отечества. Мы должны также вспоминать людей, отдавших свою жизнь в русской диаспоре за спасение тех, кому угрожала бесчеловечность гитлеровского режима. Мы должны вспоминать таких людей, как мать Мария. Помолимся о том, чтобы, как расслабленный, потерявший земную надежду, наше Отечество не по нашим грехам получило бы здравие. Аминь.

Слово после Евангельского чтения: Мф 6:22-33 (*27.04.93*)

Господь наш говорит о духовном зрении, о духовном оке, которое освещает все существо человека — все, что внутри него, то есть внутреннее пространство его души. Если это око здорово, чисто (по-гречески употреблено слово, означающее, собственно, «просто»), если в человеке есть свет, великодушие неразделенной, не раздробленной, не ущербленной любви к Богу и ближнему, этот свет — действительно свет. Но как быть, если внутреннее, духовное око, которым смотрит человек на все сущее, омрачено утверждением самости человека, жадностью, завистью, отсутствием великодушия? Это страшные слова: если свет, который в тебе, — тьма, то сколь же велика тьма?! И мы знаем, как лукаво наше сердце, как часто бывает, что мы обращаем во зло даже то, что должно было бы быть и что по природе является светом нашей жизни. Как часто мы бываем фарисеями и хуже фарисеев — древних фарисеев, которых укорял Господь. Фарисей обращал во зло, во тьму свет своего знания Заповеди, своего соблюдения Заповеди — во тьму, во зло своего самоутверждения и унижения ближнего.

Мы знаем, что живой человеческий язык, язык народный и язык поэзии, столь близкий к народному языку, и язык Откровения многое может сказать об оке человека. Мы знаем из народной речи, что у человека бывает глаз добрый или дурной, а в Ветхом Завете часто говорится о добром оке человека, если этот человек щедр, великодушен, готов легко поделиться с другим — поделиться и достоянием, и честью. Если это человек, который не занят возвеличением себя и для этого непременно унижением другого, но, напротив, с радостью принимает достоинство ближнего и предпочитает умалить себя для того, чтобы видеть ближнего и Божий мир в свете, в славе, в присущем им достоинстве. И это радостный человек, хотя, по суждению сынов века сего, это человек, лишенный хитрого разумения — как ему возвеличить себя, как ему побольше взять себе.

Далее сердцеведец Господь напоминает нам, что стоит за нашими земными заботами, за нашей мрачной озабоченностью, мешающей нам во всем видеть Божью славу. За ней стоит страх, отсутствие мужества, отсутствие доверия к Богу. А ведь если мы веруем в Бога, эта вера не есть просто индивидуальное признание существования Бога. Вера в Бога — это вера Богу, это доверие Богу как Отцу. Мы исповедуем Его Отцом.

Мы знаем, что у человечества были учителя, философы, нехристианские аскеты, которые также учили не заботиться о земных благах. Но при этом они

обращались не к доверию, не к нашей способности сыновнего доверия Богу, а к гордыне человеческого духа и внушали человеку, что он выше земных нужд, что он настолько должен быть возвышенным в своих помыслах, что ему как бы ничто земное и не нужно. В том, что говорит нам Господь, гораздо больше чувства реальности, человеческой реальности. Он не говорит нам: «Вам ничего не нужно». Он говорит: «Отец небесный знает, что вам нужно». Он знает, что это вам вправду нужно, и не отяготит вас больше ваших сил.

Был один иудейский мудрец, относительно которого не ясно, принял ли он христианство, но есть все основания полагать, что относился он к христианству хорошо; он жил в самые первые времена христианства и знал о христианской проповеди и уважал ее. Он говорил так: «Человек, у которого есть в его сумке малый кусок хлеба и который при этом испуганно спрашивает: что же я буду есть завтра? — этот человек имеет слишком мало веры».

Господь призывает нас к мужеству — не к горделивому мужеству, а к мужеству доверия. Доверие к Отцу, сыновнее доверие должно победить в нас страх. Не говорится, что наша земная жизнь лишена опасностей, — мир наполнен скорбями и опасностями. Но в том-то и дело, что в действительности все мы, неимущие, состоятельные, обеспеченные, непрактичные и самые практичные, хитрые, слабые и сильные, больные и здоровые, — все мы каждое мгновение знаем или вовсе об этом не догадываемся, что идем над пропастью. Другого пути в земной жизни нет ни для кого. Мы не видим бездн, которые открываются под нашими ногами. И не наше дело видеть эти бездны — Провидение ведет нас над ними. Люди в наше время бывают так устрашены, когда у них есть подозрение, что они больны той или иной смертельно опасной болезнью. Между тем мы видим, что ежеминутно люди умирают от разных болезней или событий, хотя за пять минут до этого казалось, что никакой опасности нет.

Наше основанное единственно на доверии к Богу спокойствие, мир, который дает нам Бог так, как мир сей не может нам дать, — они основаны только на доверии к Провидению. Больше нам надеяться не на что. Об этом хорошо писал один немецкий писатель, который в гитлеровское время должен был быть арестован за свою антифашистскую деятельность. Это был христианский писатель, католик; он участвовал в антигитлеровской борьбе и лишь впоследствии, после крушения гитлеровского режима, узнал, что не был арестован по непостижимой случайности: все было готово для расправы над ним, но Провидение провело его над этой бездной, а он и не знал в тот день и в тот час, что решается его судьба. И это потом дало ему повод к тому, чтобы выразительно говорить об опасности, угрожающей нам ежеминутно, неведомой нам, и о силе Божьей, ведущей нас над пропастью, от которой никакая наша сила, никакие наши ухищрения нас защитить не могут.

А радость, внутренний свет даются только полным, чистым, беспримесным доверием к отцовскому попечению Промысла, к отеческому промышлению Божьему. И щедрым расположением души, когда мы не озабочены тем, чтобы отстоять свое против ближнего, когда мы даем войти в себя радости о том, какие прекрасные свойства имеют другие люди, когда мы не боимся себя умалить перед ними. И тогда весь Божий мир — это наше достояние, дающее нам радость. И мы снова чувствуем то, о чем говорит начало книги Бытия: как

Господь сказал о Своем творении, еще не искаженном самостью бесов и самостью нашей, что оно хорошо весьма.

Помолимся о том, чтобы око сердца нашего было чисто, здорово, просто. Аминь.

Слово после Евангельского чтения: Мф 4:18-23,25; 5:12 *(20.06.93)*

Сегодняшнее Евангельское чтение ясно показывает нам, что такое быть святым и что такое быть христианином. Мы знаем, что на земле есть разнообразные религии и есть старое, как мир, старое, как грех, и трудноискоренимое языческое благочестие. К чему сводится это благочестие? Язычник что-то знает, и он знает больше, чем безбожник. Он знает, что над ним есть нечто Высшее, и он правильно так думает. Но как он относится к этому Высшему? Он относится к нему так, как мы здесь, на земле, в особенности по нашей немощи, по нашей корысти, относимся к сильным, богатым, умным людям, которые умнее нас, сильнее нас, богаче нас. Значит, с ними надо быть в мире, с ними надо ладить, оказывать им почтение, надо быть с ними вежливыми — для того, чтобы и они нам в наших делах, в наших маленьких делах, в нашей корысти помогли, чтобы мы от них как от сильных мира сего могли ожидать к себе доброго отношения. Таково языческое благочестие.

Совсем другое, что не так легко принять нашему плотскому естеству, мы читаем в Евангелии от Матфея. Что слышат эти рыбаки, занятые своим делом, своими насущными нуждами, своим попечением о завтрашнем дне, — что они слышат от Господа? — «Иди за Мной». И они в тот же час оставляют свои сети, свой труд, в котором была вся их жизнь ещё вчера, ещё пять минут назад, и уходят — идут, не спрашивая ни о каких гарантиях. Они оставляют всё, чтобы идти за Христом, чтобы делать Божье дело, ибо Отец наш на Небесах, Отец, которому мы усыновлены через единородного Его Сына. Это не чужой отец, не чужой взрослый человек, которому мы, дети, должны вежливо поклониться, поздороваться с ним, а он нам за это сделает что-то приятное; и потом мы разойдемся. Нам предложено небывалое, не представимое нашему уму. Страшная и трудная для нас честь — быть детьми, быть сонаследниками. Нам Бог, который всё может сделать единым Своим всемогущим словом, даёт честь. Он пожелал, чтобы Его дело на земле не делалось без нас, чтобы мы, немощные, могли Ему помочь.

Язычник хотел, чтобы боги помогали ему в его войнах. Но в Ветхом Завете, в одном из древнейших текстов (который ученые, во многом сомневающиеся, единодушно признают за древнейший текст), в Песне Деворы, как по-русски принято говорить, в книге Судей, говорится о Господней войне. Девора стыдит тех людей, которые не пришли на помощь в Господней войне. Времена Деворы были далекие, когда людям, только ещё призванным к служению Богом, война представлялась как кровавая война, как кровопролитие. Наши войны — иные, они ещё страшнее: не против плоти и крови, как сказано у апостола Павла, а против бесовской власти. Но мы призваны как добровольцы. И Бог, который — я повторю это, — может быть, решит свою победу в одночасье без нас, не пожелал, чтобы это было без нас. Так он пожелал поднять нас.

Христианин — тот, кто откликается на эти слова: «Иди за Мной». Но святой — это тот, кто делает это с великодушием апостолов, немедленно в одночасье оставивших всё.

Удивительные слова, которые можно назвать сердцем Евангельского благовестия, которые мы слышим на каждой Божественной литургии и слышали сегодня в Евангельском чтении, — это заповеди Блаженства, начинающие Нагорную проповедь. В этих словах много такого, что сразу же ясно самому простому человеку, что легко понять, но трудно исполнить. Но есть такие слова, о которых надо думать и которые постепенно раскрывают свой смысл, для разумения которых неплохо обратиться и к святоотеческим толкованиям, и к свидетельствам древних языков.

Например, самое первое: что такое «нищие духом»? Иногда верующие понимают это в таком умилении, которое грозит быть сентиментальным, а неверующие — с насмешкой, как некую простоту ума, неспособность на сложные мысли. Но это не так. Господь велел нам с голубиной простотой соединить змеиную мудрость. И также нам сказано в Писании: «Не будьте младенцами по уму». Нам велено быть младенцами по чистоте сердца, но не по уму. И когда мы думаем о святых, о великих святых, таких, какими были великие святители, какими были и многие русские святые, мы видим, что это были люди великого ума. По толкованию святого Василия Великого, блистательно подтвержденному уже в нашем веке новейшими археологическими и филологическими открытиями, «нищие духом» — это те, кто отрекается от привязанности к земному достоянию по вдохновению от духа: и по свободному движению своего, человеческого, духа, и по вдохновению от Духа Божественного. Это те, кто проявляет великодушие, как апостолы, оставившие свой каждодневный труд и никогда об этом не пожалевшие.

«Блаженны плачущие». Церковь, православное предание ублажает тех, кто имел и имеет высокий дар от Бога — оплакивать свои грехи. Слезный дар — это великий дар. Но, по-видимому, во второй заповеди Блаженства говорится не совсем об этом или не только об этом. Греческое слово, там употребленное, и арамейское или еврейское слово, употребленное Спасителем, обозначают того, кто несет на себе тяжесть траура по умершему близкому или по общественной беде, как это было, скажем, во дни пророка Иеремии; то есть и в более широком смысле — по недолжному состоянию своего грешного сердца, по всему, что недолжным образом вершится среди его народа и среди всех народов земли. Иначе говоря, речь идет о человеке, который не может с ложным, дурным благодушием и спокойствием принять тот греховный порядок вещей, ради преодоления которого Господь наш принес Себя в жертву; о том, кто, примиряясь с волей Божьей, имея в душе истинный мир и истинное спокойствие, не согласен на ложное спокойствие, на ложную примиренность с тем, что люди живут нехорошо, что сам он живет нехорошо (в смысле: ну что же, так повелось, так все живут, значит — всё в порядке); о том, кто не согласен принимать за норму вместо заповеди Божьей то, что делают, как говорится, все.

Удивительное речение, ясное, конечно, всякому сердцу, которое было подготовлено уже в Ветхом Завете, — о кротких, которым дано наследовать землю. Мы видим историю и современность как последовательность насилий. Мы все

время видим, как насильники отбирают у кротких их достояние, саму их жизнь. Но мы видим и другое: как недолговечно торжество насильников и как продолжает пребывать тихий труд кротких и его плоды. Остается то, что сделано кроткими, что сделано в кротости сердца, в тишине, без насилия, без упоения тщеславием. Это стоит, остается для будущих поколений, освещает землю.

Далее слова о тех, кто алчет и жаждет правды — правды Божьей, справедливости. Эта заповедь Блаженства так близка ко второй, говорящей о тех, кто не способен примириться с неправдой. По-видимому, эти слова, как указывают толкователи, как указывает библейская экзегетика, имеют самый простой и очевидный для всех смысл: без еды и питья наше плотское естество не может жить, и праведный человек — это тот, кто не может жить без исполнения большего — правды Божьей. Но это также и указание на практику поста во времена Господа (как, впрочем, и в другие времена у строгих постников), когда праведные люди, испрашивая преодоления какой-то неправды, которую они видели вокруг себя, накладывали на себя пост, состоявший не только в воздержании от пищи, но и в воздержании от воды (что в Палестине особенно трудно).

«Блаженны чистые сердцем» — смысл этого ясен каждому из нас. Все мы знаем это по горестному внутреннему опыту; если мы не знаем, что такое чистота, то мы знаем, что такое отсутствие чистоты и как это тяжело. Но эти слова имеют еще и другой смысл: чистое сердце — это не только сердце, в которое не находит доступ растление, но это сердце беспримесно отданное Богу.

Сегодня мы празднуем память святых нашей земли. Для каждого русского человека это как бы вторые именины — именины нашей земли. Мне вспоминается, как во дни преподобного Сергия Радонежского на русскую землю прибыл один грек. Он прослышал о неком святом, объявившемся на такой дикой земле — на Руси, да еще в какие времена — в «наши времена». Каждому человеку в любое время давно уже казалось, что святость — это принадлежность каких-то прежних времен, былых времен. Какая же святость в наше время? Он усомнился и отправился искушать, испытывать святость преподобного Сергия. И он был вразумлен чудом: ослеп и был исцелен по молитве преподобного Сергия, который, учтивостью и кротостью достойный святого, отвечал ему и наставлял его.

Другие земли могут похвалиться своим богатством, трудолюбием своих жителей, своим порядком. Но они могут похвалиться и такой похвальбой, которая больше имеет отношение к вере. Есть земли, где проповедовали сами апостолы, где они основали церкви. У нас есть предания, связывающие нашу землю с апостолом Андреем, но, так или иначе, наша церковь основана не апостолом Андреем, а много позднее. Митрополит Иларион уподобил нас, русских, работникам одиннадцатого часа. Счастливы мы? Блаженны мы? Да, если мы не идеализируем нашу землю ни в настоящем, что легко, ни даже в прошлом и все-таки твердо знаем, что эти слова — «Земля Святорусская» — имеют смысл, вечный смысл, который ничем не разрушится. Только еще раз повторю, что это не должно быть поводом для самообольщения. Святость наших святых не дает нам никакого «механического» преимущества. Мы слышали в сегодняшнем чтении слова апостола Павла: «У Бога лицеприятия нет». Но живое предание святости на нашей земле есть. В этом должен был убедиться надменный грек, явившийся к преподобному Сергию.

Что такое святые? Святые — это не люди, абсолютно во всем безупречные и заведомо, гарантированно непогрешимые во всех своих мнениях и суждениях. Такое представление нецерковно. Мы недаром исповедуем: «Един Свят, Един Господь Иисус Христос». И если мы не будем говорить о непостижимой тайне пренепорочности Божией Матери, что же святые? В этом как раз есть великая радость для нас: они были. Но почему были? Мы же не можем сомневаться, что и сейчас есть святые? Люди, как мы, во всем, кроме одного — кроме великодушия, мужества, с которым они готовы были и готовы в наше время оставить всё (это легко сказать «всё»), чтобы последовать за Христом. Добровольцы Христа, которые из любви ко Христу, из любви к Небесному Отцу и из любви к нам берут на себя подвиг, которого мы, грешные люди, даже и представить себе не можем, которые становятся между праведным Божьим гневом, и натиском ада, и нами. Мы прячемся за их спинами. В этом причина святости, а не в их гарантированной безупречности. И люди, слабые умом и ничтожные сердцем, этим соблазняются. Мы знаем, что святым, которые были современниками, случалось спорить друг с другом, быть в чем-то друг с другом несогласными, но при этом они были согласными в самом главном, едиными в самом главном. Почему, однако, нам не пристало искушать их святость, как вздумал тот грек? Потому же, почему человеку, отсиживающемуся во время войны в тылу, не пристало легко говорить о подвиге тех, кто за него проливает кровь на фронте, в прямой встрече со смертью, с ужасом, с врагом.

Мы отсиживаемся за спинами святых. Мы можем жить, наша христианская жизнь при нашей немощи возможна — благодаря их подвигу. Дай нам Бог никогда об этом не забывать и быть соединенными с ними живым чувством благодарности! И дай нам Бог в меру наших слабых сил, по нашей немощи, не так великодушно и не так легко, как они, оставляя всё, что мы имеем, все-таки отвечать на призыв Господа: «Иди за Мной». Аминь.

Ольга СЕДАКОВА

СЛОВО АВЕРИНЦЕВА

«История русских иллюзий и фантазий, русских заблуждений изучена гораздо более внимательно и обстоятельно, чем история русской здравой мысли».

С.Л.Франк

Мы простились с нашим великим современником и соотечественником: с человеком, который представлял собой такую удивительную редкость и среди наших современников, и среди наших соотечественников, что сама его принадлежность тем и другим казалась едва ли не чудом, противоречащим порядку вещей. Поверхностный взгляд мог видеть в Сергее Сергеевиче Аверинцеве анахронизм (в наше время такого не бывает!) и, так сказать, а-топизм (в нашей стране таких быть не может!). Осмелюсь утверждать, что то, что противоречит такого рода

«порядку вещей», иначе говоря, привычкам ленивого ума, как раз и обладает подлинным существованием; только такое и составляет историческое событие. Со всей уверенностью я думаю, что именно в Сергее Аверинцеве — как, вероятно, ни в ком другом — нашли свое настоящее выражение и время, и отечественная традиция. Я имею в виду смысловой потенциал времени и традиции, а также востребованность временем и традицией. Так сложилась история (или, словами из стихов Аверинцева, «так все сошлось»), что не поэт, не философ, не автор большой прозы (что привычнее для России), а человек по существу не определимого рода словесного творчества выразил то, в чем больше всего нуждалась эпоха, что более всего давало ей надежды и свободы. Начало этой «эпохи Аверинцева» — конец 60-х, ее апогей — 70-е — 80-е годы. В самой жанровой неопределенности слова Аверинцева (философия культуры? традиционная филология? общая герменевтика? прикладное богословие? наконец, поэзия в новой, понятийной и дискурсивной форме?) я вижу его радикальную актуальность — не только в отечественной, но в европейской ситуации. Разговор о том, «всем» или «не всем» слышно и нужно это слово, оставим «нашей святой молодежи»[1].

Итальянский друг Аверинцева и спутник его последнего римского путешествия Витторио Страда написал о нем так: «Его служение было плодом русской культуры, островками сохраненной вопреки всем невзгодам советской эпохи и именно в нем, родившемся в 1937 году, пережившей свое возрождение и обновление» («Аверинцев, душа филологии» — Corriere della sera, 24.02.2004). Задержимся на двух положениях, заключенных в этой фразе В. Страда, — о сохранности островков русской культуры в советскую эпоху и о ее обновлении.

В самом деле, то, что эта традиция сохранилась вопреки всему вплоть до послевоенного времени, можно без преувеличений назвать чудом. Аверинцев вырос в семье и в кругу внесоветских людей (тех, кого называли «бывшими», «старорежимными» или, крепче и проще, — врагами народа), среди дореволюционных изданий и, волей обстоятельств (болезненности, не позволившей ему до 5 класса посещать школу), «неестественно мало для советского человека знал обо всем советском» (С.С.Аверинцев. София — Логос. Словарь. Киев, Дух и литера, 2000, с. 418). Но что он кровно знал, это динамику русской истории: его отец, ученый-естественник, был сыном крестьянина и закончил германский университет; от отца он слышал Горация на латыни. Я навсегда запомнила лицо его деда на старинной фотографии: необычайно умное, сосредоточенное лицо человека, одетого в городское платье. Этот человек ясно выраженного интеллектуального призвания родился в крепостном сословии! В памяти семьи была страна, в которой открывались такие траектории жизни: из крепостной деревни к геттингенскому профессорству. Этот чудом сохраненный мир, *свой* мир, занимавший одну комнату в московской коммунальной квартире, естественно, не был музейной резервацией: это была осажденная и осаждаемая крепость. Мысль о верности — одна из магистральных мыслей Аверинце-

[1] В удивительном и при этом типичном для актуального журнализма развязном и неряшливом слоге некролог, подписанный «Отделом культуры» «Независимой газеты», утверждает: «А если просто сказать, что умер Аверинцев, у большинства это сообщение не вызовет душевного трепета, так как Аверинцев не был мыслителем для всех и *человеком для всех (!)*...» (Независимая газета, 25 февраля 2004)

ва — была выношена им и оплачена с детства. В его случае конформность окружающему обществу (обществу, подчеркну, а не «властям») была бы не результатом неведения, как для большинства его ровесников, а сознательным отречением от уже известного, от наследства. Поблагодарим Бога за то, что у странного, одинокого, крайне робкого — по воспоминаниям всех, кто рано познакомился с «Сережей» — и болезненного мальчика каким-то образом достало сил не совершить этого шага. Привычно мы говорим в таких случае о «силе» — но говорить надо о любви. Любовь к тому, что он *уже* знал, и не позволила ему принять то «причастие буйвола», о котором писал Г.Бёлль.

Когда, с середины 60-х, Аверинцев заговорил публично, мы услышали слово, какого не должно было звучать на наших пространствах: все подобное ему, казалось, было истреблено на поколение, а то и на два прежде. Все в этом слове было вопреки вероятному: и прежде всего его доверие и почтение к слушателю, доверие и почтение к предмету мысли.

О многих именах, темах, концептах мы впервые услышали от Аверинцева (и это не только византийские древности, но и мысль 20 века — Юнг, Гессе, Бультман... всего не перечислишь!). О том, что говорили и до него, мы услышали совсем другое. Стоит открыть издание «Новой Жизни» Данте 1965 года (одна из первых встреч Аверинцева с широким читателем) и сравнить предисловие, написанное Н.Елиной, — и комментарий, составленный С.С.Аверинцевым и А.В.Михайловым. Книга юного Данте была заключена в два противоположных толкования — официальное и до боли знакомое в начале и совершенно немыслимое, *правильное*, в конце! Дозволенная речь в то время могла быть обращена к двум адресатам: к начальству, к идейным надзирателям (поэтому «Новая Жизнь» была первым опытом реализма) — и к некоему «простому человеку», для которого нужно излагать все попроще, все «основное», «не заумное» (поэтому сны, видения, цитаты из Св. Писания предлагалось отбросить как лишнюю метафизику). Никто так не презирал собственного народа, как те, кто говорили от имени «народности»: «наш читатель не поймет!»

Речь Аверинцева была обращена к друзьям, к людям, о которых он не решил заранее, что «этого им не нужно», «этого они не поймут». И, выйдя с доверием к неготовым людям (я сама была таким неготовым человеком, для которого, вероятно, каждое десятое слово в текстах Аверинцева было просто незнакомо), он и сделал их такими, каким можно доверять, с какими можно разговаривать. Мы услышали обращение к миру, к слову, к читателю, не изуродованное недоверием и заносчивостью — больным самолюбием советского сироты, «нового человека», которому все за пределами своего гетто *чужое*. Голос наследника огромной истории человеческого творчества, «высокого племени людей». И это был голос понимания («филология — служба понимания», дефиниция Аверинцева) и хвалы («Похвальное слово филологии», опубликованное в журнале «Юность»: среди бойкой болтовни в «молодежном стиле» каким непривычно *взрослым* было это слово![2])

---

[2] Вообще говоря, *зрелое* слово как значащая компонента культуры исчезло не только у нас: во всей европейской культуре 20 века господствует голос обиженного и рассерженного подростка.

Не всякому такой рискованный жест принесет успех: скорее всего в ответ на него можно получить то самое «слишком сложно!», агрессивный отказ задуматься, реакцию, на которую нашего человека натаскивали десятилетиями. Но Аверинцеву удивительным образом это удалось. Все притихли и прислушались: немногочисленные «бывшие» — со слезами (неужели к нам возвращается то, что никак не могло вернуться?), многочисленные «новые» — с восхищением скифа, озирающего Афины[3]. Аверинцеву был дан дар убедительности. Для начала, он располагал необозримыми знаниями — а знания самый грубый советский человек уважал. Затем, Аверинцев был истинным ритором (кстати, в необходимости риторики для всякого гуманитарного труда он видел одно из своих расхождений со школой структурализма). Он выработал совершенно особый язык, на котором можно говорить о высоком, не впадая в ходульность. Он прекрасно чувствовал полное крушение бездоказательного слова, слова-лозунга, он знал опустошающий опыт недоверия 20 века. Он знал опасность монолога: правильно построенное утверждение предполагает, что говорящего можно спросить, переспросить о сказанном. Автор должен ожидать вопроса и возражения и первым ставит вопросы к собственным утверждениям. Это один из основных риторическик принципов Аверинцева. В своей новой риторике он исходит из ситуации кризиса нравственного языка, кризиса богословского языка, кризиса лирического языка в послекатастрофическом мире. Слово, которое он предлагает, имеет в виду некое радикальное возражение и не пытается заставить недоверяющего ему молчать.

Это слово можно назвать *новой апологетикой*. Аверинцев ведет свой разговор о смысле и смыслах, свою защиту слова перед новым вызовом времени: это, по его определению, уже не неверие во все трансцендентное, как бывало в классическом позитивизме, а «неверие в слово как таковое, вражда к Логосу». Он продолжает разговор об «иерархических априорностях» с «современным человеком», который хочет начинать все с чистого листа, без малейших априорностей, и которому самый намек о каких бы то ни было иерархиях внушает отвращение. Говорить убедительно с таким человеком можно только в том случае, если ты принимаешь его позицию всерьез, если ты признаешь ее определенную правомочность: те, кто с позиции «вечных ценностей» просто призывают громы небесные на нигилистов, не говорят ничего. Это не слово, а «слова, слова, слова». Да и само их обладание этими «вечными ценностями» вполне законно ставится под вопрос.

Новизна слова Аверинцева — и его мысли, и его чувства, поскольку это одно (то, что в нас воистину *понимает*, — не рассудок, а «сердце человеческое», как много раз он повторял), — эта новизна не ощущается теми, кто привычно ищет нового на знакомых путях: именно там, где постмодернизм объявил исчерпанность всякой новизны (и в этом несомненно прав). *Другую новизну* Аверинцев обнаруживает там, где менее сочувственный взгляд видит лишь рутинный консерватизм. Так, в одной из своих поздних работ — об Анне Ахматовой, самом «неоригинальном» с внешней стороны, самом «не странном» поэте Серебряного века, — Аверинцев отмечает эту радикальную новизну, отличающую ее «бедную»

---

[3] Эту драматичнейшую историю уже цитированный некролог «Отдела культуры» НГ резюмирует следующим образом: «Любопытно, что слава застигла его задолго до перестройки». Восклицательным знаком здесь можно отметить каждое слово: и «любопытно», и «слава», и «застигла»...

поэтику от всех «богатых», современных ей: новизну «хоровой личности», иначе говоря, — «церковной личности», в любом своем самом приватном переживании соединенном с неким «мы» («Все мы грешники здесь, блудницы»). Это новизна не отдельных форм, не отдельных «идей» (здесь уж явно, после всех формальных революций и «смен парадигм» нового искать нечего!) — это забытая новизна неодинокого в самой своей глубине самочувствия среди давным-давно запертого в «абсолютно индивидуальный опыт» культурного человечества Европы.

Так мы переходим к размышлению о втором тезисе Витторио Страда: его тезисе об обновлении русской культуры в Сергее Аверинцеве. Да, Аверинцев пришел в одичавшее советское общество с огромным наследием Серебряного века, знакомого ему по-домашнему, обдуманного, выверенного. Но он не просто извлек эти сокровища из забвения и поделился ими с обнищавшим современником. Он *ответил* Серебряному веку, последней эпохе свободного русского слова.

Как всем известно, Серебряный век был жестоко оборван, его просто «закрыли», выслали на «философском пароходе», вычеркнули из учебников истории и литературы. Его духовные задачи только теперь, и очень робко, начинает вспоминать церковная история. Это богатейшее и взволнованное время, время предчувствий и догадок, часто смутных и просто мутных, как будто осталось без продолжения и ответа.

Конечно, это не совсем так. Серебряному веку отвечали на родине немногие из его выживших участников (Ахматова, Мандельштам, Пастернак) своим творчеством советских лет. Об этом продолжении в связи со смертью Ахматовой сказал о. Александр Шмеман: «В Ахматовой «серебряный век» нашел свою последнюю правду: правду совести». Его продолжал и восполнял опыт гонимого Православия. Его обдумывали, передумывали и возражали ему мыслители Русского Зарубежья, дополняя его другой последней правдой — правдой трезвости и новой скромности (Вл. Ходасевич, поздний Вяч.Иванов).

Но все же самым полным, стереоскопическим ответом Серебряному веку — и, соответственно, всей традиции свободной российской культуры, которая на нем и оборвалась, — мне представляется слово Аверинцева. Совесть, и трезвость, и терпение, и окончательное освобождение от российского изоляционизма[4], и

---

[4] О «вселенской отзывчивости» Аверинцева говорить не приходится. Но, кроме обыкновенно имеющегося в виду под «вселенским» европейского, собственно говоря, наследства, открывающегося эллинством, в случае Аверинцева необходимо добавить еще одну огромную традицию. Как помнят знавшие его, Сергей Сергеевич называл себя «средиземноморским почвенником». «Средиземноморское» включает в себя и Афины, и Иерусалим. Когда на панихиде пели об упокоении усопшего «в лоне Авраамовом», я вдруг почувствовала, что в отношении к Аверинцеву это выражение приобретает совершенно особый смысл. Да, он любил это «лоно» не так, как это делает всякий христианин: его погружение в ветхозаветную традицию, да и в стихию средневекового иудаизма было беспримерным для человека русской культуры. Я не говорю уже о том, что конфессиональный изоляционизм, от которого не избавились самые свободные наши духовные люди, для Аверинцева был чужд и враждебен. Он знал и давал почувствовать силу и красоту традиции западного христианства, католического и протестантского. За пределы иудео-христианской почвы его культурное гражданство не выходило: дальневосточные и мусульманские темы никогда его не привлекали, разве что в гётевском пастише «Западно-Восточного Дивана».

внимание к другому — вот «последние правды», которыми Аверинцев, наследник гонимой культуры и гонимой веры, восполнил вдохновение начала века. Он восполнил его политическую (в античном смысле политического) мысль любовью к мере и закону, той, всегда недостающей отечественному сознанию ясностью, которая связана с традицией Аристотеля. «Мера» и «умеренность» только в вульгарном представлении противопоставлена прямоте и силе. Чем Аверинцев всегда восхищался, это бесстрашием, готовностью на риск, прямотой.

Нам еще долго нужно обдумывать слово Аверинцева, и это совсем не просто — уже потому, что оно никогда не выражается в форме мировоззренческой беллетристики, привычной форме русской религиозной мысли: оно заключено в конкретных филологических трудах, в том, как Аверинцев читает Вергилия и Нарекаци, Вяч.Иванова, Мандельштама и Царя Давида, Плутарха и Сирина, Жуковского и Лафонтена («Крылов и Лафонтен» — один из последних блестящих докладов Аверинцева, который мне довелось слушать в Париже в 2002 году). В том, наконец, как он читает Новый Завет. В том, как он читает «знаки времени».

О последнем. В уже баснословные года позднегорбачевской «реабилитации веры», когда в Библиотеке иностранной литературы открывался Религиозный зал (в этот же день объявили о кончине Партриарха Пимена), среди многих выступающих говорил Аверинцев. Он говорил о том, что время гонения, время всеобщей апостасии (отступничества) дало нам почувствовать то, что человеку было гораздо труднее оценить в благополучные времена традиционных христианских государств: мы услышали Евангелие в самом деле как «радостную весть», «добрую новость»; мы вполне пережили слова Господа о том, что Он принес жизнь, и жизнь с избытком, — ибо все другое, все вокруг нас со всей очевидностью было смертью... Мы вполне пережили то, что эта весть несет свободу («и узнаете истину, и истина освободит вас»), что Господь «выпускает на волю узников и тем, кто во тьме, открывает свет». Мы это пережили просто потому, что и в самом деле были в узах и темноте. Но поразительнее всего было для меня то, чем Аверинцев кончил свое слово: «Но стоит быть готовыми, что и это пройдет, и нынешняя эсхатологичность, нынешняя близость "последних вещей" померкнет, потому что история не кончается: она кончалась уже много раз. Однако этот опыт когда-нибудь вновь оживет». Мы видим теперь, что слова эти сбылись, что не Жизнью и не Свободой, а чем-то совсем иным привлекает храм множество приходящих в него... «Верой предков», «моральными устоями», «национальным единством»...

Добавлю от себя еще об одной вещи, сверкнувшей тогда и померкшей к нашим дням, — о вещи, прямо относящейся к самому Аверинцеву. Не только «радостную весть» о Жизни нам было дано почувствовать необычайно живо в те времена «серого террора». Мы въяве пережили и то, что выражает древний девиз Оксфордского университета: «Свет Христов просвещает всех», забытое в Новое Время основание христианской цивилизации, убежденность в том, что образование угодно Богу, что умственные дары даются свыше и что творчество — род служения Ему. Просвещение, которое нес с собой Аверинцев[5], было

[5] Просветительство было его несомненным призванием. Как-то, столкнувшись на улице Горького, мы остановились, и Сергей Сергеевич стал рассказывать о своих новейших разысканиях в арамейском субстрате Нового Завета. Оглядев торопящихся в разные стороны людей, он воскликнул: «Мне всем, всем им хочется это рассказать!»

одновременно просвещением культурным — и просвещением духовным, оно было «Светом Христовым», который освещает всю земную жизнь человека, и высшее в этой жизни, умственное и художественное творчество. Возрождение русской культуры было одновременно культурным и церковным возрождением — вещь немыслимая в современной Европе! Оказавшаяся возможной у нас потому, что и то, и другое подлежало официальному искоренению[6]. Одно вдохновение веяло в этом, и стихотворная строка сообщала чувство причастности к таинству бытия. Да, и это прошло. Церковность, кажется, меньше всего заинтересована теперь в искусстве и в свободной мысли — а те, в свою очередь, откатываются в сторону все более радикального секуляризма. «Культура» же, в руках Аверинцева возродившая свое первое значение — «возделывания»: возделывания человека, как земли, которая сможет благодарно принимать семена Слова, — эта «культура» ушла в нелепый учебный предмет, «культурологию».

Но этим эпизодом на открытии Зала религиозной литературы я хочу сказать, собственно, не о прозорливости Аверинцева, а о его общем герметическом методе. О методе *мудрости* — библейской Софии Премудрости Божией, которой он посвятил столько чудесных размышлений и о которой сказано, что она «дух человеколюбивый». О парадоксальном качестве этой мудрости: одновременно глубокой, сердечной вовлеченности в происходящее — и трезвой отрешенности от него. Эта мудрость отвечает собеседникам Аверинцева — древним авторам и непосредственным предшественникам — опытом двадцатого столетия, его страданием и терпением и новым знанием о том, как выбирается верность. В этом, говоря совсем обобщенно, я и вижу ответ Аверинцева времени и традиции, его новое слово, продолжающее историю «здравой русской мысли»[7].

«Пока мы ставим мосты над реками невежества, они меняют русла», — горько заметил Аверинцев. При новом повороте «рек невежества» (представление о нем дает цитируемый мной некролог), от дикой немоты и косноязычия к такому же дикому бесстыдному трепу, мосты Аверинцева как будто остаются заброшенными. Его слово обладало силой пробуждать от глухого невежества — не только умственного, но сердечного невежества — советского «нового человека». Постсоветского «нового человека» в его окамененном и непринужденном цинизме это слово, как видно, не трогает. Однако, как мы слышали от него, история уже кончалась множество раз. И это пройдет. «Но мы не имеем права на отчаяние, ведь правда? — говорил Аверинцев, — раз уж мы взялись. Раз уж мы дали слово. Разве не Вы написали —

"Мы выпьем за верность до гроба:
за гробом неверности нет"!..»

---

[6] Цитируемый «Отдел культуры» НГ этого не знает. Он полагает, что «в советские годы эти понятия (глубокой религиозности и высокой научности) были безусловно разведены, поставлены в оппозицию друг к другу». Поверьте старикам: и за то, и за другое «понятие» — да еще и за третье, вдохновенного искусства, — полагалась одна мера.

[7] Я пыталась более конкретно описать позицию Аверинцева в статье «Рассуждение о методе», см. НЛО, 27, 1997.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Глаза

Мир потускнел в два раза,
В два раза ослабло зренье.
Что было вредно для глаза?
Видимо, все-таки тренье

Между тем, что я видел,
И тем, что видеть велелось,
Я никогда не предвидел,
Что так расплачу́сь за смелость —

Скромную смелость видеть,
То, что доступно глазу.
Ложь нельзя ненавидеть,
Не подвергаясь сглазу

Того, что велено зренью,
Но невозможно узреть.
Ви́дению, а не виде́нью
Будем верны и впредь.

Бывшие друзья

Как беспощадны старые друзья,
Особенно в часы душевной смуты!
Без ненависти вспоминать нельзя
Зачеркнутые лучшие минуты.

Ты отказался от любви его,
Да и свою вернуть уже не в силах.
Где было все — теперь там ничего.
Зевота и зиянье дней постылых.

Фазиль ИСКАНДЕР — родился в 1929 году в г. Сухуми. Окончил Литературный институт (1954). Автор многих книг поэзии и прозы, романа «Сандро из Чегема». Лауреат многочисленных отечественных и зарубежных литературных премий. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

Антон САВИН

ИСХОД ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА

Повесть

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.
Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?

Н. Гумилев, 1921 г.

Глава 1. После панихиды

На кладбищах небольших городов всегда бывает много черных птиц — галок или ворон. В оттепель, когда снег желтеет, а лед скользок, как никогда, их резкие крики почему-то кажутся особенно громкими.

Непонятно, зачем на земле существуют подобные места. Ведь если поверить, что дорогая и обессиливающая процедура похорон так важна, то непонятно, почему же, покинув кладбище, живые ничего не меняют в своей жизни.

Читая молитву над покойником, отец Георгий почти воочию видел, как эта молитва стекает с лиц людей, шепчущихся, одергивающихся, неподвижно стоящих. Он пытался добавить силы в голосе — и получалось, но непроницаемым лицам-стенам от этого не становилось тревожнее. Краткой искрой сознания, которая оставалась среди монотонного, привычного священнического речитатива, он пытался винить во всем себя, вспоминал, как молился на панихиде собственного сына, — но воспоминание тоже не втекало в душу. Помнилось только, как на крики, что сын тонет, выбежал из большого Спасского собора, прервав службу, — а ведь сперва бросился в другую сторону, к алтарю, и только потом все же выскочил на улицу.

За это самое дезертирство, за оставление своего поста за алтарем, да и за многое другое, нешелковое, в настоятельской деятельности отца

Антон САВИН — родился в 1979 г. в Москве. Учился в Литературном институте. Первый литературный опыт — повесть «Вознесенск» — был опубликован журналом «Север» в 2000 г. (№ 8). В центральной литературной печати публикуется впервые. Член Союза писателей Москвы. Живет в Москве.

Георгия его пять лет назад и отправили сюда, в малую Казанскую церковь. Она стоит на самом краю города, который и сам невелик.

Наконец панихида закончилась. Отец Георгий сел в машину, зеленую подержанную «копейку», за рулем которой уже сидел старший сын — сам Георгий так и не научился водить.

Несколько лет ранее он проще отнесся бы ко всему — и к равнодушию прихожан, и к болезненной повседневности обряда, сопровождающего смерть, — наверно, даже припомнил бы про себя или вслух пару юмористических случаев, бывших в его практике при подобных церемониях. Например, один раз в совершенно незнакомом доме отец Георгий встал точнехонько под развесистыми оленьими рогами, висевшими на стенке, и лишь не подходящая случаю веселость родственников покойного заставила его обернуться и увидеть все своеобразие своего положения. Или в другой раз священник забыл дома очки, а когда рассказывал об этом домашним за обеденным столом и Даша спросила: «А как же ты отпевал, батюшка», один из многочисленных сыновей отца Георгия пискнул: «На ощупь».

Но и сейчас обычно молчаливого священника иногда, что называется, прорывало — сидя за праздничным столом на поминках, он мог чуть ли не часами рассуждать вслух о каких-то ему одному понятных вещах: об опровержении теории Дарвина, о бездуховности современного мира, о сумятице в современном искусстве и во всех понятиях людских. Отец Георгий осуждал Интернет, о котором большинство пожилых прихожан и слыхом не слыхивали — и, бывало, замечал в такие минуты, что, когда язык его вязко и неумолимо проворачивается во рту, он сам хочет сказать о чем-то совершенно другом, и не им, прихожанам, а самому себе, самому себе сказать что-то важное, и понять, почему это что-то, хоть и невысказанное, делает его сейчас смешным.

Теперь отец Георгий возвращался домой. Дома его всегда ждали: сыновья, матушка Дарья и горы клюквы. Энергичная попадья занялась недавно делом прибыльным и в то же время для церковного человека вовсе не зазорным: заключила договор с одной питерской фирмой на поставки клюквы и обильно принимала ее у всех желающих — болота и леса вокруг всегда были щедры на красную ягоду.

Когда родился седьмой ребенок, семье Ярмиловых повезло: неожиданно им выделили две смежные квартиры в новом пятиэтажном доме. Если учесть, что это был единственный панельный дом, построенный в городе за последние десять лет, везение оказалось просто фантастическим.

Особенного счастья в семейной жизни отец Георгий не узнал. Уже давно они с женой ночевали и, можно сказать, жили в разных комнатах, сталкиваясь только за обеденным столом. Маленький кабинетик отца Георгия, служивший ему также спальней, был заполнен различными вещами сверху донизу, так что удивительно было, как здесь умещается

сам хозяин. Кроме многочисленной религиозной и мирской литературы, здесь можно было найти совершенно удивительные вещи — например, в стенном шкафу хранился старенький карабин, который один прихожанин, получивший условную судимость и потому потерявший право владеть оружием, почти даром отдал своему духовному отцу. С тех пор прошло уже семь лет, и карабин не сделал ни единого выстрела, хотя боекомплект к нему хранился в том же шкафу.

А в гостиной, в старинном, высоком стеллаже хранилась коллекция старопечатных книг, которые отец Георгий начал собирать еще в прежней, досвященнической жизни и продолжил в первые годы новой. Там, на полках, царил покой и образцовый порядок — хотя бы потому, что давно уже никто не открывал дверцы, хотя никаких запретов на этот счет Георгий никогда не делал.

Но устремление к книгам все-таки осталось, хоть и притупилось с годами. Вот и сегодня была радость, когда самый младший сын по возвращении отца Георгия огласил, что с почты принесли бандероль с географическим атласом американской фирмы, выпущенным специально для русских читателей. По настроениям Православной церкви, да и по личным склонностям отец Георгий американщины не одобрял, но на присылаемые проспекты этой конкретной фирмы не выдержал, поддался, и не раз заказывал недешевые, но красочные альбомы на замечательной бумаге. Там изображались чудеса Божьего мира: нерукотворные арки из розового камня, искрящегося под солнцем далекой пустыни, и бор из огромных окаменелых деревьев где-то за океаном, и люди и народы, и сам Храм Гроба Господня в Иерусалиме, сфотографированный с падающим на Гроб широким и слепящим лучом.

Отец Георгий делал вид, что заказывает все это для детей. Так оно отчасти и было — особенно младший сын, Саша, был любознательным и одновременно нелюдимым, как сам Георгий. Саша устраивал в своей угловой комнате химические опыты, разводил из научных интересов самые причудливые растения, которые только можно было достать в городе. Зимой в те дни, когда отопление отключали или сильно притушивали, он ходил по всей огромной квартире, слитой из двух, и пристраивал свои цветы, где потеплее. Даже сам Георгий смягчался и брал их в свою невозможную тесноту, но наблюдать оживание растений все же не дозволял, потому что вход в его комнату домашним был категорически запрещен — и после самых отчаянных просьб двенадцатилетнего сына собственноручно выносил кадки и показывал их в дверях.

Сейчас отец Георгий унес в свою комнату атлас, обошедшийся ему в почти в недельный бюджет всей огромной семьи. Он медленно листал Россию, Европу и Африку, пока не увидел карту Святой Земли. Здесь отец Георгий подробно остановился, он смотрел и видел, что Вифлеем по-еврейски называется Бетлехем, а Назарет — Эн-Насира.

Он склонился над цветной книгой, выглядевшей огромной бабочкой в его небольших морщинистых ладонях, водил ногтем по американскому глянцу, беззвучно шевеля губами, и был бы, наверное, жалок для постороннего взгляда в этот миг. Но Георгию казалось, что он сам — Божья пешка на этом косо расчерченном поле, что он вырезан острием резкого света, луча, падающего с неба.

Отец Георгий не заметил звонка — впрочем, не так уж это удивительно, ибо его кабинет располагался от входной двери дальше всех комнат. Не заметил увлеченный новой книгой священник и некоторого переполоха, поднявшегося в прихожей.

Отец Георгий на людях всегда носил косичку, поскольку при любом другом способе укладки длинные волосы, подобающие священнику, слишком мешают в быту. Вот и сейчас он вышел к обеду, заплетя косу, в коричневом свитере и брюках. И уже не мог не заметить оживления — младший сын Саша триумфально заявил:

— Женя приехал!

Тут же на кухню зашла Даша и, злобно взглянув на отца Георгия, подхватила тему:

— Бросил!

И больше ничего сказать не смогла.

Женя был одним из старших сыновей Георгия, до сих пор с грехом пополам учившийся в областном педвузе. Теперь выяснилось, что он не сдал — вернее, даже не пытался сдавать — летнюю сессию и пару месяцев, опасаясь предстать пред родительскими очами, путешествовал по стране.

— Автостопом ездил, — сообщила Дарья, и отец Георгий в который раз за время супружеской жизни поразился, насколько быстро умеет его жена проникать во все современные, только что появившиеся понятия, насколько умеет она все усваивать и переваривать, и насколько это свойственно женщинам вообще и Даше в особенности. Не обладая особенным образованием и кругозором, она умела в то же время все принять и понять, кроме одного, самого главного: красоты бесполезного.

Возможно, будь она глупой и злой женщиной, отцу Георгию было бы и легче в душе. Но, свой путь земной пройдя до половины, Даша словно бы остановилась и полюбила себя навсегда — и с годами лишь грубел ее голос да въедались новые морщины, но душой она оставалась та же и там же, лишь накапливая понемногу естественное раздражение жизнью. Да и внешне она старела не очень сильно — про таких, невысоких ростом, приземистых фигурой и с детской обидой на лице, как раз говорят, может быть, не очень почтительно, но удивительно верно: маленькая собачка до старости щенок.

Правда, Дарья была человеком практическим — а за это, говорят, нужно все прощать. Как матушка она тоже достойно вела свою роль:

пела в церковном хоре, особенно раньше, пока не занялась еще всеми возможными клюквами, являла благотворительность, так что каждый день на пороге квартиры возникал хотя бы один нищий и не уходил голодным, жадно поедая Дашину стряпню в прихожей или на кухне — это уже в меру его смирения. А главное, на весь район матушка прославилась как образцовая мать.

Будучи еще и женщиной в некоторой мере интеллигентной, она писала статьи о воспитании детей в местную газету, избиралась членом каких-то комитетов при мэрии. Главное же, что давала подобная слава, — Дарье доверяли нянчить чужих младенцев, причем принося их прямо на дом, и эти младенцы наряду с клюквой и церковными доходами составляли бюджет Ярмиловых, мирской семьи отца Георгия.

Несмотря на это многообразие источников, семья часто жила в состоянии истерической бедности. Дети Ярмиловых, надеясь на энергию матери, не спешили приносить в дом свою долю — хотя жили все здесь, за исключением самого старшего.

За столом мать Дарья рассуждала о сыне Жене, не обращаясь за помощью к отцу Георгию, ибо она уже твердо усвоила, что в делах семьи он не помощник. Она обращалась скорее за сочувствием и в то же время читала лекцию остальным, собравшимся за столом. Наконец появился и сам виновник — высокий сутулый юноша с грязными и длинными волосами, которые, конечно же, не догадался собрать в спасительную косичку. У отца Григория мелькнула было мысль, что Православная церковь даже на такую мелочь имеет свои традиции — отличие от безродных движений хиппи и неформалов, и он хотел озвучить эту мысль, но смутился и не стал.

После обеда мать Дарья продолжала распекать сына, а отец Георгий пошел вглубь квартиры и вдруг увидел на выступе полки альбом с фотографиями. Только что их там не было. Рядом лежала сумка сына.

По природе своей Георгий не был любопытен и уж никогда не вторгался в чужую жизнь. Но альбом случайно открылся посередине, и священник увидел изображения какого-то собора. Это был православный храм, но странный: внешние стены его были изукрашены обильной лепниной, богато расписанной темными оттенками красного, зеленого и синего. Да и сама лепнина мало походила на ту, которой обычно покрывают церкви: здесь присутствовали растительные мотивы, а самый верх украшали, как будто гирлянды, каменные бусы, так что вся церковь напоминала нарядную девушку. Отец Георгий подумал, как это верно, ведь Святая Церковь — невеста Христова, но тут же укорил себя: разве в таких пышных нарядах идет венчаться христианская невеста? Где белизна и чистота? Да и в самом орнаменте было что-то инородческое, не традиционно русское, и в это же время слишком замечательное. «Но мало ли какие мотивы впитывала наша право-

славная традиция, — думал отец Георгий, не замечая внушительного толчка, которым наградил его, стоящего в проходе, кто-то из домашних, не замечая и угрюмого извинения. — Мало ли что может приспособить она чудесным образом к делу праведного служения Богу?»

Георгий отвернулся, но церковь не исчезала, она словно стояла перед его глазами, манила, и он вспоминал свою простенькую Казанскую церковку — подобно тому, как верный доселе семьянин видит вдруг слишком уж прекрасную женщину, и прошлое скучнеет, отпадает и становится прошедшим.

Конечно, чувство отца Георгия не было таким уж сильным, да и что такое прошлое? У него уже была одна прошлая жизнь, та, которая происходила до хиротонии, до посвящения в сан, и теперь настоятель Казанской церкви вспоминал ее редко, отрывочно, словно завалялась у него порванная кинопленка, касаемая кого-то и где-то, а почему этот коварный кто-то напрашивается в родство — непонятно. Иерей Георгий старался держаться от него подальше.

Но сейчас именно это сверхпрошлое — Георгий, увы, в такие минуты не мог с ним ничего поделать — вторглось в его душу и приказывало восхищаться, и выталкивало иерея из его спокойного, сонного состояния последних лет, словно говоря: иди. Снова хотелось что-то изменить — желание, вовсе недостойное в солидном человеке — в частности, хотелось приукрасить Казанскую церковь, покорившись видению прекрасного чужого храма.

Это пробуждалась мечтательность — к страху для ее обладателя. Ибо в отце Георгии жил и временами показывался на свет самый опасный для себя и своих ближних тип мечтателя: не безвредный и приятный в общении Манилов, но мечтатель деятельный, и даже более того, способный пойти до конца. В первые годы своего священничества отец Георгий читал, бывало, проповеди против прошлых хозяев России, большевиков, и вдруг поражался — Господи, прости меня грешного, ведь я и сам же такой!..

А лукавое воображение тем временем рисовало, подробно и точно, план переустройства, эскиз будущей работы — где закрепить пилястры, и как станут ниспадать сверху каменные гирлянды, каждый камешек в которых будет как отблеск мифического камня маргарита. Ум помогал воображению, считая и доказывая, что затраты на переделку собора будут не такими уж значительными.

Да, с горечью перебивал себя отец Георгий, а что скажут прихожане?.. А, главное, в епархии? Георгий, мол, опять за старое?

Он взял в руки альбом и пошел в гостиную, где сидел уже почти прощенный Женя — у Дарьи сегодня было хорошее расположение духа, да и вообще она была столь же отходчивая, сколько вспыльчивая.

— А, альбомчик смотришь! — сказал сын отцу, — только это не мой.

— Как это — не твой?!

— А, это парня одного, он с нами был. У меня откуда деньги печатать фотки?.. Потом он к себе в Питер поехал, а альбом у меня забыл...

Только сейчас отец Георгий обратил внимания на то, что внизу фотографии помещался его сын и с ним парочка таких же растрепанных юношей.

— А это где?

— Это? Не помню... Кажется, в Казани. Да, в Казани. Мы там так клёво...

Что было клёвого в Казани, Евгений не досказал — видимо, это знание для родителей не предназначалось. Но отец Георгий и не интересовался — он уже услышал главное и ушел к себе.

Казань! Совпадение не может быть случайно. Хотя название Казанской церкви связано, как известно, не с самим городом, а с образом Богоматери, найденным в этом городе, все равно указание выходило недвусмысленным. Да и само обретение одной из наиболее почитаемых на Руси икон именно в Казани вскоре после ее отторжения от магометан разве не знаменует особенную ценность новых впечатлений, новых приобретений, только что находившихся, казалось бы, далеко за пределами христианства?

Но ближе к вечеру перед отцом Георгием неотвратимо встал призрак бури, которая разразится в его приходе, и так слишком уж часто омрачаемом разными инцидентами. Матушки, то есть околоцерковные женщины, все эти регентши, свечницы и просто фанатички — какой прекрасный повод для них показать все свое благочестие... Нет, у него вырвут из рук кисть прежде, чем он успеет ступить на первый ярус лесов!

Отец Георгий засыпал, успокоенный замечательным решением изгнать, словно беса, прельстивое видение и, может, только в иные секунды баюкать его в глубине себя, как нерожденного младенца.

И только к самой ночи, сквозь уже почти победивший сон, зачем-то вспомнились ему слова Антония Великого, читать которого отец Георгий особенно любил: «Напрягайся непрестанные изливать молитвы со слезами, чтобы сжалился над тобою Бог и совлек с тебя ветхого человека». Вспомнились и пропали.

Но утром беспокойство было воскрешено.

— Пап, к тебе!

Отец Георгий вышел, хмурясь, ко входной двери, а там нахмурился еще больше. Перед ним стоял некто в монашеском одеянии. Своих монастырей в окрестностях города не было, значит, гость — издалека. И его придется устраивать, хлопотать. Может, он будет что-то выпрашивать, а может быть, привез какие-то неприятные вести из епархии.

«А ведь когда-то появление в городе всякого нового церковного человека было для меня почти праздником», — подумал отец Георгий.

Даже отцу Павлу он поначалу улыбался при встрече на улице — и, что не менее странно, Павел в ответ улыбался ему.

Прибывший инок все еще стоял в светлом проеме полуоткрытой двери, лицо его в тени прихожей было неразличимо — видно было только, что он большого роста и, чувствовалось, немалой физической силы. Монах невольно смотрел на невысокого Георгия сверху вниз. Он неторопливо объяснил, что прибыл в район для пустыннического подвига, которого он долго жаждал и на который его наконец благословил настоятель монастыря. Местом же своего отшельничества инок Савватий избрал бывшую Антониевскую пустынь, ныне полностью разрушенную, которая находилась километрах в сорока от города на берегу большого озера, довольно далеко даже до ближайшей деревни.

Отец Георгий сказал неприветливо, что не обязательно выбирать такие экзотические способы служения Богу, что и на своем месте можно быть Ему не менее угодным, что чрезмерное внешнее усердие легко переходит в гордыню, а взятый груз может оказаться слишком тяжелым.

Инок слушал молча, спокойно, и слова про взятый груз звучали не особенно убедительно применимо к его огромной фигуре.

— А питание? — перешел отец Георгий к более прозаичным вопросам.

— Рыбаки там бывают, я им помогать буду... да я, отче, уже оттуда. Дня четыре уже живу, договорился, чтобы в сторожку меня пустили. Уж простите, что сразу не пришел за благословением...

— Ладно-ладно, а зимой назад, в монастырь?

— Нет, останусь. Перезимую как-нибудь. С другим хозяином договорюсь...

— Да, большое дерзание в тебе есть, ежели ты правда сподобишься!.. Ладно, проходи в дом, что стоишь. Справку тебе дам, что ты не бродяга. Какое было твое мирское имя и фамилия?

— Да вы так и не узнали меня, отец Георгий! Помните — я же плотником у вас был, плотник Илья, помните?..

Священник ушел в кабинет, вовремя подоспела и Дарья, спровадив очередного клюквенника: налила Савватию большую тарелку щей. Отец Георгий яростно стучал на машинке, пока не вышла справка, которую он закрепил церковной печатью. Было от чего затревожится: плотника Илью отец Георгий еще недавно помнил слишком хорошо — и на месте настоятеля монастыря вряд ли благословил бы его на постриг.

Глава 2. **Начало**

Казанская церковь была невелика даже для уездного города и находилась вдобавок на его окраине — но зато это был единственный храм в области, который не закрывался никогда, даже в годы самых лютых

гонений. Поэтому хотя и требовал он постоянного мелкого ремонта, но все же переходил от одного настоятеля к другому в целостном и ухоженном виде.

Иначе сложилась судьба остальных церквей района, превращенных в склады или просто непривлекательные развалины. В самой большой центральной городской церкви, лишившейся куполов и остальных храмовых регалий, разместился краеведческий музей. Когда Георгий, еще не священник, а член советского союза художников, обрел веру православную, то он больше всего ратовал за восстановление именно этой церкви. Он лично добился вывода оттуда музейной экспозиции и сам на полуразбитой телеге, запряженной серой слабосильной лошаденкой — иного транспорта добиться не удалось, — два дня перевозил все экспонаты в новое помещение.

Тогда из епархии прислали жестокого надменного старика-иеромонаха, вдовца, с запуганной и очень красивой малолетней дочерью. Дочь куталась в церковной платок, надменный старик служил, а Георгий помогал ему, раздувая кадило и топя печку, то есть исполнял обязанности алтарника — а главное, своими руками реставрировал церковь. Нельзя говорить, что больше никто из верующих не предлагал свою помощь, — но вышло, что первым делом за все брался будущий отец Георгий, а поскольку он тогда возглавлял приходской совет, то все ждали распоряжений именно от него. Вот тут-то и обнаружилась одна черта будущего батюшки, не очень-то подходящая священнику: сам умея делать многое, он не умел организовать людей — а может быть, и не хотел. Этот угрюмый зодчий не умел соприкасаться в святом деле ни с кем, и сколько ни боролся со своим чувством — не то гордыней, не то ревностью художника, привыкшего воплощать свои замыслы только в одиночку, — мог замолить, победить его лишь ненадолго.

Через какое-то время радение художника Георгия о церкви стало известно, и когда в престольный праздник почитания иконы Спаса Нерукотворного в церковь прибыл с визитом архиепископ, будущий священник был удостоен беседы, во время которой владыка и предложил Георгию после необходимой подготовки принять сан. Прошел год ученичества при епархии, а также несколько месяцев в Троице-Сергиевой Лавре, и отец Георгий был рукоположен и вернулся в свой родной город уже настоятелем Спасской церкви взамен временно служившего вдовца-монаха.

В иные моменты отец Георгий любил воскрешать в памяти свою хиротонию, то есть посвящение. Но бывало, что он и боялся этого, чтобы не вспомнить заодно страшного и в высшей степени неприятного ощущения, которое пришло сразу после выхода новохиротонисанного священника из большого кафедрального собора, где только что владыка шептал ему, словно самому дорогому для себя человеку: «И проси

Бога о прощении твоих грехов и о даровании тебе непорочного священства».

А на улице вдруг страшная мысль ударила отца Георгия, ссутулила его плечи — ему показалось, что он даже и не христианин вовсе, что, самозванно дерзнув подняться на еще более высокую ступень, нежели простой верующий, он обманул и владыку, и всех остальных, кто благословил его только что на новый путь. И зачем, как и почему он здесь вообще оказался, и не всего ли это одна картина из тех, которые он написал за свою жизнь? Ведь искры на снегу, и шапки-камилавки священников, и роскошь облачения архиепископа — только кощунственная игра светотеней, устроенная им, лживым Георгием, в подношение своей собственной гордыне...

Новоиспеченный иерей принимал поздравления, и ехал куда-то в тесном микроавтобусе — выяснилось, что в епархию — и только там немного отошел, успокоился. Больше это дикое чувство к отцу Георгию не возвращалось — по крайней мере, с такой ясностью и ужасом. Он читал у отцов и предстоятелей Церкви о пастырских искушениях — но тайного страха своего, ослепительного, как молния, он не нашел даже там, где должно находить примеры на все случаи жизни. Неужели это был грех самый немыслимый и доказывающий полную неспособность к священству?

Неудивительно, что в первый год отец Георгий совсем не вспоминал об этом случае. Он был всецело поглощен восстановлением своего собора. Господи, как прекрасно это звучало — свой собор! И причем такой, где все нужно было создавать самому.

Никакой холст не мог дать подобного чувства слитности, подобного разнообразия: ведь в соборе можно было и реставрировать купола, и писать новые иконы — и даже расписывать своды. Но на первых порах об этом пришлось забыть — пришлось заняться самым насущным: постелить новый пол, чтобы помещение алтаря было выше прочих, возвести временную перегородку вместо иконостаса, отбивать верхний слой штукатурки от стен — ведь до того, как класть свою роспись, нужно было удостовериться, что прежняя сохранилась вовсе плохо и не представляет теперь никакой ценности. Понадобилось соорудить еще одну перегородку, за которой велись восстановительные работы, в то время как в остальной части церкви своим ходом шли службы.

С этой перегородкой была связана одна в высшей мере неприятная история, которая могла бы окончиться подлинной катастрофой. Как-то перед вечерней к отцу Георгию подбежал алтарник, сын, которому исполнилось тогда всего десять лет, с побледнелым от ужаса лицом, и даже не мог объяснить толком, что же он увидел, и только показывал в сторону фанерной стены. Отец Георгий зашел за нее и увидел мужика, серого, в невнятном драном полушубке, который держал веревку — в

одной руке петлю, а другой пытался достать до стропила. Священник вывел самоубийцу, который оказался пьян и тем не менее вполне мог бы преуспеть в своем намерении — вместе с собственной душой предать навеки поруганию и церковь.

Когда выводил, отец Георгий даже побоялся взглянуть в лицо ужасному и жалкому грешнику. Да, страх и ярость одновременно душили священника — ничего подобного ни до, ни после в своей жизни этот спокойный характером человек не испытывал. Хотелось просто, так и не взглянув, не сказав единого слова, уничтожить, убить, проклясть так, чтобы живого места не осталась. Убогая фигурка давно исчезла, а отец Георгий все еще стоял на берегу вскрывшейся реки, пахнувшей холодом и сладким тленом начавшейся весны, несущей в бешеном водовороте остатки льда, и проклинал, проклинал, как будто и не было никогда на земле никакого смирения.

Он всегда приучал прихожан отличать веру от суеверий, в том числе и в самом церковном обиходе, — но тот случай подлинно повлек за собой полосу неудач. Наконец, в июне условленно было провести крестный ход — первый в городе за семьдесят лет. Настоятеля Спасского собора поддержали в епархии, и дозволение местных властей было получено — но две недели сплошь лили дожди. Когда подошел условленный день, стало ясно, что кроме десятка собственно церковных людей на ход никто не придет — разве что на секунду, полюбопытствовать издалека, из-под зонтика. И уж, конечно, не будет речи о том, чтобы пройти целиком условленный маршрут в несколько километров длиной — по местоположениям всех изничтоженных городских храмов и часовен, которых насчитывалось более десяти.

Была у иерея Георгия одна постыдная тайна — он не любил молиться про себя. То ли судьба собственной души казалась слишком ничтожной по сравнению со словами, громогласно произносимыми в пространстве храма, то ли другой мотив отвращал его от личной молитвы — неясно. Да и что просить у Господа? На служение Себе Бог и Сам призвал отца Георгия, а остальное разве нужно?

Но в канун крестного хода Георгий молился горячо, хотя совершенно бессвязно — особенно для человека, который регулярно совершает молебны по долгу службы. Он укорял то ли Бога, то ли самого себя в том, что взял ношу неподъемную, не ту, не для себя, слабого — как пытался когда-то писать картины, слепки Божьего мира, как не мог светить и не мог даже сгореть незаметно и бесполезно, зато навсегда, как нить лампы. Господи, дай мне светить или сгореть, призови или отзови меня: что сделал я Тебе, несчастный солдат Твой, что даешь дерзновение, но не даешь силы, указуешь врага, но не даешь ясный приказ — разве воля Божья изъясняться только намеками?.. Как хотелось бы мне вернуть на землю три Твоих и моих церкви — Спасскую, Покровскую и

Николаевскую в пустыни, и я сделаю это, жизнь положу и не воспрошу больше никакого указания, но пусть будет мне только сейчас помощь, и пусть буду я всю дальнейшую жизнь жалок, пусть, этого-то мне совсем не страшно — пусть только служится мне, и ложится дорога под ноги, ложиться мазок под кисть. А если не дашь — тоже возблагодарю Тебя и пойму, что не призван, увы, и отойду в тень, и не спасу свою душу и даже не сгублю ее, как бы горько мне это ни было.

Когда Георгий закончил свой разговор, он увидел, как сквозь узкое окно прорывается чистый белый луч. Он уперся в него взглядом, не понимая, не успокаиваясь, и забыл даже быть счастливым.

Архиепископ, заранее сообщив по телефону, что по занятости вряд ли сможет участвовать в крестном ходе, так что никто ни в коей мере и не надеялся, почитая оное за завуалированный отказ, вдруг в самый последний момент приехал. Хоругвеносное шествие привлекло к себе немало горожан, город выплыл из своего сонного полузабытья, и рыбьи глаза его на секунду взглянули по-человечески. На следующий день владыка уехал, и дождь зарядил еще на две недели — но теплоту того единственного дня Георгий и сейчас, по прошествии десяти лет, держал в себе.

А потом отца Георгия окружили, затопили и чуть не затоптали церковные женщины, называемые в обиходе «матушками». Ему они оказались не матушками, а мачехами. Очень быстро в церкви образовалась партия юродствующих, во главе которой стоял некий непонятный юноша лет двадцати, летом вечно подходивший к храму в отцовском сером пиджаке и тренировочных штанах — он утверждал, что ничего больше не имеет. Юноша настоял гнусавым голосом, чтобы отец Георгий взял его к себе в пономари*, и священник вынужден был согласиться, потому что другого претендента на эту должность в городе не сыскалось. Юноша гундосил и требовал заботы, как сын родной, и хотя не приворовывал, как иные из его союзниц-матушек, очень скоро стал неприятен отцу Георгию. После службы он все время норовил остаться в церкви подольше — но когда Георгий поручил ему помочь в реставрации, тот немедленно уронил себе на руку что-то тяжелое, отчего ходил и ныл следующий месяц хуже прежнего.

В конце концов, придравшись к тому, что захвативший заодно и должность регента паренек при выходе из церкви на полную мощность включал магнитофон с тошнотворными современными козлопениями, пряча его на время службы в соседнем сарае, да частенько огрызался, как звереныш, отец Георгий решился спровадить его. Тогда-то матушки и подняли скандал, так что однажды немолодому священнику не в шутку грозила физическая расправа от дюжины недовольных женщин — пришлось укрыться в недостроенном алтаре.

---

* Пономарь и алтарник обозначают приблизительно одно и то же.

Они всерьез приняли мальчишку за блаженного: завалили епархию вздорными жалобными письмами, и свечница в отместку стала красть еще вдвое больше из церковных денег. В епархии, конечно, сам по себе шум в расчет не приняли — но не могло не создаться впечатления, что новый настоятель приход свой в руках держать не может и к пастырствованию малоспособен.

Когда отцу Георгию наконец удалось избавиться от прилипчивого юнца, он взял в алтарники своего маленького сына. В новеньком стихаре сын бегал по храму, как солнечный зайчик, и глядя на него, отец испытывал непонятное чувство: смесь радости, недовольства собственными нецерковными чувствами и непонятно откуда взявшегося болезненного страха.

Спасская церковь находилась в самом центре города на маленьком острове в устье двух сливающихся рек, между которыми нашла себе дорогу небольшая протока. Там, где реки сливались, грохотал порог и вода не замерзала в самые лютые морозы. Туда и упал отрок-пономарь, заигравшись на берегу. Было это в людную службу — и Даша, и все дети были здесь. А поскольку таинство литургии не может быть прервано ни по каким мирским причинам, то эта история, видимо, и была той последней каплей терпения, после которой Георгия перевели в менее значительную и более спокойную Казанскую церковь.

А сына искали еще полгода, и Георгий не мешал Даше сговориться с какой-то иноверческой, протестантской организацией, которая из благотворительности наняла в Финляндии катер с эхолотом и добросовестно, но безрезультатно прочесала им реку довольно далеко вниз по течению. Только к осени труп зацепился за перемет местного рыбака-пьяницы, изредка присутствовавшего на службах отца Георгия. Бывший художник выточил памятный крест у того места, где утонул мальчик — то есть возле своего прежнего храма, — а похоронил сына на городском кладбище, рядом со своей новой церковью.

Однако и на новом месте отец Георгий не остыл. Он вспомнил, как давал обет восстановить еще и Покровскую церковь, которая находилась не в городе, но недалеко от него в большом селе Левица.

Если в Спасской церкви размещался краеведческий музей, место работы людей более или менее культурных и вдобавок присматривающих за зданием, то судьба Покровской была еще трагичнее. Снаружи Спасская церковь лишилась только куполов и барабанов — а Покровская почти полностью разрушилась. Даже колхозный склад был выведен оттуда лет двадцать назад за ненадежностью помещения.

Отцу Георгию казалось, что только тогда он впервые в жизни узнал, что такое работа. Этот каторжный труд можно было сравнить разве с работой на снарядном заводе в прифронтовой полосе, когда враг уже подходит совсем близко. Георгий называл свой третий храм «Покрова

на щепочках», и действительно, епархиальная комиссия долго поражалась, увидев через год возникшую как будто из небытия церковь, на которую не было отпущено из центра ни копейки денег.

Отец Георгий сделал резные царские врата и такую же резную люстру. Лежа на полу, она напоминала какую-то огромную небесную медузу — или даже тот самый причудливый плод с Древа Добра и Зла, которого до поры попробовали прародители рода человеческого, — и теперь будущие прихожане, которых допустили увидеть, боязливо и восхищенно смотрели на огромное деревянное тело. Отец Георгий один перебрал всю сгнившую крышу, переменил кровлю — и хотя были, как всегда, желающие помочь ему, он не верил им и, вроде бы не препятствуя, как-то невзначай отсекал людей.

И только с одним человеком он смог сработаться. Надо сказать, что вершиной замыслов священника было восстановление колокольни, от которой не осталось и следа. Между тем дореволюционные источники указывали, что она была самой величественной по масштабом уезда, превосходя даже все городские. В те времена колокольня была, разумеется, каменной — отец Георгий от безденежья решил строить деревянную.

Тогда он стал искать в окрестностях профессионального плотника, и таковой нашелся — это был Илья Торопов, ныне неожиданно представший перед своим бывшим духовным отцом в виде пустынника Савватия. Тогда этот высокий и сильный человек недавно вернулся из заключения и производил впечатление загнанного, израненного и нелепого существа. Он был очень худ, и растерянность пряталась в нем за злобу, а злоба — за растерянность. Его родной отец собирал среди местных жителей — и те охотно их давали — подписи, чтобы снова упрятать Илью за решетку.

Но плотник упрямо стоял каждую службу в церкви, не для многих уютной, и отец Георгий согласился взять его на работу за Дашину похлебку, хлеб и место в очень маленькой келейке, что находилась в притворе, то есть при входе в церковь. Илья и за это едва не упал ему в ноги — ведь все село, в котором было немало таких же судимых, настроилось против Торопова, и вход в родную избу был для него заказан.

Неожиданно ревностно приступил бывший заключенный к восстановлению храма, и говорил, что первый раз за жизнь делает что-то важное. Отречься от прежнего полностью ему, конечно, сразу не удалось — вскоре отцу Георгию пришлось выслать его из келейки за отчаянные попойки вместе с единственным другом в селе. Тогда Илья послушно и смиренно перешел в небольшой сарайчик на церковной территории.

Наконец все было готово. Торопов подготовил колокольню, отец Георгий заказал обшить железом собственноручно сделанный купол.

И вот купол привезли, а вместе с ним прибыл и большой автокран. Однако погода была слишком ветреной, и крановщик не рискнул поднимать купол, договорившись с отцом Георгием на следующий день.

В толпе, безуспешно ожидавшей необычного зрелища, был и Илья — это подтвердили многие. Он стоял, выделяясь своей худой и высокой фигурой, и сжимал в руке серый берет, поднося его зачем-то то к губам, то ко лбу. И вроде видели его ночью, перед тем, как колокольня загорелось, бродящим возле нее — хотя вот уже как две недели он перебрался жить в противоположную часть села к какой-то женщине.

Отец Георгий если и не потерял все плоды трудов своих за двухлетний период, то уж в значительной мере был отброшен назад. Хотя сгорела только сама колокольня без маковки, при тушении пожара сильно повредили и обстановку церкви, и только что сделанную крышу.

Но теперь священник не сомневался, как тогда, у алтаря Спасской церкви, через полгода после хиротонии. Раз в жизни он даже проявил организаторский талант. Мобилизовал и единственную дочь, приехавшую тогда по оказии из своего института, так что потом пришлось вспоминать старое знакомство с деканом. Вместе с новым пономарем, ставшим впоследствии иеромонахом Сергием, они ходили — она в платке, он в стихаре — по всем домам ближайших деревень и собирали у жителей деньги на новую колокольню. Пораженные таким невиданным за последние сто лет хождением, небогатые северные крестьяне жертвовали на удивление обильно.

Отец Георгий принял вызов судьбы, и даже более — поднял свое дерзание еще выше: новая колокольня должна быть каменной. До заморозков, когда невозможно стало бы класть раствор, оставались считанные дни. Колхоз свалил бульдозером стенку бывшего кирпичного коровника: и дети отца Георгия, включая наималейших, матушка, церковные женщины, не успевшие на новом месте обрести привычный норов, их мужья, обычно равнодушные к церкви, — все таскали на носилках битые кирпичи и отбивали от них кирками остатки старой замазки.

Все равно не успевали. Отец Георгий уже не молился — но заморозки в районе в том году наступили так поздно, как, по свидетельству областного телевидения, не запаздывали уже с полсотни лет.

Вместе с остальными работал и плотник — может быть, напряженнее всех. Никто и не думал его гнать — хотя некоторые странные обстоятельства и слухи вокруг пожара заставляли задумываться. Например, тогда исчез довольно большой колокол — расплавиться настолько, чтобы пропасть бесследно, он никак не мог. Говорили, что следы колокола вели к Торопову, что его единственный друг — тоже бывший заключенный — пропал из села аккурат после пожара и что вскоре похожий колокол предложили какому-то дальнему монастырю совершенно нецерковные люди.

Но в такие моменты дорожишь каждой парой рук, поэтому отец Георгий не стал заявлять в милицию, что вообще оказалось бы не в его характере. Да и подозрения были смутные — возможно, руководствуясь евангельской заповедью всепрощения, Торопова и вовсе не стоило бы очернять подозрением. И тем не менее священнику стало тяжело видеть его рядом с собой. Любой, кто вторгался в мир замыслов Георгия и посмел хотя бы раз ступить в этом мире неосторожно, уже должен изгоняться безжалостно.

Сам Илья то ли понял настроение своего пастыря, то ли и впрямь оказался нечист — отошел от церковных дел и скоро уехал куда-то, вроде бы на заработки. А затем отстранили от Покровской церкви и самого отца Георгия, до тех пор называвшегося настоятелем двух приходов. В епархии были недовольны, что единственному никогда не закрывавшемуся в их пределах храму уделяется меньше внимания. Кладбищенская церковь действительно требовала немало сил, поскольку все, что было связано в городе со смертью, проходило через нее. Вдобавок нужно было куда-то определить Сергия...

Глава 3. Три иерея

Справку странным образом преобразившемуся вору отец Георгий все-таки отдал и благословил, как смог. Ни слова про колокол не было сказано между ними ни тогда, ни сейчас. Пустынник отправился своей дорогой, а Георгий своей — в Казанскую церковь. Но прежде чем войти в свой последний храм, он зашел в сторожку — небольшой домик, находящийся на территории кладбища.

В сторожке проживало несколько церковных людей. Во-первых, здесь жил нынешний священник Покровской церкви Сергий, во-вторых, свечница, монахиня Макрида, а в-третьих, певчая, пожилая интеллигентная дама по имени Олимпиада Григорьевна. Правда, последняя имела в городе квартиру и чередовала месяц жизни при церкви, где ощущала особенную благодать, с месяцем жизни у себя, где отдыхала от остальных обитателей сторожки.

Для отца Георгия сторожка была постоянным источником неприятностей. То забузит отец Сергий — веснушчатый мальчишка лет двадцати пяти, то опять поссорятся Макрида с Олимпиадой Григорьевной и даже во время литургии, стоя на хорах и выводя общую мелодию, будут демонстративно поворачивать носы в разные стороны, то опять слишком малую выручку сдаст после службы Макрида, а вежливая Олимпиада тут же сообщит между делом, как и положено между культурными людьми, — мол, батюшка, Макрида в область ездила и для котика своего новую игрушку купила, недешевую. И знает Георгий — правда все это, уличить надо как пастырю и как хозяину, и в то же

время противно до невозможности. Он махнет рукой — а душу червь точит: в семье семь ртов, а теперь еще и храм расписывать собрался. Сам себе смешон Георгий, и страшит его суета — а больше всего страшит то, что останется Казанская такой же во веки веков, не дерзнет расцветиться и похорошеть, и удивить. А теперь еще и Савватий — и хотя в случае чего первым делом спросят с настоятеля монастыря, благословившего такого пустынника, но за территорию прихода, как ни крути, все равно отвечает Георгий, так что и его по головке не погладят.

Был здесь один особенно неприятный момент. Он был связан с отцом Сергием — человеком, которого именно отец Георгий направил по пути священства. Впервые он увидел Сергия — который в миру был тезкой своего старшего собрата, тоже Георгием, — совсем молодым, лет девятнадцати, молящимся в стенах Спасского собора. Он делал молитву хоть и неловко, но несуетно, без чрезмерного ложного радения, обстоятельно, как работу, — это и подкупило Георгия. Вдобавок тогда в первый раз встала проблема поиска помощника, пономаря, который облегчает чисто физический труд священника, делая это из одного ревностного служения, поскольку оклада алтарнику не полагается.

С тех пор молодой Георгий сопровождал старшего во всех его начинаниях, насколько ему позволялось. Пономарь перекладывал пол в Спасском соборе, таскал кирпичи для колокольни Покровской, из чувства долга пытался ухаживать за дочерью своего благодетеля — впрочем, когда вместе с этой дочерью они ходили по дворам с ящиком для пожертвований, будущий иеромонах, чрезвычайно опасаясь злых деревенских псов, с убежденным видом тихонько говорил: «Иди, пожалуйста, первая».

Рыжий, веснушчатый, он и сейчас больше походил на послушника, нежели на самостоятельного иерея. Правда, в последние годы лицо Сергия все же начинало приобретать печать некой нелепой деревенской солидности. Иеромонах носил рыжую бороду и после рукоположения стал окать еще сильнее, нежели делал это раньше по привычке, свойственной многим местным жителям.

В прежней, домонашеской жизни он оказался совершенно нелюбвеобильным человеком, если даже не сказать напротив, и был крайне рад, когда дочь отца Георгия поступила в институт и уехала из города, милостиво освободив неудачливого ухажера от всех обязательств. Поэтому церковный рост поставил перед бывшим пономарем известную «проблему матушки», как говорят в духовных кругах. Кандидат в священники — а молодой Георгий мечтал именно о такой судьбе — должен быть либо человеком семейным, либо монахом, а иное, хоть и разрешается в принципе церковными канонами, не практикуется, особенно в далеких от всяческих борений и споров благочестивых северных епархиях.

После недолгих колебаний, а возможно и без оных, Георгий выбрал иночество и стал иеромонахом Сергием. Около месяца пробыл он при

епархии, пройдя некое подобие курсов молодых лейтенантов, которые организовывались в сорок первом году во время обороны Москвы, чтобы затыкать своими воспитанниками зияющие прорехи на фронтах. И действительно, кадров в церковном управлении не хватало панически — особенно никто не хотел ехать в Винегорский район, где подвизались служить отец Георгий и отец Сергий. Местность эта слыла самой глухой, колдовской и безблагодатной — некогда проживал здесь лесной угорский народ, известный своими языческими пристрастиями, и до сих пор в отдаленных деревнях пользовали народ бабки да деды, прикрывающиеся для виду копеечными иконами.

Знающие люди предупреждали Сергия, что не вынести ему, смешному веснушчатому старательно окающему юноше, всех трудностей монашеского пути, про который сами отцы церкви говорили как про самое тяжкое испытание, возможное в человеческой жизни. Да, не так сложно было до поры до времени исполнять обеты целомудрия и нестяжания — Сергий с детства привык к бедности, да и небогатый малочисленный приход новой церкви приносил слишком незначительный доход, чтобы ввергнуть своего пастыря в геенну сребролюбия. Однако впечатление каких-то вечных оков, незримых, но потому особенно страшных, странно повлияло на смирного юношу, не склонного к рассуждениям и понимавшего свою несвободу как зверь, заключенный в клетку. Именно в монашеском облике он стал позволять себе такое, о чем раньше и не помыслил бы даже.

Так, никогда прежде не замечалась в нем страсть к питью — теперь же Сергий стал припадать к бутылке: хоть и не очень часто, но вне всякой меры, и начиналось буйство. Он хватал кухонный нож и начинал трясти дверь на женскую половину. Один раз Сергий даже выбежал вслед за Макридой на улицу и гонял ее по всему кладбищу — еще слава Богу, что непотребство происходило ночью, в полнейшем безлюдье.

Во время этих страшный ночей Олимпиада Григорьевна могла почти беспрепятственно выходить из комнаты и возвращаться — Сергий ее не трогал. Вернее, когда-то он на нее первую и набросился, и уже занес нож — но Олимпиада и не думала убегать, только отстранилась. Лицо ее приобрело оттенок сильнейшей гадливости, а перекошенный рот стал извергать быстрые и очень болезненные именно из-за своей полной справедливости и цензурности слова — и дебошир невольно опустил руку. Так показала себя та самая твердость интеллигентского презрения, перед которой, бывало, оказывался бессилен даже сам всемогущий ГУЛАГ — а уж длиннорясый мальчишка не отступить не мог.

Теперь отцу Георгию стало известно, что только вчера левицкий священник гулял на дискотеке: явившись туда, правда, в мирском платье, он быстро напился и начал громким, поставленным церковным

голосом отпускать безобразные выражения в адрес присутствующих девушек, то упрекая их в неблагочестии, то, правда, потише, намекая «разделить грех» с ним. Даже ко всему привычные дискотечные девицы были шокированы, и с утра город только и говорил об оригинальном поведении деревенского батюшки.

Грешный иеромонах ожидал разбирательства, которое отец Георгий мог произвести совершенно официально, поскольку епархия, узнав о предыдущих проступках Сергия, передала его на попечение и ответственность старшего собрата и духовного учителя. Когда они стояли друг против друга на крыльце, Георгий пытался предать себе выражение отеческой строгости, а не раздражения — Сергий смотрел как побитая, но тем не особенно смущенная собачонка. Георгий начал тяжело и зло, но в середине распекания вдруг снова ощутил приступ какого-то отрешения, и в памяти остался не совершенно ненужный и непонятно откуда взявшийся Сергий, а летний день, церковка, которой по всем законам мира быть не должно, как не должно быть никакого напоминания о небе — и даже самого этого неба, прекрасного в своей доброй насмешке над земным. И уже виделась Георгию своя церковь в росписи, превращенная в древо райского сада.

А когда очарование исчезло, старший священник увидел перед собой озлобленное маленькое существо. Не на собачонку уже походил Сергий — на барана, который наклонил голову, чтобы тупо оборонятьсяся от ожидаемого удара.

— Я решил... в железнодорожный техникум, — говорил он, — не могу я больше тут. Не могу, простите, Георгий Андреевич.

«И ведь отчество где-то узнал, — ворочались мысли отца Георгия, и была тоска, — никогда в жизни не называл, а вот поди, искал, расспрашивал всех».

Он уже давно перестал вспоминать о том, что именно этого человека он избрал когда-то себе в помощники и чуть ли не в преемники: не в церковной жизни даже, а в чем-то более важном, в самом деле сослужения Богу, которое не оканчивается храмом и священнической деятельностью вообще, а заключается, наверно, в мечтании о странном — и в творении этого странного, и в безжалостности к себе.

Неожиданно для себя Георгий перестал ругать Сергия, не стал отговаривать его от духовного самоубийства — перейдя на очень сдержанный тон, только ограничился советом, близким к повелению, съездить в епархию и поговорить с владыкой. И присовокупил, что за это время сам справится с Покровской церковью — благо не в первый раз. Когда-то мечтал отец Георгий, что на деньги, получаемые с прихожан более известного Казанского храма, будет продолжать реставрацию Покровского, чтобы доделать там резной иконостас и собственноручно написать на него иконы, — да Бог не сподобил.

Решительно оставив позади Сергия, все еще глядевшего исподлобья, и быстрыми шагами направляясь к храму, Георгий с горечью думал — вот у отца Павла такой духовный сын никак не мог бы появиться, и только я, грешный, всегда противоречу одним своим дерзанием другому.

В душе не считая третьего иерея города Винегорска достойного самого священнического сана, отец Георгий, бывало, завидовал его неразбегающейся в разные стороны воле и умению плотно чувствовать под собой землю.

Давно прошли времена, когда русское священство было благодатью наследственной — теперь настоятелями храмов становились люди, оторвавшие себя от самых различных мирских занятий. Отец Павел, уступавший отцу Георгию в возрасте четырьмя годами, служил когда-то в специальных войсках. Подробностей этого и даже точного названия вида войск никто в городе не знал, поскольку Павел Мищенко был уроженцем юга и сюда, на родину своей жены, прибыл уже священником, назначенным в Спасский собор вместо Георгия. Он привез с собой двоих детей-подростков — сына и дочь, — и с тех пор его семейство не прибавлялось.

Внешность отца Павла была нетипичной для православного батюшки — он скорее напоминал католика. Сухонький, маленького роста, он, однако же, сразу произвел впечатление человека, умеющего держать ближних своих в кулаке. И верно — паства уважала его, а матушки и просто церковные люди даже трепетали. Если прихожане отца Георгия изредка писали обвинительные письма в епархию — особенно раньше, когда беспокойный бывший художник затевал какое-то новое потрясение, — то среди духовных детей отца Павла жалоб никогда не бывало.

Отец Павел был человеком хозяйственным. При нем, правда, Спасский собор практически не изменился, представая миру таким же, каким оставил его Георгий, не успевший восстановить барабаны и купола — вместо них и по сию пору возвышалась пирамидообразная кровля, придававшая храму несколько странный вид. Однако Мищенко открыл в городе первый и единственный церковный ларек — на бойком месте, на городском рынке, причем договорился с хозяином этого рынка, человеком небезгрешным, преступным, об отсутствии всяческой арендной платы за место. Отец Павел приобрел для храмовых нужд по удивительно дешевой цене хорошенький, почти новый импортный микроавтобус, — в конце концов, являя убедительный пример прочности положения церкви и ее служителей на земле, он выстроил красивый и высокий собственный дом, живописно возвышающийся над крутым берегом реки напротив собора. Правда, тут вышел конфуз: дом священника оказался выше церкви, и Павел спешно произвел единственное храмостроительство, немножко-таки дополнив замысел Ге-

оргия — пристроил сбоку небольшую маковку меньше чем в полметра диаметром, заметную лишь самому взыскательному взгляду, да и то с немногих точек обзора. Таким образом, статус кво был восстановлен.

Правда, однажды почитатель священического благолепия чуть не лишился его вовсе. Одна из певчих Спасского собора отличалась кротостью и смиренной красотой, вдобавок страдала от одиночества — отец Павел не мог не прийти на помощь неокрепшей душе, и через какое-то время получил известие, что вскоре станет отцом в третий раз. Впрочем, судьба смилостивилась над винегорским иереем, и удар вышел смягченным — отчаявшаяся бывшая певчая тайно, в чужом городе, совершила грех детоубийства в утробе своей, в мирской жизни называемый абортом.

Разбирать дело приехал благочинный — священник, надзирающий за порядком и спокойствием в церквях, расположенных в пределах административного района. Отец Павел как раз не без некоторых оснований мечтал вскорости занять его место — но теперь об этих благих мечтаниях пришлось забыть: сохранить бы малое. Это Павлу удалось — не без помощи брата, епархиального секретаря, который когда-то и посоветовал бывшему офицеру пойти по церковной линии.

В семье отца Павла возрождалась упомянутая выше благая традиция наследственности, духовного сословия — сын в прошлом году закончил семинарию, принял сан и был определен в довольно захолустную церковь вовсе в другом районе. Отец его не особенно расстраивался по этому поводу — пусть молодой священник пообтреплется, пообвыкнется, начнет с малого и тяжкого. Глядишь, время наступит, и скоро — устроится с Божьей помощью получше.

Когда сын приезжал, чтобы явить почтение к родителям — и не без тайной мысли подействовать на отца и ускорить свой перевод, — между двумя священниками происходили разные беседы, в том числе, естественно, и рассуждения о церковном быте и бытии. Здесь отец Павел келейно высказывал взгляды, которые поостерегся бы выносить на публичный суд, поскольку очень ценил благорасположение начальствующих.

Может быть, зря там, среди князей церкви и у самого патриаршего престола так уж яростно отстаивают чистоту старины, которую в мире светском, суетном, называют ретроградством? В душе иерей Спасского собора придерживался несколько обновленческих мыслей — ведь если бы вести службу на общепонятном русском языке, жизнь в лоне Церкви была бы доступна гораздо большему кругу людей. Правда, священники вроде отца Георгия всегда с особым напором будут выступать именно против этой идеи — но в беседе отца и сына Мищенко господствовал иной тон.

Да и продолжительность служб и треб недурно было бы сократить раза в два, продолжал рассуждать отец Павел — и пастве легче, и па-

стырю. К тому же тогда можно служить чаще — в винегорских храмах службы проводились не каждый день, — и все больше и больше прихожан станут посещать храмы Господни не только в выходные, но и в иные дни, не пугаясь долгого и малопонятного действа. А каждый прихожанин — это не только новый рядовой войска Божьего, а еще и скромное вспоможение в казну церкви, тоже очень нелишнее.

Иногда развивал Павел мысли и вовсе смелые — почему только одному черному священству дозволен вход в князья Церкви, в высшее руководство? Чем хуже рядовое священство, каждодневно решающее духовные нужды пасомых, знающее о бедах и радостях всего тела Святой Церкви изнутри? Да и к неблаголепию приводят скоропостижные решения иных юношей, ради карьеры идущих в монашество! Последние слова отец Павел говорил с особенным выражением, опуская очи долу, — и сын или кто другой, случайно услышавший разговор, прекрасно понимал, о ком речь, хотя бы и не упоминалось имя отца Сергия.

В отличие от сына, дочь отца Павла не отличалась особенной воцерковленностью. Так же, как и дочь отца Георгия, она училась в институте — только в другом, платном филиале московского вуза, — носила модные наряды и избавляла своего родителя от чрезмерных трат на свое содержание, даря благосклонностью небедных молодых людей. Впрочем, ничего совсем уж из ряда выходящего не было — каждый новый молодой человек представлялся как «жених», и верно, меньше чем полгода периоды жениховства не продолжались. Да и велик областной город по сравнению с Винегорском — не каждый человек там уж совсем прозрачен для окружающих.

Но недавно Александра Мищенко вернулась домой. Отец заметил, что она как-то странно переменилась и как будто поумнела. Институт она закончила по новомодной схеме, за четыре года получив звание какого-то бакалавра, так что оплативший обучение отец так и не понял толком, обладает ли его дочь полноценным дипломом.

Однако не одно лишь завершение обучения привело Александру в Винегорск, и с большим неудовольствием осматривалась она вокруг себя.

Глава 4. **Пустынь**

Отец Георгий оказался провидцем — вскоре отца Сергия вызвали в епархию. Перед отъездом он пришел в дом к Георгию в светском платье, подстриженный, со взглядом, полным детской решимости, и сказал, что окончательно решил с железнодорожным техникумом, в который экзамены в этом году как раз назначены позже обычного. Так что как только владыка отпустит его — не быть более на свете отцу Сергию, а быть другому человеку.

Пришедший еще долго беседовал и с матушкой Дарьей, и со всей семьей Ярмиловых, в которой считался своим человеком, — а Георгий, только услыхав речи младшего собрата, махнул рукой и снова ушел в свою комнатушку.

И совершенно в другом настроении вернулся Сергий в город через неделю. Лицо его сияло, длинная ряса, казалось, не трогала землю — иеромонах летал. Беседа ли со владыкой или что еще в корне переменило его намерения и настроения, неизвестно. Очевидно, что все немалые грехи Сергия прощены — униженно и одновременно радостно поклонившись отцу Георгию, он отбыл в свою сторожку.

Когда эйфория начала чуть спадать, с Сергием случилось странное приключение. Нужно сказать, что дочь отца Павла Александра после недолгого пребывания в городе отправилась в еще большую глушь — в Левицу, погостить у бабки по материнской линии. Таким образом, вольно или невольно она очутилась в прихожанках отца Сергия.

До сих пор к церковной жизни эта девушка была довольно равнодушна, а тут стала посещать службы, норовя, правда, подойти к окончанию. Через какое-то время Александра даже проявила желание исповедоваться.

Обоим было неловко, особенно Сергию. Вопросы путались у него в голове, когда он невольно вдыхал ее духи и видел непривычное к смиренному платку лицо. Александра явно проходила исповедь в первый раз за долгий промежуток времени. Ответы ее звучали довольно сухо. В храме было душно, и тяжелое дыхание обоих сливалось в странную симфонию. Сергий торопливо, словно робкий чиновник, проводящий угодную начальству сделку, отпустил грехи, и из церкви они вышли, беседуя уже спокойнее.

Вскоре неловкость и вовсе покинула монаха — вернее, заменилась на неловкость иного рода, более тягучую и приятную. Разговором несомненно управляла Александра, и вела она его легко, плавно поменяв роли — и вот уже не пастырь и его дитя духовное, а двое хороших друзей идут по единственной в селе деревянной мостовой от церкви, причем ведущая роль в разговоре явно принадлежит девушке.

На каждую службу Сергий приезжал из города на велосипеде за пятнадцать километров. Теперь он подобрал свой велосипед — и как по волшебству, у Александры оказался поблизости такой же, и ей тоже понадобилось в город. По пути они несколько раз останавливались, чтобы девушка отдохнула.

Она рассказала, что в детстве ее звали не Сашей, а Жанной — именно такое имя дали ей родители. И уже потом, в шесть лет, когда ее спешно крестили перед самой хиротонией отца, выбрали новое имя. Обычно в таком случае дают имя Анна — Сергий это сам прекрасно знал, — но тут мать Жанны воспротивилась, очень ей не понравилось именно это имя.

— И правильно сделала, — с глубочайшим убеждением, чуть поморщив носик, сказала Александра, — отвратное имя!..

Она была среднего роста, с красивыми короткими пепельными волосами и с очарованием той особенной капризности, которая чудесным образом придает шарм вроде бы скучному личику. Волосы ее в некотором беспорядке спускались небольшими прядками, и было видно, какие они нежные. Сильно чувствовалось в ней что-то детское и одновременно материнское — именно то сочетание, которое сообщает женщине самую неотвратимую силу.

Саша была годами двумя младше Сергея, но рядом с ней он чувствовал себя несмышленым младенцем. Особенно это почувствовалось, когда тональность беседы изменилась — из области детских воспоминаний перешли на дела нынешние, и Сергий совершенно неожиданно услышал, что всепрощение архиепископа, которое поразило иеромонаха неделю назад, было во многом вызвано мнением отца Павла, который передал в епархию что-то лестное и мгновенно тушующее все грехи.

— Но ведь твой отец меня недолюбливает! — удивился отец Сергий.

И тут он узнал вещь уже совершенно странную, даже поразительную — что Павел походатайствовал за него по просьбе своей дочери. А ведь до сих пор Сергий и Александра почти и не были знакомы лично!

— На тебя смешно поглядеть, — улыбнулась Саша, и Сергий смотрел на ее улыбку и чувствовал, что время тянется, словно резинка, что оно не хочет двигаться дальше и хочет навсегда оставить его в этом миге. Александра провела своей шаловливой длинной ладонью по его космам, пытаясь взлохматить волосы не первой чистоты, и сказала ласково:

— Монашек.

И легонько приобняла отца Сергия за плечи — так легонько и совершенно спокойно, что ничего больше не нужно было иноку, чтобы почувствовать ее власть. Может быть, если бы Александра сделала жест хотя бы немного откровенней, этой власти и не было бы, а сам иеромонах оттолкнул бы нечестивую прихожанку с истинно поповской грубостью.

Они остановились в этот раз на пустой автобусной остановке, непонятно зачем установленной на совершенно ненаселенном месте — ни людей, ни строений, ни даже какого-нибудь карьера не было видно. Автобус прошел недавно, думал Сергий, — и вид леса, привычных сосен со своим однообразным, хоть и приятным запахом никак не вязался в его мыслях с тем, что происходит.

Александра заговорила о большом городе — и о своих несбывшихся планах. Конечно, она многого не упомянула, ограничившись туманными замечаниями, что после института чуть было не устроилась на

работу в одну очень влиятельную фирму, да и теперь питает обоснованную надежду получить там место.

В действительности все было по-иному. Там, в чужом городе, счастье отвернулась от нее. Кавалеры стали попадаться слишком неприятные, все чаще кавказцы, которых девушка недолюбливала.

Даже у людей, желающих преуспевать любыми путями, бывают такие странные полосы: кажется, что нужно сделать самое незначительное усилие, чтобы порвать липкую, но тонкую паутину неудач и двинутся дальше, однако именно на такое усилие и не хватает воли. Молодость и красота еще оставались у Александры, и чем дальше, тем лучше училась она пользоваться этим оружием. Но не то боевой пыл ее ослабел, не то какая-то давняя заноза ожила в сердце — и Александра вернулась в родной город, словно бросаясь от отчаяния в объятия старого, бедного и ненужного любовника.

А тут еще отец вздумал настойчиво предлагать дочери остепенится. Он не желал теперь просто так давать ей деньги на квартиру и жизнь в большом городе — даже в течение тех нескольких жалких месяцев, которые казались необходимы Александре, чтобы вернуться к прежней жизни, разогреться заново.

— Да, я упрямая. Я своего добьюсь. И тебе помогу, Сережа, — она снова улыбнулась, — какая дурацкая у тебя ряса, но без нее нельзя, без нее ты, — она замолчала на мгновенье, подмигнув Сергию, — ничего не можешь. Увы.

— Почему не могу?

— Ну, очень долго ждать. А мы с тобой должны все делать быстро, очень быстро. Варлам тобой интересуется — ты поедешь служить ему под бок, в епархию. Будешь при главной церкви, папа все устроит. Будешь у Виталия под рукой... Но и ты должен помочь папе.

Сергий уже окончательно запутался — кто кому помог и должен помочь. Он понимал только, что Варламом девушка фамильярно называет владыку Варлаама, а Виталий — это и есть тот легендарный брат в епархии, который не раз прикрывал отца Павла.

— Ведь к вам в сторожку привозят эту... гуманитарную помощь, верно? — продолжала Александра с прежним напором.

— Не в сторожку. Ее в будке раньше хранили. Да ее уже давно не привозят...

— Скоро привезут. Ты знаешь, что гуманитарка приходит на все городские церкви через моего папу.

— Ну да.

— Папа вынужден будет отдать половину этому вашему отцу Георгию. А зачем она ему? Он же небожитель и не будет заниматься всей этой возней. Вот и греет у вас руки всякий, кому не лень. А мой папа организовал бы все как следует, порядок бы был!

— Может быть.

— Ты поможешь вернуть нашу гуманитарку. Не всю, но половину, может быть. Когда ты будешь один, подъедет микроавтобус. В него вы погрузите...

— Но это же... странно как-то!

— Ничего не странно, — с жаром воскликнула Александра, — вы ведь с вашим Георгием все равно ничего путного не сделаете!

Увы, это было правдой.

Выражение «небожитель» по адресу Георгия, которое Саша переняла у отца, звучало язвительно и не совсем необоснованно. Павлу еще принадлежало высказывание — отец Георгий, мол, слишком близко к сердцу принял слова кого-то из святых отцов, что священник должен стоять с ангелами, славословить с архангелами, и слишком непосредственно отнес эти слова именно к себе.

В тот день Александра тактично не потребовала от иеромонаха полного согласия со своим планом, взяв лишь обещание молчать. В городе они сразу же расстались. Но ее запах и запах ее духов — Сергий не мог отличить, где заканчивается один и начинается другой — оставались с ним, выгнали прочь все: и аромат сосен, и деловитый чад города, и ладан церкви. Сергий был раздавлен и готов ко всему, на что насмешливый голос Жанны повелел бы ему идти.

Разумеется, не в том настроении был несчастный юный пастырь, чтобы думать о некоторых несоответствиях в словах девушки. Между тем он прекрасно знал, что гуманитарная помощь в город приходит регулярно, но от отца Павла приход отца Георгия давно не получает ни крохи — несмотря на жалобы последнего, не очень, впрочем, настойчивые. Что же ныне заставило самого могущественного из винегорских священников посторониться — хотя бы для виду?

Зато отец Сергий заметил другую странность — хотя и не пытался ее осознать. Почему Александра называла его Сережей, хотя монашеское имя не имеет уменьшительной формы, а мирское и вовсе иное? Неужели просто поленилась спросить прежнее?

Пока Сергий находился при епархии, отец Георгий вел службу в обеих церквях. Несмотря на это напряжение, на душе стало спокойнее. Он уже оформил эскиз наружной росписи Казанской церкви, взял алтарником сына Женю и изучил подробнейшим образом карту Святой Земли, а также Вавилонии.

От одного прихожанина-рыбака он знал, что пустынник Савватий не покидает места своего насельничества и за несколько рыбин, стоящих гроши, выполняет недюжинную работу, вытаскивая большие сети с лодок. Неподдельное восхищение, звучащее в голосе рыбака, чувствовалось, не имеет никакого отношения к аскетическому подвигу

брата Савватия — а только к его поистине огромной силе и выносливости.

После этих слов как-то странно поменялось и отношение самого отца Георгия к нежданному подвижнику. Причиной этого была какая-то недооформившаяся мысль, вернее душевное движение, непонятное еще до конца и самому священнику. Правда, ревность к этому человеку оставалась — но она странным образом изменилась, сдвинулась из области соперничества к помыслу о совместном дерзании.

Дело в том, что попытка восстановления Антониевской пустыни была самым последним большим делом отца Георгия. На ее территории некогда находилась Николаевская церковь, та самая, которая, согласно памятной молитве Георгия в канун крестного хода, была третьей, обещанной им Богу. И когда священника окончательно отстранили от Покровской церкви, отправив в маленькую и благополучную Казанскую, как бы вкладывая в это намек на успокоение, Георгий намек дерзнул не принять и обратил взоры свои к разрушенной пустыни, как раз формально находившейся на территории его нового прихода, хотя и на расстоянии многих верст от ближайшей сохранившейся церкви.

Теперь пустынь оправдывала свое название в прямом смысле — на месте прежнего монастыря, пусть и не самого богатого, не осталось в принципе ничего, даже остовов. Когда-то специально за много десятков километров пригнали бульдозер, который дорушил стену Николаевского собора. И теперь даже старики из маленькой соседней деревни, находившейся километрах в десяти, не помнили точного местоположения бывших храмов.

А узнать это было очень нужно, поскольку Георгий собрался ни много ни мало восстановить пустынь и даже более того — лелеял надежду обрести мощи святого Антония, не особенно значительного в общем ряду святых Православной церкви, но знаменательного для пустынного северного края и отца Георгия лично. Винегорский священник как бы связывал малоизвестного северного Антония с преподобным Антонием Великим, отшельником эпохи зари христианства, — первым из святых отцов, книги которого начал читать в своей жизни и через которого приобщился ко всей христианской традиции.

Великой сложностью было найти точные планы заштатной пустыни, много пришлось искать и в библиотеках области, и даже в соседней Ленинградской, ибо монастырь стоял недалеко от административной границы и регулярно переходил из одной губернии и епархии в другую. В конце концов, получив от владыки совет весьма уклончивый, который сложно было бы признать за благословение, но и за прямой отказ нельзя — отец Георгий начал раскопки своими силами, не поставив в известность светские власти. Помогали ему и Сергий, и дру-

гие прихожане. Увы, сам он не мог браться за лопату — уже тогда слабое сердце в совокупности с возрастом давало о себе знать.

Ненадолго организовалась целая артель — даже Олимпиада Григорьевна вызвалась поселиться в большом сарае, временном пристанище церковных археологов, и готовить им. За пару месяцев результаты были довольно значительными — почти полностью откопали фундамент главного Николаевского собора, где хранились некогда мощи. Если учесть, что в самом начале перед глазами приехавших предстала просто заросшая кустарником, немного холмистая местность неподалеку от рыбацких домиков-времянок, точность расчетов отца Георгия нужно признать исключительной.

Успели обнаружить, начать освобождать и второй фундамент, оставшийся от церкви поменьше, но далее дело застопорилось. Время шло на осень, под весьма благовидными предлогами все участники раскопок разъехались, а Сергия отец Георгий как раз благословил ехать в епархию для пострига и хиротонии. Следующей весной у отца Георгия случился инфаркт, и он долго лежал в больнице.

С тех пор Георгий не тревожил начальников и ближних своих фантастическими проектами, а мощи Антония так и остались в земле приозерной. Четыре года прошли спокойно и непредосудительно.

Теперь же неожиданно отец Георгий вновь почувствовал в себе огонь — однако светильник был уже не тот, наверное, слишком закопченный. Но неизбежное неизбежно, и священник понял — нужно ехать в пустынь.

В один из дней, когда не было службы, он отпросил сына с работы — благо в городе все бывало по-свойски, по-семейному, — велел ему завести машину и отправиться в дорогу. Пришлось сделать значительный крюк, так как напрямую от города пути не было, и ехать почти час.

Не упростили задачу и недавние обильные дожди — еле-еле выбралась «копейка» к берегу большого озера, на горизонте которого не было видно земли. Савватий оказался на месте. Он ничуть не удивился визиту и поставил перед отцом Георгием бесформенную алюминиевую миску с ухой да бутылку водки.

Священник нахмурился, глядя на бутылку. Савватий сказал:

— Сам не пью.

И говорил он теперь таким голосом, что ни в пустяшном, ни серьезном деле нельзя было заподозрить ложь.

Георгий выпил немного, глядя на сына, который недоверчиво хмурился на Савватия. Зачем было приезжать сюда? Сам не зная ответа, Георгий вывел монаха, чтобы показать останки храма, которые Савватий не мог не видеть многократно.

Странный это был разговор: о житье-бытье пустынника спрашивал Георгий короткими фразами, а Савватий так же отрывисто отве-

чал, Георгий завел долгий разговор о грехах, о путанице мира, а Савватий молчал, пока священник не запутался сам. Но в обилии слов незаметно выяснилось все, что имело отношение к делу.

— Мы осторожно копали, понимаешь! Осторожно, потому что можно навредить!..

Савватий понял, кивнул.

— Тут ходы подземные могут быть. Монастырь старый, при Екатерине закрытый, потом снова открытый...

Савватий кивнул.

— Ты говорил, вы с каким-то рыбаком фундамент собираетесь делать для большого сарая?

— Да, я помогаю.

— А лопата как... удобная?

— Ничего.

Когда машина пробиралась обратно по лесной дороге, отец Георгий на секунду укорил себя. Не вору ли доверил благочестивое дело?

Память священника цитировала: если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Простил же Христос разбойника на кресте! Но Ярмилов знал, что возможен и другой ответ: когда только вор будет готов трудится для подлинного дела, настанут последние времена.

Но и они не так страшны, как отказ от делания чуда.

А ночью отца Георгия посетил давно уже не возвращавшийся сон: приснился Петербург, Ленинград, город-молодость. Вот он, вчерашний солдат, принят в Мухинское высшее художественное училище. Отец Георгий снова остро переживает то прекрасное — пусть глупое, неприлично провинциальное — чувство влюбленности в Петербург, которое действительно можно сравнить с первой страстью к женщине, когда каждый поцелуй кажется новым, еще никем в целом мире не полученным счастьем.

Но вот ночь, и тот, двадцатилетний Георгий бредет городом, и останавливается возле какого-то канала, которому не знает еще названия. Художник слушает негромкий шорох вод, который постепенно нарастает в болезненной тишине, как в «Болеро» Равеля, до оглушительного, пронизывающего все существо грома. И сам этот звук виден — он не только оглушителен, но и ослепителен, качаясь на стенах канала в виде отблесков, не заметных больше ни для кого.

Только он, Ярмилов, сможет нарисовать эти видимые звуки, он нарисует и случайную сцену в кафе, где кто-то из посетителей за стойкой играл в шахматы с официантом в грязно-белом переднике — он нарисует все мелочи невской панорамы и изобразит когда-нибудь весь город одним мазком. У Георгия тогда часто поднималось чувство, что он-то и выдумал Петербург, потому что не выдуманному, реальному

этому городу и быть никак не возможно, потому что обычно все не так, все практично и понятно, и никто не станет бросать, как сказочный мальчишка-великан, огромные груды камня в воду. И было здесь не тщеславие — вернее, тщеславие тоже присутствовало, но не оно жгло сильнее всего, а ощущение своего: своей вотчины и дома, может быть, ложное и наверное даже ложное, как никакое другое в жизни художника и священника Георгия.

Глава 5. **Олимпиада**

— На макароны четырнадцать. И за трехлитровую банку молока двадцать пять. И еще две булки... и масла.

— Булки-то почему?.. — откликнулся из-за запертой двери отец Георгий, — я же только что на булки давал!..

— Так вчера, пап...

Дверь нехотя открылась, маленькая и морщинистая рука протянула смятую десятку и гору неприятно блестящей, как рыбья чешуя, мелочи.

— Вы думаете, тут отделение сберегательного банка... — раздался вслед недовольный голос, и тирада закончилась энергичным щелчком щеколды.

Однако накал штурма уменьшился ненамного.

— Пап, а на масло?.. — сыновья отца Георгия очень преуспели в арифметике и умели совершать довольно сложные операции подсчета церковной мелочи в одно мгновенье, соизмеряя их с нужными тратами до одной копейки — ибо священник лишнее передавал редко.

— Нет у меня на масло!.. Нет и не будет!

Наконец за дверью утихли — но спокойно сидеть у себя пришлось недолго.

— Пап!..

— Не нужно вашего масла!

— Да не, пап! К телефону.

Звонил отец Павел.

— Уже встали? — осведомился он своим быстрым не по годам голосом. — Правильно, с утра пораньше, как завещано нам... Отец Георгий, пришла гуманитарная помощь. Вам привезти или сами заберете?

Звонок привел Георгия в полное недоумение. Ему-то была ясна вся странность поведения Павла — ибо история с гумпомощью не сегодня началась.

Уже много лет приходила в Винегорск из-за границы, из скандинавских государств, гуманитарная помощь — в основном поношенная, но довольно аккуратная одежда ярких импортных цветов. Приходы должны были распределять ее среди верующих — однако с переездом в город отца Павла реально такую возможность имела только его

Спасская церковь. Когда в первый раз одежда пришла новому адресату, отец Георгий не дождался приглашения забрать свою половину — хотя должен был получить ее совершенно официально.

Тогда он позвонил сам, однако отец Павел затеял долгую волокиту отговорок — мол, я не имею право отдать, да, это в принципе ваше, но пусть ваши прихожане отправляются ко мне и получают помощь в моем приходе. Слова нового иерея были тем более оскорбительны, что когда-то именно Георгий по старым связям еще питерского периода нашел в Швеции первого благотворителя.

Однако, кроме общей нелюбви к склокам и скандалам, был еще один момент, заставивший тогда Георгия отступиться. Само распределение гуманитарной помощи было связанно со множеством неприятных моментов: неблаговидным шушуканьем, непременной завистью обделенных, сплетнями и жалобами. Как раз перед самым назначением отца Павла была особенно неприятная история — дележка импортной благодати совпала с историей юродствующего мальчишки, и так накалившей отношения между Георгием и приходом. Склок, писем в епархию было предостаточно — что и повлияло, наряду с оставлением алтаря, на перевод отца Георгия.

А теперь Павел сам предлагает гумпомощь и более того — обещает выделить собственный транспорт, чтобы доставить ее прямиком к Казанской церкви. Георгий не мог понять его — да и не очень пытался, честно говоря. Внимательность к людям давно уже не обострялась в отце Георгии.

И не он один диву дался — по прибытии микроавтобуса с вещами обитатели сторожки с удивлением на лицах высыпали встречать нежданного гостя. А ведь это были и сами по себе люди странные — не так просто было поразить их.

Монахиня Макрида прославилась на всю епархию тем, что когда-то в ранней молодости принимала участие в съемках взятия Зимнего. И темперамент имела соответствующий — дух бунтарский, подходящий гордому еретику первых веков христианства, а не остроносой, разбитой жизнью женщине.

Впрочем, в прямую ересь впасть ей было бы все-таки затруднительно — для этого нужно как минимум несколько знать богословие. Но немало возмутить епархию своими похождениями ей удалось — и вот сорокалетняя монахиня после блужданий по всем окрестным женским обителям очутилась в Винегорске. Видимо, среди церковного начальства решили, что сам сонный дух этого города поостудит горячую кровь, — и в чем-то оказались правы.

Большей цельностью натуры обладала вежливая и спокойная Олимпиада Григорьевна. Детство она провела в большом городе, в семье партработника и бывшей мелкой дворянки. Жила она там на улице

Дзержинского — и это малозначащее обстоятельство позволило ей в первый раз продемонстрировать свои жизненные качества.

Как-то родители отвезли маленькую Липу на курорт к морю — там она познакомилась со сверстницей, ставшей ее лучшей приятельницей. Расставаясь, наряду с клятвами о вечной верности и любви подруги обменялись адресами — и тут оказалась, что новая знакомая также живет на улице Дзержинского. После нескольких писем, обильных красиво выписанными буквами и нарисованными цветочками, Олимпиада окончательно прониклась уверенностью, что все хорошие люди живут на улицах, носящих имя основателя ВЧК.

Тогда она написала еще одно трогательное письмо — в Москву, в редакцию газеты «Пионерская правда», в котором призывала дружить всех мальчиков и особенно девочек, которые живут на улицах Дзержинского в разных концах советской страны. Газета горячо одобрила это благое начинание, напечатав письмо двенадцатилетней почитательницы Железного Феликса полностью, без купюр, для чего пришлось выделить почти целую полосу.

Откликов на публикацию пришло множество — и вскоре Олимпиада оказалась во главе целого движения, которое наряду с перепиской на обычные девичьи темы занималось изысканиями подробностей в биографии объединяющего их товарища Дзержинского. Результаты этих изысканий регулярно печатались в любимой всеми советскими детьми газете, так что пришлось ввести новую рубрику — раз в неделю Липе и ее подругам выделяли особую страницу. Такая пламенная жизнь любительницы агиографий продолжалась до самого ареста ее отца.

Однако и этот удар судьбы не уменьшил накала коммунистического исступления. Став учительницей музыки и устроительницей школьного театра, Олимпиада Григорьевна подлинно стала второй матерью многим своим ученикам. Горение Олимпиады продолжалось — всю себя без остатка отдавала она служению обществу. Если ее ученик заболевал и не приходил на занятия, она не ограничивалась звонком на дом, а непременно приходила проведать — и если убеждалась, что ученик чувствует себя нормально, а просто освобожден от занятий сердобольными родителями, производила длительные разъяснительные беседы и с ребенком, и с взрослыми. Если же ученик действительно оказывался болен, Олимпиада Григорьевна нередко на свои деньги покупала ему лекарства — и не только доставала их в общедоступных аптеках, но и сама варила у себя дома травы по известным ей рецептам. И надо сказать, что ее лечение часто оказывалось эффективней официальной медицины — правда, не всегда это обстоятельство доставляло большую радость преждевременно выздоровевшим.

И только в конце восьмидесятых Олимпиада Григорьевна обрела новую веру — православие. Здесь многое оказалось знакомым, но было

и новое — загробный мир, то есть мысль, что служение не прекращается с физической смертью, и многое другое. Да и красота этого учения была сильнее отшлифована временем, скромнее и приятнее. Здесь имелось больше возможности оставаться в тени и в конце концов сделать так, чтобы люди и вовсе не замечали тебя и не неволили обузой благодарности.

Дома у себя Олимпиада оформила новый красный уголок — иконы выбирала не абы какие, а получше, для чего специально ездила в Ленинград и потратила все свои сбережения на черный день. Она любила эти лица — тревожные, и в то же время успокаивающие ее. Многие иконы были потертые, так что кроме лиц ничего не разобрать — и казалось, они смотрят сквозь доски, находясь по ту сторону их в какой-то запредельной глубине и тишине. Но и в этой тишине была деятельность — ибо пуще всего в жизни не любила Олимпиада Григорьевна бездеятельности.

Внешне это была женщина лет шестидесяти, маленькая, с седыми, но еще довольно пышными волосами, образовывающими вокруг головы своеобразный нимб, с удивительно узкими детскими руками и вежливым, осторожным взглядом. Говорила она всегда вкрадчиво — даже когда появлялась в ее словах раздраженность миром, черта, еще недавно вовсе не присущая. Если не считать истории с пьяным отцом Сергием, не было известно случая, чтобы Олимпиада повысила голос.

Зато в последние годы появилось у нее и одно полезное качество — особенная внимательность к людям. Словно раскрылись глаза — и оказалось, что каждое движение человека очень интересно, и по краткому морганию можно сказать иногда чуть ли не о всей его жизни. Олимпиада обрела взгляд — как и ее иконы, о которых непочтительный сын как-то сказал при ссоре: «доски с глазами».

Олимпиада всегда любила людей и не любила себя — вернее, интересовалась людьми и не интересовалась собой. Люди были какие-то хаотичные, нетвердые — она же всегда имела в себе одну линию. Смотря на святителя Николая, Олимпиада вспоминала, как рассказывал о нем отец Георгий. Наиболее почитаемый на Руси святой был епископом Ликии, богатой провинции Византийской империи — это в нынешней Турции. Значит, у нас бы он был что-то вроде заместителя председателя Горьковского обкома по делам идеологии. Власть, значит, — а власть жестока. Николай же — святой, и глаза у него замечательные. Почему так? Раньше Олимпиада любила власть и молилась на нее — а потом оказалось, что они убили ее отца и многих убили. Но у святителя Николая глаза добрые. Может, вместе с царем Николаем Вторым нужно было канонизировать и Юровского, который его убил? Оба боролись, оба горели... И Дзержинский боролся. Да, если уж делать святыми, так уж всех! Почему угодник Николай был слугой какого-то там наверняка кровавого императора, а глаза у него святые?

Я такая простая, говорила себе Олимпиада Григорьевна, — не в том смысле, что необразованная, а в том, что умела идти вперед, — а мир такой сложный... И люди сложные... Кто лучше, кто больше похож на Николая? И даже на вопрос, кем нужно быть — простым или сложным, — тоже сложно ответить!

Забравшись в чуждую область безвольной софистики, Олимпиада Григорьевна прекращала внутренний диалог и удивлялась — почему раньше с ней ничего такого не бывало?

Новое зрение вольно или невольно заставляло бывшую учительницу замечать всякое движение в душе ближних своих. Особенно бросались в глаза зигзаги отца Сергия. После того, как он попытался наброситься на Олимпиаду с ножом, она решила никогда не замечать неразумного мальчишку. Но прошло несколько дней, и все дикие переживания Сергия снова встали перед ней как свои собственные.

Поэтому Олимпиада Григорьевна первой заметила странное сближение между молодым священником и Александрой. Нужно сказать, что последней она приходилась дальней родственницей со стороны матери, поэтому бывала иногда — впрочем, довольно редко — в доме Мищенок, и мнения о дочери отца Павла была крайне невысокого.

В тот день, когда отец Георгий получил гумпомощь, Олимпиада Григорьевна зашла в сторожку. Поскольку сейчас у нее был период жительства дома, Олимпиада появилась здесь в качестве гостьи. Макрида как раз ушла в город, так что до прихода певчей Александра и Сергий были одни. Свидание их было кратким, и в залог будущих отношений девушка позволила всего лишь пару раз поцеловать себя, что и исполнил неумелый иеромонах.

— Даже целоваться толком не умеешь! Экий... медведь, — сказала с улыбкой Александра, хотя на медведя Сергий был совершенно не похож.

Когда раздался шум в дверях, она встала, приняла совершенно независимый, пренебрежительный ко всему вид и с огнем агрессивного безразличия в глазах двинулась к выходу. Там она чуть ли не кивком поздоровалась с Олимпиадой Григорьевной и пошла в сторону города.

— Александра... моя прихожанка... зашла спросить...

Но Олимпиада не слушала сбивчивые речи. Вместо возмущенного чувства целомудрия в ней заработала иная мысль: желание беспременно докопаться до истины. Почему такая блестящая пустышка, не знавшая отбоя от кавалеров, заинтересовалась Сергием? Даже в Винегорске есть ухажеры не в пример представительней.

Загадка. Значит, нужно разобраться. В молодости Олимпиада увлекалась занятием, более подходящем учительнице математике, нежели музыки, — отгадыванием логических задачек и головоломок. Она знала, что сейчас в семье Мищенок между отцом и дочерью немалые трения.

Знала, что главной их причиной является сама Александра, требующая от отца денег на житье-бытье в областном городе.

Возможно, не добившись своего, связью с монахом девушка решила отомстить отцу и смешать с грязью его имя? Гипотеза неправдоподобная, словно из мексиканского телесериала — в отличие от многих своих ровесниц, Олимпиада Григорьевна за всю жизнь от начала до конца не просмотрела и трех серий, однако нехитрую философию поняла — но пока единственная, которая приходила на ум.

К людям такого типа, как отец Павел, Олимпиада не испытывала особенной симпатии — хотя и не могла забыть, как хвалила его ее подруга Светлана. Поначалу Светлана — женщина, обремененная немалой семьей, — служила в регентшах у отца Георгия. Такой выбор священника она объясняла тем, что Георгий несравненно более мягок к своим прихожанам и причту, нежели отец Павел, сохранивший армейский стиль руководства, — да и вдобавок домишко Светланы находился к Казанской церкви гораздо ближе, нежели к собору Мищенко. Однако через год регентша перешла на клирос Спасского собора и говорила Олимпиаде:

— Отец Георгий никогда не догадается спросить ни о духовных нуждах, ни о плотских... А отец Павел недавно подозвал меня к себе и спросил: мол, семья у тебя большая — не нуждаешься ли в чем? Я говорю — да, немножко нуждаюсь... А он — в чем? — Вот холодильник хотела бы купить, хотя бы старый. Он говорит — а много ли не хватает? Я говорю — столько-то. Заняла бы, да не у кого — и то вся в долгах!.. Он говорит: садись, пиши заявление — прошу выдать зарплату за три месяца вперед.

Может быть, отец Павел любил людей — но он любил и себя, к тому же не в пример больше. А отец Георгий не любил ни людей, ни себя — он любил что-то другое, и тем был непонятен Олимпиаде Григорьевне. Может быть, он как раз любил Бога? То странное, непонятное существо, которому Олимпиада уже десять лет возносит славу на клиросе — но до сих пор, увы, не догадалась, что ему нужно. А вдруг Георгий догадался? В любом случае Олимпиада Григорьевна с ним, а не с Павлом.

Глава 6. **Обретение**

Всесторонне обдумав, не сообщить ли отцу Павлу о неразумном поведении его дочери, певчая решила пока не торопиться. А после того, как в будку сложили привезенную гумпомощь, Олимпиада Григорьевна сразу поняла, что между свиданием в сторожке и неожиданной щедростью отца Павла есть какая-то связь. Поняла — но скоропостижных выводов решила не делать и переключилась на более бытовой

ход мысли, помогая руками и мешая советами разложить и рассортировать поступившую гуманитарную помощь. Впрочем, формально за ее хранение отвечала не певчая, а монахиня Макрида.

Монахиня вскоре уехала на автобусе вместе с отцом Георгием и его сыном Женей. Дети в задней части салона развели невозможный хохот и мешали отцу Георгию собраться с мыслями.

Когда священник с сыном вышли из автобуса, распрощавшись со свой спутницей, Женя сказал:

— Папа, ты слышал, как обозвали детишки матушку Макриду?

— Как?

— Черепашкой-ниндзя. И ей-богу, похоже!

Дома Женя передал эту шутку Дарье, и оба они долго смеялись — согласие между матерью и любимым сыном было восстановлено полностью.

Сам Георгий тоже хотел посмеяться вместе с ними — в Макриде что-то и правда было от героини мультфильма, а вовсе не от загадочной пушкинской черницы — но тут раздался сильный удар в дверь, и все осеклись.

— Звонок все барахлит. Починил бы, батюшка, — с неудовольствием сказала Дарья и пошла открывать.

Появился Савватий. Он тяжело шел по коридору к кабинету отца Георгия.

— Что? — спросил священник.

— Откопал.

— Мощи?

— Подвал.

Из дальнейших слов инока Савватия выходило, что, раскапывая фундамент Николаевской церкви, он наткнулся на подземный монастырский ход метров десять в длину. Об этом ходе отец Георгий читал в дореволюционных бумагах: назначение его не совсем ясно, но скорее всего оно было сугубо хозяйственное — тут помещался погреб и ледник. Входили туда не со стороны храма, а с противоположной.

Но была вероятность, что теперь там, под спудом, и хранились мощи святого Антония.

Начальник уже с большой неохотой отпустил старшего сына отца Георгия с работы, но вскоре они втроем все же отправились в пустынь. Когда прибыли и мотор заглох, стало слышно, как шумит озеро.

Отец Георгий спустился в подземелье, скользнул по его стенкам электрическим лучом. Поначалу он почувствовал себя неловко — как будто решил вспомнить детство. Савватий откопал все это без фонаря: разобрав сверху завал из битых кирпичей, он увидел пролом, спустился вниз и на коленях ощупал все предметы, ища раку — гроб с телом святого. Вытащив наверх единственную находку — пустой, трухлявый

бочонок, — он так же в темноте умудрился в большой степени очистить пол от земли и грязи, нападавшей сверху за многие годы.

Осмотр с помощью фонаря немногое добавил — кирпичные стены и потолок, сперва низкий, так что приходилось идти согнувшись, потом неожиданно поднимающийся как раз в том месте, где было несколько крутых ступенек вниз, так что здесь подвал имел в высоту около трех метров. Дальнейший проход оставался пока засыпанным.

Ничто не указывало на близость раки с мощами.

Однако по дороге назад отчаяние от неудавшегося обретения начало сменять новое чувство. Отец Георгий вспомнил, как уже видел что-то подобное — подземелье, где чувствовался дух оставленного храма.

Это было очень давно, во время службы в армии, которую Ярмилов проходил в Поволжье, в Куйбышевской области. Вместе с ним служил ефрейтор Камбала, как его называли все в части, — сухой мужичок неопределенного возраста, и впрямь какой-то плоский. Был этот Камбала сверхсрочником и объектом общих насмешек — за столько лет даже до сержанта не дослужился. Что же он тогда делает в армии?

Камбала был верующим и нисколько не скрывался, напротив — заводил иногда разговоры о божественном. Он почти единственный из всего личного состава был местным.

Здесь неподалеку, рассказывал он, была церковь, самим Богом слепленная. Сошла она с Небес на высокий холм над Волгой, а потом не вынесла мира нашего и ушла под землю — и поднимется только в те времена, когда всех будут судить судом праведным.

А еще, продолжал он, не обращая внимание на зубоскальство и подначки солдат, нашел пути в эту церковь раскаявшийся разбойник Вавила, который погубил народа тысячу, а в конце концов был пойман и ослеплен — но, лишившись очей плотских, обрел очи духовные.

И сейчас, если приложить в иных местах ухо к земле, можно услышать колокольный звон и церковное пение. И до сих пор остается там множество подземных пещер, и живут святые отшельники, которые временами выходят на землю и беседуют со случайными гостями горы.

— А с тобой тоже говорили, Камбала? — вопрошала хохочущая казарма.

— Нет, не было со мной такого счастья, — серьезно и печально отвечал он.

Скорее всего, Георгий забыл бы об этих рассказах, если бы не имела эта тема странного продолжения. Один раз он вместе с другом-сослуживцем пошел в увольнение в ближайшее село. Ухаживание за тамошними девицами не удалось, хотя была потрачена вся месячная солдатская зарплата, — и грустные, вдобавок нетрезвые ровно в той степени, что обещает не удаль, но уныние, медленно пошли они в сторону части, надеясь добрести туда попозже, когда хмель выветрится окончательно.

Тут и увидели они Камбалу. Он стоял в стороне от дороги, но явственно поманил их к себе.

— Хотите, пещеру святую вам покажу? — тихонько спросил он.

Солдатский ум жаден на любое необычное, каким бы сомнительным оно ни казалось, — и вот, включившись в таинственную игру, они пошли в полутьме за Камбалой, который из привычного нелепого существа превратился вдруг в фигуру таинственную, сознающую свою особенную роль.

Наконец они пролезли в щель сбоку от валуна, похожую на большую нору. У Камбалы откуда-то оказался тусклый фонарик — однако и при его свете на полу пещеры стали видны бутылки и строительный мусор, железяки, ничего романтичного.

— Ну, дядя, куда ты нас привел? — насмешливо спросил проводника сослуживец. Но все равно он обратился к нему не так, как в части — там иначе, как Камбала, ефрейтора не называло и начальство, даже приезжавший полковник. Ожидание оставалось в голосе спрашивающего.

— Не пришли еще, — буркнул Камбала с презрением к маловеру.

Миновали еще ряд дырок и пустот. И вот открылась довольно чистая и ровная камера, по размеру и форме напоминающая откопанный Савватием ход. Ничего особенно в комнате не имелось, но Камбала залез рукой в неглубокую щель и торжественно извлек оттуда нечто.

— Вот!

— А что это? — спросил Георгий, силясь рассмотреть при тусклом свете небольшой плоский предмет.

— Икона!

На темной доске не сохранилось ровно никакого изображения, даже кусочка его, — но Георгий вспомнил бабкины иконы и признал, что форма и вид древесины совершенно такие же.

— А где же на ней чё? — спросил сослуживец.

— Стерлась.

— Почему?

— Потому что. Гонения были.

— Какие гонения?

— Я тогда пацаном был. Помню: прислали солдат, оцепили гору. Стали копать, всю гору хотели перерыть.

— И правильно. С дурманом боролись.

Камбала посмотрел на солдата и не сказал ничего.

Когда лезли назад, заблудились и проплутали час, пока не выбрались на поверхность. Сослуживец зло материл Камбалу и его церковь, парадоксально вплетая в мат высокие официальные атеистические термины. Ефрейтор в ответ только молчал. Молчал и рядовой Ярмилов.

Дома, в Винегорске, оказалось, что дверной звонок уже починил кто-то из сыновей. Отец Георгий очень обрадовался этому — значит, сразу

можно идти к себе и заняться делом. До поздней ночи прорывались в темный коридор отблески желтого света из дверных щелей — отец Георгий пересматривал всю литературу, в которой можно было бы найти хотя бы намек на традицию подземных святилищ в Православии. Часто по своей давней привычке он увлекался и начинал читать вовсе о другом, соблазнившись случайной интересной фразой — так, Георгий не мог посмотреть слово в любом словаре, не прочитав хотя бы три следующие страницы. Обычно в таких случаях он давал себе волю, однако сегодня быстро одергивался.

В первую очередь он прочел, конечно, о знаменитых пещерах Киево-Печерской лавры. Пещеры эти, называемая Ближняя и Дальняя, длятся каждая метров триста. Известны они с одиннадцатого века, и до сих пор принимают паломников, привлекая их мощами подвижников и богослужениями в шести подземных церквях. Самая известная из них посвящена святому Антонию.

Также узнал отец Георгий и о церкви, созданной полтораста лет назад в соляных копях Донбасса. Недавно ее восстановили — и несколько больших икон снова заняли свое место в нишах, вырубленных прямо в соляных пластах. Пару лет назад в церкви даже венчался инженер службы маркетинга шахты, исправно работающей до сих пор.

Ярмилов смотрел на фотографии, запечатлевшие восстановление храма Антония и Феодосия в катакомбах Сарова — некогда в него часто спускался и служил сам преподобный Серафим, столетие канонизации которого скоро должно пышно праздноваться всей Православной церковью. Читал об отце Даниле — монахе, появившемся на Алтае неизвестно откуда лет за десять до революции и успевшем вдвоем с местным крестьянином создать за этот срок величественную подземную церковь, причем сан монаха и даже само имя его храма остались неизвестны — видимо, акт этого творения был для него тайным подвигом. Проскальзывали упоминания о катакомбных храмах в верховьях Дона близ Воронежа, прочел отец Георгий и о Вавиловом Доле — и убедился, что слова, давным-давно сказанные нелепым ефрейтором насчет попытки уничтожить саму память об этой священной горе, были полной правдой. В Самаре прошло даже специальное заседание Средне-Волжского областного суда по «Делу ликвидации Вавилова Дола», после чего для карательных действий в отношении горы-церкви был выделен полк ОГПУ.

И только о подземном храмостроительстве на Русском Севере не было сказано ничего. Самое ближнее, что отыскал отец Георгий, — бледное упоминание о катакомбных церквях, которые, возможно, существовали когда-то в Эстонии.

Почему? Может быть, потому, что не было на Севере никогда ни завоевателей, ни яростных гонений до самого последнего века, чтобы

прятать храмы в толщу земли? Может быть, здесь органичней стремление к вышине, к свету, который не отступает летом круглые сутки? В конце концов, здесь не столь благодатные земные породы — меньше податливого известняка или глины.

Но ведь на смену протяженному летнему дню приходит долгая зимняя ночь, столь обильная снегом — он еще и поверх земли укроет церковь, словно белое Божье покрывало. И скорее всего подземные храмы, поднимающие на самую трепещущую высоту благодатное одиночество человека перед лицом Бога, попросту не начались на Севере, куда вообще позднее доходили все духовные веяния.

Но достигнув бесплодных земель, именно здесь эти веяния обретали самое сильное и настоящее воплощение — так произошло с Православием в целом, так возникли Валаам, Соловки и совсем уж суровые северные скиты, духовные подвиги, яростью своей неведомые прежде миру. Так будет, дерзостно решил отец Георгий, и с подземной церковью — олицетворением высшего отречения ветхого человека перед лицом Бога. И если лихие люди разрушили святой храм, если нет сил возродить его в прежнем виде, но есть странным образом обретенное подземелье — не указание ли это судьбы?

Одно жалко — придется отложить, а скорее всего и вообще оставить мысль о преображении Казанской церкви. На оба дела не хватит сил.

Зато теперь отец Георгий не колебался, как тогда, увидев фотографию неведомого Казанского храма. Пусть прихожане, епархия, новый будущий инфаркт — пусть весь мир будет против него, пусть оборвут на полуслове, на полуделе, на четверти, не дадут даже начать, отец Георгий будет спокоен.

Отец Георгий впервые за много лет был спокоен.

Глава 7. Невеста неневестная

Добравшись до дома и напившись чаю, Олимпиада Григорьевна продолжила свои размышления. Добрая женщина жила одна — можно даже сказать, что квартира эта и существовала для того, чтобы облагодетельствовать свою хозяйку спасительной полутьмой одиночества после чрезмерно насыщенной жизни при церкви. В первые дни после сторожки одиночество это, казалось, обретало даже свое материальное воплощение в виде особенного чувства, напоминающего тепло большого черного кота, безмятежно развалившегося на коленях.

И хотя мысли Олимпиады вращались вокруг сторожки, ее кипящей жизни, телу все равно было тепло и уютно. Тем лучше думалось.

Олимпиада Григорьевна знала, что недавно к отцу Павлу снова приезжал сын, и особенно яростно просил помочь, доходя даже до некоторой непочтительности, чего не бывало раньше. Отец укоротил

его, конечно, он умел это делать, но в глубине души, видимо, согласился с его правотой, и после отъезда сына уже два дня — Олимпиада как раз посещала Мищенок в эти дни — был как-то особенно сосредоточен, хотя никакой инспекции со стороны благочиния или епархии не ожидалось.

Куда может отправить сына отец Павел? Первый путь — епархия, областной город, там самое почтенное место, да и близкий родственник под рукой.

Но белому священнику довольно сложно реализовать свои жизненные запросы — а зная семейные традиции Мищенок, Олимпиада Григорьевна не сомневалась, что у сына они не меньше, чем у отца, — находясь в средоточии духовенства черного, которому только и открыт в Православной церкви путь к вершинам иерархии. Значит, вполне может быть, что отец Павел подыскивает своему отпрыску иное место. Где? Ответ напрашивался сам собою — здесь, в Винегорске. Два прихода — это и есть весь город, это и есть максимальная реализация принципа «пусть ваши прихожане отправляются ко мне». Да и требовать полного сыновнего послушания, направлять по большей части сыновнее иерейское влияние — вполне в духе отца Павла. А осуществить это у себя на глазах гораздо удобнее.

Но восстанавливать новую церковь — путь слишком долгий, не в стиле быстро и всегда безошибочно действующего отца Павла. Значит, он попытается направить сына в Казанскую церковь — больше некуда. Покровская, в которой служит Сергий, хотя и не слишком удалена от города, все же городской может считаться с большой натяжкой — вдобавок Казанская стоит на кладбище, месте хлебном, и дорога туда самая проторенная.

Но винегорские церкви слишком малы, чтобы в их причте могли бы состоять несколько священников, как бывает в крупных городах. А это значит, что отцу Георгию грозит опасность. Да, опасность очень серьезная и скорая, ибо сложно переоценить влияние Мищенок — и их решительность во всех вопросах, которые касаются третьего Христова искушения, то есть власти.

Олимпиада Григорьевна по-прежнему не собиралась никому ничего говорить — она решила действовать. Наблюдательную позицию выбрать было несложно — Света, бывшая певчая отца Георгия, перешедшая ныне в стан отца Павла и оставшаяся лучшей подругой Олимпиады, жила в своем домике как раз недалеко от въезда на кладбище. Выходило, что этот дом был самым последним городским строением, дальше начинался лес, в котором прятались кладбище, сторожка и церковь. Рядом проходило шоссе, и чтобы попасть на кладбище, нужно было свернуть с него на небольшую асфальтированную дорогу и проехать или пройти около километра.

Олимпиада Григорьевна провела в этом доме три вечера. Хозяйка если и удивлялась про себе такой неожиданной настойчивости подруги, однако не подала виду и была рада лишний раз посудачить, пожаловаться на неблагодарных детей и похвалить отца Павла. Эти похвалы Олимпиада слушала с неудовольствием, но пристально, чтобы не пропустить никаких подробностей, — и еще больше укрепилась в своих подозрениях, хотя ничего прямо относящегося к делу хозяйка домика не сообщила.

Наконец на третий день, когда подруга уговорила припозднившуюся Олимпиаду Григорьевну ночевать и даже начала стелить ей, со стороны развилки послышался шум сворачивающей машины. Олимпиаду пощадила глухота, это проклятие многих пожилых людей, — и она была почти уверена, что слышала мотор микроавтобуса отца Павла. Тонкий слух позволял певчей запоминать любые хотя бы чуть знакомые звуковые оттенки, а этот микроавтобус как раз встретился ей на городской улице вчера.

Олимпиада Григорьевна, конечно, понимала, что очень даже могла ошибиться — и все же без колебания оставила изумленную подругу и отправилась в довольно ощутимый холод ночи. Днем как раз шел дождь, и Олимпиада с трудом обходила лужи, подгибая полы плаща, — она шла по тропинке наперерез, боясь опоздать. Наконец она вышла из леса на твердое покрытие, и вскоре поняла, что не ошиблась — недалеко от будки был ясно различим белый силуэт фургона.

Ее долго не замечали, до самого последнего момента, когда до незнакомого здорового мужчины, видом грузчика, который как раз грузил тюки с гумпомощью в машину, и до отца Сергия, помогавшего ему, оставалось метров десять или немногим больше. Олимпиада Григорьевна ожидала увидеть что-то подобное, но теперь поняла, что одно дело — думать, а другое столкнуться с подлостью лицом к лицу. Позади была целая жизнь — но разве можно привыкнуть к подлости человеческой?

Она сама не узнала свой голос — сухой, резкий, надтреснутый. Зато узнал его отец Сергий — и съежился, ибо таким голосом уже однажды отбросила его Олимпиада Григорьевна от себя, как пинком откидывают шелудивого пса.

— Что это такое? Я спрашиваю — что это такое?! Немедленно уберите назад.

Кругом темнел лес, и только в этом месте было пусто — как будто кто-то позаботился создать амфитеатр и сцену. И стояли, замерев, двое мужчин, сильных и молодых, а перед ними стояла маленькая старая женщина с тонкими белыми волосами, нелепо развевающимися по ветру.

Наконец грузчик не то вздохнул, не то кашлянул, не то крякнул — в общем, издал какой-то странный звук большого существа, и начал перетаскивать вещи обратно в будку.

— А ты что стоишь? — не сходя с места, обратилась Олимпиада Григорьевна к Сергию, — помоги ему.

Сергий взял две больших куртки из гумпомощи, но, споткнувшись, уронил их — и, сев рядом на землю, не стал подбирать. Одна куртка была желтая, другая оранжевая — они были хорошо заметны даже в темноте, в отличие от черной рясы Сергия. Когда посыльный Павла наклонился, чтобы взять их, Сергий суетливо подобрал рясу и даже подоткнул ее под себя. Грузчик посмотрел на него презрительно, забросил куртки в открытую будку, почти бесшумно захлопнул заднюю дверцу фургона, завелся и уехал, за все время не произнеся ни слова.

Сергий тоже молчал — и продолжал сидеть на земле.

— Ну? — спросила Олимпиада Григорьевна.

— Чего? — с тоской обернулся он к своей мучительнице.

— Рассказывай.

Сперва неохотно, но потом, решив, видимо, броситься прямо в огонь головой, горячо и быстро говорил Сергий обо всем. Он, словно человек, стоящий на краю гибели и желающий исповедаться побыстрее, не дождавшись священника, рассказал все, умолчав лишь о конкретных обещаниях карьеры, данных ему Александрой. Слишком уж несуразно звучали бы слова о близости к архиерейской кафедре от монашка, сидящего ночью на земле и отчитывающегося, словно школьник, перед недавней учительницей. Впрочем, в глубине души Сергий всегда знал, что обещания Жанны не стоят почти ничего — но все равно жадно слушал их, жадно ждал лжи из тонких, умело накрашенных губ, как будто по-настоящему жарких.

Он попытался повернуть исповедь в браваду и не смог — слишком силен был удар. Попытался захотеть убить Олимпиаду — а если бы захотел, наверняка убил бы, и никто не успел бы помешать — но не получилось и этого.

— Ты, конечно же, не надеешься, что я буду тебя покрывать?

— Нет.

— Ключи возьми. Будку закрой.

Она проверила, закроет ли он будку — что было не очень осмысленно, поскольку ключи она все равно не собиралась у него забирать. Она знала, что Сергий слишком перетрусил, чтобы попытаться сделать этой ночью еще одну мерзость.

Подруга наверняка беспокоилась — а Олимпиада Григорьевна не любила беспокоить людей без крайности, поэтому, попрощавшись по обыкновению вежливого человека, оставила кладбище.

После первых же слов о ночном происшествии, сказанных на следующий день после службы, отец Георгий уже странным образом догадался в мелочах обо всех подробностях. Очевидно, неожиданное исчезновение гуманитарной помощи имело целью дискредитировать его в

глазах епархии, на которую его прихожане вновь должны были обрушить поток письменных жалоб. Отец Георгий знал, что с недавнего времени среди его духовных детей есть люди, одновременно внимающие и отцу Павлу, которые при случае не откажутся помочь именно второму в любом его начинании. Очевидно, они должны были спровоцировать начало атаки на Георгия и первыми невзначай поднять тему с гуманитарной помощью, якобы проданной настоятелем Казанской церкви для наполнения собственных карманов.

Может быть, случись вся эта история неделю, а тем более месяц назад, отец Георгий и не особенно возмутился бы. Если бы настроенное против него начальство перевело бы иерея в самый захудалый приход самой отдаленной деревни, ему было бы по большому счету все равно. Правда, упало бы и так ненадежное благосостояние семьи — а на днях у Ярмиловых прибавилось еще едоком, поскольку старшего сына Николая, работавшего шофером в одной окончательно разорившейся социальной службе, сократили. Но глубину души отца Георгия это затронуло бы не особенно сильно.

Однако в свете новых планов священника все смотрелось совсем по-иному. Во-первых, Антониевская пустынь формально находилась на территории прихода Казанской церкви — а значит, если отец Георгий уйдет с этого места, он окончательно лишится и так сомнительных прав заниматься восстановлением пустыни. Во-вторых, мероприятие это потребует немалых средств, а без доходов от хорошо известной среди винегорских верующих Казанской церкви достать их будет попросту невозможно.

Олимпиада Григорьевна принесла и более свежую, самую последнюю новость — Сергий сбежал. В его половине сторожки не было многих личных вещей, велосипед также отсутствовал. Олимпиада позвонила в Левицу и узнала, что на территории своего прихода иеромонах также не появлялся. А поскольку дома у Сергия давно уже не было — мать отбывала заключение, а братья-сестры давно выставили монаха из причитавшегося ему домика, — то место, куда отправился настоятель левицкой церкви, было неизвестно, а его возвращение было вопросом неопределенным, если вообще могло случиться.

Наступившие выходные ни в коем случае не были для отца Георгия днями отдыха — он служил в обеих церквях, и это было сложнее, чем раньше, поскольку нынешний график богослужений не предусматривал такого образа действий священника. А вот возраст, против ожиданий самого иерея, не служил помехой — его компенсировал тот прилив сил, который начался в последние дни.

Отец Георгий возглашал Славу Божью в Покровской церкви, видел перед собой ее иконостас с иконами на картонной основе, и дух его переполнялся яростью. Нельзя допустить, чтобы его изгнали из Казан-

ского храма до тех пор, пока не будет восстановлена Антониевская пустынь! Нельзя, потому что не свершится тогда богоугодное дело. Нельзя, потому что сегодня ночью отцу Георгию снова казалось, что он чувствует приближение нового инфаркта, который — он знал почему-то точно — будет смертелен. А значит, времени осталось очень немного.

За неделю отец Георгий посетил пустынь еще два раза. Оказалось, что кроме плотницкой профессии Савватий владеет еще и ремеслом штукатура — научился не то в монастыре, не то во время скитаний, по крайней мере раньше, под именем Ильи, он таким умением не обладал. Георгий еще раз возблагодарил Бога за то, что тот послал ему столь неутомимого и ревностного помощника.

Сразу на сырую штукатурку, как и положено по древнему рецепту, Георгий собирался писать фрески. Он прежде никогда не занимался росписью — вернее, обучался этому искусству давным-давно в Троице-Сергиевой лавре, но с тех пор так и не дерзнул практиковаться.

Однако теперь он думал о росписи как бы в полусне, не отягощенный обычными опасениями человека искусства — выйдет или не выйдет. Он смотрел на своды бывшего монастырского подвала и представлял тут Христа и Деву Марию, видел Святого Трифона, явившего дьявола во всей мерзости и бессилии его — черным псом с горящими глазами и волочащейся по земле головой.

Трифон призвал духа разрушения по просьбе кесаря, после чего тот уверовал. Как это смешно, подумал Георгий, — уверовать в Бога потому, что узнал о дьяволе. Видимо, несмотря на все жестокости, слишком целомудренны были те времена, что существование беса и его отвратительный облик нуждались в доказательстве. Хорошо и скучно, наверное, было жить в них!

Неожиданно отец Георгий осознал, что, несмотря на все свои сумбурные проповеди, анафематствование Интернета и номера налогоплательщика он любит свое время — любит за запустение его. Да, весь мир превратился в глобальную провинцию, и нет в нем уже своего блистательного Рима, тонкими сетями лести охватывающего человека, живущего в Духе, — нет опасностей настоящей славы, потому что не может быть таковой у художников и священников, а есть одни лишь усмешки и вериги для каждого, кто не желает полностью и безотлагательно отдаться мутному потоку мира. Теперь дьявол не желает уступок, даже самых малых, — что ж, спасибо ему.

Сложнее всего было провести электричество для освещения подземного храма — ближайшая линия заканчивалась километрах в десяти от пустыни, а переходить вовсе на свечи вряд ли удобно. Нужно было установить движок, вырабатывающий электроэнергию, — а где его взять, непонятно. Савватий подсказал: временно можно было отводить электричество от работающего автомобиля, но это означало не-

малые траты на бензин и не самый яркий свет. Погрузившись в технические заботы, отец Георгий и не заметил, как начинало темнеть, и сын напомнил ему — пора уезжать.

Покидал он пустынь всегда с огорчением — и завидовал Савватию, его безмятежному здоровью и отсутствию обязанностей среди мирских людей. Поэтому всю дорогу священник бывал мрачен, и терял часть той силы, которая осеняла его на берегу озера. Перед его мысленным взором чередой проносились люди — маленький отец Павел с тяжелым взглядом, сбежавший Сергий, собственные сыновья, и ни в ком не было огня, а одна пустота. Так не недоразумение ли и тот огонь, что загорелся в самом отце Георгии? Он знал, что иные и так почитают его за сумасшедшего, а едва только вести о подземной церкви достигнут мира, то таких станет многим больше. Но их прельщает хоть пустота — у него, не будь церкви, не останется ничего. А может, он неправ, не желая отыскивать в их пустоте кусочки подлинного бытия? Очень может статься, что неправ, и наверное, во многом прав отец Павел и подобные ему. Однако никогда у них не будет щемящей печали на сердце и ощущения болезненной любви к Богу и его миру, к тому, что мешается за окном машины в сплошную череду черного и белого.

Зато у них есть любовь всегдашняя, любовь здоровая. Все их чувства постоянны — эти люди оседлали время. Но у отца Георгия уже давно созрело глубокое убеждение: сила, которую христиане зовут дьяволом, и есть время. Когда Бог Отец в своих непонятных нам путях сотворил время, то стрелка часов стала отбрасывать тень в высшем свете — и это была первая тень в мире.

А в пятницу, когда в Казанской церкви пели акафист Пресвятой Богородице, в храм вошла Александра. Она остановилась и долго, недоуменно смотрела на то, что происходит вокруг, как будто попала сюда откуда-нибудь с луны. Она смотрела на Олимпиаду Григорьевну, на Макриду и других певчих на клиросе. Был редкий день, когда в церкви иерея Георгия царило согласие — никто не отталкивал никого от священной книги, никто не отворачивал лица, не видно было ни въедливости Олимпиады, ни грубости и глупости Макриды, ни пьянства Ивана, долговязого уродливого парня, и сам священник с удивлением приглядывался к своему причту. Мягко и нежно рассекала воздух ладошка Олимпиады Григорьевны, дирижируя общим ритмом, и все эти своевольные и вздорные в обыденной жизни существа подчинялись, не торопясь, но радуясь внести свою долю в общую молитву. Длинный Иван, оставленный в заднем ряду, неловко тянулся к книге, а когда случайно задевал кого-то, одергивался, словно всем нелепым телом прося прощения, и все безмолвно прощали его. Олимпиада была в красном пиджачке и красном беретике — но даже это не делало ее облик смеш-

ным. Александра поняла, что если посчитать смешным хотя бы один их жест, хотя бы одну деталь в костюме — или долговязую фигуру длинного певчего, или горящее выражение его глаз, — придется считать смешным все происходящее, все, что существует в мире кроме ее прежней жизни. Тогда придется считать смешным и нестоящим самого царя этого поющего царства — отца Георгия, к которому пришла девушка.

У свечного прилавка не стоял никто — да кроме хора и священника никого и не было в храме. Александра просто так, не оставив платы, взяла свечку, зажгла ее от ближайшей лампады и встала, не таясь, смотря на отца Георгия.

Все — и священник, и хор — делали вид, что не замечают ее. Хотя, через некоторое время подумала она, скорее всего они действительно не обратили внимания. Вопреки всем законам, по которым до сих пор жила Жанна, ей даже стало от этого легче — но ненамного.

«Радуйся, Невеста Неневестная!» — старательно выводила Олимпиада, а за ней и остальные певчие. Злая слеза хотела сорваться из глаза Александры — и на третьем повторении стиха-икоса не выдержала, царапнула щеку. Ее покинул весь мир — и даже привычная злоба, броня пренебрежения к людям, к самцам-мужчинам и женщинам-самкам, вдруг странным образом рассыпалась и перестала защищать.

Сейчас она переступила порог Казанской церкви из какого-то странного любопытства. Ей было интересно посмотреть на человека, так мешавшего ее отцу. И все? Этот вопрос задала себе Александра — и не нашла ответа.

Она смотрела на отца Георгия, нараспев читавшего из большой книги, и безошибочно чуяла в нем — как зверь чует запах — ту самую силу, которая отличала наиболее серьезных из ее кавалеров: немолодых людей, сильно поднявшихся в жизни. К одному из них даже возникло какое-то подобие любви — единственный раз за всю судьбу, к человеку, от которого зависели в большом городе немалые дела. Даже выражением лица они походили друг на друга: к тому же Георгий был когда-то художником, а пожилой бандит, с которым ненадолго столкнула жизнь Александру пару лет назад, когда-то в юности, как она случайно узнала к своему немалому удивлению, считался подающим надежды поэтом-бардом.

Значит, это правда: возможно быть мужчиной — и не быть сильным, вернее, быть сильным по-другому. Отдать свою силу, отдать свое преуспевание. За что? Этого девушка не могла понять.

Но понятно было одно: это что-то должно обладать огромной мощью, затмевающей все, что видела пока Александра. Только зачем это дурацкое кадило, от которого пахнет этим глупым ладаном?

Саша вполне разделяла взгляд на религию, бывший пару десятилетий назад официальным, — мошенники невысокого полета, у которых

не хватило сил и смелости на настоящие преступления, оделись в рясы и вымогают мелкие деньги у мелких людей. Девушка не раз ссорилась на эту тему с отцом, который всерьез полагал себя служителем Православия — но она знала, что на кинутые в лицо прямые обвинения он по большому счету ничего не сможет ответить. «Да, беру, но и людей держу», — как-то сказал он ей в высшей степени раздражения. Но ведь и любой маленький пахан действует так в отношении своих шестерок!

Отец Георгий — слабак, почти такой же, как и его ученик Сергий, еще совсем недавно подумала бы Александра, если бы ей вообще пришла в голову мысль думать о них. Но разговоры, которые часто велись в последнюю неделю в доме Мищенок вокруг фигуры врага, заинтересовали ее. Сам не желая того, отец Павел поведал о своем неприятеле что-то такое, что очень понравилось девушке. Один рассказ о том, как после пожара на деревянной колокольне отец Георгий вместо нытья или наплевательства, вопреки всем законам природы и человеческой психологии, в канун заморозков соорудил высокую каменную — при отсутствии средств даже на повторение деревяннной — чего-то да стоил.

«Сумасшедший, фанатик», — подумала Александра, но эта успокоительная мысль оказалась неубедительной. Какие к черту фанатики! Это какие-то жалкие неудовлетворенные люди, что-то из теории Фрейда, которую в сильно облегченном виде Александра изучала по методике ликбеза в своем московском филиале. Может быть, долговязый Иван — фанатик, но никак не отец Георгий.

Александра резко развернулась и вышла из церкви. И лишь отойдя метров на двести от храма, с удивлением обнаружила, что она еще держит в руке тоненькую свечку, и та все еще горит.

Девушка вспоминала, как она увлекла подруг-сокурсниц на неженское развлечение, бытовавшее среди мужской молодежи: ходить по дуге железнодорожного моста, простиравшегося над большой рекой. Кроссовки задевают за большие болты, покрытые серебряной краской, и жутко идти над городом, и какая-то резь в животе, похожая, наверно, на ту, с которой рожаешь ребенка. Особенно страшно, если именно в этот момент, когда находишься сверху, на мост заползет поезд, страшно, что стрясет вниз колебаниями своего огромного металлического тела. И когда Александра поднялась на мост во второй раз, она не успела спуститься раньше, чем появился поезд: она легла, распросталась на стали, и ломала ногти, цепляясь за болты, и обещала себе никогда, никогда, никогда не делать ничего странного и наивного в этой жизни, если останется живой.

Сейчас Жанна тоже ощущала ту странную резь в животе — и ту детскую и одновременно серьезную игру, полет, возвышающий ее над жизнью последних лет. И как тогда жалела она, что не было человека, мужчины, способного идти рядом! С ней пошли только подруги, которые остались ждать у подножья моста.

А один раз, два года назад, девушка поругалась с отцом из-за денег — дело было летом, и на каникулы она осталась в том же городе, где училась, и назло себе отшила всех ухажеров, среди которых были симпатичные, обеспеченные, и месяц торговала в ларьке сигаретами и пивом, с утра до вечера принимая, раскладывая по разным отделениям кассы чужие грязные купюры, которые тысячи рук совали ей с особенной злобой. В те дни Александра еще больше, чем сейчас, запустила свою внешность, словно приятно было наблюдать в зеркало непричесанное и беспомощное существо.

И тогда никто не поддержал ее хотя бы единым спокойным словом. А как она мечтала о такой поддержке!

На следующей службе — литургии — Александра вела себя гораздо более чинно. Первый раз в жизни дочь священника простояла всю церковную службу, дождалась исповеди и подошла к отцу Георгию самой последней.

О своей блудной жизни в большом городе она сказала лишь несколько сухих слов, как будто о грехе вовсе мелком, а потом заговорила с горячностью. Она рассказывала и о попытке обольщении Сергия, и об одновременной брезгливости к нему, о ложных обещаниях, о прошлой подлой исповеди, о том, как отец обещал помочь ей за все это устроиться в областном городе или даже в Петербурге, и о многом другом, имеющем отношение к истории с гуманитарной помощью, выставлявшем Александру в самом некрасивом виде. Отец Георгий узнал, что, согласно планам отца Павла, ему предназначалось место настоятеля Покровской церкви в Левицах, чтобы в Казанском храме воцарился Мищенко-младший.

Священник пытался прервать сумбурное, ни на что не похожее самообличение, протестующе махнул рукой пару раз, пытался перевести разговор на иные грехи. Он припоминал случаи своей практики, писания святых отцов и книги современных священников — но подлинный смысл исповеди Александры стал понятен не сразу.

Она не пришла насмехаться над ним, не пришла жаловаться на отца и брата, но не пришла и с желанием подлинного очищения исповедью и даже не с естественным человеческим движениям попросить прощения у человека, в отношении которого совершила подлость. С отцом Георгием давно не говорили так — и вдруг священника, которому исполнилось недавно пятьдесят четыре года, настигла мысль, что двадцатилетняя девушка просто потянулась к нему как к мужчине.

Почему это произошло? Может быть, речь здесь идет о простом женском отчаянии, соединенном с привычкой к блуду? Казалось бы, все внешние обстоятельства подталкивали отца Георгия именно к такому выводу. Однако он вдруг почувствовал, что сегодняшняя роль Александре непривычна и кроме того — она изменяется, она стано-

вится другой, в чем-то подобной отцу Георгию своим болезненным неприятием мира.

Она могла бы стать юродивой.

Говорят, в иных приходах и городах юродивые встречаются даже сейчас, но отец Георгий и близко не сталкивался с такими людьми. А когда читал о них, о прежних, странное чувство родного и больного подкатывало к его горлу. А теперь это ощущение он впервые ощутил при словах живого человека.

А такого человека нельзя ударить — ни по телу, ни по душе.

Но, несмотря на свое внутреннее юродство, сейчас Александра ждала от него проявлений ответного влечения. Нельзя сказать, что до сих пор иерей Георгий всегда бывал образцом супружеской верности. Пару лет назад дочь привезла с собой на каникулы подругу Наташу, по годам немногим старше Александры. Наташа, красивая крупная девушка, сочетавшая с русской красотой восточную, кажется армянскую, была в еще более сложной ситуации: из института ее выгнали, родители были далеко, отец имел нрав по-восточному крутой, а кошелек скудный.

Но тогда ни о какой претензии на тяготение именно к отцу Георгию не было речи с самого начала. Он просто был единственным взрослым мужчиной, живущим в одной квартире с отчаявшейся, желающей утвердить за собой право хоть на какое-то существование женщиной, неожиданно для самой себя оказавшейся совершенно одинокой во всем мире. Тело мимолетней любовницы оказалось роскошным, сочным, этот случайный дар, эта заезжая красота, этот паданец, ветром занесенный из чужого сада. И хотя, как и всякий паданец, казался он чересчур сладким, переслащенным, так что откусить было трудно, отец Георгий до сих пор хранил греховное воспоминание — одно из немногих, коими больно, но и счастливо жгла его жизнь.

Роман с Наташей закончился быстро — в три дня Даша, в которой взыграла ревность к былой любви и положению главной женщины в доме, выгнала бедную армянку. А теперь, глядя на Александру, не менее красивую и молодую, отец Георгий не чувствовал ни одного из тех порывов. Неожиданно пришедшее уважение к дочери отца Павла не перешло в любовь — или хотя бы в желание, настолько сильное, чтобы снова можно было подвергнуть опасности свою чистоту, замедлить шаги на пути новых обретений.

Без слов отверг Георгий бессловесное движение Александры. Равнодушно отпустил он подлость против себя и грехи против Бога, причастил, ни единым взглядом не выделив из других подошедших к чаше, объявил прихожанам о завтрашней литургии и ушел в алтарь.

Он знал, что своим безразличием мог убить нарождающегося нового человека — но не мог заставить себя любить Александру, как и никого вокруг. Недавно прочитал Георгий об иноке Иове, русском подвижни-

ке, который говорил своему единственному духовному другу — я одного просил у Бога, чтобы мне не видеть народа, стоящего в церкви, и случалось: обернусь, и никого не вижу.

Александра возвратилась домой. В комнате у нее стоял компьютер, купленный ей от неожиданных щедрот отца в то время, когда девушка поступила в институт, и с тех пор не очень-то часто включаемый. По дороге бывшая студентка зашла к одному знакомому компьютерщику — в Винегорске все были знакомы — и выпросила диск с компьютерными играми, именно выпросила, а не милостиво взяла, как будто и не умела применять женскую власть.

Александре казалось, что с каждом днем ее лицо чернеет и его капризно-очаровательное выражение, которое так привлекало мужчин, превращается в вечную гримасу усталости, вроде той, что у пятидесятилетней кассирши на вокзале, у которой пятеро детей и которая гордится тем, что всю жизнь сидит в своей идиотской кассе и протягивает билетики. Сходить бы в салон красоты, сделать бы себе новое мелирование, вернуть прежний легкомысленный цвет — но деньги кончились, а новых отец не дает. Да и не стоит того Винегорск, чтобы ходить по его улицам красивой, зло думала девушка. Отец Георгий все равно ничего не заметит.

Два дня подряд, почти не выходя из своей комнаты, Александра играла в игру, совершенно неженскую — нужно было строить в компьютере государство, отправлять армии и основывать города. Никогда раньше девушка не могла бы подумать, что подобное развлечение стало бы ей интересно. Просто ничто иное, привычное — кокетство, телесериалы, чтение детективов — не отвлекало нежданно народившиеся мысли.

Пыталась она даже читать религиозную литературу, но после первых трех строчек отбрасывала книгу с отвращением. Единственное произведение из отцовского собрания, которое немного заинтересовало ее, была книга о борьбе с сектами. Александра даже удивилась самой себе — как переживает она за глупых людей, попавших в этот кошмар, как возмущается подлыми сектантскими способами вербовки и хулой на церковь. Наконец она поняла, в чем дело, — методы сектантских руководителей связались у нее в сознании с собственным отцом, а Православие в его благолепии, твердости и цельности — с отцом Георгием.

Когда в дом пришла Олимпиада Григорьевна, Александра буквально захватила ее и стала выспрашивать про восстановление пустыни. Олимпиада говорила очень неохотно, но девушка приступила к ней с большим напором, и ей удалось узнать о том, что завтра из Винегорска отъезжает фургон с желающими принять участие в восстановлении былой обители. Теперь Александра могла подойти к отцу Георгию совершенно официально — правда, все равно без особенной надежды на успех.

— Я могу готовить, подшивать... ну, стирать там. Все, что нужно, — равнодушным тоном говорила она недоверчиво хмурящемуся священ-

нику и слышала свой голос, как чужой. Была непривычная для северян жара, и было тяжело.

Глядя на его лицо, девушка уверилась, что Ярмилов откажет ей. Но с тем-то и было связано недовольство иерея, что решить этот вопрос становилось очень затруднительно. Логика властно велела отказаться от шага, в высшей степени подозрительного — одна красивая и невоздержанная девица среди нескольких грубых работяг, и так не особенно внятно чувствовавших святость дела. Все это слишком осложняло и без того спорную и почти безнадежную работу.

Но разве само решение о восстановлении пустыни не принято вопреки всякой логике? Разве стиль, которому собрался следовать теперь в своей жизни отец Георгий, не зовет именно к таким, безрассудным решением, если душевное чувство не говорит против?

Он слышал, как тяжело дышит Александра, словно маленькое и испуганное существо, смотрел на ее короткие волосы, большую голову — и согласился. В конце концов, отцы-пустынники благодарили же Бога за посылаемые им искушения и за ту недостижимую другими путями благость, которая чувствуется после преодоления этих искушений.

Метрах в пятистах от раскопок находилось полуразвалившееся двухэтажное деревянное строение — бывший дом отдыха строительно-монтажного треста. Отец Георгий договорился, что приехавшие восстанавливать пустынь будут жить в нем. Здесь имелись пять железных кроватей, русская печка, застекленные окна, и на первом этаже сквозь щели в дощатом потолке падал солнечный свет.

Отец Георгий предложил переехать сюда и Савватию, но тот как-то отговорился и остался в своем сарае, и священник не стал настаивать — монашеское звание предполагает все-таки некоторое уединение.

Первые два дня Ярмилов провел вместе со всеми, раздавая указания. Мужчины разводили раствор, клали кирпичи в прорехи, устроили удобную деревянную лестницу с перилами, которая приятно пахла, как всегда пахнет свежеструганное дерево. Теперь спускаться в раскопки стало гораздо удобнее — и позднее по этой лестнице верующие пойдут на богослужение. По замыслу отца Георгия, храм должен возникнуть как самостоятельная единица как можно скорее, чтобы проще было его защищать в случае нападок с любой стороны.

Первый обед запоздал немало — Александра очень давно в последний раз готовила на печке, сперва долго не могла разжечь ее, поймать тягу, и порядком наглоталась черного дыма. Хозяйкой она была совершенно неважной — никакого влечения к домовитости не было у нее ни раньше, ни сейчас — и уха из рыбин, принесенных священнику местными рыбаками, оказалась помимо всего изрядно переперченной.

Вечером отец Георгий и рабочие-добровольцы почти сразу, войдя в корпус бывшего дома отдыха, легли спать и с Александрой бесед не

вели, перебросившись лишь несколькими словами. На следующий день девушка думала, что отец Георгий вечером должен уехать, и вот он снова там, на раскопках, а она одна в этом неуютном здании, и совершенно непонятно, зачем. Хотя возвращаться домой в любом случае не было никакого желания — тем более что она уехала, ничего не сказав отцу, к его врагу, и вряд ли ее встретят спокойно.

Собираясь в пустынь, Александра предугадывала, что ее ждет много скуки, и поэтому решила взять с собой хоть какие-нибудь бедные развлечения. С ней был моток ниток и вязание, хотя девушка терпеть не могла всяческое рукоделие, а также пара книг. В самый последний момент она все решала, не взять ли плейер, и колебаниями взвинтила себя до самых злых слез, то кладя в сумку, то вынимая эту вещь, как будто именно от плейера зависело ее счастье или хотя бы спокойствие. В конце концов отбросила на диван так, что пластмассовая коробочка упала на пол.

Одна из книжек была «Собор Парижской Богоматери» — девушка решила прочитать ее из-за одноименного популярного мюзикла, по которому сходили с ума все знакомые студенты и особенно студентки. Другая книга тоже была из серьезных — по крайней мере, «Анжелику» и ей подобное девушка решила в пустынь не брать. Но все же книги не должны быть и тошнотворно-скучными, как церковное чтиво отца, — и этот компромисс заставил Александру выбрать Набокова.

По Набокову сходила с ума лишь одна ее подруга — но зато очень сильно и очень долго, и всячески агитировала Жанну приобщиться к нему. А ведь и эстрадная певица Земфира поет: «она читает в метро Набокова, я сижу около».

Правда, подруга упоминала только одно название, «Лолиту», но такой книги в доме Мищенок не имелось. Зато нашлась другая, и тоже Набоков — Александра, не рассмотрев ее внимательно, сунула в свою поклажу, поскольку еще предстояло думать насчет плейера.

Проводив мужчин на работу, она вышла к озеру, села лицом к нему на большой валун и открыла этого самого Набокова не с начала. Очень скоро девушка убедилась, что книга полная чушь — речь шла о каком-то дурацком мальчике, играющем в шахматы. Она уже хотела отложить, но продолжала по инерции читать.

И тут с Александрой что-то произошло. Чтение становилось все дурнее, все скучнее, все страшнее — но она не могла оторваться. Нет, ее впечатление было совершенно не то, что бывает при просмотре фильмов ужасов — тем более что ничего реально страшного в книге не описывалось. Мир как будто темнел, небо разваливалось на треугольники — а Саша Мищенко все читала и читала дурацкую книгу.

Прошло около часа, и большим усилием воли она сумела оторваться. Для этого пришлось обмануть саму себя — сделать вид, как будто она

беспокоится об обеде, что нужно начать заранее, чтобы, не торопясь, расправиться с нечищенной рыбой, прокопченной старой печкой и луком, который Саша особенно не могла терпеть.

Таким образом, она смогла на секунду вновь стать собою прежней, и ярость перекосила черты девушки. Это же надо так подло писать! Так хитро уметь душу человеческую вывернуть наизнанку, что даже сам человек этого не замечает. Да это же хуже убийства, за это судить надо... расстреливать надо! Да, таких, как этот Набоков, как отец Георгий, надо расстреливать.

Жанна со всей силы кинула гадкую книжку в озеро, но в полете та раскрылась и упала на землю совсем рядом. Девушка встала с камня, немного успокоилась, взяла книгу, сложила ее — все-таки Александра была Мищенко.

Она провела детство в далеком поселке рядом с исправительной колонией, где ее отец служил лейтенантом лагерной охраны. Это была Коми АССР, и она помнила какие-то урывки — сосны, еще более низкие и более бесконечные, чем здесь, неизвестно как попавший в эти края апельсин, который она чистила зимой и смотрела, как яркие-яркие корки падают на снег, падают в мир, где все только бело да серо, как улыбались ей солдатики, и девочка не понимала, почему они такие большие, а так жалко улыбаются, и как ездили они один раз к южному морю и какая дряблая была у тетенек кожа на спинах и особенно на животах. И как потом опять вернулись, и опять на север.

Почему все это пришло к ней сейчас? Как будто в этом лагере под черным дулом автомата ее отца сидел отец Георгий, и ему было не страшно, а ей, Александре, страшно, потому что она была виновата, что он там сидит — может быть, этой своей недавней мыслью о расстреле, может, историей с Сергием, а может быть, неверием в Бога, в которого верил отец Георгий.

Озеро рассыпалось мелкими холодными волнами по мелководью. Из глубины себя оно притащило ржавый большой бакен, огромный конус высотой метра в два, и теперь само же швырнуло его на мелкий песок и качало туда-сюда. Бакен был похож на колокол, и выходило, что озеро бьет в него, и даже звон уже слышался Александре.

«Попросту я схожу с ума», — подумала она и немного успокоилась. Да, гораздо лучше думать, что не отец Георгий, а она сумасшедшая и слабая. За себя не очень было обидно. Ей представились какие-то заботливые врачи, мягкая подушка, белоснежно чистое белье — и стало приятно.

В таком настроении Саша решилась пройти вдоль края озера.

Она вспомнила, как школьная учительница по биологии из кожи вон лезла, чтобы рассказать им о шизофрении — как будто этот урок с рассказом и был главным, ради чего она терпела всех своих несносных учеников весь год. Училка с воодушевлением рассказывала, как какой-

то шизофреничке казалось, будто у нее ребенок, она качала его и сюсюкалась с ним.

«Так вот и я представлю, что Георгий меня любит... И ребенка тоже можно. Просто представлю, и все».

Так думала Александра, а озеро бросило свою погремушку и подбодряло ее, как бы говоря: правильно придумала, лучше всех, молодец, придумывай дальше. И Саша улыбнулась озеру, его волнам и колеблемому тростнику.

Так все продолжалась и в следующие дни, когда отца Георгия уже не было рядом. Каждый день девушка не знала, выходя на берег к валуну, чего она хочет: или того, чтобы все восхищались ей, или уйти в монашки, или родить ребенка, или бросится в воду.

От скуки она немного читала «Собор Парижской Богоматери». Скинув кроссовки, любовалась на свои узкие красивые ступни и на озеро, в сторону которого они были направлены, — а потом вновь подхлестывала тоска. Она пыталась напевать из мюзикла «Нотр-Дам» — там были такие слова: «судьбы насмешкою я в рясу облачен, на муки адские навеки осужден...»

Она думала, как неправ всемирно известный мюзикл применительно к ее ситуации: отец Георгий как раз выглядит в рясе совершенно правильно, по крайней мере так ему хорошо, а вот она, Александра, в тело женское уж точно облечена насмешкой судьбы. Иногда с тревогой вспоминала «Защиту Лужина» — хорошо ли спрятан этот пузырек с ядом, и думала, что вовремя она оторвалась: еще секунду, и вошла бы в озеро с головой, как это было в какой-то сказке: то ли в диснеевской «Русалочке», то ли у Пушкина.

Озеро было большое, по нему проходил один из самых важных для России водных путей, там ходили баржи и белые круизные лайнеры — только это было в другой, в южной части, а рядом с пустынью никогда не показывалось судно крупнее рыбачьего бота. Александра сидела на своем камешке, как будто ждала, что один из кораблей все же завернет к ней, или озеро само смоет ее в свои глубины — только чтобы не было больше в небе черных треугольников.

На пятый день ночью она вышла из дома и пошла к яме, на дне которой создавалась церковь. Было прохладно и хорошо, и сейчас должно все кончиться, с радостью и умилением думала она.

Подойдя к самой яме, она увидела, что там копает и ищет что-то какой-то человек.

— Это я, — не тихо и не громко, а обычно сказало она, — вылезай. Пойдем к тебе.

Савватий молчаливо согласился, и скоро оба оказались в небольшом сарайчике. Монах сел, а девушка опустилась перед ним на колени — вернее даже сказать, устроилась возле него, поскольку пока не встала

более или менее удобно коленками на пол, не успокоилась. Только после этого она обняла его большие ноги своими цепкими руками, обхватила удивительно крепко. Голову она склонила в сторону и сильно прикусила губу.

Этой ночью Александра избавилась от своего наваждения. Нить между ней и Ярмиловым порвалась, и, получая причитающуюся ей порцию грубого удовольствия, девушка радовалась, что есть на свете простота — в ней и в этом монахе-звере, псе отца Георгия. Почти с той же силой, как тогда, когда идущий внизу поезд сотряс до основания ее маленькое существо, отчаянно молящее о жизни, Жанна отказалась от всего черезмерного.

Но взамен вырванного в ее душе осталась только зияющая пустота.

Утром жители заброшенного пансионата на нашли свою кухарку. Вскоре Савватий усилил их беспокойство, сказав, что рано утром девушка отправилась в сторону города пешком, и только к полудню выяснилось, что Александра уже дома. Два дня она снова провела безвыходно в комнате, как затворница в келье, и то ли играла в свои страны и континенты, то ли занималась другими делами, то ли сидела неподвижно, то ли вообще спала — неизвестно. По крайней мере, изредка из ее комнаты доносилась магнитофонная музыка — и особенно «судьбы насмешкою я в рясу облачен».

— Вот так и делается, — еще не зная ничего о происшедшем в пустыни, ворчал отец Павел за обедом без дочери, которая объявила что-то вроде голодовки в ответ на его попрек хлебом, — сперва вроде бы музыка, и вроде бы не страшно: я душу дьяволу отдам за ночь с тобой... Так люди и приучаются, особенно молодежь...

Отец Георгий говорил то же самое своим сыновьям, отдававшим еще большую дань уважения всемирно известному мюзиклу. И в этом достопочтимые пастыри были схожи.

Когда до отца Павла стали доходить некоторые слухи, которые непонятным образом рождает в провинции, кажется, сама земля, он поступил мудро — выбрал вариант, который устраивал всех: выделил дочери те деньги, которых она тщетно добивалась прежде, и Александра Мищенко надолго исчезла из жизни Винегорска.

Глава 8. Чужой монастырь

Когда о грехопадении монаха Савватия услышал сам отец Георгий, он решил образумить блудника и немедленно выехал в пустынь. Но должного разговора начать так и не смог.

Савватий, конечно же, прекрасно знал, о чем хочет говорить с ним священник, и так спокойно смотрел на него, без стыда и вызова, без

наглости и насмешки, как будто был глубоко уверен, что бывший с ним случай — совершеннейшая мелочь, недостойная упоминания. Слово «грешник» так же оплывало с инока Савватия, как с многих, напротив, оплывает молитва.

Долг пастыря — пусть отец Георгий и не был духовным отцом Торопова, но все же в какой-то мере отвечал за него — подсказывал излить свой гнев, но гнев иссяк, и двое в черных рясах завели привычный разговор об их совместном творении — подземной церкви.

Когда-то отец Георгий выточил для алтаря Покровской церкви, что в селе Левица, царские врата. Однако в полугодовой промежуток между его пастырствованием в этой церкви и назначением туда предателя Сергия из епархии прислали, как прежде в Спасскую церковь, временного священника. Правда, в этот раз он был молод — не старше самого Сергия. Выпускник семинарии, он страдал большим самоуважением от собственного благочестия.

Надо сказать, что отделать весь иконостас до конца отец Георгий не успел — а тем более приобрести или написать собственные иконы. Поэтому, когда настоятель некого монастыря в соседней, Петербургской епархии неожиданно посетил храм молодого священника с предложением поменять этот иконостас на другой, молодой оказался в некотором недоумении.

Однако оно скоро рассеялось — временный священник согласился. Новый иконостас был совершенно типовым, но зато готовым, а иконы к нему хоть и на бумажной основе, созданные по типу репродукций, — зато полный комплект. Возможно, сыграло роль и то обстоятельство, что выпускник семинарии привык в ее стенах к безусловному почитанию старших по возрасту и месту в церковной иерархии.

Отец Георгий узнал об этом невскоре — да и протестовать не имел ни возможности, ни желания, хотя боль очередной утраты переживал в себе долго. Но теперь он обрел новую цель в жизни — и после произведенных вместе с Савватием обмера подземелья обнаружил, что те царские врата подошли бы идеально: и по габаритам, и по стилю, в котором отец Георгий мечтал оформить катакомбную церковь.

В полфразы он сказал об этом Савватию.

— Резной иконостас? У нас тоже есть.

— У вас — это где?

Савватий назвал монастырь.

— Так это тот и есть, о котором я говорю.

— А вы съездите к отцу Киприану. Он вам отдаст.

Георгий не ответил ничего. Они выбрались на поверхность, и Савватий неожиданно горячо продолжал:

— Съездите. Он же не знал, что это — ваше. Просить не придется. Он извинится.

— Ну как я поеду? Под каким предлогом? Он же брал его не у меня... и совершенно законно.

— Не надо предлога. Для вас отец Киприан — как будто вор.

— Я такого не говорил! — замахал руками отец Георгий.

— А в мыслях было. Вы даже должны освободить его от греха! И я поеду с вами. Он мой духовник.

Этот аргумент решил сомнения отца Георгия. Если у него самого не хватило твердости спасать душу Савватия, тем более тому нужна исповедь.

По прямой линии между Винегорском и монастырем было километров сорок — и точно на этой прямой, практически посередине, находилась восстанавливаемая пустынь. Но северные дороги, не в пример людям, хитры и изворотливы — и особенно отвратительны на административных границах, где каждая область надеется на другую.

Почти половину дня заняла дорога до вотчины отца Киприана. Монастырь лежал между двумя небольшими озерцами, словно в окладе из зеркал. Поражало, что вода этих озер как будто не имела собственного цвета, словно была предназначена Богом только для отражения большого храма и белых стен.

Обитель эта некогда была довольно известна и в этом почти могла сравняться с такими крепостями северного Православия, как Валаам или Кириллов монастырь. Во времена безбожия здесь сначала размещался трудовой лагерь падших женщин, потом — приют скорбных духом, окончательного переселения которых удалось добиться совсем недавно, так что сразу после возрождения монастыря было время, когда кельи и палаты соседствовали друг с другом.

Так же как и Антониевская пустынь, в те лихие годы монастырь лишился мощей своего святого. Нынешнему настоятелю осталось на попечение два крепких, несмотря на прошлую разруху, но не удивляющих архитектурными красотами храма.

Монастырь был невелик и ухожен. Изнутри не видно было озер. Но отец Георгий не мог забыть странного, холодного взгляда этих глаз-зеркал и поёживался, не понимая, что в нем — благодать или тревога?

Гостей ожидали, поскольку Георгий сухо и от неловкости даже невежливо, почти в приказном тоне, уведомил настоятеля по телефону о своем предстоящим приезде по важному делу.

Когда отец Георгий увидел этого человека воочию, то не мог не заметить внешнего сходства между ним и пустынником Савватием, тем паче что последний как раз встал рядом со своим духовным отцом. Конечно, играло роль и то, что оба были в монашеских одеяниях, только у одного они были победнее, а у другого побогаче. И ростом они оказались почти равны, только Савватий все же поболе, жилисты и крепки оба, только Савватий все же гораздо крепче. У игумена, отца

Киприана, лицо было несомненно интеллигентное, взгляд острый и цепкий, маскировавший эту цепкость какой-то ленцой, словно обладателю его было свойственно некоторое снисхождение к людям.

Священники приветствовали друг друга, после чего Киприан сразу пригласил прибывших отобедать. Георгий внимательно следил, как именно настоятель по праву хозяина благословляет небогатую трапезу. Много можно сказать о характере иерея, белого или монашествующего, увидев его сотворяющим это невеликое действо, но Георгий не узнал о Киприане ровно ничего, кроме того, что имеет дело с человеком несуетным. Что ж, иного в отдаленном монастыре ожидать и не приходилось.

За едой игумен гостя беседой не неволил, а после отвел в маленькую келейку.

— Через полчаса, отец Георгий, будем служить акафист Иисусу Сладчайшему. А до той поры беспокоить не смею — отдохните с дороги.

Георгий сделал движение что-то сказать, даже встал со стула, на который по приглашению хозяина было сел. Но Савватий с явным нетерпением, совершенно ему не свойственным в обычные моменты, поджидал настоятеля, и отец Георгий уступил ему. Разумеется, монах хотел избавить своего спутника от тягостного момента, когда придется заговорить о цели приезда, и решил сделать это сам.

После краткого молебна состоялась беседа.

— Я должен извиниться, — первым начал игумен Киприан в полном соответствии с предвидением Савватия, — я совершенно не знал, что эти царские врата вы делали собственноручно и что они совершенно случайно оказались не в вашем храме. Конечно же, я верну их как можно скорее.

— Но вы ведь отдали взамен свой полный иконостас...

— Ничего. Это будет мне упреком. Грешен... очень хотелось мне разнообразить убранство своего собора, вот я и загорелся. Сперва мне рассказала эта монахиня... Макрида, кажется. Заезжает она иногда... помолиться. Я не очень поверил ее описанию, но тут как раз подвернулся случай в вашу епархию ехать. Зашел в храм — вижу, царские врата и люстра! Я к настоятелю — кто сделал? А он, парнишка молоденький, только глазами хлопает да на наградную камилавку смотрит, словно на погоны. Промямлил наконец что-то, не разобрать, а я, суетный человек, и рад. Надавил на него, он на все и согласен. Да и зачем ему красота, думаю? Царские врата не камилавка. Хотя грех осуждать, да, да...

На последней фразе Киприан по-стариковски ссутулился, достал откуда-то очки, стал тереть стекла, но потом очки убрал, как выбросил, и выпрямился.

— Я вам сам привезу. У нас есть фургон-УАЗ, я вам заброшу прямо к церкви.

Странное дело: по сути слова отца Киприана должны были ввергнуть отца Георгия в еще большую неловкость и через то даже в раздражение, но случилось наоборот. Отец Киприан почувствовал это и сказал еще тверже:

— Все. Решено. А поскольку я понял, что практический интерес ваш на этом исчерпывается, теперь вы — мой гость, не более и не менее. И сегодня не вздумайте уезжать! Служб у вас ведь нет?

— В субботу только.

— Вот видите! А то попытайтесь — ворота запереть велю! — улыбнулся Киприан, — а я, конечно, тоже хорош! Заставил вас стоять на службе, любоваться на собственные царские врата и размышлять — отдаст супостат-настоятель или не отдаст! Ну ладно, не будем больше об этом... Пойдемте монастырь покажу.

По устройству хозяйственной жизни обитель особенно не отличалась от известных отцу Георгию монастырей его епархии — разве что чувствовалось больше стройности. Было тут и стадо из пяти коров, и пасека — если что действительно изумляло, так это большая голубятня.

— Еще в детстве с завистью смотрел на других, которые имели собственных голубей. А тут вдруг вспомнил... кто-то скажет — баловство это, и даже прелесть опасная — параллель с образом схождения Святого Духа... Будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби.

Отец Георгий не выдержал, улыбнулся, и тут же на самого себя удивился больше, чем на Киприана, — настолько непривычно стало его лицо к улыбке, как будто разучилось.

— Да, улыбайтесь! Сейчас подумаете — а серпентарий этот безумный игумен на завел?.. Да, птица в быту бесполезная, но когда я увидел в первый раз свою стаю над монастырем, белых малых над белым большим, я понял, что сделал дело.

Разговор продолжился в келье настоятеля, соседней с отведенной для гостя, — на улице уже становилось свежо.

— Пятнадцать душ у меня: семеро монахов, остальные — послушники, трудники. Сложно не уморить их голодом — земля северная, сами знаете, скупа. Трудно занять их, особенно зимой. Одной молитвой нельзя. Я считаю, чрезмерная молитва сушит душу человека... то есть я имею в виду, конечно, чрезмерная для него лично, творимая совсем уж свыше его сил. Не всякий монах плох, в ком молитвенный талант не дорос до гения. Хотя я рад, что и такой гений в моей пастве отыскался. Это — сомысленник ваш и, я надеюсь, помощник, брат Савватий.

— Он?

— Да. Когда-то говорил мне: научите, отец Киприан, молитвам меня побольше. Я, говорит, в Бога, может, и не верю, а молитвы про себя говорить буду. Я ему: зачем тогда? Он говорит: а тогда, может, и поверю.

Я хотел сказать ему, что он путает причину со следствием, да поостерегся. И порадовался я за него — что, возможно, нашел человек путь.

— И вы постригли в иноки послушника, который говорил вам, что не верит в Господа?

— А что тут столь удивительного?.. Ни один человек в мире не верит окончательно в само бытие Божье, но ни один не в состоянии и поверить во всю полноту, что Бога не существует, — вот в чем парадокс! Об этом все Евангелие и говорит. Апостолы, ученики Христа, видели все его чудеса: но ни это, ни сама близость к Богочеловеку, ни их собственная избранность не заставили их убедиться окончательно, потому и оставили они Его в малодушии и страхе, когда пришли солдаты. Видно, попросту нет такой возможности для земного человека, и быть не может. Возможно, после смерти плотской...

— Но так заявить об этом!..

— Савватий помогал вам?

— Да, очень.

— Ну вот видите! Страсть его к молитве и аскезе велика... Вот если бы в его словах была бравада — но уверяю вас, он такой же, как вы и я, и не настолько ставит мнение людское...

Разговор снова вернулся к монастырю.

— Вы человек образованный, — сказал, как о деле решенном, отец Киприан, хотя за время пребывания в обители Георгий не сказал ничего, выбивающегося из общежитейского ряда, да и вообще по обыкновению своему не говорил много, — и знаете, наверно, что монастырь наш известен. Преподобный Паисий Величковский, возродивший на Руси умную молитву, ту, которую мирские умы называют христианской медитацией, и восстановивший близость с греческим Афоном, долгое время подвизался у нас. Некоторые иконы наши, вывезенные в двадцатых годах после закрытия, до сих пор украшают храм Василия Блаженного в Москве. А теперь — запустение и забвение... что не так уж плохо.

В глазах отца Георгия настоятель увидел одобрение своим словам.

— У меня с епархией, так сказать, любовный нейтралитет. Я не особенно нужен им... и я, человек грешный, не особенно горюю без их преосвященного внимания. Мне проще, может быть, чем вам, — наша епархия слишком занята делами крупного города, чтобы много сил уделять собственной периферии. Тем более, если это не Валаам или Тихвин, а самый край Ленинградской области...

Отец Киприан был слишком проницателен — это немного насторожило отца Георгия.

— Савватий говорил мне что-то странное. Я так понял, вы собираетесь организовать скит или что-то в этом духе.

Георгий рассказал ему про подземную церковь. Поняв всю степень прозорливости собеседника, он все же не утаил от него опасе-

ний по поводу неодобрения своих действий от вышестоящей церковной власти.

Киприан даже стал чаще дышать, он взволновался, словно подросток:

— Это замечательно! Как плохо, что у нас в церкви так редко что-то происходит... Почему у нас только одно из двух: или ересь, или омертвелость?! Ваше дело велико... и страшно. Но я верю вам и вашему вкусу, что тут нет ничего нарочитого, и вы делаете это только для себя.

Георгий взметнул брови.

— Нет, я не совсем точно сказал! Хотя, может быть, и точно. Когда мы говорим «для людей», мы всегда очень просто попадаем в ловушку тщеславия, ожидание благодарности. Где люди, там две вещи: благодарность или неблагодарность. Первая дает скрытое самодовольство, второе — самое неприкрытое отчаяние или уныние. А сказать «для Бога»... Эти слова слишком велики, слишком опасны. Тут прельщение, самообман такой бродит... Честно говоря, жалко, что вы не Петербургской епархии. Здесь я смог бы помочь вашему делу, замолвить слово — оно что-то да значит, мое слово. А так я смогу только если практически — материалами, транспортом... А если ваше начинание удастся, я попрошу вас о милости — позволить и мне хоть раз сослужить вам в подземной церкви!

Слишком искренни были эти слова, чтобы не развеять между Киприаном и Георгием последние остатки холодности. Гость с радостью согласился с просьбой хозяина.

— Я жалею, что не слышал раньше о вас, — говорил настоятель, — может быть, если скажете свою фамилию, я вспомню что-нибудь... Ярмилов? Странно, я где-то слышал, но совсем давно, и не совсем из церковной жизни. Это, вероятно, ваш однофамилец, или я вовсе путаю... Вспоминается какая-то картина, вызвавшая сильные толки в Ленинграде, и при этом безусловно талантливая. Там был изображен патриарх Тихон...

Киприан не по годам проворно — он был немногим моложе отца Георгия — повернулся и посмотрел в глаза своего немногословного собеседника.

— Так это были вы! — воскликнул он. — И эту... рюмочную тоже написали вы?

— У вас хорошая память, — наклонившись, ответил Георгий.

Установилась молчание.

— Я был кандидатом филологических наук, работал в Пушкинском Доме, — сказал наконец Киприан, — изучал древнерусскую литературу и одновременно Серебряный век. Да, такое вот странное сочетание, которое раздражало моего учителя и забавляло весь институт... Мы

ездили в архангельские края, к людям, которые не знали даже о существовании советской власти, и отбирали у них книги обманом. Показывали фотографию Пушкинского Дома — хотя подошло бы любое здание с колоннами — и говорили: это наш дом, здесь мы боремся за правильную веру. Для уточнения канонов нам нужны правильные книги. А с кем боретесь? С людьми с песьими головами, отвечали мы. Они отдавали... Счастливые, мы пешком шли десять дней по тайге до первого колхоза, где могли одолжить лошадь.

— А вы знали такого — Глушкова?

— Кого?..

— Тоже художника.

— Глушкова? Нет, не знал. Первый раз слышу. А вы не пробовали писать иконы?

— Пробовал. Я несколько месяцев перед хиротонией учился в Троице-Сергиевой лавре.

— И что?

— Ничего.

Киприан задумался, как будто краткий ответ отца Георгия содержал в себе какую-то зашифрованную истину.

— Знаете, я думаю, что совершенно зря у нас отказываются от неиконописной живописи религиозного содержания. Конечно, можно сказать, что эта идея западная, совершенно несвойственная русской культуре — но это будет не совсем верно. Вспомните Васнецова, Нестерова и многих... да что я вам говорю, вы все это лучше меня знаете! И знаете, что мне кажется — такая живопись может не только располагаться в мастерских художников или на выставках, но и в храмах Божьих. Да, я видел одну церковь у нас в Питере, небольшую церковку, а еще в Москве, более древнюю и известную, где — на заднем плане, не возле иконостаса, конечно, — находились живописные полотна. В московской церкви оно даже было довольно значительное — метров пять в длину полотно — и изображало картину Страшного Суда.

— Сложно позволить себе такое! — сказал Георгий. — Как могут находится в храме безблагодатные образы...

— Дар иконописца — совершенно особый дар. Не всем он подвластен — а в наше время, увы, не подвластен, может быть, никому. Нет соединения таланта иконописца и таланта дерзателя... А если есть талант живописца, сам по себе менее благодатный, но есть еще и талант дерзателя, то это, наверное, лучше, чем еле теплящийся дар иконописца и отсутствие дара дерзания...

Отец Георгий на проповедях, в молитвах часто говорил о помыслах лукавого, о бесах — но только сейчас впервые кровно почувствовал, что эти силы могут войти в соприкосновение с ним самим. Кто такой Киприан? Друг? Враг?

Ведь такого слога, как у него, самого разговора такого отец Георгий давно уже не слышал. Вокруг говорили или люди простые, вроде прихожан и матушек, или священники — выпускники семинарий или даже кратких курсов при этих семинариях, бывшие военные, бизнесмены, чиновники. И не разу он не слышал голоса интеллигента, сомневающегося во всём и в то же время любящего это «всё». Таким же был некогда его учитель, покойный Глушков, к такому голосу начинал привыкать в те питерские годы крестьянский сын Георгий, к такому же теплу тихой, чуть ироничной и знающей жизни. А потом он был вышвырнут бестрепетной рукой судьбы назад, на холод, и научился кутаться и ждать, лелея тайную надежду на возвращение.

— В моем представлении, — вскоре продолжил Киприан, — само христианство и ставит человека перед непрерывным парадоксом, непрерывным соблазном. Нет религии, вероучения более странного. Когда я обратился, меня больше всего восхищала и преследовала мысль о покаянии. Я и до сих пор считаю, что именно в ней и содержится главный смысл учения Христова! Посмотрите — все эти буддизмы-индуизмы, сама ветхозаветная вера даже держится на простой логике: совершение — воздаяние. Если ты грешил настолько-то — настолько и угоден Богу, если меньше — значит, угоден больше. Вообще не грешен — праведник. И только у нас это все в сущности не важно. Одно покаяние может перевесить всю грешную жизнь! Язычество в его самых высших проявлениях — умно, христианство — мудро. Слово «покаяние» фразеологически так привычно для нас, служителей Церкви, — а вы ведь вдумайтесь, как оно звучит! Мне казалось даже, что ради одной этой истины Христос и сошел на землю, только ради нее писались Евангелия и шли на мучения тысячи, миллионы людей. Может быть, так оно и есть.

Как величественна идея: кто погубит душу свою ради Меня, тот спасет ее... Но тут и соблазн, тут и путаница! Ведь как определить — где это «ради Меня», ради Христа, а где вовсе наоборот? Указывают на святых отцов, но и они не всегда могут разрешить вопрос, ибо бывают моменты, когда каждый остается без совета...

— Ну а вы-то как поступаете в такие моменты?

— Я? Увы, часто спонтанно. Постараюсь забраться подальше. Поюродствовать также иногда полезно — но так, не в открытую, а перед самим собой.

— Голубей разводить?

— Хотя бы. У меня ведь специальный голубятник к ним приставлен — хотя частенько его замещаю я сам. Но все равно — самодурствую потихоньку. Тоже ведь определенное юродство — хоть и далеко не высшей пробы. Ну, а на высшую пробу и почище меня люди не дерзали покусится...

— Неужели у вас так все богато, что лишние работники не нужны? Другие бьются, чтобы братия не картофельную шелуху хоть ела, а у вас хоть и по-мирскому скромно, а по-монашески почти богато. Что у вас здесь? Ремесла, что ли?

— И ремесла тоже... Но мало, конечно. Преставилась лет пять назад тетка моя, София. Ее нашей благодетельницей я почитаю.

— Почему?

— Квартиру мне оставила в Петербурге, в самом центре, две комнаты... Сдаю ее — на эти деньги и живем. Не совсем это удобно, наследство получать — клятву бессеребренничества давал все же... Но пока прощают.

— Значит, совсем особенно живете?

— Совсем. Паломников у нас практически не бывает. А так — мир любим, он нас тоже. Картошечку, бывает, покупаем. Любим — но не сойдемся. Хотя случается... Вот Макрида ваша. Не хотел говорить, но коль уж слово зашло... Любовь у нее тут. Трудник один есть. Потому не благословляю ее приезжать больше. А жаль — хоть скрипучая она и злая, а все же человек. Идет, бывало, пешком — от автобуса тут километров десять, и видишь черную точку, потом силуэт. Потом лицо ее видишь крючконосое...

Тема блудного греха, увы, получила скоро продолжение. Утром была литургия — Киприан пригласил Георгия для сослужения к себе в алтарь, а потом уже сам принимал исповедь. Исповедывались только двое, подолгу — и в том числе Савватий.

После службы Георгий увидел Киприана рассерженным. Не нарушая прямо тайну исповеди, но понимая обстановку, он сказал своему гостю:

— А молитвенника-то нашего не мешает просто выдрать!.. Жалко, что такой епитимьи Святой Церковью не установлено. Для иных натур все пути вразумления слишком суетны, кроме самых наидревнейших...

Так что не зря Савватий старался больше не попадаться на глаза своему духовнику до самого отъезда, вызвавшись рьяно помогать монахам в работе.

— Тяжело мне было его отпускать к вам, честно скажу. Это же Самсон какой-то! Яростен на работу и молитву, да и скромнее всех... Нет, скромность не то слово. Скромность — это по стеночке да по стеночке! А здесь — забвение тела. И вот теперь...

Георгий неожиданно для себя хотел оправдать инока, сказать, что Савватий всего лишь из жалости оскоромился этим грехом, чтобы убить женское отчаяние, — но вместо этого только спросил:

— А что же отпустили?

— Нельзя было иначе. Очень уж он просился к вам...

— Вы хотели сказать — в Антониевскую пустынь?

Киприан ничего не ответил и только странно посмотрел на Георгия.

Георгий остановился. Переждав несколько секунд, он начал сбивчиво рассказывать о всех своих подозрениях относительно колокола.

— Мне тяжело это говорить... И должен ли?..

Одним спокойным словом Киприан остановил Георгия:

— Знаю.

И добавил.

— Вы правы. Это он... Причем к этому греху он прибавил себе еще один — долгое время не сообщал мне на исповеди о своей краже. Потом честно сказал мне — иначе, отче Киприане, не постригли бы вы меня в иноки. И был, наверное, прав.

— Страшный грех...

— Да, и я совершенно не знал, какую епитимью наложить. Обычные меры: строгий пост, молитва, работа — он уже присудил себе сам. Расстричь, прогнать? Рука не поднималась. По древним канонам, вор оставался без причастия три года — а тут с его стороны было еще и кощунство в какой-то мере. Но на эти годы я тоже не смог пойти. Он мне сам предложил свое пустынничество. Я сказал ему в ответ: ты, грешник, еще и дерзаешь самовольно назначать тебе епитимью! Странно: чисто по-человечески именно этот новый и не самый большой грех тогда вызвал во мне гнев наибольший. А потом... я взял на себя дерзость простить его. Но к вам отпустил не сразу, задержал. Вы уж простите меня, отец Георгий, — и в этом виновен я перед вами.

— Ничего, — спокойно сказал Георгий, — нет вины во Христе.

Из окна кельи было видно, как один из иноков распахнул дверцу голубятни. Голуби, нехотя ворча, выбрались наружу, на подобие насеста. Отец Георгий видел их как-то неестественно четко: в голубях не было особенного благородства и гораздо более любви к себе. Но вдруг, как по команде, стая снялась с места. Голуби долго кружили над монастырем, они казались брызгами белой краски, случайно оставленными Богом на небе при творении, живописании мира — как будто понял Он, что и это хорошо.

Оба иерея долго следили за стаей. Наконец Киприан сказал:

— Да, мало свежих красок видим мы, северяне — особенно когда живешь в затворе. Вот я, человек грешный, извожу монастырские деньги на книги. Хоть и духовные, конечно, книги — но часто думаешь: не лучше ли на снабжение братии?.. А то такую библиотеку завел — иные столичные монастыри могут позавидовать. Хотите посмотреть что-нибудь?

Полтора часа гость и хозяин провели в сухом подвальчике, где стояли стеллажи. Чуть не силком всучил Киприан с десяток книг — впрочем, Георгий сам долго рассматривал их, но брать с собой более двух поначалу отказывался.

— Отдадите, когда сможете. Если увидите, что какой-нибудь из ваших прихожан имеет настоящую нужду в них, можете и вовсе подарить ему.

Перед отъездом отца Георгия Киприан как будто старался сказать ему побольше.

— Страшная наша беда — в нелюбви между интеллигенцией и церковью. Не говоря о духовных последствиях этого — тут и так все ясно, — даже чисто жизненно это весьма безумно! Ведь чем мы, церковь, можем привлекать на свою сторону простых людей? То есть многим можем, конечно, но сложно ответить на вопрос стороннего — чем у нас лучше, чем у каких-нибудь баптистов или новомодных сектантов? Вот скажите, положа руку на сердце! Так ли уж полны мы евангельского духа? Мы даже часто не можем следовать чисто внешней стороне, а они могут! Многие из них — по крайней мере старейшие протестантские церкви — могут приучить человека и к трудолюбию, и к трезвой жизни... И надо смотреть реально — мы, православное священство, не во многом превосходим их в области практической!

— Но только Православная церковь сохранила чистоту веры!..

— Да, к этому я, собственно, и веду свою мысль. Наша планка несравненно выше их в другом! Наша святоотеческая литература, наши иконы!.. Уверяю вас, если совершенно неверующий, но подлинно интеллигентный человек, с детства приученный строить свое мышление на слове художественной литературы, возьмет в руки Иоанна Дамаскина и какую-нибудь состряпанную сектантскую брошюрку — а иногда и не брошюрку, а целый том побольше Библии, — он с негодованием отложит это сектантство! Даже если он не увидит духовный свет святоотеческих преданий — он увидит стиль, он увидит красоту образов.

— Почему же именно интеллигенция так отмежевывается от Русской церкви?

— Страшное дело! Невозможная нелепость. Да потому, что слишком много недоумений накопилось между нами! Нужно взаимное покаяние. Понимаете: вза-и-мно-е!

— Вы хотите сказать, что Святая Апостольская Церковь должна...

— Господи, да не сама Церковь, а мы с вами — священнический корпус! Мы должны сказать: простите нас, потому что мы были грубы с вами, потому что мы так привыкли считать вас за библейских фарисеев, между тем как библейские книжники как раз и были в первую очередь узколобыми фанатиками, которые ничего, кроме бесчисленных квазирелигиозных толкований, и не знали! Сказано в Евангелии от Луки: «Остерегайтесь книжников, которые любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и возлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся». Что, это сказано о нашей интеллигенции, которая шла в лагеря, которая учила крестьянских детей?

Я помню, как моя мать помогала усваивать школьные знания где-то семи соседским детям, ведя с ними фактически частные уроки, долгие и неизбежно нудные, — а когда я подрос лет до десяти, по занятости передала мне некоторых из них. И если бы кто сторонний сказал: почему не берете с них денег — мы посчитали бы это плевком в душу. И подобное было массово... Разве о таком книжничестве сказано в Библии? Между тем время идет, церковь остается в своем нарочито простонародном облике, отталкивая души лучших людей за то лишь одно, что они, видите ли, смеют в чем-то сомневаться... Время идет — и исчезают традиции цельной образованности, и на смену тем, о ком я говорил, приходят новые люди, узкие специалисты однобокого знания. Такой не сможет понять красоты слова, красоты Библии: он чистосердечно скажет — я не профессиональный филолог, это вне моей компетенции!

— Простите, отец Киприан, но почему же вы сами тогда не проповедуете интеллигенции? — спросил Георгий.

— Честно скажу — по немощи духа. Не умею я проповедовать, не умею я идти против воли авторитетов — вернее, мог бы, но чувствую, что тогда сразу свалюсь в какое-то пошлое диссидентство. Некрасиво выйдет, неполезно... Вот вы — другое дело. Вы пойдете до конца.

— Боюсь, этот конец будет весьма скор.

— Да, сложно вам. Но я вам во многом завидую... А что касается меня — я иногда все же думаю, что монастырь этот, хоть я и сроднился с ним, только отпуск какой-то, вернее разгон. Да... хотел бы я иметь в сомысленниках такого человека, как вы!

Они помолчали. Потом отец Георгий парировал:

—Только ведь и сама интеллигенция сильно виновата...

— Конечно!.. Я же говорю: взаимное покаяние. Да, как чуден был бы союз церкви и людей мыслящих, пусть мирских... И почем знать, может быть именно в наших семинариях и духовных академиях тогда и возродился... и в чем-то переродился бы русский интеллигент. Ведь именно богословие и пастырство дают лучшее начало пути к пониманию мира во всей его универсальности, дают фундамент, и именно истовое служение Богу заставляет отбросить пресловутую нерешительность и маниловщину!

И уже совсем на прощание Киприан сказал:

— Теперь буду думать, чем вам помочь.

— Насчет пустыни?

— Да...

Глава 9. **Обманка**

Невелика была река, протекающая через весь Винегорск — метров тридцать от коряг на правом берегу до коряг на левом. Если кто-ни-

будь умудрился бы проплыть через город на лодке, он мог бы и вовсе не заметить его. Винегорск как будто рад был отгородиться от реки дремучими зарослями кустарника, и только три моста, еле заметный сквозь листву Спасский собор да городской пляж — небольшая песчаная полоска, наполняющаяся купальщиками лишь в выходные, при редкой солнечной погоде, — напоминали о людском поселении.

Однако некому было совершить подобное путешествие — отец Георгий припоминал, что уже лет десять не видел в черте города ни одной лодки. Жители деревень, что поближе к устью, еще ставили сети с моторок — но сюда они не заплывали. Георгий разделся на берегу повыше общего купания и вскоре вошел в воду. Сегодня как раз было очень ясно — и на пляже при небольшом, но ощутимом для жителя городка столпотворении он, почитатель одиночества, чувствовал бы себя неловко. Да и вдобавок батюшка в купальном костюме был зрелищем довольно странным, хотя у отцов церкви ничего не говорилось о невозможности входить в воду на людях и даже более — именно так крестил когда-то Иоанн Предтеча предначально.

Однако винегорская речка не Иордан, и вообще, как мудро заметил век назад ректор Петербургской Духовной академии, нельзя сделать Вологодскую область Фиваидою. Невзначай распустив в воде длинные волосы и лежа на спине, отец Георгий, как маленький ребенок, смотрел в небо, пока волны маленькой речки несли его сами.

В этом невесомом парении думал он, как славна будет его церковь, и даже засомневался — стоило ли устремлять ее вниз, когда есть небо? Но эта мысль ушла, потому что не было теперь места для сожаления и забот. Цеплялись за небо кривые ветви деревьев, некрасивых, ибо укоренились они слишком близко от реки, и река подмывала им корни. Они были похожи на тех людей, которые все-таки тянутся к Богу. Отец Георгий любил эти деревья, и ему даже казалось, что он узнает в них прямые подобия: вот это, маленькое и ветвисто-кудрявое, со сморщенной корой, напоминало Олимпиаду Григорьевну, то, побольше, его самого, а вот это молодое и гладкокожее, но слишком кривое и нелепое, предателя Сергия, к которому сейчас отец Георгий не испытывал ничего злого. А то большое, самое высокое и тяжелое, умудрившееся вырасти столь огромным, находясь стволом в самой воде, — бывшего плотника Илью, нынешнего инока Савватия. Вот уж к кому священник точно не питал никакой злобы — его поджог только помог Георгию поднять выше силу своих дерзаний, выстроить каменную колокольню вместо деревянной, не уступив в великолепии неизвестным предшественникам, творившим в спокойной давней России. Будь благословен такой огонь, Господи, будь благословен твой огонь, опаляющий слабость нашу, и прости Савватия, вора, блудника и поджигателя, человека, ненавидимого собственным отцом, — ибо такими полнится Царствие Небесное. Прости и благослови.

Так размышлял священник, между тем как его спокойное тело волнами вынесло на общий пляж. Поднялся переполох, вода вокруг опустела, и наконец Георгий увидел бородатую и испитую рыжую физиономию, похожую на разбойника из сказки. Это оказался самый смелый и бестрепетный из купавшихся, который с всеобщего боязливого согласия приготовился выволочь бездыханное тело батюшки на берег.

Выйдя на этот берег самостоятельно, отец Георгий успокоил прихожан и сам засмеялся с некоторыми из них. Такого приятного настроения не было у него уже давно, наверное, ни разу после инфаркта. Тем сильнее оказался новый удар, который вскоре нанесла судьба.

Уже потом, вспоминая этот удар, Георгий понимал, что сам виноват — слишком уж позволил надежде охватить себя. Надежде на что? На то, что невыразимо словами, на то, что теперь, после стольких десятилетий неподлинного существования он начнет жить по-настоящему. Это чувство не было изначально ожиданием какого-то конкретного чуда — но проявилось именно так.

Удар не был ударом сам по себе — не стали хуже дела отца Георгия, но не стали и лучше. Казалось бы, Георгий пребывает уже в достаточно почтенном и несуетном возрасте, чтобы такое положение вещей само по себе могло казаться несчастьем. Но молодость не так легко истребляется в человеке, как считаем мы в каждодневной жизни: можно почувствовать это на себе, и переполниться счастьем, а можно и совсем по-другому, как это случилось с отцом Георгием.

Известие передал отец Сергий. Он уже вернулся к своим прежним обязанностям настоятеля Покровской церкви, пропустив только две службы — ибо как ни плох был священник, а заменить его некем. Отец Георгий простил его, поскольку Сергий явился с самым жалким покаянием, а главное, изъявил желание работать в пустыни — верный способ получить индульгенцию от любого греха, поскольку создание подземного храма Ярмилов считал последним важным делом своей жизни.

И вдруг отец Сергий неожиданно вернулся в Винегорск и рассказал отцу Георгию, что они с Савватием при дальнейших раскопках высвобожденного подземелья обнаружили нечто, похожее на гроб. Возможно было предположить, что это и есть рака святого Антония.

— Мы без вас на смели открывать!.. — сказал улыбающийся Сергий, радуясь скорее всего не возможности обретению мощей, а удачно выпавшему шансу полностью загладить свою вину. — Только Евгений предлагал...

«Да, с моего сына станется полюбопытничать и над ракой святого, — думал Георгий, спускаясь по лестнице. — А с тебя — доносить об этом».

И только в машине он позволил радости войти в себя. Но, наблюдая за собой со стороны, отец Георгий заметил, что радость эта несколько другая, чем была бы несколько лет назад, во время первых рас-

копок пустыни. Вместо ликования христианина по поводу обретения останков святого подвижника на первом плане оказались другие чувства и мысли: мощи поднимут значение Антониевской пустыни в глазах епархии, всей церкви и изрядно помогут отцу Георгию восстановить пустынь. Возможно станет даже организовать там постоянный приход и совсем покинуть Винегорск ради нового храма, что было бы существенно лучше нынешних приездов-отъездов.

Отец Георгий пытался сурово укорить себя: это опять пробуждается прежнее, несвященническое начало, искус живописца — оберегать свое творение, и больше ничье. Но упрек как-то не ложился на благодатную почву, более того — искус мог победить, так что отец Георгий быстро переместил свою мысль в другую область.

Чудо ли это? Гроб — скорее всего рака, хотя тоже может быть иное. То, что с него исчезло богатое серебро, в порядке вещей. Но ведь вполне может оказаться, что рака пуста.

И сможет ли отец Георгий сам открыть ее, хватит ли у него дерзости? Что он может узреть там? Согласно преданию Святой Церкви, нетленность мощей вполне физическая, видимая. Мощи должны представлять из себя нечто вроде мумии египетского фараона — только мумификация их достигается не с помощью процесса бальзамирования, не введением посторонних веществ хитроумными мастерами, а должна свершаться Божьей силой, преломленной через святость подвижника.

И вот отец Георгий откроет раку — а что там? Не найдет ли он там простых, тронутых разложением останков? Ну, это всего-навсего будет обозначать то, что перед ним не мощи святого Антония, а прах простого человека, например одного из монахов. И даже если гроб будет иметь внешние признаки раки, его могли использовать для перезахоронения, в конце концов атеисты-разрушители могли специально оставить там обычное тленное тело — на всякий случай.

А если откроются настоящие мощи — как страшно это будет! Окажется, что все, во что верил отец Георгий, правда, что Христос был Сыном Божьим и в образе человеческом ходил по земле сионской, и что велики все угодники и ангелы Его.

Но ведь чудес — в прямом смысле слове — жаждут лишь маловеры. А теперь именно он, Георгий, удостоится того, чтобы явлением святого Антония Бог избавит его от любых сомнений.

Но разве такая вера обладает большой ценностью для Господа — да и для самого верующего? В усмешках окружающих, в непониманиях, в кознях самих церковных людей, в пустоте и немощи телесной проходила жизнь отца Георгия — и он любил такую жизнь, и только сейчас понял, как любил.

А вдруг, подумал Ярмилов, в тайной гордыне своей я зашел в невозможную ересь: верую в Господа Иисуса Христа, в самой глубине

души сознавая, что его нет и не было никогда! Не было — а я вот гордыней своей и сотворил его, и теперь дрожу перед лицом Христа Настоящего, защищая того, выдуманного.

Но к моменту прибытия в пустынь отец Георгий почти успокоился. Неожиданно к нему пришла мысль, что, дав блаженство созерцать нетленные останки, Господь готовит его к испытанием столь страшным, что и лик святого покажется не более явным свидетельством Бытия Божия, чем ныне кажутся листья на деревьях и река, по которой так спокойно плыл священник.

Рака стояла в запустелом строении, где жили воссоздающие пустынь. При вскрытии ее присутствовали, кроме отца Георгия, двое его сыновей, Николай и Евгений, также отец Сергий и брат Савватий. Священник распорядился вынести длинный гроб на улицу, под солнечный свет, после чего велел Савватию вытащить четыре толстых, ржавых гвоздя.

Они плохо поддавались гвоздодеру, и каждый из них отошел вместе с изрядным куском древесины. Наконец Савватий легко взял дубовую крышку и поднял его.

Сын Женя вскрикнул. Отец Георгий нахмурился. Рака была пуста.

В предыдущий свой приезд Георгий специально сказал Савватию, чтобы мощей более не искать. Успех этого дела начинал казаться слишком невероятным, поэтому следовало более разумно тратить силы участников восстановления пустыни. Вдобавок поиск мощей требовал начинать все новые наружные раскопки, а это могло еще ухудшить впечатление гражданских властей, которым предстояло рано или поздно узнать о состоянии дел.

Теперь священник выговаривал Савватию за непослушание. Бывший вор слушал по обыкновению молча. В первый раз эта несуетная манера начала возмущать Георгия. Он понимал, что глупо вымещать злобу на Савватии, человеке, без силы, стойкости и искренней поддержки которым каждого начинания отца Георгия не могло бы идти и речи о создании нового храма. Но мысль, что в отчаянной неудаче виновен именно Савватий своей греховностью и какой-то внутренней безблагодатностью, не покидала священника — как будто мощи и правда были в длинном ящике, но исчезли после прикосновения гвоздодера.

— Пап, но это же точно рака! Они же где-то рядом, пап! Давай мы еще немного покопаемся?.. — говорил неразумный Женя, и голос его срывался.

— Нет. Запрещаю, — громко и жестоко ответил отец Георгий, даже не обернувшись к сыну.

Каким-то образом священник понял, что Савватий действительно не будет пытаться продолжить поиски — и не позволит остальным. Насчет старых грехов Савватия всегда все становилось ясно — он был

слишком разнообразный грешник, чтобы желать повторения прошлого. А предсказать новое оказывалось невозможно.

Отец Георгий вспомнил первое свое впечатление от монаха Савватия, в котором он еще не узнал бывшего своего работника Илью. Сейчас отношение к этому высокому человеку в черной рясе было точно такое же — словно что-то зловещее вторглось в тихую жизнь священника, как встает длинная кость поперек горла: и не вспомнил Георгий своего купания, и рослое дерево, и свое благословение Божественному Огню, а вспомнил только свой тихий кабинетик, и спокойную жизнь в семье, и американскую книгу с красочной картой Израиля.

И увольнение Коли, и измена Сергия, и крайне глупая, беспричинная попытка самоубийства Жени, которая чуть было не удалась несколько месяцев назад в студенческом общежитии в компании с каким-то наркоманом, о чем отец Георгий узнал от жены только как пару дней, и эта пустая рака, словно бы человек разорвал себе грудь, а сердца там не оказалась, — все это от Савватия, от бывшего плотника Ильи.

Внешне бешенство отца Георгия, человека сдержанного, практически не проявилось — разве что некоторая холодность и запрет дальнейших раскопок, мера, и так напрашивающаяся в подобной ситуации.

Кто же специально заколотил раку? Сперва вынул мощи, а потом тщательно забил тяжелые гвозди? С хвостом, не по форме будет — вспомнилось священнику Ярмилову из Достоевского.

По возвращении в город все переживания, связанные с неудавшимся обретением, и даже сами заботы, связанные с Антониевской пустынью, временно отодвинулись перед организацией крестного хода. Мероприятие это проводилось отцом Георгием каждое лето, начиная с того, памятного. Только в один год случился перебой — когда утонул сын священника, и как раз на нужные дни пришелся самый апогей долгих поисков.

Конечно, последующие крестные ходы были не так торжественны, радостны и многолюдны, как тот, что дерзновенно вымолил отец Георгий у Бога в первый раз. В последние годы с трудом даже находились хоругвеносцы — пожилым верующим сложно было пронести тяжелые хоругви и храмовые иконы шесть километров, даже если сменять друг друга несколько раз. А молодых было совсем мало.

В это время отец Георгий ожесточенно ссорился с сыновьями, у которых неожиданно находились очень важные дела, которые не позволяли им принять участия в шествии. Они не был заражены сознательным атеизмом — но ни одного из них нельзя было назвать действительно воцерковленным человеком. Здесь, как и во всем, что было связанно с человеческой натурой, отцу Георгию приходилось отступать.

Но перед крестным ходом он пытался взять хотя бы небольшой реванш. Однако и это ему мало удавалось — как-то даже стало извес-

тно, что один из сыновей вызвался дежурить в своем ПТУ весь день торжества и действительно просидел это время в пустом здании.

Когда вечером, в конце всех приготовлений, в городе появился Женя, которого теперь уже положение члена причта напрямую обязывало к участию, он сказал отцу, что Савватий тоже приехал в город, остановился у знакомых и хочет придти на крестный ход. Георгий уже остыл от прежних эмоций и подумал о пустыннике совершенно спокойно — может быть, впервые за все время знакомства с новой ипостасью Торопова. Вспомнился этот крепкий человек — без восхищения или отторжения, — и отец Георгий решил поставить его одним из прочих хоругвеносцев.

Но на крестном ходе инок Савватий не появился. Отец Георгий мимоходом отметил этот факт — он был слишком занят, вместе с Сергием приготовляя и выстраивая толпу. Особенно усердствовал младший священник — расставлял прихожан и очень напоминал какого-нибудь не в меру ретивого комсомольского работника.

После краткого молебна в Казанской церкви нестройная шеренга вышла с территории кладбища и вскоре достигла города. Здесь поджидала их машина дорожной инспекции, которая должна была ехать впереди и оповещать о шествии молчаливым сверканием синей мигалки.

Очарование того ясного дня, в который отец Георгий купался в реке, еще сохранялось, но потихоньку погода портилась — начался довольно сильный ветер, качавший хоругви в слабых руках и затруднявший движение хода.

Машина мигала, люди шли за ней. Вскоре усталость дала знать о себе — все происходящее стало восприниматься шествующими как какой-то сон, нечто нереальное.

«Преподобный отче Киприане, моли Бога о нас!» — звонким сильным мальчишеским голосом пел отец Сергий. «Преподобный отче Антоний, моли Бога о нас» — глухо, но мощно отвечал бас отца Георгия.

И все святии, в земли полночной воссиявшие, молите Бога о нас!.. Преподобный отче Кипириане, моли Бога... Преподобный отче Антоний... Киприане... Антоний...

Тяжело солнце на небе, тяжел ветер, гнувший паруса хоругвей. Навстречу крестному ходу отца Георгия вышел ход отца Павла. Второй винегорский священник не мог, конечно, ответствовать на мероприятие соперника ничем — и даже не раз делал попытки перехватить эту инициативу, но встретил неожиданно сильный отпор отца Георгия, так что озадачился и непривычно удовольствовался второй ролью. И все равно не соглашался он участвовать в крестном ходе Ярмилова, а собирал свой, меньший, который вскоре, после совместного молебна обоих иереев, частью распадался, частью присоединялся к отцу Георгию уже без отца Павла.

Киприан и Антоний были главными святыми, украсившие собой винегорский край. Им требовались возносить молитвы в первую очередь.

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» — возгласила Олимпиада. Она запела неожиданно, как птица, — отец Георгий запамятовал, что ей нужно именно сейчас вознести эти слова.

Настоящие птицы смотрели на процессию изумленно — по крайней мере, так казалось Ярмилову.

На месте каждой разрушенной церкви отец Георгий читал молебен. Потом шли дальше, не чуя ног и сжимающих хоругви рук, и снова молили Антония и Киприана. Между этими двумя именами колебался мир, как маятник, — или вспыхивал, как электрический разряд между двумя стержнями. Ничего не осталось, кроме имен.

Огонь пропитал идущих — они шли сквозь жару, словно Христос сквозь пламя во время своего сошествия в ад, словно так же должны были вознестись позже.

Из-за жары и пота, застилающего глаза, они не сразу заметили пламя материальное, хотя высокий дом Мищенко показался уже давно.

Ветер вместе с недавней жарой сыграли свою роль — огонь охватил прекрасную сухую древесину очень быстро, и все три этажа запылали почти в одно мгновение. Крестный ход смешался, остановился — верующие молча смотрели на реку и пламя на высоком противоположном берегу, зрелищно отражавшееся в воде. Как будто специально на солнце накатила большая черная туча — и потемнело, чтобы огонь выписался четче.

Дом отца Павла находился неподалеку от пожарной части, и поэтому красные машины прибыли довольно быстро. Однако несмотря на все усилия, большое строение пришлось тушить долго, так что перекрытия третьего этажа уже рухнули, а второго ели держались.

Ход двинулся дальше — отец Георгий сумел укорить прихожан, справедливо заметив, что бежать до дома отца Павла через ближайший мост слишком далеко, а возможность оказать реальную помощь слишком мала. К тому же внешние обстоятельства не должны останавливать священный обряд — крестный ход или литургию.

Когда вечером отец Георгий вернулся домой, то, разумеется, все только и говорили, что о пожаре, в мгновение ока практически уничтожившем дом настоятеля городского собора. Выяснилось, что жена отца Павла, которая должна была находится дома и могла предотвратить развитие пожара — или, наоборот, сгореть в нем, — неожиданно пошла с ходом отца Георгия и что к такому поступку ее подтолкнул не столько религиозный порыв, сколько ссора, происшедшая на днях между супругами Мищенко по поводу судьбы их детей.

Позже всех дома появился Женя — никто не удивился, поскольку он очень любил проявлять любопытство, давать советы и наверняка

ушел с пепелища одним из последних. Женя вошел в квартиру с каким-то непривычно взрослым, серьезным видом. Вскоре он потребовал беседы с отцом.

— Папа, я хотел дождаться исповеди и сказать тебе... но я думаю, лучше сейчас.

— Что?

— Савватий... Он в городе, но не был на ходе... а ведь я ему как-то рассказал вкратце в пустыни, что отец Павел строит против тебя козни... Он сказал еще, что отец Павел — бывший вертухай... Тогда я ему предложил — в шутку, конечно, — мол, говорят, ты сжег нашу колокольню, так почему бы тебе не сжечь и дом Мищенки? Тогда у него не будет времени строить козни, пока он свой возлюбленный терем станет восстанавливать. А то ведь отец Павел может сместить тебя, папа, и не дать достроить пустынь...

— Дурак, — сказал отец Георгий попросту.

Сын понял, что импровизированная исповедь закончилось, и быстро покинул кабинетик священника. Выражение его лица Георгий зачем-то успел заметить — оно снова стало капризным.

Священник подумал, что больше никогда не увидит поджигателя, но через пару дней узнал, что Савватий преспокойно продолжает работать в пустыни. Значит, нужно было ехать и отцу Георгию, чтобы сделать дело.

Как и ожидал иерей, ничего не изменилось ни в лице, ни в походке инока. Савватий штукатурил своды, а Георгий и Женя, который успел поучится год и в художественном училище, по свежей штукатурке расписывали подземную церковь. Все получилось, как задумал отец Георгий и как подсказывали каноны — Трифон указывал на огнедышащего пса, Антоний толкал ногой камень, на котором, по преданию, во время долгой молитвы приплыл к месту нынешней пустыни из неведомых земель, Ксения Петербургская с удивлением смотрела на город, расстилающийся перед ней, и от этого удивления чуть не выпускала палку, и одета она была в свои цвета — зеленый и красный.

Потом была трапеза — разложив на траве клеенку, ели картофель и булки, собранные заботливой Дарьей. Перед едой отец Георгий сотворил, как положено, молитву — но сомневался, что она достигла Бога, ибо в очень уж неблагостном настроении совершил ее священник.

Он чувствовал себя рядом с сыном и Савватием как подельник преступной шайки. Это ощущение было каким-то странным и не ужасало, а только удивляло, как удивил блаженную Ксению непонятный город. Отвлеченно думал отец Георгий о том, как хорошо ложилась краска — а ведь он в первый раз в жизни всерьез занялся церковной росписью — и как равнодушно осматривал он сам свое творенье, будто нечто само собой разумеющееся. Так Савватий посмотрел наверно в

первый раз в яму, выкопанную им в фундаменте церкви. Наконец-то художник умер в отце Георгии — он давно этого желал, собирался радоваться и чуть печалиться, когда это произойдет. Но не было ни радости, ни печали — ничего.

От пустоты начинало сосать под сердцем.

Отец Георгий вспомнил, как лет восемь назад случайно увидел телепередачу о жизни исправительной колонии. Один из заключенных, который охотно давал интервью и говорил о себе, был верующим. Прямолинейный журналист так и спросил: как же вы убийца и верите в Бога?

Каторжник ничуть не смутился и с важным видом ответил: что, мол, сказано первым делом? А первым делом говорится — возлюби Господа своего.

И с таким убеждением это было произнесено, и такая твердость отражалась в лице убийцы, что даже бесцеремонный телевизионщик замолчал и продолжать эту тему не стал.

Подобным образом думает и другой заключенный, правда бывший, — Савватий. Наверное, так думает и он сам — отец Георгий. Почему? Разве искупается нелюбовь к людям нелюбовью к себе? То есть что в какой-то мере искупается, это Георгий Ярмилов знал уже давно — но в бесконечной ли?

Что-то муторное облепило душу священника: как будто и он сам, и посланец Бога, и посланец дьявола — все запутались в какой-то клейкой паутине, или угрязли в трясине какого-нибудь болота, коих великое множество кругом бывшей Антониевской пустыни. Небо казалось немногим выше, чем своды самозванной подземной церкви, и так же давили, и так же манили — вернее, не отпускали.

Глава 10. Второй разговор

Крайне тяжелое ощущение не покинуло отца Георгия и дома, и даже после отхода ко сну. Он беспокойно ворочался на узенькой койке, а под утро приснился отец Киприан.

Он возник из ниоткуда и тут же завел с отцом Георгием оживленную интеллектуальную беседу, как тогда, в своем монастыре. Среди прочих выплыла неожиданная фраза:

— Многие миряне, почувствовав в себе огонь веры, слишком уж прямо понимают свое служение и торопятся пополнить ряды священства.

— Уж не обо мне ли вы ведете речь? — спросил отец Георгий.

Киприан чуть кивнул головой, словно отдавая должное прямоте собеседника, и улыбнулся.

— В какой-то мере и о вас... хотя ваш случай еще более запутанный. Надеюсь, что не покажусь бестактным, сделав предположение: ваш

путь — это или путь мирянина, просто воцерковленного человека, или монаха. Да, такой вот парадоксальный максимализм — а происходит он оттого, что путь белого священничества есть путь, так сказать, первичного пастырства, работа с внешними людьми, в глубине души равнодушными к истинной вере. Насколько большего бы вы достигли в келии... или в мастерской.

— Быть может, вы и правы. Но теперь я связан, у меня семья. Правда, дети уже взрослые, и им бы не помешало научится жить собственной жизнью. Но Дарья... вы же знаете, Киприане, что по церковным правилам в монастыри можем уйти только мы оба...

— Да, именно так и поступили мы с женой.

— Значит, вам повезло больше. А я связан...

— Да, вы связаны, — с грустной, иконописной улыбкой, так не похожей на настоящее выражение его улыбающегося лица, тихо и жалостливо произнес Киприан, и отец Георгий проснулся.

Лежа в полудреме, он успел укорить себя, что не сказал Киприану о Савватии — не сразу понял, что видел всего лишь сон.

Но в реальности сообщить все-таки придется. Масса дурного и тяжелого, связанного с Савватием, наконец перевесила то воздушное и святое, что давала отцу Георгию работа монаха. Хотя и сейчас священник не переставал чувствовать вину перед иноком Савватием — ведь ему лично и его церкви тот ничего дурного не сделал, наоборот, и теперь выходило, что отец Георгий выгоняет черного человека лишь потому, что исчезла практическая нужда в нем.

Но все равно — теперь Ярмилов решил твердо. Он позвонил в монастырь и услышал голос отца Киприана, услышал неестественно хорошо для их старенького телефона, для междугородней связи. Георгий поразился — как же похож этот голос, тон и манера говорить на то, что он слышал во сне, как хорошо запомнился настоятель монастыря, словно он был брат, близкий друг или хотя бы давний знакомый иерея.

Киприан не дал ему говорить.

— Я как раз к вам, так вот случилось, проезжаю через ваш город. Вы, помниться, звали меня чаю попить — вот и встретимся, если вам удобно. Тогда и о делах поговорим. Подождут ваши дела несколько часов?

— Подождут, — с раздражением на самого себя буркнул отец Георгий. Хотя его ответ имел некоторый смысл — в отличие от многих людей, винегорскому священнику всегда легче было говорить о серьезных неприятных вещах, глядя в глаза собеседника, нежели выговаривать их в бездушную трубку.

— Но как вы меня поймали, а! — в голосе послышалась радость, — я как раз собирался звонить вам. У меня тоже есть, что рассказать хорошего... ну впрочем, при встрече. Ну ладно, не смею больше задерживать — а то наговорите по межгороду целый миллион...

Что же у него есть «рассказать хорошего»? И что это за человек, зачем попустил его Бог встать на пути отца Георгия? Почему так неловко слушать его долгие речи, почему он так часто кажется правым во всем?

А ведь действия его сомнительны, неканоничны и, несмотря на всю интеллектуальность, сумбурны — в этом не могло быть сомнения. Киприан совершил один из самых опасных священнических грехов — нарушил тайну исповеди, рассказав Георгию о краже колокола. Правда, тогда в разговоре настоятель монастыря сделал обмолвку, из которой следовало, что Савватий на той же исповеди попросил Киприана ходатайствовать за него перед отцом Георгием, если представится такая возможность. В любом случае этот способ был каким-то нецерковным: ведь только сам человек ответственен за свои грехи.

Узнав из исповеди о происшествии с колоколом, отец Киприан вообще был бы должен, согласно традиции, испросить совета у правящего епископа своей епархии, прямо не называя имени грешника, — тем более что украденное имущество принадлежало церкви. Но, как понял отец Георгий, Киприан и не подумал сделать этого — возможно, потому, что пытался искусственно поддержать чрезмерную независимость своего монастыря, маленькую автокефалию. И хотя в данном случае чисто по-человечески Георгий очень даже понимал настоятеля, но давно уже приучил себя сурово бороться с подобными настроениями в собственной душе, ибо ничего нет дороже, нежели соборность Церкви, ее всеобщность.

И очень может быть, что самовольным прощением Савватия Киприан и попустил его новое, не менее тяжкое преступление. Ведь теперь жертвами могли стать и живые люди, домашние отца Павла Мищенко — разве Савватий при своем поджоге мог быть уверен точно, что огромный дом пуст?

Если бы не тот случай с колоколом, не схожесть почерков двух преступлений, отец Георгий, несмотря на слова Жени, вообще мог бы поставить под сомнение сам факт поджога. Еще вчера вечером он услышал в гостиной спор двух сыновей, которые не могли знать о происшедшем ничего больше общеизвестного.

Один из этих сыновей по вечной страсти юности ко всему жестокому и эффектному сам выдвинул идею о поджоге, но второй, более рассудительный, стал возражать. Рассудительный вспомнил, что недавно у Мищенок появилась новая традиция — выпускать, когда в доме никого не оставалось, во двор большую и свирепую собаку, которая обычно содержалась в вольере. Значит, любому злоумышленнику, покушающемуся подойти к дому, пришлось бы сперва убить эту овчарку, между тем как после пожара ее нашли в одном из сараев до смерти испуганную, но живую и здоровую.

Но священник-то понимал, что два столь разительных совпадения не могли быть случайностью. И теперь он очутился в крайне неудобном, суетном и жестоком положении — ведь если он сам, отец Георгий, узнал о преступлении от сына при обстоятельствах, которые с сильной натяжкой можно назвать подобием таинства исповеди, то Женя, будучи совершеннолетнем, обязан сообщить об известном ему признании Савватия гражданским властям, а в противном случае сам сделается уголовным преступником.

И, как будто случившихся за последнее время событий оказалось мало, еще одно неожиданность настигла отца Георгия — сыновья принесли адресованное ему письмо. К церковной жизни оно не имело ни малейшего отношения — писала престарелая тетка Георгия, живущая в Ленинградской области. В этом письме она уведомляла о том, что другая родственница Ярмилова, живущая в самом Петербурге, восьмидесятилетняя старуха, очень опасно заболела, и просила приехать.

Хорошенько обдумать это известие у священника не было времени — вскоре в его доме появился Киприан. Несмотря на все свои мрачные настроения, Георгий помнил, как вдумчиво и щедро принимал его настоятель в своем монастыре, и хотел отплатить ему не меньшим гостеприимством.

Во время обильного обеда Киприан умудрился вставить в разговор несколько замаскированных и все же прозрачных комплиментов хозяйке, которые не звучали неудобно в устах монаха и в то же время тешили естественное женское самолюбие. Он пригласил Дарью совершить паломничество — как известно, православные правила разрешают женщинам бывать в мужском монастыре, не дозволяя только заходить во внутренние кельи, — увлеченно и поэтично описал красоту обители и ее историческое значение, так что совсем очаровал матушку, которая всерьез собралась нанести ответный визит.

Затем отец Георгий повез отца Киприана в Казанскую церковь. Он хотел вести себя с гостем сухо, демонстрируя лишь внешнее гостеприимство, но неожиданно рассказал ему о своих прежних планах расписать эту церковь снаружи и о том, как в связи с восстановлением пустыни пришлось расстаться с этой идеей. Киприан заинтересовался, и Георгий сам не заметил, как начал рассказывать о своих предыдущих храмах, о том, в каком ужасающем состоянии были Спасский собор и Покровская церковь в Левицах, как много оказалось работы и как мало он, Георгий, успел сделать.

Отец Киприан оказался самым благодатным слушателем, которого только можно себе представить. Поскольку он прибыл в Винегорск на монастырском УАЗе, то настоял, чтобы они тотчас же подъехали к Спасскому храму, и осмотрел его. Вернувшись в дом отца Георгия, гость стремительно потребовал все фотографии, где были запечатлены со-

стояния храмов, внешние и внутренние, до реставрации и после. Потом ознакомился с гордостью винегорского иерея — набором фотографий с крестными ходами, организованными в разные годы. Эти фотографии должны были вскорости выставляться в местной картинной галерее — за неимением в городе другого помещения, более подходящего.

Затем плавно перешли к коллекции старопечатной литературы: и вот ключ проторил себе дорогу в замочной скважине шкафчика, книги были вынуты, оставив, словно лыжники на снежной целине, след в белой, давно не тронутой пыли. К интересу человека, радеющему о вере и традиции, со стороны Киприана добавился еще и интерес профессионального филолога — он брал очередную книгу, как мать своего только что крещенного младенца, бережно и нежно.

Вообще это сочетание благообразности, приличествующей возрасту и сану, с глубокой эрудицией и одновременно с совершенно непосредственным детским восторгом в том случае, когда удавалось увидеть любое достижение ума и души человеческой, хотя бы самое незначительное, хотя бы кроху нового — и проникнуться искренним уважением к тому, кто это новое создал или хотя бы сохранил, — было совершенно поразительным. И опять вспомнился отцу Георгию его ленинградский учитель далекой молодости, потому что это был единственный подобный человек, которого Ярмилов знал до Киприана.

Георгий попытался отогнать прельщение, напоминая себе в мыслях, что склонившийся над книгами настоятель — самочинец и чуть ли не еретик. Вспомнил Савватия — однако вместо того, чтобы гнев к монаху перешел и на его духовного отца, явилась другая мысль. Ведь если Савватий, этот бесконечно твердый в грехах и в добродетелях человек, так трепетал отца Киприана и был рядом с ним как подлинно почтительный сын не только по церковному порядку, но и по сути — это Георгий хорошо почувствовал в монастыре, — каков же по силе духа должен быть сам Киприан!

— ...вашей коллекции можно только позавидовать. Иные книги так редки и интересны, что и в Пушкинском Доме подобные хранятся в специальной секции, и получить к ним доступ так же трудно, как к рукописям самого Пушкина. Многие богатые коллекционеры из столиц и зарубежья могли бы позавидовать некоторым экземплярам! Как же, простите, вам удалось соединить воедино такое собрание?

— Еще в советское время начал... ездили у нас странные залетные дельцы, покупали и продавали. А что винегорские прихожане отдали... вот один охотник пошел как-то в лес и нашел там икону, принес ее в храм, потом он и книгу откуда-то достал...

— Да, немалое дело вы творите, отец Георгий... Дерзания ваши велики. Знаете, у меня есть к вам деловое предложение.

— Какое? — встрепенулся отец Георгий, поскольку своим более практичным тоном Киприан напомнил ему о необходимости сказать что-нибудь насчет Савватия.

— Есть у меня один знакомый священник в Петербургской епархии. Он молод, но обладает уже не только глубокими богословскими познаниями, но и достаточным жизненным кругозором. Он уже написал довольно много книг, в частности интересный, свежий и в то же время канонически выдержанный труд по церковной жизни нашей епархии в послереволюционные годы. Дерзнул он даже написать книгу о некоторых вопросах природы Божественной Софии — и получил лестные очерки из Александро-Невской и Троице-Сергиевой духовных академий. Сейчас он принялся за новый труд, капитальностью превосходящий все прежние: с благословения митрополита начал собирать сведения о восстановлении храмов в России и сопредельных стран — летопись возрождения, так сказать. Сейчас во многих епархиях издают такие книги, охватывающие только их территории — это работа полезная, благодатная, но нужно как простое перечисления фактов, так и осознание их в масштабе всей Русской Православной церкви. Нужно сделать выводы — что, какие обстоятельства мешают, несмотря на более чем десятилетие свободы действий и проповедничества, сделаться Православию главной духовной силой страны? Иные ответы на эти вопросы и так ясны, однако чтобы понять некоторые, надо смотреть глубоко. Но не только и, конечно же, не столько о неудачах будет повествовать эта книга, а главным образом о живых примерах тех приходов, в которых были восстановлены не только церкви в смысле зданий, но и главное — церковность в прихожанах.

— Боюсь, я мало чем могу здесь похвалится, — сказал отец Георгий, который начинал понимать, куда клонит отец Киприан, и беспокойства от этого понимания только прибавилось. Гость между тем все больше воодушевлялся и продолжал вести разговор своим путем:

— Есть разные типы людей, отец Георгий. Вы по характеру человек замкнутый, выражаясь современными терминами, интроверт. Ваш путь — более мистический, который реже встречается в наше время в Православии. Откуда вы знаете, как оценит Бог ваше приближение к нему? Может быть, даже наиболее несознательные прихожане ваши, которых вы не смогли смирить пастырской строгостью или одухотворить участием в их жизни, будут спасены благодаря другим вашим свершениям?.. Вы двигаетесь к красоте и думаете не о механическом возрождении прошлого, которое, кстати, не было столь уж безупречным в смысле воцерковленности народа, в том числе и простого, как это любят сейчас представлять, ностальгируя, — нет, вам, как и мне, более близко стремление к преображению, подобному тому, что испытал Господь наш на горе Фаворской. Но я, увы, продвинулся в этом направлении мень-

ше, хотя отец Артемий, о котором я говорил, счел нужным и наш монастырь включить в свою летопись, и соседний женский, где игуменьей моя бывшая жена. Поэтому уж совсем несправедливо будет, если после нас там не будет вас и ваших церквей!

— У меня одна церковь — Казанская.

— Но вы же ими занимались — вы и никто больше!.. Я как раз хотел через пару недель пригласить Артемия к себе, и мы непременно заедем к вам. Между прочим... я, как и обещал, много думал о том, чем смогу помочь вашей идее создания подземного храма. Я думаю, статья о вас в издании нашей епархии может облегчить вхождение этой идеи, крайне необычной и могущей вызвать некоторое недоумение и даже раздражение и среди церковного клира, и среди мирских людей. Поместить такую статью будет возможно — вы ведь у самой административной границы, ближайшие соседи, можно сказать...

— Спасибо, что вы такого высокого мнения обо мне, — тихо сказал отец Георгий, — боюсь, у меня для вас не столь замечательные новости. Я хочу попросить вас, отец Киприан, забрать насельника вашего монастыря, инока Савватия. У нас нужда в нем уже не столь велика... поэтому мы очень благодарим вас, но мне кажется, что в вашем монастыре, когда-то столь значительном, теперь каждый человек на счету. Да вы мне сами говорили, что очень цените Савватия.

Объяснение получилось путаное и какое-то грубое, как будто речь шла о рабочей лошади. «Ну хорошо, что я хоть так сказал наконец, — думал отец Георгий, — а говорить или не говорить духовнику о своем новом грехе... это уж дело Ильи, то есть Савватия, здесь я и не имею право вмешиваться».

Реакция Киприана удивила Георгия. Можно было ожидать, что после восторженных и, скорее всего, полностью искренних речах отца настоятеля смысл и тон ответных слов вызовут впечатление большой грубости — но можно было подумать, что Киприан заранее знал о просьбе Ярмилова.

— Да, конечно, заберу, — не меняя тона, продолжил он, — прямо сегодня позвоню в монастырь и отправлю кого-нибудь из братии за ним. Так вы не против визита отца Артемия?

«В крайнем случае, отказаться всегда успею» — мелькнуло в голове у Георгия, и он согласился, хотя и без особенной радости в голосе. Впоследствии он попытался всячески компенсировать эту невежливоть и перед отъездом Киприана даже попытался, довольно неуклюже, подарить ему рукописную книгу из своей коллекции, одну из тех, которые бывшей работник Пушкинского Дома так хвалил. Помимо значительной ценности для знатока, книга обладала немалой денежной стоимостью — и конечно же, Киприан очень тактично, сглаживая неловкость отца Георгия перед самим собой, отклонил подарок.

— Знаете, недавно произошел такой случай, — сообщил отец Киприан, уже встав со стула и выходя из гостиной, в которой происходили все беседы, — освободилось вакантное место в одном из питерских приходов, и митрополит попросил благочинного подобрать кандидатуру. Благочинный был в некотором затруднении... а я как раз был тогда в Петербурге, и он обратился за советом в том числе и ко мне. Он жаловался, что образованных молодых кандидатов хватает, но желательно подобрать человека еще и с немалым опытом делания... И должен признаться, отец Георгий — первая моя мысль, хоть и отвлеченная, была о вас. Но я, конечно же, сразу понял, что это невозможно — у вас здесь семья, вы не монах, как я. И главное — ваше новое начинание... Но вы знаете, как не хватает и не хватало всегда в Петербурге людей подлинно православных — и какие высокие требования должны быть в бывшей столице православной империи. Да, такой вот парадокс!..

Визит Киприана не мог не оставить радости в душе отца Георгия — если есть на свете человек, который бескорыстно и беспричинно радеет о тебе, сложно не испытать к нему доброе чувство. Но как и в прошлый раз — только гораздо быстрее — приятность схлынула с сердца, и осталась тревога.

Гласности и известности отец Георгий не любил — когда-то он слишком бурно отболел этой болезнью. Теперь судьба давно уже не искушала его подобными соблазнами: в этом смысле жизнь в маленьком городке, который не был даже родным Ярмилову, уроженцу Псковской области, вполне устраивала священника.

Правда, знакомые журналисты из области как-то сделали репортаж и о нем, и о весьма многодетной семье, и об «образцовой матери» Дарье — но это было давно, единократно и после долгих дружеских просьб. Здесь же речь шла о каких-то посторонних людях, хотя и церковных, — однако ощущение церковной организации как братства, увы, давно покинуло винегорского иерея. Сложно было, несмотря на все евангельские каноны, считать братом отца Павла — а главное, тот сам в первую очередь отвернулся бы от отца Георгия. Он не чувствовал здесь близких по духу людей — и хотя в беседах с Киприаном это чувство неожиданно и спонтанно было возникло, немало удивив Георгия, но все же оно еще не проверялось временем, а теперь, ввиду новых обстоятельств, и вовсе могло быть признанно ложным.

Любая реклама, пусть даже в церковном издании, — а возможно, и какая-то подковерная борьба — совершенно претили священнику. А ведь основа для подозрений здесь могла быть — из некоторых слов отца Киприана выходило, что он очень уважительно относится к начальству той епархии, где подвизался отец Георгий, да еще именно здесь оказался монастырь, которым управляла его бывшая жена, — значит, может существовать некоторая личная заинтересованность.

Тут уже отец Георгий одернул себя: что же я думаю, как какой-нибудь следователь? Этот человек был у меня, ел за моим столом, брал в руки мои книги, радовался им и мне — а я смею подозревать его в лицемерии и подлости.

Нет — здесь вопрос в другом. Киприан несомненно хотел добра отцу Георгию — по крайней мере в обычном, человеческом смысле. Намекнув, что может устроить перевод Ярмилова в Петербург, настоятель действительно желал только благого воздаяния человеку, с его точки зрения, достойному — так же как и в случае с этим церковным литератором.

Но является ли добро с точки зрения отца Киприана таковым с точки зрения отца Георгия? Может ли чужая помощь помочь в деле служения Богу? Сказано у святых отцов: любое благое дело, заповеданное тебе, твори в тайне. И разве сама подземная церковь — не аллегория тайны? Она и есть образ совершенной келии, отрицания даже света солнечного, освещающего красоту мира дольнего, ради сохранения чистоты и удаления от слов людских.

Иными словами: не тем ли лучше, чем хуже? Нужно честно попросить у предстоятеля церкви — в данном случае у своего правящего архиерея, у архиепископа владыки Варлаама — дозволения на сложное и спорное дело. И не делать себе никаких послаблений, не устраивать никаких подпорок.

А подземная церковь?

Сам Киприан говорит — иначе скачусь в пошлое диссидентство. Значит, для отца Георгия он такой путь считает позволительным?

Сложнее с Петербургом. Этот город всегда был для иерея Георгия тайным соблазном — ведь с тех пор, как он покинул его тридцать лет назад, покинул с показной ненавистью и отрясанием праха с подошв, мысль о возвращении жила и не умирала.

Через десять лет для обросшего многочисленной семьей священника она стала окончательно нелепой — а все же жила.

Теперь она немыслима, согласно любой логике, — а все-таки жива.

Петербург был картиной — вот в чем дело. Он не был просто крупным городом, площадкой для какой-нибудь карьеры — если бы дело обстояло именно так, отринуть эту манию стало бы проще простого.

В душе Ярмилова Петербург был единственным храмом, способным спорить с церковью.

Между тем, пока внутренний мир священника колебался, судьба и во внешней жизни внесла его на самую вершину рокочущего и сминающего вала перемен, сомнений и сует. В воскресенье сразу после вечерни он увидел, как к храму подъехал на велосипеде отец Сергий. Вид иеромонах имел запыхавшийся — поспешно перекрестившись, он зашел в церковь, пробившись через толпу выходивших верующих, и отправился прямиком в алтарь.

— Батюшка, дело срочное. Я очень прошу ехать со мной в Левицу.

— А что за дело-то? — спросил отец Георгий, с неприязнью глядя на юношеский здоровый румянец, пробившийся на щеках иеромонаха.

— Там увидите. Нужно ехать.

Такая секретность, театральность не могла понравиться отцу Георгию, и уже в автобусе он пожалел, что поехал, не потребовав сперва категорично разъяснить ему цель поездки. Но было поздно настаивать, и вскоре оба священника очутились возле Покровской церкви.

В нескольких метрах от колокольни они увидели в земле что-то вроде небольшой воронки. Стало понятно, что некто раскопал землю — только вот зачем? У отца Георгия мелькнула мысль — уж не захотел ли отец Сергий по его примеру искать мощи святого? Только вот никаких святых в селе Левице никогда не было.

Сергий пригласил старшего священника заглянуть внутрь. Сделать это было нетрудно, поскольку яма имела в диаметре около метра и в глубину немногим больше.

В ярких лучах заходящего солнца отец Георгий увидел верхнюю часть колокола, полузакопанного в землю.

— Это наш колокол, — подал голос иеромонах Сергий, — помните, в этой церкви был, и пропал, когда сгорела деревянная колокольня?

И он рассказал, что сегодня, идя из храма после литургии, он услышал женский крик. Оказалась, что одна из пожилых прихожанок задержалась у церкви, зачем-то бродила вокруг нее и провалилась в какую-то яму. Женщина полагала, что сломала ногу, но когда собрался народ, решили, что ее страхи сильно преувеличены. Отец Сергий произнес маленькую проповедь, вернее отповедь, предостерегающую прихожан бессмысленно шляться среди церковных построек и пестовать собственные страхи вроде сломанной ноги — он любил с важным видом поучать свою паству — а потом, когда люди удалились, заглянул внутрь и увидел что-то блестящее. Вдохновленный работой в пустыне и своим всегдашним любопытством, Сергий взял в ближайшем сарае лопату и откопал верх колокола. Как сказал ему один старый прихожанин, здесь когда-то давно был колодец.

Теперь, после эффектного представления отцу Георгию, Сергий собрал несколько причетников, и довольно быстро откопали весь колокол. Не было сомнения — это тот, прежний.

— Видимо, при пожаре он упал с колокольни, пробил небольшой слой земли и ушел в колодец, — объяснял Сергий, очень довольный собой, — а высокая трава его скрыла. А осенью, видимо, дождь снова нанес земли, и он скрылся совсем.

Отец Сергий с радостью объявил всем, кому мог, что завтра состоится большой молебен по поводу обретения колокола, и чтобы всем быть. Отец Георгий отбыл к себе.

Все окончательно перепуталось. Зачем Савватий оговорил себя? Как понять этого дикого человека? Зачем так солгал перед духовником — и солгал не грешным, но по-человечески извинительным способом сокрытия греха, а солгал противоестественно и духу, и логике?

Может быть, он чувствовал, что все кругом считают его виновником — и добровольно принял вину на себя? Может, сам допускал возможность кражи своими уголовными товарищами — и посчитал, что именно он доставил им тот соблазн?

Здесь что-то фантастическое, напоминающее скопчество или самосожжение, что-то страшное плеснуло в жизнь отца Георгия — нечто, до времени таившееся в придонном иле, а теперь вынырнувшее, как скользкое чудовище. Ведь это же человек, он такой же, как и я: значит, я должен его понять! — возопил в душе отец Георгий.

Может, Савватий просто иным путем не надеялся отпроситься у Киприана в пустынь? За то время, которое прошло после визита монастырского настоятеля в дом Ярмиловых, матушка Дарья очень заинтересовалась им, через неделю собиралась в его обитель и отыскала в городе мирскую женщину, которая была духовной дочерью отца Киприана и часто ездила к нему.

Женщина эта рассказала, что Киприан — духовник весьма строгий, хотя по-человечески и очень заботливый. Когда женщина заболевала и долго не появлялась, он звонил ей и вел довольно долгие утешительные разговоры по междугородней связи, и из монастыря не выпускал без гостинцев. Но один раз, когда духовная дочь шла туда вечером в темноте под дождем семь километров, поскольку случайно забыли прислать машину, Киприан, хотя и велел затопить баню, распек забывчивого монаха и всячески извинялся, после исповеди гостью до причастия не допустил, назначив епитимью на месяц.

Дарью эта строгость от отца Киприана не отвратила, а отца Георгия, накладывающего епитимью на своих прихожан очень редко, заставила задуматься, что вывод о чрезмерном добродушии настоятеля он сделал, пожалуй, преждевременно. Видимо, понятия греховности, меры покаяния и вообще отношения к своей пастве у Киприана попросту были крайне оригинальны и отличались от принятых большинством священников. Не он ли сам утверждал, что христианство — это непрерывный парадокс?

Отец Георгий понял, что окончательно теряет надежду разобраться — и сам может впасть в ненормальное состояние, происходящее от кого-то из этих двух монахов, или от обоих вместе. Верно: теперь они казались двумя ипостасями одного и того же человека, совместившись в восприятии отца Георгия.

Он бы и не думал обо всем этом, оставив загадки на попечение их создателям, — но оставалась Антониевская пустынь. И почему-то так

случилось: люди, которые работали на восстановлении пустыни и вроде были согласны работать дальше, с уходом инока обрели массу более важных жизненных дел и исчезли.

А у сына Жени сегодня медкомиссия в военкомате.

На Сергия надежды нет.

У самого отца Георгия силы уже не те.

И очень может быть, что если Савватий не поджигал тогда, он ни при чем и теперь — а слова Жени так и остались просто глупой шуткой.

А может быть, Савватий достал деньги и купил на них новый колокол — или выкупил старый. Странно, с житейской точки зрения из всех вариантов этот был самый правдоподобный, но он позже всех пришел в голову отцу Георгию.

Потому что не был бы подобный поступок в привычках Савватия.

Да и денег колокол стоит немалых — а вряд ли таковые остались у инока от прежней бездомной пьяной жизни, вряд ли появились они и в пору монашества.

Если только Киприан не дал деньги или колокол.

По крайней мере, иконостас от него Георгий скоро получил.

Глава 11. Возвращение

И все-таки сразу отвергнуть Киприанов соблазн не удалось — устанавливая своими руками врата иконостаса, а вверху их размещая в нише большую икону Господа Вседержителя, которую настоятель монастыря преподнес в дар подземной церкви, сложно было не поверить в мудрость и красоту этого человека.

Отец Георгий отслужил молебен, забрал с собой икону — мало ли какие лихие люди набредут на пустынное место — и отбыл в город. Вот если бы Савватий по-прежнему находился здесь, священник не побоялся бы оставить в храме и саму Святую Троицу Рублева.

Икона из монастырского собрания была очень красива, хоть и не имела прелести старины совсем уж древней — она была написана, очевидно, немногим более ста лет назад. Смущало только, что лик Спаса несколько походил на лицо самого дарителя. В салоне автомобиля икона, обернутая в белую ткань, стояла на сидении рядом с самим священником и прижималась к его боку, а он еще крепче прижимал ее рукой.

И все-таки слишком укоренилась в отце Георгии привычка к одиночеству, отчужденность от любого человека — в том числе и такого подлинного, как Киприан. Даже в соседстве с Савватием душе Георгия бывало слишком шумно — он приходил к пустыннику как другой пустынник, по крайней необходимости.

Но о Савватии теперь вспоминать было слишком больно. Бог рассудит нас — только одно это и мог твердить сам себе отец Георгий.

Георгий должен был ехать к тяжелобольной тетке, ибо не только долг родственный, но и тем паче иерейский звал его к одру умирающей: хотя нигде это и не сказано прямо, все же многие верующие, имеющие в родне священника, высказывают понятное и законное желание, чтобы все таинства над ними, а особенно самые важные — предсмертные и посмертные, — совершал именно он.

Однако отец Георгий хотел по церковному обычаю поздравить своего епископа с годовщиной хиротонии — возведения в сан — а годовщина эта как раз ожидалась через несколько дней. После сего праздника священник собирался первый раз переговорить с владыкой по поводу своего сокровенного замысла, подземной церкви, рассчитывая грешным делом на большую благостность и доброе настроение преосвященного Варлаама.

Проведя дни в обычных трудах, перед самым отъездом отец Георгий вдруг получил из Петербурга телеграмму о смерти тетки. Само по себе это событие не особенно сильно опечалило его: Георгий видел покойницу последний раз несколько лет назад, да и до того встречался с ней лишь на редких семейных праздниках. Однако подлинно прискорбным для иерея был тот факт, что тетка ждала именно его как вестника благодати Христовой, внятно говорила об этом на их последней встрече — а теперь, может быть, даже умерла без покаяния, и в таком случае только Григорий может быть виновен в смерти ее души, гораздо более страшной, чем та смерть телесная, о которой извещал мятый бланк телеграммы.

По обе стороны шоссейной дороги тянулся лес, сосны высились на песчаных дюнах, и отец Георгий думал, что иглы на них отливают желтизной, что сами сосны малы, потому что на севере все малое, кроме расстояний. Однообразно шуршал под колесами асфальт — дорога до областного города занимала несколько часов даже по качественной магистрали общероссийского значения. Тот тут, то там стену дюн обрывали многочисленные озера — говорят, на каждого десятого жителя области приходится свое озеро.

Мысли были бессмысленные, обрывочные. Сын Николай молчал — вид у него был по обыкновению угрюмый, но отец Георгий знал, что в душе Коля радуется возможности побывать в крупном городе. А когда Георгий сказал, что придется ехать оттуда в Петербург, сын и вовсе замер в благоговейном молчании, хотя и привлекали его не красота этого города, а материальные возможности. Что ж — пусть хоть так.

Вот поворот к монастырю отца Киприана, вот высится маленькая церквушка молодого священника, когда-то поменявшего царские врата отца Георгия, вот следующий районный центр — и опять рокот мотора да безмолвие дороги. Не написал бы на этой дороге Гоголь про свою Тройку: быстрая езда или медленная, все едино для безлюдных неизменных северных пространств, где движения не замечаешь вовсе.

Так в жизни иногда осматриваешься на все сделанное — и видишь, что ни на йоту не удалился от начала пути, но почему-то не горестно, а только по-легкому печально. Трех храмов Божьих касалась рука отца Георгия, и если не выполнил священник свой обет, то его вины здесь мало — а кажется, что и не было никаких церквей, потому что не нужен человек и его жалкая любовь Богу, создавшему бессмысленные мириады деревьев и незрячих озер.

К годовщине архиепископской хиротонии собрались практически все священники епархии. На архиерейской службе некоторым из них позволялось подать «возглас» — один стих из Литургии, однако отцу Георгию возгласа не досталось. Особенно обойденным он почитать себя не мог, поскольку священников было раза в два больше, чем возгласов, — но все же осадок начинал опускаться на сердце.

А после произошло то, чего так опасался отец Георгий. В беседе с глазу на глаз владыка резко, даже в насмешливом тоне, указал Георгию на несообразность его затеи.

— Мне доносили об этих раскопках... хотел вас вызвать сам, да вот вы приехали... Не могу я этого одобрить. Вижу здесь какое-то модничанье, тягу к экзотике.

— Однако традиции церкви позволяют...

— Мы живем, отец Георгий, не в древнюю эпоху изобилия духовного, когда подобные эксперименты могли быть позволяемы, но в эпоху безверия. Кого привлечет ваша подземная часовня? Людям церковным, священствующим, монашествующим нужно больше думать о служении духовном, чем о внешней необычности, — а из колеблющихся, коим сложно и на Пасху под причастие подойти, привлечет лишь охочих на любопытство. Еще телевизионщики приедут, какой-нибудь дурацкий репортаж снимут, и все начнут верещать: ах, отец Георгий, отец Георгий... Не ожидал от вас, честно говоря, тяги к подобному роду известности! Мне казалось, вы человек как раз блюдущий себя... да и возраст уже не тот для подобных экзерсисов.

— Но...

— Да, таково мое мнение. Я бы настоятельно рекомендовал вам оставить это... не знаю, сколько вы сделали... или хотя бы заморозить. Я, конечно, не могу вам запретить — каждый христианин, даже мирянин, может печься о Боге и доме Его, как он считает нужным, если нет прямого впадения в ересь. Но когда церковь нужно будет освятить, вы поставите меня в неудобное положение. Вы вели раскопки, не предупредив гражданские власти, комитет по охране памятников, с которым у нас и так есть трения... Когда все это выйдет наружу — не будет ли чрезмерной суеты?.. Нет, отец Георгий, не то вы затеяли дело! Посмотрите лучше на ваш приход — достаточно ли у вас благополучно? Живут ли прихожане полноценной церковной, литургической жизнью, не ча-

сто ли остаются дома в воскресенье и даже в праздники? Да и в быту... полна ли их жизнь церковностью? Да и вообще... этот ваш отец Сергий был недавно у меня. Вроде бы отрок сей стал исправляться — но помощь и помощь, работа и работа духовная с ним необходимы!..

Владыка Варлаам поднял вверх палец — какой-то совершенно нецерковный жест. А затем на последнюю робкую попытку Георгия оправдаться сказал с ложной мягкостью в голосе:

— Все это, отец Георгий, было бы простительно человеку искусств и богемы, но никак не иерею, радеющему о твердости Православия!.. Ладно. Спасибо, что приехали меня поздравить.

Архиерей знал, как ударить. Беседа была окончена.

Покинув его покои, Георгий тихо спустился в епархиальную гостиницу. Под каждым словом епископа он готов был бы подписаться сам — все верно говорил Варлаам. Но неужели, справедливо заметив черты отрицательные, нельзя было заметить красоты? И что толку говорить о традиции и новаторстве, оперировать этими двумя словами, годными лишь для школьных сочинений! Разве не живет всякий настоящий христианин, ежесекундно готовя себя к тому моменту, когда «времени больше не будет?».

Все подлинное человек творит лишь тогда, когда чувствует, что до него никто не населял шар земной, и что он — Адам, что есть только он и Бог. И если приходит это чувство, нужно отбросить нерешительность и делать, а если нет — то не делать, будь за тебя все возможные традиции или, наоборот, новаторства.

Почему архиепископ Варлаам был так настроен против него? Даже тогда, когда он отдал Георгию под опеку Сергия после очередных безобразий последнего, владыка так не гневался на духовного отца заблудшего иеромонаха — хотя имел больше оснований. Может статься, Варлаам был болен — в последний год он выглядел неважно — или его раздражение накопилось от какой-то посторонней причины, а может, создать у владыки неблагоприятное впечатление по просьбе своего брата постарался епархиальный секретарь Мищенко? Все это могло быть.

«Лучше бы владыкой был отец Киприан, а не ты», — невольно подумал о своем архиерее отец Георгий и тут же начал по привычке вразумлять себя. Не Варлаам ли призвал его к священническому престолу? Разве не Варлаам сделал его избранным, превратил, по святоотеческим словам, жизнь в служение, а быт — в бытие?

Может быть, причиной отношения владыки к Георгию отчасти и есть Киприан? Может, они с Варлаамом знакомы и относятся друг к другу не лучшим образом? Почему-то Георгий был уверен, что при встрече эти двое монашествующих иерархов не понравились бы друг другу. Варлаам в своей мирской жизни, как слышал Георгий, тоже был научным сотрудником, гуманитарием — но на кафедре местного, обла-

стного института. И манеры архиерея на состоявшейся между ним и Георгием встрече напомнили последнему манеры отца Киприана — но какие-то скомканные, бледные и чуть ли не пародийные.

И возможно, что Варлааму донесли — Киприан тоже принимает участие в восстановлении церкви? Тут отец Георгий остановил себя в совершеннейшем негодовании: ведь подобными рассуждениями он не только дерзает обвинять предстоятеля церкви, но идет уже прямо против логики! Ведь сам он, Георгий, не дитя, а Варлаам не мамка, которая указывает своему ребенку — с кем водить компанию, а с кем нет. Киприан тут совершенно ни при чем!

Он-то ни при чем — но отцу Георгию от этого не легче. После тяжелого сна в гостинице священник отправился в город, на условленное место встречи с сыном, однако тот умолил отца дать ему еще часа три на какие-то очень важные дела. Это время Георгий бесцельно гулял по городу, и лишь однажды его мысли оживились — когда он случайно оказался возле храма и услышал сквозь приоткрытую дверь звуки литургии.

Настоятеля собора Георгий вчера видел мельком, но лично знаком не был. Тот тоже не узнал винегорского иерея, по крайней мере никак не выделил его взглядом из массы молящихся. Снаружи церковь производила впечатление старой и почтенной, разве что чересчур обшарпанной — но тем неприятнее было попасть внутрь и увидеть стены без росписи, убогое подобие иконостаса из какого-то гипсообразного материала да десяток дурных картонных иконок.

Тем не менее Георгий понял, что не уйдет отсюда, пока не достоит до конца. Он привычно повторял слова литургии про себя, словно служил сам. Когда-то, в первые годы священства, отец Георгий отправился с семьей отдохнуть на юг, в Крым. Он помнил, как зашел в храм в обычный одежде и ничем не выдал своего сана, но мгновенно появился перед ним с улыбкой местный батюшка, проводил в алтарь, предложил сослужить с собой — а потом пригласил в дом, врезанный прямо в склон горы, и его матушка кормила северного гостя какими-то чудесным образом приготовленными мягкими грецкими орехами и поила вином домашней выделки. А еще через день группа веселой молодежи, увидев рядом с пляжем отца Георгия, одетого уж вовсе не по-иерейски, в шорты и майку, задорно крикнула: «ей, поп, на кого приход оставил?». И как приятно было тогда даже в подобных шутливых словах слышать признание собственной избранности, принадлежности к великому братству — и как мало осталось этого чувства сейчас.

Отец Георгий встрепенулся, отвлекся от мыслей. На амвон взошел мальчик лет восьми и стал читать Евангелие. Голос у мальчика был просто поразительно сильный, но какой-то злой. Он чеканил слова Святого Писания, заполнял ими беленые просторы храма — и отец

Георгий увидел, как из-под стихаря выглядывает воротник цвета хаки. Бросив взгляд в сторону гипсового иконостаса, он увидел, как там истово бьет поклоны юноша лет четырнадцати, и тоже в пятнистой форме. А на клиросе стояли трое детей, еще меньших, чем чтец Евангелия, и их тоже обволакивал цвет хаки, а над стрижеными головами торчали большие уши, делающие похожими детские головы на обезьяньи.

Наверное, местный настоятель, выражением лица похожий на отца Павла, заключил договор с военным училищем, и вот воспитанников-кадетов стали отправлять на службу в храм — и они стоят, и ни испуга, ни радости нет на детских лицах, как при всякой привычной и долгой армейской работе.

А пономарь тем временем неистовствовал, читая Евангелие, как приговор. В этом маленьком человечке, напоенном чужой или своей силой, бушевала странная музыка, яростный приступ — и мир подчинялся, в испуге жался к стенам храма, и отец Георгий, который столько мечтал об этом отступлении мира, стоял возле самого амвона и не знал, что думать.

Впрочем, неожиданно пришла одна мысль. Георгий столько лет молился «о стране нашей, о властех и воинстве ея» — и прекрасно знал, что Русская церковь всегда одобряла воинский дух, а в годы вражеских нашествий первая подавала голос к защите отечества и его святынь. Но ведь сам Христос, этот главный и в сущности единственный идеал православного человека, странствуя по земле иудейской, нигде не призывал к борьбе с иноземными поработителями, хотя Израиль и был покорен римлянами. И в знаменитой фразе «кесарю кесарево» имелся в виду именно римский император, глава чуждого иудеям народа и государства. Оккупант.

Еще позавчера отец Георгий спорил с сыном, не желающим идти в армию осенним призывом, как выходило ему по годам, — и с некоторой досадой встречал разговоры Дарьи о том, что мальчика необходимо от службы освободить любыми путями. Тогда в ответ он пробормотал что-то вроде эпиграфа к «Капитанской дочке» и ушел, раздраженный, к себе в кабинет. Ведь сам Ярмилов служил когда-то, и именно тогда увидел остатки подземной церкви Вавилова Дола. А что он увидит теперь?

Бесконечный путь продолжался. На дороге в Петербург пейзажи стали более унылыми, чаще выплывали серые деревни по бокам трассы да окатывали стекло черным дымом чужие огромные машины. Георгий как будто только сейчас вспомнил о бланке телеграммы, лежащем в кармане, который послужил оправданием его столь дальней отлучки. Вины перед теткой он больше не чувствовал — попытался вспоминать остальных своих родственников, детство, бедную семью с многими ребятишками, оставленную скрывшимся невесть куда отцом. Отчетливо вспоминалось лишь то, как недовольна была его родня, когда

он из члена союза художников превратился в священника. Ведь художнику полагались слава, деньги и льготы, а кто такой поп и не раскулачат ли его завтра снова, было в восьмидесятых годах не очень ясно.

А недавно, как Георгий узнал случайно, какой-то его троюродный племянник тоже решил стать живописцем — и родственники теперь обрушились уже на него, требуя определиться к профессии более денежной. Можно только поразиться, как скоро люди даже в самых отдаленных деревнях проникаются быстро меняющимися велениями времени.

К моменту, когда появились первые дома Петербурга, Георгий пребывал в успокоено-апатичном состоянии. Он думал, как отпоет покойницу и вернется назад.

Но по мере приближения к центру настроение Ярмилова менялось. С тех пор, как Георгий покинул этот город, он бывал здесь несколько раз — и не понимал себя прежнего, не чувствовал ничего из ряда выходящего. И вдруг теперь, когда автомобиль замер в пробке и можно было смотреть на карнизы неправдоподобно черного дома с огромными атлантами, как будто написанного углем, провинциальный священник парадоксальным образом ощутил, что он — дома.

После тридцати лет разлуки Георгий Ярмилов вернулся домой.

Когда-то, очень давно, здесь протекала его жизнь.

Еще не успели отрасти волосы после короткой армейской службы — Георгий равнодушно слушал насмешки более утонченных однокурсников, считавших, что художник непременно должен носить прическу длиннее, чем у обычного человека — а он уже вошел в святая святых, его картины смотрят настоящие знатоки искусства, именами которых небрежно подписаны висящие в высоких светлых залах полотна. Впрочем, через полгода после поступления радость несколько снизилась, а на втором курсе сменилась тревожным ожиданием.

Педагог постоянно хмурился на работы Ярмилова и говорил какие-то скучные, неинтересные вещи. Георгий готов был к жестокой критике, даже злой насмешке, но он не понимал этих бесконечных придирок к технике и особенно того, почему внимание мастера сосредотачивалось всегда именно на мелких недочетах картин, совершенно не касаясь общего замысла, словно цель художника — только положить на полотно определенное количество мазков, а не создать композицию.

Особенно обидно было слышать такое мнение о картине, которую Ярмилов написал летом, в промежутке между двумя курсами. Тогда, несмотря на отчаянное безденежье и бескормицу, он остался в городе и даже отбросил мысль о подработке, всецело сосредоточившись на поисках сюжета. У него даже мелькнула тогда весьма нелепая, но извинительная в юном возрасте мысль — если я собираюсь писать о ленинградской блокаде, так испытаю на себе какое-то подобие ее.

Но вместо блокады Георгий изобразил обычное ленинградское кафе, где казенные столы несли на себе пластмассовые стаканчики, а салфетки походили на обрывки туалетной бумаги. Центр полотна занимали двое посетителей, сидевших за единственным приличным столом, покрытом подобием красной бархатной скатерти. Перед ними на этой скатерти стояла шахматная доска.

Первый из игроков был огромный мужик лет сорока, человек-гора. У него была рыжая борода и глаза почти такого же цвета. Второй, который находился в полутьме, был одет в серое сутулое пальто, старомодное уже по тем временам, — над поднятым воротником торчали серые спутавшиеся волосы, плечи выдавались вперед, глаза горели, а подбородок окаймляла совершенно идиотская бороденка, тем более нелепая на лице юноши двадцати с небольшим лет.

Человек-гора подносил к губам рюмку, казавшуюся в его руках наперстком, и было ясно, что он выпьет ее мельком, не заметив. Второй тоже держал рюмку — но как-то странно, перевернув ее, и тут можно было заметить, что на доске уже стояло несколько перевернутых рюмок, что они заменяли играющим шахматные фигуры. С одной стороны от доски несколько чарок уже валялись на боку, перекатывались — это были съеденные фигуры; с другой стояли бодрым строем неповрежденные, еще не введенные в атаку посредством водочного окропления.

И саму ситуацию, и людей Ярмилов извлек из глубин собственного воображения — он никого не просил позировать. Однако преподаватель обрушился на внешние обстоятельства картины — обозвал ее разнузданной пропагандой алкоголизма, да и в художественном отношении погоней за грубыми эффектами, и потом долго и скрупулезно, не жалея, как подлинный педагог, сил своих, находил мелкие неточности техники.

Георгий неожиданно вспылил и молча ушел, не дослушав мастера и оставив свое полотно в студии.

На следующий день он еще перед занятиями увидел, как учитель издалека указывает на него своим большим красным пальцем какому-то старику невысокого роста, с желтыми глазами. «Ругает за непочтительность и неуспеваемость, может быть, сейчас вызовут в деканат и отчислят», — почти без эмоций подумал Георгий. Старик действительно подошел к студенту, и Ярмилов увидел, что тот не так уж стар — слишком мал и легок, как мальчик, и профиль с римским прямым носом странно сочетался с густыми, но рваными седыми бровями.

— Вы — Ярмилов? — властным официальным тоном спросил он, как будто подтверждая опасения Георгия.

— Я.

— А «Игру» вы написали?

— Я.

— Пойдемте.

Вдвоем они вошли в мастерскую, где не было больше никого и стояла картина Георгия. Странный старик посмотрел на нее и сказал:

— Ваш преподаватель — полный осел.

Юношу очень поразило столь откровенное неуважение к признанному мэтру — к тому же старик нарушил вечный принцип армейской и любой другой иерархии: при солдате ругал его офицера. Георгий еще привык представлять мир людей искусства свободным союзом, насыщенным помимо прочего глубоким уважением друг к другу.

— Меня зовут Глушков, Иван Алексеевич. Хотите у меня учиться? Я вам мигом это устрою...

Глушков был не очень сильно известен в официальном мире, зато имел другую славу — немного подпольную, диссидентскую. Впрочем, сам он относился снисходительно к любой политике.

На сборищах, куда почитали за честь попасть иные номенклатурные сынки, поигрывающие в модное и запретное, Георгия больше всего привлекало то, что долго не нужно было идти в общагу, что можно было впитывать уют дома — хотя вообще-то хозяина называли анахоретом, а дамы шутливо ругали его «берлогу», как они сами говорили, за неопрятность. Но можно было пить кофе в неограниченном количестве, и месяцами этот кофе был почти единственной пищей студента Ярмилова.

Глушков поразительно мало занимался с ним собственно живописной техникой.

— Читай учебники, ходи на занятия. Научить рисовать и обезьяну можно, а вот думать — вряд ли, хотя есть данные...

И Глушков начинал говорить о новейших экспериментах над мартышками в каком-то калифорнийском университете. Он совершенно не любил держаться в разговоре одной темы, и зацепившись за какое-нибудь случайное слово, уходил к нему, на какую бы тему это слово ни было — от микробиологии и ядерной физики до истории южных сарматов. Иван Алексеевич был не просто эрудитом, который держит под спудом сундуки со знаниями и чахнет над ними, — он был энциклопедистом, он был из породы людей универсальных.

Потихоньку он открывал Георгию мир, закрытый официальной пропагандой: потихоньку не только для того, чтобы не шокировать своего ученика, но и чтобы не вогнать его в другую крайность — в отрицание всего того, что сохранилось и приумножилось благого в современной России.

Например, о сталинских репрессиях Глушков говорил так:

— Бывают в истории времена, когда всякая необычность служит предметом государственного преследования и экзальтированного общественного порицания. Почему так случается? Кивают на общественный строй, но если разобраться, он тут, в сущности, ни при чем. Во времена святой инквизиции средневековые города пользовались доволь-

но широкими правами самоуправления, но это не помешало кострам гореть на их площадях. Есть возможность полагать, что в обществе всегда есть некоторый процент людей, принципиально отличных от большинства... даже не процент, а промилле, тысячная доля. Когда их количество вдруг резко повышается — а это редко, но бывает, — включается инстинкт самосохранения этого общества, и большинство начинает их поголовное избиение. А поскольку в Серебряный век, а потом и в первые годы после революции таких людей было слишком много, мы получили тридцать седьмой год. Сейчас все относительно успокоилось — потому что все стали тошнотворно нормальными. А дальше, наверное, успокоятся и вовсе... Что хмуришься, Георгий? Не нравится моя аполитичность? Или обилие наукообразных терминов? А это я специально с тобой так говорю — с другими так не говорю. А ты слушай, крестьянский сын... привыкай и учись.

И Ярмилов запомнил — даже слишком хорошо, так что многие длинные монологи своего учителя мог бы повторить и теперь, через три десятилетия. А тогда больше всего молодого Георгия поражали с непривычки рассказы о Гражданской войне — Глушков вообще большое значение придавал русской истории и хотел в молодости учиться на истфаке, да не приняли из-за подпорченной анкеты. Иван Алексеевич одинаково восхищался и красными, и белыми, не позволяя создать образ ни лояльного гражданина, ни матерого антисоветчика.

Тогда Георгий и написал с его благословения серию исторических портретов, из которых лучше всего получилось полотно «Патриарх Тихон и уполномоченный НКВД Тучков». Два человека не в штатских одеяниях — один в черной рясе, другой в зеленой форме — беседовали между собой, сидя вполоборота к зрителям. Случайно пробившийся сквозь плотные шторы луч света заиграл и на футуристических жестяных кубиках, заменявших уполномоченному погоны, и на митре патриарха — и оба они с неудовольствием посмотрели на свет, а уполномоченный даже протянул руку, чтобы задернуть занавесь.

Разумеется, зрители обратили внимание только на его недовольство, только его жест. Картина была выставлена в одном полуподпольном салоне и вызвала большой резонанс среди соответствующих людей. Ярмилова даже вызвали в первый и последний раз в жизни в КГБ. Вряд ли бы могущественная организация так уж заинтересовалась его картинами в обычное время, но как раз в те годы в Ленинграде готовился известный судебный процесс против социалистов-христиан.

В Большой Дом Ярмилов явился довольно спокойно — и там его встретили довольно вежливо, беседовали долго и вкрадчиво, словно на приеме у психиатра. Георгий искренне и без всякой неприязни, но довольно отвлеченно отвечал на их вопросы — потому что сам смотрел, как ложится на пол свет из окна, какое лицо у чекиста и обстановка

кабинета. Он бы мог теперь кое-что переделать в своем Патриархе Тихоне, в своем полотне, и невольно жалел, что не попадал сюда раньше.

Прямые и честные ответы Георгия, видимо, понравились следователю — тот даже извинился за то, что потревожил этим вызовом. «Не все такие цельные и настоящие, как вы, знаете ли, — сказал он, — в богемной среде есть много людей двуличных... с ними мы и боремся, а не с подлинными художниками». Да, в те годы Георгию умопомрачительно везло — даже следователи делали комплименты его дарованию.

Подобралась и невеста — такая, какой положено быть невесте начинающего преуспевать провинциального художника: барышня из очень приличной семьи, с милыми рассеянными привычками, дочь известного искусствоведа. Будущие супруги гуляли, обнявшись, возле Летнего сада, и немного осталось до ленинградской прописки, отдельной мастерской и почетного членства в союзе художников.

Однако где-то в глубине души манеры кандидатки в супруги вызывали слишком сильное отторжение, и на своей персональной выставке Георгий среди прочих представил картину под названием «Невеста провинциала». Полуобнаженная женщина, в которой несложно было признать реальную невесту Ярмилова — хотя черты лица и были изменены, — стояла посереди комнаты, капризно и карикатурно надув губки, а мужчина сидел, сгорбившись, на заднем плане, на разобранной постели, и видна была только его маленькая фигурка. Над всем этим царствовал свет, вырывающийся из большого, причудливого окна, полукруглого сверху, — и виднелся кусок соседнего угольно-черного дома в стиле модерн.

На стене комнаты висел портрет какого-то человека эпохи Ломоносова, с завитым париком, — однако если вглядываться, можно было заметить, что профиль на портрете слишком уж похож на профиль отца-искусствоведа.

Картиной этой, вроде и не содержавшей ничего обидного — некоторая вольность наряда вряд ли могла быть дурно истолкована девушкой, с детства преклонявшейся перед античной культурой и уж явно лишенной дремучего целомудрия простонародья, — Ярмилов расстроил свою личную жизнь. А вскоре неожиданно умер Глушков — и начавший было входить в моду художник канул обратно в безвестность. Сам Ярмилов не имел и не завел самостоятельных связей, а с незнакомыми официальными или, наоборот, рафинированно-диссидентскими деятелями не умел находить общего языка — а если и пытался заводить разговор, то неприятно становилось обоим, как петуху и лисе, посаженным в одну клетку остолопом-ученым.

По окончании высшего училища Ярмилов даже не противился распределению, забросившему его в тот областной центр, где ныне находилось его епархиальное начальство, — а ведь хотя бы на это оставшихся после Глушкова знакомств могло хватить. И только попав в

Винегорск лет в тридцать, он вступил в пресловутый союз художников и получил большую и единственную в городе мастерскую напротив краеведческого музея, то есть Спасского собора.

Приехав наконец в дом умершей родственницы, отец Георгий узнал, что уже договорились об отпевании в местной церкви, и не стал возражать. И тут же выяснилось, что по завещанию покойной комната в небольшой коммуналке возле Обводного канала теперь принадлежит ему, Ярмилову.

Георгий равнодушно вдыхал запах смерти и осматривал неуютную и бедную обстановку своей комнаты. Единственным светлым пятном здесь был белый полуразбитый телефонный аппарат, склеенный ядовито-синей изолентой, — и тот не работал, поскольку в последние месяцы у тетки не было ни сил, ни средств идти платить.

Теперь включить его будет, пожалуй, трудно — в бумагах начнется чехарда, связанная со вступлением в силу завещания и переоформлением документов. Что ж, тем замечательней.

Однако равнодушие вызывала бедность комнаты, а не она сама. Отправляясь в Петербург, Георгий догадывался, что может оказаться наследником, и еще в Винегорске решил продать комнату — чтобы из полученных денег часть отдать Дарье, которая мечтала отселиться от непутевых детей и жить в деревне, вернувшись к своему детству, а остальное потратить на строительство подземной церкви.

Но никому об этом плане он не сказал, потому что не был уверен, что комната достанется именно ему, — а говорить другим о своих надеждах не привык. И теперь эта молчаливость сослужила ему хорошую службу.

Потому что новая идея все больше заполняла его существо. Потому что вырисовывался новый путь, вернее, новый крутой поворот на небольшом оставшемся отрезке жизненной дороги.

Отец Георгий снова станет просто Георгием. Он оставит священство и вернется к живописи — и к Петербургу.

Однако Церковь он не оставит. В душе он будет продолжать считать себя иереем, служителем христианства. Отец Георгий был плохим священником и не мог поддержать Бога в те краткие моменты, когда Он на мгновения просветлял души людей, как просветлил Александру. Художник Ярмилов вспоминал ее серые требовательные глаза — и волосы, мягкие, словно у ребенка, наивно выспрашивающего у взрослого, как выглядят Бог и ангелы.

Георгий сам себя отведет за штат, ибо просить у владыки снятия с себя сана немыслимо, а исполнять дальше чужую роль, хуля этим Бога, невозможно. Может быть, Ярмилов догадался бы поступить так и раньше, но только сейчас он понял, как при том избежать соблазна и дьявольской путаницы.

Скоро — смерть, в этом Георгий не сомневался. Уже под звуки резкого кадетского голоса остывало сердце, судорожно пытаясь доработать последнее. Инфаркт близится — сомневаться в этом не приходилось. Но, возможно, Бог даст рабу своему Георгию еще немного времени.

Он будет писать ангелов и пророков — не иконы, а живописные полотна — но не будет ставить под ними свою подпись. Авторство — вот свидетельство гордыни, свидетельство сатаны. Отказываясь от подписи, художник уничтожит пошлость самого слова «искусство» и оставляет только самое высшее его значение. И никогда — ни при недолгой жизни, ни после смерти — никто не вспомнит безыменного иерея. И то любо!

Сложно только будет устроить, чтобы коллекцию картин передали церкви таким образом, чтобы, с одной стороны, они не были потеряны, а с другой — авторство Ярмилова на выплыло на свет Божий.

Если передать их Киприану и подобным ему, можно не опасаться первого — зато возникает опасность второго. Хотя понял же Киприан Савватия, понял и не стал мешать — так что скорее всего стоит довериться настоятелю.

Можно ли будет написать святого мученика Трифона с лицом отца Сергия? Ведь Трифону было еще меньше лет, чем Сергию, и был ли святой сильным человеком в обыденной жизни, когда не касалось его пламя веры, неизвестно.

Отцу Георгию казалось, что можно.

А вот с Олимпиады Григорьевны написать кого-нибудь нужно обязательно. Тут даже нимб не нужно дорисовывать — ее волосы и так светятся.

Сколько ангелов и архангелов напишет он, сколько святых — и даже лицо отца Павла подойдет кому-нибудь из них, ибо святые так же многообразны, как грешники.

А если Бог не даст сил? Что ж, тем лучше, тем блаженнее — значит, Он посчитает силу образов, созданных в душе отца Георгия, сильнее и достаточней образов на холсте.

А что есть Бог? Тетка, которая написала отцу Георгию письмо и отправила телеграмму о смерти, немного побыла у одра своей сестры, испугавшись нового настроения бывшего священника и исчезла, уехала. Теперь можно было спокойно быть в комнате одному — или ходить по городу — и думать.

Кто такой Бог? Ходить было тяжело, как будто сердце все сжималось и сжималось, а с ним уменьшался и сам Георгий, все больше чувствуя огромность Божьего мира. Но он видел Смольный собор, сахарный и снежный, разноцветные и грязные шатры на Сенной, маскирующиеся под торговые ларьки, чумазых нищенских детей, большую черную собаку во дворе Васильевского острова, сидящую на цепи возле

большой конуры — как будто ее хозяин упрямо не желал признавать, что живет в огромном городе, а не в деревне, и для охраны этого своего убеждения и завел свирепую видом собаку, впрочем, весьма смиренную; видел парадные достопримечательности, спрятанные в леса, молодежь возле Двенадцати Коллегий, связанную с каким-то неведомым собственным центром антеннами маленьких сотовых телефонов, видел большие суда в Морском Канале у Гутуевского острова, корабли с какими-то огромными исследовательскими шарами на палубе, как будто северный город решил вернуть южной птице рух ее огромные яйца и привезти их на ее дальний остров, видел колокольню Никольского собора, тонкую, как шприц наркомана-морфиниста, видел пьяных и трезвых, туристов и местных, знал, что где-то живут художники, даже имелись их адреса, написанные ручкой многие годы назад и уже поплывшие, но различимые — и можно было зайти, и его напоили бы петербургским чаем в фарфоровых чашках и на белой скатерти, или дипломатично сказали бы заходить позже.

Бог — во всем необычном, вернее, он сам и есть это необычное. Наверное, он создал мир, в котором не было многого из того, что есть сегодня, даже большей части — но преумножились копиисты и откровенные плагиаторы, исказив Его творения. Бомж на Сенной, поющий непонятные песни, трава, пробившая асфальт, Смольный собор, монах Савватий, укравший и не укравший колокол, поющая на клиросе Олимпиада Григорьевна, Александра, варившая ненавистную уху и стоявшая в храме, — это Бог. Петербург, основанный вопреки всякой логике в мелководном и неудобном заливе, который морем-то назвать сложно, имевший каналы вместо нормальных улиц, и сама Россия, забравшаяся зачем-то в такие холода, где человек не может существовать, — это Бог.

И если, как говорил когда-то Глушков, люди начинают бить Бога, когда Его становится слишком много, — может статься, не стоит их так уж и винить, потому что чересчур благодати быть не должно, потому что многое перестает являться Богом.

Нужно благодарственно молиться, что нам выпала именно такая полоса, когда Бога так мало, и случайный прохожий не осквернит Его, поскольку не заметит.

Ярмилов успел начать только свою первую картину, положить краску лишь на половину холста. В пустой коммуналке еще несколько дней не было больше никого — а когда вернувшаяся с дачи соседка по запаху вызвала милицию и вместе с ней открыла дверь, отец Георгий лежал на полу, а рука его все-таки предательски тянулась к телефону, но не дотягивалась. Да и телефон был отключен.

Москва — Калуга, 2003 г.

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

* * *

И лед на полыхающем виске,
и пламень за картонною стеною...
И если все висит на волоске —
не мучь меня, но сжалься надо мною.

И камень, что летит наискосок,
и пламень, обрывающий молитву...
И Тот, Кто держит тонкий волосок,
другой рукой уже заносит бритву.

* * *

Памяти Н. И. Б.

В своем углу ты всем бывала рада,
во всех мужчин была ты влюблена.
Тебе таскал я плитки шоколада
и наливал дешевого вина.

Ты лучшие куски недоедала,
настырного закармливая пса,
капризничала, ныла и рыдала,
ложилась в три, вставала в два часа,

придумывала разные предлоги,
чтобы гостей привлечь вернее в дом,
полупарализованные ноги
передвигала с болью и трудом.

Прости меня за то, что обещанья
не смог исполнить, и в холодный лоб
не целовал тебя я на прощанье,
и горсть земли на твой не бросил гроб.

Игорь МЕЛАМЕД — родился в 1961 году во Львове. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи и статьи публиковались в «Континенте», «Новом мире», «Октябре», «Юности» и др. Автор книг «Бессонница» и «В черном раю». Живет в Москве.

Быть может, там и вправду жизнь вторая
и брызжет свет из-под могильных роз,
и для тебя раскрыты двери рая, —
я ничего не вижу из-за слез.

* * *

Ласточки твои пропали,
Афанасий Фет.

Бабочек, что здесь летали,
и в помине нет.
Похоронена в сугробе
песня ямщика.
И истлела в темном гробе
нежная щека.

С корнем выдернуты розы,
вытоптан лужок.
Остаются лишь морозы.
Холодно, дружок.

* * *

Если б разбился этот сосуд скудельный,
трещину давший, — где бы, душа, была ты?
Как в скорлупе, здесь каждый живет отдельной
болью своею в белом аду палаты.

Нет ничего на свете печальней тела.
Нет ничего божественней и блаженней
боли, дошедшей до своего предела,
этих ее снотворных изнеможений.

Черным деревьям в окнах тебя не жалко,
где отчужденно, точно в иной отчизне,
падает снег. И глухо гремит каталка.
И коридор больничный длиннее жизни.

* * *

Полутемная больница.
Медсестер пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
Инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.

Кружит девушка в коляске.
Ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
все бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.

Слез непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. Но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.

Нет надежды ниоткуда.
Тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
этот верует покуда,
что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.

Боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем, разбитым смертной травмой,
дай удел посмертный равный —
посели в Своем раю.

Исцеляющим составом
проведи по их суставам.
Не подвергни их суду.
Всем им, правым и неправым,
босиком по вечным травам
дай гулять в Твоем саду.

* * *

Над увядшим вертоградом
веет холодом, распадом,
яростною тьмой.
Отчего ж, не тронут адом,
чей-то слабый голос рядом
шепчет: «Боже мой!»?

Бесы кружат с новой силой,
дразнят черною могилой.
Как тебя спасти?
Отчего же голос милый
шепчет: «Господи, помилуй!
Господи, прости!»?

* * *

В ненадежных и временных гнездах
и тела обитают, и души.
Но Спаситель приходит, как воздух,
посреди мирового удушья.

Посреди мирового мороза,
в безысходных глубинах страданья,
раскрывается сердце, как роза,
от Его дорогого дыханья.

Все оплачено было сторицей
и искуплено страшною кровью,
чтобы ты бесприютною птицей
возвратился под вечную кровлю.

* * *

Все то же безумье в больничной палате,
все та же кошмарная ночь.
Распятый за нас при Понтийском Пилате
мне только и может помочь.

Душа моя смертною скорбью объята
и пламенем Судного дня.
Но сладко мне знать, что во время Пилата
Ты также распят за меня.

И сладко мне плакать в ночи покаянной
о том, что Ты все искупил
и уксус из чаши моей окаянной
устами пречистыми пил.

* * *

А. Р.

Храни, моя радость, до худших времен
ноябрьских рассветов свинцовую стынь,
сырые шелка побежденных знамен,
шершавую стужу больничных простынь,

прощальных объятий невольный озноб
и дрожь поездов, уходящих навек...
Возьми же, покуда не хлынул потоп,
и эту мольбу мою в черный ковчег —

сигнал к отправленью, отплытия знак,
глухую прелюдию небытия,
легчайший, едва ощутимый сквозняк
последнего холода, радость моя.

* * *

Светает. Сна не в силах досмотреть,
на простыне больничной холодея,
Тебя невольно спрашиваю: где я
и я ли это, Господи?.. Ответь,

зачем так жалок пасмурный рассвет,
зачем Твой свет так страшен? Для того ли,
чтоб я вернулся, плачущий от боли,
в рыбачьей лодке на Геннисарет?

Зачем Тебе улов ничтожный мой?
Не мучь меня, но вызволи из ада.
Мне больше ничего уже не надо —
я так устал бороться с этой тьмой.

Но все ж светает, смерти вопреки.
На том рассвете, на Геннисарете,

забрасывать заштопанные сети
меня Твои научат рыбаки.

Я нищ и наг. Ни мудрствовать, ни петь,
ни царствовать я больше не умею.
Но если я увижу Галилею, —
спасибо, что не дал мне умереть.

ЧЕЛОВЕК ИЗ РАЯ

история одного сватовства

Ну и хибара! Нормальный гражданин цивилизации, привыкший к «осязаемым», теплым словам «гостиная», «ванная», «спальня», на такую хибару без слез, без содрогания и смотреть не сможет. Я провел в ней три года, но так и не вжился в ее тесноту, ветхость, плесневелость, продуваемость, крысивость... Послевоенные южно-курильские строители, возводившие такие хибары-бараки, были простыми мужиками, они имели смутное представление об изысках архитектуры, важна им была только вместимость: дом на шесть семей, на восемь, на десять... Клетушки два с половиной на три, с печью-голландкой посреди, с потолками высотой в одном углу — метр восемьдесят, в другом — метр девяносто, с окошечком на уровне живота, с метровым чуланчиком, саркастически обзываемым кухней, с дверью из этого чуланчика сразу на двор, с океаном во дворе, с северо-восточными тайфунами в океане, с зимними буранами, с землетрясениями, цунами... Жизнь — без цивилизаторского ханжества, вполне временная, какая она и есть на самом деле, во временной котомочной стране...

Уже не перечесть, скольких жильцов пропустила через себя наша хибара, этих своих нахлебников, приемышей, истязателей, каждый из которых норовил что-то в ней разломать, переделать, сгородить, пристроить, так что хибара обросла кособокими верандочками, конурами, курятниками, ящиками, обретя в итоге совершенно непоправимую, окончательную уродливость... Толпы жильцов укатили каждый в свое будущее, и живем-доживаем теперь в бараке мы — горсть бичей, да тех, кого зовут перекати-полем, да пара совсем уж туманных личностей, которых и бичами не назовешь (отщепенцы даже общества бичей, имена которых мало кому известны и, может быть, забываемы даже своими обладателями). Стал барак чем-то вроде бесхозного общежития. Единственная нить жизни, соединяющая его с цивилизацией, — электрический провод с напряжением в сто семьдесят вольт (остальное теряется по пути).

Александр КУЗНЕЦОВ-ТУЛЯНИН — родился в 1963 году в Туле. Окончил факультет журналистики МГУ. Работает в редакции газеты «Тульские известия». Повести и рассказы печатались в «Октябре», «Знамени» и других журналах. Постоянный автор «Континента». Живет в Туле.

Мои три года житья в бараке — мелочь, вот сосед живет в комнате за стеной больше двадцати лет. И оттого, что собственный рост его достигает метра девяноста, распрямиться у себя дома он может только в одном углу. Он так и живет, когда бывает дома, вприсядку-впригибку, обмахивая могучей шевелюрой потолок, хотя характер имеет, конечно, вовсе несгибаемый.

Комната соседа насквозь прокурена. Он каждое утро начинает с того, что садится на глубоко провалившейся железной кровати, пережившей колхозно-казенные времена, спускает длинные мосластые ноги на грязный пол и задумчиво закуривает крепкую сигарету. Затягиваясь, щурясь от дыма, надевает поношенное темно-синее спортивное трико с желтыми лампасами и перемещается к табурету, опять садится — резкий подъем в его положении просто опасен. Потом, согнувшись, почесывая широченной пятерней черноволосую грудь, выбирается на улицу и здесь тоже садится — теперь на порожек у своего входа, рефлекс силен. Дешевую вонючую сигарету он держит указательным и большим пальцем, развернув огоньком к внутренней стороне ладони — привычка людей много времени проводящих на ветру, в дождь. Он глубоко затягивается, прикрывает глаза, и ему, наверное, абсолютно все равно в эти минуты, есть рядом люди, смотрит ли кто на него или даже спрашивают ли о чем, он никого и ничего не замечает, он плюет на все мироздание.

Он медленно приходит в себя, с опаской поднимается, расправляет плечи и направляется к колодцу, набирает полное ведро, ставит наземь и, низко склонившись, черпая воду пригоршнями прямо из ведра, умывается, обливая себе плечи, грудь, загривок. Он кряхтит и рычит, как голодный медведь. Голова его мохната, и, кажется, что необыкновенная его шевелюра — предмет гордости хозяина — смолянистая, не поддающаяся расческе, каждый волосок в которой — мелко закрученная металлическая спираль — шевелюра могла перекочевать в Россию только из эфиопских саванн. Какого его предка занесло на наши ледяные просторы?

Сосед, по курильским меркам, малопьющий, можно сказать, что почти не пьющий. Единственная алкогольная мелочь, которую он себе позволяет — это субботняя бутылка спирта после бани. «Да ну ее, — оправдывает он свое равнодушие к спиртному. — Я от нее только сплю.» Но после бани он все-таки обстоятельно раскладывает на столе закуску — в основном, всевозможные консервы. Может пригласить по-соседски меня. Иногда я захожу и выпиваю с ним за компанию стопку-другую неразведенного девяностошестиградусного спирта: мне хватает, я пасую. И он совершенно спокойно пожимает плечами, говорит: «Хозяин — барин». И тогда стопка за стопкой, хорошо закусывая, он выпивает всю бутылку. И я остаюсь доволен моим соседом — за то, что

в нем отсутствует свойственная островитянам навязчивая, докучливая щедрость и не имеющее границ пьяное панибратство.

А он степенно рассказывает, и я вижу благодарность на его раскрасневшемся широком костистом лице, если я внимательно слушаю какую-нибудь историю из его жизни в лесу, где он только и становится самим собой. Если же он замечает, что я рассеян, то не обижается и все равно рассказывает. При этом он может прилечь на свою короткую кровать — ноги его высовываются за спинку чудовищными мослами. Он продолжает говорить — все медленнее, часто замолкая, забывая, на чем остановился, да так незаметно и засыпает. Шевелюра его накрывает маленькую подушку, лицо успокаивается — на нем отражается обстоятельная законченная философия, по которой выходит, что центральное место во вселенной — это маленькая охотничья полуземлянка в одном из кунаширских распадков, нисходящих глубокими темными морщинами по вулканическому склону. Мне же, так и не дослушав, чем закончилось очередное удачное медвежье убийство, приходится убираться восвояси.

Артем Кистин, так зовут моего соседа, принадлежит к тому типу людей, которых в народе называют лосями. Об этом высоком жилистом человеке нельзя сказать, что в нем скрыта большая сила. Она вовсе не скрыта, она неприкрыто прет из него при каждом движении. Однажды я видел, как он пальцами давил грецкие орехи. И лицо его при этом ничего не выражало, да и что может выражать лицо человека, который просто ест орехи. Наверное, поэтому никто из числа наших беспокойных соседей не докучает остальным. В нашем бараке почти не бывает диких пьянок с боем грязных оконных стекол и красных опухших физиономий. Все эти спившиеся Лёньки и Жоры, затасканные Верки и Зинули откровенно побаиваются Кистина, в общем-то одного из самых добродушных людей в поселке. Когда же у пропитушной четы Булыгиных все-таки поднимается скандал и за стеной раздается душераздирающий визг и бессвязная матерщина, Артем выходит на улицу и, открыв дверь в комнату супругов, не входя, с порога говорит — совсем не зло, а таким голосом, словно пытается дозваться до человека в отдалении:

— Дай тишины, говорю! Залезь под подушку и там балагань.

И что удивительно, скандал послушно перемещается в какие-то глухие закуты и постепенно совсем затухает. За минувшие годы я не припомню случая, чтобы кто-то стал возражать ему. Для большинства он личность темная, с неясным полууголовным прошлым, да к тому же — охотник, медвежатник, причем одиночка, не терпящий напарников. Что же может быть в голове у человека, который не боится со старым незарегистрированным ТОЗом двенадцатого калибра один на один ходить на хозяина курильских джунглей?

На Курилах Артем жил как придется. Были времена обязательного колхозничества, и он послушно трудился каждую путину на прибрежном лове лососей. Когда колхоз развалился и рыбалка сократилась, перебивался грузчиком на пирсе, а то и вовсе ничего не зарабатывал, жил на подножном корму: ел рыбу, креветки, дичь. Потом стал каждое лето работать в сезонной бригадке из трех человек на добыче креветки (не из-за денег, конечно, а скорее только в силу привычки трудиться), а с осени — охотился, по местным традициям особо не вникая, где кончается охота и начинается браконьерство, — бил нерпу на лежбищах, ставил капканы на лису. Если же попадался соболь — брал соболя, подворачивался медвежий след (кунаширский медведь не ложится в спячку) — вставал на тропу, устраивал засидку, валил по возможности и медведя — за качественную шкуру контрабандист-перекупщик по кличке Нагассаки (так уж звали перекупщика, затягивая серединную «с») платил ему до двухсот долларов. А спроси Артема, зачем ему деньги, он и ответить не смог бы. Все свои заработки он распихивал по жилью: сунет в стол, под подушку, а то и в карман старой потрепанной телогрейки на гвозде у двери. Сколько раз его обворовывали, он и сам не знает. «Вот помню, — может посетовать он, — сдали японцам креветку, я пятьсот «зеленых» получил. А где они, не найду...»

Он засыпает, не окончив рассказа, я возвращаюсь к себе и почему-то пытаюсь вообразить чужой (его) сон, наверное полный тех странных и страшных охотничьих событий, на которые вполне добровольно обрекает себя человек. Мне трудно представить поведение охотника, я никогда не прикасался и, надеюсь, что не прикоснусь к оружию для убийства невинного зверя, но, как ни странно, я завидую — иначе я и не могу назвать это чувство — нет, не смелости, а, если быть откровенным, — жесткости и даже жестокости тех, кто способен всадить пулю в голову животного. И вот я воображаю себе, как бы сам я повел себя на месте этого человека.

После многочасовых блужданий по следу он спускается по распадку к шумному океанскому побережью и случайно выходит вовсе не на медведя-самца, которого скрадывал, а на молодую медведицу с пестуном. И только задним умом успевает сообразить, что старый медведь и шел к этой самке, на ее запах, на молчаливый неодолимый зов.

— Если бы она не поперла на меня, то я отпустил бы ее...

И сначала все замирают, все трое, человек и два зверя. Медвежонок растерянно присел в высокой почерневшей от заморозков траве и смотрит в сторону человека крохотными ошалевшими глазками. Метров тридцать отделяет охотника от медведицы. И разве угадаешь, что там делается в твердолобой голове, в мозгу, маленьком, как сморщенное яблоко, и какие могут зреть и умещаться там эмоции и образы? И

знает ли сам зверь, что он предпримет в следующую секунду: бросится на человека или попробует уйти, прикрывая собою пестуна?

Человек опережает медведицу (человек всегда опережает), уж ему-то ясно, что им никак не разминуться на узкой звериной тропе, и когда медведица подается вперед, курки уже взведены и приклад вливается в плечо. Цевье и ложе, там, где их держат руки, стали влажными. И вот уже пресеклось дыхание человека. Он много чего увидит и почувствует в эти секунды, почувствует где-то в животе у себя болезненный комок, и услышит, как ухает сердце, что уши закладывает и не слышно больше ничего вокруг — только шум адреналина, увидит, когда медведица уже побежит на него, как ее когти глубоко входят в мягкую почву, увидит даже блестящие капельки воды, срывающиеся с мокрой шерсти — медведица только что ловила кету в реке. И почувствует, что его собственный организм совсем не подчиняется разуму, который сейчас не способен ни одной мысли провернуть в своих жерновах, и организм, отделенный от оцепеневшего разума, все сделает сам: глаза его внимательны и руки, несмотря на сильное волнение, необыкновенно тверды — глаза сами отмеряют расстояние, когда пальцу нужно будет надавить на спусковой крючок. Но человек словно не заметит всех этих мелочей, они всплывут в памяти позже, когда все уже произойдет и охотник, перезарядив левый получоковый ствол ружья, дохнувший ему в лицо гарью, подойдет со спины и, целясь в основание черепа поверженной медведицы, подождет, когда стихнут ее буйные смертные судороги, а потом с опаской попинает ее в спину и только потом снимет и положит на землю рюкзак, сверху пристроит ружье стволами в сторону, и перед тем как начать свежевать тушу, по которой еще минут двадцать будут ходить мелкие затухающие волны мышечных сокращений, расслаблено закурит и, может быть, равнодушно поищет глазами пестуна, но того и след уже простынет. Тогда человек подумает: «Наверное, не выживет без мамки. — И еще мысленно добавит о медведице, но уже не глядя на нее, потому что незачем лишний раз глядеть на смерть: — Дура дурой, сама нарвалась»... Но в душе его все-таки будет вертеться, скакать, прорываться поверх мудрой грусти мальчишеское ликование: «Надо же, с первого выстрела завалил, точно в холку...»

Артем начинает готовиться к охоте почти за две недели. Он извлекает из-под кровати свой арсенал: завернутое в чистую мешковину ружье и три фанерных посылочных ящика, в которых — патроны, гильзы, жестяные банки с порохом и дробью, капсюли, пыжи, выписанные с материка новые пули с пластмассовым оперением...

В комнате может сладковато запахнуть эфиром, когда он вскрывает банку со свежим порохом, или пахнет серой, когда он опробует залежавшиеся капсюли, или лаком, которым он подновляет ружейное ложе.

Рассказы его становятся скуднее, субботняя бутылка отменяется, он погружается в работу. Он отмеряет порох на аптечных весах с тем же усердием, с каким, наверное, средневековый алхимик изготавливал «великий эликсир» для превращения свинца в золото. Если же зайти к Артему в эти дни и присесть на табурет у двери, он, не отвлекаясь от дела, может изречь что-нибудь совершенно непонятное, не поддающееся в моей голове расшифровке:

— «Сунар» требует более точной довески, чем «Сокол». Он мощнее, но непредсказуем. Я недавно достал обтюраторы, а с ними при неудачной довеске разнос в полметра на пятьдесят шагов...

Через несколько дней он уйдет ставить капканы на лису, стрелять из укрытия нерпу на лежбищах. Зима уже посыпала остров белым, а она, как я догадываюсь, насылает болезнь на охотников, своего рода паранойю.

— На приваду в конце сентября прикопал две туши сивучей. По полтонны, — доверительно сообщает он мне. — Затухнуть хорошо должны, ноябрь был теплым...

И его уже ничто не интересует, кроме двух вонючих туш, которые он будет использовать в качестве приманки. И он начинает мне обстоятельно разъяснять, как надо сохранить приваду, чтобы ее не растащили звери. И кажется, что Артем родился со всем этим в голове. Глядя на него, никогда не подумаешь, что прошлое обветренного до багровости простодушного человека содержит нечто такое, что совсем не вяжется с его нынешней грубой и простой сущностью. А ведь весь поселок знает, хотя Артем, кажется, никогда никому не рассказывал, о том, что лет до двадцати пяти был он москвичом, учился в МГУ, а потом и в аспирантуре и, якобы, даже готовил диссертацию. А потом вся его прекрасноразмеренная преуспевающая жизнь прервалась и молодой химик сменил ее на «химию» уголовную, сводившуюся к весьма простым опытам: бери больше, кидай дальше (я усматриваю в решении судьи, присудившем Артему два года «химии», ни что иное, как сарказм, насмешку над химиком). Что послужило причиной такой перемены обстоятельств в жизни Артема: побил он кого-то, или какую-нибудь сволочь назвал сволочью... — было тайной, о которой не принято расспрашивать. Поселку о его уголовном опыте было известно совсем немногое, только то, что «химичил» он на шпалопропиточном заводе.

После «химии» он мотался по стране, о чем охотно рассказывал, а еще года через два осел на Курилах. Какое-то время он продолжал нырять на материк, езживал в отпуска, таскался за юбками, кутил в московских и сочинских кабаках, полностью спуская заработанные за год дальневосточные капиталы. Но видимо, он был уже совсем другим человеком, плохо понимаемым и принимаемым теми, кто знал его раньше. В конце концов двадцать с лишним лет жизни на острове, большую

часть которых Артем провел в лесу и на диких рыболовецких тонях, сделали свое. Но я бы все равно поостерегся предполагать, что Артем растратил свой интеллект. Так сказать о любом человеке, поменявшем, поломавшем, переиначившим жизнь, было бы, наверное, слишком просто и лицемерно. Несомненно лишь то, что он перешел в другое измерение, в другое качество. Острова приняли его, и он вжился в их непростой мир, в котором все оценивается иными мерками, совсем не такими как в большом городе.

Когда в стране настали времена так называемых реформ, он, особо и не кручинясь, окончательно застрял на Кунашире — сначала не стало денег на дорогу, а потом у него и вовсе прошла тяга к перемене мест. Десять лет он жил на Кунашире безвыездно, уже и не поглядывая в ту сторону, где садилось солнце. Для кунаширцев такие погляды наиболее болезненны: Россия от острова прикрыта гористым, похожим на шипованный хвост динозавра отростком Хоккайдо — полуостровом Сиретоко.

Артем не был затворником — встречался с разными дамами местного общества. Последняя была Альбина, существо непритязательное, но выразительное, связи с которым сам Артем страшно стеснялся, прокрадываясь к ней на другой конец поселка редкими нестерпимыми ночами.

Альбина была посудомойкой в столовой рыбозавода. Она изрядно попивала. Когда я подвизался в консервном цеху разнорабочим и ходил обедать в столовую, то мог иногда видеть, как Альбина высовывала из своего окошка синее с похмелья лицо и, сильно заикаясь, громко говорила:

«Ка-а-акая па-а-адла опять ста-а-акан в кашу по-о-оло́жила».

В конце концов дамы, правда, не местные, а московские, сыграли с Артемом злую шутку. К чести их сказать, и сами они о том не ведали, и шутка получилась как бы заочная, нечаянная.

Минувшим летом перед носом Артема вдруг замаячило то, что люди называют птицей счастья (пытаясь, видимо, летучей крылатостью выражения заслонить свои довольно-таки основательные сомнения в действительности счастья). И не просто замаячило, не просто представилась возможность поправить жизнь, — перед Артемом нежданно-негаданно настежь распахнулись двери его, казалось бы, навсегда ускользнувшего прошлого: хочешь — вернись и заживи нормальным человеком. Письмо, которое он получил от родной сестры, так и вещало: повалял дурака и хватит, возвращайся, не за горами полтинник...

Старшая сестра его была женщиной занятой — кроме этого письма, одного за последние два года, Артем каждый год исправно получал еще две поздравительные телеграммы: на Новый год и следом — на

свое деньрождения, 15 января. Понятно, что и сам он в эпистолярном жанре не усердствовал.

Сестра его преуспевала в новой пореформенной жизни, была владелицей парикмахерского салона, ездила по столице в дорогом автомобиле, жила в новой просторной квартире (обо всем этом она тоже, как бы между прочим, сообщала). Но главным в письме было другое, о чем Артем говорил мне с натянутой шутливостью, потрясая сложенными вчетверо листками:

— Посмотри ж ты на Люсьен (сестру звали Людмила), она мне пару нашла, спутницу жизни, даже фотографию прислала... — И он прерывался, чтобы немного (опять же как-то натянуто, неестественно) похохотать. — Без меня меня женили...

Но смех смехом, а на следующий день я видел Артема уже глубоко задумавшимся, а потом и вовсе на него навалилась тоска, всколыхнулось и опрокинулось что-то в человеке. Замкнувшись, напустив бровей на глаза, был он мрачен и тугодумен. Несколько дней блуждал он в неопределенных сферах, но, видимо, поняв, что одному ему не осилить тяжких раздумий, пришел ко мне за советом.

Он сидел на моем табурете словно в повинной позе, согнувшись, спрятав ладони в коленях. А я рассеянно ходил перед ним, заложив руки за спину. Ему неловко было, словно говорил он о чем-то непомерно стыдном, и робкий голос его подрагивал:

— Хорошая знакомая сестры... Ну, в общем ничего женщина... В общем свое небольшое дело... Хата трехкомнатная... Сорок один год, дочка замужем. А в личном плане не везет бабе... И в общем, сестра заочно ей обо мне... И та очень даже не против. Сестра зовет... И зовет настойчиво так, как будто все решено уже. Приезжай и все тут... Фотография есть...

Он сунул мне фотографию в руки. Хорошенькая, чуть полная мордашка с белыми, наверное, обесцвеченными локонами. Но что там за кадром, за локонами, в этой аккуратной головке, определить было невозможно — я не экстрасенс и не физиономист.

Было мне удивительно другое, о чем я не смел сказать Артему: сестра его — по редким намекам — дама прижимистая и строгая. И вдруг письмо опустившемуся братцу, отщепенцу, можно сказать, уголовнику. И такое неординарное предложение... К чему деловой женщине ввязываться в смутную историю? Это настораживало. Или случилось чудо и шевельнулось что-то родственное в богатой пятидесятилетней женщине, которая вдруг почувствовала годы и почувствовала странную щемящую тяжесть на душе? А, может быть, все куда тривиальнее: нужен был ей позарез родственный союз с какой-то там Алисой (или Василисой). Но в любом случае: было ее предложение реальным шансом для Артема подняться с того курильского дна, на котором он, ка-

жется, уже навечно заякорился, вырваться, уехать отсюда, вернуть хотя бы тень, запах прежнего, полнокровного, чем когда-то он жил.

Я понял, что достаточно моего слова, и Артем поступит так, как я и скажу. Ведь бывает в жизни многих людей минута, когда готовы они положиться на мнение даже совсем чужого человека, даже случайного встречного, к которому, будто завороженные, вдруг проникнутся необъяснимым доверием, и сказанное мимоходом слово перевернет (иногда в который уже раз) им всю жизнь, не всегда, правда, в лучшую сторону... Будь я благоразумным, я бы отделался, чтобы не взваливать на себя ответственность, чем-нибудь дежурным, что, мол, в таких делах каждый должен принимать решения сам. Но ведь потянул меня все-таки за язык некий бесенок, обязательно живущий в каждом человеке: как же, меня спрашивают совета, мне доверяются, а я промолчу? Как бы ни так!..

— А что ж, такой вариант — это уже что-то, это тебе не Альбина с грязными тарелками... — И наверное, вид мой был откровенным и сочувствующим, потому что Артем сразу вытянулся мне навстречу, чуть приоткрыв рот.

И в конце концов я разошелся не на шутку:

— Да что там, Артем, такой шанс, что тут думать, бросай все на свете, езжай, садовая твоя голова... Что тебя держит в этой дыре, в этом «мухосранске»? Эта халабуда?! — Я с силой дал пинком в стену, дом вздрогнул. — Эта охота?! Заведешь себе борзую, купишь «ремингтон», или как ты там его называешь... Да будь я на твоем месте... Эх, Артем, Артем... Да что мне тебя учить, посмотри на эту стареющую бичню, которая еще не сдохла от водки. Да лучше бы им было сдохнуть... Да посмотри ты на себя, ты сам такой же бич, что у тебя за будущее?! А здесь такой шанс... Москва, асфальт под ногами, «Опель» под задницей...

Я был зол на него — за его нерешительность, за его раздумья, за его удачу... И у Артема в конце концов не осталось никаких сомнений, не могло остаться: ехать и только ехать. Жениться!

За те несколько дней, которые он потратил на то, чтобы получить деньги в рыболовецкой конторе и выбить у Нагассаки старый должок, он преобразился еще больше. На него навалилась рассеянность, пренебрежительность, он бросил курить «Приму» и перешел на японские с длинным фильтром, с утонченным ароматом, держал сигарету не воровато в кулаке, а в уголке рта, взирая на окружающих сверху вниз, с прищуром, и мало с кем заговаривал. Он уже не был островитянином, туземцем, презренным аборигеном, он был жителем материка, и не просто материка — с т о л и ц ы, московским барином, для которого все остальное внемосковское запределье — дыра дырой, страна навозная. В этой дыре он так — мимоходом; случай ненароком занес его сюда. И будто стал сходить суровый курильский загар с его лица, и обветренный нос перестал шелушиться. Но самые большие перемены произош-

ли с его шевелюрой. Волосы, до того возвышавшиеся на голове невообразимым безобразием, паклей, которой конопатят кунгасы, кущами, в которых если и не водился никто, то лишь по причине непроходимости, — волосы теперь возлежали шаровидно, как вычищенный и подстриженный английским садовником куст, мимо которого должны были пройти гости во время торжественного приема: грубой металлической расческой Артем изрядно проредил прическу, поработал ножничками перед зеркалом, отсекая излишне рьяные спиральки. Прическа, по мнению Артема должна была послужить весомым аргументом (помимо, конечно, рассказов про охоту на медведей и накопленные за много лет пять тысяч долларов наличными) в знакомстве с таинственно-заманчивой дамой его сердца, носившей нежное имя Василиса.

Артем уехал, когда меня не было дома. Вернувшись с проклятого вонючего рыбозавода, я нашел в своей двери записку: «Сохрани ружьишко, чем хрен не шутит. Один ключ от хаты пусть будет у тебя, он под пеньком в сарае. Бывай здоров. А. К.».

Мне стало грустно. Это было то чувство, которое приходит к остающимся. Нам почему-то кажется, что уехавший человек обретает некую романтическую свободу, и тогда мы с грустью оглядываемся на окружающий нас мир и замечаем, что все уже давно до брезгливости приелось нам здесь.

Я закопал в сарайчике завернутое в мешковину промасленное ружье, а вскоре уже почти и забыл о соседе. Минуло всего несколько дней, а я мог только иногда мельком, почти безразлично, подумать, что вот и еще один человек прошел перед глазами, прошел и навсегда исчез в моем прошлом, которое проглотило его, как глотает море брошенный камень. Отныне меня больше заботило, каким будет мой новый сосед. И уже наведывалась в наш дом дебелая прихрамывающая тетка с подбитым глазом, которую выживал с «законной площади» не менее законный супруг. Я не отдал ей ключ от комнаты Артема, сказал, что нужно повременить. Как однажды, по прошествии не более недели со дня отъезда, Артем вернулся.

Уставший после работы, я вечером валялся, не раздеваясь, на кровати поверх одеяла. Над ухом моим тихо многоэховым голосом, будто со дна колодца, приемник сообщал о чем-то потрясающем и кровавом. И вдруг я услышал шорох за стеной. Что-то еще стукнуло и стало ходить твердой массивной поступью. Я с опаской вышел во двор. Вечер был еще светел и золотист, однако никого поблизости не оказалось. Я подергал дверь в комнатку Артема, она оказалась запертой на крючок изнутри. Я стал стучать.

— Эй, кто там шарит? А ну открой, — голос мой получался грозным, хотя самому было не по себе — куда я с пустыми руками, надо было

хотя бы гвоздодер для солидности прихватить... Дверь вдруг открылась, мелькнула фигура Артема. И уже спиной ко мне, согнувшись, он пошел назад, вглубь полутемной комнатки с зашторенным оконцем.

— Запрись, — бросил он на ходу.

Я прошел, запер дверь. Он сел на кровати беспомощно, словно раненый, как-то сложившись, выставив и коленки, и локти в стороны. И стал покачиваться, сверкая глазами из-под темной спортивной шапочки, обтягивающей голову. Я не знаю, каким было выражение на мордах тех медведей, убитых Артемом, в тот самый момент, когда пуля отправлялась из ружья им в лоб. Но мне кажется, что на почерневшем лице Артема слепой озлобленности было не меньше. Мне оставалось лишь довольствоваться тем, что озлобленность эта была направлена не на меня, а на какую-то неопределенность. Но больше всего меня поразило не настроение соседа, а его внешний вид. Он давно не брился, черная щетина подбиралась к самым глазам. И эта темно-синяя шапочка с красной надписью «adidas», несмотря на теплый день. Шапочка закрывала уши и обтягивала его голову слишком плотно, подозрительно плотно, были видны даже неровности крепкого черепа.

— Что ты так смотришь? — сверкнул он глазами.

— Да нет, ничего, — пробубнил я. — Эта шапочка...

— Ах, шапочка...

— Ты вернулся?

Он посмотрел на меня, как на докучливого идиота.

— А ты что, этого не понял?

— Да нет, я понял...

Он лениво полез в куртку, достал сигареты, закурил, но, сделав несколько затяжек, с каким-то жутковатым спокойствием бросил длинный окурок на пол и наступил на него остроносой лакированной туфлей, в которой почему-то не было шнурка.

— Садись, — сказал он. — Нет, не садись... Достань. Там, в чемодане...

Я послушно сунулся к чемодану, щелкнул замками и, сразу сообразив, что именно нужно достать, извлек степлившуюся бутылку водки.

— Налей... И себе тоже.

Я взял с полки два стакана, налил. Тогда он снял шапочку, бросил ее на пол и хотел, видимо, наступить на нее (я перехватил его стремительный взгляд), но в последний момент все-таки сдержал порыв, дотянулся до стола, обхватил стакан широченной рукой. Я не смел вымолвить ни слова. Голова соседа была острижена наголо. Безобразно острижена, местами ее покрывали черные клоки, торчавшие в стороны, как последняя шерсть на плешивой собаке, с левого виска свисала особенно длинная завитушка, а на темечке, напротив, блестела тонкая розовая кожица, такая же, как у детишек, у которых в этом месте еще нежно бьется родничок. Я подумал в ту минуту, что так, вероятно, стри-

гут сами себя одичавшие в горах кавказские пастухи, или тибетские монахи-отшельники, используя для стрижки не ножницы, а острый кинжал и работая им на ощупь. У меня едва не вырвалась никчемная шуточка: «Уж не сестра ли парикмахерша тебя так?». Но я вовремя смолчал.

Мы выпили. Артем молчал. Еще выпили.

— Где ружье? — наконец спросил он мрачно.

— Может, сейчас не надо ружье? — сказал я с опаской. — Потом как-нибудь...

— Нет, не бойся, — понял он меня. — Неси. Я завтра в лес уйду.

Я вышел в сарайчик, откопал сверток, потрепал мешковину от земли, вернулся, прислонил сверток к стене. Сел за стол напротив Артема. Но он уперся локтями в колени и опустил лицо в ладони, сидел неподвижно, только плечи еле заметно приподнимались от дыхания. «Плачет что ли?» — с тяжестью подумал я. Тогда я налил еще по полстакана водки, подождал каких-нибудь перемен в соседе. Но тот оставался неподвижен. Я встал и ушел на цыпочках, чтобы больше не тревожить его.

Любопытство мое было велико, но, по природе терпеливый, я не подгонял коней, решил ждать утра и тогда подробно разузнать обо всем. Однако утром я уже не застал Артема дома.

Любопытство было удовлетворено лишь спустя неделю. Артем вернулся, когда начался буйный многодневный памятный курильчанам тайфун, который почему-то так и не получил традиционного женского имени. Но Кунаширу он здорово навредил, сорвав шифер со многих крыш в поселках, а с некоторых домов даже сами крыши, обрушив десятки электрических столбов, завалив дороги павшими деревьями, выбросив на берег несколько мелких судов и бесследно похитив трех человек.

В первый день погода была еще терпимой, еще не летали по воздуху шиферные снаряды и не валялись на земле столбы и накрученные электрические провода, но свет, конечно, уже отключился. Холодные потоки ливня неслись ураганом параллельно земле, вода хлестала по стеклу, словно из брандспойта, и казалось, выдавит его. В комнате с подоконника на пол стекал водопадик с мизинец толщиной, и скоро в широкой луже под окном можно было бы пускать кораблики, если б не крысиный лаз в полу, в который, как в шпигат, уходила вода. И все-таки (я не оговорился), по курильским меркам, погода в первые сутки была терпимая.

Из пространства, до краев заполненного взбесившимся ветром, водой, потопом, пришел Артем. Вечером, когда он разогревался спиртом, я обо всем узнал под страшный вой урагана. Артем с печальным лицом сидел за столом перед мерцающей свечкой и скорбным голосом рассказывал мне свою историю. А я, глядя на его лысую в непростриженн-

ных клоках голову, еле сдерживал смех. На глазах моих выступили слезы, которые ни при каких обстоятельствах не могли бы сойти за слезы сочувствия. И под конец я не выдержал — не рассмеялся даже, а бессовестным образом заржал. На что Артем, с укоризной посмотрев на меня, обижено спросил:

— Что же ты смеешься, как гад?

Через некоторое время его историю знал почти весь остров, чему способствовал — каюсь — я (ну что с меня взять!), так что и по сей день, хотя спутанная шевелюра Артема успела восстановить свой прежний вид, можно услышать:

— Артем, ты расскажи, как на материк к парикмахерше стричься ездил...

Со временем он перестал злиться на подобные оклики и мог вяло ответить: «Да, было, было...» История стала даже забываться, но с тех пор к нему приклеилась не совсем уместная кличка — Лысый, хотя называют его так исключительно за глаза.

А я и теперь не могу спокойно вспоминать о его московском сватовстве. Я и сейчас готов рассмеяться, когда представляю себе, как Артем спускается по трапу аэробуса в аэропорту Внуково. На Артеме — приталенный вельветовый пиджак кофейного цвета, такого же цвета кримпленовые клеши, лакированные остроносые туфли на высоком каблуке. Из одежды его сыплется пыль восемьдесят второго года, эпохи, которая давным-давно уже умерла, обвалилась в яму из неосторожных рук могильщиков.

Материк начал раздражать его с первых шагов. Материк был уже совсем не тот, каким Артем видел его последний раз десять лет назад. Три дня уже Артем был в дороге, двое суток на теплоходе до Сахалина, а потом долгий перелет в аэробусе, и его утомленные глаза, привыкшие созерцать величественные ландшафты Курил, не могли теперь разом вместить всего увиденного. Эта мишура, мельтешение толп, вывесок, реклам и, главное, торговли, такого невиданного обилия торговли, ослепило его еще в аэропорту. Ярмарка, сплошная ярмарка, материк надел балаганный наряд. Голова Артема разболелась в зале ожидания, а уже дальше он и не шел по этому пространству, а был ведом, несом некой толкающей силой, которая, наверное, обнаруживается только в сильной реке, если попасть на перекат.

И вот, получив в багаже допотопный фанерный чемодан с металлическими уголками, обтянутый желтым дерматином в мелких ядовито-зеленых цветочках, он направился к выходу. И надо ли говорить, что этот таежный человеческий экземпляр, это чудо-юдо с оттопыренными денежными карманами представляло собой лакомейший кусочек для оккупировавшей выход таксующей шоферни, этих извозчиков и

по роду занятия и по сути своей, этого народца, обладающего особым кодексом бесчестья и особой психологией негодяев.

Артема «взял» первый же из них — кожаный мужичок с неуловимым лицом, словно и не имеющий лица, а имеющий только что-то стремительное под длинной белобрысой челкой. И Артем сплоховал в первую же секунду. Когда мужичок-шустрячок вцепился ему в рукав и неистово возопил: «Поехали, шеф! По спидометру беру!» — Артем както расслабился, обмяк — может быть, от усталости, может, от выработавшейся за много лет доверчивости. Сплоховал, хотя знатоки на Курилах и советовали ему ехать на маршрутном автобусе «Внуково — Юго-западная», а там — на метро, а там своим ходом, а там уж и на лифте... Артем спросил: «По счетчику? И скоко?» А спросив и получив ответ: «По божески — «чирик» за версту», — Артем уже не смог отступить — иначе зачем тогда спрашивал. А сколько это, чирик — много ли, терпимо ли? В уме он все-таки смутно прикинул — но опять же с опозданием, когда уже тащился следом за «благодетелем», — московские расстояния и понадеялся, что рублей в триста уложится. Какая мелочь для обладателя пяти тысяч «баксов», которые, правда, уже немного подтаяли за дорогу, но в конце концов один разок можно и шикануть. А в дороге, что уж там, выпьет он пивка — пока дожидался багажа, купил две бутылки пива да еще и две бутылки водки (не с пустыми же руками ехать к сестре). Стеклянное добро это держал теперь в полиэтиленовом пакете с изображением отяжелевшей от мяса и силикона чисто вымытой почти гологрудой женщины. Пожалуй, что этот пакет и расслаблял его и отвлекал больше всего от превратностей путешествия.

Бросив чемодан в услужливо открытый багажник, а потом усаживаясь в переднее кресло голубого «Жигуленка», Артем допустил еще одну, совсем уж непростительную ошибку. Когда водитель включил стартер и спросил: «Так куда едем, братан?» — он как-то запамятовал новый адрес сестры, которая не так давно переехала в Чертаново, и рассеянно полез во внутренний карман пиджака, где лежало письмо с обратным адресом. Надо полагать, что шоферюга, видевший такие манипуляции бестолкового клиента, даже прихрюкнул от удовольствия и, заметно повеселев, задал еще один вопрос: «Что, первый раз здесь?» Уставший Артем буркнул: «Да». Этим «да» он хотел сказать, что первый раз попал в аэропорт Внуково, так как раньше прилетал в Домодедово, но шоферюга, вновь прихрюкнувший, растолковал, видимо, ответ по своему, решив, что «сибиряк» никогда еще не видел Москву. Водитель показал Артему на спидометр:

— Вишь, последние три цифры — пятьсот двенадцать. — И добавил, сильно нахмурившись, отчего неуловимое лицо его на секунду застыло, так что можно было бы на нем прочитать что-то, будь Артем внимательнее. — Однако в путь.

Они выехали.

— Так ты с Сибири? — сразу осведомился шоферюга и, узнав, что клиент живет еще дальше, на Курилах, зацокал языком: — Далеко-то как... А холодно!

Артем улыбнулся, но возражать насчет холода не стал, он извлек из пакета пиво и теперь неспешно отхлебывал из горлышка, а пакет держал на коленях и косил на него левым глазом. Но и снаружи было множество впечатлений, притягивающих к себе взор. И Артем совсем скоро ошалел от всей этой несущейся навстречу ему непомерно огромной разросшейся цивилизации, этой широченной автострады, от вида которой он совсем отвык, от жуткого обилия новеньких красивых автомобилей, гигантских зданий, которые росли и приближались, наваливались на него тысячеконностью, ячеистостью, перенаселенностью... И вот дома приблизились и выросли в скалы, в белые, точеные гигантами известняки, и опять засновали толпы, толпы, автомобили, рев моторов, и вывески, рекламы, огромные яркие щиты вдоль дороги, поперек дороги, и надписи, и лица, и полуобнаженные женщины, улыбающиеся в пол-улицы! Дух захватывало.

Шоферюга, этот изгой порядочности, этот асфальтовый червь, еще несколько раз изрекал об островах какую-то несусветную глупость, на которую Артему реагировать совсем было некогда. А шоферюга, исправно заговаривая клиенту зубы, как водится, уже переселял на восток и север свою родню, компонуя ее, по его смутным географическим соображениям, поближе к Курилам. И «брательник» его в Магадане работал, и дядя с тетей под Хабаровском жили, да и сам он, оказывается, поездил... Хотя, думается, «брательник» его никогда не выезжал дальше Мытищ, промышляя, может быть, мелкой торговлей бабьими трусами на вещевом рынке, а вся остальная родня жила в каком-нибудь Чернском уезде Тульской губернии, честно обрабатывая свои сотки, попивая горькую и совсем напрасно завидуя племянникам, родители которых когда-то сумели зацепиться в столице.

Скоро машина достигла сложной дорожной развязки, огромного заасфальтированного осьминога, полукругами распустившего на стороны свои щупальца, куда-то спустилась по закрученной петле, выскочила еще на одну просторную трассу. И уже минут десять они мчались в стремительном автомобильном потоке, то нагоняя, то чуть отставая, за одной и той же машиной, белой, с высоко задранной толстой кормой, облепленной красными и бордовыми квадратными фонариками. Так что Артем скоро чувствовал чуть ли не родственность к тем, кто сидел в том автомобиле.

Город, затянутый розоватой дымкой смога, его огромные дома-скалы, отодвинулся вправо. Солнце, сместившееся за спину, вырезало город из пространства, и Артему начинало мерещиться, что такую грандиозность не могли возвести простые люди.

Еще одна развязка-спрут легла перед ними, автомобиль завертелся в бетонном, блестящем, сумасшедшем пространстве, улетая будто в подземелье, и вынырнул уже среди города. Поток машин, плотный, многоголовый, стремительный втянулся в улицу.

«Москва...» — бессвязно подумал Артем и ему стало тепло на душе. Мимо мелькали спальные кварталы. А скоро вдали поплыли сталинские «ракетопланы». Потом все гуще пошли старые дома, а среди старых, напротив, новые, невиданные, словно с открыток западных городов. «Вот, настроили...» — удивлялся про себя Артем.

И вдруг все это стремительное движение прекратилось.

— Что ж ты будешь делать, — заругался шоферюга, — думал — проскочу.

Автомобиль попал в пробку, десятки машин вокруг, десятки лиц, упакованных в кабины. И ведь каждое лицо, каждая голова — человек, личность, наполненная своим смыслом. «А они ведь никто этого не замечают и не знают», — подумал Артем.

Опытный тачководитель, поскрипев зубами, вывернул руль, бросил машину правыми колесами на тротуар и, пролетев несколько десятков запрещенных метров, юркнул в переулок, повернул в обратную сторону, и еще раз вправо, а потом влево, помчался дальше.

Что-то мелькнуло впереди, красно-зубчатое, но тут же скрылось в домах. «Кремль», — с волнением узнал Артем. Машина вырвалась на набережную, и Артем увидел пронесшуюся вдалеке огромную застывшую фигуру среди непонятной городильни.

— Что это? — спросил он.

— Да это же памятник Петру, — воскликнул водитель. — Ты что, мужик, телек что ли не смотришь?

— Нет, не смотрю, — честно признался Артем. — Для телека напряжения не хватает.

— Ну ты даешь, брат! — Водитель от восторга даже прихлопнул ладонями по баранке. — И газет не читаешь?

— Редко, — опять сознался Артем.

— Ну, тайга... Ну, тайга... Ты хоть про храм Христа Спасителя слышал?

— Слышал.

— Да сейчас покажу. Да вот же он.

Золотой грандиозный купол проплыл, кажется, над ними и скрылся почти тут же за красно-пегой городьбой немецких домов.

Помчались дальше.

— А это что?

— Это ж банк! — Шоферюга даже забыл о дороге, вывернулся, чтобы проводить взглядом здание банка. — Вот живут люди, учись, тайга... Ворочают страной, как хотят...

А через некоторое время опять потянулись спальные кварталы. Оперативный простор, на спидометре стрелка покачивалась у цифры «100». Солнце переместилось вправо.

Это была Москва его юности — пяти и девятиэтажная, спальная, где-то в такой же Москве был его двор, его стадион, его кинотеатр, школа, парк, «клетка»... «Надо сходить, проведать, — думал он, — обязательно...»

Солнце развернулось в лицо. Тяжелый шар сиял сквозь город, сквозь смог, и Артему машинально, совсем не углубляясь в мысли, думалось, что едут они в сторону юга. Сначала ехали так, что солнце светило в правую щеку, потом — в спину, и вновь в правую щеку, а теперь вот повернули на юг. Сильна охотничья привычка все время поглядывать то на солнце, то на звезды, то на ветер. Но он бы, пожалуй, еще долго пребывал в прострации и не придавал значения этой смене сторон света, если бы машина не повернула на запад.

«Щелковское шоссе», — мелькнула надпись на доме. «Это где-то не там, — подумал с холодком Артем. — Это где-то совсем в другом месте... Заплутали. — И еще добавилось как бы само собой, будто из посторонних уст: — А не долго ли тебя колесят? Развесил уши...» Ехать нужно всего лишь в Чертаново, а они петляли уже не один десяток километров, раза два пересекли Москву-реку, миновали центр. Или, правда, совсем одичал, отупел, забыл все на свете? И где оно, это Чертаново? Ну как же где, вот так, чуть наискосок в южной части Москвы. Или там не Чертаново, а черте что?.. А где Чертаново?.. Да нет же, там оно и должно быть, где и четверть века назад было... А мы где сейчас? А вон где: улица Уткина. А где это?..

Шоферюга продолжал беспрерывно говорить, был уверен и спокоен, машина покорно подчинялась малейшему движению его пальцев, небрежно лежавших на баранке. Артем же больше не проронил ни звука, машинально допивал вторую бутылку пива. И он еще какое-то время пытался отогнать все эти тошнотворные мысли. Но, как ни упрямился, все-таки ему пришлось понять, вернее понял он это уже минут десять назад, но теперь пришлось заставить себя признать, что его совершенно беспардонно «катали».

Опять переехали Москву-реку.

Артем стал хмуро посматривать на водителя, который, наверное, воспринимал замкнутость клиента за таежную природную угрюмость. Но Артема сковывало непроходимое злое упрямство. Особенно его бесили руки шоферюги. «Пальцы толстенькие, красные, в конопушках, — рассказывал потом он мне. — А одного — мизинца — нет. Вот я и думаю, на какой такой работе эта падла потеряла палец? Он же не должен нигде т а к работать, он же — мразь...

Мне, человеку неуравновешенному, трудно понять Артема, я не смог бы, насупившись, молчать, а закатил бы скандал при первом подозрении, что меня хотят надуть. Но Артема словно парализовало.

А Солнце между тем переместилось на левую щеку, а потом опять зашло за спину. Круг, так сказать, замкнулся. И времени прошло уже порядком — давно закончилось пиво — пустые бутылки катались в ногах. Да и водитель, видимо, сообразил, что пора уже сушить весла. Они, наконец, въехали в Чертаново, стали петлять по району, отыскивая дом сестры. Когда машина остановилась у нужного подъезда, спидометр показывал на сто пятнадцать километров больше, чем при выезде из Внуково.

Артем холодными руками молча достал пачку денег, при виде которой водитель сглотнул комок, отсчитал тысячу сто пятьдесят рублей, отдал. Деньги, стремительно мелькнув в быстром опытном пересчете, тут же исчезли, растворились в шоферских глубинах. И Артем неожиданно положил сверху на его гладки руки в кофейных конопушках еще сто рублей. Удивительна была даже не эта глупость Артема, а то, что руки шоферюги даже не притормозили, не задумались, а сразу, без промедления схватили и эту совсем уж незаслуженную бумажку.

Что-то связанное с гордостью, самолюбием, зудящее, отрешенное и злое, побуждало делать моего соседа глупость за глупостью. Подвигло оно Артема достать из пакета одну из двух бутылок водки и протянуть водителю:

— Держи.

Взял тот, как должное, и бутылку. Но Артем и в этот момент еще не успел подумать (позже он рассказывал мне, что как раз здесь он и подумал, но я-то знаю его основательность, уверен, что подумал он несколько позже, вот когда уже вышел из машины, тогда только, наверное, и подумал с откровенным, почти детским ужасом о шоферюге): «Неужели он себя тоже называет человеком?..»

Вышел, обогнул машину, положил пакет с оставшеся бутылкой водки у бордюра, дождался, когда шоферюга извлечет из багажника чемодан и захлопнет капот. Только тогда Артем и взял его левой рукой за грудки, за кожанку, приподнял, так что щоферюговские ноги в белых кроссовках свободно заболтались в воздухе. И самоуверенный мужичок сразу сник, он и не подумал отбиваться, а бесформенно повис на сильной руке, неуловимое лицо его стало вдруг темным и кислым от тяжелого предчувствия, он только и смог вымолвить:

— Ты чего, братан?..

И Артем как-то сразу угадал ускользающий возраст по этому внезапно потемневшему лицу — лет тридцать всего.

— Понимаешь, гад, — сказал Артем, запинаясь от волнения. — я коренной Москвич... родился здесь. Я в сборной МГУ... Да я... А ты меня катал и катал. — И тюкнул шоферюгу кулаком в лоб. Тюкнул не так чтобы сильно, но достаточно, чтобы от этого удара в лоб из носа шоферюги густо брызнула кровь. Артем бросил его на капот автомобиля, а сам подхватил пакет, чемодан и зашагал к подъезду. А там перед

ним выросла жуткая сплошная железная дверь черного цвета. Артем подергал — было заперто. Он со злостью бросил чемодан у ног, стал ждать какого-нибудь жильца, чтобы вместе с ним и зайти внутрь. Нарочно не оборачивался. А за спиной немного поскулило голосом шоферюги. Потом затопало, опять все замолчало. Артем полуобернулся: «Жигуленок» так и стоял на прежнем месте, но белобрысого нигде не было. Артем опять подергал дверь. Тишина. Присел на краешек чемодана, больше опираясь на ноги, чтобы не проломить старую фанеру. Достал сигаретку, закурил.

Через несколько минут он увидел, как из-за угла спешит его шоферюга, зажимающий нос платочком, в сопровождении двух людей в серой форме. «Ну вот, опять они...» — с холодом, со злой обреченностью сказал сам себе Артем.

Гордого, но послушного Артема посадили в ржавый давно не крашенный Уазик, отвезли в околоток. Там у него отобрали чемодан, паспорт, деньги и в полутемном коридоре с единственной лампочкой посадили на жесткий стул в ряду других таких же стульев, сколоченных в единое целое продернутой под сиденьями длинной доской.

Но что-то все-таки произошло в это время в пользу Артема. Скорее всего побитый шофер передумал писать заявление, шустрый этот малый, зажав платочком нос, один раз крутнулся в коридоре и незаметно ушел, видимо, понимая, что ему от знакомства с милицией тоже ничего хорошего не светит, что это он только сгоряча побежал за блюстителями порядка. Ну, получил в лоб — всякое бывает, работа ведь рискованная.

Но Артема не отпустили, про него будто забыли. Он сидел напротив двери, обитой важным вспухшим дерматином черного цвета и терпеливо ждал и час, и два. И уже, наверное, сумерки где-то снаружи начали опускаться на неприветливый город и зажглась там миллионоваттная иллюминация, а на него никто не обращал внимания. Из двери несколько раз выходил и через некоторое время возвращался лысоватый полный человек в гражданском темном костюме, не глядя в сторону сидевшего на лавке. Человек этот все время появлялся с сигареткой в зубах, и Артем, вновь почувствовавший, что в груди начинает разрастаться бешенство, в конце концов сам чуть ли не демонстративно достал сигарету и закурил, стряхивая пепел за лавку. Человек в костюме, в очередной раз проходивший мимо, вдруг остановился, с непомерным возмущением протянул:

— Ты чего это куришь здесь?

Артем, еле сдерживая себя, с вызовом произнес:

— «Кэмэл».

— Да ты чего пургу мне тут несешь? — разозлился тот. — Ты этот «Кэмэл» жрать щас будешь, м...звон!..

— Сам ты м...звон... — с каменным лицом парировал Артем.

И здесь уже совершил ошибку человек в костюме, себе же во зло: он решительно подошел к Артему и отпустил ему звонкую пощечину (вечер, свидетелей в коридоре не было). И Артему ничего не оставалось делать, как второй раз в этот день тюкнуть кулаком человека в лоб. Милиционера в гражданском костюме отнесло к противоположной стене, головой под стулья.

На шум сбежался, наверное, весь околоток. Артема скрутили, отволокли в железобетонный закут без окон. Там его раздели до трусов и сделали «ласточку». Артем с большим знанием дела рассказывал об этой экзекуции и добавлял, что в общем-то любому телу, даже обросшему жиром, можно придать необыкновенную гибкость. При «ласточке» руки — локоть к локтю — накрепко связываются за спиной бечевкой, а потом к скрученным локтям подтягиваются ноги. (Мне кажется, что более уместным названием этакой фигуры было бы «колесо», а не «ласточка».) По скрученным рукам, ногам, а равно по выпяченным ребрам и животу и наносятся удары дубинками. Надо полагать, что человеку с умеренным здоровьем следует избегать такой процедуры. Артем ее выдержал. Связанный замысловатым образом, он и был сначала избит, а потом острижен тупыми ножницами. Стриг его лично ушибленный в лоб человек, лицо которого под обоими глазами уже заплыло жирными синяками. Чтобы хоть как-то компенсировать обиду за такой косметический урон, человек этот вполне верно угадал меру мести?

На рассвете Артема отвезли в парк, выпихнули из машины, бросили следом одежду и чемодан. Понятно, что бутылку водки стражи присвоили себе. Когда же он оделся и поискал деньги, то понял, что ему также не вернули и четырех тысяч четырехсот долларов, остававшихся у него после перелета. Но вот что было по-настоящему удивительно (на Артема это почему-то нисколько не произвело впечатления), десять с небольшим хвостиком тысяч рублей, которые он успел наменять еще на Сахалине, и документы блюстители порядка все-таки запихали в карман его вельветового пиджачка. Десять тысяч «деревянных» — как раз та сумма, которой вполне хватало на дорогу до Курил. И по прошествии всего нескольких часов Артем уже сидел в кресле полупустого «ИЛ-86», который взял курс на восток, по маршруту Москва — Красноярск — Хабаровск — Южно-Сахалинск.

...Я смеялся самым бессовестным образом, слезно и надрывно. Когда же я немного успокоился, он с глубокой обидой сказал:

— Что же ты смеешься, как гад?

— Как же мне не смеяться?! Ты бы себя видел!.. Да и что ни говори, твои менты подарили тебе жизнь, десять тысяч на дорогу, а плюс ко всему сделали тебе молодежную стрижку.

— Пошел ты знаешь куда... — проворчал он. — Я всегда говорил, что ты просто п...л.

— А что ж, и пойду, — продолжал смеяться я, — Но не туда, а в магазин за пузырем. Надо обмыть твое сватовство...

Зима выбелила остров, сильные ветра выдувают из нашего жилища последнее тепло — не натопишься. Артем собирается на охоту. Через пару дней он влезет в толстые ватные штаны, наденет теплый бушлат на цигейке, выменянный на какой-то охотничий трофей у вертолетчиков, взвалит на плечи тяжеленный непомерный рюкзак, подхватит безотказное старое ружьишко и уйдет на лыжах в сопки.

Наверное, я больше никогда не увижу этого человека, судьба моя складывается так, что самому мне скоро придется уехать с островов, вернуться в тот денежно-вещевой ад, где и сам я родился, где жил и откуда бежал несколько лет назад на край света. Мы называем этот ад материком, но он ждет нас, подобно злой мачехе, имея за душой только одну мысль: как бы обобрать нас до нитки, унизить и растоптать. И я заранее пытаюсь предугадать, предузреть роковой образ того белобрысого тачководителя, или того мента, или торгаша, или бандита, или чиновника, которые с такой страстью вожделеют встречи со мной.

Мне грустно расставаться с моим соседом, ведь мы успели сдружиться. И я немного завидую ему — те, кто много поездил по свету, поймут меня, они знают, что это то самое чувство, которое каждый раз приходит к тебе, когда ты вынужден уезжать: нам почему-то кажется, что нет ничего надежнее и уютнее того места в мире, которое обрели, в которое вжились те, кто остается.

1999

ПО РЕКЕ ДЕЛАВЭР

По реке Делавэр

1

Что ж, плыви, мой друг, утоли свою боль,
помечтай, что тебя ожидает Ассоль,
что тебе она машет юной рукой,
что плывешь ты филадельфийской рекой,
по которой плыл пенсильванский Пенн,
созидатель крепких деревянных стен,
превратившихся в камень, видящий сон,
будто над городом льется звон —
то ли колокол, то ли скрипка звучит.
Филадельфия. И над нею меч и щит.
Она спит сейчас. Кто ее защитит?

2

Ты мечтаешь плыть по реке в океан.
Твой багаж неизвестно когда и кому сдан.
И твоя Ассоль перестала ждать —
вот она невеста, а вот — жена и мать.
Как же плыть кораблю без руля, парусов?
Потому и закрылась дверь навсегда на засов.

3

Ты мечтаешь плыть по реке Делавэр.
А над городом день равнодушно-сер.
И народ по своим заботам спешит.
Город. Самый обыкновенный вид:
горстка радостей, горстка обид.
Так плыви же, по реке Делавэр
в страны разных суеверий и странных вер.
Я ж останусь здесь сторожить дом —
в нем не родилась, но умру в нем.

Валентина СИНКЕВИЧ — родилась в 1926 году в Киеве. Поэт, литературный критик, эссеист, редактор альманаха «Встречи». Автор нескольких поэтических сборников — в том числе «Огни», «Наступление дня», «Цветенье трав» и книги эссе «С благодарностью: были...». Живет в Филадельфии.

* * *

Эти камни, бегущие вниз-вверх,
привораживают, зазывают всех
под надежный, самый крепкий кров.
А вокруг — рокэндроллово-рэповый рев.
По фасадам сбегает лавина стекла,
летним солнцем каленая добела,
до горячки смычков, до безумия клавиш —
все отбросишь и все оставишь —
золотую дудочку и зеленые все луга,
бросишь всё, пришедший издалека.
Здесь ворожат и царствуют здесь камни.
Ни уйти от них, ни захлопнуть ставни...

А когда-то в городе жил поэт,
в тихом доме его ночью горел свет,
до утра его мучил бред.
И никто не защитил от бед.
Нынче ворон чугунно молчит у ворот,
и все ходит и ходит народ,
приезжает со всех уголков земли,
их встречает юная Аннабел Ли.
А потом —
в полумраке чудится черный гроб.
И сверкает вдали небоскреб.

От редакции

Со 119-го номера, не меняя принципиального содержания этого раздела, мы вновь несколько меняем его название: не *«Россия и мир на рубеже веков»*, а просто *«Россия и мир»*. Рубеж веков, в общем, пройден, мы уже три года как в веке двадцать первом — значит и рубрике пришла пора выйти из пределов своей недавней хронологической приуроченности.

В этом номере ее открывают два материала, о которых тоже стоит сказать особо, поскольку они не вполне для нее обычны

Первый материал — работа, выполненная по гранту РГНР Заведующим отделом диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН проф. Леонидом Леонидовичем Касаткиным. Вот уже полвека он ездит по русским деревням, слушает и записывает на магнитофон рассказы деревенских жителей о своей жизни. Это специальные диалектологические записи, и они, естественно, сохраняют в расшифровке все те лексические, грамматические и фонетические особенности речи рассказчиков, которые столь важны исследователю-диалектологу.

Но, конечно, отнюдь не менее ценны эти записи и как живые человеческие свидетельства. В них — личные истории многих людей из самых разных уголков нашей страны, в них — судьба русской деревни; огромный кусок истории нашей страны — трудной и радостной, страшной и трагической, очень плохо еще изученной, мало известной. Записывал Л. Л. Касаткин и рассказы русских крестьян, живущих в других странах, и это тоже островки русской истории. В Институте русского языка, где он работает, собрана огромная фонотека таких свидетельств, которые ждут еще и своих исследователей, и своих издателей, и своих читателей — всех, кто хочет лучше понять, почувствовать, узнать свою страну, свой народ.

Вот почему одну из таких сугубо специальных как будто бы диалектологических расшифровок мы решили предложить вниманию наших читателей именно на страницах рубрики, посвященной жизни России. Это — рассказ казачки Александры Никифоровны Миньковой, живущей в станице Тишанской Нехаевского района и родившейся в тех же местах в казачьем хуторе в 1915 году, о своей жизни — рассказ, записанный Л. Л. Касаткиным и профессором Кристианом Саппоком из Германии во время их совместной экспедиции в 1999 г. в Волгоградскую область к донским казакам.

Конечно, это всего лишь одна жизнь — но какая! Пусть читатель сам судит, сколько вобрала он всего — и типичного, и нетипичного, и страшного, и смешного, и нелепого, и темного, и светлого. Ведь это не просто еще одна иллюстрация к тем периодам нашей недавней истории, о которых мы и без того знаем немало, — о раскулачивании, о коллективизации или о тяготах войны и послевоенной жизни. Гораздо важнее, что это возможность пристальнее вглядеться прежде всего в то нравственное состояние, в тот уклад жизни души и сердца,

который свойственен отнюдь не такой уж малой части населения нашей страны. И отнюдь не одним старикам и старухам. И этот уклад — надо знать.

И последнее: «Континент» — не специальный журнал по фольклористике или диалектологии и потому не обязан соблюдать правила, непременные для таких журналов. Тем не менее мы решили опубликовать этот текст именно в той форме — лексической, стилистической и даже фонетической, — в какой он был записан. Надеемся, что некоторая неизбежная при этом затрудненность чтения будет с лихвой вознаграждена зато особой эмоциональной точностью и яркостью впечатления.

Второй текст, помещаемый в этой рубрике вслед за рассказом А. Н. Миньковой, — статья известного американского публициста Леона Арона, обращенная к небывало популярным в нашей стране детективным романам Б. Акунина и к их главному герою — Эрасту Фандорину. И это тоже для рубрики *«Россия»* несколько необычно — казалось бы, куда органичнее статье было расположиться в разделе *«Литература и время»*.

Но собственно-литературная сторона дела как раз очень мало интересует Леона Арона — статья посвящена проблеме русской интеллигенции в целом, литературный материал — только повод для этого, и если даже рассматривать этот текст по ведомству литературной критики, то он может быть отнесен только к традиции той русской «реальной критики», которая всегда и была, в сущности, именно публицистикой на литературном материале. Значит и настоящее место ей именно здесь, в разделе публицистическом.

Что же до романов Б. Акунина как литературы, то и эту тему, как обнаружит читатель, мы постарались не обойти своим вниманием. Но уже там, где это уместнее — в разделе *«Литература и время»*, в рубрике *«У книжной полки»*.

Надеемся, что такая расфокусировка содержательного внимания к двум разным материалам, лишь формально связанным одним литературным поводом, поможет читателю отчетливее уловить и то, с каких позиций судит Слава Сергеев собственно-художественную природу романного творчества Б. Акунина, и то, как трактуется в статье Леона Арона одна из самых животрепещущих, постоянных и острых проблем русской жизни именно по существу — то есть даже и независимо от привязки к Б. Акунину. Ради этого статья прежде всего ведь и публикуется — в нынешней исторической ситуации, когда перспективы полной интеграции России в западный либерализм уже отнюдь не кажутся слишком нереальными, нам, русским, особенно полезно послушать, что думают по поводу такого важнейшего и специфичнейшего феномена русской истории, как русская интеллигенция, западные интеллектуалы-либералы совсем иного историко-культурного извода и традиций. И какими видятся им, ожидающим нас в свои объятия, ее будущие судьбы. Пусть этот взгляд царапает порой и очевидной пристрастной узостью, и даже, может быть, некоторым чужесторонним высокомерием, но в нем есть свои резоны, а только в настоящих спорах, в столкновении действительных резонов проясняется истина, к которой все мы жаждем прикоснуться.

Нам хотелось бы надеяться, что статья Леона Арона привлечет к себе внимание прежде всего именно с этой точки зрения.

ВСЕГО ОДНА ЖИЗНЬ

Рассказ казачки Александры Никифоровны Миньковой из станицы Тишанской Волгоградской области

1. Отец — «враг народа»

Вот расскажу, как было дело. Родилися мы, раньше хутор Лапин, Луковский раион, Черькасково были мы, ну как вот сейчас, я не знаю, как назвать, как вот щас Сталинград. Потом нас на Сталинград перевяли и раивон это Нехаевский стал.

Вот у нас отец жил там недалёко в зятьях. Ну она чо-й-то скоро умираеть — тиф был. Это в каком же году? Щас скажу. Вот тут иде-й-то в тринадцатом или в двянадцатом году тиф был повальный. Да. От него редко хто вудувалси. Ага. Она тифом заболела у него. Она померла. А тесть богач был перьвый там в этом в селе. Сорок гяктар было у него этого, подворье всё. И он его провожаеть ни с чем, этот тесть. Ага. Вот. Теперьча он приходит суды к матери и женится тута. Года три или четыре он ходил, шабунял, у матери жил. Потом берёть нашею матерю. Ага. Ну берёть её, теперьче сын родилси, я родилась, сястра родилася. Ну и стали жить, стали жить, стали жить.

Ну потом начала кулачества. Отца раскулачили, осудили. С попом дружил. А сейчас сколько их там в Москве, а? И их кормить надо. Крясты вот такие вот до самых колен. А почаму же раньше отца осудили за попа? Год дали тюрьмы, враг народа был. Это було тут иде-й-то ли в тридцать третьем, втором...

И вот такие-то вот, ребята, было дела. Как начало кулачество, в общем с двадцать пятого началося, ну в общем после революции, как начали вот это вот громить, как мало-мало чуть-чуть: «Ага, пойдём яво заберём». Этого тащать, этого тащать, всё. Ну можно так ли, а? Ну вот мать с отцом — стол оставили, этыю стащили клеёнку. Да. Чугунок и ложка в чугунке. Живи вот теперь, чем хочешь. А ему год тюрмы дали, он год тюрмы как враг народа. Да, да, вот прям клянуся вам. Ну мы большие были. Она, мать, кричить, говорить: «Расстрелютю». Ну враг народа сочли. А поп жил у яво брата, ну он с ним дружил. Ну придёть мужик, мать и говорить: «Дед, не дружи ты, чёрт этот долговязый. Кабы плохо чо не было». Он говорит: «Ну чо, кабы он был хто-нибудь, он же — человек. Чаво он, кого бьёть ли, чаво ли?» Да. Ну а потом образовалось-то вот чаво. Год тюрмы отдул в Волгограде.

Отца забрали, оставили стол и чугунок. Чугунок с ложкой. Вот. Вот икона, вот вам говорю. Ну мать стоить и кричить, ну что — ложка, чугунок. Тогда кастрюль не было. Да. И всё. Вот и кормися. Вот было как. Ну ему год тюрмы дають, а мать остаётся. Ну чо, покричала, покричала. Ну там народ говорить: «Ну не плачь, какындь». То кукурузы, тогда садили помногу кукурузы, как-нибудь это. Размелем, ладушки. Тогда не пякли хлеб, а вот так, скорей. Да сладкий какой был, а.

Много, много вот этыю в двадцать девятых, в тридцатых, в тридцать перьвых, в тридцать вторых-третьих, много людей погубили. Как тольки чаво сказал — ворон чёрный, и пошёл. Ворон чёрный, и пошёл. И без вести. Да. Боже сказать избавь. У нас один пацан там в школе сыграл песню, как Ленин сидить на горе, грызёть кобылью ногу. А и хто-й-то донёс. «Ты иде этыю песню, хто

тобе сыграл?» — «Папа». Ага. Прибягаеть один и говорить: «Ахрем, уходи, счас приедеть чёрный ворон, заберёть: песню сыграл». Ну правда, он ушёл, ну что без вести нету, хочь он и ушёл сам, ну неизвестно где.

И свои, соседы прям вот. А вы чо думали, это Сталин это делал а? Приказ, приказ вот этот создавал Сталин, а? «Идите раскулачьте его». Да. Ну я ж говорю, вот сосед был, он член правленья был, бядняк. А тогда беднякам доступ был. Как бядняк сказал, всё. Всё в ясно. Вот он приходить и говорить: «Никихор Яковлич с попом, — говорить, — дружить». Ну приезжаютю, там какие тряпки, лохмотки уташшыли. Чугунок на стол и ложку. Да. А яму год тюрьмы. Ну приехал чёрный ворон, забрал, ну мать и говорить: «Ну всё, отцу, — говорить, — всё, расстрелютю». Нет. Не знаю, до кех его довезли и как он, сам ли туда, как, до Урюпина ли, а там поездом отправили, ну не знаем мы. Ну уж оказался он в тюрьме в Волгограде. Ну вот отбыл год.

Там наши школу строили, раион, по-моему, раион. А стяклить некому, а он стякольшшык. Да. Он приезжает туды, ага, ну там оформили яво, куды, в общежитие, как ли там, в тюрьму ли посадили. Вот комендант приходить и говорить: «Хто мастер вот по домам?» Он говорить: «Я, и по стяклу я». Да. Он говорить: «Пойдём ко мне», — комендант. Привёл и говорить: «Ну как тебя там?» Ну сказал: «Микишка звать» там и откель[1], чаво, всё рассказал. Да. Он говорить: «У меня будешь жить, а я буду ходить отмячаться туды, в тюрьму. Или сам пойдёшь отметишь и ко мне». Вот он яму там кухню сделал, дом подрубил за год. Да. Ну жил хорошо и стяклил, днём стяклить окны. Ну там опредялённые часы там, до четырёх, как ли. А ето идёть тогда суды к нему, к этому коменданту. И вот он за год постяклил этыю школу, двухъятажная что ль школа была, и у этого коменданта жил всю время. «Я хорошо, — говорить, — жил». Да. И говорить: «А за чо тебя осудили?» Он говорить: «Да вот так и так». — «Тьфу, — говорить, — дураки». Да. Да ещё хорошо и не расстрелили. Да. Ну пришли: «Враг народа, поехали», ну мать закричала. Житуха была, действительная житуха.

Вот так вот, сынок. Во. Вот такая-то вот и жизня была. Всю, всю жизню. Как только кулачество началася, вот всю жизню. Ху, Господи, Господи! Не дай Бог ишо такая вернется. Молодёжи не дай Бог, не дай Бог, укрой, помилуй. Да. Нельзя было жить, нельзя.

Ну потом отец приходить домой, ну тут всё-таки получше стало, повеселей нам. Он плотник хороший, начал плотничать, хату нам сделал. Ну тут мы перешли в свою хату, завели корову, быка завели, козув завели, курей, индюков завели. Всё труд, всё труд, сынок. Да. Без труда ничаво.

А тут в этих годах он дом постановил, три комнаты хорошие. Дом срубил, он сам плотник. Ага. Хороший дом срубил. Вот. Отделал. Ну большую — горницу называли всё, горницы малые, да, — он не смог, заболел, не смог. А тут в этих годах его осудили, и не смог отделать. Да. И пришёл и говорить: «Бабка, не могу. Всё, угробили меня в тюрьме». Да. Вот за чаво?! А сычас вот покажуть попов, их там не перечтёшь. А? Ну один поп, дьякон, матушки там эти, две монашки там возле-й же, почелимы, каких вот, может, батюшка полюбит. Ну чо ж, год дали, да и враг народа. Хух.

---

[1] Откуда.

2. Голод

Ну и а потом тут, ише не добыл он, и как раз голод был в тридцать шестом году, не было ни урожаю, совсем даже и косить нечего было. Кукуруза вот тако вот была, вот и всё и засохла.

Ну чаво ж, мы прослыхали, в Волгоград на работу принимают. Мы с сястрой поехали туды, устроилися, узнали, где отец там в тюрьме сидить, ага, мы сообщили ему. Он к нам приехал, это отец, да. «Ну чо вы, дявчата?» Мы говорим: «Да чаво ж, мать подохнеть». Нечего вот взять, нечего. Пшаничка вот такая-то вот была, так вот рвали вот колоски прямо из зямли, мяли. И как узнають, эжели есть, — придут побьють. Наши же, наши же побьють. Вы чо думаете, Сталин это бил, а? Это наши были враги, соседы. Во.

Вот так вот жили, голоду хватили, не дай Бог никому. Не дай Бог будет такой голод, как в тридцатых там, тридцать третьих-четвёртых годах. Ночью ходили, этыю пашаничку не разряшали. Она вот такая-то вот, а крупная. Да, не разряшали, а чаво ей держать? Как поймаютю, десять колосков — десять лет давали. Десять лет! Да.

Мы один раз пошли с дедушкой, ну мы были ише девчонкими. А он говорить: «Пойдёмте, девчаты, вот сюда вот, нарвём хош по чудочку на кашу». Так этот скакал верьхом-то он, мы ему нихто и он нас бы ничаво, но а боялися. Мы кинулись, мы молодыя, а яр такой-то, мы и скатилиси туды. А там ишо вот так вот камень и опять водоток там. И он, этот бедный старик, скатилси, как упал и убилси. Да. Прибегаем домой, говорим: «Бабка Матрёнка, дед, — свёкор он ей, — дедушка, наверно, убился». Она коляски схватила да за ним. Не ради, што ето. А он, парень этот, не за нами он скакал, по своим делам. Во как боялися.

А трёх дядов по десять лет осудили за колоски, и по сей день неизвестно. А это чаво делалось, а? Ну чо, это Сталин так велел а? Я думаю, не Сталин это велел — наши. Прям вон соседы...

Ну всё, тогда чо ж, мы остаёмси там в Волгограде. Отец поехал к матери. Ну письма мы писали, списалися, потом всё, мы там устроились хорошо работать. Ага. На соли. Соль, соль на девяносто перьвово завода выгружали с баржи. Там лопатами кидаем на это, а ремень ташшыть наверих. А тут опять кидають на завод. Вот мы там работали. Ну ничаво. Стали матери посылки посылать там. Крупы были. Ну простые крупы были. Десять копеек килограмм. Ну мы на рубль наберём посылку ей суды, матери. Да. Ну благодарит нас вроде за это. За эти крупы.

Ну сястра там и умерла у меня. Вот тут война её застигла, детей у ней не было, её забрали в войну, она с Вены, с Болгарии ли вернулася, кончилася. Да. Ну она всю хорошо получала. А её моево сына сноха хорошо за ней доглядывала. Ну она хорошие денюжки получала, она ей доверила, она получала, она её и похоронила. Молодец баба. Да. Вот так.

3. Жизнь с мужем

Ну потом вышла я там замуж. А мужик, правда, неплохой попалси. Хороший, грамотный. Прям дай Бог ему в Царство войтить. Никогда он не ругал, не, ничаво. Мужик пришёл из армии. Тоже голод. А прослыхал, на девяносто перьвом заводе в Волгограде принимают военных толькя, хто из армии придёть. Но он

грамотный. Ну как пришёл туда, и там устроилси, сразу его взяли. И вот мы, наверно, до войны в тридцать шастом и до сорок третьего мы там жили.

Ну, война, тут война началась. У меня девочка одна. Ну куды? Был по брони, потом его забираютю в армию. Это в сорок втором году дело было. Ну и всё, ушёл и всё, и шито и крыто. Он и говорить: «Ежели чо такое, то тогда езжай, наверно, к моим». А он проживал — станция Серебряково вот, ну Михайловка. Думаю, ну эжли толькё погибнешь, ведь я там не буду нужна с дитём. Скажуть: «Хто его знаеть, лоек с бес»[2]. Ага. Ну свёкор хороший удалси с свякрухой.

А тут как раз с Волгограда, а мы жили в Бекетовке, мимо нас сашейкя на Сарепту, гнали немцев в четыре шеринги. И вот глянешь, они повиснуть, немцы, один на одного, они его вытаскивають, на дороге пристреливають тут. И наклали йих вот — снопы! Снопы были, снопы! Но хучь и говорим: «Они вот подляцы» — они тоже солдаты, они поднявольные тоже, йим всё равно. Эжель он не пойдёть, его там убьють. Ему всё равно и так и так итить. Да. Невозможно было.

А я уехала суды, мне б надо там перябыть бы как-нибудь, ну там нельзя было. Давали четыреста хлеба, девчонке шестьсот, ну килограмм мы получали на день. Яво и есть нельзя было, возьмёшь, жуёшь-жуёшь, и рвать начинаеть. Ну сноп на снопу лежали, сноп на снопу лежали.

В сорок третьем году покончили, прогнали, ага, я тут сообщилася с материй. Она говорит: «Ну чо ж, Саня, езжай домой, с дитём куды же, мы уж пожилые. Ну я приехала в сорок третьем году.

Ну я там бросила всё, чо было, взяла так вот одеться, чо хорошенькия, а енто там, столы вот эти, диваны, кровати, всё бросила там. Ну там одной я бросила, она тамошния. Ну сястра пришла, я ей написала письмо, она пошла. Отдала сундук, сундуки ж тогда были, она отдала сундук ей, кровать отдала. Ага. Ну так кой-чо, посудку отдала ей. И вот это и всё. Мужик — не слыхать. Ага. Потом оказалси.

Ну я суды приехала, начал мужик писать письмо. Пишеть, что меня ранили, руки нет одной, наверно, не будеть. Ну не будеть, ну а что сделаешь: мужик, дитё. Ага. И хороший мужик. Ну приехал он в сорок четвёртом году, пятнадцатого февраля пришёл домой. Ну пришёл, правда, ключицы не было и лопатки не было. Ну она так была висела у него. Ну чаво же, пришёл, говорит: «Ну чо, эжель ехать туда опять в Волгоград, я не могу». Ну писать он мог, он грамотный, ну не схотел: «Давай тут останемси».

Ну один дитё, другой дитё, третий дитё, четвёртый дитё, пятый дитё, шастой дитё. Да ишо по два. Ага. Ну он говорит: «Ну куда ехать с этой оравой. Тут мы то с зямлёй, то содим, то косим, то так вот с зямлёй». А зярна-то ведь не давали в колхозе ни граммочки. Шерсть отдай, мясо отдай, яички отдай, картошку отдай. А иде её брать: одна корова и шесть душ детей. Иногда сяду вот, грешница, Господи, может, Сталин это виноват, а может, своя власть. Да.

Ну масла как-то набяру двянадцать килограмм сдать, масла я набяру. А картошка иде? А картошку не давают так чтобы вот зря вот, а выбирают. Ну чо ж, отдашь картошку. Ну, правда, тогда нарывали по двести ведер, больше. Ага. И у нас-то семья, да мать с отцом уж такие-то преклонных годах, идуть: «Санькя,

[2] Лоек с бес — буквально жир с черта, т.е. ничего, без пользы.

дай вядёрочку». Ну дашь им, а нет — дак: «Не ходите сюда, нас десять душ». Ну и всё, вот это вот так вот и было.

Вот теперьче мужик устроилси учётчиком в тракторную бригаду, в мэтээси[3]. Ну слава богу тут стал дяньжат получать и стал хлебец получать. А так не дают рабочему. Вот как сейчас вот у нас тут. Да. Не дают. Ну чаво делать? Тут переживать, переживать, переживать. А ну пережили эти всё, пошёл и хлеб вольно, вот так пошёл хлеб, хорошо. Ну тут ещё яички это отменили и шерсть, это всё отмянили. Вот она какая была житуха.

Теперь ну чо же, говорять, мне сорок пять лет — на пенсию. Ну, думаю, я многодетная мать. Ну, думаю, ну хочь копейкю какую-ндь тут получать. Двадцать пять инвалид получал. Ну это чо на десять душ? Но всё-таки то мыльца купишь, то сахарку это, то солички. Вот это и всё было. Да спасибо это козы у нас, они и сейчас действуютю. Вот эжли б не действовали вот тута, подох народ давно б уж, семьями подохли бы. Козами работаютю. Ага.

Ну чо, председатель хороший, правда, попалси и говорить: «Ну чаво, построемси, Прокофич». А он: «Ды с чаво ж это?» А отец мой плотник он, в колхозе плотником был. А он: «Ну, Фёдор, чо-нибудь я сделаю. Двух дядов возьму и сделаем». Сначале начали делать хатку — две комнаты. Да ж ишо навярьху. А там две комнатки, да лишь бы как-ындь боком. Ну сделали. Слава богу свой двор, всё это стали разводить.

А он стал прибаливать у меня, мужик, — астма серьдца, порвали уже сердечные вены ему все, нечем ему дыхать. А так работал ише-то, корове готовил корму. Ну а тут отец с матрей постарели уж всё, сястра в Волгограде. Как ушла она в войну, она из Вены вернулася, а и так опять и осталась там в Волгограде. Ага. И вот она вот это всё: «Езжайте, уезжайте туды». Тут два сына у меня из армии пришли, двойняты. Уехали к ней туда, они там устроилися в этом Волгограде, на работу хорошую, на химзавод устроилися. Ну: «Мама, папа, приезжайте». Ему б надо пойтить самому, мужику бы, в военкомат-то, и они б дали б, может, квартеру б ему бы. Ну а потом чо-й-то покрутились, покрутились, он: «Не, не буду я тута». И приехали, опять тут. И тут он заболел, заболел, заболел, в общем инкфарт его взял сразу. Плоховато вот, хуть со мной вместе б пожил б чудок, получше было, вот одной-то плохо. Ни огородку, ничаво, вот надо б тут кой-чего ремонт бы сделать бы, вон двери, двери скособочилися. А теперь уж говоришь: «Да ладно, доживать всё равно. Как помру, хто-ндь отворить и вынесеть».

Вот она вот житуха такая-то. Тут ишо война эта дюже погубила. Може б ишо он и продлилси бы ишто ба, рановато было — шестьдесят семь ему. Ну нечем дыхать, чо — лопатки, ключицы нет, лопатки нету.

Ага. Ну помираеть у меня мужик, всё. И мать, отец. Не, матюрю забрала сястра туда. Мужик помираеть у меня. Он хотел, домой чтоб я его отвязла. Я говорю: «Куды, не на чем». Не было ж машин ничаво. Ага. «Ну там схорони».

4. В Тишанской

Теперьча дочь у меня тут живёть, выучилась на почту. Ну послали её суды в Тишанку, она тут замуж выходить. Ну чаво ж, приедеть: «Мама, давай поедем

[3] МТС — машинно-тракторная станция.

сюда. Я тут хатку тобе куплю, поедем». Ну я говорю: «Только отдельно». Ну купили, перевязли меня, живём, живём. Пойду поем там чего у ней, там у ней дочь тоже родила двух дявчат. Ну чо ж, надо нянчить. Вынянчила слава богу.

А! Никому я не нужна. Вот такая житуха. Теперь вот суды приехала, начала заводить, ну хоть курочкув завесть, пять курочкув. Завяду, вот зимой две унясуть, три оставитю. Три унясуть, две оставють, две унясуть, три оставють, так вот всю время. Вот третий год пока ничо, так пять курочкув и вожу. Нельзя же, без этого нельзя. Пойдёшь по Тишанке, яиц много не продають или цаны не сложитю. Ага.

Ну, думаю, зерняца нету, пойду я в контору, к Антонову, был директором. Захожу: «Здравствуй» — «Здорово. Чаво?» Я говорю: «Да сынок, хоть полцентера бы зерняца бы». — «А ты иде работала?» А я говорю: «Дак в колхозе». — «Дак ты не нашего, не нашего этой селе. Иде ты работала, туда езжай». А я: «Ну район-то один, лишь сёла разные, раион-то один. Как-то же надо, — я говорю, — в Сходную ведь я ж не пойду туды этыю полцентера получить-то. Неужели, — я говорю, — у вас тут нельзя полцентера дать?» Да. «Ну иде работала, туда и иди». Я говорю: «Ну тогда ты, сынок, малограмотный. Да, — я говорю: — Не надо так, сынок. Полцентера, что ты полмяшка не найдёшь, а? Два-три вядра».

Ну всё, больше я никуды не хожу. Ну тут как появются продавцы, глядишь, на машине пэзэ[4], мы берём. Эти отрубя пять рублей, и десять рублей, и сорок рублей. Ну я брала, теперь всё, больше негде. Осталось там чудок зерняца.

А тут уж бабья лето подходить. Да. Вот спешать картошку рыть, она когда сухая буваеть. Вот я ныне выкопала, пять ведер я посадила, три вядра нарыла. Выкопаешь — ничего, выкопаешь — ничего, выкопаешь — ничего, одни корени. Или вот так вот — монисты нанижутся так вот во. А я говорю: «Да она теперь на мужичью перешла, всё, вот три штуки идут, две мокрые». Ну люди поливали, мне нечем было полить, а люди поливали. Ну тоже хто как, а то и полито, да ничо нету.

5. Работа в колхозе

Вот она счас вот книжка у меня трудовая. Там эти сотые. Ну чаво они эти сотые? «Трудодень, трудодень, — говорит, — заработала». — «Какой?» — «Двадцать сотых». Ну хто понимаеть. Я её дочери — «Ты порви, мать, её». Я говорю: «Ну да тобе чо она, хлеба не просить». Да. Вот она, трудовая книжка называется. А какие они сотые, чаво они означали? И вот она так и ляжить, я её никуды.

Ну а мне пятнадцать лет, сказали, отработай, тогда будешь получать пенсию. Ну не постоянно, постоянно мне няльзя было. Чо ж, придёшь иногда вечером поздно, раньше ж ходили — солньце встало, ты уж на колхозном базу[5]. И вечером придёшь — ни корове нету, ни детей не соберёшь. Иной раз закричишь. Да, некому было приглядывать, девочка была — лет одиннадцать.

Да и телятницей работала, и коров убирала, и свиней убирала, и огороды садили, и табак, и помидоры, огурцы, ну, ну всё, чаво в колхозе было. Да. Я

[4] ПЗ — Павловский автозавод.

[5] Огороженное место при постройке, двор

постоянно не работала, мне нельзя было, а так вот приду и говорю: «Куда итить?». Или солому скажуть возить на колхозный баз вот на машину. Поедешь туды, приклады клали. Мне близко, гумно вот так была, а я вот жила. Они как приедуть: «Эй, иди сюда», — вот я бягу. Скирды клала. Вот всю лету скирды. Вот моя работа такая была.

А телятница — я вот утром, повязуть молоко, просепарируют, привозютю, размеряешь им. Какой тольки отялилси, от корове поишь, а какой уж отпоёный двадцать дней, это поишь обратом. Да. Вот такие клетки, и он лишь голову просуneть, а так он сволится. Вот вядро постановишь, напоишь, другого так вот. Потом напоил, клетки чистишь, это выгребешь, это напоишь, этого туды, этыю ведёрку помоешь, опрокинешь, этыю берёшь, несёшь ему, телёнку. Да. Ну, по-моему, у меня двадцать телят было, по двадцать телят на уборку. И вот эжель выпоишь двадцать всех, одного телёнка дають. Да. Вобедах подоили коров, гонютю, оттэль привозють обрат. Этую подоили — молоком цыльным поим, а етым — обратом, а потом опять чистим. И так вот в день три раза вот так вот поим, и так вот это делом занимаесси. Ну чежеловато было. Да. И вот бросила я, а так прям аж тянется туда.

Придёшь домой, а тут детвора, а встанешь рано. Пякли хлебы сами, да посажаешь их в печь, иногда хто вытащить, а иногда вечером приду, они ишше сидять в пече. Да. Думаю, да что же такое, тут хто-нибудь пришёл. Я говорю: «Да вы-то, детвора, да большенкие, да шумнули бы хуб Надьке там или кому, вынули б пироги. Ой!

Было, было, было труда много. Много труда, но зазря. В колхозе работали, ничо не получали. Ни копейки. Ни копейки! Как жили? А налоги чертенные. Да то теранок, то яблочек, телушонку там, бычишку вырастишь, вот это продашь, сунешь и всё, опять голый. Опять голый. Дошли так, кой-хто дошёл, истинный Бог, нечего натянуть на это. Да.

6. Трудно жить пенсионерам

И вот я теперь тут живу, ехать бы надо в свою в сяло бы, там я всех знаю, и начальство там, хучь она мяняется, но я знаю начальство а тут я ж никого не знаю. Ну пойдёшь: «Иде работала, туда и иди». Да как же это так, иде б я не жыла, я ж человек. Вот так отвечають. А вот сычас и вовсе. Кой-хто тут проработал всю жизню, и всё, и ничаво. Да разве можно так, а? Нельзя. Хамство, это хамство, я прямо скажу, хамство. Ну вот так там имеешь курочкув, нельзя разве что хотя б центер дать, пенсионера ублаготворить, шо у тебя не найдётся?. Ну я уж тут не работала в этом в совхозе, там работала, ладно, я не обижаюсь. А вот тут некоторые проработали тут всю жизню, и родились тута. Ну чо ж, нету. Да. Нету. И так со мной же вместе покупаютю. А её купи, вот они отрубя возютю — тыщу триста тонна. Да. А чо эти отрубя они? Они вымолотые и всё, и ничаво они. Ну я взяла как-то два мяшка, кормлю, мяшу курям, кормлю, вроде ничаво, бегаютю. Да. Чижеловато, с этой вот жизни чижеловато жить.

У меня внук в Нехаевском живёть, он не внук, а он братин внук, ну он мне помогаеть, вот эти вот дрова он мне возить. Привезёть мне: «Бабка, хватить?» Я говорю: «Хватить». А эжели вот он йих не заберёть, а тогда, может, когда

яичек он мне привезёть. А то порублю. Ну нечем будеть кормить. Вот докармливаю и всё.

Разве можно так жить, а? Нельзя. Иной раз поглядишь-поглядишь, думаешь к детям пойти. У нас тут одна ушла к детям, — не там села, не там лягла, не так прошла, палас задрала. Да. И вот она приехала в свою хату, хотя, спасибо, не продала она, вот счас живёть тута. И говорить: «Девки, бабы, никуда не ходите, живите, пока я». Не знаю, я в своёй натурой пока буду, пока тут вот помру на этом месте вот.

Копейкю отдай, а чего-й-то ж хочется купить-то, а там скажутю: «Да нету денег». Я и буду сидеть глядеть. То я вот то получаю, да утро пойду мороженое возьму, пойду колбаски кусочек возьму, да пойду сыру возьму кусочек. У нас тут один, ну как бы сказать, у него свой ларёк, всё своё. Вот он ездиеть закупаеть и продаёть тут. А почём уж он там берёть, хто его знаеть. И вот он хлеб возить. Ну привезёть он, там-то мы не знаем, сколько берёть, а тут четыре продаёть буханочку. И булочка три рубля там такая-то вот кругленькия. Ну это хорошо, я одна, мне на два раза раздялить, а вот тут-то есть пять душ, да там не хватить по кусочку, а три рубля. В общем надо три взять — десять рублей. Это ныне, а завтре чаво же? Завтре на чаво ж покупать-то?

А у нас летом воды не было. Тут же этот фирмер какой-то урюпинский, он тут как начал ворочать эти колонки, так я из-за Хопра, из-за Хопра возила. Это носила воду. Ну тогда можно было черьпать, она близко была, а это теперь спустися, потом отсэль опять спустися, и даляко не вынесу, язык вываливаю, а йисть-то хочется. Во.

Колонка вон там вон, да в неё не шла вода всю лету. Они шланги побросаютю, жители. Вот у них своя колонка на базу, они подсоединять, она по трубе-то идёть по общей, вода-то. И вот она сюда не доходить. Да я покричалася лету. Да. А йисть-то хочется, я и носила, носила из Хопра прям. Ну пройдёшь ступенькю, потом пройдёшь опять туды, потом пройдёшь опять. Даляко, даляко она ушла вода, даляко. Пока вынесешь, так язык вывалишь. Да. Вода хорошая, ну далековато, ну всё-таки таскала. А я не большие ведра, а пятилитровые. Возьму, с ними полегше выходить. У меня на коренёк по кружечке. Ну чо ж, огурцы свои, капуста своя, помидоры свои, перец свой. Пожалуйста. Вот. Всё своё. Ага.

7. Грамота, чтение

— *А вы в школу ходили?*

— Не. А как раз же революция. Пятнадцатого, как раз революция, и суды до тридцатого нету никого ничего. Отец повёл нас, брат у нас старший был третьего года и говорить: «Мать, отдай дявчат хуть чтоб грамотные были». Ага. Ну чо, повяли. Вучитель: «Переросли». Ага. Ну тогда он, брат, и говорить: «Ну тогда знаете чо, давайте в вечернию». Ну а чо это вечерния. Придём, там он записал, не записал, да придёть выпитый. Ну чо: «Идите домой». Ну так я чудок разбираюсю. Книжку иногда вот читаю. А так какую слову, а какую хорошо так вот. Книжку прочитываю, это «Казачку» вот это. То вот теперь не найду я — Шабанов, Шабанов. Он же Шабанов-то Астрахань, и Саратов, и Волгоград — это его вся зямля была. Да. А он там поиздявалси, взял молодую девуш-

ку, она беременная от соседского парня, она любила его. Да. А он узнал, начал бить её. Побил её, её отец пришёл, забрал, она у отца родила и помираеть. И говорить: «Папа, отдай этого ребёнка Феде, рядом живёть». Да, всё-таки он взял его, этого ребёнка. Хорошая книжка, прям хорошая книжка.

— *А ликбез у вас был?*

— Не. То тогда не было, какой он там ликбез, йисть нечего было. Во. Голые все ходили, разутые ходили, обуть нечего. Ну потом брат у меня, нас старьше был, ну тогда скочетовал какую-то в школе учить, хто неграмотный. Ну и чо ж, мы там походили-походили, потом урожай пошёл, нас в поле угнали быков водить. Вот мы к скирду подведём, они скинуть, мы заворачиваем и туда, куда там эти ль эти накладають, а мы энтих ведём сюда, складали. Так вот тако во.

8. Знахарство

Но а вот я грешница, не буду скрываться, я лячу, вот всю Тишанку лячу. То с шелудями[6] придуть а вот это вот как пойдуть шелудя, а ну-ко называють «огонь лятучий». А врачи ничаво. Поляжать, поляжать — суды ко мне. Вот сибирская язва вот это вот, потом это вот антонов огонь вот это вот, а его ж врачи не лечуть. Вот сучью вымя, это буваеть под мышкой, а её не лечуть, они сюда идуть все. Да. Ну хто ведьма, хто колдунья называють. Да это как хотишь, делов.

— *А откуда вы знаете все это, кто вам дал эту науку?*

— Отец. Я от языка. Вот мы были две девчонки, а он, отец, и говорить: «Дявчаты, — щас как вечером залазить, тогда ж лампы были, залазиють на печь, — ой дявчаты, ну-ка лезьте суды, садитеся». Вот мы посадимси. «Говорите: Отчи наши». Мы говорим: «Отчи наши». — «Иже иси» — «Иже иси» — «На небеси» — «На небеси». Да. Ну всё прочитаем, он говорить и мы заследом. «Ну хто у вас?» Ага. Ну я иногда прочту, а сястра мыкаеть, мыкаеть. И так не поняла ничаво. Да. А я вот всё от няво, от этого вот. Да там они и молитвы не такие-то ну. Вот это вот трудная — «живые помощи». Да, она от сибирки лечить, язва вот сибирская буваеть. Да, вот многие уж были у нас. Да. Пятнами пойдёть красными. Да. Мужик с Нехаевского приезжал. Богатый, наверно, такой на работе он. По нём красные пятны пошли. И он два раза приехал — Бог миловал. Да.

Вот их надо спярьва прочесть: «Живые помощи вышне укрой у Бога небесного, вот ворошить рече б, Господи, заступник еси, прибежище, Бог мой, отца ловчей мити же пляшмя свои мясна, во тьме приходящий ко мне, спаси меня от льва, от змея, от лихого лиходея, и тьму ему, язву ему, долготы дни. Аминь, аминь, аминь». Теперьче два раза надо с хвоста до голове[7]. Вот тут трудно. Вот сибирскую язву лечить. Во. А это так лячение вот это вот, вот эти вот все прибасочки[8]. Ага. Это на огне надо лечить, чтоб огонь горел, и тряпочку бяри и мочи. Да. «Огонь лятучий, возьми огонь горючий». Только «Отчи наши» надо читать. Она просто всё, а вот нихто не научится тут. «Бабка, научи нас». Я говорю: «Не, я не учу никого». Да, никого не учу. Во. Она простое всё, видишь как.

---

[6] Сыпь по телу, струпья, короста.

[7] С конца до начала.

[8] Прибаутки, присловья.

А что-й-то есть на белом свете, какая-то сила есть. Во. Вот в больнице у нас тут Буянов был директор, девочка у него заболела, заляпило её всю вот как лишаи, это лепуха. Он её возил, возил утром туда, — домой. Ну сам директор, чо ж. Потом она дочери сказала: «Галя, мать ничо не поможеть?» Она: «Да повяди». Два раза привяла и как рукой сняло. Но она, правда, мне хорошо помогла: маслица дала, на платью дала за это дело. Да. Вот так вот.

Килы вот у нас тут один сажаеть, гадюка. Да. Килы тоже простые. Только надо «Отчи наши» читать: «Огонь горючий, килы болючие, килы гнилые, а под гнильём аминь, аминь, аминь». Во. Сыпь, сыпь такая, пузурьки беленькие. Вот нарывають — прорываются, нарывають — проходитю. Да. А это вот буваеть кила у маленьких, у дятишек. Ага. Тоже идуть вот. Как он народится, так идуть ко мне все. И девочек и мальчикув, идуть все. А это вот килы, хуть они и простые, но они докучные, они колючие, йих тронуть няльзя, прям колеть, как всё равно иглы. Вот настоящие иглы. Их тронуть — колючие страсть. Кил как насажаютю, ей ни ходить, ни сидеть. И вот ведь люди делають это, подлюки. Я уж прям иной раз говорю: «И знать, Господь не можеть сделать этого, чтоб прекратить-таки это дело». Да ты помоги человеку, а это чо ж ты делаешь-то. Да. Вот она как.

Вот Стаценко, он пошёл там одну поругал женшину: она не стерегёть корову, а выгоняеть. Он пошёл поругал, оттэль пришёл домой — ослеп. Да. Потом она и говорить... Забыла, как её звать, Надькя, что ль. И говорить: «Иди к этой бабке». Влазиеть в хату. Я говорю: «Что это такое, председатель идёть?» Да. «Баба, помоги». — «Чаво такое», — я говорю. — «Да вот, не вижу». А рассолу надо огурешного, он тысяшный огурец называется. «Всё принёс я, всё принёс в баночке». Ну я ему наговорила — как рукой сняло. А тогда водки было трудно, он мне приносить бутылку пять звёздочкув. Ну я, правда, не буду бряхать, я её прибрала. Приехал зять с Волгограда, я приношу, говорю: «На, не покушала». Какая она, что она значить эта самая, эти пять звёздочкув, горькия, или плохая, или какая ли она. Говорять, как самогон. И вот он мне принёс: «Баба, спасибо тобе за ето».

А там пять слов. А нихто не знаеть в Тишанке. Вот молодёжь вот эта вот — она совсем ничаво. Вот грыжа вот эта вот буваеть у дятишек, все идуть суды. Да. Тоже «Отчи наши» надо читать. «Отчи наши» прочитай и «Бабка, бабка, чо грызёшь?» — «Грызу грыжу». — «Грызи больней, чтоб не болела, не отрыгала». Вот девять раз надо сказать. Да. Вот тоже простая, а вот помогается. Вот детишки, дятишки вот тут многие придуть некоторые, у девочки прям пупочек вот такой-то вот. Я говорю: «Да вы чего ж до этого довели?» Раза два-три привядуть, вберёшь ей туды его, пупочек, марлечкой перевяжешь, раза два-три наговоришь, всё хорошо. Да.

Я так, можеть, не знаю, я дюже не скажу, что есть ли Бог, нету ли его, ну какая-то сила там есть, вот какая-то есть. Вот то, что помогается.

Вот Калягин у нас, он там щас директором в Артановке. А он тут был главный экономист что ли. Ага. А у него сучье вымя. Он три ночи орал, на стенку лез. Она там эжли как разнесёть, так страшно. Прибегаеть один раз, я тут чо-й-то стою. Ну, раздявается теляшитель[9]. Я говорю: «Сашка, ты чего?» — «Баба,

[9] Догола.

погляди, три ночи не спал». Ага. Я говорю: «Да это ерунда. Только, Саша, она двянадцать вяршковая, завтре опять приди» А он пришёл, уснул и на другой день вобедах встал — забыл. Говорить, спал без памяти. Потом как она его опять распякла, он второй раз прибягаеть. Я говорю: «Я тобе ж говорила» — «Забыл, бабка». Да. И вот он почитаеть. Здоровкается всягда, молодец парень. И Стаценков иде бы не ехал на машине, остановится: «Здорово, бабка». Молодец, парень. Да. А остальные, бритёхи эти, хоть и помогёшь — ничаво.

— *А вы скот тоже лечили?*

— Да, да, бувае, буваитю. Да, вот как насодютю на вымю килы, да, буваеть, сибирка схватить, она всё, вытянется и вот язык вывалить, всё, готов. Тут скорее, скорее, скорей, ну на воде наговоришь, помочишь, глядишь, встала, встала, пошла. Да. Ага. Ну было, было дело, было, это прям честно вам говорю, не буду обманывать.

— *А молитвы те же самые?*

— Да, да, да, да. Только вот эти во «живые помощи» прочитай, а потом назад два раза. Вот назад чижало. Да. Это грамотный быстро поймёть, а вот неграмотной плохо. Думаешь, думаешь, чо ж говорить? Да. Вот плоховато. Ну чо, молитвы эти ж самые. А вот придуть: «Бабка, расскажи». Я говорю: «Не, я не передаю это дело, за это грех. Мне передали, а я не, я не буду передавать».

— *А как это люди болезнь на человека наводят?*

— Есть такая-то трудная молитва. Вот она пошопчеть, вот килы сычас на тебя накинутся. Да. А вот у нас тут один старик, он эжели осярчаеть, или не поздоровкаесси, сычас, сэчас же сделаеть, подлец. Да. Во чего делають, гадюки. Не, так нельзя, ето дело нельзя ето дело. Помоги человеку, тебе Господь дасть здоровие. Во. Но вот этим вот делом не надо. Шоб человек не страдал этим делом.

Вот так вот во. Придуть: «Баба, полячи». «Ну давай». Наговоришь, она и пошла. Ну а потом вот это вот прослыхала: «Галькя, твоя мать колдунья, твоя мать ведьма». Да. Вот так вот. Придуть, кто придёть, я говорю: «Я ничо не знаю». — «Дак как же, баба?» — «Да вот так и так-то». — «Баба, по...». Я говорю: «Я сказала, ничо не знаю». Да. И пойдёть не солоно похлябаеть. Ну всё-таки бьётся, бьётся, тем и тем. Надысь одна там и тем, говорить, и своёй мочой, и тем, и тем, всем, — ничо не берёть. Пришла со слязьми. Я говорю: «Шура, няльзя же так. А это ты помнишь, меня в магазине ты ругала, а: «Ты колдунья, ведьма ты». — «А ведьма, ты, — я говорю, — вы не знаете, какая? А теперь вот пришла с носом[10]». Я говорю: «Ну придёшь вечером». Вот они чо делают тута.

9. Лечение травами

От старости травы надо пить, травы. Я вот не буду скрываться, я вот девять трав набяраю, ага, пустырник вот садовый, это, как её, ромашку, теперьче шалковей, потом полявой хвощ, потом белоголовник, бессмертник, корепиву. Есть корепива вот под домами, этыю боже избавь, а вот садовая, она високая, цветёть хорошо. Потом ишо забыла уж, какие. Да, это мяту, душицу, вот это вот все,

[10] С подарком.

девять трав. И вот я пью, завариваю, чайничек у меня, вода закипить, я брошу туды. Я не бяру вот эти вот — кофе, вот эти я не бяру йих, а вот этыю траву. И хорошо помогается, прям дюже хорошо помогается. Да. Пью, и помогается.

А вот эти вот таблетки попила, пошла и говорю: «Дядя Миша» — врач, он наш там сосед, ну тут уж он лет тридцать работаеть. Я говорю: «У меня чо-й-то голова, ни наверьх не гляну, ни вниз». А он: «Это у тебя старьчий скояроз, я тобе дам». И вот одну, пятьдесят штук йих в ней, вот он говорить: «Пей, пей безотрывно». И вот попилась, а теперь оглохлась. Да. Вот тут заслонил вот, хоть бей вот тут, не пробьёшь, не чую[11]. А почему такойе, не знаю. Я пошла к няму, говорю: «Миша, вот так и так». Он: «Не можеть быть». Ну да я ж чую, от чаво.

А теперь бросила йих, налягла теперь на траву. Траву пью и всё. Да. Девять трав набрала, надо двянадцать. Ну можно и двянадцать набрать, ну кой-какую ня знаешь. Да. У меня есть тут газета, а в ней всякие там травы лечебные, кому-й-то отдала почитать — не принесли. Гадость, во проклятый народ. Одна и говорить: «Ты кому чего дашь, ты записывай, а когда глянешь — ага». Я говорю: «Так как же записывать, когда я не знаю, как же это записывать-то?»

10. Дети

Вот так вот мы, сынок, и живём. А дятям мы не нужны. Родить, родить и бить их. Шоб их не было. Вот это правильно будеть. А их у меня шестеро. Ну два помёрли, они двойняты у меня, ага, ну их давление подушило. Один пошёл в туалет, упал и... Да. А другой повёз жану на работу, отвёз, пришёл домой. Ну он разобратый, мне говорять, что он ведь разобратый, в одних трусах. И как лёг на диване и кончилси. Ну всё, недостатка сердечных вен. Да. Ну вот и всё вот. А теперь четверо вот осталося. Один в Сибири, один в Нехаевском да дочь в Нехаевском. А одна дочь вот она. Вот видишь, и не глядять. «Мама, давай» — все. Я говорю: «Да как же, я тоже йисть-то хочу. Как-то надо». Вот давала, давала, давала, давала, давала и дошла, что мене не с чем в магазин сходить. Я говорю: «Нет, надо свою копейкю иметь». А там я не то пообедаю, не то нет, а он придёть пьяный: «Ха-а, ха-а, ха-а!» — «У тебя уж и глаза не глядять сесть за стол-то». Вот она наша какая жизня была. Хух!

Вот я у дочери вынянчила правнучат, уж им одной одиннадцатый, а другой десятый. Ага. Приехали они, а тут же Хопёр. Ну ей няльзя, она в конторе работаеть. «Ну, мать, вяди». Ну и вяду. Боисси ж, боисси, как бы это... Да. И вот я покаместа они сами стали купаться, я всю времю ходила с ними. Вот сижу, сижу, утром пойду часов в одиннадцать, двянадцать и до пяти или до шасти. Там кипять вот так вот, кипять — орда. Глядишь, глядишь, иде ж они есть, как бы не нырнула. Да. Ну я приглядывала, полдятишки выросли — всё, я теперь не нужна.

Вот так вот, сынки, наша жизня старая. А я дочерю привязла с Урюпина: жить нечем, всё. Они на квартире, большие платы были за газ, а они четыреста получали с ним вдвоём. Он не работал, уж я не знаю, как ему дали двести рублей. Да. Она-то хучь поработала, ей чо-й-то двести двадцать дали, мало. Она

[11] Не слышу.

выработала прям нормально. Вот. Говорить: «Мать, забирай». Я их прошлый год этыю вот пору поехала забрала. Машина тут попалася у внука, я говорю: «Федя, поехали, заберём».

Ну привязла, живуть, живуть, живуть. Ага. «Мать, деньги есть?» Я говорю: «Есть». — «Ну папирос надо». Пойду папирос набяру. Ага. Ну там то колбаски, то там маслица бяру это. Думаю: «Чо это такое? Неправда, они, наверно, либо прикарманили деньжаты». А она сказала: «У нас там осталось сотни полторы». Думаю: «Хуть бы эти взяли да отдали б суды бы».

А тут дочь начала самогоньцем заниматься. Ага. Гляжу, она нырь туда. Да. Приходить, а я говорю: «Валя, а чо такое делается?» — «А чаво?» Я говорю: «Так няльзя, пятнадцать рублей бутылка». Ага. Ну они пропили это всё, и он стал туда учашшывать.

Потом один раз: «Мать, дай денег». Я говорю: «Сколько?» — «Тридцать рублей». Я говорю: «Чо тобе?» — «А надо». Я говорю: «Ну скажи, чаво купить ли хошь? Я и колбаски бяру, и масла беру. Ну чо ж вы? Всё ж надо? Надо. А вы чаво ж? Теперь чо, ты туда хочешь пойти?» — «Нет». Я говорю: «Ну у меня таких денег нету». Ну щас на себя пальто, платок и ушла. Ага.

Ну там выпили, оттэль бутылку наливають и сюда идуть. А он тут бегаеть ищеть. Я говорю: «Ты чо это бегаешь, как худой щанок на сраньё? Иди» — «А меня не звали». Я говорю: «Она-то ушла, и ты иди».

Приходють, я сижу тут. Одной шерсть пряла, она говорить: «Повяжи мне чулки», ну я вяжу сижу. Гляжу, они вваливаютцу, обои дочери. Тут вот столик стоял. Становить на стол бутылку эта, какая со мной живёть. Ага. Я говорю: «Валя, ты чо делаешь, а?» И он сидить и говорить: «Валя, больше не пей». Ага. Ну я вяжу сижу. Они налили по стаканику: «Ну давайте выпьем». Я говорю: «Не, я пить не буду, я не могу» Так она и стоить эта рюмочка. Они выпили по рюмочке. Она сидела качалась, качалась, углядела, достаёть, выпила, брык на диван, свалилась.

Эта дочь встаёть, я сижу. Встаёть, я думала, она мне чо скажеть, — она раз меня в голову. Я говорю: «Это за чаво?» Как вскочу: «Это за чаво? А? Скажи мне, за чаво?» Ухватилась за кровать, зять подходить. Я не расположила, что он вдарить, — он как дал меня в голову, я брык туда вон. Ну, правда, живность у меня была хорошая, я как вскочу: «Это за чего? За чего? Подушу сычас!» Кочарёжка стояла, я этыю кочарёжку цоп, хотела её вдарить, этыю дочерю, какая тут живёть. Ну он чо-й-то рукой махнул, а я по тарелке, тарелка разбилася. Она ляжить пьяная никакая. Ага. Тогда хотел ишо зять вдарить, я как ему тако вот провела тут около, глядь — кровь. «Это за чаво ты? — я говорю. — Убью. Сказала — убью. Выйди, подлец». Ну эта дочь ушла, вот какая там живёть. Ага. Он стал в дверях. Я говорю: «Ты чо в дверях раскорачился? А? Ты чо, хозяин тута? Что-й такое, зачели бить меня? Приехали на мой кусок, на мой хлеб и бить меня? Уберися». Ну он отпустил.

Я вышла сюда, зашумела: «Люди, помогите, люди помогите, убиваютю». Тут вот бабка живёть, я говорю: «Наташа, не пускай, а то она будеть драться, ты ничо не сделаешь. Она будеть кидаться, а ты ничо не сделаешь». Да. Она бегёть, энта дочь, а эта лежить спить недвижимая.

Ну ничаво, она ушла. Чо это она с ней погутарила[12] и говорит: «Ну ты чаво?» Я говорю: «Пойду х председателю. Я теперя не пойду домой — убьють. Раз это кидаются убить». Ну пришла — он был в Михайловке, я к секлетарю, к Марье Ивановне. Правда, она посочувствовала, быстро прибегла со мной.

А дочь, это какая тут живёть, все тряпки там, ну простинки, матерце там, это всё вытаскала и домой отнесла. Я прихожу, говорю: «Ничаво нету, и деньги были у меня триста пятьдесят рублей». Она говорить: «А у тя деньги есть?» Я говорю: «Есть». — «Иде?» — «Да вон в сумке». То всягда я прибирала, а это как пришла из магазина, повесила сумку, и они там. Ага. Я как разомкни кошалёк, а денег-то нету. Я: «Марья Ивановна, деньги вытащили». Она: «Ну-ка пойдём туды». Мы приходим — они уж узлы там связали. А там у ней сын, туда к сыну уходить. Ага. Я: «Марья Ивановна, это мои узлы». Она: «Да забирай». Я забрала их. Мы туды, к Марье Ивановной. Тогда я говорю: «Марья Ивановна, я боюся итить домой — убьють». Она: «Пойдём ночевать ко мне». Я говорю: «Да как же я пойду, брошу, а тут и всё вытащуть совсем». Ага. «Ну пойдём».

Приходим суды, он сидить телевизир глядить. Я говорю: «Ты покупал яво? А? Ты, — я говорю, — покупал яво — глядишь, а? Вы чо делаете, а? Вы до кех это будете? Вы чо, приехали убить меня и всё, и квиты будеть? Не, завтре я вас поубиваю». Ага. Ну всё, выключили телевизир. Марья Ивановна говорить: «Васильев, дай расписку, что ты бабку не тронешь». А он: «Даю гарантию, не трону».

Ну и чо ж, как я была, обутая, в куфайке, в платке, так я сидела на кровати до утра. Жду, когда она проспить. Ну просидела до утра, начало рассвятать. «Валя, Валя, встань». Встала — никакая. Я говорю: «Ну чо, хорошо сделали, а?» Привожу его: «Глянь, хорошо вы сделали? Такой тарарам, а? Сычас же чтоб убралися. Свяжи узол и хоть пеши уйди. Куда — не знаю. Или квартеру ишшыте».

Ну Марья Ивановна за деньги. Говорить: «Утром придёшь». Я прихожу утром, так он, подлец, не пошёл, её выпроводил насчёт денег. Приходим, и ента дочь пришла. Она говорить: «Отдайте бабке деньги добром». Они говорять: «Мы не брали». Я говорю: «Ну Марья Ивановна, они ведь двое были, зять был дома, тут в хате, и эта дочь, больше никого не было в хате. Хто-й-то из них взял». Ага. Ну тогда дочь и говорить: «Ну я не брала, ну принясу». А я и говорю: «Марья Ивановна, я её не пущу, я буду запираться. Только с человеком пусть она». Она тогда: «Принеси в совет». И с Марьей Ивановной принесли. Так она бросила на стол деньги, дочь, ни слова не сказала, что «Мама, извини» или чаво. Ни слова. Вышла — пошла. Я пересчитала эти деньги, положила в карман.

Я говорю: «Валя, ну чаво, хорошо было в совете сидеть, а? Ты почаму пошла? Ты ничего не видала, почему ты его не послала, а? Он же орудовал эти дела». И он: «Я больной». Я говорю: «Валя, не верь ему, он как бутай, бил меня. Он начал руки мне вертеть, ну у него силы, и у меня была». Во. Я говорю: «Эх ты подлец, бессовестный, как тобе не стыдно? Вы же до холода дошли в Урюпином. А? Я вас привязла, и картошка, и мука, и крупа, еште, варите. А вы чо делаете?»

Ну потом я всё, не стала с ними разговаривать. Она тогда, какая тут, и говорить: «Мать, так няльзя жить». Я говорю: «Можно. Ишо в голову я вашу,

[12] Поговорила.

теперь можно. Вот. Это можно. Вот так, Валя, без обиды, никакого ни ругни, ничего».

А у ней там в Нехаевском хатка и дочь живёть. Ну хатка, она разваливается, ну не знаю я, ну пока что держалась она. Я говорю: «Вот, и хотите чи ищите квартеру и коли хотите, как хотите, дело ваше, ну чтоб вас не було в хате». Во чо делается! Сказала: «Помру, лазить буду на коленках, но не буду никому кланяться, одна буду покаместа».

Ну пока внук ездиеть, сынин внук, вот он мне дров поприпёр зимы на две, наверно. Там пеньки вот такие-то вот. Да. Ну и так он привозить и там то варенья наворить, то мясца привозить так тако во. То крупов привезёть. Молодец парнишка.

Вот такие-то вот делишки были. И вот я щас не хожу к ним. Вот энто вот было внуку день рожденья девятого апреля, ага, и вот я бягу, а зять и говорить: «Мать, Андрею день рожденья, приходи». Я говорю: «Мне там делать нечего. Не надо. Глазами глядеть, — я говорю, — я не хочу. Били меня, потом глазами глядеть, не, мне стыдно».

А правда, у нас врач, он лет тридцать тут работаеть, он и говорить: «Баба, я теперь буду рыкомендовать: родила — бей сразу на месте. Бей на месте». Я говорю: «Да вот надо было». Это мужик: «Ой, Саня, эжель только ты сделаешь чаво, я брошу тебя тогда. Роди, роди, это капитал, капитал». Ну правильно, есть дети — на ноги постановють, а есть — с ног сволютю. Пословица старая так говорить: есть на ноги постановють дети, а есть — с ног сволютю. Вот старые люди, говорят, дураки. Да они хуть неграмотные, но они умные.

У нас правильно отец сказал. Я вот не знаю, каких он лет, какого... Сталин вот, Сталин какого года? В каком году родился, не помните?

— *В семьдесят девятом.*

— Во-во-во и мой отец с ним одногодка. Да. Одногодка с ним. И вот он и говорить, иногда сядеть и говорить: «Да, дойдёть время, мать от детей откажется, дети откажутся от матерей». — «Ну да, ты, батяня, будешь притворять[13]». Да. Чо, неправда?

Старые люди говорили, ой до чаво они, старые люди, они умны были. Они умны были. Да.

11. Землетрясения

У меня Библия есть. Библию прислали мне. Ага. Бесплатно. Америка прислала. Да. И вот они мне вперёд книжоночку прислали, так большая, узенкия, ну длинная. Ага. «Милый ты друг, напиши нам письмо, что ты осознала, что есть вроде». Да. Думаю, я не знаю, есть Он или нету. Да.

Я вот это вот Библию кой-иде там читаю. Ага. Вот Исус Христос сидить на Израильской горе, ну, у евреев. У евреев Израильская гора-то. Да. С ним сколько, восемь этих, ну, яво преданные были друзья. Да. Он и говорить: «Вот черезо время...» А там сделали дом двух или трёхъятажный. А он и говорить: «Вот черезо время, — говорить, — яво не будеть, камень на камень будеть». Они гово-

[13] Придумывать нелепицу, сочинять.

рять: «А когда?» Он говорить: «Дойдёть время, будеть. Вот зямли трясенье будеть, города будуть уходить. Города будуть проваливаться». — «А когда?» Он говорить: «Дойдёть время, вы сами узнаете».

Вот надысь, вчара передавали, я не поняла иде это зямли трясения. Сто двадцать погибли, побилися, а этих всех раненых тащать, они падають на улицах, показывали, падають, их на носилках тащать, она кончается там. Я включила, а он идёть, а вот не знаю, иде тольки зямли трясения была. Я включила, а он уж показываеть. Сто двадцать погибло. Скольки гибнеть нонешний год народ вот эти года. И на самолётах, и на автобусах, и на пояздах, а! А народу — не провернесси. Во чо делается. Во многолюдие, так многолюдие.

12. Ненависть и лень у людей

И один одного ненавидим. Я тебя ненавижу, ты меня ненавидишь, а за чаво? За чаво? Ну я вроде получше живу, энтот похуже, ну и что же? А? Вот я послухаю, пойду в магазин. Вот у нас тут молодая, она заядлая за грибами так это. Ну да всем она молодец баба. «Э! А! Пошла! Пошла, обезьяна, пошла, пошла!» Я говорю: «Женщины, вот вы молодые, — я говорю, — я не буду. Что хозяйка, то хозяйка. У ней и грибы, у ней и помидор, у ней огурцов, у ней, — я говорю, — всё».

А вот тут живёть мать с сыном, даже огурца, огурца нету посолить. Я говорю: «Галя, да чо ж ты делаешь? В зиму без...». Я вот без солёного не могу. Я солёное нарязаю здорово. Да. Я говорю: «А ты как же без солёного?» — «Ну вот видишь вот как». Лень. Лень поливать.

13. Современная молодежь не умеет работать

Ну я чо сычас говорю, что молодёжь сычас можеть сделать? Лошадь не запрягуть, а! Вот надыся я стою вон там вон вон. Ага. Потап привёл лошадь, ну запрягать поехали корове накосить там. Уж он ладил-ладил этыю дугу — никак. Вот прислонить её к оглобле, по энту туды пойдёть — эта упала. Я говорю: «Андрюшка, ты неправильно запрягаешь». — «А как же?» — «Да ты, — я говорю, — дугу-то перевярни вот так вот на себя, а этой вот вот так перекрути, да шлину[14] вот так во заверни, она, — я говорю, — как вольётся. И тогда туда переходи на энтыю сторону». — «О, да и правда». Да. Ну второй раз опять приехал на другой день, а да всё равно не запрёг. Ага. Всё равно не запрёг.

А люди старые раньше — вот эта-то калмыцкая бечава — калмыцкий узол завязывали. Да. А щас его хто завяжеть? Нет. А калмыцкий узол — вот счас на руку накинь, а я отсэль, так подовздявай, а тут вот подсудова пятлю этыйу и затягай. Он не развяжется. Ага. А его нихто не сделаеть. Называлси калмыцкий узол. А его чо, вот так на руку, потом суды протяни, отсэль бечаву. И вот он тогда затягивает узол, всё. Да.

Вот я у зятя кой-когда поглядела, он завязываеть. Я говорю: «Витькя, ты чо ж так завязываешь что ль бечеву?». Этыю палку черезо весь в машину захляснёть и тут заматываеть. Я говорю: «Да чего, так что ли? Да ты пятлю сделай, накинь, —

[14] Шлею.

я говорю, — сюда». Вот она какое дело. И не нравится. Как скажи — не нравится. «Ума, — говорит, — палата у тебя». Я говорю: «Да уж с твово сделаю».

14. Иисус Христос

Вот он Исус Христос, он же так хотел жизню направить людям, люди же. Вот он отработаеть работник, вот, примерно, там у тебя я отработаю, я не могу — ты меня вон высунул за плетень, я там под плетнём помираю. Да. Этот Исус Христос хотел сделать так, как Ленин. Чтоб жили люди равно все. Во. Няльзя же, говорить, этого. А яво это евреи не возлюбили. Этого Исус Христа. Они же вон хто, они хучь неграмотны, а сидить в ларьке. Да. Вот он и сделал этого, хотел сделать, чтоб все равно жили, как вот Ленин. Ага.

Его не выкинули, Ленина, нет?

— *Нет.*

— Не? Да и дурак хотел выкинуть, этот Горбачёв. Он в общем хотел продать яво, наверно. А она ишше не сдохла у него?

— *Нет.*

— Не?

Вот он и пошёл по дворам, это Исус Христос. Вот пришёл он, вот к нам пришёл, ну тут побыли с двумя мальчикими — Окова и Павлука. Самы уж преданные его были. Вот он пришёл в нашее сяло, а дяды и спрашиваютю: «Вы чо, ребятишки, тут делаетя?» А за ним гонютю евреи. Да. «А вы чо тут делаетё?» То те-то: «Так». Ага. Им хто-й-то сказал, говорит: «Приехали суды на тачанке, ищутю трёх де ребятишек». А они в Артановку кинулися. Ага. Они тут поискали, говорят: «Да были тут, а их нету вот, куда делись, не знаем». Они в Артановку. Они из Артановки в Нехаевский. В Нехаевский пришли, а там коваль[15] куёть. Они тогда приходють к нему и говорять: «Дедушка, дай напиться». Он йим даёть напиться. Даёт а и говорить: «Это, — дед говорить, — это хтой-то из них Исус Христо, я счас угадаю». Ага. Ну чо же, взял лемех, тогда ж лемяхи были, плуга делали это, отвал это. Да. Взял лемех, парнишка пьёть, он говорить: «Мальчик, а вот этот вот лемех чего стоить?» Ну он чо-й-то подёрьгал-подёрьгал, мальчик, — нет. Ага. Второй. Он говорить: «Это неправда». Да. Вот Исус Христос подходить, пьёть, а он говорить: «Мальчик, а что вот этот вот лемех стоить?» А он говорить: «Дедушка, этот лемех, когда урожай, он золотой, а когда нет урожая, он, — говорить, — ничо не стоить». — «Стой, вот он Исус Христос». Да. И говорить: «Мальчик, бягитя: едуть. Едуть, вас ищутю».

И они оттэль ушли. И дошли до сада. Филимоновский, что ль, сад. Как-то так, по-моему, Филимоновский сад. Да. Дошёл до сада, и они и подскочили к нему, еврейский парень. Да. Они и говорять: «А как же нам узнать яво?» Евреи-то. А он и говорить: «Я его как поцалую — это Исус Христос». Да. Ну идуть, и они и навстречу. Ага. А сад-то во. Да. Он тогда его поцеловал, они тогда бяруть яво, это Исус Христа, а он и говорить: «Знаете чо, погодите, — говорить, — я пойду в сад, помолюсю Богу». А и как пришёл в сад, упал на... стал на коленки и так вот руки всплеснул, а и луча до самого солньца луча от него. Да. Просветило. И тут его подошли, взяли и распяли. И этих Окову и этого Павла тоже распяли.

---

[15] Кузнец.

Ну этих родители позабрали, а яво там жители сняли, а кудотю[16], яво в гроб вроде положили. Во. А мать Марея у него. А когда она принимала, мать Магдалина эта, ну принимала такая же мать, как и она. Во. И не дали этой матери Мареи, яво не дали ей, сразу сочли что это Исус Христос. Да. Ну и тогда они уложили яво в гроб и накрыли. Ну сычас вишь покрывало, покрышка вот, а тогда пеляна. Пеляной накрыли яво. Ну побегли матери говорить Марии, что всё, прибрали яво. Утром приходють, а его нету в гробу. Ну или, можеть, так сделали, может, бог его знаеть. Всёй тушей он не можеть подняться туда. Это, наверно, подбрехнули. Во. Это, наверно, тушу убрали и сказали, что он ушёл на небу. Ну всёй тушей он не можеть же подняться. А там бог её знаеть. Вишь вот как было дело.

Вот за ето-то евреев-то и бьють. Их двадцать миллион иде-й там в балке постреляли немцы. Двадцать миллион! Набрали. А! И у кого-й-то креста не было. Ведь они тоже люди. Да вы их возьмите перевоспитайте, они будуть люди. Ну что ж ты сделаешь.

15. Погубили хороших людей

А теперь по телевизору говорять галвари ети-то кремлёвские. Погубили раньше много людей хороших, погубили. Да чо ж, вы самые хозяева были. Старые люди, они всё делали, что ни глянеть: и колясо, и повозку, и хомуты, всё, что хотели, оны делали. Но а сычас нихто не делаеть. Эжель там, может, на заводе хто иде чо делають, а счас нихто вот не делаеть. А раньше делали при дворе всё. Колясо, у него такая кузня, такая ковальня, он скочетовал[17] этот обруч, сделал, эти спицы повоткнул, и эту ступень, всё сделал, повоткнул и нажал — выходи колясо. Да. Во чо делалось. А вот сычас чо, щас этих людей-то нету. Там молодёжь эжель иде, можеть, хто иде и делаеть эти вот колёса, или ня знаю я. Ху, господи! Вот так вот жилося раньше.

А в тюрьмах скольки погибло. Вот наших сватов, их пять братов, их всех забрали. Чёрный ворон подойдёть и пошёл. Да. И вот иде-й-то йих отослали, что нельзя пройтить никуда, остров какой-то. И вот там только самолётом бросють, эжели чаво. Вот они там. Ну там они, наверно, погибли, всё. Не оказалися[18], родителям не оказалися. Да. Вот иногда спросишь, живые, не живые ли? Ише кой-хто поостался йихние. Да.

Это для чо ж делали? Да вы возьмите их, перевоспитайте, он же такой будет рабочий. И так будеть править и колхозом и совхозом, всем. И что хошь он будеть делать.

Ну и опять я думаю, думаю, чо ж это Сталин виноват? А я кой-когда говорю, вот бы Сталина поднять бы, он кой-кому бы навёл тут решку бы. Он как начал бы это там, в Москве, кострышить бы. Да.

16. Из гражданской войны

Вот сычас говорят — убийства. Она и раньше была убийства. Вона и раньше было ето. В революцию тоже. Вот это вот пришли, а у него был жеребец

---

[16] Куда.

[17] Соединил.

[18] Не обнаружились, не объявились.

выяздной. Да. Ага. Ну он повёз патроны к Дону. Да. Ну уехали, а тут беляки налетели, этого жерябца выводють, мать не даёть. Ну тут, наверно, либо тут идей-то в двадцатых, мне годик уж четыре или пять было. Да. Матрю всю иссекли, прям иссекли плетями, а жерябца так увели. Да. Он приязжаеть дня через два, она говорит: «Ну увели», а он: «Ты б не давала». Она говорить: «Погляди». Вся в рубцах. И вот позажили, и вот когда так вот так-то скинеть, прям рубцы вот так вот видать, как прутья ляжать. Да. Для чаво делали, а? Да ты возьми уж, эжель надо, а за чо ж ты человека бьёшь?

У нас одну было засекли, прям засекли совсем. Так она недели две висела, подвязали её, на подвязках висела. Ну отдохнула, выкоропалася. Да. Ничаво. Ну, правда, вся ето вот прям баграми, баграми, баграми, как это просякали плетями.

— *А за что её?*

— Так не ложилась спать. Да. Вот так вот. Она красивая была женщина, хорошая так, ну видная женщина была. А их пятеро зашло. Да. Ну чаво ж. Она говорить: «Не лезьтя, не лезьтя». Ну они и начали её. Ну они уехали, соседы собралися, подняли её. Она чо ж, ложиться нельзя ей, всё прилипаеть. Они какую-то сшили на неё халат, а и подвесили её. И она неделю висела, пока чудок устепенилася. Во чо делали. Да.

А красные приехали, говорять: «Хто?» Ну да беляки, а хто, куды они поехали? Ну, говорять, иде-й-то под Доном йих переловили вроде. Ну недели через три, наверно, привозили к ней одного. Она и говорить: «Ну вот он, друг». Да. «Здорово, — говорить, — вы чо ж, — говорит, — делаете?» Ну, увезли его, куды дели, чёрт их знаеть. Во чо делалося.

Да ты уж эжель чо, ну всё-таки пятеро! Ну да уж зайди один хто-нибудь там, эжель теперь она тебе нравится. Ну. Дураков много на свете, много И как же ты, грешница, тут? Этот слезеть, ты лезь, как же ты да полезешь-то, а? А? Бессовестный!

17. Наступила трудная жизнь

И вот она, видишь, вот сделали жизню. Ленин сделал жизню правильную. Может, мы не понимаем, а я так вот понимаю: по молодёжи правильно он сделал жизню. Не хотять жить. Не хотять молодёжь жить. Злують, вот пьють сычас, злуютю, нервничають, дярутся каждый день. Ну и чо хорошего за этого? Придёть домой — ругается.

Ух, житуха, житуха подошла, ребяты. Опасная. Я вот одна, так иногда кто стукнеть, даже вот холодильник иногда — стук! А я хоп! И щас выхожу в чулан, послухаю — никого. Туда погляжу, в окно — никого.

А тут у нас одной тоже окно вытащили, и залез. Она как глянь: «Вася, ты чаво?» — «А ты мне, — говорит, — нужна». — «Да сынок, да что ты, я тобе бабка». Ага. «А я сказал — ты». Она: «Ну тобе чо? Может, бутылку, Вася? Может выпьешь? На бутылочку, иди с ребятами там». Ну он, чудок у него ето не весь дома. Ага. «На бутылочку, там выпьете с ребятами». Отвлекала яво. Так чо ж, свалил её и ето, да. Ну она утром в совет. Ну как приехали, сразу наручники. А он уж вот третий раз под пятый год сидить. Просидел пять лет, пришёл — ишо на пять лет, опять пришёл — опять на пять лет. Да, вот это для чаво? А? Да ты парень, да ты б найди собе такую-то женьшину и продолжай с ней. Ну чо, она вышла

утром, а окно вытащено. Да. Ну пришли было не поверили, потом председатель пришёл, поглядел, вызвали милицию — наручники, без суда на пять лет. Ага.

И вот я надысь говорю: «Ну ты чо, — я говорю, — Шура, не боисси?» Она говорит: «Да кто не боюсь — боюсю». Тоже одна живёть, мужик помер у ней. «Боюсю, — говорить. — Я-то, — говорить, — часов до двянадцать книжки читаю. А потом выйду так суды в чулан послухаю, нихто ничаво». Она так тоже живёть в зарослях вот так вот, как я, никого нет. Тут хуть залазий и это... Да.

Вот и я так иногда встаю, в окно туды пойду погляжу, в чулан выйду послухаю: а вроде нихто не шуршить. А иногда кобялишку покормлю, вот зятев кобялишка, он ко мне бегаеть. Я говорю: «Жулик, ну-ка тут оставайси, ночуй тута». Правда, иногда покормлю яво, он ляжить тут. Слухаешь, ночью забрешить. А на кого, хто её знаеть. Да.

А вот это вот тутотка живёть мужик с жаной молодые, у них ише собачонка, по всёй ночи скалить, и скалить, и скалить. Кому, куды, на кого, хто её знаеть. Да. У меня вот это вот форточка, она открыта всю лету была, а там нету вон форточки, слышно здорово. Думаю, выхожу, говорю: «Люба, а на кого это?» Она говорит: «Всю ночь на кого-й-то брехала». Ну они ж только ночью. Глянешь, у ентого унесли, у ентого унесли. Вот это вот на днях вот у меня там и капуста ишше, она вот тако во, хто-й-то срезал два вилочека. Да. Ну чо ж, я то ли дело подумала, подумала: ну чо, куды говорить, на кого? Вот и всё. Думаешь на мужика, а она, может, баба.

У нас есть тут такие-то. У-у-у! Садить не хотять, а как залетели... Да. Вон у няво, против[19] вот, пять душ йих, чем-то ж надо жить. Не, ни парень не работаеть, и он не работаеть, и она не. Но она мужика похоронила, она теперьче, по-моему, восемьсот получаеть, и не хватаеть. Но они пропьють, а тогда и заглядаитю. Обое пьють безбожно. Ага. Вот они и пойдуть такие-то. А чем-то надо ж кормить пять душ сямьи. Буханку возьмуть — им на раз, разрезал и всё.

А там она буханка, вон мы надыся свесили, а в ней шестьсот грамм, а бярут за килограмм. Как же это так, а? Бярут за килограмм же. Вот четыре рубля я ж плачу за килограмм. «Ну-ка, — я говорю, — Люба, сважь[20]». Она свазала — шестьсот пятьдесят грамм. Вот и ешь.

Ну мне буханка дня на три, на четыре хватает. Ну а сямья, дети? Вот у этих трое и вот у этих вот трое. Да. Так они впроголодь, да, впроголодь. Вот они, хтондь скажеть: «Сбегайте к бабке за чем-нибудь». Так они наперегонки: знають, что хто придёть один, я пряник дам. Так они тогда наперегонки один перед одним. Ну яму дам и им ж надо давать. Во. А деньги — ни копейки нету. Она там водить козочкув, ну чо, косинку продать, тому надо ботиночкув, тому то, тому то. Да это спасибо люди ей ташшать тряпок, вот она покамест этим оборачивается. А так не на чего. Деньги не плотють, вот какой уж год не плотють. А он на свинарке был, был, чо ж — ничаво. Щас ушёл, я не знаю, куды он, в лесхоз что ли ушёл. Ну хучь там, говорит, когда пятьдесят рублей, когда сто рублей дадуть. Вот. Гибель таким, гибель. Гибель.

Ну чаво ж, доживать как-то надо. Восемьдесят тут пятый, должна дальше протянуть.

---

[19] Напротив.

[20] Взвесь.

ЧЕХОВСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТ, ИЛИ ОТ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ

«Теперь наступает другое время, чреватое многими трудностями. Настает время, когда юношу на пороге жизни уже не встретит готовый идеал, а каждому придется самому определять для себя смысл и направление своей жизни, когда каждый будет чувствовать себя ответственным за все, что он делает, и за все, чего он не делает... Будет то, что и в семье, и у знакомых, и среди школьных товарищей подросток не услышит ничего определенного... Выбирать ему придется самому, притом безотносительно к какой-либо внешней цели, а только в соответствии с запросами и склонностями собственного духа, и, следовательно, самою силой вещей он будет приведен к тому, чтобы создать самого себя и осмыслить свое отношение к миру, — а мир будет лежать пред ним весь открытый... И потом, вырастая, он будет собственной личностью отвечать за каждый свой шаг, и ничто ни разу в течение всей жизни не снимет с него этой свободно сознательной ответственности» (М. Гершензон, «Творческое самосознание»)[1].

«Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катаклизмов и побеждает лишь упорная самодисциплина. Россия нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни: государственной — для осуществления «реформ», экономической — для поднятия народного хозяйства, культурной — для работы на пользу русского просвещения, церковной — для поднятия сил учащей церкви, ее клира и иерархии. Новые люди, если дождется их Россия, будут, конечно, искать и новых практических путей для своего служения и помимо существующих программ, и — я верю — они откроются их самоотверженному исканию» (С. Булгаков, «Героизм и подвижничество»)[2].

[1] Сб. «Вехи», 1909.

[2] Там же.

Леон АРОН — известный американский публицист, специалист по внутренней и внешней политике России и российско-американским отношениям. Закончил аспирантуру Колумбийского университета (политическая социология). Директор Отдела русских исследований в American Enterprise Institute (Вашингтон). С 1990 года сотрудничает с «Голосом Америки» в программе «Глядя из Америки». Автор книг: «Ельцин» (2000), «Новая российская международная политика» (в соавторстве, 1998), «Становление российской международной политики» (редактор, 2000), а также многочисленных статей по современной российской внешней политике. Живет в Вашингтоне.

Одним из самых интересных феноменов на сегодняшнем русском литературном рынке, без сомнения, является популярность детективов об Эрасте Фандорине, принадлежащих перу Григория Чхартишвили (пишущего под псевдонимом Борис Акунин). Несмотря на то, что по русским меркам эти книги стоят довольно дорого (средняя цена около 3 долларов), спрос на них увеличивается: в 1999 году было продано 50 тысяч, в 2001 — 3 миллиона[3]. В июле 2000 года двести тысяч экземпляров последних двух детективов серии были распроданы за две недели и к началу августа выдержали третье переиздание. К концу 2000 года Чхартишвили стал «самым читаемым современным автором в России».

Между тем, ни одна из книг Чхартишвили не содержит элементов, которые обычно связывают с успехом на пост-тоталитарном, постцензурном рынке. В них нет «бывших запретных плодов», которые, как многие думают, производят на свежеосвобожденного покупателя неотразимое воздействие. Очень мало описаний секса, а те, что имеются, по-викториански сдержанны. Жестокие и действительно подробно выписанные драки случаются нечасто. Язык не просто очищен, но изысканно старомоден.

В отсутствии готовых объяснений можно только предположить, что успех фандоринских детективов отражает определенные моменты в развитии самой русской культуры и общества начала второго постсоветского десятилетия.

* * *

В каждом фандоринском томе можно найти несколько «стратегически» размещенных страниц с цитатами из хвалебных рецензий, опубликованных в ведущих российских изданиях. Это и вправду приятное и увлекательное чтение, которое поражает энергичным ритмом, точностью характеристик и верной разработкой деталей, чуткостью, иронией, изяществом. Язык аккуратно и со вкусом смоделирован по образцу классической русской прозы XIX века. В романе «Любовник смерти» московское «дно» — район Хитровки с его ворами, бандитами и проститутками, переговаривающимися на искусно реконструированном блатном жаргоне столетней давности, — показан через восприятие осиротевшего мальчика. Печальным тоном и мягким юмором эта книга напоминает «Оливера Твиста». Каждый новый том автор посвящает «памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом».

В этих мастерски выстроенных, приключенческих и несмотря на это весьма правдоподобных историях один и тот же симпатичный герой начинает с расследования убийств и самоубийств и оказывается вовлеченным в противоборство с кровожадными маньяками и садистами, с королем шпионов, со всемирно известным наемным убийцей, с левыми террористами (списанными с русских революционеров), или с бандой международных преступников, которые похищают Великого князя накануне коронации Николая II. Одновременно Фандорин вынужден участвовать в дипломатических играх и придворных интригах.

---

[3] *Guy Chazan*. Russian Authors Start to Eschew Potboilers, Wall Street Journal-Europe, 22 февраля, 2002 (сайт: wysiwyg://338/http://asia.news.yahoo.com/020222/5/3ymg/htm).

Чхартишвили считает, что его книги представляют собой коктейль из «языка Достоевского с добавкой Умберто Эко и сюжетов, сработанных по типу «Остатков дня» Кацуо Ишигуро. Его цель — преодолеть пропасть, разделяющую «литературу возвышенную и литературу мусорную». «В России никогда не было коммерческой литературы для среднего класса, отчасти потому, что не было среднего класса, — заявил Чхартишвили в одном из интервью. — Была либо дешевка, которую интеллектуалы стеснялись читать, либо — заумное чтиво»[4].

Процесс, вознесший книги Акунина на вершину российского литературного рынка, вписывается в законы гегелевской диалектики, знакомые всем образованным россиянам старше сорока по обязательным курсам истории марксизма. Сначала идет тезис: цензура защищает приевшийся классический образец, с одной стороны, и пропагандистскую чушь — с другой, от любой конкуренции и любых новшеств. Затем — антитезис: безоглядный прыжок в самую сердцевину «запретного плода» — то есть обнародование произведений запрещенных писателей и очеркистов (которых довольно много набралось в России с 1918 года) в пору горбачевской гласности (1988-1990) и последовавшее за этим резкое удешевление литературных вкусов, характерное для всех пост-тоталитарных культур. Синтез произошел после того, как национальная классическая традиция была воскрешена и обновлена путем введения экспериментальных, непочтительных и подрывных приемов.

Успех акунинских книжек свидетельствует о растущем присутствии в российской культуре постсоветского среднего класса, у которого хватает вкуса, чтобы воспринимать новую «синтезированную» литературу — и хватает денег, чтобы за нее платить. Как выразился один литературный критик: «Это напоминает Клондайк. Чхартишвили обнаружил страшный голод на хорошую популярную литературу, и читать дешевку стало неприлично»[5]. Следуя акунинскому триумфу, крупнейшие коммерческие издательства «АСТ», «Эксмо» и «Олма» начали дополнять свое состоящее из боевиков и сентиментальных романов меню серьезной прозой современных русских писателей. «Мы поняли, что упустили из виду большую группу читателей, — признался представитель одного из издательств. — Люди устали от триллеров, им хочется серьезной литературы»[6].

Надо заметить, Чхартишвили — не первый писатель, вознесенный этой волной. Характерный синтез традиционной формы и постмодернизма отличает также работы Михаила Бутова, Эргали Гера, Дмитрия Липскерова, Владимира Маканина и Виктора Пелевина.

* * *

В соответствии с законами жанра, книги Акунина в значительной степени привлекательны образом главного героя, великого сыщика. Фандорин — потомок немецких рыцарей, крестоносцев и джентльменов удачи, один из которых — фон

---

[4] «Писатель» номер 065779, интервью с Григорием Чхартишвили (Борисом Акуниным), Огонек, ноябрь 1999.

[5] *Arkady Ostrovsky*. Taking Literature to the Middle Classes. — Finantial Times, April 9, 2001.

[6] *Chazan*. Russian Authors...

Дорн — прибыл в Россию в XVII веке и сделался капитаном дворцовой охраны при царе Алексее Михайловиче. (Каждая из этих деталей важна, поскольку рано или поздно всплывает в ходе сюжета.) Фандорин — опять-таки в соответствии с жанровым каноном — умен, трудолюбив и бесстрашен. Он ежедневно упражняется в японской борьбе, и это искусство вызволяет его из многих затруднительных ситуаций. (Параллель с пристрастием моложавого и широко популярного президента страны к дзюдо явно не вредит продаже книг).

Фандорин — высокий, широкоплечий, стройный брюнет с яркими голубыми глазами и аккуратными усиками. Он безупречно одевается и в своих идеально скроенных костюмах с белоснежными воротничками и манжетами выглядит, как «манекенщик из последнего парижского журнала мод». Исключая моменты, когда необходима маскировка, он никогда не является на людях без перчаток, цилиндра и элегантной трости, в которой, разумеется, таится острейшее лезвие. Последний штрих — седые виски, не вяжущиеся с живостью и энергией героя, который на наших глазах достигает сорокалетней черты и переваливает через нее. Эта деталь неизменно вызывает у читательниц любопытство и жалость — убийственное сочетание для женского сердца. Седина — результат трагедии, пережитой Фандориным в конце первой книги. Его невеста погибла при взрыве подложенной террористами бомбы, и Фандорин стал убежденным холостяком, что позволило автору время от времени разнообразить детективную линию всевозможными боковыми сюжетами, посвященными интенсивным, но строго платоническим отношениям Фандорина с волевыми, независимыми, умными и феминистски настроенными юными красавицами.

Если обратиться к литературному пантеону великих сыщиков, Фандорин более всего напоминает героя Дороти Сойерс лорда Питера Уимзи, спортивного, смекалистого и очаровательного плейбоя-аристократа (оба также увлекаются автомобилями). По крайней мере — лорда Уимзи той поры, когда он еще не женился на Гарриет Уэйн, изменив своим холостяцким принципам. Чхартишвили хочет, чтобы на экране его героя изображал Хью Грант.

* * *

И все же очарование Фандорина не сводится к уму, храбрости и внешней привлекательности. Изысканные, многоплановые и полные аллюзий книги Чхартишвили построены таким образом, что обаяние героя усиливается за счет описания эпохи, в которой он живет и действует.

Чхартишвили четко указывает временные рамки повествования. Фандорин родился 8 января 1856 года, первое преступление расследует в 1876 году, последнее — в 1900-м. Его юность и зрелость падают на годы, непосредственно следующие за первой и единственной до Горбачева русской либеральной «революцией сверху», которая началась отменой крепостного права в 1861 году и закончилась с убийством автора реформ, царя Александра II, левыми террористами (1 марта 1881 года). В царствование преемников царя-освободителя — Александра III и Николая II — произошел отход на более консервативные позиции.

В придачу к отмене крепостного рабства, реформы Александра II включали радикальную децентрализацию страны и введение местных органов управ-

ления, составленных из выборных представителей; отмену или ограничение особых привилегий; учреждение суда, где «все субъекты равны»[7] перед законом, и суда присяжных для особо серьезных случаев; установление судебной процедуры, при которой защита (адвокаты) могла свободно состязаться с обвинением (государственным прокурором) за голоса присяжных (последнее нововведение чудным образом привело к оправданию террористки, убившей начальника русской секретной полиции); увеличение количества начальных школ, которые финансировались и управлялись местными властями и были открыты для детей любого социального положения и национального происхождения; введение высшего образования для женщин и евреев, а также обеспечение растущей автономии и самоуправления университетов.

Огромное — в сравнении с царствованием Николая I — расширение личных свобод включало свободу выезда и въезда в страну. Газеты, журналы и книжные издательства были освобождены от предварительной цензуры. Русские периодические издания и книги последней четверти XIX столетия были одними из самых полемичных в мире. Количество изданий и объем книготорговли достигли небывалых масштабов. Высочайшую точку развития русской культуры знаменовало творчество композиторов Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского; писателей Чехова, Достоевского, Льва Толстого и Тургенева, театрального режиссера Станиславского

После убийства Александра (рассказывали, что незадолго до смерти он раздумывал об учреждении конституционного собрания, а затем и конституционной монархии) политические свободы и самоуправление были ограничены. По словам историка, последовавший за головокружительными изменениями и радикальными реформами «период политической стабильности и нормальности» стал возможен благодаря «усилению государственного контроля над самоуправлением и, в целом, благодаря росту престижа и мощи исполнительной власти»[8]. Тем не менее, основные газеты по-прежнему не подлежали предварительной цензуре, интенсивные социальные и политические дебаты продолжались и гражданское сообщество нельзя уже было принудить к полному подчинению.

Русский капитализм быстро созревал. Банки, сберегательные и кредитные общества множились как грибы. Иностранные вложения прибывали. Экономика России стала одной из самых быстро растущих в мире. По мере того как бывшие крепостные становились рабочими новых заводов и фабрик, города обогащались. Прокладывались тысячи миль железных дорог, включая Транссибирскую магистраль, впервые соединившую европейскую часть России с Дальним Востоком. Крупное капиталистическое фермерство сделало Россию одним из крупнейших в мире экспортеров зерна.

Плебейское выпячивание благополучия, характерное для нуворишей, пришло на смену сдержанному сибаритству старой аристократии и скрытности хватких купцов. Остальные сословия равно страдали от нищеты и беззакония.

---

[7] *Платонов С. Ф.* Учебник русской истории (СПб., Наука, 1994), с. 371 (Первое издание опубликовано в 1909г.).

[8] *Adam Ulan.* Russia's Failed Revolutions (New York: Basic Books, 1981), p. 134, 390.

Тысячи становились жертвами банковских и биржевых махинаций. Коррупция, которая неизменно сопутствует переходу от государственной экономики к капиталистической и которая веками была неотъемлемой составляющей Российской империи, сделалась невыносимой.

Как это бывает, за реформами последовали усталость и разочарование. Растущее горькое разочарование интеллигенции в том, что свобода ведет к сытому достатку, вызвало кризис либеральных идеалов, сомнение в том, что Россия когда-либо станет частью того, что тогда называли «Европой», а теперь — «цивилизованным миром». Ускоренный государственными репрессиями распад прежней этики породил неприятие новых нравов и отчаянный поиск замены как старого, так и нового. Как отмечал Чехов, чья карьера в чем-то повторяет фандоринскую: «мы были все влюблены, все разлюбили и теперь ищем что-то новое...»[9].

Именно этот поиск «чего-то нового», наложивший роковую печать как на время Фандорина и Чехова, так и на нынешний день России, придает особенную, внелитературную важность поразительной популярности героя Григория Чхартишвили.

* * *

Как тогда, так и теперь поиск «нового» в России по традиции отводился на долю класса, который с 1830-х годов монополизировал подобные начинания; класса, игравшего центральную роль как в лучшие, так и в худшие моменты русской истории. Разумеется, мы имеем в виду интеллигенцию. Уникальное значение фандоринской серии состоит в том, что она предлагает реальную альтернативу как средствам, так и (что еще более важно) целям, лежащим в основе того, что можно назвать интеллигентской традицией социальных преобразований.

В 1909 году лучшие умы России, современники Фандорина, издали непревзойденную летопись этой традиции в форме сборника очерков под названием «Вехи». Вошедшие в «Вехи» философские, исторические и политические статьи, от первой до последней страницы глубокие и превосходно написанные, до сих пор представляют наиболее тонкий, полный и подробный портрет того, что можно определить как символ веры, как Weltanschauung радикальной русской интеллигенции.

Вплоть до большевистокого переворота сборник оставался предметом яростных споров. В течение семидесяти лет советской власти он был запрещен на территории СССР, но продолжал оказывать влияние на русских мыслителей за границей. До 1917 года «Вехи» выдержали четыре переиздания и спровоцировали появление около двух сотен книг и статей. Все интеллигентские партии, от конституционных демократов до эсеров, меньшевиков и большевиков, — поспешили издать собственные сборники. (Из семи участников «Вех» пятеро были бывшими марксистами.)

Но прежде чем обратиться к портрету русской интеллигенции в «Вехах» и попробовать сравнить его с акунинским героем, вспомним историю класса,

[9] Цит. по: *Donald Rayfield.* Anton Chekhov. A Life (London: Flamingo/Harper-Collins, 1997), p. 111.

ответственного за те черты общественного сознания, что столь ярко описаны в «Вехах».

Появление светского образования в России совпало и, в сущности, явилось следствием укрепления государственной власти при Петре I — укрепления почти в тоталитарных масштабах (к примеру, каждый тогдашний аристократ становился военнообязанным). В отличие от университетов Западной Европы, российские университеты — колыбель интеллигенции — никогда не были частными и независимыми. Их основателем было государство. Университетские профессора получали государственное жалование. Именно государство давало интеллигенции образование, и подавляющее большинство интеллигентов служило на государственных должностях — в бесчисленых «комитетах», «комиссиях», «архивах» или министерствах (несколько величайших русских поэтов — Грибоедов, Пушкин и Тютчев — служили в одном и том же Министерстве иностранных дел). Советская Россия добавила к этому списку государственные «исследовательские институты», а также официальные «творческие союзы» писателей, композиторов, архитекторов, художников и журналистов. Отзыв Набокова о Николае I, который вызвался в личные цензоры к Пушкину, точно характеризует общий характер отношений между Российским (и Советским) государством и интеллигенцией: «он пытался быть всем по отношению к русском писателям — отцом, крестным отцом...»[10]. (В другом месте Набоков заметил, что все царствование Николая I «не стоило единой стопы пушкинского стиха»[11].)

И все же узы, соединявшие интеллигенцию и государство, шли дальше вопросов образования и трудоустройства. Несмотря на то, что оппозиция государственному строю всегда была отличительной чертой интеллигенции (сам термин «интеллигенция» возник в царствование Александра II в разгаре яростных нападок на самодержавие со стороны либеральной прессы, в пору возникновения первого в мире идеологически направленного террористского движения «Народная воля»), раздражение и сопротивление интеллигентов всегда было направлено на конкретный политический режим, а вовсе не на идею государства как главного орудия политической и экономической реконструкции[12]. Большую часть времени большая часть русской интеллигенции считала, что разрешить российские проблемы можно лишь под эгидой государства. Никакой национальный прогресс невозможен до тех пор, пока государство не станет полностью «европейским» или «цивилизованным», — процесс, который займет максимум несколько лет и совершится с помощью декретов просвещенного правителя, ведомого советниками-интеллигентами.

Анализируя поражение революции 1905-1906 гг., авторы «Вех» указали среди множества отмеченных недостатков один, который, по их мнению, доказывает несостоятельность интеллигенции в качестве силы, способной направить и

---

[10] Цит. по: *Nabokov.* Lectures, p. 3.

[11] *Vladimir Nabokov.* Nikolai Gogol (New York: New Directions Books, 1971), p. 29.

[12] Или, как в случаях с «ранними» Александром II, Горбачевым и Ельциным, — кратковременная горячая поддержка. Как замечает герой Достоевского, в России есть только герой или грязь, среднего не дано.

возглавить борьбу за либеральную демократию в России. Этот недостаток — приверженность идее «внешнего» прогресса, столь сильная, что она приводила к почти полному исключению индивидуальной составляющей человеческого прогресса и счастья. По словам Петра Струве, «В основе тут лежало представление, что "прогресс" общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре...»[13]. Сначала это — гегелевский Дух, неустанно продвигающийся к открытию себя и Абсолютной Идеи, а заодно к Царству Разума («отец» русской интеллигенции Виссарион Белинский, начинавший свою деятельность в 1830-е годы, был фанатиком-гегельянцем); а четыре десятилетия спустя — столь же некритически воспринятая марксистская материалистическая метафизика классовой борьбы и пролетариата — двигателя такого же неостановимого марша к коммунизму. Но и в 1830-40-е годы — в пору возникновения интеллигенции как сознательной духовной и политической силы и в пору созревания ее в революционный класс — убеждения интеллигентов были проникнуты надиндивидуальным, механистическим пониманием прогресса, заимствованным из западноевропейской романтической метафизики идеализма и атеистического социализма. (Как Гегель, так и Маркс в русской версии выглядели одинаково догматично, консервативно, грубо и пошло, поскольку тотальная цензура не дала развиться той утонченности ума и духу скептицизма, которые в Европе явились результатом свободных публичных дебатов.)

Привлекательность подобной модели развития для интеллигентов была, без сомнения, усилена отсутствием русского варианта Реформации, которая напрямую связала частные поступки каждого западного человека (а в случае кальвинистов и других протестантских фундаменталистов — не только поступки, но и деловые успехи или поражения) со спасением души.

Таким образом, частные человеческие ценности и личные поступки затерялись в гигантской тени «конечной цели»[14], состоявшей в радикальной перестройке политической и экономической структуры общества во имя «народной воли», «всеобщей справедливости», «социализма» или «диктатуры пролетариата». Неизбежный триумф затеянного интеллигентами эсхатологического проекта должен был одним махом погасить все моральные, этические и политические долги и дать отпущение всех личных и общественных грехов, не говоря уже о проступках. Отпущение грехов рассматривалось как награда за борьбу на «правой стороне» истории. Как писал Сергей Булгаков — «Так как все зло объясняется внешним неустройством человеческого общежития и потому нет ни личной вины, ни личной ответственности, то вся задача общественного устроения заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно, внешними же реформами»[15].

Итак, в то время как слово «*общественный*» (по выражению Булгакова) имело «особенный, сакраментальный характер», мораль, индивидуальное развитие были среди интеллигентов «чрезвычайно непопулярными», а «*личное* самоусовершенствование» вызывало у них презрение. Самоотверженность, которой по праву

---

[13] *Струве П.* Интеллигенция и революция. — «Вехи».

[14] *Булгаков С.* Героизм и подвижничество. — «Вехи».

[15] Там же.

славились некоторые представители интеллигенции, также «...не означает вовсе признания идеи личной ответственности... управляющего личной и общественной жизнью»[16]. Безусловный героизм некоторых представителей интеллигенции состоял в готовности «...к спасению человечества своими силами и притом внешними средствами... »[17], и, в конечном счете, «отсюда и проистекает непригодность его для выработки устойчивой, дисциплинированной, работоспособной личности, держащейся на своих ногах, а не на волне общественной истерики... ». Со временем «героическое «все позволено» незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения, чем наполняются житейские будни. В этом заключается одна из важных причин, почему у нас при таком обилии героев так мало просто порядочных, дисциплинированных, трудоспособных людей»[18].

* * *

Привязанность интеллигенции к эсхатологическим проектам и социальным переворотам, с одной стороны, и ее же презрение и небрежение к личному совершенствованию и личной ответственности — с другой, взимали убийственно тяжелую дань. Первой жертвой пала компетентность — качество, которое приобретается только путем *личной* увлеченности и тяги к совершенству. «Рядовой российский интеллигент не любит или не знает своей работы», — свидетельствует еще один участник «Вех», Александр Изгоев: «...средний массовый интеллигент в России большею частью не любит своего дела и не знает его. Он — плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и проч. и проч. Его профессия представляет для его него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей — его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников»[19].

Увлечение абстрактными «массами» и счастливым будущим (которое достигается одним махом в результате надиндивидуального революционного усилия) не позволило интеллигенции заняться улучшением участи близких и постепенно превратить свой дом, округу и, в конце концов, страну в пригодное для жизни и работы место. По жестокому выражению Гершензона, «полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ — да оно легче и занятнее, нежели черная работа дома. Никто не жил — все делали (или делали вид, что делают) общественное дело... Ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешней; день уходит неизвестно на что, сегодня так, а завтра, по вдохновению, все вверх ногами; праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных и вообще половых отношениях, наивная недобросовестность в работе...»[20]

---

[16] *Струве П.* Указанная статья.

[17] *Булгаков С.* Указанная статья.

[18] Там же.

[19] *Изгоев А.* Об интеллигентной молодежи. — «Вехи».

[20] *Гершензон М.* Творческое самосознание. — «Вехи».

Одержимость интеллигента политикой вытекала из убеждения, что счастье может быть достигнуто только с помощью преобразования внешней среды. Он был «рабом» политики, «...только о ней думал, читал и спорил, ее одну искал во всем — в чуждой личности, как и в искусстве, и проживал жизнь настоящим узником, не видя Божьего света»[21].

Однако в отсутствие политической культуры, которая достигается лишь упорным и постоянным самообразованием, политика русской интеллигенции имела мало общего с либерализмом — его терпимостью, доверием и уважением к оппоненту. Пользуясь формулировкой Сергея Булгакова, русская интеллигенция всегда стремилась не к «обеспеченному минимуму, но героическому максимуму»[22].

Максимализм, недостаток самодисциплины, нелюбовь к упорной и повседневной работе делали политические воззрения интеллигентов «мечтательными, неделовитыми, легкомысленными» (Струве) , а также — нетерпимыми и фанатичными, отмеченными чертами «...героического ханжества и безответственного критиканства», всегдашней «принципиальной оппозиции», преувеличенного «чувства своих прав» и ослабленного сознания обязанностей и вообще личной ответственности (Булгаков). Среди депутатов Третьей Думы только три-четыре дюжины либеральных кадетов (конституционных демократов) и правоцентристских октябристов (членов «Союза 17 октября») «обнаружили знания, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России» (Изгоев)[23].

Невзирая на все толки об «освобождении народа», личная свобода не считалась среди интеллигентов делом первой важности. Упоминание прав человека вызывало в лучшем случае безразличье, в худшем — враждебность. Личная свобода, как и все прочие общественные блага, приносилась на алтарь грядущего «народного благоденствия». Николай Михайловский, известный гуру интеллигенции последней четверти XIX столетия, называл свободу «великим соблазном» («Мы не хотим свободы, если она... только увеличит наш вековой долг народу»). В качестве альтернативы Михайловский призывал своих сторонников «относиться к свободе скептически» и «не домогаться никаких прав для себя» ради того, чтобы обеспечить непосредственный переход «к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства»; чтобы Россия сумела «проложить себе новый исторический путь, особливый от европейского»[24].

Поскольку, отмечает Кистяковский, «свобода и неприкосновенность личности» составляет фундамент «прочного правопорядка», интеллигенция «никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности». Причем имеются в виду не только репрессивные и зачастую абсурдные законы полицейской державы

---

[21] *Гершензон М.* Указанная статья.

[22] *Булгаков С.* Указанная статья.

[23] Гениальная проницательность «веховцев» проявилась еще и в том, что и сегодня, почти девяносто лет спустя, эта характеристика точно описывает состояние интеллигентской политики первого постсоветского десятилетия, особенно в применении к партии «Яблоко», состоящей из интеллигентов par excellence.

[24] *Кистяковский Б.* В защиту права, с. 116, 117.

Николая I и его реакционных преемников, но законы как таковые, любые законы. Человек, «дисциплинированный правом», и личность, «наделенная всеми правами и свободно пользующаяся ими», были «чужды сознанию нашей интеллигенции»[25]. Поэтому и не хватило сорока лет, чтобы развить революционный Судебный Устав 1864 года, в котором содержались начатки судебной системы с такой организацией, что пригодна «для насаждения истинного правопорядка».

Кистяковский цитирует речь одного из учителей Ленина, основателя и главного теоретика русской социал-демократии Георгия Плеханова, произнесенную на съезде РСДРП 1903 года (речь эта вызывала сочувствие большей части интеллигенции): «Успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться... О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила salus revolutiae suprema lex[26], «...если партия, состоящая из интеллигентных республиканцев, не может обходиться у нас без осадного положения и исключительных законов, то становится понятным, почему Россия до сих пор еще управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения»[27]. (В этом контексте не кажется удивительным, что на том же съезде в результате раскола фракций родилась партия большевиков.)

Принципиальное и безусловное предпочтение «социального» «индивидуальному» весьма предсказуемым образом определило отношение интеллигенции к экономике: «превознесение распределения насчет производства»[28]. Проповедь социализма и не могла обернуться ничем иным: по словам Франка, «социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения». Распределение — «душа» социализма, сердце его — «морально-общественный дух». Конечная цель «социализма сводилась к тому, чтобы отобрать добро у одних и передать его другим».

Для того чтобы создать богатство, надо его любить, продолжает Франк. Но русская интеллигенция «не любит богатства». Она «...любит только справедливое распределение богатства, но не само богатство». Более того, интеллигент богатство «ненавидит и боится его». Таким образом, его любовь к «бедным» превращается в любовь к «бедности». Франк подозревает, что в глубине души интеллигенты верят, что «есть только одно состояние, которое хуже бедности, и это — богатство».

* * *

Рекомендации «веховцев», так же как и сформулированный ими диагноз, были четкими и щедрыми. Вернуть свой моральный авторитет и право вести Россию к «европейскому» («цивилизованному») стандарту законности, свободы и благосостояния интеллигенция сможет только в том случае, если призна-

---

[25] Там же, с. 115.

[26] Благо революции — высший закон. Ср.: salus populi suprema lex — Благо народа — высший закон (Цицерон).

[27] *Кистяковский Б.*, с. 121 — 127.

[28] *Франк С.* Этика нигилизма. — «Вехи».

ет внутреннюю жизнь личности единственной творческой силой и отвергнет идеологию «безусловного примата социального обустройства». Авторы сборника призвали собратьев к «перенесению центра внимания на себя и свои обязанности»; к отказу от «...фальшивого самочувствия непризнанного спасителя мира и неизбежно связанной с ним гордости... » (Булгаков). Интеллигенция должна совершить «внутреннюю работу» ради «обновления»; должна «прийти к признанию наряду с абсолютными ценностями — личного самоусовершенствования». Только тщательная и мучительная переоценка усвоенных догматов позволит интеллигенции избавиться от желания «в этом распространенном стремлении успокаиваться во всех случаях на дешевой мысли, что "виновато начальство"», в чем «сказывается оскорбительная рабья психология, чуждая сознания личной ответственности и привыкшая свое благо и зло приписывать всегда милости или гневу посторонней, внешней силы» (Франк).

«Диктатура внешнего» прекратится тогда, когда с «внутренним рабством» будет покончено; когда интеллигенция научится брать «на себя ответственность» и перестанет «во всем винить внешние силы»[29]. Этому страстному призыву вторили голоса всех остальных авторов (которые никак не согласовывали заранее своего участия в сборнике.) Если же интеллигенция откажется от самоанализа, не захочет взять на себя ответственность за себя, свои семьи, свою округу и страну, последствия чреваты катастрофой, предупреждают «Вехи». Присущая интеллигенции «в общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности» (Гершензон), «фанатизм и нетерпимость... невыносимая склонность к фракционным раздорам» (Франк), нежелание учиться самим и обучить народ искусству обыденной демократии, которое начинается с мелких шагов и компромиссов, подвергли Россию огромной опасности, ибо «вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия» (Струве). «Во времена кризисов, народных движений или даже просто общественного возбуждения, — пишет Александр Изгоев, — крайние элементы у нас очень быстро овладевают всем, не встречая почти никакого отпора со стороны умеренных».

Сборник заканчивается пророчеством Франка, которое, будучи произнесено за восемь лет до большевистской революции, является одной из самых поразительных иеремид в истории человечества: «...из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник социалист становится революционером». Для интеллигенции «политическая деятельность имеет целью не столько провести в жизнь какую-либо объективно полезную, в мирском смысле, реформу, сколько — истребить врагов веры и насильственно обратить мир в свою веру...»[30].

* * *

Задавшись целью отыскать философскую антитезу интеллигентской (в интерпретации «Вех») сосредоточенности на политических и социальных рефор-

---

[29] *Бердяев Н.* Философская истина и интеллигентская правда. — «Вехи».

[30] «Этика нигилизма».

мах, трудно сделать более удачный выбор, чем указав на направление мысли, признаки и рецепты которого столь замечательно предугаданы в сборнике, — направление мысли, которое десятилетия спустя назовут экзистенциализмом.

Мало походящие друг на друга проповедники экзистенциализма — от Ницше с его «Бог умер» и Хайдеггера с его «оставленностью»; от блестящих намеков Достоевского в «Записках из подполья»[31] и кафкианских парабол одинокой схватки с бесчеловечной абсурдностью бытия до Сартра и Камю, фактических основателей экзистенциализма, при которых он расцвел, — настаивали на безжалостной прямоте в описании хаоса реальности. Будучи людьми мрачными, печальными, часто глубоко пессимистичными и временами впадающими в отчаяние, они говорили об отсутствии универсальной этической нормы и об одиночестве человека перед лицом чрезвычайно болезненной и тяжелой задачи: признать себя полностью ответственным за свою жизнь и выбор пути. Бремя это нельзя облегчить, и ни История, ни Герой, ни Иисус, ни Маркс не могут помочь. (Сизиф Камю послужил идеальной метафорой этого бесконечного поиска.)

С характерными заиканиями изложенное в «Коронации» кредо Фандорина могло бы принадлежать Сартру или Камю: «Знаете... в чем ваша ошибка? Вы верите, что мир существует по неким правилам, что в нем имеется смысл и п-порядок. А я давно понял: жизнь есть не что иное, как хаос. Нет в ней вовсе никакого порядка, и правил тоже нет... Да, у меня есть правила. Но это мои собственные п-правила, выдуманные мною для себя, а не для всего мира. Пусть уж мир сам по себе, а я буду сам по себе. Насколько это возможно. Собственные правила... это не желание обустроить всё мироздание, а попытка хоть как-то организовать пространство, находящееся от тебя в непосредственной б-близости. Но не более. И даже такая малость мне не слишком-то удается».

В лице героя Чхартишвили мы находим последовательное экзистенциалистское развенчивание зафиксированных «Вехами» отличительных черт интеллигенции. Как и в сегодняшней России, после десятилетия революционных волнений с опаской пожинающей плоды хрупкой экономической и политической стабильности, в России Фандорина все прежние устои были разрушены. Противостояние режиму не могло более служить единственным мерилом морали, и миллионы мужчин и женщин пытались изобрести и сохранить собственные нравственные каноны. Фандорин, как истый экзистенциалист (и подобно миллионам современных россиян), мог рассчитывать в этом отношении только на самого себя.

Если верить «Вехам», то тогда, как и теперь, экзистенциальный поиск достойных и честных способов каждодневного существования — как в масштабах страны, так и в масштабах личности — перевешивал по важности все прочие социальные задачи. В соответствии с экзистенциальным учением, процесс важнее цели — как химический состав воды в стакане важнее, чем уровень воды в нем. Пользуясь формулировкой Сартра, «экзистенция предваряет суть». Или скорее — экзистенция *становится* сутью.

---

[31] Где право человека на «мое собственное, свободное желание», даже на «дичайшие», «сумасшедшие капризы» противопоставляется принесению «индивидуальности» в жертву строителям «хрустальных дворцов» научно рассчитанного рая.

Фандорин противостоит всему, что представляет собой интеллигенция, — как частным характером устремлений (устройство пространства «в непосредственной близости»), так и, в еще большей степени, установкой на одиночество в работе, предполагающее постоянное следование им самим изобретенным и установленным правилам достойной жизни. Как бы услышав предостережение «Вех», Фандорин стремится изменить не Россию, а самого себя; вернее, Россию через себя. Попутно он и другим помогает измениться. Его определяет не отношение к государству, а отношение к согражданам, многих из которых он выводит на верный путь или прямо спасает. Государство для него не является ни подлежащим уничтожению орудием реакционеров, ни двигателем прогресса; Фандорин не оглядывается на государство ни с ненавистью, ни с надеждой.

Добродетели Фандорина есть добродетели частного человека, и не только потому, что они не рекламируются, но прежде всего потому, что они не зависят от кратковременных государственных задач или течений моды. Герой Чхартишвили далек от свойственного интеллигенции окончательного и бескомпромиссного деления всего на свете на черное и белое; от ее врожденной депрессивно-маниакальной потребности то и дело фанатически привязываться к тому или иному политику или философу — и через некоторое время проникаться к нему же столь же фанатичной ненавистью. Фандорин пытается применить на деле радикальную для России идею, впервые высказанную Чацким, вставшим на сторону тех, «кто служит делу, а не лицам». И — «служит», а не «прислуживается». Рискуя жизнью при выполнении долга, Фандорин доводит до сознания окружающих, что делает это по собственной воле.

Используя предоставленные свободой возможности, герой Чхартишвили предлагает не что иное, как экзистенциальный прорыв, альтернативу интеллигентскому modus vivendi, в рамках коего молчаливое противостояние господствующему режиму и отчуждение от государства породило смирение, суровый цинизм, пассивность и небрежность в работе. Фандорин же действует как честный и свободный человек: он предлагает государству свои добросовестные услуги в тех случаях и до тех пор, пока сущность работы не вступает в противоречие с его этическими установками.

Фандорин не скрывает, что он служит не начальнику полиции, не мэру Москвы и даже не царю (как узнает читатель «Коронации»). Он служит стране. Его патриотизм силен, но носит сугубо личностный характер. Порой может показаться даже, что герою не дорога честь России. Но честь страны в его понимании равняется суммированной чести всех ее граждан, и не может превышать этой суммы. В «Любовнице смерти» Фандорин и его спутница наталкиваются на демонстрацию: националисты, ликующие по поводу какой-то мелкой военной победы, несут портреты царя, иконы, хоругви, выкрикивают патриотические лозунги. И для героя Чхартишвили эта встреча служит прекрасным поводом заметить, что истинный патриотизм, как истинная любовь, никогда не кричит о себе.

* * *

Оценивая вызов, брошенный Фандориным интеллигентскому сознанию, нельзя не призвать на помощь писателя, чье имя неотделимо от образа рус-

ской интеллигенции в литературе. То ли по случайному совпадению, то ли по умыслу — но жизнь и карьера литературного героя Фандорина уподоблены жизни и карьере Чехова.

Чехов-художник, наиболее интимный, тонкий, и к тому же — благодаря своей отстраненной иронии, нелюбви к дидактизму и манере скрывать авторское отношение к персонажу — наиболее «современный» и «не-русский» из русских писателей, тщательно маскировал свои симпатии и антипатии, допуская многообразие интерпретаций. Так что чеховский интеллигент иногда раздражает, иногда кажется невыносимым, но по большей части вызывает сочувствие. Зато в частной жизни Антон Павлович многократно отмечал те качества интеллигентов, которые считал губительными для России. Чехов активно не любил, более того, не выносил интеллигенцию как класс, как образ жизни и тем более — как пресловутую «главную надежду» России. Об этом свидетельствует, в частности, его переписка[32]. Чехова отвращала умственная неряшливость интеллигентов, их привычка к отрицанию, даже их внешний вид. Раздражала вечная апатичность, ленивое философствование, выдающее вялую душу[33]. Суть этих претензий совпадала с эмоциями, вызвавшими к жизни сборник «Вехи».

Чехов верил, что дорога к счастью пролегает не столько через внешние препятствия, сколько через решимость каждого отдельного человека найти свой путь и следовать ему честно и неуклонно. В «Доме с мезонином», предвосхищающем «Вехи» на 13 лет, Чехов сталкивает Лиду Волчанинову с типичным интеллигентом. Лида — сельская учительница, в придачу к этому она раздает крестьянам лекарства, ратует в местном земстве за устройство больницы и с успехом ведет кампанию за смещение продажного и деспотичного земского главы на уездных выборах. Ее оппонент — молодой человек, по его собственному признанию, «обреченный судьбой на постоянную праздность». Жизнь его «скучна, тяжела, однообразна», поскольку он «художник, странный человек, издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело». Он задумал «освободить людей от тяжелого физического труда» путем распределения ручной работы поровну между городскими и деревенскими жителями — «всеми без исключения». Тогда рабочее время сократится до «двух-трех часов в день», а всеобщий досуг будет отдан «наукам и искусствам». По его мнению, больницы, школы и библиотеки «при существующих условиях служат только порабощению», так как вносят в жизнь людей «новые предрассудки» и увеличивают «число их потребностей...». «Скажу вам только одно, — отвечает на это Лида, — нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы — правы.

---

[32] См., например, письма А.П. Чехова к Н. И. Орлову 22 февраля 1899 г. и А.С. Суворину — 30 декабря 1888 г. и 27 декабря 1889 г.

[33] Причина того, что угнетатели интеллигенции выходят из ее собственных рядов, кроется, естественно, в том, что государство — основной поставщик образования и трудоустройства (бюрократический аппарат). За 35 лет до Чехова Достоевский в «Записках из подполья» уже указал на странную способность интеллигенции вить гнездо под сенью враждебного ее идеалам режима, не переставая при этом в частных разговорах присягать на верность этим самым идеалам.

Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем» [34].

* * *

В то время как в искусстве Чехов избегал высказывать свое мнение, в частной жизни он, без сомнения, занимал позицию Лиды: щедро давал на благотворительные нужды; строил школы и сельские больницы, лично наблюдал за работой плотников, укладчиков, печников[35]. Он собирал книги для библиотек и тысячами рассылал их по отдаленнейшим уголкам России, вплоть до Сахалина; он собирал деньги на помощь крестьянам центральной России во время чудовищного голода 1891 года и ездил по голодающим деревням в лютые январские морозы; он лечил крестьян бесплатно. Во время эпидемии холеры, летом 1892 года, он оборудовал больницу близ собственного незадолго до того купленного имения Мелихово и оттуда навещал 25 соседних деревень, борясь не только с холерой, но и с сифилисом, дизентерией, глистами и туберкулезом. В Ялте он организовал туберкулезный санаторий, куда съезжались больные со всей России.

Враждебное отношение радикальной интеллигенции к Чехову было столь же неизбежно, сколь и неуемно. «Прогрессивные» критики обвиняли его в безразличии к вопросам борьбы и протеста, в отстраненности от важнейших событий, которые волнуют русскую интеллигенцию, в равнодушии к общественным интересам, к жгучим проблемам времени. Ему вменялось в вину «отсутствие принципов», сосредоточенность на «мелких» проблемах повседневной жизни и «сердечных тайнах» вместо общественных проблем. Михайловский оплакивал «печальнейшее» зрелище, напрасно растраченный» талант Чехова и его «холодные» сочинения. Либеральная «Русская мысль» обвинила писателя в том, что он является «проповедником беспринципной литературы»[36].

Чехов в ответ не пытался объяснить свою «общественную позицию». Он защищал цельность своей личности: в конце концов, первая существовала только в воображении обвинителей, в то время как последняя являла собой непрелож-

---

[34] Ср. с тем, как Семен Франк поясняет взгляды интеллигенции на «малые дела», — вопрос, который горячо обсуждался в чеховское время: интеллигента «уже не может удовлетворить непосредственное альтруистическое служение, изо дня в день, ближайшим нуждам народа; он упоен идеалом радикального и универсального осуществления народного счастья — идеалом, по сравнению с которым простая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей и волнений текущего дня не только бледнеет и теряет моральную привлекательность, но кажется даже вредной растратой сил и времени на мелкие и бесполезные заботы, изменой, ради немногих ближайших людей, всему человечеству и его вечному спасению. ... отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам...» (*Франк С.* Этика нигилизма. — «Вехи»).

[35] См.: *Vladimir Nabokov.* Lectures on Russian Literature (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1981).

[36] *Чехов.* Письмо к А. М. Лаврову 10 апреля 1890 г.

ный факт. О других Чехов судил таким же образом — «наизнанку». Независимо от степени значительности, общественное лицо человека было для него второстепенным по отношению к частному; общественное никогда не могло извинить или заслонить частного. Когда недавний петрашевец, поэт Плещеев, указал Чехову на его предполагаемое «безразличие и неучастие», тот снова подтвердил свое предпочтение «личного» «общественному». Чехов говорит, что, не являясь «ни либералом, ни консерватором», «политические ярлыки» считает предубеждением. В противовес всему этому его «святая святых» — человеческое тело, здоровье, интеллект, вдохновение, любовь и абсолютная свобода — свобода от насилия и лжи, какие бы формы они не принимали[37].

Как и Фандорин, который начал свой путь без связей и денег, Чехов воспитал себя путем сосредоточенного усилия воли и постоянного самоусовершенствования. Сын разорившегося лавочника из Таганрога, он подрабатывал писанием рассказов в промежутках между экзаменами в медицинской школе и практикой в больницах.

Характер Фандорина безусловно совпадает с характером Антона Чехова: не пессимист и не оптимист, но прагматичный скептик, с осторожностью относящийся к грандиозным социальным проектам; твердо верующий в самолично установленные и хранимые принципы честной жизни. Герой Чхартишвили практикует четыре добродетели, в которых, считал Чехов, заключается единственная надежда России: приличие, достоинство, профессиональную компетентность и трудолюбие.

Легко представить, что Фандорин был задуман как воплощенная противоположность отрицательному интеллигентскому стереотипу. Он практичен, прагматичен, внимателен к деталям, энергичен, компетентен, спортивен, дисциплинирован. (На досуге занимается конструированием и испытаниями автомобилей и ставит несколько рекордов дальности в автомобильных путешествиях. Среди прочего он путешествует из Москвы в Париж.)

Наружность и манеры Фандорина также напоминают Чехова. Писатель был «довольно высок», «худощав» и «мускулист» (пока туберкулез не разрушил его тело), широкоплеч, отличался «легкостью и изяществом движений». Он любил кофе, чистые, просторные помещения и женщин, которые также находили его неотразимым (одной из его тайных обожательниц была младшая дочь Толстого Татьяна). Его никогда не видели «небрежно одетым»; он «не одобрял расхлябанности» — например, не любил, когда ходят днем в тапочках и ночной рубашке; всегда садился за письменный стол безукоризненно одетым. Современники описывают его как обаятельного, спокойного и сдержанного человека, который никогда не раздражался и соединял в своем характере мягкость, деликатность и доброту с полнейшей прямотой обращения[38].

Фандорин обладает теми же качествами хорошо воспитанного человека: уважает людей, всегда деликатен, мягок, вежлив и любезность сочетает с полнейшей искренностью. Фандорин, чья компетентность и разборчивость в час-

---

[37] Письмо к А. Н. Плещееву 4 октября 1888 г.

[38] См.: *Alexander Kuprin*. To Chekhov's Memory. — In: *Maxim Gorky, Alexander Kuprin, and Ivan Bunin*: Reminiscences of Anton Chekhov (New York: B.W.Huebsch, 1921).

тной жизни распространяется на жизнь общественную и профессиональную, являет собой отрицание национального русского стереотипа невежды-лентяя, безразличного к низшим и подобострастного в обращении с высшими. Он любит свою работу и превосходно с нею справляется; ценит людей по таланту и старанию, а не по рангам. Вокруг царит коррупция, Фандорин же взяток не берет. В стране, где как власти предержащие, так и подчиненные постоянно попирают закон, он скрупулезно законопослушен и от других требует того же. Он окружен пошлостью, но сохраняет изысканный вкус.

Чехов, как и Фандорин, ставил личную свободу превыше всего. На два десятилетия предвосхищая Бердяева и Франка с их осуждением «внутреннего рабства» и «оскорбительного рабского мышления», в письме к Алексею Суворину Чехов на примере своей собственной жизни и жизни своего отца показывает, что столь ценимая им свобода не приходит извне; она является результатом изнурительной и продолжительной работы над собой, направленной на избавление от тех качеств, которые несовместимы с образом свободного человека[39].

Поминая это письмо, создатель Фандорина отметил, что выдавливание раба из человеческих душ стало главным достижением последних полутора десятилетий, что люди, наконец, распрямились. Наиболее драгоценный плод этой эволюции — достоинство, качество, которого в российской истории всегда «катастрофически не хватало» (и его нехватка — «главная проблема» страны), но которое возродилось в постсоветском поколении[40].

* * *

В продолжение почти двух веков русская литература предвосхищала и ярко высвечивала трансформацию и разрывы в эволюции русских ценностей и чаяний, сильно опережая в этом властителей, тайную полицию и социологов. Есть основание рассматривать успех Фандорина как знак того, что, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны «интеллигентских традиций» этатизма и политики «спасения души» под девизом «все или ничего»[41], новая Россия, разрабатывая модели постреволюционного существования, дает шанс на выживание и чеховско-«веховской» идее прогресса, который основан на индивидуальном усилии, постепенных изменениях, терпении и упорном труде.

Знак этот явился как нельзя вовремя. Романтическая эра революции миновала. Яростные схватки вокруг приватизации, появление конституции, утвердившей частную собственность и демократию; дебольшевизация и де-милитаризация страны и экономики — все это позади.

Быть может, чеховские принципы — именно то, что требуется путинской России, где индивидуальные усилия миллионов граждан (чеховские «мелкие дела») имеют больший вес, нежели свершения избранных. Работай честно и упорно, не бери взяток, плати налоги, изобретай, рискуй, соблюдай законы и

---

[39] *Ronald Rayfield.* Anton Chekhov. A Life.

[40] «Борис Акунин: В ближайшие месяцы должно определиться, по какому пути пойдет Россия», интервью с программой «Итоги» на канале НТВ, 29 апреля 2001 (сайт: www.ntv.ru/itogi).

[41] *Гершензон М.* Указанная статья.

требуй того же от других. Особенно важно в этом контексте фандоринское настойчивое стремление принять на себя ответственность за страну, которой он служит. Эти качества — ключ к возникновению гражданского общества, без которого России никогда не сделаться либеральной демократией.

Люди, порожденные новым временем России, люди с совершенно новой ментальностью, полагающиеся более на себя, нежели на власть, наверняка симпатизируют стремлению Фандорина навести порядок «на пространстве, находящемся от тебя в непосредственной близости». Стремление же это в свою очередь перекликается с девизом средней буржуазии — на очередную речь о великих планах следует простой и здравый ответ: «надобно возделывать собственный сад»[42]. Эти настроения хорошо согласуются с тем, что можно назвать «приватизацией» национальных интересов: впервые в русской истории критерии национального величия начинают измеряться не военной и державной мощью, а благосостоянием граждан.

Возможно, успех фандоринской серии знаменует исторический водораздел — начало превращения интеллигенции, на протяжении двух веков состоявшей на государственной службе и верившей во всесилие социальных реформ, в класс самодостаточных интеллектуалов, часть постсоветского среднего (а иногда и верхнего) класса. Среди прочего авторы «Вех» задавали и такой вопрос: что если, пересмотрев свои ценности и приоритеты, интеллигенция оставит априорное противодействие властям и попытается изменить Россию изнутри? Что если она «органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества»[43]? Что если впридачу интеллигенты расстанутся со своими «антибуржуазными настроениями», порожденными презрением к «банальной, филистерской стороне жизни»? Иными словами — что если интеллигенты царству будущего предпочтут реальный мир?

Способна ли интеллигенция наконец понять, что свойственные умеренный «эгоизм, самоутверждение — великая сила», которая делает западную буржуазию «могучим б е с с о з н а т е л ь н ы м орудием Божьего дела на земле» — в то время как «фанатическое пренебрежение ко всякому эгоизму, как личному, так и государственному, которое было одним из главных догматов интеллигентской веры, причинило нам неисчислимый вред»[44]. Да и будет ли такая перемена равносильна «обуржуазиванию» интеллигенции?

В России 1909 года фандориных было, очевидно, немного, и времени до 1917-го оставалось мало. Осмелимся предположить, что читательский прием, оказанный герою Чхартишвили девяносто лет спустя, указывает на то, что мышление, необходимое для превращения России в либеральную капиталистическую демократию, на этот раз укоренилось и завоевывает себе все новых и новых сторонников.

Перевод Марины Георгадзе

---

[42] Вольтер, «Кандид»: Çela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin.

[43] *Струве П.* Указанная статья.

[44] *Гершензон М.* Указанная статья.

Татьяна СОТНИКОВА

В МИРЕ МУТАНТОВ, ИЛИ ХРОНИКА УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Елена Трегубова. Байки кремлевского диггера.

М.: Ad Marginem, 2003

Чтение книги Елены Трегубовой делает оптимистом. Тем самым, который на мрачный вздох пессимиста: «Ну, хуже быть уже не может...» — уверенно отвечает: «Может!».

Собственно, вся эта книга и является историей о том, как в современной России было плохо, а потом стало хуже. И — попыткой разобраться, что именно стало хуже и почему.

Понятно, что книга Трегубовой обречена на массовый успех — в первую очередь потому, что в ней содержится множество сведений, заведомо привлекательных не только для малочисленных политологов, но и для обычных людей, которым всегда интересно знать: что же на самом деле происходит в той жизни, от которой их надежно отгораживает экран телевизора? Какие они, эти загадочные механизмы власти, и какие люди этими механизмами управляют?

Отчасти этот интерес — праздный, потому что подобное знание никаким образом не может повлиять ни на механизмы власти, ни на повседневную жизнь интересующихся ими посторонних людей. И, как ответ на этот праздный интерес, в книге Трегубовой имеется множество увлекательных сплетен из жизни кремлевских обитателей — выращенных в специальном инкубаторе «мутантов», как она их вполне обоснованно называет.

Но отчасти в интересе посторонних людей к тому, что происходит в коридорах власти, присутствует не только праздное любопытство, но и вполне достойная уважения составляющая. Потому что эти люди являются посторонними только для тех, кто взялся ими управлять, в действительности же они — граждане страны, в которой живут, и для неравнодушия к тому, как эта страна управляется, у них есть вполне законные основания. И поэтому их интерес к

Татьяна СОТНИКОВА — родилась в 1963 г. в Минске. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета и аспирантуру Литературного института. Кандидат филологических наук, доцент Литературного института. Автор двенадцати романов (под псевдонимом Анна Берсенева) и многих статей по современной русской литературе в энциклопедических и в периодических изданиях («Знамя», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др.). Живет в Москве.

обычаям властей предержащих невозможно удовлетворить одними только сплетнями о том, как Роман Абрамович на заре своей карьеры жарил шашлыки для Татьяны Дьяченко и Валентина Юмашева.

К чести Трегубовой следует сказать, что она и не ограничивается сплетнями. Название «Байки» по отношению к ее книге — это в большей мере дань массовому тиражу, чем содержанию; и даже в какой-то мере дымовая завеса. Хотя то, что книга не сводится к изложению «баек» и броских девичьих наблюдений сомнительной глубины, — все-таки достойно удивления. Потому что многое в личности автора, каким он предстает на страницах книги, позволяет ожидать именно самозабвенного щебетания, а никак не тех жестких политических оценок, которые в книге даются.

Что дает основания для такого — к счастью, не оправдывающегося — ожидания? Да вот именно всеобъемлющая, цельностью своей даже приводящая иногда в умиление самовлюбленность автора. Прекрасно владея приемами убийственной иронии, о самоиронии Трегубова попросту не имеет понятия. И это качество заставляет при чтении ее книги то улыбаться, то возмущаться, а то даже и восхищаться такой ничем не замутненной любовью к себе. История России, оказывается, имеет такое же отношение к истории личного бытования журналистки в кремлевских коридорах, как «Розеркранц и Гильденстерн» Стоппарда к «Гамлету» Шекспира. (Шекспир, если кто запутался в таком изысканном сравнении, это Елена Трегубова). Поиски в Страсбурге (дело происходило в 1997 году во время саммита Совета Европы, на который Трегубова прибыла в составе кремлевского журналистского пула) ресторана, в котором можно заказать прожаренный, а не «замаринованный и протушенный перед этим по гадкому местному обычаю» кусок мяса, описаны не просто с глубоким, а поистине с благоговейным уважением к своим кулинарным вкусам. Горячие профитроли, лакомиться которыми измученная эльзасской кухней журналистка летала на ночь из Страсбурга в парижское Grand Cafe на бульваре Капуцинов, тоже, разумеется, не забыты — как и прочие подробности на тему: «Я самая обаятельная и привлекательная», — которыми изобилует едва ли не каждая страница книги.

Но! Смеетесь ли вы над очевидной авторской самовлюбленностью, умиляетесь ею или возмущаетесь, — если вы считаете главным в книге именно это, то вы эту книгу, можно считать, вовсе не читали. Потому что главное, что делает произведение Трегубовой заметным явлением современной публицистики, — это все-таки не кремлевские сплетни и не рассказы о присущих себе, любимой, бытовых привычках, а внятные, жесткие, не страдающие досадной нравственной неточностью оценки общественно значимых событий, которым она стала информированным свидетелем, и людей, которые сыграли в этих событиях заметную роль. Можно не соглашаться с ее утверждением о том, что в стране не было иных порядочных журналистов, кроме тех, которые вместе с ней входили в Хартию, основанную Машей Слоним, — но трудно не согласиться с тем, что многие журналисты этой Хартии действительно вели себя в высшей степени достойно в иных ситуациях, в которых их «внехартийные» коллеги шли на недостойные компромиссы с властями, да еще и оправдывали себя тем, что это якобы совпадало с их свободными убеждениями.

Пусть Трегубова самозабвенно повествует об эльзасском неправильном мясе и стамбульском правильном мороженом — зато она не взирает «с одной стороны, с другой стороны» на катастрофу подводной лодки «Курск»; в ее понимании, подобные события могут оцениваться только с одной стороны, и в этой ее оценке черное не путается с белым. Между тем в те жуткие дни не редкость было услышать от простых людей «из народа», понятия не имеющих, где находится Эльзас и что такое профитроли, леденящие душу рассуждения о том, что, конечно, подводников жалко, но ведь в тонущей лодке хранились наши военные секреты, так что пусть уж их, подводников... главное, что иностранные спасатели-шпионы до секретов не добрались, спасибо президенту...

И в палате для ампутантов волгоградского военного госпиталя, во время визита туда президента Путина, Трегубова не рассуждала о целесообразности наведения конституционного порядка в Чечне: «Мне казалось, что я изо всех сил стараюсь не расплакаться. Но в ту секунду я обнаружила, что на самом-то деле у меня уже давно по лицу сплошным потоком текут слезы. Больше всего мне хотелось встать и дать Путину пощечину: за его бесстрастное выражение лица в тот момент, за менторский тон, которым он, не воевавший, позволил себе говорить с этим мальчиком, раненным на войне, которая так понадобилась Путину для победоносных выборов. А еще — за путинскую пропаганду по всем телеканалам, которая успела так загадить людям мозги, что этот парень, едва оставшийся в живых, радуется, что видел живого Путина».

Такие вот профитроли.

В общем, проработав несколько лет кремлевским обозревателем разных газет, Трегубова, видимо, все-таки сумела не превратиться из «диггера» (то есть, согласно ее определению, засланного исследователя кремлевской системы) в «мутанта» (то есть коренного обитателя российской политической клоаки). Хотя опасность подобного превращения существовала задолго до того, как об этом догадалась журналистка. Именно эту опасность, которая возникает для независимого человека, когда он поддается магии власти, описал в «Войне и мире» Толстой, рассказывая об отношениях князя Андрея со всесильным в то время царедворцем Сперанским: «Потому ли, что он оценил способности князя Андрея, или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский (...) льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единственным человеком, способным понимать всю глупость *всех* остальных, разумность и глубину своих мыслей».

Трегубовой, не в последнюю очередь благодаря ее учителям-диссидентам, удалось не проникнуться мутантской логикой. Но такая стойкость — вовсе не само собой разумеющееся дело. И ее «личная трагедия» — разочарование в Чубайсе, которого она долго считала «диггером, замаскированным под мутанта», — наилучшее тому доказательство. Нетрудно догадаться, что долгое существование в Кремле в «замаскированном» виде не может пройти бесследно для человеческой психики. «У Чубайса, — пишет Трегубова, — теперь не осталось ни мифа о радикальной реформе, проведением которой он раньше мог оправдывать отказ от собственных принципов, ни, собственно, этих либеральных принципов, выразителем которых он прежде являлся для значительной части

населения и от которых после прихода Путина к власти Чубайс сам же последовательно, под удобными предлогами, отказался. Сейчас, когда режим Путина все больше становится авторитарным, (...) Чубайс со своими вечными заботами об энергетике становится и вовсе похож на свихнувшегося электрика, который бегает по тюрьме и успокаивает заключенных:

— Ничего-ничего! Скоро вам свет дадут! По крайней мере, я буду драться за ваше право на освещение до последнего!

При этом электрик этот искренне забывает, что обещанный им свет сразу поступит не только в тюремные лампочки, но одновременно и в электрический стул».

Что ж, тоже ничего нового — еще Мандельштам вскоре после большевистской революции написал о подобном умоисступлении: «Есть блуд труда, и он у нас в крови».

Но, в конце концов, вряд ли читателям стоит слишком беспокоиться о преображении Чубайса, как бы дорог он ни был всем кремлевским диггерам вместе взятым. Самое сильное и самое гнетущее впечатление «Баек» состоит не в истории этого преображения.

Вот Трегубова рассказывает другую историю, о «Связьинвесте». Если кто (подавляющее большинство населения страны) забыл — это была такая прибыльная компания, за 25% акций которой, не щадя живота своего, в 1997 году сражались группировки Березовского-Гусинского и Чубайса-Потанина. И ладно бы вышеназванные товарищи сражались за этот морок лично друг с другом — но нет, они при этом «разносили вдребезги всю страну», лишая ее (а заодно и себя самих) «такого реального в тот момент шанса на цивилизованный выбор»... Вообще, именно ощущение того, что огромная, и без того отягощенная страшными традициями векового рабства и советской кровавой нивелировки страна отдана во власть ничтожнейших людей, которым нет дела ни до чего, кроме собственных шкурных интересов, причем интересов именно ничтожнейших, — это самое мрачное и, к сожалению, самое отчетливое ощущение, которое оставляет книга Трегубовой. О чем думали все эти жалкие образчики кремлевской черни, когда «мочили» друг друга — в то время еще не в «сортирах», а в принадлежавших им средствах массовой информации, которые явно можно было использовать для более достойных целей?! Уж точно не о том, какая неподъемная ответственность возложена на них по прихоти — как теперь понятно, по трагической прихоти — истории. Уж точно не о бескрайней стране, в которой даже если всего лишь пять процентов населения умны, талантливы и заслуживают лучшей участи — то это уже не тысячи и даже не десятки тысяч, а миллионы людей. Миллионы учителей, врачей, рабочих, крестьян, ученых, миллионы возникших буквально из ниоткуда предпринимателей, которых давят, душат, лишают средств к существованию уже не миллионы, а десятки миллионов хамов, в чинах и без, привыкшие за годы советской власти к тому, что именно они, хамы — опора государства. И вот вместо того чтобы дать людям, которые могли бы составить основу неисстребимого процветания страны, возможность наконец-то стать свободными гражданами, которыми больше не будут помыкать подонки (тоже своего рода мутанты, выведенные в ходе многолетней коммунистической селекции), — вместо этого те, в чьих руках оказалось управление Россией, с потряса-

ющим цинизмом вели свою личную мелкую борьбу черт знает за что — то за миф под названием «Связьинвест», то за выигрыш в деле «союза писателей» (это когда Потанин дал Чубайсу взятку в виде гонорара за книгу о российской приватизации). Не догадывались, к чему все это может привести? А должны были догадываться, ума им для этого природа отпустила достаточно! Другое дело, что не отпустила некоторых других качеств, которые позволяют нормальным людям, не мутантам, различать, что такое хорошо и что такое плохо...

Трегубова вспоминает, как незадолго до падения последнего ельцинского реформаторского правительства на собрание журналистской Хартии явился личный пропагандист Михаила Ходорковского Леонид Невзлин. (Вероятно, Ходорковский в те времена с таким же трудом мог представить себя узником Матросской Тишины, как Невзлин — находящимся в международном розыске эмигрантом; а надо было представлять!)

«Если Ельцин не захочет договориться с нами по-хорошему, мы обыграем его в два счета. Потому что Дедушка в политике учился играть еще в домино, а мы уже играем в шахматы», — заявил Невзлин при молчаливом согласии сидящего с ним рядом на Машкином диване Ходорковского (в той групповой «шахматной» партии он кратковременно играл на стороне Березовского). Спецпропагандист нефтяного магната по-простому сообщил нам также, что в случае зловредного упрямства Дедушки и младореформаторов по вытрясанию из нефтяников налогов, олигархам вообще «дешевле будет купить коммунистов, проплатить уличные акции, и к осени Ельцина в Кремле уже не будет».

Как ни неприлично пенять тому, кого гнобят власти, но все же интересно: вспоминает ли Ходорковский об этом теперь, понимает ли степень своей ответственности за то, что происходило со страной тогда и логически привело ко всему, что происходит сейчас? Трудно сказать... Вот Альфред Кох, судя по его нынешним высказываниям, и теперь не осознает, что, принимая активное участие в уничтожении старого НТВ, он не только осуществлял личную месть по отношению к обидевшему его «Гусю», но и помогал превратить хотя бы относительно свободный телеканал в абсолютно несвободный рупор государственной пропаганды.

Видимо, не слишком дорог был всем этим людям слабенький ребенок свободы вообще и свободы слова в частности, если они легко выплеснули его вместе с мелкой водой своих амбиций... Или они не знали того, что начинающая журналистка Трегубова сразу же узнала от циничных кремлевских пиарщиков, — что «вся новая российская система власти построена исключительно на выходцах из КГБ и руководящих партийных органов, причем прежняя иерархия во многом сохранена»? Или не догадывались, что при такой системе власти возврат к старому возможен в любую минуту, а потому все, что хотя бы минимизирует такую возможность — вроде, например, даже и относительно независимых СМИ — должно быть бережно сохраняемо? Трудно поверить, что Ходорковский, Кох и многие другие демократические «випы» этого не понимали. Но ведь так хотелось выиграть шахматно-доминошную партию или «замочить Гуся»! До страны ли им было?..

Ситуация 1998 года предстает в описании Трегубовой именно «жутковатой, гибридной партией между шахматистами и доминошниками, которая за-

вершилась вполне логичным, разрушительным для страны эндшпилем». А чем еще она могла завершиться? Как-то не просматривается в ней ни одной значимой фигуры, которую можно было бы воспринимать как личность большого масштаба, способную встать выше этой ситуации и переломить ее.

Впрочем, нет — одна просматривается: Борис Николаевич Ельцин. Но и по отношению к нему есть все основания говорить о ничтожестве. Только в его случае не о ничтожестве амбиций, или устремлений, или стяжательских помыслов, а о ничтожестве порока... И в основе этого его персонального ничтожества лежит ровно то же самое, что и в основе всех прочих ничтожеств кремлевских обитателей: непонимание того, что огромная страна, которая волей судьбы оказалась вверена тебе во власть, совершенно точно заслуживает того, чтобы ты ради ее блага совершил некоторое усилие воли и преодолел свою тягу к саморазрушению. Но «Дедушка» не совершил и не преодолел, и вряд ли история будет к нему за это снисходительна. Что взять с «Тани», «Вали» или с господ Волошина и Суркова? Личности такого невеликого масштаба и предназначены были лишь для того, чтобы «разруливать», «разводить» и совершать прочие невеликие дела. А вот Борис Николаевич...

Люди чувствуют внутреннюю мощь и чувствуют личностный масштаб, особенно когда все это присуще человеку, стоящему у власти. И, как бы люди к этому человеку ни относились, они признают за ним право поступать так, как ему его личностный масштаб подсказывает. Ставить крест на социализме. Начинать радикальные экономические преобразования. Предотвращать гражданскую войну с помощью танков, выведенных на улицы столицы. И им горько видеть, как человек такого масштаба, находясь в невменяемом состоянии, порывается подарить «другу Рю» российские земли, словно управдом Иван Васильевич из комедии Гайдая, или поддается на обещания очередного лизоблюда усмирить Чечню «за два часа одним парашютно-десантным полком»...

Если вся книга Трегубовой — это хроника упущенных возможностей, то именно Ельцин предстает самым ярким символом этого явления. Возможностей, упущенных им лично, а вместе с ним и по его вине — страной. Все ему было дано: и незаурядный характер, и способность сокрушить любые преграды, и политическое чутье, и, главное, то, чем, по Пушкину, только и сильна держава — «мнение народное». Именно при Ельцине сложилась уникальная ситуация, когда большинство населения России, едва ли не впервые в ее истории, осознало себя не бессловесной массой, а гражданами, и потому было настроено не на то, чтобы взять все и поделить, а на активные созидательные действия.

Все было дано — и все было принесено в жертву зауряднейшему пороку, который трудно извинить даже обычному человеку, разрушающему лишь собственную семью. Что уж говорить о президенте, который, поддавшись этому пороку, отдал целую страну во власть лукавых царедворцев с их жалкими интригами! Добавить к этому всепоглощающую ельцинскую жажду власти — и получилось то, что получилось...

Пожалуй, Ельцин — единственный человек, о котором из книги Трегубовой современный читатель не узнает ничего нового. Просто потому что он, современный читатель, был одновременно телезрителем и собственными гла-

зами видел ельцинские «загогулины», которые описывает журналистка. И, наверное, этот читатель-зритель так же, как она, радовался, «когда наш родной Дедушка мог долгое время твердо держаться на ногах и не говорил на публике глупостей! Потому что, когда он делал наоборот, нам, сопровождавшим его в поездках, хотелось как минимум разреветься, а как максимум — провалиться сквозь землю». Вот только все ли соотечественники, следившие за «загогулинами», в полном согласии с Трегубовой воспринимали Ельцина именно как великого человека, который «несмотря на свою периодическую невменяемость все-таки упорно пытался построить в стране на протяжении всех постсоветских лет» цивилизованное, демократическое общество? Слишком уж далеко Борис Николаевич уходил от этой цели и слишком очевидно демонстрировал, что он не справился с миссией, которую на него возложила история...

В одном трудно не согласиться с Трегубовой: «Разве можно сравнить нынешние путинские "афоризмы" — почему-то все как один какие-то кровожадные или садистские — с незабвенными добродушными ельцинскими загогулинами?» Как задумаешься — а ведь и верно: ну какие высказывания нынешнего президента стали крылатыми? «Мочить в сортире», «сделать журналисту обрезание, чтобы у него больше ничего не выросло»... Или вот недавно появился в Интернете президентский сайт, предназначенный детям, — и на нем, пожалуйста, очередной афоризм. В разделе, где детишки могут сравнить свое мнение с мнением Путина, предлагается продолжить фразу: «Когда на перемене два школьника дерутся...» Путин из нескольких вариантов выбрал следующий: «... виноватым будет тот, кого отлупили, потому что победителя не судят».

«Неужели вы не понимаете, что президент просто пошутил!» — воскликнул автор сайта, детский писатель Григорий Остер, в ответ на вопрос журналистов о том, как он относится к подобной жизненной философии и не боится ли, что ее переймут, к примеру, его собственные дети. Что ж, как только начинаешь понимать подобные шутки, самое время направить свой талант на создание президентских сайтов — вряд ли он годен еще на что-нибудь...

Трегубова хотя и не инженер человеческих душ, но ее впечатления о человеке, в котором, когда она начинала свою работу в кремлевском пуле, еще никто не предполагал будущего президента России, заслуживают внимания. Они изложены в ее книге так внятно, что не требуют комментария.

«В конце мая 97 года я приехала на Старую площадь познакомиться с только что назначенным руководителем Главного контрольного управления президента. (...) Во главе стола был едва заметен маленький скучный серенький человечек. Глаза его оставались не просто бесцветными или безучастными — они вообще отсутствовали. Было невозможно даже понять, куда именно он смотрит, взгляд его как бы растворялся в воздухе, размазывался по лицам окружающих. Этот человек внушал собеседникам ощущение, что его вообще нет, мастерски сливаясь с цветом собственного кабинета. (...) Он поклялся, что теперь-то в Приморье все пойдет по-другому, потому что представителем президента туда только что назначен «наш человек» — генерал-лейтенант Виктор Кондратов, до этого возглавлявший управление ФСБ по Приморью. (...) Изложив свою красивую теорию, Путин, впрочем, не смог объяснить, что же раньше мешало этим «чистым» органам не доводить страну до подобного состояния.

Или хотя бы, почему указанный товарищ Кондратов не боролся с коррупцией в Приморье на посту главы местного ФСБ. Путину явно хотелось казаться тем самым человеком, который вот сейчас, не вставая из-за стола, спокойно, даже не меняя интонации и выражения лица, может своими руками легко стереть в порошок не только какого-то там Наздратенко и российскую коррупцию, но и любого, кто станет на пути у него и его любимых органов. (...) Все помнят, что приморская кинопроба генерала Кондратова на роль комиссара Катани всего через несколько месяцев с треском провалилась. Вся эта история чрезвычайно символична. Потому что в ней, буквально как в капле воды, отразился сценарий будущего президентства Путина. Уже тогда было понятно, что, по странному капризу, природа наделила этого амбициозного человека в равной степени как любовью ко всякого рода воинственным спецэффектам, так и неспособностью конструктивно реализовать их на практике».

Впоследствии Трегубовой довелось пообщаться с Путиным, к тому времени уже директором ФСБ, и в менее официальной обстановке: он, ни много ни мало, пригласил ее в ресторан. Было бы странно, если бы на страницах своих «Баек» она не воспела в мельчайших подробностях, как великолепна и незаурядна была во время этого мероприятия. Как опоздала на встречу, в каких была туфельках, как сломала каблук, как, сидя на крошечной японской скамеечке, сверху вниз смотрела на главного чекиста страны, который (как, впрочем, и все остальные мужчины, описанные на страницах «Баек») отпускал ей комплименты... Можно еще раз посмеяться над такой нежной любовью к себе, можно по этому поводу поморщиться. А можно и догадаться: когда совсем молодую женщину умело «разрабатывает» опытный, отлично обученный спецслужбовец, явно намереваясь сделать из бойкой журналистки «бачок» для «слива» выгодной ФСБ информации, — то ей совсем не просто на такую разработку не поддаться, и ее твердость заслуживает уважения. Так же, как и ее оценка собеседника — причем оценка, основанная не на пресловутой дамской интуиции, а на жестких наблюдениях политического журналиста.

«Меня искренне впечатлило, — пишет Трегубова, — насколько Путин блестящий коммуникатор. Хотя все его профессиональные приемы общения с собеседником были довольно хрестоматийны и без труда читаемы, тем не менее исполнение было виртуозным. Не знаю как — мимикой ли, интонацией, взглядами, — но в процессе разговора он заставил меня подсознательно чувствовать, как будто он — человек одного со мной круга и интересов. Хотя ровно никаких логических причин полагать так не было. Наоборот — все факты свидетельствовали, что он — абсолютно противоположный мне человек. Я поняла, что он — просто гениальный «отражатель», что он как зеркало копирует собеседника, чтобы заставить тебя поверить, что он — такой же, свой. Впоследствии мне приходилось неоднократно наблюдать этот его феноменальный дар во время встреч с лидерами других государств, которых он хотел расположить к себе. Это поражает даже на некоторых нынешних официальных фотографиях, где удачно схвачен момент — вместо, скажем, российского и американского президента там вдруг сидят и улыбаются друг другу два Буша. Или два Шредера. На какой-то короткий миг Путин умудряется с пугающей точностью копировать мимику, прищур глаз, изгиб шеи, двойной подбородок, и даже чер-

ты лица своего визави, и буквально мимикрирует под него. Причем делает это так ловко, что его собеседник этого явно не замечает, а просто ловит кайф».

Трудно было бы ожидать, что такая не в меру наблюдательная журналистка надолго задержится в кремлевском пуле после того, как хозяином заведения стал Путин. «Кто нас обидит, тот три дня не проживет», — это, кстати, еще один из президентских афоризмов. Трегубова, правда, задержалась в Кремле не на три дня, а на год. И за этот год успела вдоволь наглядеться на то, как мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, произошел откат к советским порядкам — пока еще не по всей стране, а на отдельно взятом и огороженном краснокирпичной стеной ее участке. Как о президенте, словно о покойнике, стало возможным писать либо хорошо, либо ничего. Как главным критерием оценки человека вновь стал не его талант или незаурядность, а только его управляемость — то самое качество, благодаря которому при советской власти на каждой сколько-нибудь начальнической должности сидела как минимум посредственность, а как максимум подлец. Как многие коллеги-журналисты начали воспевать каждый шаг и чих президента даже не потому, что испугались за свою карьеру, а потому, что искренне прониклись сознанием важности и безупречности каждого его чиха.

Ну, что до коллег, то тут Трегубова, пожалуй, не должна была бы удивляться. Или она не слышала их дружный хор, радовавшийся, когда «поставили на место» киселевских энтэвэшников? Хочется верить, что она по крайней мере сама в тогдашнем хоре не участвовала... Впрочем, то, что история с НТВ обойдена в ее «Байках» почти полным молчанием — и это при том, что гораздо менее значимые истории изложены во всех, порой раздражающих, подробностях, — позволяет подозревать, что и сама она, возможно, не удержалась тогда если не от злорадства, то от подспудного одобрения: чего их, дескать, жалеть, сами они не безупречны... Так что уже во время истории с НТВ — ТВ-6 было понятно, что такие люди, как Алексей Венедиктов (кстати, о нем Трегубова пишет с безусловным уважением), предложивший опальным тележурналистам выходить в эфир у него на «Эхе Москвы», — это в профессиональной среде вовсе не правило, а исключение. Среди представителей четвертой власти можно по пальцам пересчитать тех, кто хотя бы приближается к званию властителя дум, и история отношения коллег к опальной Трегубовой — еще одно тому доказательство. Есть и более свежие примеры: уже после издания «Баек» журналистке была устроена довольно угрожающая то ли месть, то ли провокация — под дверью ее квартиры сработало взрывное устройство. Газета «Московский комсомолец» немедленно написала, что взрыв организовала сама Трегубова для рекламы своей весьма непрофессионально написанной книжки... Это высказывание является особенно ярким образчиком «журналистской солидарности» оттого, что публикуется в газете, журналист которой был взорван прямо в редакции за свою профессиональную деятельность.

Так что рассказ Трегубовой о поведении коллег в то время, когда ее «выжимали» из кремлевского пула, если не принимать во внимание обывательское любопытство к сплетням, по гамбургскому счету даже и неинтересен. Ну кому интересны подробности мелочности мелких людей? Вот подробности о президенте...

Впрочем, и они, по тому же гамбургскому счету, не имеют ровно никакого значения. Может быть, Путин обладает не менее демократичными взглядами на какие-то частные ситуации, чем его предшественник Ельцин. Может быть, лично его возмущает, когда в армии, в которой он является верховным главнокомандующим, до смерти морозят солдат. Но та система власти без общественного контроля за ней, которая совершенно очевидно выстраивается им во время его президентства, уже не зависит от его личных взглядов. Потому что именно при этой системе очень скоро дело будет поставлено так, что президент уже не узнает из средств массовой информации о таком неприятном инциденте, как смерть замороженного солдата. Она и сейчас-то случайно просочилась в СМИ, эта информация, а уж на будущее начальники всех видов — как армейские, так и информационные — позаботятся о том, чтобы не беспокоить начальство и народ подобными сведениями. И ничьи личные воззрения, пусть даже и президентские, значения для работы этой стремительно налаживающейся машины иметь уже не будут.

В этом смысле очень показательна история, рассказанная Трегубовой о Сергее Иванове, который в пору ее с ним знакомства еще не был министром обороны.

«Бывший разведчик Иванов в личном общении оказался невероятно светским и по-настоящему gentle. (...)

— Вы поймите: мы с Владимиром Владимировичем оба долго проработали в советское время за границей. Мы уже тогда видели, что где-то есть другая, цивилизованная жизнь! И поэтому мы оба — цивилизованные люди. Так что все это ерунда, когда про нас говорят, что мы введем какие-то силовые меры и уничтожим оппозицию...»

Незадолго до того, как президент Путин узнал из средств массовой информации о том, что в российской армии, оказывается, сотнями морозят солдат, министр обороны Иванов сообщил на каком-то совещании, что вверенная ему армия уже отреформирована. И знание того, как устроены армии цивилизованного мира, нисколько не помешало ему сделать это беспримерно циничное заявление...

Так что же — Трегубова зря старалась, описывая особенности личного поведения представителей высшей власти? Все равно ведь в масштабах страны они будут вести себя так, как потребует от них та властная система, которую они выстроили, и те жаждущие реванша люди, которых они в эту систему привели.

И все-таки журналистка старалась не зря. Даже если «сокрытым двигателем» ее стараний была в очень большой степени личная обида и желание отомстить обидчикам, даже если сама она вовсе не воспринимается как «дитя добра и света» и порой раздражает своей самовлюбленностью, — все это хочется ей простить. Потому что книга у нее получилась — настоящее свободы торжество.

А это теперь дорогого стоит.

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

/январь – февраль 2004 г./

16.01.2004

Здравствуйте! В эфире — первая в новом году программа «Плавленый сырок», в студии Виктор Шендерович. Давненько, как говорится, не брал я в руки шашек... Так ведь Новый год!.. До половины января — как Мамай прошел по трудовым коллективам страны! Но все ж таки помаленьку реанимировались люди добрые и вышли на работу, низкий поклон.

Пример россиянам подала Государственная Дума: новоизбранные депутаты вышли на работу аж до старого Нового года. Видать, невтерпеж было собраться по фракциям и поглядеть в глаза всем товарищам по борьбе. Для единороссов задача оказалась невыполнимой: их, благодетелей, набилось в Думу триста одиннадцать человек, и кабинета такой вместимости в здании попросту не нашлось. Тогда они решили провести заседание фракции по четырем подгруппам, но и это вопроса не решило: по первой же отмашке все медведики разом рванули почему-то именно в ту комнату, куда направился Грызлов. Пришлось наводить порядок из Кремля и возвращать избранников народа в предназначенные для них помещения. По окончании инструктажа, посвященного тому, как, когда и по какой команде какую кнопку нажимать, депутаты-победители пошли делить руководящие места. Членов других фракций попросили не беспокоиться. И правильно! Не надо было ля-ля на выборах по всем каналам, как будто что-то зависело от избирателей, а надо было договариваться и заблаговременно пробираться в штабные кабинеты правильной партии...

Все двадцать девять комитетов Государственной Думы нового созыва возглавили представителями фракции «Единая Россия». По сведениям источников в руководстве единороссов, ожидается, что впридачу к этому депутаты «Единой России» займут также должности большинства первых заместителей глав комитетов.

---

* О новом формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к предыдущему выпуску в № 118 *(Ред.)*

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 году в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Шукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» — «Плавленый сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Живет в Москве.

Повышенный интерес избранников народа к портфелям и кабинетам, разумеется, в первую очередь объясняется их желанием принести побольше пользы Родине. Но чтобы понять это стремление до конца, надо уяснить еще некоторые обстоятельства отечественного пейзажа. Дело в том, что бюджет страны — штука довольно подвижная: миллиард туда, миллиард сюда — дело житейское, и как раз в комитетах это решается: квоты, налоги, программы развития... И ходоки со всей страны ходить будут главным образом именно в эти кабинеты; туда нести свои куличи с маслом и прочие пряники, помогающие быстрому решению вопросов. Надо ли говорить, что при всем депутатском бескорыстии именно близость к хорошему комитету определяет хорошее настроение с утра.

Изначально в победной фракции было 225 счастливцев. Потом обнаружились новые энтузиасты, интересанты по части перемены политического пола... Но очень скоро желание быть испанцем, то бишь единоросцем, одолело широкие массы законодателей — и депутат пошел к победителям косяком. Некоторые мигрировали с объяснениями — вроде народника Геннадия Райкова, рассказавшего изданию «Газета» драматическую историю маленького человека. Оказывается, единороссы задавили его партию на выборах административным ресурсом, но он чисто по-христиански их простил и вошел к ним во фракцию со всеми своими однопартийцами... А с Павлом Крашенинниковым из СПС произошла вообще сказочная история. Этого прекрасного молчаливого юношу поцеловала какая-то неизвестная кремлевская принцесса, и он тут же превратился в медведя и получил портфель главы комитета по законодательству.

Впрочем, на некоторых поражение седьмого декабря сказалось весьма благотворно. Зюганов, например, стал даже симпатичен... На какое-то время. Пока молчал и считал голоса. А потом Геннадий Андреевич заговорил — и все встало на свои места: к X съезду партии велел всем умудриться помолодеть, восстановить КПРФ как партию ленинского типа, а главное — дать отпор какой-то семигинщине... А еще сказал Геннадий Андреевич: надо очиститься. Ну, если глянуть на партийные перспективы с партийной же прямотой, то партии надо не столько очиститься, сколько причаститься. Потому что в головах там уже давно не «Интернационал», а «Казачок», а половина электората на минувших выборах по-честному отвалила, наконец, в сторону крика «Спасай Россию!» И то сказать: Макашов с батькой Кондратом да Купцов с Семагой (или он теперь как раз Семигин?) — короче, странная компания, не говоря уже о том, что, например, Феликс Эдмундович Дзержинский расстрелял бы их всех подряд. Правда, по разным поводам...

Но главное политическое событие прошедших праздников пришло с противоположного берега: Ирина Хакамада, не дождавшись никого из мужчин, сама вышла на тропу войны. В Кремле о таком счастье мечтать не смели! Потому что, ну сами посудите, с кем было выходить на соревнование нашему светлейшему господину? С охранником Жириновского, да гробовщиком, да защитником выхухолей из верхней палатки, да этим аграрием из особого отдела... Перед Западом неловко... Так что Ирина Мацуовна очень кстати подвернулась со своим путем самурая. Сюжет у выборов появился, будет кого мочить Леонтьеву с Карауловым! Впрочем, бесплатных завтраков не бывает, потому что Хакамада заговорила сама — и сразу про «Норд-Ост»! Вот оно как. Правда, непонятно, где

Ирина Мацуовна была раньше с таким знанием, но все равно — интересный поворот биографии.

Но политические катаклизмы типа президентских выборов не должны сказываться на нормальном течении ежедневной российской жизни. Например, на восстановлении Чечни... Здесь, слава богу, все идет своим чередом. Как сообщает агентство РИА «Новости», Госстрой пресек попытку украсть почти 2 миллиарда рублей под предлогом восстановления Чечни. В ходе проверок выяснилось, что 5 тысяч 460 жилых домов, которые в предоставленных правительством Чечни списках были указаны как не подлежащие восстановлению, вообще не были разрушены или были незначительно повреждены.

У каждой медали, как известно, есть оборотная сторона. И если имеются пять с половиной тысяч фиктивно разрушенных домов и миллиарды реальных рублей, уходящих налево, то, как и следовало ожидать, имеются и реально разрушенные дома, на восстановление которых невозможно получить ни копейки.

Как сообщил в интервью ИА REGNUM председатель Комитета ЧР по делам вынужденных переселенцев и выплатам компенсаций Ваха Байбатыров, компенсацию за разрушенное жилье получат только те, кто постоянно проживает в Чечне. При этом компенсация выплачивается только в случае, если дом разрушен полностью. Полностью он разрушен или нет — должен определить отдел оценки технического состояния жилищного фонда совместно с начальниками районных отделов по выплатам компенсаций. Если гражданин не согласен с принятым решением, он может обратиться в суд.

Отлично! То есть, если твой дом, заодно с твоей республикой, размолотили в пыль доблестные Вооруженные Силы твоей собственной страны и ты с уцелевшими родственниками подался от греха подальше в соседние республики — забудь о компенсациях вообще. А если ты такой упрямый, что после всего этого еще решил пожить на родине, то — милости просим доказать отделу оценки, что дом был разрушен полностью. А если ты за время двух войн три раза отстраивал этот дом — своим горбом и на свои средства? А если он разрушен не полностью, и стены у дома стоят, а крышу снесло государство, у которого, в свою очередь, снесло крышу по случаю алкоголизма Главнокомандующего? Тогда — милости просим в суд. А государство покамест будет восстанавливать некую виртуальную Чечню, а твои вполне конкретные деньги будут путешествовать по чужим немозолистым рукам. А потом, по какому-нибудь новому предвыборному случаю, начнем новую чеченскую войну до полного восстановления...

Тем временем Министерство обороны продолжало свою неусыпную вахту на благо Родины. Хоть бы они там поспали немного, что ли...

Во время совещания в Красноярске Министр обороны Сергей Иванов обсудил проблему нравственной и физической подготовки молодежи к несению воинской службы. Главной задачей, стоящей перед военными комиссариатами, он назвал консолидацию деятельности всех структур и организаций, занимающихся воспитанием и здоровьем молодого поколения.

Да, здоровье у призывников никуда. И закалки никакой! Выгонишь, бывало, цельный самолет таких призывников зимой на летное поле, как давеча под

Новосибирском — да не в шинелях выгонишь, а в ветровочках, в которых они в Москве в военкомат пришли; постоят они эдак часов несколько на морозе — глядишь, все 200 человек с воспалением легких! А один обязательно возьмет и умрет — я думаю, из вредности, чтобы статистику испортить! Да и бог бы с ним, с солдатиком — мало ли их мрет каждый день безвестно, но тут настоящая беда пришла: дело наружу вышло, лично Путин брови нахмурил, «ай-яй-яй» сказал! Стало быть, придется кого-то наказать. Ну, дураков нет: ФСБ, для пограничных нужд которого это замороженное солдатское мясо гнали на Дальний Восток, тут же выяснила, что простыли солдатики еще в Москве, в военкомате! Сейчас там, на коврах и под ними, между Лубянкой и Арбатской площадью, уже началось настоящее сражение. Вот вам разом и диагноз военной реформе, и диалектика: генералитет отмороженный, а у солдат пневмония.

Теперь к делам гражданским, приятным. В минувший понедельник в Москве начал свою работу долгожданный совет по борьбе с коррупцией. На сей раз ей, коррупции, видимо, действительно, кранты, потому что за дело взялся лично Владимир Владимирович Путин. А он если хочет кого сгноить, то — ну, вы знаете... Выступая на первом заседании Совета по борьбе с коррупцией, президент Путин, в частности, сказал: «Пустые разговоры, какая-то шумиха и «кампанейщина» в этой сфере нам абсолютно не нужны, они должны остаться в прошлом. Нужны точные и реалистичные меры и в борьбе с проявлениями коррупции и, главное, в ее предупреждении».

В качестве первой точной, а главное, реалистичной меры — во главе антикоррупционного совета был поставлен премьер Касьянов (сколько сейчас процентов, неизвестно, раньше было два...). Решив кадровый вопрос, президент обозначил приоритеты — и сообщил, что особенно коррупция нетерпима в правоохранительных органах (надо полагать, к этому выводу он пришел, наблюдая за деятельностью Генпрокурора Устинова и министра Грызлова. Эдакий Пастер: привьет Родине какую-нибудь гадость — и смотрит, как будет протекать болезнь). Но главное: президент уже знает, как с этой гадостью эффективно бороться!

«Деятельность чиновников должна быть абсолютно прозрачной, открытой и понятной обществу, — отметил президент, выступая на заседании Совета по борьбе с коррупцией. — Одна из задач Совета — разработать эффективные формы общественного контроля над государственной и муниципальной властью».

Вообще-то, в странах неуправляемой демократии общественный контроль над властью осуществляет пресса. Мы тоже, в свое время (несколько лет назад), это дело пробовали. Я сам, был грех, рассказывал на канале НТВ то про Пал Палыча Бородина с его любовью к ремонтным работам посредством фирмы «Мабетекс», то про Генпрокурора Устинова с его чудесной жилплощадью, как раз от Пал Палыча полученной... И вот: Бородин давно переехал с кремлевского бюджета на союзный, Устинов, напротив, никуда с Тверской не переезжал, а я — весь ушел в голос. Главным образом благодаря неусыпной заботе президента России об общественном контроле над коррупцией и о свободной прессе вообще. Кстати, как раз на минувшей неделе, по случаю, получили мы от барина поздравленьице...

Во вторник,13 января, Владимир Путин передал через свою пресс-службу письмо, в котором поздравил российских журналистов с Днем российской печати. В тот же день министр по печати Михаил Лесин пожелал сотрудникам СМИ «успехов в работе, профессионального роста, творческих удач, крепкого здоровья и счастья».

Путин и Лесин, конечно, не близнецы-братья, но по части личного вклада в торжество свободной прессы — субстанции вполне конкурирующие.

Помимо дня свободной печати в отчетный период случился и День работников прокуратуры. Вышеупомянутый Генпрокурор Устинов отметил свой профессиональный праздник истинным афоризмом: «Не человек для закона, — сказал он, — а закон для человека». Как говорилось в старом анекдоте, «и чукча знает, для какого человека...» Тем временем МВД продолжает съемки многосерийного триллера «Оборотни в погонах»: во вторник в Москве арестовали очередную порцию оборотней — уже не только в погонах, но и с полосатыми палочками — по подозрению в легализации похищенных иномарок.

И напоследок — маленькое арифметическое соображение, которое, полагаю, должно согреть наше патриотическое сознание. Согласно только что опубликованным статистическим данным, жители Британии в среднем тратят на питание своих котов примерно 300 фунтов в год. А средний россиянин, по данным Госкомстата, в месяц наедает на две тысячи сто двадцать один рубль. Нехитрая операция с курсом валют и деление-умножение приводят любителей арифметики к чудесному результату: оказывается, прожиточный минимум среднего россиянина несколько даже превышает прожиточный минимум среднего британского кота. И это еще до удвоения ВВП, представляете? А потом вискаса вообще обожремся! Счастья вам!

23.01.2004

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Потихонечку, стало быть, очнулась Россия после праздников и двинулась дальше своим хорошо проверенным непостижимым путем. Замечено, однако, что по непостижимому пути этому мы стараемся идти по преимуществу колонной. Видимо, так спокойнее. И чем больше отдельных людей удается набить в колонну, тем оно у нас государственнее, державнее и непостижимее получается. Осенний призыв 2003-го года вписал новую страницу в книгу достижений армейского хозяйства.

План по призыву в Москве был выполнен за счет облав в три предновогодние недели. Как пишет газета «Новые Известия» со ссылкой на Комитет солдатских матерей, в целом по столице 60% призывников были набраны в ходе рейдов по квартирам или вызовов в военкомат отчисленных и затем восстановленных студентов. Ничего не подозревающие студенты приходили в военкоматы; несколько часов спустя автобус увозил их на сборный пункт, а к вечеру многие из них оказывались в воинских частях.

Конституция... Священная обязанность, мать ее... Родина-мать с лицом военкома, рыскающая по квартирам и волокущая в строй свой разбегающийся в панике завтрашний день... Кто не спрятался, она не виновата, у нее план. И уж

тут не до подробностей, не до здравого смысла и не до закона даже. Одна чиновная дама, начальник медкомиссии Раменского военкомата и по совместительству главврач районной психиатрической клиники, всех призывников, жаловавшихся на плохое здоровье, клала в свою психушку, к натуральным сумасшедшим. Не хочешь ночевать на соседней койке с Александром Македонским в стадии обострения — пиши отказ от своих жалоб, и вперед, на койку в сборном пункте! А если, гад, продолжаешь упорствовать — готовься к тому, что будут лечить твою грыжу и плоскостопие старым психиатрическим способом — вплоть до смирительной рубашечки и галоперидола. На самом деле все это раменское армейское здравоохранение задолго до газеты «Новые Известия» было хорошо описано у Гашека в «Бравом солдате Швейке». Помните? «У двери умирал чахоточный, завернутый в мокрую холодную простыню...» Но в целом, армия — это, конечно, счастье. Особенно если сумеешь оттуда вернуться. Будет что вспомнить.

Ну да хватит об этом! Вернемся к гражданской жизни (она же предвыборная). Меньше двух месяцев оставалось до выборов президентом России Владимира Владимировича Путина, и мы тут уже начали волноваться: успеет ли он собрать подписи? И вот как раз в минувший четверг отлегло: из гарантийного предвыборного штаба сообщили, подписей собрано — семь миллионов! А нужно было два. Гололед, наверное: тормозной путь большой. Никак не могли остановиться.

Как сообщил «Независимой газете» анонимный источник в энергосбытовой организации Ленинского района, входящей в систему РАО «ЕЭС» (Тульская область), сразу после рождественских праздников к ним поступило указание о сборе подписей за Владимира Путина. От каждого подразделения необходимо было представить минимум три подписи. А директор ТЭЦ-20, входящей в структуру «Новгородэнерго», сообщил, что «на предприятии уже собрано около 200 подписей, что составляет примерно 60% от числа работников предприятия». Х-хе... Другие-то кандидаты в президенты, чудаки, подписи за деньги собирают. Около доллара стоит подпись, между прочим. А нужно их, вы помните, два миллиона. Умножать в столбик не будем, да? Накладное это дело, политика — если только ты не во власти и дело происходит не в России. Тут — никакой арифметики, чистая физика: контакты федеральные почистил, рубильник государственный повернул — и твоя предвыборная, извините за выражение, динамо-машина завертелась совершенно бесплатно! На местах, стало быть, РАО «ЕЭС» и другое избирательное динамо, а в Москве чистку контактов Владимир Владимирович осуществлял на минувшей неделе самолично.

Во вторник в Кремле Владимир Путин провел закрытую встречу с ведущими российскими тележурналистами Первого канала, телеканала «Россия» и НТВ. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Несколько участников этой встречи подтвердили факт проведения такой встречи, но категорически отказались говорить о содержании разговора. Они также просили не называть их имена, ссылаясь на то, что встреча носила закрытый характер.

Ну что же, раз просили, то не назовем, но все-таки интересно — какие такие секреты у главы государства с ведущими журналистами страны? Чего

такого мы с вами категорически не должны знать? Я думаю, речь шла о каких-нибудь милых мелочах, вроде участия президента в программе «Форт Байярд» — хотели, наверное, сделать нам сюрприз, вот и встречались конспиративно. Или какая-нибудь дальняя родственница президента попросила его сфотографироваться на память с Сергеем Брилевым... А то она не верит, что Володя теперь знаком с телезвездами... В общем, что-то такое личное, до нас не касающееся... Потому что — не о выборах же они там говорили, за закрытыми дверями! Не может же быть, чтобы гарант независимости прессы (и по совместительству главный кандидат на победу) втихую давил на психику журналистам и брал анализ на лояльность. Я просто исключаю этот вариант, тем более что и пресс-служба президента его опровергает, а уж честнее президентской пресс-службы во всем Кремле никого не найти!

Ну, стало быть, выборы пройдут в честной равной борьбе, а уж кто победит, тот и будет царствовать на славу — бог знает сколько лет. Кроме бога, это знают еще несколько человек...

В интервью «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за снятие ограничений времени пребывания одного лица в должности президента РФ. Вице-спикер полагает, что такого рода коррективы в Конституцию могут быть внесены Госдумой нового созыва. «Нужно снять все ограничения по срокам: хорошие люди пусть работают, плохих надо снимать на следующий день», — сказал Владимир Жириновский.

В развитие этой гуманитарной идеи я бы предложил организовать думскую комиссию по различению хороших людей от плохих, а главой комиссии назначить Жириновского — тогда уж точно ошибки не будет. Впрочем, глава ЛДПР, как человек тактичный, не назвал того счастливца, которому, по всей вероятности, суждено снять с себя все ограничения — глава Чечни Ахмад Кадыров, вернувшийся на минувшей неделе с хаджа в Мекку, был в этом смысле гораздо откровеннее...

Кадыров: «Будь моя воля, я бы сделал президентский срок Владимира Путина пожизненным»

Думаю, для неподготовленных россиян следует пояснить происхождение этого порыва, чрезмерного даже по нашим византийским меркам. Дело тут, конечно, не в России, которая, разумеется, под пожизненным президентством дорогого Владимира Владимировича расцветет нездешним цветом — Россия тут ни при чем и господину Кадырову, как я подозреваю, вообще по барабану. А при чем тут вот что: вышеозначенный Ахмад-хаджи давно мечтал заиметь для Чечни статус особого региона, чтобы нефтяные чеченские деньги оставались в руках руководства республики, в его, то есть, руках — и уже из них шли, как вы догадываетесь, прямиком на благо чеченского народа. Работу над таким специальным договором Кадыров долгое время вел с неким Волошиным (ну, вы помните...) — но теперь выясняется, что Волошин вообще не в доле, и договариваться надо напрямую. С кем? Правильно. Тут не то что пожизненное президентство предложишь — тут про Мекку забудешь и ежедневный хадж на Рублево-Успенское шоссе пешком совершать начнешь!

Теперь от вопроса о сроках президентства и бренных забот вообще перенесемся в область духовную, поговорим о высоком. А высокого у нас пруд пруди, и духовности немерено. Причем обнаруживается она самым неожиданным образом в самых неподходящих местах.

В минувшую среду в Храме Христа Спасителя была в четвертый раз вручена премия «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». Из рук Председателя попечительского совета фонда — Патриарха Алексия Второго — премию получил президент компании «Интеррос» Владимир Потанин.

Следует заметить, что единство православных народов г-н Потанин укрепляет преимущественно во французском Куршевеле, и под щедрую руку патриарха этот спонсор Иисуса Христа подъехал непосредственно из этих дивных альпийских краев, где по случаю его дня рождения не первый год, вставляя фитиля тихой в прошлом французской деревне, гуляет вся наша родимая малина — от попсы до губернаторов и от Алика Коха до Ксении Собчак. Дивным образом совмещая эти два вида спонсорства, глава «Интерроса» лучше других символизирует для мира нашу офигенно загадочную душу.

Ну, Потанин у нас теперь, стало быть, синоним духовности, а Ленин, чтоб вы не сомневались — товарный знак! По данным «Роспатента», товарный знак Lenin, включая русскую транскрипцию этого слова, зарегистрирован в Международной организации по интеллектуальной собственности компанией из швейцарского города Кройцлингена. Действие регистрации товарного знака распространяется без ограничений на 23 страны, включая Россию. Согласно патенту, под маркой «Ленин» владелец брэнда может производить несколько категорий товаров — кофе, какао, сахар, косметику, одежду, обувь и алкогольные напитки.

М-да... Из Швейцарии ты вышел — в Швейцарию вернешься. Ну что же, я думаю, средство от облысения «Ленин» и одноименные онучи для ходоков уже на пути к потребителю. По сообщению издания «Газета», в столице возрождается служба общественных осведомителей, которые будут сообщать милиции и должностным лицам государственных органов о фактах нарушения порядка. Согласно закону, принятому Мосгордумой, на бюджетном обеспечении находится только председатель совета Общественных Пунктов Охраны Порядка, но он имеет право ходатайствовать перед префектурой о поощрении особо отличившихся активистов.

Что-то слышится родное в звонких песнях ямщика, вы не находите? То есть, конечно, если сильно напрячь фантазию, можно представить себе западный вариант развития событий: мистер Иванов как честный гражданин и налогоплательщик сообщает о том, что его сосед мистер Сидоров мочился на муниципальный забор, а после одиннадцати громко кричал на миссис Сидорову и поставил ей бланш под глазом. Но, честно говоря, гораздо легче представить себе вариант местный, многократно проверенный: как в каждом подъезде появляется по пятнадцать активистов и все начинают стучать друг на друга в великой коммунальной надежде, что соседа заберут и жилплощадь освободится — или просто что он сгинет со своим старым «фольксвагеном», проклятый

буржуй! И так-то не сладко, а уж если наши возбудившиеся общественным активизмом граждане всерьез примутся помогать своему РЭУ обустраивать Россию — это вообще сливай воду...

И еще одна добрая примета возвращающегося порядка. Ведь было время, и еще совсем недавно, когда наши спортсмены, безо всякой пользы для Отечества, просто бегали себе по площадке и пинали кожу, гоняли резину... Слава богу, это время позади! Перед решающими матчами в «Единую Россию» вступил весь новый тренерский штаб сборной по футболу во главе с Георгием Ярцевым. Но и руководитель старого штаба оказался не пальцем деланный...- Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, ушедший также и с поста главного тренера ЦСКА, по всей вероятности, займется политикой, — сообщает журнал «КоммерсантЪ-Власть». Газзаев заявил о своем желании вступить в «Единую Россию» и уже подготовил все документы. «Я считаю, что в партию нужно вступать по убеждениям, — сообщил он в интервью журналу. — Политику, экономику, спорт и культуру разделять нельзя. Если будет выполняться программа партии, достанется всем секторам». Конец цитаты.

Ну, если программа ныне царствующей партии будет исполнена, то всем секторам достанется до такой степени, о которой Валерий Георгиевич даже не подозревает. Но и сам он, разумеется, усилит тренерский штаб единороссов не на шутку. Со своей стороны, я бы предложил сразу бросить Газзаева на работу с судейским корпусом: он это умеет. Но, в общем, все это детали; главное — как-нибудь устроить так, чтобы Валерий Георгиевич больше не тренировал сборную по футболу.

И последнее. Пресс-центр «АвтоВАЗа» объявил на минувшей неделе, что в 2003 году завод более чем на 10% сократил число отклонений в технологии производства. Придя в себя от радости, миллионы счастливых российских граждан, из последних сил поддерживающие отечественного производителя, хотели бы на всякий случай узнать: от какой цифры эти десять процентов? Сколько всего было отклонений в технологии производства? И каких именно деталей касаются оставшиеся 90%? Двигателя или, например, тормозов? Дайте нам, пожалуйста, знать, а мы пока — на троллейбусе... Счастья вам!

30.01.2004

Здравствуйте! До выборов осталось полтора месяца, и вся политически озабоченная общественность расположилась, примерно говоря, в амфитеатре в ожидании неизбежного. Ибо чем закончится этот древний греческий сюжет — все знают заранее: появится Зевс-громовержец и всех ухайдакает. Давно бы слинять из этой театры и заняться, в частном порядке, винопитием и женолюбием, но желание рассмотреть подробности режиссуры удерживает любопытных возле сцены...

Интересно же: как именно будут повержены противники небесной вертикали... и кто в каком акте? Как заломит руки протагонист? И кому? Сколько процентного росту вместе с котурнами обнаружится в этом самом Зевсе в момент решительного явления в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое? Наконец, не превратится ли вся эта античная драма в чистый балаган, на

посмешище соседним народам, которых хлебом не корми, а дай показать на нас пальцем? Скоро мы все это увидим, а пока... Пока что, в минувшую среду, пришел срок сдачи подписей, и Центризбирком приступил к их проверке. Проверка происходила в помещении, где раньше помешалось кафе «Шуры-Муры». Какого Шуры у них муры теперь, догадайтесь сами... Но еще за два дня до этого случилось страшное: глава Центризбиркома, божий человек Александр Вешняков, случайно включил телевизор и оттуда, прямо из новостей дня, ему сообщили чудовищную новость, которая, судя по всему, просто-таки подкосила этого нестарого еще человека.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обратилась в прокуратуру города Москвы с просьбой рассмотреть материалы телесюжета о скупке подписей избирателей, показанного по Первому каналу в минувшее воскресенье. Об этом заявил журналистам председатель ЦИК Александр Вешняков. «Если рассмотрение данных материалов подтвердит, что сборщики подписей действительно платили гражданам за их поддержку кандидатов на пост президента, — заявил он, — то у прокуратуры появятся основания для возбуждения уголовного дела».

М-да. Хорошо все-таки узнавать правду о жизни из телевизора, а не от мальчишек во дворе... Восемь лет сидит наш честнейший председатель двуглавым орлом на избирательном процессе, две парламентские кампании пережил, одну президентскую, местных выборов вообще несчитано — и все это время думал, что подписи за кандидатов собираются бесплатно. Правда, журналисты (ничего святого у людей!) лет уже десять напролет, как ни выборы, публикуют сметы по партиям, областям и кандидатам, с точным указанием расценок за подпись или голос, но Вешняков, живя, надо полагать, непосредственно на облаке, ничего этого никогда не читал и не слышал, иначе, разумеется, немедленно обратился бы в прокуратуру! И вот в минувшее воскресенье — не уберегла охрана, дала посмотреть Александру Альбертовичу программу «Время», и душа Вешнякова уязвлена стала, и встал он во весь рост со своей принципиальностью, а принципиальность у него такого размера — он ее еле в руках удержал! И главное: как это все удивительно совпало с коротким промежутком времени, когда кандидат Путин свои голоса сдал, а кандидаты Глазьев и Хакамада — еще нет... Я чувствую, еще много нам открытий чудных подарит просвещенья век.

Теперь — ну ее на фиг, эту предвыборную грязь, поговорим о чистом и вечном. Например, о законе. В нем, в законе, что главное? Ясность и недвусмысленность! А если в законе нет ясности, а только сплошная двусмысленность, тогда что? Вы скажете — прояснить. Три ха-ха. Это в Бельгии — прояснить, да на островах Фиджи, говорят, есть древний туземный обычай отдраивать букву закона до полной прозрачности, а в наших гвинеях — чем оно туманнее, тем лучше!

По информации газеты «КоммерсантЪ», в Совет Федерации из Генеральной прокуратуры поступил ответ на официальный запрос о том, следует ли считать налоговую оптимизацию преступлением и какие коррективы следует внести в законодательство для разграничения этих понятий. В ответе Генпро-

куратура подтвердила право граждан на оптимизацию налогов, отметив, что оставляет за собой право в каждом конкретном случае решать, был ли в действиях налогоплательщика злой умысел.

Вот так, ясно и недвусмысленно! Вы, дескать, делайте с налогами что хотите, а уж мы сами решим — был у вас злой умысел, или вы хотели уйти от налогообложения из любви к Родине! А как, каким аппаратом они собираются это понимать? А как раньше: чутьем. Придет с утра пораньше Владимир Васильевич Устинов в здание на Большой Дмитровке, окно пошире откроет, по пояс наружу высунется — и давай носом водить: не пахнет ли где злым умыслом? А вид там из окон чудесный: справа Кремль, слева Совет Федерации, и везде люди продвинутые, в бизнесе по плечи. Одна голова наружу торчит, о Родине думает... А с тыла у прокуратуры — Моссовет, там все, кроме Юрия Долгорукого и его лошади, свои налоговые схемы давно оптимизировали, но злого умысла в этом тоже не чувствуется. Или нос заложен? А вокруг — бизнеса, что грязи, чай, не Тетюши, Москва! Одних олигархов человек сто, от джипов не продохнуть, а копнешь документы — сплошная благотворительность... Запах — чудесный! Но в любую минуту, как только ветер изменится... — вы ж понимаете. По глазам вижу: понимаете. А значит, если не хотите, чтобы от обоняния прокуратура перешла к осязанию, надо с ней что? Правильно, договориться. Вот вам и оптимизация! А просто, как в Бельгии, заранее сказать: вот это законно, а вот это нет, — сие не по-нашему... Правильно я говорю, Владимир Васильевич?

Но уж когда нашу Генеральную прокуратуру, не без кремлевского гипноза, пробивает на обоняние, то плющить провинившегося начинают сразу по всему периметру, с привлечением желающих из соседних ведомств. Иногда охотников поучаствовать в русском народном аттракционе «все на одного» зашкаливает, прямо сказать, довольно сильно...

По сообщению агентства Интерфакс, Министерство природных ресурсов, недавно уже проводившее проверку работы предприятий ЮКОСа, поставило перед компанией новую задачу — вырастить зелень вокруг водозаборной скважины в условиях лесотундры. Согласно предписанию, выданному 31 декабря 2003 года, акционерному обществу «Арктигаз» «поручено озеленить территорию водозаборной скважины в срок до 2 февраля 2004 года». Как сообщает агентство, минимальная зимняя температура в месте будущего озеленения достигает минус 59 градусов по Цельсию.

Предыдущий случай такого рода был описан много лет назад Шарлем Перро. Там одна дрянь, отправляясь на бал, тоже поставила своей нелюбимой падчерице уйму народнохозяйственных задач, несовместимых с жизнью. Золушку спасла волшебная фея и один европейский принц, который увез ее из этого дурдома. Как будет выходить из положения Акционерное Общество «Арктигаз», ума не приложу.

Политика партии на укрепление дисциплины, которую всемерно одобряет и поддерживает советск... тьфу ты... российский народ... Короче, это у нас (трудовую дисциплину имею в виду) будет теперь не только в лесотундре.

Издание «Газета» сообщает о намерении комитета Госдумы по регламенту вставить во все депутатские удостоверения микрочипы, с помощью которых можно будет отследить, где находится депутат. К осени передвижение по Госдуме станет строго регламентированным, пишет «Газета». Многие эксперты считают, что отследить передвижения депутатов можно будет и вне Думы. Этой возможностью могут располагать как спецслужбы, так и аппарат Госдумы, если руководство закупит соответствующую аппаратуру.

Вообще-то на Западе с помощью электронных чипов идентифицируют собак: потеряется такой друг человека, отцепится случайно с поводка — его, бедолагу, найдут — и обратно к хозяину, к родной миске. Но чтобы эдак метить народного избранника, это, конечно, наше ноу-хау. Только надо уж не стесняться, чего там, а проявить последовательность и не в пропуска депутатам чипы электронные вставлять, а прямо прокалывать им уши, и все! Конечно, поначалу они поерепенятся немного, но, уверяю вас, больше для виду, потому что все, для кого все эти тонкости имели серьезное значение, до четвертого созыва не дожили. Правда, один нынешний единоросс крикнул в сердцах корреспонденту той же «Газеты»: мол, что я им, буренка, что ли? Но фамилии своей попросил не называть, из чего можно сделать вывод, что в некотором смысле он, безусловно, буренка. Правда, доение в нашем случае налаживается вполне перекрестное: Кремль будет дергать за вымя депутатов, а депутаты — сосать федеральный бюджет.

Кстати, по поводу сосания бюджета. Россия в этом смысле, конечно, хороша, слов нет, но ограничиваться только ею и ее недрами вовсе не обязательно. И, как выяснилось на минувшей неделе, по части интереса к разнообразным бюджетам наши главные патриоты оказались настоящими интернационалистами...

В Ираке опубликованы документы, свидетельствующие о том, что Саддам Хусейн «покупал» политическую поддержку президентов, политиков, политических партии и даже христианских церквей по всему миру. На подкуп шли доходы от гуманитарной программы «Нефть в обмен на продовольствие». Список тех, кто получил от иракского диктатора щедрые подарки, покрывает 46 стран и 270 частных лиц и организаций, пишет The Daily Telegraph. В этом скандальном списке обнаружены, в частности, Русская Православная Церковь, ЛДПР, лично Владимир Жириновский и Коммунистическая Партия Российской Федерации.

Ай, какая досада. Такие прекрасные резолюции писал Геннадий Андреевич в защиту иракского народа... Такая неподдельная страсть звучала в голосе Владимира Вольфовича... Такая духовность сочилась из каждого заявления Русской Православной Церкви... И вдруг оказывается, что они втихую пилили чужой бюджет, проедая деньги, предназначенные для иракского народа ... Ай-яй-яй. Ну почему было Саддаму не сжечь все эти документы, прежде чем лезть в погреб? Зачем подводить своих боевых товарищей — Геннадия, Владимира и Алексия? Нехороший человек. Ну да ладно, что было, то было, быльем поросло. Главное: во все время, свободное от переваривания иракской нефти, отцы Русской Православной Церкви были полностью сконцентрированы на духовности, нравственности и других богоугодных материях. Впрочем, и эти материи у нас по большей части — государственного покроя...

Как сообщает издание «Газета», в минувший понедельник, открывая в Кремлевском Дворце рождественские чтения, патриарх Алексий предложил возродить традицию изучения в школах жития святых. В тот же день министр образования Филиппов высказался за введение в школах предмета «Основы православия», а также возвращение единой школьной формы «как формирующей чистоту нравов».

Вот я как чувствовал, что дело закончится чистотой нравов! Еще бы, кроме единой формы и жития святых, молитвы ввести, раздельное обучение, розги и стерилизацию инакомыслящих — такая чистота нравов наступит, я вас умоляю! Ребенка на улицу страшно выпускать будет, в такую чистоту! Чтоб не запачкал. А то, действительно, стыд потеряли: какой-то сельский учитель — не стесняясь патриарха и министра образования — там же, в Кремле, заговорил о том, что лучше бы, мол, вместо жития святых, приналечь с детьми на информатику да на иностранный язык. Мол, это больше пригодится, в третьем тысячелетии-то... Ну, кому как! Вот, например, министру образования Филиппову иностранный язык не пригодился (он и с родным справляется еле-еле), а вот на богоугодности своей разговляется г-н министр, кажется, совсем неплохо...

Но вернемся в день сегодняшний. Глава Министерства печати Михаил Лесин с тревогой воспринимает развитие политического кризиса в крупнейшей британской корпорации Би-Би-Си. Об этом сообщило сегодня агентство «Интерфакс». Как заявили агентству в пресс-службе Министерства, Лесин убежден, что «на Би-Би-Си, без сомнения, было оказано серьезное политическое давление» (конец цитаты).

Да, жалко Би-Би-Си! Не нашлось в старой доброй Англии министра печати, который защитил бы журналистов от административного произвола! Он такой, видать, один на весь белый свет и в настоящий момент уже заигран за Россию. Как не повезло Британии, и как повезло нам. А вообще: учились бы они работе с журналистами у тех, кто знает проблему не понаслышке, позвали бы нашего профильного министра по обмену опытом! Дел-то — пара пустяков. Высунулась независимая корпорация сильнее нужного — министр мигает прокурору, от Тони Блэра звонят в лондонский межмуниципальный, владельцев Би-Би-Си сажают на пару суток в Тауэр, отнимают имущество и дают пенделя из страны — и вперед, к победе капитализма... А специально для иностранных журналистов королеву просят выучить к пресс-конференции фразу про «обрезать, чтобы не выросло». Тут вам сразу и рейтинг внутри, и уважение мирового сообщества. Нет, учить их еще и учить...

И напоследок — о вечном. И даже, я бы сказал, гораздо более вечном, чем хотелось бы... По сообщению агентства Интерфакс-Юг, на минувшей неделе в Ростове-на-Дону продолжилось рассмотрение дела бывшего начальника продовольственной службы Северо-Кавказского военного округа полковника Сергея Серкина, обвиняемого в расхищении казенных средств. Как сообщает агентство, в ходе допроса Серкин виновным себя не признал и заявил, что на должности начпродслужбы Округа он «работал как его предшественники и никаких новаций не привнес». Конец цитаты.

Ну да. Какие там новации... Делал человек, что со времен царя Гороха делали все начпроды. И, честно говоря, по здешним понятиям, разбираться надо не с ним, а с теми, кто взял полковника за жабры. Вот это бы выяснить следствию — с какого перепугу свинтили и судят именно его? Тут настоящая загадка... Счастья вам!

06.02.2004

Здравствуйте! В студии — Виктор Шендерович, но это — не программа «Плавленый сырок». Мы полагали, как всегда, собравшись вечером в пятницу на волнах «Эха», откомментировать накопившиеся за неделю мерзости и благоглупости любимой власти, но жизнь в очередной раз, не спросившись, поменяла жанр. Поэтому — программа «Плавленый сырок» выйдет в эфир не сегодня. А сегодня, спустя несколько часов после взрыва в московском метро, будет несколько комментариев к теме дня — и к тем, кто к этой теме имеет отношение. Имеющий самое прямое отношение высказался на счет произошедшего еще утром, во время встречи с коллегой из Азербайджана, но ничего нового не сказал. Только машинку немного заело.

«Не сомневаюсь, — сказал Путин, — что если мы, как и планировали, будем объединять наши усилия и в двустороннем плане — на Кавказе в целом и в международном плане — то мы безусловно будем успешными в этой борьбе и не сомневаюсь нисколько, что наши правоохранительные органы смогут наладить эффективную работу для борьбы с терроризмом. Только объединив усилия, мы сможем справиться с этой чумой двадц...ать первого века».

Насчет того, какого века у нас эта чума, Владимир Владимирович запнулся не зря. Дело в том, что про мировой терроризм он говорит с прошлого века, а уж с 11 сентября 2001 года на международной арене только про мировой терроризм и говорит. И после «Норд-Оста», если помните, это же говорил, причем, кажется, близко к тексту. И насчет «общими усилиями поставить заслон». И ни слова про Чечню — ни тогда, ни сейчас. Как будто россияне, погибшие в «Норд-Осте», в Тушино, в Каспийске, на Манежной площади и сегодня утром в тоннеле и больницах, погибли из-за какого-то абстрактного мирового терроризма, а не на второй чеченской войне, на которую всех нас пригласил лично он, Владимир Путин. Как будто уже четыре года мы не платим кровью за ту победоносную операцию и очень кстати поднявшиеся рейтинги никому ранее не известного спасителя Отечества. Как будто сегодняшний взрыв не имеет отношения к четырехлетнему вранью по двум главным телеканалам страны о нормализации жизни в Чечне. Как будто он — не прямое следствие того, что мы позволили властям замылить расследование «Норд-Оста» и не дать ответа на очевидные вопросы. Как будто сегодняшняя кровь — не ответ нам на наше равнодушие к чужой боли. Может, нас разбудит хотя бы своя? Пока что непохоже. А что касается их — политиков — то энергию нашей боли они умело направили на свои политические турбинки. Как, впрочем, и всегда.

Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что сегодняшний взрыв организовал Аслан Масхадов. «Нам косвенных подтверждений не нужно. Мы наверняка знаем, что Масхадов и его бандиты связаны с этим террором», — заявил президент. При этом никаких доказательств он не привёл.

Ну да, зачем нам доказательства? Не в Бельгии живем. Просто — Путин уверен, и всё. В прошлый раз через неделю после трагедии в «Норд-Осте» в Чечне при зачистке был обнаружен план ДК на Дубровке — как раз неделю он там лежал, дожидался обыска. И сейчас какой-нибудь масхадовский тайник со схемой метро найдут обязательно. Раз президент сказал, что это Масхадов, — глупо было бы не найти. А может, впрочем, и не будут искать — в знак того, что мы окончательное быдло, и никто никаких доказательств не спросит никогда. Не смог упустить случая и Дмитрий Рогозин. В прошлый опять-таки раз, под шумок от «Норд-Оста», он свел счеты с лордом Джаддом и сегодня выступил на российской арене.

Вице-спикер госдумы, сопредседатель блока «Родина» Дмитрий Рогозин предлагает в связи с терактом в Москве ввести в России чрезвычайное положение и отменить президентские выборы. По его словам, этот теракт — попытка поставить под сомнение наличие государственной власти в стране. Как сказал сегодня журналистам Рогозин, нужно срочно созвать Совет Федерации и рассмотреть два вопроса — о чрезвычайном положении в стране и отмене выборов.

Вот выход! Чрезвычайное положение и отмена выборов! Завинтить еще крепче. Газеты оппозиционные, последние пару штук, закрыть, радио вот это приглушить, с брюнетов на улицах брать не по стольнику, а по пятьсот. Порядок чтоб был, короче. Других способов бороться с терроризмом у нас в загашнике по-прежнему не обнаруживается. Кстати! Никто не видел г-на Патрушева? Главу ФСБ, героя России, которому мы всей страной шестой год скидываемся с наших немерянных зарплат на поддержание штанов с лампасами? Имея в виду, что он за это обеспечит безопасность россиян? Где он, наш любитель носить ночами сахар по рязанским подъездам? Отчего не появляется на глаза? Есть вопросы. Я уж о Грызлове не спрашиваю — со спикера какой спрос.

Ладно, вопросы это риторические. Хотя, если мы, общество, и в этот раз не вытряхнем из штанов с лампасами хотя бы Патрушева, то надо признать, что они правы и мы действительно быдло.

И напоследок — несколько слов на пушкинскую тему о странных сближениях...

Про Ястржембского — как его забросали яйцами лимоновцы на открытии его фотовыставки. Сам он считает произошедшее мальчишеской выходкой. Г-н Ястржембский у нас теперь большой фотохудожник, вот только фотографировать предпочитает почему-то кремлевские залы и другую чистую красоту, а не лагеря беженцев или результаты зачисток, что было бы несколько логичнее, учитывая роль этого художника в возникновении нынешнего чеченского, а теперь уже и московского пейзажа. А насчет мальчишеской выходки — это чистая правда. Певцу второй чеченской и профессиональному отмывателю крови в день новой крови получить сырым яйцом в пиджак — дело пустяковое. По справедливости, конечно, ему полагается не яйцо. Сергею Владимировичу надо чаще ездить в общественном транспорте. А нам — не тратить яйца на фотохудожников, а обхватить голову руками и подумать. Пока опять не взорвалось.

08.02.2004

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Перво-наперво сегодня хочу воспеть профессию политика. Ведь есть некоторые, которые считают, что политика — это мерзость. Другие им возражают, говоря, что это не мерзость, а большая мерзость, а также гадость, пошлость и гнусность! Все сие с одной стороны, конечно, правда, но с другой стороны, ведь кто это говорит? Это говорят люди, толком даже не знающие, что такое федеральное финансирование, понятия не имеющие, как устроены коридоры Белого дома и почем идет голос в день третьего чтения по бюджету! Пустые, бессмысленные людишки типа учителей начальных классов или врачей заводской поликлиники. Начитаются Толстого с Чеховым и нос воротят. А уж оценивают они поступки политиков совершенно по-дилетантски! Например, говорят: предательство. Но ведь это же какой-то детский сад!

Вот, допустим, чтобы далеко не ходить, Сергей Глазьев. Раньше Сергей Юрьевич просил считать себя коммунистом. Потом, откормившись под красным флагом до федеральных размеров, получил, как это у них там называется, месседж (то есть вроде как сигнал) из-за зубчатой стенки красного кирпича и за полгода до выборов отвалил от родной КПРФ вместе с финансированием и группой товарищей, которые тоже все, разумеется, начинали в ГБ и ВЛКСМ, но от времени несколько покоричневели. И вот пошли они, Глазьев с Рогозиным, в пивную, к народу (Бабурина за закусью послали, Геращенко денег дал), и встали они вдвоем у столика, и начали думу думать, как народу в его беде помочь. И народ, посмотрев, как они стоя пиво пьют, за них обильно проголосовал. И были Глазьев с Рогозиным верными товарищами не разлей вода целых полтора месяца после выборов. Но если у человека настоящая честность в характере имеется, ее долго не спрячешь.

В прошлую субботу в Москве прошел учредительный съезд народно-патриотического союза «Родина». Союз возглавил сопредседатель одноименного народно-патриотического блока Сергей Глазьев. Другой сопредседатель блока, Дмитрий Рогозин, в этот момент находился в Страсбурге и о планах Глазьева ничего не знал.

Ну, сказано же было у классика: человека легче всего съесть, когда он болен или в отъезде. И не надо морщиться и поминать всуе Мальчиша-Плохиша! Да, Глазьев товарищей, конечно же, кинул, но можно и понять человека: ведь выборы на носу, и от всей гоп-компании пойдет на них кто-то один — ни фига, конечно, не выиграет, но уж попиарится, как бог! Короче, на месте Глазьева так поступил бы каждый — разумеется, из тех, для кого патриотизм — профессия, а родина — торговый бренд. А нормальные россияне по случаю образования следующей «Родины» застыли, надо сказать, в полном недоумении.

Но, как выяснилось, с глазьевского субботнего съезда сюжет вокруг нескольких «Родин» только начался. Его товарищ по пивной, будучи тоже не пальцем деланный, немедленно вступил в дискуссию на тему «кто в доме хозяин».

«Независимая газета» сообщила о резкой реакции сопредседателя блока «Родина» Дмитрия Рогозина на инициативу Сергея Глазьева. «Отметив, что когда кошки нет дома, мыши начинают шалить, — пишет газета, — Рогозин грозил-

ся по возвращении из Страсбурга немедленно разогнать мышей по их норкам. Начищу им что-нибудь, обещал он журналистам».

Одним словом, ближе к понедельнику запахло Шекспиром. Стало ясно, что без трупов не обойтись. Надо ли говорить, с каким неподдельным волнением толпились журналисты у дверей, за которыми шел высший совет блока «Родина»? Всем было жутко интересно, что именно и как начистит Глазьеву Рогозин. Но Дмитрий Олегович с Сергеем Юрьевичем вышли рука об руку, как шерочка с машерочкой, и оказалось, что они снова не разлей вода и никакого раскола в блоке нет. Непривычно тихое поведение вернувшейся из Страсбурга кошки и нагловатая ухмылка главного мыша навели журналистов на нехорошие подозрения в том, что настоящий хозяин всего этого патриотического домика находится в Кремле; и опять зашелестела по СМИ фамилия Сурков. Говорили, что пока Рогозин, до самых выборов живший у этого замглавы президентской администрации на кремлевском коврике, гостевал в Страсбурге, концепция поменялась, и было решено, что эта кошка стала много об себе понимать. А мышка Глазьев, напротив, может пригодиться для предвыборного аттракциона в уголке дедушки Путина. А насчет Суркова — это у нас уже давно такая народная политологическая примета: чтобы узнать, для кого будет теплой политическая весна, надо в начале февраля посмотреть, в какую сторону отбрасывает тень Сурков, когда выходит со Старой площади.

Ну, у блока «Родина» свои проблемы и перспективы — что же касается главного кандидата, то ближе к марту его предвыборные успехи пошли косяком.

По итогам 2003 года, реальный рост доходов населения России составил 14,5%. Об этом доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину министр труда и социального развития Александр Починок. Починок подчеркнул, что этот показатель отражает действительно реальный рост доходов населения за вычетом инфляции. Такого никогда в истории России не было, — подчеркнул министр.

Реальный рост доходов — вещь хорошая. Вот только из починковского кабинета ее видно почему-то гораздо лучше, чем из моего окна. Видать, рост доходов размазан по российскому бутерброду очень неровно. Гражданин А. прикупил себе новый кусочек Лазурного берега, граждане Б., В. и Г. получили прибавку сто рублей, гражданин Д. вышел утром к мусорному контейнеру и обнаружил внутри старые ботинки, а гражданин Е. наконец умер, освободив казну от обязанности тратить на его пенсию восемьсот рублей ежемесячно. В среднем как раз 14,5% роста реальных доходов... И забота о населении продолжается.

В минувший понедельник Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались цены на хлеб, растущие с конца прошлого года, по оценке экспертов, с катастрофической быстротой — до 17% в месяц. По информации газеты «КоммерсантЪ», ответственный за хлеб Алексей Гордеев пообещал президенту справиться с ситуацией, введя, в частности, государственное регулирование цен на хлеб. По мнению эксперта, приведенному в газете «КоммерсантЪ», предложенное зампредом Гордеевым государственное регулирование цен на хлеб сможет сдержать их рост только на месяц-полтора. Экономисты предполагают, что все это только приведет к увели-

чению дефицита, но при чем тут экономисты и все остальные вообще! Месяц-полтора без роста цен — это ведь как раз то, что нужно в текущей ситуации! А почем будет хлеб после 14 марта — не высочайшего ума дело. И вообще: в следующий раз наши оценки заинтересуют власть, надо полагать, не раньше две тысячи восьмого года. А впрочем, чего там восьмого. Очень может быть, что и не восьмого, а, допустим, одиннадцатого. А там как пойдет...

По сообщению агентства Интерфакс, в минувший четверг Совет Думы решил принять к рассмотрению законодательную инициативу депутатов Ивановской области о продлении полномочий президента РФ до семи лет. После внесения поправок предполагается вынести законопроект на первое чтение палаты уже в этом месяце.

Ну вот, слава те господи! А то мы уж думали: зачем им в Думе конституционное большинство? К чему был весь этот предвыборный сыр-бор и групповое изнасилование арифметики 7 декабря? А вот зачем, и прямо сразу, не дожидаясь даже марта. И, разумеется, по просьбе трудящихся. Ну, не сам же Владимир Владимирович будет просить о продлении срока, он же интеллигентный человек. Он уже открестился — и еще много раз от всего этого открестится, но о необходимости продления сроков заголосят во всю ивановскую и другие области, а потом упадет в ноги народ — с просьбой не сиротить его и не уходить из Кремля... А потом выяснится, что мы опять на переправе, где коней не меняют. И боюсь, еще многие из нас отбросят копыта сами, прежде чем эта переправа закончится.

Теперь несколько слов о неминучем торжестве порядка и законности. На прошедшей неделе наши традиции в этих вопросах снова проявились во всем блеске. Унизительному досмотру и обыску подверглись болельщики баскетбольного клуба ЦСКА, приехавшие в Казань на матч их команды с местным УНИКСом. Как сообщила электронная газета «УТРО», еще на вокзале у болельщиков отобрали паспорта, а перед матчем во Дворце спорта всех приехавших из Москвы заставляли раздеваться догола. Досмотр женщин в грязной раздевалке Дворца спорта проводили три сотрудницы милиции в резиновых перчатках. Отказавшиеся пройти досмотр не были допущены на трибуны. Более трехсот болельщиков так и не попали на матч, пишет газета.

Вот это по-нашему! Порядок должен быть! А порядок по-нашему — это что? А вот как раз это. В последний раз такого рода порядок в Казани наводил, кажется, Иван Грозный; давно пора было встряхнуться. А то, правда, разбаловались: баскетбол, свистульки, пиво... Хрена вам! Отъем паспортов, грязная раздевалка и ментовские гинекологи, а не согласен — вали, откуда приехал! На трибуне сам Минтемир Шаймиев сидит, за своих болеет, ты еще будешь ему настроение портить своими криками? Так что пускай московские болельщики скажут спасибо, что ушли из казанского Дворца спорта живыми. А насчет баскетбола и вообще праздника спорта — это пустое. Лучше не привыкать.

А привыкать, ребята, надо к духовности. Она у нас, кстати, с обыском и мордобоем очень хорошо совмещается. В минувший четверг министр образования Филиппов заявил на пресс-конференции в Смоленске: вопрос, пускать

православие в школы или нет, решен, и сейчас (цитирую) «наше дело оформить внедрение православного компонента в среднее школьное образование мягким образом».

Вот и я, бывало, чувствую, что-то в меня внедряется мягким образом, глядь — а это православный компонент! Пока этот рыцарь мягкого образа только собирается обрабатывать школы, его старшие по духовному чину товарищи тем же образом достают взрослых. Многим россиянам православный компонент запал в душу, а некоторым дошел уже до печенок. Но ежели ты политик, то особо деваться некуда. На Всемирном русском народном соборе, состоявшемся на минувшей неделе, с подобающими лицами ходили среди ряс и клобуков и Зюганов, и Явлинский, и жучок, и паучок, и медведица... Мероприятие не обмануло самых смелых ожиданий.

«Свод нравственных принципов и правил в экономике принят на Всемирном русском Соборе и предложен для добровольного принятия руководителям предприятий и коммерческих структур, — сообщает Интерфакс. — Речь в этом документе идет о принципах, которые вытекают из десяти библейских заповедей. В частности, рассуждая о налогах, авторы Свода отмечают, что их неуплата — это хищение у сирот, стариков, инвалидов, других самых незащищенных людей».

Прежде чем внедрять в бизнес-сообщество мысль о том, что хищение у сирот — это преступление, церковные отцы, надо отдать им полное должное, испытали справедливость этого тезиса на себе. Бесстрашные граждане! Чего только ни делали они в новейшее время, чтобы уточнить: правда ли все это грех? РПЦ безакцизно торговало водкой и сигаретами, митрополит Кирилл втихую выбивал квоты на иракскую нефть... Теперь эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Патриарх Алексий уже много лет ездит мимо сирот, стариков и инвалидов различных конфессий на машине с федеральными номерами и под федеральной же охраной — в ожидании, надо полагать, грома небесного. Но поскольку сверху наблюдается полная тишина, то, стало быть, и бизнесменам особо опасаться не стоит. По крайней мере, небес.

Но духовность и нравственность прорезаются иногда и в самых неподходящих для этого местах. Первым (и даже с некоторым упреждением) голосу русского народного Собора внял, кажется, Председатель правления Тюменской Нефтяной Компании.

По сообщениям СМИ, глава ТНК бизнесмен Виктор Вексельберг выкупил у семьи Форбс коллекцию ювелирных изделий на сумму как минимум 120 миллионов долларов, в том числе девять знаменитых яиц Фаберже, и передал коллекцию в безвозмездное пользование государству. Отвечая на вопрос издания «Газета» о том, насколько этот жест связан с новыми политическими реалиями, представитель Вексельберга Андрей Шторх сказал, что «это индивидуальное решение бизнесмена и вряд ли здесь можно говорить о материальной выгоде. Это гуманитарный патриотический акт».

Ну да, какая уж тут материальная выгода — взять и отдать 120 миллионов долларов! Это, конечно, патриотический акт. Вот только откуда вдруг разом прорезалось в человеке столько патриотизма? Долго ли он копил эти гуманитарные чувства, почему скрывал от товарищей? Стеснялся, наверное. А сейчас

перестал. Время нынче такое... специфическое... Хочется перестать стесняться своего патриотизма и что-нибудь поскорее безвозмездно отдать государству. Пока оно не забрало у тебя все. Правильно! Верни Родине яйца Фаберже — свои целее будут.

Кстати, напоследок — о нынешних волнениях на схожую тему. Уже неделю продолжается в Штатах скандал, связанный с тем, что американцы так и не нашли в Ираке этого вот пресловутого оружия массового поражения. И теперь, стало быть, выходит, что Америка на пару с Великобританией расфигачила целую страну просто так, от избытка чувств! В свете этой информации президент Буш выглядит, конечно, еще интеллектуальнее, чем выглядел до. Мое дело сторона, но, честно говоря, я в сильном недоумении насчет квалификации американских спецслужб. Что, не могли найти в Ираке какой-нибудь гадости, если родному президенту вот так вот позарез надо? Делов-то — начать и кончить! Вон, наши умельцы — через неделю после 11 сентября нашли в Чечне инструкцию для пилотов «Боинга» на арабском языке... Патрушева им одолжить, что ли? А то чего-то не справляются. Счастья вам!

13.02.2004

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Вот ведь, доложу я вам, жизнь: сидишь, прикованный к алфавиту, как австрийский пулеметчик, с мрачной рожей шутки придумываешь, а действительность — раз, и получай готовое произведение... Недаром просил Николай Васильевич Александра Сергеевича: сюжета, ради всего святого, сюжета! На минувшей неделе Пушкина не потребовалось — сюжет состоялся сам, настоящий, даже, можно сказать, детективный. Речь конечно, об Иване Петровиче Рыбкине. Что тут сказать? Пропажа на четверо суток кандидата в президенты — это, конечно, экзотика даже по нашим меркам. Это, братцы, какая-то просто Латинская Америка.

Африка это, Габон самый натуральный! Конечно, всякое бывает... И жена может поднадоесть, и Киев город хороший, но зарегистрироваться в президенты России, исчезнуть на четверо суток и заподозрить неладное в том, что тебя ищут... Чтобы человек с мыслительным аппаратом такой силы был спикером и секретарем Совета Безопасности — это на моей памяти впервые. Как вы считаете? Вот и я говорю: странно. И ведь вроде не пьет... А говорит, вернувшись, не то чтобы как пьяный, но... Все слова по отдельности понятны, а совокупного смысла — с гулькин нос. И глаза отводит, как булгаковский Варенуха после встречи с нечистой силой... Несчастный ведущий нашей радиостанции чуть сам с ума не сошел!

Ведущий: Не было похищения, не было никаких насильственных действий в отношении вас?

И. Рыбкин: Это не мне квалифицировать, что было, и как было, и что кончилось.

Ведущий: Подождите, Иван Петрович, вы же в сознании были, извините.

И. Рыбкин: В сознании. Но я еще раз говорю: то, что со мной происходило, не хочу давать квалификацию. По тому, что происходило в первой части, мне

все понятно. Что происходило во второй части, для меня просто удивительно. Просто удивительно.

Обычные люди подбирают слова для того, чтобы точнее выразить мысль. Иван Петрович говорил так, чтобы ничего не сказать — говорил о чем угодно, кроме того, о чем его спрашивали. И настежь открывал шлюзы нашей фантазии, ибо чем хороша Россия, так это возможностью сделать былью самую страшную сказку! Ну, например...

Поздний зимний вечер. Звонок телефона. «Иван Петрович? Вы меня не знаете, я хочу показать вам документы. Это не телефонный разговор, я стою внизу, шестые синие "Жигули", жду». Через час «Жигули» с обколотым Иваном Петровичем подъезжают к самолету в каком-нибудь подмосковном Чкаловском, еще через три его, немного пришедшего в себя, в ночном украинском лесу, подводят к могиле журналиста Гонгадзе и спрашивают: «Иван Петрович, вам все еще не нравится Путин?»

Нет, чур меня, чур! Наверно, все-таки, это было не так. А, допустим, вот так...

Поздний зимний вечер. Звонок телефона. «Иван Петрович? Вы меня не знаете, ваш телефон дал мне такой-то, у меня есть для вас интересное предложение». Через час они сидят за хорошо сервированным столом в закрытом московском клубе. «Иван Петрович, — говорит человек, — март на носу, перспектив после марта у вас нет никаких, репутации тоже нет — так, может, гульнем напоследок? Скажите, сколько вам платит Береза? Не надо ничего говорить, напишите цифру. Ага. Теперь дорисуйте к ней, скажем, нолик. Нет, один нолик, Иван Петрович, один! Очень хорошо. Теперь давайте договоримся, что вы пьяница и бытовой разложенец. А что вам терять? Жене потом все объясните, нолики покажете, а пока — отключите-ка телефончик и потеряйтесь на пару-тройку суток».

М-да... А может, черт его знает, и не было никакого звонка, а просто: приходит Иван Петрович домой и вдруг понимает, что все это достало его по самое не могу, что жизнь проходит, а счастья нет, что от работы говорящим лондонским попугаем психика расшаталась окончательно, а персонально Бориса Абрамыча он больше не может слышать ни секунды. Он оставляет жене пиджак, деньги и фрукты, отрубает мобилу — и рвет когти на вокзал; и уезжает к такой-то матери городов русских, и немедленно нахрюкивается до полной несознанки, и приходит в себя только на четвертый день, и, вернувшись, говорит, что такого беспредела он не видел нигде.

В общем, все, что угодно могло быть (кроме, разумеется, того, о чем рассказывал Рыбкин). Включая то, что он начал потом рассказывать из Лондона через свою пресс-службу. Как бы то ни было, в сухом остатке получилась очень простая история. Первый и единственный кандидат, который начал транслировать плохие слова про дорогого Владимира Владимировича, как-то очень кстати и почти мгновенно оказался то ли трусом, то ли моральным разложенцем — и уж точно: дураком.

В порядке постскриптума ко всей этой истории — несколько слов о свете этой звезды. Свет, надо сказать, довольно всепроникающий. Уже через стены проходит. Вскоре после того, как нашелся Иван Петрович, Первый канал выдал в эфир замечательный сюжет.

Это была прослушка разговора кандидата в президенты Рыбкина со своим шофером. Внимание — вопрос! Как вы думаете, откуда у Первого канала такая пленка? Свой вариант ответа запечатайте в конверт, на конверте напишите: «в Страсбургский суд по правам человека» — и съешьте его.

Приключения кандидата Рыбкина несколько отвлекли общественность от противоположного фланга, где никто не исчезал, а напротив, появилось за две последние недели много лишнего... Это я про блок «Родина».

В минувший вторник съезд партии «Народная воля», входящей в блок «Родина», принял решение о том, что если две другие блокообразующие партии не поддержат кандидатуру Глазьева на выборах президента, то Бабурин и Глазьев создадут собственную партию «Родина». Как сообщило издание «Газета», если такое случится, это будет уже третья «Родина» внутри блока. Депутат-«родинец» Павлов оценил создавшуюся ситуацию как бардак.

Насчет «бардака» — я бы не стал приукрашивать ситуацию. Бардак — место, конечно, грязноватое, но живое, а тут просто толчея у распределителя: родина одна, а профессиональных патриотов — обком на горкоме сидит и отделом ЦК ВЛКСМ погоняет... И каждому хочется застолбить этот прилавок за собой. Потому что 9% электората, полученные в декабре, под кремлевские гарантии, в совместное пользование, надо же конвертировать, а пути конвертации у патриотов разошлись: Глазьев решил отвязаться от Кремля и поработать зюгановым, Рогозину, наоборот, как раз в качестве гонорара за раскол КПРФ обещали пост министра иностранных дел, а третий сопредседатель «Родины», глава «Народной воли» Бабурин, в этом раскладе имеет хорошие виды на блокирующий пакет патриотических акций. Поэтому, с одной стороны, заявил, что на выборах поддерживает Путина, а с другой стороны, на съезде собственной партии, при голосовании по вопросу о поддержке Глазьева, против тоже на всякий случай не проголосовал, воздержался, умница... А нормальные россияне в ответ на перспективу образования очередной закавыченной родины опять застыли в полном недоумении.

Аккурат за месяц до заветного дня выборов в России начались теледебаты, но — без главного кандидата. Главный кандидат торжественно отказался от бесплатного эфира, а вместо бесплатного эфира провел встречу со своими доверенными лицами, где и объявил об отказе от бесплатного эфира, и это, как и всю встречу, бесплатно показали по всем телеканалам и днем, и вечером.

Доверенные лица Путина произвели едва ли не еще более сильное впечатление, чем он сам. Это интеллектуальная соль нации. С минувшего четверга они понесли в массы окончательную правду о нашем солнышке. Одно такое доверенное лицо — гимнастка Хоркина — в тот же вечер показалась на канале НТВ и поделилась с миллионами телезрителей своим новым счастьем.

Ведущая: Света, а что входит в обязанности доверенного лица кандидата в президенты?

Светлана Хоркина: Мне доверили спортивную гимнастику показывать на высоком уровне в мире, в Европе, и я эту обязанность несу. И для меня очень почетно быть доверенным лицом Владимира Владимировича, и это возмож-

ность пообщаться с людьми из высшего общества, которые непосредственно будут вести предвыборную кампанию Владимира Владимировича.

Ох... Зачем она слезла с брусьев? Как я любил ее, пока она крутилась и молчала!

Близость выборов, как близость весны, видна повсюду, особенно в работе милиции, главная задача которой на ближайший месяц — укрепление высочайшего рейтинга!

Следствие по делу об убийстве в Петербурге девятилетней таджикской девочки Хуршеды Султановой пока не продвинулось ни на шаг. Один из сотрудников территориального отдела милиции, попросивший не называть его имени, рассказал изданию «Газета», что руководство отдела попросило их при опросах граждан не подтверждать, что это были скинхеды, мотивируя просьбу тем, что «никому не нужно создавать излишне нервозную обстановку перед выборами».

Ну да, зачем нам нервозная обстановка перед выборами? Это же политический момент! Раньше если кто портил картину перед съездом — вообще из партии могли попереть... А что касается девятилетней таджикской девочки, то разве до нее сегодня Российской Федерации? Тут глобальные вопросы не решены!

Фракция «Единая Россия» выносит на обсуждение нижней палаты проект закона «О русском народе». Проект предусматривает защиту русских (цитирую) «в отношении права быть представленными в органах власти любого уровня, а также прав на землю и природные ресурсы». Правда, каким образом следует определять, кто русский, а кто нет — в законе не прописано.

Ну, насчет того, как определять, это дело решаемое, и сто шестьдесят народов и национальностей, веками на этих просторах перемешанные — не проблема. Кстати, есть хороший мировой опыт: основательные немцы в тридцатых годах завели в этих целях специальные циркули, которыми мерили черепа. Выясняли, кто немец, кто нет. Где не помогал циркуль, приходил на помощь патриотический нюх. Ну, с Эйнштейном и Фейхтвангером с самого начала все было понятно, но Томас Манн и Бертольдт Брехт тоже оказались оказались недостаточными немцами! И все очень хорошо для той Германии кончилось (вы помните) — главным образом потому, что тамошним национально ориентированным патриотам дали разгуляться по-настоящему... А что касается нынешнего законопроекта, то отражает он некоторое приятное единство в законодательных мозгах, ибо подготовлен был еще в двухтысячном году фракцией КПРФ, продвигался одним ныне здравствующим депутатом от фракции «Родина», активно лоббировал закон Жириновский, а выносит на обсуждение спустя четыре года — «Единая Россия. По-моему, у них там — сложилось...

Но вернемся в наше славное время, где всё снова для человека и во имя человека, только надо попасть в число тех людей, во имя которых это «всё».

По данным «Гринпис», в случае принятия проекта нового Лесного кодекса, который будет рассматриваться на заседании правительства в следующий четверг, в России может быть фактически приватизировано 96% всех лесов. Фор-

мально приватизация не предусмотрена, но кодекс дает возможность выведения лесов из статуса заповедников в другие категории земель. Ранее многие организации, в том числе и Всемирный фонд дикой природы, неоднократно заявляли, что данный закон направлен на защиту чисто корыстных интересов отдельных групп граждан и не соответствует государственным интересам.

Ну, они нам еще будут указывать, где у нас государственный интерес! Наш государственный интерес состоит в том, чтобы государевы люди, приближенные к государственной кормушке, могли поиметь от государства в государственных масштабах! Вы ж, небось, не знаете, как перевести лес из статуса заповедника в «другую категорию земель»? Кому сколько и где надо дать? Ну и копайтесь на своих шести сотках. А кто в курсе — откусит под дачку гектаров сорок русского заповедного леса, причем в полном соответствии с законом. А то, безо всяких буколик — просто начнет гнать ценную древесину железнодорожными составами, а на вырученные деньги прикупит гектар-другой уже на Лазурном берегу! Тоже вариант. Одним словом, все в порядке у нас с государственным интересом, не волнуйтесь...

И напоследок — еще немного о патриотизме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поздравил теннисистов этой страны с победой над россиянами в 1/8 финала Кубка Дэвиса и подписал указ о награждении членов национальной сборной орденами «Отечества третьей степени» и «За личное мужество». По статусу, к этим орденам представляются «за особые заслуги по укреплению страны и исключительную отвагу и личную храбрость, подвиги, совершенные в экстремальных обстоятельствах»... Лукашенко сам по себе обстоятельство довольно экстремальное, но — неча нам на зеркало пенять! Десять лет назад теннисист Андрей Чесноков получил орден от Ельцина — за победу в полуфинале Кубка Дэвиса, против немцев. Готовились, как к Великой Отечественной, поливали покрытие водой, пока мячик почти совсем не перестал отскакивать от грунта. Соревнование, таким образом, свелось к вопросу о том, кто первым умрет. Первым умер немец, и Чесноков стал орденоносцем. М-да... Испанцы, американцы, французы, австралийцы, те же немцы — просто выигрывают и проигрывают себе на Кубках Дэвиса, но бывший советский человек — всегда немножко Гастелло. И любое соревнование для нас — повод рвануть рубаху на груди. И без политики — ни шагу.

Счастья вам!

20.02.2004

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Предвыборная компания бегает по нашему российскому двору, как курица с отрубленной головой: конечный результат давно ясен, но привычка суетиться еще не прошла. Еще три недели ей давать круги, а потом можно будет расслабиться. Впрочем, НТВ уже отказалось от трансляции платных теледебатов, справедливо решив, что в отсутствие на экране главного экзекутора сия драматургия никого сильно не увлечет.

Но в целом все шло своим чередом. Рыбкин сдавал анализы в Лондоне, Рогозин с Глазьевым делили «Родину», Хакамада решала, всю ли ей говорить

правду о Путине, какую знает, или погодить, а Малышкин, лишенный общества папы-Жириновского, страдал от необходимости говорить слова вместо того чтобы, как обычно, сунуть кому-нибудь в пятак. Короче, жизнь в оппозиции продолжалась. Продолжалась она и в стане будущего победителя.

По сообщениям СМИ, Совет сторонников партии «Единой России» принял в минувший вторник обращение с призывом голосовать за Путина. Необходимость активизации усилий обосновал председатель Совета сторонников, депутат Госдумы Евгений Трофимов.

«Для достижения своих грязных целей, — сказал он, — так называемые кандидаты в президенты не брезгуют абсолютно ничем».

Спасибо депутату Трофимову, помог понять про эти выборы главное: на них «так называемые» кандидаты в президенты соревнуются с просто президентом. Причем эти «так называемые» — люди циничные, безнравственные и с грязными целями, а президент — сами знаете, уже светится помаленьку, и Папе Римскому при встрече пять очков вперед дает... Ясно, что к такому президенту, как в давешний вторник, по первому зову сползается духовный цвет нации: Караченцов, Захаров, Лариса Долина... Даже Дурову по такому случаю потянуло к людям. Алина Кабаева, наконец! Ведь совсем девочка, а уже самое главное в жизни понимает: я, говорит, горжусь тем, что президент здоров, что у нас есть президентская зарплата! Ну, если и после этого кто-то не проголосует за Путина, — я уж и не знаю, чем такому человеку помочь...

Вообще на этом вторничном Совете сторонников звучали поразительные признания. Например, Сергей Петров, старший офицер Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил, про взаимоотношения армии с Путиным высказался так: «Военнослужащие познали на себе заботу главы государства».

Библейский смысл глагола «познать» политрукам, видимо, не преподают, но в случае с Путиным это, видимо, чистая правда. Познали на себе, как пить дать. Впрочем, об этом позже... А пока заметим, что приятные для президента вещи случаются не только в армии. Как могла, помогла Владимиру Владимировичу и бывший вице-спикер Любовь Слиска, комментируя инициативу ивановских законодателей насчет увеличения президентского срока...

Слиска: Есть такая в русском языке пословица — услужливый дурак опаснее врага. Поэтому не надо услуживать президенту. Он неоднократно говорил о том, что менять конституцию президент не будет. В нашей конституции срок президента обозначен два раза по четыре года. Зачем еще и еще раз пытаться понравиться президенту?

«Два раза по четыре года...» И ведь главное — сама же предупредила насчет услужливых дураков... Я, честно говоря, удивляюсь, что этого в Конституции и впрямь до сих пор не записано. Я бы и фамилию Путин в Конституцию вписал. Такого менять — большая глупость. И так-то хорош, а ближе к марту предвыборные успехи пошли ко Владимиру Владимировичу косяком...

По сообщениям СМИ, каждый пуск стратегических ракет морского и наземного базирования во время стратегической командно-штабной тренировки, прошедшей на минувшей неделе на Северном флоте, обошелся государству в сумму от 300 до 600 миллионов рублей. Всего на эту тренировку было потрачено как минимум один миллиард рублей.

Ну да. В больницу мы по гроб жизни со своей ватой будем ходить, но хрен американам покажем во весь рост, за это счастье никаких денег не жалко! А если за те же деньги еще и есть возможность показать перед выборами любимого ВВП — в романтической обстановке, в бушлатике, с биноклем, как большого... да чтобы при нем сделало ба-бах и красиво полетело из-под воды по всем федеральным каналам, — тут не то что одного, тут всех миллиардов не жалко, сколько есть! Одна беда — не полетело в этот раз из-под воды. Не случилось нам этого военно-морского счастья... Сначала никто ничего не понял. Потом, видимо, понял и немножечко похолодел. Потом главком Куроедов сказал, что сплетни не комментирует, но поскольку больше он ничего не сказал, от сплетен стало вообще не продохнуть... Потом ИТАР-ТАСС порадовало белый свет сообщением, что старт баллистической ракеты был заблокирован сигналом с какого-то спутника, а уж ближе к вечеру Куроедов вообще, что называется, закрыл тему.

Комментируя инцидент, произошедший во время командно-штабной тренировки, главком ВМФ Куроедов сказал: «Работа проведена штатно. Баллистические стрельбы были спланированы условным пуском. Это мы и наблюдали».

Адмирал человек честный — вы ж понимаете, слово офицера! Если сказал «спланированы условным», значит, «спланированы условным»... Вот только непонятно, почему газета «Красная звезда» еще накануне писала про боевые стрельбы, почему сам адмирал в тот день молчал восемь часов, и, наконец, какого рожна наш несчастный главнокомандующий в такую холодину поехал кататься на подлодке в шапочке и с биноклем. В компьютерные стрелялки можно было поиграться и в Москве. Причем я знаю и игрушки дешевле миллиарда. Но если адмирал Куроедов всего лишь повторил свой личный рекорд, установленный в августе 2000-го года, во время гибели «Курска», то есть соврал и недорого взял, то два федеральных телеканала, Первый и «Россия», установили в этот день рекорд абсолютный: о происшествии в новостях не было сказано вообще ничего!

Теперь насчет Союза России и Белоруссии. Союз этот можно признать очень крепким, ибо такой степени ненависти могут достигать только многолетние супружеские отношения. Надо признать: жанр семейной истерики батька Александр Григорьевич освоил блестяще и на простой вопрос «где деньги, Зин?» уже много лет напролет отвечает криком о погубленной молодости и угрозами немедленно отдаться западному соседу. России он, в свою очередь, давно осточертел, но деваться от географии некуда, и батька это понимает. Так и живем: как платить за газ, так братство славянских народов, а как насчет окончательной близости, — сразу крик «за кого вы меня принимаете?» Но в этот раз истерика Александру Григорьевичу, кажется, не помогла... Все-таки недоимка в сорок шесть миллионов долларов за полтора месяца может прекратить любые отношения...

На минувшей неделе достигло кульминации газовое противостояние между Москвой и Минском. В среду Россия ограничила, а потом полностью перекрыла поставку газа для Белоруссии. В четверг президент Лукашенко заявил о своей готовности покупать газ на российских условиях.

Впрочем, батька не был бы батькой, если бы это согласие не прокомментировал все в той же семейной традиции.

Лукашенко: «Хочет Путин, чтобы мы платили эти деньги, то давайте соберем их от лекарств, от чернобыльцев»

Ну да, конечно. Откуда и брать эти двести миллионов, как не от лекарств, не от чернобыльцев... Не из личного же президентского фонда, в который перекачано полбюджета! Не знаю, чем закончится эта зима для белорусского народа, но президент там, кажется, отморозился окончательно...

Теперь о контртеррористической операции в Чечне. На минувшей неделе на руководящих просторах Родины продолжились боевые действия вокруг финансирования и руководства этой радостью.

По сообщению агентства Интерфакс, президент Чеченской республики Ахмад Кадыров намерен добиваться передачи в ведение министерства внутренних дел этой республики функций руководства контртеррористической операцией в Чечне. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Грозном.

«У нас достаточно сил и опыта для борьбы с терроризмом», — заявил он.

Ну да. Сама садик я садила, сама буду поливать... Светлая все-таки голова Ахмад Хаджи. Умница! Сначала собственными легкими пропылесосил все ковровые дорожки в доме правительства — и стал наместником в Чечне; потом договорился с Кремлем и стал чеченским президентом; теперь, стало быть, пуще прежнего взбесилась эта старуха и хочет, чтобы МВД было у нее на посылках... Впрочем, в случае чего совсем уж у разбитого корыта Кадыров не останется.

Бывший глава Чечни Доку Завгаев, работавший послом в Танзании, в минувшую среду был назначен заместителем министра иностранных дел. В МИДе он будет курировать административно-хозяйственные и финансовые вопросы. «Я расцениваю это назначение не только как признание моих заслуг, но и как огромное доверие со стороны руководства страны чеченскому народу», — прокомментировал свое назначение Завгаев.

Надо сказать, доверие чеченскому народу руководство страны в очередной раз выразило в довольно затейливой форме, потому что в прошлой жизни этот африканский чеченец прославился большими способностями как раз на финансовых просторах — Счетная палата до сих пор костяшками щелкает и репу чешет... Так что — мои поздравления работникам родимого МИДа! Вы там посматривайте за высоткой...

Теперь — новости культуры. Как стало известно на минувшей неделе, накануне официального визита в Туркмению губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко прочла поэму Сапармурата Ниязова «Рухнама». Одного раза ей не хватило, и во время встречи с Туркменбаши Валентина Ивановна пообещала перечитать его поэму еще раз. Со своей стороны могу посоветовать Валентине Ивановне почитать хотя бы один разик Толстого и Чехова — может быть, тогда она постесняется любезничать с крокодилами.

Счастья вам!

27.02.2004

Здравствуйте, в студии Виктор Шендерович. Вообще-то на этой неделе «Плавленого сырка» не планировалось, но, как говорил в советские времена один известный международник, «тяжелая судьба журналиста занесла меня в Париж». Вот и меня немного занесло, хотя и не в Париж. Впрочем, не в направлении суть.

Главное, я надеялся, что в эти несколько дней все пойдет, как шло. Но выяснилось, что нельзя оставить родину без присмотра буквально ни на день. Едва я оторвался от родной земли, Президент Путин отправил в отставку правительство Касьянова.

В печали по ушедшему пребывают все, кто имел с председателем правительства дела серьезные. По свидетельству издания «Газета», гендиректор «Видео Интернэшнл» Сергей Васильев на вопрос, как ему жилось при Касьянове, честно ответил, что хорошо было, грех жаловаться. Эти слова — и ностальгия, и явка с повинной в одном флаконе.

Но что сделано, то сделано. И главное теперь понять, с чего вдруг? С разгадкой президент России помог нам не сильно.

Как заявил в своем экстренном телевыступлении глава государства, решение об отставке прежнего состава правительства не было связано с оценкой итогов его деятельности, которую в целом президент считает удовлетворительной.

Ну, а че тогда? Впрочем, об этом ниже. А пока присмотримся к оценке «удовлетворительная». На троечку, значит, оценил Михал Михалыча Владимир Владимирович. Все-таки эти мужчины такие непостоянные. Только что была крепкая четверка, и даже, пожалуй, с плюсом. В январе президент похвалил правительство, цитирую, «за очень хорошие итоги минувшего года». Еще вчера, значит, в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. В сторону кого косится Путин, а главное, почему вдруг именно сейчас с ним это косоглазие, вопрос нехитрый. Но сам президент решил нас подробностями не грузить и успокоил самыми общими соображениями.

Говоря о причинах отставки правительства, президент Путин заявил, что оно само пыталось реформироваться и делало это уже четыре года. «Мы затянули этот процесс», — сказал Владимир Путин.

Чего Касьянов себе не дореформировал и почему за это ужасное прегрешение нельзя было сделать с ним тот же самый «секир-башка» после 14 марта, и почему вообще надо было делать этот «секир-башка», когда по Конституции жить правительству оставалось три недели? Все это опять-таки осталось тайной, но тут уж без всякого мадридского двора, тут чистая тайна Полишинеля.

И насчет административно-организационной причины таким образом можно, как говорил в старом кино Василий Иванович Чапаев, наплевать и забыть. А вот насчет первой причины, названной Президентом, политической, это чистая правда. Политическая причина для решения об отставке правительства у Владимира Владимировича имелась. Только, я думаю, не вполне та, о которой он сказал вслух.

Путин: Я могу, а значит, считаю, обязан познакомить общественность России с тем человеком, которого буду предлагать в качестве председателя правительства Российской Федерации.

Во-первых, конечно, приятно, что президент у нас ясновидящий и заранее знает, что представлять нового председателя правительства после 14 марта будет именно он, Владимир Путин. А во-вторых, ну да, просто невтерпеж было общественности поскорее познакомиться с Кудриным, или кто там теперь у нас будет следующим борцом за 2%. Честно говоря, есть другая версия произошедшего, не такая торжественная, конечно, но поправдоподобней. А именно, от четырехлетнего торжества путинской демократии полстраны впало в спячку и забило на 14 марта большой болт с правой резьбой, сорванной еще 7 декабря. А уж наглядевшись на Малышкина с Мироновым, болт этот заварили намертво и запахло, братцы мои, неявкой. За месяц до выборов наступил полный аврал. На Дальнем Востоке в больницы уже без открепительных талонов не госпитализируют. Студенческие экзамены на 14 число переносят, чтобы, значит, прямо с зачеткой шли, сукины дети, к урнам. Ну и Дагестан с Башкирией снова готовы дать по 80%. Конечно, и Вешняков грудью на процентную норму ляжет, но он себе уже на этой амбразуре все натер, и его возможности не безграничны. Короче, за три недели настало время для рокировочки, для сильного хода, чтобы, значит, этот дохлый сюжетик чуток оживить и публику из нирваны вынуть. Обновление курса у нас, товарищи, перемены в верхах, жуть как интересно. Приходите через два воскресенья галку поставить за лучшую жизнь. Добром просим.

Счастья вам!

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике 2003 г.

Российские политические мыслители не перестают верить в силу и практический смысл человеческого разума. Так, **В.Федотова**, автор статьи **«Социальное конструирование приемлемого для жизни общества. К вопросу о методологии»** («Вопросы философии», №11), рационально обосновывает ***идею-проект «хорошего общества»***. Не утопически идеального, а приемлемого для жизни, эмпирически убедительного и построенного на объективных факторах — таких как продолжительность жизни, рождаемость и смертность, количество самоубийств, убийств и криминального насилия, доход на душу населения, уровень бедности, стоимость образования и медицины, размер пенсий и т.п. Далее Федотова рассматривает механизмы конкретного осуществления своего «хорошего общества» в российских пределах. И вот тут оказывается, что с помощью тех же механизмов уже с начала 90-х годов осуществляется... антипод ее проекта. И, благодаря усилиям авторов антипод-проекта, на сегодня наше общество совершенно утратило представление о культурных образцах, о смысле жизни, об истинных ценностях. Телевидение и СМИ «опривычили» в массах насилие, вульгарность, пренебрежение к труду, нелитературный язык. Оруэловское «черное — это белое» стало нормальной логикой общества. Можно ли это изменить? Федотова полагает, что можно — и с помощью тех же телевидения и СМИ. Прежде всего нужно изменить концепцию TV как коммерческого предприятия и знакомить публику не с низинами, а с вершинами культуры и искусства. В качестве экспертов на всевозможные беседы и дискуссии приглашать не кинозвезд, а квалифицированных специалистов. Увы, работникам TV публика представляется отсталой и легкомысленной. Публика не такова, но легко делается такой. Это TV, эксплуатируя наш интерес ко всему понятному, простому и грубому, придает этой стороне человеческой натуры статус образца. И публика в своем большинстве, отзываясь, к примеру, на рекламу, менее всего способна покупать, т.к. находится на социальном дне. Скорее в ней вызреет инстинкт отнимать. Словом телевидение, эта «фабрика значений», главный инструмент формирования парадигм общественного сознания, пригодно для разумного социального конструирования и должно быть освобождено от произвола «рыночных большевиков».

А. Салмин, автор статьи **«Политические институты России»** («Общая тетрадь», № 3), констатирует, что, перестраивая социалистический тоталитаризм в капиталистическую демократию, Россия не сумела найти в своей истории мифа, способного оправдать сделанный выбор. А между тем ***политическая мифология необходима*** при всяком переходе. В Конституции сказано, что Россия является «демократическим государством». На деле же с названным идеальным понятием не совпадает ни одна из реально существующих демократий. Что до России, то она имеет целый ряд примет, указывающих на сходство с развитыми де-

мократическими обществами, но и целый ряд примет, выдающих существенные различия. Чтобы все это изменить и привести в соответствие с декларированными положениями Конституции, Салмин предлагает некое перенастраивание фокуса, изменение угла зрения на происходящее. С чего начинать? Во-первых, необходима новая не функциональная, а рефлектирующая (интеллектуальная?) политическая элита, которая мыслит в категориях вечности, то есть в категориях национальных интересов хотя бы на десятилетие вперед. Во-вторых, необходимо право, которое должно быть законным. Только так можно заложить или продолжить традицию. Такие акции не объясняются и не происходят по законам обычной причинности, в основе их лежит воля, направленная к цели, — т.е. субъективный, личностный фактор. Невольно хочется назвать такую политическую программу «просвещенным произволом». Что вполне соответствует девизу всего номера, размещенному на обложке: «...имей мужество пользоваться собственным умом» (Иммануил Кант).

Пользоваться собственным умом в деле совершенствования политических институтов и приведения их в соответствие с принятой Конституцией — затея неудобоподъемная. Многим кажется разумней изменить Конституцию, приспособив ее к небогатой политической культуре нашего общества. В статье **«Россия и ее Конституция»** («Журнал российского права», №11) председатель Конституционного суда **В. Зорькин** призывает политиков пестовать в себе чувство «конституционного патриотизма». Для него, как впрочем и для всех остальных граждан, Конституция — это генеральное соглашение между всеми социальными группами, включая власть, бизнес, общество в целом, о фундаментальных правилах, по которым живет страна. Это — рамка юридически необходимого и возможного. Выход за ее пределы должен восприниматься как угроза бытию общества. Необоснованные изменения, нестабильность, неустойчивость Конституции неизбежно приведут к тому, что вся остальная система правил начнет подвергаться сомнению. Нынешние разговоры на тему ***изменения Конституции*** Зорькин считает «спекулятивными играми пиара». Элитно-корпоративные игры не имеют права вестись на «конституционном поле». Пусть текст Конституции не вполне совершенен. Но он есть. И изменения Конституции допустимы только при кардинальном изменении реальности, которое должна констатировать группа профессионалов высшего класса. А пока этого нет, к неприкосновенности Конституции следует относиться так же, как к неприкосновенности границ.

Обсуждение темы **«Реформирование Конституции Российской Федерации: возможность и необходимость»** продолжает и **Т. Хабриева** («Журнал российского права», № 11). Да, пишет она, Конституция создавалась в спешке, и в ней полно неудачных формулировок. Это заметно в разделах, посвященных экономике, социальной роли государства, духовной жизни общества. И тем не менее наш Основной Закон вобрал в себя все ценности мирового конституционализма, и вряд ли следует подвергать его принципиальному пересмотру. Наша Конституция не идеальна, но жизнеспособна. Другое дело, что принципы современного конституционализма вписанные стараниями ученых и под влиянием всеобщей демократической эйфории 1993 г. намного опередили политическую культуру российского общества. Но Конституция — это не столько тактика, сколько стратегия; она предполагает длительную перспективу общественного

развития. Конституция отражает мировоззрение и одновременно формирует общественное сознание и нравственность. Планки конституционных идеалов весьма высоки, и достижение их обусловлено многими факторами, в том числе и временем. Условия для принятия новой Конституции не сложились. Сегодня требуется совершенствование или, как пишет Хабриева, «оживление потенциала» имеющейся. Один из способов «оживления» Конституции — научиться понимать и правильно толковать букву Основного Закона и воплощать ее в правовом поле, неспешно конкретизируя в новых законах.

О том, как чувствует себя субъект Основного Закона — российское общество, пишет **В.Розин** в статье с громоздким названием **«Российский маргинал как точка бифуркации* (он же потенциальный эзотерик, шизофреник, манипулятор, социальный нигилист)»** («Философские науки», № 8). Потрясенный откровениями телепрограмм типа «Окна», «Моя семья», «Девичьи слезы» и т.п., автор счел необходимым отрефлектировать их на свой лад. Маргиналы, по Розину, — это люди, не просто выпавшие из устойчивых социальных структур. Это те, кто вынужден полагаться на собственные силы, «жить своим умом», при этом не обладая ни собственными убеждениями, ни нравственностью. Этакий совершенно пустой сосуд, который может быть наполнен чем угодно. Розин утверждает, что сейчас в России из устойчивой социальной структуры выпали почти все, впав в неустойчивый процесс перемен и реформаций. Этот момент он называет точкой бифуркации. Из этой точки социум или индивид, руководствуясь «своим умом», может равновероятно развиваться по четырем траекториям (хотя «бифуркация» буквально означает раздвоение): стать шизофреником, эзотериком, манипулятором или пополнить ряды представителей контркультуры (панки, скинхеды, антиглобалисты и прочие «социальные нигилисты»). Но так как ничего своего, в том числе ума, у маргиналов нет, они вынуждены выбирать только то, что им предлагают обстоятельства. А обстоятельства (реальность) место ума заполняют так называемыми *фундаментальными дискурсами*. Их тоже четыре: культурно-антропологический, научно-инженерный, гуманитарный и потребительский. Практически они реализуются в образовании, идеологии, политике, СМИ плюс церковь, психотерапия и т.п. Непосвященным непонятно, почему такие испытанные и надежные способы мышления, деятельности и социальной ориентации, как вышеперечисленные, должны приводить маргинала на край жизни, ибо шизофреник — это сумасшедший, эзотерик — адепт учения, доступного лишь избранным, манипулятор — что-то вроде аморального менеджера, социальный нигилист — наверное, тот, кому всё не так. А объяснения Розина ничего не объясняют, так как сводятся к тому, что какой бы дорогой маргинал ни шел, маргиналом и останется.

В надежде найти объяснение происходящих процессов, а также в поисках новой идеологии полезно обращаться к наследию прошлого. При советской власти предпочтение отдавалось «революционным демократам», сегодня больше ценятся сторонники теократического направления. Солидарное единомыслие во взглядах и тех, и других обнаружила **Е. Рудницкая**. Ее внимание при-

* bifurcus — раздвоенный (*лат.*)

влекли Чаадаев и Чернышевский (**«Чаадаев и Чернышевский: цивилизационное видение России»** — «Вопросы истории», № 8). Несмотря на диаметральную противоположность мировоззрений — идеализм первого и материализм (позитивизм) второго, главным для историософии обоих было «безусловное значение личности». Оба считали необходимой «благоустроенную жизнь», оба поражались российскому «пренебрежению удобствами и радостями жизни». Иной раз в критике славянофильских утопий Чернышевский даже более западник, чем Чаадаев. Идея прогресса Чернышевского основана на стремлении людей к материальному обеспечению и свободе. Вся его социальная философия определялась культом человеческой свободы. Признавая, что государство не только имеет право, но и обязано влиять на экономическую деятельность, Чернышевский ограничивал его вмешательство двумя нормами: здравым смыслом и справедливостью. Чаадаеву свойственно теургическое провиденциальное восприятие истории, венчаемое идеей царства Божия на Земле. Путь туда лежит через христианскую цивилизацию. Но оба понимали свободу в свете нравственной ответственности человека за историю. К революции оба относились резко отрицательно, предпочитая путь реформ и просвещения. Для обоих непреложно единство человеческого рода и одинаково ценно общечеловеческое движение в направлении европейской цивилизации.

Сегодня вопрос развития — европейского или евразийского (самобытного) — для нас так же актуален, как и во времена Чаадаева и Чернышевского. Социологи попробовали ***измерить степень европейскости нынешних россиян***. **А. Левинсон** дал этому опросу название: **«Евроз»** («Неприкосновенный запас», № 4). По последним социологическим опросам XX века европейцами себя считали чуть больше трети наших соотечественников. Более трех четвертей респондентов полагают, что хоть русский человек и не европеец, он обладает особой душевностью: так, нам чужда свойственная европейцам расчетливость. А вот отвечая на вопрос «По какому пути идти России?», почти половина опрошенных выражает уверенность, что необходимо создавать государство на манер западного (демократическое устройство, рыночная экономика, право на частную собственность и т.п.). Ничтожное меньшинство желает видеть Россию такой, какой она была до 1917 г., то есть имперской монархией. Около трети хотят вернуться в социализм и почти столько же хотят чего-то особенного, не похожего ни на что известное.

Кропотливой ***демифологизацией*** занялся журнал «Исторический архив». Небезынтересны его усилия переосмыслить штампованные образы, созданные советской историографией. К публикациям такого рода следует отнести переписку царя **Николая II** и **О.Трепова «Вы единственный из моих слуг, на которого я могу совершенно положиться»** (№ 4). Поучительна также подборка писем **Л. Оболенского** к Н. Михайловскому (**«Прости за правду»** — № 3). Оба персонажа — идеологи легального народничества, однако редактор «Русского богатства» Оболенский принадлежал к правому флангу и историкам особенно интересен не был; Михайловский же представлял левое крыло и общеизвестен как «апостол истины и справедливости». Сегодняшней демократической и либеральной интеллигенции публикация эта дает серьезный повод призадуматься над приемами собственной идеологической тактики.

Обзор подготовил Александр Денискин

Сергей ЮРСКИЙ

ТЕПЕРЬ И НАВСЕГДА

Памяти Симона Маркиша

Adieu, mon cher, adieu,
Le coeur prie l'quietude.

Надо бы помолчать.

Мне надо бы помолчать. По крайней мере до сорокового дня с его кончины. Значит, до 13 января 2004. До Старого Нового года. Но таким галопом идет жизнь! И столько смертей! Внахлест идут. Столько сердец надколото. И если человек ушедший был заметен, а тем более, знаменит, некоторое время СМИ (прости, Господи, какое ужасное слово!) оставляют место для похоронных воспоминаний. Некоторое время! Не очень большое. Потому что таким галопом идет жизнь. И смерти идут внахлест. Нужно УСПЕТЬ сказать о Маркише. Нужно?

Не уверен. Уверен, что УСПЕВАТЬ — не нужно. Ах, Симон бы сморщился, как от кислого. Его лицо на мгновение приняло бы столь несвойственное ему выражение отвращения. Наверное, он снял бы даже очки, отвернулся и протер стекла — стер бы с них это мгновение. Не надо, не надо УСПЕВАТЬ! Все уже прошло. Чему надо было, вошло в сердце, в мозг. В душу, в наличие которой он не верил. В память. Она разрасталась в его душе (в которую он не верил) и постепенно стала такой огромной, что окутала ее всю, изнутри и снаружи. Его огромный ум, огромное сердце и огромная память вышли за пределы его тела, стали излучением, которое влияло на всех соприкасавшихся с ним даже на короткое время. Оно вышло за пределы его земной жизни и осталось в этом мире отдельно от его могилы на земле израильской Палестины, далеко от Москвы, на языке которой он говорил, писал и думал, от Будапешта, где осталась последняя его семья и семья первой его эмиграции, далеко от Женевы, гражданином которой он стал, в Университете которой была последняя долгая и счастливая его профессорская служба.

Сергей ЮРСКИЙ — родился в 1936 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский театральный институт. Народный артист России. Работал в Большом Драматическом театре им. Горького (Ленинград), с 1978 — в театре им. Моссовета (Москва). Член редколлегии «Континента». Как прозаик дебютировал в 1977 г. Автор нескольких книг прозы («Кто держит паузу», «В безвременье», «Жест», «Содержимое ящика» и др.) и многих повестей, рассказов, воспоминаний и статей по вопросам культуры, печатавшихся в центральных российских журналах. Живет в Москве.

В последние годы он запретил себе высказываться. Этот мыслитель, этот философ и историк СТАРАЛСЯ говорить только на совсем простые, бытовые темы. И, кажется, делал это с удовольствием. Очень подробно, с подлинным интересом, расспрашивал о здоровье, об общих знакомых, даже весьма отдаленных, вежливо отвечал на все дружеские письма и звонки. Но чурался ученых встреч, конференций, симпозиумов. А если иногда принимал приглашение на такое «мероприятие» и выступал там, то каждый раз начинал свою речь с того, что он давно отошел от реальных проблем, рассматриваемых уважаемым сообществом, и может быть только свидетелем некоторых существовавших в прошлом, а ныне пребывающих лишь в отголосках — событий и идей.

Далее шла сама речь, которая постепенно становилась все более страстной, идущей все более поперек ожидаемому. А потом он резко очерчивал РАМКИ, которые считал возможными для себя, а остальное объявлял ВНЕ своего права судить и вне своих интересов.

* * *

Я помню зеленые брюки,
Я помню небритые щеки.
Уехал наш Сима на муки
Смотреть шведский хор в Териоки.

Эту дурацкую песенку я сочинил и гнусаво напевал, растягивая слова и грассируя на манер Вертинского, поджидая Симона у ворот нашего Дома Творчества. Темнеть стало рано. Был уже август. Быстрой своей мелкой походкой Симон приближался от станции по Цветочной улице и свернул к нам.

— Ну, что? Намучился?

— Знаешь, Сергунь, мне понравилось.

— Мы твой ужин на веранду забрали. Иди, поешь.

Это было лето 1954 года. Карельский перешеек. Поселок Комарово-Келомякки. Сорок километров от Ленинграда.

За два года до этого в застенках КГБ было расстреляно руководство Еврейского Антифашистского Комитета. В числе убитых был выдающийся и, еще несколько лет назад — очень знаменитый, еврейский поэт Перец Маркиш. Отец Симона. Семью выслали в Казахстан. После смерти Сталина ссыльных вернули. Симону разрешили снова поступить в Московский Университет, на классическое отделение филфака. На лето кому-то удалось достать ему путевку в довольно захудалый Дом Творчества ВТО (Всероссийского Театрального общества) под Питером.

На остекленной веранде в виде подковы нас помещалось пятеро. Жили по-спартански — без излишеств. Кровать, тумбочка, кровать, тумбочка. На спинке кровати полотенце, под кроватью — чемодан. Всё.

Был певец с трубным голосом и мощным храпом. Был Эвальд Федорович — крепкий мужчина, актер из не очень удавшихся, был совсем тихий человек, которого не удержала память. Был университетский студент-юрист, игравший роли в самодеятельности — это я. И был Симон.

И была у Симона зеленая полосатая пижама. В ней он и ходил. Тогда так было принято. Были, однако, и «пасхальные» брюки — на выход. Они помещались на вешалке, а вешалка на гвоздике, вбитом в стену.

В том же домике в «люксовом» номере помещались мои родители. Отец был тогда художественным руководителем Ленконцерта и имел право на некоторые льготы. Впрочем, «удобства» все равно были общие в виде единственного туалета на весь домик. Юрий Сергеевич Юрский был фигурой яркой и единодушно признавался неформальным лидером всей домотдыховской общественности. Он и сказал мне однажды: «Ты, сынка, совсем закрутился со своим волейболом и пинг-понгом. Рядом с тобой очень интересный человек. Ты поговори с ним».

Мы поговорили. И оказалось действительно интересно. В волейбол Сима не играл, к морю ходил редко и без удовольствия. А вот разговаривать с ним было здорово. Как-то все вокруг поворачивалось новыми сторонами. К тому же он до ужаса много знал. И еще вот поехал в Зеленогорск (бывшие Терioки) на Шведский хор. Я не мог пропустить волейбол и потому никак не мог составить ему компанию даже по такому редкому в те строгие времена случаю, как концерт хора из Швеции.

На прощанье мы обменялись адресами, и уехал Симон в Москву.

Это было пятьдесят лет назад. И с тех пор через все перемены жизни, через множество событий, через множество городов и стран, через запреты и неразбериху, через конфликты и их преодоление мы умудрились не потерять друг друга.

* * *

Цитирую по своей книге «Игра в жизнь», написанной в 2000 году.

«Дружба в тоталитарном обществе — это исповедь, это проверка курса, спасение от безумия, погружение вглубь....

Долгожданный день дружбы — ты приближаешься к самому себе. Ты говоришь без всяких оглядок. Ты слышишь НЕОЖИДАННЫЕ возражения. Наконец-то ты слышишь НОВЫЕ мысли и слова. Ведь ежедневно по радио, в газетах, в официальном общении и по большей части даже в театре ты заранее знаешь ВСЕ СЛОВА, которые тебе скажут. И заранее знаешь все слова, которые ты ДОЛЖЕН произнести. А в этот день ты радостно замечаешь, что и сам-то, наконец, говоришь новое, идущее изнутри. Открывается клапан, и ты оказываешься совсем не таким плоским, как казалось. Это счастливое ощущение....

Конечно, наши отношения были «подпольем» — не в смысле заговора и склоненных над столом мрачных фигур при закрытых окнах, а в смысле чего-то сугубо личного, не предназначенного для чужих глаз и ушей. А уж от наших характеров зависело, что это было не угрюмое мудрствование избранных, а шутливое по форме и всегда наполненное юмором, я бы сказал — трепливое общение. И всегда Симон был учителем, а я учеником. И по возрасту и... и по всем другим качествам».

Наши компании смешались. Его — литературно-переводческая и моя — актерская. И были кутежи и бессонные ночи, и закручивались романы. Но главным... главным были разговоры. СЛОВА, которые были важны, в которых мучительным пунктиром прочерчивался смысл нашей молодой жизни.

Маркиш переводил Плутарха. «Сравнительные жизнеописания» имели большой успех, и Симон вместе со своим однокурсником Сергеем Аверинцевым вошел в число высшего слоя «классиков» и античников. Позже, уже в одиночку, Маркиш перевел с латыни «Разговоры запросто» Эразма Роттердамского. Кажется, интерес к книжке оказался меньше ожидаемого. Но Симон увлекся Эразмом. И впервые стал полноправным автором. Вышла книга «Знакомство с Эразмом из Роттердама».

Он переводил Апулея, редактировал перевод «Похвалы глупости» Эразма, пересказывал для детей Тита Ливия, участвовал как переводчик в издании двухтомного Эдгара По.

Я не буду перечислять всего. Я не помню и знать не мог всего, что он переводил, редактировал, составлял. Он работал мощно и, казалось, счастливо. Когда он написал статью «Античность и современность» и ее опубликовал «Новый мир», находившийся тогда в центре общественного внимания, Симон стал по настоящему заметной фигурой в бурлящей московской жизни.

Мы выпивали квартетом на квартире у Симы во 2-м Труженниковом переулке возле Плющихи. Какие ребята! Как искрился их юмор! Витя Хинкис, блестящий переводчик, подаривший русскому читателю среди многого другого — Голдинга, Володя Смирнов, знавший, кажется полтора десятка языков — от всех европейских и скандинавских до китайского и японского и навсегда облагодетельствовавший больших и маленьких читателей переводом «Муми-тролля». Потом мы катили в большую компанию. Там растворялись на время. Чтобы снова собраться вместе и продолжить этот пир возлияний и бесед.

Симон звонил из Москвы и говорил, что приедет на пару дней в Питер тогда-то. Я шел в Европейскую гостиницу и по блату снимал ему скромный номер — тогда это было доступно. У нас дома поселить было негде — жили в одной комнате, в коммуналке. Если в этот день у меня не было спектакля, покупалась бутылка виски (кутить, так кутить!), стоила (с наценкой!) 20 рублей. И уже в девять утра мы пригубляли по чуть-чуть, по маленькой — прежде чем окунуться в ленинградскую жизнь.

Когда я читал в хемингуэевской «Фиесте» страницы, где Джейк и Билл, забыв про рыбную ловлю, без конца говорят о литературе на берегу холодной речки в горной Испании и пьют без конца «дешевое местное вино», мне казалось, что это про нас. Казалось, что мы задавались теми же вопросами и так же формулировали ответы.

Может быть, тогда я и влюбился в этот роман Хемингуэя, а потом (тоже в одно удивительное совместное с Симкой лето) написал пьесу по этому роману, позже сценарий и поставил спектакль и фильм.

* * *

Что-то переменилось. Симон позвонил в очередной раз из Москвы и сообщил, что в Питер приедет его новая подруга. Она будет жить в Астории. Он хочет, чтоб я с ней познакомился, пригласил ее посмотреть спектакли. Вообще, поглядел на нее. Возможно, это будущая его жена. Она физик и очень ученая. Но, по его мнению, она еще и обворожительна. Я должен высказать на этот счет свое мнение. Это важно. Да, кстати, она иностранка. Венгерка. Но по-русски говорит и понимает отлично. «Понимаешь, она, кажется, все понимает», — сказал он.

Да, она мне очень понравилась — женственная, живая, естественная — Ю. Н. — венгерский физик на стажировке в Институте Ядерных исследований в Дубне. Вот это роман, вот это выбор, вот это судьба! Да... только вот... слушайте, Юлика, вы собираетесь здесь потом работать... в Союзе? Нет? А... тогда стало быть?..

Менять страну собрался Симон. Когда мы встретились через некоторое время, я разглядел в знакомых чертах нового для меня человека. Это был слом. Или возрождение. Во всяком случае, коренная перемена. Только теперь, через полтора десятка лет я понял, что «пепел Клааса стучит в его сердце». Симон в полную меру ощутил (или всегда ощущал, но теперь в полную меру проявил), что он сын убитого сталинским режимом Переца Маркиша, что он часть народа, ввергнутого в ад немыслимых страданий, что он еврей. И что это прежде всего.

Он любил Юлику, он уезжал в дружественную страну соцлагеря. Но важнее для него было то, что он ПЕРЕСЕКАЕТ эту границу.

Мы брели с ним по набережной Москвы-реки и говорили. Разговор был тяжелый. Многого не мог я тогда ощутить и понять. Мне кажется, и сам он многого не знал и не предполагал. Но вдруг почувствовалось, что мы уже... в разных мирах. И этот мир для него в прошлом.

* * *

Два лета того, раннего времени, два лета, проведенных вместе, встают перед глазами. Щелыковское лето и десять дней в Новом Свете — Крымское лето, оборванное нежданными и, можно сказать, роковыми событиями.

Щелыково — это имение А. Н. Островского в Костромских краях, в Заволжье. Там же, в деревне Бережки, возле преданной в те годы на поругание и загаженной церкви, — могила великого драматурга. Возле имения — Дом творчества ВТО (опять театральный дом, как тогда в Комарово). Я вытащил туда Симку — отдохнуть и поработать, — он писал очередную книжку. Невероятной красоты и покоя природа, мизерные и, по нынешним меркам, совершенно недопустимые бытовые условия и... несравненная радость творческого общения, фонтаном вздымающийся актерский юмор тех времен. Кто знал — помнит! Кто не знал — узнайте! Попробуйте увидеть на полянах среди завороженных лесов этих насквозь городских людей, одиннадцать месяцев в году знающих только сцену, кулисы, Дом актера на улице Горького и поезда, везущие на гастроли. Олег Ефремов, Наташа Крымова... Ия Савина, Катя Максимова и Володя Васильев... красавица Элла Бруновская, и, на правах хозяев, герои Малого театра — ежеминутно остроумный Никита Подгорный и Пров Садовский... Андрюша Торстенсен и Саша Кузнецов, счастливая и сверкающая Алла Покровская... невероятно знаменитые тогда телеведущие Аня Шилова и Аза Лихитченко... Остров Любви на пруду возле реки Сендеги, Красный обрыв и костры на нем, Черный обрыв...

Еда была скверная. В сельском магазине пустые полки. Пришел и наш с Симкой черед снабжать компанию водкой. Как же памятен этот поход за двенадцать (!) километров в один хороший ларек, куда «должны были завезти». И потом это, тоже пешее, возвращение с грузом.

Как памятна баня в Кинешме, на другом берегу Волги, куда пришла на помывку рота солдат, в связи с чем оборотистые мужики продавали по 15 копеек

вместо веников какие-то пучки прутьев. И мы с Симкой перестарались и исхлестали друг друга до шрамов.

А дневные часы работы! И книга Симона двигалась, как ни странно, хорошо двигалась. И шла вперед моя инсценировка. Мы очень много успели за это веселое пьяное лето. И очень хороши, незабываемы были в то лето люди.

В Новый Свет мы собрались в конце июля 68-го года. Съехались в Симферополе и отправились «дикарским» способом на море. Жили в какой-то хибаре. Но постепенно «вмонтировались» в местную жизнь. Я становился довольно известным киноактером, и только что вышла на экраны «Республика ШКИД». Меня узнавали. Я дал концерт в санатории, и нам продали курсовки. С едой наладилось. А потом... Ого! Нас позвали посетить подвалы знаменитого Новосветского завода шампанских вин. О, это памятно! Купаж, чаны, бочки, бутылки, полки... Вежливый руководитель, который предложил отведать в своем кабинете «настоящего, особого БРЮТА». По бокалу, а? Смешное дело, что значит «по бокалу», коли уж все равно открыли бутылку? — О, это особое шампанское, с ним осторожно! — Да перестаньте! Ваше здоровье! Мы вдвоем осушили всю бутыль. Голова была ясная, свежая. Сейчас еще искупаемся...

Куда там! Мы встали, но двигать ногами не могли. Ноги были из ваты. «Как вы, ничего?» — спросил директор. «Ничего, ничего! Нормально...» Мы шли километр до нашей хибары часа два. Мы останавливались, садились на песок, смотрели друг на друга выпученными глазами... и хохотали. Небо опрокидывалось в море, а море выпрыгивало на верхнюю дорогу.

Лето было жаркое. Мы совершили восхождение на гору Сокол.

Пришла телеграмма. Меня вызвали в Москву и послали в Чехословакию. Был август 68, и 21-го числа в Прагу вошли наши танки.

.....

Вернувшись в Москву 25-го, я поселился у Симона. Я был подавлен и возбужден. Я говорил не останавливаясь, а Симон слушал. Он понял, что меня надо спрятать от журналистов и назойливых посетителей разного толка. Он увез меня в Дубну, где были общие друзья — физики. Саша Филиппов устроил номер в гостинице.

Мы говорили. Думали. Молчали. Это был перелом. Настоящий перелом в жизни каждого из нас.

Потом я понял, что именно в эти дни, в эти месяцы происходил тот окончательный бесповоротный перелом в душе моего друга, который привел его сперва к эмиграции «ближней», потом «дальней», потом к четырнадцати годам, что мы вообще не виделись, а в редких письмах и опасливых телефонных разговорах все более понимали, что теряем общность. Мы по-разному стали смотреть на вещи. Чтобы потом, когда уже почти не было надежды, чтобы потом... была еще целая новая жизнь.

* * *

Цитирую по тексту предисловия Симона (уже Шимона) Маркиша к книге «Родной голос», составленной им и изданной в 2001 году в Киеве:

«...Достоевский сто двадцать лет назад выразился: «Еврей без Бога как-то немыслим; еврея без Бога и представить нельзя». Немыслимое обросло пло-

тью. В обезбоженном мире еврей без Бога — не исключение и даже не редкость, напротив — он в большинстве.

Но если не религия, не заповеди, обряды и молитвы объединяют нас, не знающих веры, но принадлежащих еврейству и головою и сердцем, то что?

Я думаю — культура. <...>

Возможно не будет совсем уж лишним уточнить, что евреи т о л ь к о по рождению, к своим корням равнодушные, а не то и прямо враждебные, в круг нашего внимания не входят.»

Симон сместил со своего письменного стола любимых прежде античных авторов, убрал на дальние полки западноевропейскую и американскую литературу. Его внутренним интересом все более овладевала исключительно русско-еврейская литература.

А как профессионал (а он был и оставался филологом и историком русской литературы высшего класса) Маркиш нашел себе применение в русском отделении Женевского Университета, возглавляемом выдающимся французским руссистом Жоржем Нива.

Чтобы не рвалась нить биографии, сообщу, что Симон, живя в Будапеште, овладел довольно прилично венгерским языком. Среди венгров у него появился интересный круг знакомых. Однажды (только однажды) Симон приезжал в Союз. Жил у нас. Мы с моей женой Наташей Теняковой ждали тогда рождения дочери. Общение наше с Симоном перешло на какой-то поверхностный уровень. Мне казалось, что захватившая его целиком еврейская тема сужает его талант, отрывает от той, если так можно выразиться — ВСЕМИРНОСТИ, которая была его силой и признанной особенностью. Но это было мое мнение. Симон думал иначе. И мы все больше помалкивали.

Жизнь в Венгрии, с точки зрения властей, не была еще полной эмиграцией. Да и Симон считал, что он по-прежнему живет в социализме. Он не чувствовал себя свободным человеком.

За несколько лет до этого покинула страну его матушка — Эстер, вдова Переца Маркиша — и его младший брат Давид, талантливый журналист и писатель. Они уехали в Израиль. Отъезд был трудный, даже мучительный. Симон остался в Москве с бабушкой — поразительно достойной и умной Верой Марковной. Но вот бабушка умерла, и тогда... оказалось, что ничего более к Москве его не привязывает. И, однако, он уехал не в Израиль. Он влюбился в Юлику и стал жителем Будапешта. У них родился сын. Наши отношения поддерживались регулярными письмами. И вдруг...

С оказией я получил письмо от него из Швейцарии. Он выехал по научному обмену... и стал невозвращенцем. Он звал жену с собой, он звал ее теперь к себе, но она отказалась — так писал он. Он подробно обосновывал свое бегство. Честно говоря, я подозревал и иные, побочные причины. Я полюбил Ю.Н., и мне нравился их союз. Но я не судья ни им, ни ему.

Переписка с капиталистической страной стала совсем затрудненной. А о свидании невозможно было и мечтать. К тому же у меня начались неприятности с властями. Я стал «невыездным». Пульс нашей дружбы стал редким и неровным. Он еле прослушивался.

* * *

Началась перестройка. Меня «выпустили» аж в Японию — одного, надолго! Ставить спектакль. Шла зима 86-го года. Из Токио я набрал номер телефона Симона в Женеве. Наконец мы слышали голоса друг друга. Но мы были очень далеко. И к тому же мы сильно повзрослели, чтобы не сказать постарели.

Весной 87-го я получил приглашение дать концерт в театре Одеон в Париже. Я не верил своим ушам, своим глазам, но я жил в Латинском квартале и в день концерта ждал приезда Симона из Женевы.

На перроне Лионского вокзала я оказался минут за двадцать до прихода поезда.

Симон вышел из самого дальнего вагона. Я узнал издали, сразу узнал его легкую мелкую походку. С ним была всего только маленькая сумка и зонтик. На расстоянии казалось, что он совсем не изменился. Он остановился вдалеке и поднял приветственно руки.

Мы не виделись четырнадцать лет.

В 88 году я давал концерт в Милане, и Симон снова приезжал повидаться.

А еще через год по его приглашению я ехал поездом через всю Европу в Женеву.

За это время мне открылся новый круг его общения. Кроме упомянутого уже Жоржа Нива, это были интереснейшие люди русской эмиграции — Ефим Эткинд, Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Андрей Синявский, Мария Розанова. Но — странное дело — находясь в старинных и дружеских отношениях со многими, Симон как бы вовсе и не принадлежал к слою эмиграции. Он был и с ними, и сам по себе. Был еще женевский круг его коллег — профессоров и его нынешних и бывших студентов. С ними связь была, пожалуй, теснее и живее. Гостей из России, бывших знакомых, Симон принимал необыкновенно радушно со всей щедростью души и кармана. Но разговора о том, чтобы нанести ответный визит, не поддерживал. Прошлая жизнь вспоминалась, но ни о каком возвращении, даже на короткий срок, ни на каких условиях не могло быть и речи.

Он жил в Женеве на улице Бови Лисбер, это была реальность, и она была необратима.

* * *

Я сидел на его лекции. Он говорил об одном из своих любимцев в русской литературе — Державине. Именно — не читал лекцию, а говорил. Было замечательно. Бывал я на семинарах, присутствовал на индивидуальных занятиях. Но даже если бы ничего этого не видел я своими глазами, через знакомство с его многочисленными учениками узнал бы я, какого высшего качества был их Учитель. Его очень ценили. Продолжали поддерживать с ним связь, уже окончив Университет, сами становясь учителями, профессорами, переводчиками, дипломатами высокого ранга, как Хайди Тельявини.

Высокая ученость в сплетении с естественностью и простотой — такая атмосфера была на кафедре. И создавалась она прежде всего талантом и усилиями Жоржа Нива и Симона Маркиша.

Жорж возглавил «Русский кружок», и под этим скромным названием образовался клуб международного масштаба. Гостями клуба побывали многие вы-

дающиеся люди из России и из русской эмиграции. На публичные заседания, бывало, собиралась вся русскоязычная Женева. Симон был и консультантом, и «связующим звеном», и участником клубных встреч.

Но «внутренняя душа» его все более сосредотачивалась на одном предмете — русско-еврейская литература. Исчезающий, или, по его мнению, исчезнувший мир.

В 93-м году он писал: «Прошедшего не вернуть, черных десятилетий, превративших российское еврейство в духовный труп, из истории не вычеркнуть. Труп же — финансовыми вспрыскиваниями Запада и Израиля — можно только гальванизировать, но не оживить.

И потому понятны голоса из России: все усилия надо приложить к тому, чтобы крохи минувшего, как-то еще сохраняющиеся (в государственных архивах и семейных преданиях, в старой периодике и т. п.) не изгладились из исторической памяти народа бесповоротно...

...И — хочется верить. Прежде всего — в то, что даже при худшем варианте уход российского еврейства со сцены будет мирным и добровольным, что иссохшая ветвь не будет ввергнута в огонь». (Из статьи «Усыхающая ветвь»)

Вот о чем болела и чему служила внутренняя душа моего друга.

Три блестяще написанных портрета — Бабель, Гроссман, Эренбург — и ряд статей составили великолепную напряженную, в сердце бьющую книгу под названием «Бабель и другие».

Последний составленный им сборник русско-еврейской литературы — уже упомянутый мной «Родной голос». Симон и сам понимал (и даже писал в предисловии), что многих из этих авторов никак не причислишь к первому рангу русской литературы. Но были там и ослепительные вещи. Например (для меня) — трагедия в стихах «Осада Тульчина» Николая Минского, были отрывки из несомненно великого Владимира Жаботинского. Однако Маркиш не козырял общепризнанными именами. Все свои силы отдавал он любовному, я бы сказал — со слезой, ухаживанию, сохранению всего, что осталось от «усыхающей ветви».

Я порой подшучивал над его нынешней «упертостью». Он принимал шутки с улыбкой. Но был — так я ощущал — некий «кокон» внутри него, для которого и я — друг давний и проверенный — был посторонним.

* * *

А «внешняя» его душа — по-прежнему открытая и богатая — вела на необходимые и питающие оптимизмом свидания везде, где возможно было. В Москву он не ехал, как я его ни звал. Но КАЖДЫЙ ГОД, где бы я ни оказывался за рубежом, Симон появлялся. С маленькой сумкой, с бутылкой вина и зонтиком.

В Барселоне я снимал несколько сцен для фильма «Чернов/Chernov». Симон приехал. А ведь это ой как не близко. И он так органично, так весело вписался в компанию нашей группы. И подружился с Андреем Смирновым — нашим героем, и с оператором Мишей Аграновичем, и с художником Аликом Боимом. И даже СНЯЛСЯ в малюсеньком эпизоде (волновался жутко и был сильно зажат). В финале фильма он «сыграл» пожилого официанта в кафе у моря.

Симон несколько раз приезжал ко мне в Париж и в Брюссель, когда я работал в тамошних театрах. Мы встречались в Кольмаре и во Франкфурте-

на-Майне. Мои друзья становились его друзьями, потому что Симон никогда не утрачивал своего покоряющего обаяния естественности.

Он хорошо знал Европу. Поэтому прогулки с ним по малым городкам и по музеям его выбора оказывались впечатлениями незабываемыми. Но вот особенность именно ему принадлежащая — он, прирожденный лектор, — никогда не превращал свои огромные знания в монолог и в поучение.

Для русского уха звучат так романтично названия мест, по которым мы бродили вдвоем и с семьями, и с друзьями — Беллинзона, Брюгге, Сен-Жермен-ан-Ле, Бобиньи, Порт-де-Клиньянкур. Да они и в самом деле романтичны, эти места. Но в лучших (или невольных?) традициях нашей общей родины говорили мы в этих местах большей частью о Москве, о Питере, о Киеве... о людях: что они там сейчас, в этот момент поделывают, как меняются, как мы меняемся по отношению к ним, короче, по-пушкински, о местах «где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил».

А писать мы друг другу стали реже. Телефон развращает. А возможность видеться ослабляет эпистолярное напряжение. Однажды, с оказией, Симон вдруг прислал мне связку моих к нему писем за много лет. Он их сохранил?! Зачем прислал теперь? Почему-то дрогнуло сердце.

* * *

С возрастом начинает казаться, что мир вокруг становится хуже. Даже при внешних признаках благополучия. А мы, дескать, все те же! За это подымают кубки, кружки, рюмки старые друзья — мы неизменны, мы еще крепки. Это мужество.

Есть и другое мироощущение. Само собой, что мир меняется, но меняюсь и я, и мы уже не те. Мало того, мы и не должны быть «теми» — приходит время. Болезни старения — производное от накопившейся горечи души. Ее — горечь — не надо показывать — неделикатно. А чтобы не дать ей излиться, подсознательно и сознательно строятся перегородки. Общение затрудняется. Это тоже мужество.

Мы искренне желали встречи. Не так просто найти возможность и время увидеться за две-три тысячи километров от дома. Встречались. И подымали рюмки за то, что еще живы. Но пилось не очень. И говорилось, надо признаться, тоже не очень. Больше молчалось. Проходило два-три дня, и надо было разъезжаться. Спохватывались, что не успели — не успели высказаться и расспросить. Времени оставалось только на то, чтобы твердо договориться о следующей встрече.

Ясно вижу картинку примерно пятилетней давности. Мы с Наташей приехали в Париж, у меня был концерт, а потом удалось специально остаться на неделю, чтобы пообщаться с Симоном. И он приехал из Женевы. И вдруг... было совершенно свободное время. Погода была скверная. Моросили холодные дожди. Мы пошли в музей Пикассо. Под зонтиками медленно двигалась громадная очередь. Стояли больше часа. Наконец вошли. На первой ступеньке лестницы Симон сказал: «Идите, поднимайтесь, я здесь вас подожду...» — «Симоша, болит что-нибудь?» — «Нет, нет... Я посижу здесь, погляжу одну статью. Подожду вас. Идите, смотрите... Я это уже видел...»

Что сказать? Как-то не глянулся нам в этот раз Пикассо. Довольно скоро мы спустились. В вестибюле на скамеечке сидел Симон. В руках была какая-то рукопись, но он не читал ее. Видимо, уже прочел. Он поднял глаза на нас, улыбнулся: «Поглядели? Ну, пошли».

И в ту же парижскую встречу, почувствовав, что я ДОЛЖЕН начать говорить, потому что молчание затягивается, я с ужасом обнаружил, что я НЕ МОГУ. Буквально — физически! Рот не открывался, глаза не открывались. Начался опоясывающий лишай на лице.

Совпадение? Случайность? Возможно случайность. Но еще и какие-то мистические контрапункты. Мы оба СЛИШКОМ готовились к этой встрече.

* * *

В Швейцарии жесткие правила выхода на пенсию государственных служащих. Преподаватели Университета — это ведь госслужащие.

В шестьдесят четыре года педагог, кто бы он ни был, получает письмо, как черную метку. Дескать, очень Вами довольны, ценим труды и так далее и тому подобное, сообщаем, что ровно через год будем иметь честь окончательно отблагодарить Вас, сказать большое мерси и... будьте здоровы! И ровно через год... мерси, и в обязательном порядке с завтрашнего дня извольте освободить место.

Конечно, это повлияло. Нарушился трудовой ритм, который длился двадцать лет. Симон любил свой Университет.

Симон стал пенсионером, подчеркивающим свою жизнь ВНЕ активной деятельности «на столбовой дороге» культуры. Хотя... кто знает (а раздумывая о его судьбе, скажу — КТО СМЕЕТ ЗНАТЬ?), какую дорогу нужно назвать столбовой?

Он сменил свою прекрасную квартиру в Женеве на меньшую, подешевле. Довольно большую часть года проводил в Будапеште, где жила его новая жена — Жужа Хетени со своими двумя сыновьями. Там тоже у него была своя скромная квартирка-кабинет. Со стороны психологическое его состояние я формулировал так: ему было необходимо одиночество, с которым он не знал, что делать.

При этом сохранялись многочисленные дружеские связи. И не просто связи. Сохранялось чудесным образом его ВЛИЯНИЕ на множество людей. Влияние культурное, интеллектуальное, моральное, личностное. Вот назову несколько имен: Марлен Кораллов, литературовед, эссеист — политзаключенный сталинских времен, знавший Симона еще в начале 50-х, физики Юля и Саша Филипповы, математик Никита Введенская, литературовед и издатель Игорь Виноградов, режиссер и горячий общественный деятель Алексей Симонов, журналист и издатель Эйтан Финкельштейн из Мюнхена. А немногим раньше — Иосиф Бродский, в одной из статей назвавший его «гениальным Симоном Маркишем». Сергей Сергеевич Аверинцев, сам человек несомненно гениальный, одна из вершин нашей культуры и гуманитарной мысли.

Для всех этих людей Симон Маркиш был не просто одним из знакомых, а существенной частью окружающего их мира, критерием истинности, точкой отсчета.

Всем этим и, может быть, еще большим был он для меня. Я подружился со многими из его швейцарского круга. Жан-Филипп Жакар, нынешний глава

Русской кафедры, Лика и Арман Брон, Рудольф и Розанна Шаллер, Корин Амашер, упомянутая уже Хайди Тельявини, ныне посол, специальный представитель Генерального секретаря ООН в зоне грузино-абхазского конфликта, и, конечно, его друг, его начальник и его оппонент — великолепный Жорж Нива, написавший (среди бесконечно многого другого) замечательную книгу об А. И. Солженицыне, переводчиком которой с французского был... Симон Маркиш! (1984 г.) Ей-Богу, не будет преувеличением сказать, что Симон был не просто частью этого круга. Он был его душой.

* * *

Три последние встречи. Уже в XXI веке. 01 — Будапешт, 02 — Тель-Авив, 03 — Брюссель.

6 марта 2001 года Симону исполнилось 70. Идея принадлежала Жуже и Хайди — устроить мне тайный приезд в Венгрию и сделать Симону сюрприз.

Сюрприз был с большими затратами времени, сил и средств. Нужен был вызов, виза, место «тайного» поселения. И еще, пожалуй, какое-то разумное оправдание всех этих усилий, кроме: «Здравствуйте, а вот и я!»

Представьте, все состоялось! Было организовано приглашение мне от «Русского дома» в Будапеште дать сольный концерт. В гостинице этого Дома я и поселился. Там же поселилась Хайди, приехавшая, как и я, специально из другой страны. Встречал меня в аэропорту представитель Дома, а Жужа в это время назначала Симону странное свидание — в 2 часа дня на станции метро при выходе.

Я чуть припоздал, и когда спустился по лесенке в вестибюль метро, Симон был уже там. (Симка вообще был очень точен и на условленные встречи никогда не опаздывал). Он стоял, прислонясь к кафельной стене, и листал какую-то брошюру. Я вдруг жутко заволновался. Представилось, что сейчас он меня увидит и либо страшно закричит, либо сперва просто не узнает — ну, откуда я могу тут взяться? — а потом уже страшно закричит. Но ничего такого не произошло. Симон поднял глаза, уставился на меня, а после замотал головой и скорчил гримасу, выражавшую что-то вроде: «Х-хе! Ну, надо же! Как чувствовал, что они что-то затевают».

Вечером в Русском доме был мой концерт, и я посвятил его Симону. Он с Жужей и Хайди сидел в зале. Тогда я впервые прочел со сцены стихи, написанные за десять лет до этого и обращенные к нему при отъезде из Женевы.

Как мастер сработал скрипку,
Где нет ни одной скрепки,
Где на благородном клее,
Который сродни елею,
Все части срощены крепко

Так я бы хотел кратко
И по возможности кротко
Проститься с тобой, брат мой, —
Я ухожу обратно.
На голове моей кепка,

Что ты подарил. Лодка
Скоро отчалит. Водки
Выпьем еще, как в песне,
Много прошли мы вместе,
Нынче же чувствую — баста!

В разных мирах жить нам,
Вот подошла жатва —
Наш урожай скудный
Жертвой на День Судный
Врозь понесем. Часто

Вспомню тебя, только
Я не нашел толка
В этом Раю — Штаты,
Франция, или что там?
Я ухожу обратно.

Время бежит шибко.
Ты сохрани шапку,
Что я подарил, — шутка,
Конечно, была... Жутко
Мне без тебя — много
Вместе прошли. С Богом!

Давай поцелуемся трижды,
Слезой проблеснет надежда.
Сворачивает дорога.
Ты только держись, ради Бога!
Ну, вот и простились, брат мой.

Следующий — юбилейный — день был предельно скромным. Вчетвером мы пообедали в эдаком домашнем ресторанчике, который имел соответствующее название — кажется, «У тетушки Марии». Вечером Жужа и ее сыновья очень трогательно, с зажиганием свечей, с пением поздравительных гимнов вручили Симону подарок — отличный компьютер для его работы. Было славно. Потом мы прошлись с юбиляром под моросящим дождиком, и... и наутро я улетел в Москву.

Такие ли бывают юбилеи? Боже ж ты мой! Юбиляр же должен сидеть в широком кресле на сцене. Должны выходить люди с папками. Должны вызывать дружный смех испытанные остряки. Должна быть телеграмма от ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО официального лица. И, естественно, должен быть банкет с тостами на nn-ое количество персон. Это же всем известно!

У Симона таких юбилеев не бывало. Бывало другое — женевские встречи с коллегами и учениками. Туда присылались пародийные и лирические тексты, там подымались бокалы и пелись песни. Это было. Но это... как-то... это НЕ НА СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ.

Вот оно! Симон к 70-ти годам мог точно выяснить, что он прожил жизнь НЕ НА СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ. Я раздумываю теперь (и тогда раздумывал!)

— а знал ли он, где она, столбовая? Если знал, то хотел ли взойти на нее и уж потом не уступать своего места? Нет! Решительно, нет! Парадокс Маркиша был в том, что есть МНОЖЕСТВО столбовых дорог. Его личный путь не раз пересекал эти дороги, но они — столбовые — всегда представлялись ему суетой сует или пустотой пустот. Он не только с друзьями, но, кажется, и сам с собой никогда не обсуждал вопрос смены своего пути ради столбов успеха. Его дорога была только его собственной дорогой, и вел его загадочный и великий эразмов девиз: НИКОМУ НЕ УСТУПЛЮ!

* * *

В апреле 2002 года события в Израиле были жаркие и кровавые. А погода была умеренная. Море было теплое, но постоянный ветерок смягчал горячие солнечные лучи. Была война. И грозно расцветал ужасный цветок терроризма.

Туристов было мало, отели на средиземноморском берегу пустовали.

Мы с Теняковой гастролировали по стране со спектаклем «Стулья» Э. Ионеско. Жили в Тель-Авиве в Сити-отеле. Прибыл Симон и поселился, естественно, в доме, где живет его мама — Эстер Ефимовна и брат Давид с семьей. Эстер за два месяца до этого отметила свое ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ. Она по-прежнему очень красива и выглядит роскошной гордой дамой. Их дом в одном из городов-спутников Тель-Авива от нас довольно далеко. Несмотря на это, встречались с Симоном почти ежедневно. Вместе шли на пляж — пять минут пешком от нашего отеля. Мы купались, а Симон был верен себе: «Идите, идите, я подожду, посмотрю пока одну статью». За пятьдесят лет ни разу не помню Симона, купающегося в море или в речке. Обедали в пустующих ресторанчиках.

На наш спектакль в Тель-Авиве Симон приехал... с мамой.

Я обомлел, когда увидел Эстер, спускающуюся по длинной лестнице ко мне в гримерную. «А что вы так удивляетесь? — сказала она. — Вы что, думаете, я уже по лестнице не могу сойти!»

Это было время, когда она публиковала в одном еженедельнике главы из новой книги своих воспоминаний — об отъезде из Москвы, о жизни «отказников», о мыслях и чувствах тех лет. Эти страницы будили память, обжигали. Мы говорили об этом с Симой, но он, как всегда, был сдержан в проявлении чувств и на эту тему больше слушал, чем говорил.

Гиватайм Театрон — очень симпатичное, совсем новое театральной помещение. Игралось хорошо, и к тому же это был прощальный спектакль. По окончании на улице внутри дугообразной колоннады был накрыт стол. Вокруг него — все участники спектакля, актеры и техники...

Во главе стола — Эстер. Она и водочки с нами выпила, а мы содвинули бокалы в честь ее юбилея. Было хорошо. Воздух теплый. Освещенная колоннада среди ночной площади, тосты, разговоры. Апрель 2002! Израиль. Немного походило на мизансцену из «Пира во время чумы».

Симон качал головой: «Боюсь подумать, что с ней будет завтра».

Завтра Эстер оказалась... в больнице. Но всего на два дня! Обошлось, и мы снова переговаривались по телефону.

А с Симоном провели вдвоем одно длинное утро. Подвели кое-какие неутешительные возрастные итоги. И снова разъехались. На год.

* * *

А через год по весне снова выкинулась козырная масть — концерты в Европе. В Брюссель я был зван выступить в клубе местной элиты, на вечере, который устраивал Российский посол.

И концерт этот точнехонько 6 марта — в день рождения Симона.

В туманное и промозглое утро пятого марта, около шести часов мы с Марком Неймарком — Советником по культуре — встречали на Южном вокзале поезд из Швейцарии. Поезд пришел почти пустой, и уже издали стало видно на перроне пассажира с легкой сумкой и складным зонтиком. Еще несколько тысяч километров накатали мы с Симоном к месту этой, последней нашей с ним встречи.

Поселили нас в гостевых комнатах Российского Культурного центра. Шла масленица. Мой старинный приятель и гостеприимный наш хозяин Марк и его очаровательная жена Марина устроили блины. В честь встречи, в честь Симонова дня рождения и, конечно, в честь самой масленицы, дни которой обязаны быть жирно-радостными.

Потом мы с Симоном тронулись на прогулку. Дошли от нашей улицы Мередиен до пляс-Рожье. Десять лет назад здесь стоял огромный уродливый домище. Помимо многого другого в нем помещался театр, и я играл в этом театре с бельгийской труппой пьесу Кромелинка. И тогда Симон тоже приезжал поглядеть спектакль и повидаться.

Теперь громадный дом снесли. Но площадь не выиграла от этого. Начали стройку чего-то еще более грандиозного. Вообще, Брюссель на этот раз показался каким-то тревожным, усталым и запыленным. По центральным улицам шла многотысячная демонстрация протестующих докеров. Во многих местах заторы транспорта. Война с Ираком становилась реальностью. Вступление войск ожидалось с недели на неделю. Не имею никаких доказательств, но странным образом ощущалось напряжение в этой европейской столице, где четверть населения — мусульмане. Мы шли по кварталам, где были сплошь турецкие вывески, женщины в национальных одеждах, турецкая речь в группках остро жестикулирующей молодежи.

В этом сложном и таинственном городе гнездились руководящие органы мощнейших организаций Евросоюза, НАТО. Здесь, особенно накануне нависшей уже войны, скрещивались многие мировые интересы. Именно поэтому завтрашний «Русский вечер», который устраивал в престижном Галльском клубе наш посол, был делом и деликатным и ответственным. Ожидались влиятельные люди, близкие ко Двору и к правительству. Послу предстояла большая речь в банкетном зале перед высоким собранием, а потом ответы на любые вопросы. Все по-французски. Перед этим я должен был дать для этой же аудитории в концертном зале программу русской и французской поэзии (тоже по-французски) минут на сорок. Далее двадцать минут играет пианистка. И потом публика переходит в огромный банкетный зал, где, кроме речей, блюда русской кухни, отличная водка и лотерея с призами в виде путешествия в Москву и в Питер. Надо было скорректировать наши действия, настроить себя, проверить свой французский.

Мысли мои все более были заняты ответственностью завтрашнего вечера. Я осторожно подводил Симона к пониманию тех обстоятельств, в которых я

оказался. Сегодня вечером посол зовет к себе в резиденцию. Познакомиться, поужинать и договориться, как это все завтра будет.

Почему я так подробно вспоминаю набор совершенно внешних событий, не касающихся личности моего друга? Да именно потому, что моя профессиональная жизнь актера и, в какой-то степени, общественного деятеля, — только она давала возможность наших встреч с Симоном в разных странах. Но она же становилась некоторым барьером в нашем общении. И тогда в Брюсселе, в марте 2003, все это как-то особенно туго сплелось.

Конечно, мы говорили и о политике — вся нынешняя жизнь невольно политизирована. Но Симон к этому времени был АБСОЛЮТНО ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ. Пуще глаза берег он свою независимость. Можно сказать, пожалуй, что его принципом стало НЕУЧАСТИЕ, а когда случалось некое сотрудничество, то это было исключением из правила. Что касается меня, то всю жизнь Симон оставался для меня примером. Могу признаться, что в серьезных решениях мной не раз руководила возможная его оценка такого решения. Я далеко не всегда был с ним согласен, но его взгляд — осуждающий или одобряющий — обязательно был в поле моего внимания.

И вот теперь предстояло объяснить Симону, почему он должен обязательно пойти сегодня со мной в посольство России, познакомиться с господином послом и отужинать у него. Потому что завтра, в день его рождения, я буду на сцене в Галльском элитном клубе, куда вхожи только члены клуба, а послезавтра мы опять разъедемся на год.

Вот так все было — вроде бы элегантно и даже местами шикарно, а на самом деле довольно жестко.

Мы оба родились в Советском Союзе. Наша родина — Россия. Но Симон покинул эту родину. Он оставил здесь множество друзей и близких по духу людей. Но он ни разу не захотел пересечь границу этой страны, где убили его отца, где зародилась, дала плоды и (по его мнению) пришла к вырождению столь любимая им русско-еврейская литература.

Маркиш был высоким знатоком христианства, относился к нему сторонне, но уважительно. Он не стал иудеем в религиозном смысле. У него это попросту не получилось. Он (мое мнение!) остался просвещенным, чающим Бога, но неверующим человеком эллинского толка. Древние греки и римляне — любовь его молодых лет — определили (мне кажется!) основание его духа. А уж если не они, то разве что Господь Бог, в которого он не верил.

Особое отношение было у него к выкрестам из евреев. Тут он был строг. Не в личном плане (доказательством тому его дружба и огромное уважение к о. Александру Меню), но в профессиональном — им было отказано называться русско-еврейскими литераторами. Вы, дескать, ушли в русские, значит, вы русские, у вас своя тропа, у нас своя — и точка.

И вот в вечерний час 5 марта — (столь важная дата нашей истории, особенно для всех репрессированных — день смерти Сталина) мы в удобной машине советника пересекли границу России — мы въехали на территорию Российского посольства в Брюсселе.

Мне везло с этим прекрасным особняком. В разные времена я бывал гостем двух прежних российских послов. С Н. Н. Афанасьевским, а потом с В. И Чурки-

ным мы проводили здесь хорошие вечера. Я надеялся, что и в этот раз будет не хуже. Надежды оправдались. Сергей Иванович Кислюк и его супруга принимали нас в узком кругу за прекрасным ужином. Кроме нас с Симоном был Марк Неймарк с женой и куратор-посланник Сергей Николаевич. Мы довольно быстро обсудили завтрашний вечер, а потом был свободный разговор. И разговор был действительно свободный и интересный. Мне кажется, Симону действительно понравился этот вечер и это знакомство. И хотя мы были в кругу новых людей, получилось настоящее общение.

Так в последнее наше свидание мы пару часов вместе побывали на российской земле. Я завлек его сюда, и не пожалел об этом.

Ночь была для меня тревожной — я репетировал. Днем немного гуляли с Симкой. Вечер был трудовой, официальный, успешный и длинный. Я вернулся только около полуночи. Симон, вроде, уснул. Я постучал в дверь его комнаты. Зажегся свет, и он сразу откликнулся. Посидели, поболтали. Я говорю: «Ну, что ж мы так всухую в день рождения? Пойдем куда-нибудь! Выпьем чего-нибудь!» — «Неохота, Сергуня. Поздно уже. Какое питье!» Да-а, я и сам чувствовал — переменились мы. Возраст хватает за горло. Ухо к подушке тянется с усталости.

А утром было опровержение. Мы провожали Симона — Марк и я. На вокзал приехали загодя. Пришли в бар и сели у стойки на высоких стульях. Разбитная пьяноватая фламандка спросила, чего желают господа?

Господа пожелали виски, потом еще виски и опять виски. Утром. И было хорошо. Мы даже попросили ее нас сфотографировать. Радость встречи у нас была всегда, а вот веселье давненько не получалось. На этот раз было радостно и весело. Поезд ушел.

Это была последняя наша встреча.

* * *

«И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках...»

Пушкин «Евгений Онегин»

Да, так получается — пятьдесят лет дружбы в описании выглядят нескончаемой чередой застолий и прогулок. Были еще СЛОВА. Они-то и были самым главным. Но как их перескажешь? Они больше в душе. Вот и остаются прогулки да застолья.

По телефону мы, конечно, говорили регулярно в этом ушедшем 2003 году. Искали следующее место встречи и следующую возможность. Симон предложил на этот раз съехаться недели на две, по возможности, без всяких посторонних забот. Отметить круглую цифру. Последний разговор был в самом конце ноября. Встречу твердо назначили на август.

Саша Филиппов, наш общий друг, был по ученым делам в Церне возле Женевы. Они с Симоном повидались и назначили новое свидание на пятницу 5 декабря. Саша позвонил, телефон молчал. Саша стал звонить в Будапешт, в

Тель-Авив, в Москву. Никто не знал, где Симон и что с ним. Через общих знакомых нашел он Корин — ученицу его и сотрудницу. У нее был второй ключ от квартиры Симона.

Он полулежал на кровати. Работал телевизор. На лицо упала раскрытая книга. Видимо, смерть была мгновенна.

А вот еще, чего не забыть никак. 13 января 1995 года. Старый Новый год. Женева. Улица Бови Лисбер, 3. На квартире у Симона собрались праздновать часов в 11. Пришел Иосиф Бродский. Был Жан-Филипп Жаккар, кто-то из учениц Симона и я. Бродский приехал после лекции. Я после концерта, где среди классиков читал стихи Иосифа. Водки было много. Закуски были хороши. Разговоры веселые. Чуток времени отдали и серьезному. Бродский читал свои переводы из древних авторов, которые он делал для театра. Собственно, это были скорее стилизации или даже просто собственные сочинения, навеянные духом и формой древних. Однако Бродский терпеть не мог выглядеть хоть в чем-нибудь дилетантом. Он опасался любого просчета, исторической неточности, несоблюдения канона. И тут Симон Маркиш был для него верховным арбитром. Было видно, как важно для него мнение Симона.

Прекрасная была ночь.

В 8 утра мы с Симой зашли в отель, где остановился Бродский — попрощаться. Он улетал домой, в Нью-Йорк. Бессонная ночь сказалась. Лицо серое, круги под глазами. Он пил крепчайший кофе и беспрерывно курил.

Обратно шли пешком. По мосту через Рону, вдоль берега Лемана. Говорили об Иосифе. О том, что надо бы ему себя беречь.

Это было ровно девять лет назад.

Сегодня, когда я заканчиваю эти записи, 13 января 2004 года.

В наступившем году Симона нет уже на этой земле. Сегодня 40 дней со дня его смерти. Душа его отлетает.

Прощай, мой дорогой друг!

Пусть земля тебе будет пухом.

ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА

Осенью 2003 года редакция «Континента» совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН в лице члена-корреспондента РАН, заведующего отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН ***Сергея Арутюнова*** *и при содействии Американского университета в Москве и редакции газеты «Континент-USA» провела Круглый стол на тему* ***«Ислам и христианство: проблемы диалога»****. В беседе приняли участие:*

кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Межрелигиозного Совета России, сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата ***Роман Силантьев****;*

доктор исторических наук, профессор и директор Центра «Церковь и международные отношения» МГИМО, заведующий кафедрой истории религий Российского православного университета, член редколлегии журнала «Континент» ***Андрей Зубов****;*

заведующий кафедрой истории религий Библейско-богословского института, ведущий научный сотрудник Института восточных культур РГГУ ***Алексей Журавский****;*

кандидат исторических наук, заместитель заведующего отделом международных связей Государственного учреждения «Московский дом национальностей», в недавнем прошлом — ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН ***Жанна Лакашева****;*

кандидат исторических наук, докторант отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН ***Абдулгамид Булатов***

и заведующий отделом религии, член редколлегии журнала «Континент» ***Александр Кырлежев****, который вел Круглый стол.*

Участникам круглого стола было предложено высказаться по трем основным проблемам:

1) христианство и ислам — проблема межрелигиозного диалога;

2) межцивилизационный конфликт; действительно ли такой конфликт существует и если да, то в какой мере и христианство и ислам в нем задействованы и какие шаги можно наметить для разрешения этой ситуации;

3) политический экстремизм, получающий сегодня религиозную окраску и религиозное оправдание; какова его природа в действительности и насколько диалог между христианством и исламом может помочь его преодолению.

С. Арутюнов (*Институт этнологии и антропологии РАН*). Христианство, так же как и ислам, неоднородно. И в России, пожалуй, ислам разнороднее, чем христианство. В России православие является, безусловно, доминирующим — настолько, что католичество и протестантизм на его фоне мало заметны. Почти нет региона, где эти деноминации играли бы такую же решающую или особо важную общественную роль. Существуют также старообрядческая церковь, катакомбная церковь, но опять-таки, когда речь идет о христианско-исламском диалоге, они особой роли не играют. Так что на 95 и более процентов

речь идет о взаимоотношении с различными исламскими структурами Русской Православной Церкви.

РПЦ — это четко организованная иерархическая структура, в ней своя дисциплина, своя организация, внутренние правила — все то, что присуще высоко организованной церкви. Как известно, в исламе нет церкви как таковой. Если нечто похожее на церковную организацию имеется в шиизме и исмаилизме, то в суннизме этого решительно нет[1]. Священники не рукополагаются, нет официально организованной иерархии, муфтии являются признанными авторитетами, но не выполняют функций, сопоставимых, скажем, с функциями епископов, во всяком случае, с официальной точки зрения (иногда они могут исполнять похожие функции — но это факультативно). Хотя ислам в России — это преимущественно суннитский ислам, но есть несколько разных мазхабов, т.е. изводов или толков в том, что касается шариата[2] и иджтихада (толкования). Так или иначе, но легально существующие, оформленные организации мусульман в России — это сунниты ханафитского либо шафиитского мазхабов[3]. Однако между локальными группами существуют достаточно большие различия. Можно выделить три такие группы: ислам поволжский, преимущественно татарско-башкирский; ислам кавказский, который сам по себе разделяется на два крыла: шафиитское крыло представлено тарикатским[4] исламом Дагестана и Чечни, а ханафитское крыло, более космополитически, светски ориентированное, объемлет ногайцев и Западный Кавказ (кабардинцев, черкесов, адыгейцев, балкарцев, карачаевцев). И, конечно, нужно помнить о ростках ваххабитского[5] влияния, наиболее сильных в восточной части Кавказа, но так или иначе, пусть подпольно или подспудно, присутствующих везде.

Итак, с одной стороны, мы имеем иерархически организованную и мощную структуру РПЦ, а с другой — довольно большое количество мусульманских массивов, по преимуществу суннитских. Не следует забывать также, что в России сейчас проживает очень много выходцев из Азербайджана, которые в большинстве своем являются шиитами, но они расселены дисперсно, религиозно не организованы и не окормлены шиитским духовенством на территории России. Вот то, что надо иметь в виду, когда мы подходим к вопросу исламо-христианского диалога.

---

[1] Суннизм, шиизм, исмаилитизм — основные «конфессиональные» направления в исламе. — *Ред.*

[2] Шариат — свод мусульманских законов, комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, социально-религиозной жизни и поступков мусульманина. — *Ред.*

[3] Мазхаб (араб. *путь, образ действий*) — богословско-правовая школа в исламе; основными легитимными мазхабами являются ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский. — *Ред.*

[4] Тарика (в значении *дорога, путь*) — метод мистического познания истины в исламе; в более узком значении тарикат — мусульманское «братство», организованное по принципу наставник — ученик, или святой — послушник. — *Ред.*

[5] Ваххабиты — изначально сторонники религиозно-политического движения, возникшего в XVIII в. в Аравии и связанного с именем идеолога очищения ислама и его возврата к изначальным установлениям. — *Ред.*

Ну, а дальше я бы просто задал вопрос: существует ли такой диалог или его пока нет, но он желателен? Или, может быть, он на самом деле никому и не нужен? То есть православная община и мусульманская община России могут существовать, не соприкасаясь особо друг с другом, и это не будет мешать их гражданскому взаимодействию, их соприкосновению в светской жизни, их сотрудничеству деловому, политическому, культурному, то есть сотрудничеству в тех вопросах, которые, собственно говоря, непосредственно с религиозной жизнью не связаны? О том же я хотел бы спросить и всех присутствующих. Я же со своей стороны, ответил бы, что диалог этот существует, и, в общем, он достаточно дружелюбен. Насколько я понимаю, со стороны Православной Церкви нет претензий к исламу, хотя, скажем, имеются очень жестко обозначаемые претензии к католичеству и к разным направлениям протестантизма. Я уже не говорю о той борьбе, которую РПЦ ведет со всякими новшествами на религиозном поле России: начиная с изуверских сект типа какого-нибудь Белого Братства и кончая такими вроде бы безобидными, но экзотическими явлениями, как бахаиты или кришнаиты. Ислам такой борьбы сам по себе не ведет. Но что можно заметить, так это не сводящееся к суфизму[6] (более того, суфизму противостоящее) стремление к повышению фундаментальности ислама, не декларируемые публично, но не скрываемые в частных беседах признания в том, что финальной целью все-таки остается построение шариатского государства. А главным образом озвучиваются разного рода претензии в связи с тем, что православию придаются в какой-то степени функции государственной религии или что, во всяком случае, принцип отделения религии от государства не последовательно соблюдается в отношении Православной Церкви. Скажем, Рождество в официальный календарь введено, а мусульманские праздники нет и им мало внимания уделяется в СМИ. И если, скажем, в Дагестане ислам сильно вовлечен в общественную жизнь и действует очень явно, то в Кабардино-Балкарии наблюдаются попытки притеснения ислама — особенно в последнее время. Имеют место преследования людей, слишком явно выражающих свою приверженность исламу, существуют ограничения на молитвенные собрания (скажем, только пятничные молитвы, а в остальное время посещение мечети не поощряется). Вызывают недовольство и телерепортажи, в которых с возмущением говорится, например, о мусульманской лавке в Адыгее, тогда как изобилие православных церковных лавок по всей России ни у кого возражений не вызывает. Есть и целый ряд других вещей, которые свидетельствуют о том, что по сравнению с православием ислам де-факто все же находится во многих районах России в неравноправном положении.

Р. Силантьев (*Московская Патриархия*). Постараюсь рассказать о современном состоянии межрелигиозного сотрудничества в России с точки зрения Русской Православной Церкви. Такой диалог — явление очень желательное, но необязательное. Необходимо также сразу отметить, что межрелигиозный диалог в принципе не касается богословских вопросов. В положении о Межре-

[6] Суфизм — мистико-аскетическое направление в исламе, в центре которого — отношение человека в Богу и путь опытного богопознания. — *Ред.*

лигиозном Совете России (МСР) прописано, что не может быть никакой ревизии исторических фактов или пересмотра вероучительных положений. Православные и мусульмане принимают друг друга такими, какие они есть. Вопросы обсуждаются сугубо практические. Вырабатывается совместная позиция по гуманитарным, социальным и законодательным аспектам. У нас есть общие враги — те же новые религиозные движения или воинствующие атеисты.

Межрелигиозное сотрудничество в России происходит на разных уровнях и может инициироваться как сверху, так и снизу. Есть немало примеров соработничества имамов и православных священнослужителей, это особенно заметно в Пермской области, где они помогают друг другу — в частности, совместно борются с наркоманией. Совместная позиция православных христиан, мусульман, иудеев и буддистов позволяет решать те проблемы, которые Русская Православная Церковь самостоятельно разрешить не может. Это касается и частных вопросов — таких, скажем, как снижение тарифов на тепло и электроэнергию для храмов, мечетей и синагог, и вопросов существенных — например, преподавания в школах религиозно ориентированных предметов. Когда РПЦ старалась этого добиться в одиночку, в некоторых кругах сразу началась реакция отторжения, церковь даже обвиняли в попытках навязать православие иноверцам. После переговоров в рамках Межрелигиозного Совета была найдена наиболее приемлемая формула: основы православной культуры, или основы исламской культуры, или же (по желанию преподавателей и учеников) — общий курс о четырех традиционных религиях. И все ведущие мусульманские лидеры поставили свои подписи под соответствующим обращением.

В России уровень межрелигиозного сотрудничества выше, чем в любой из стран мира. Из стран СНГ такого же уровня достиг только Азербайджан. В странах дальнего зарубежья аналогов нет, там межрелигиозный диалог направлен на некий компромисс, на устранение некоторых религиозных различий между исламом и христианством (или между христианством и иудаизмом), исключение каких-то вероучительных положений и часто сводится просто к совместной молитве. У нас никаких совместных молитв не практикуется и практиковаться не будет, пока существует МСР.

Несколько слов о том, как РПЦ оценивает исламское сообщество. Действительно, ислам в России гораздо более неоднороден, чем православное христианство. Да и в мировом масштабе он гораздо более разнороден. Направлений как таковых в исламе, конечно, меньше, чем в христианстве в целом, но особенность исламского вероучения подразумевает, что у каждого исламского авторитета может быть свое понимание ислама — как теологическое, так и политическое. Сейчас в России насчитывается свыше шестидесяти муфтиев, каждый из которых может иметь свою точку зрения на любую злободневную проблему. Мы не можем говорить об исламской точке зрения в целом — скажем, поддерживает ислам терроризм или отрицает его. Мы можем говорить только об исламе в понимании конкретных людей. Вот ислам муфтия Талгата Таджуддина или муфтия Равиля Гайнутдина действительно отвергает терроризм, и они действительно выступают за сотрудничество с христианством. А, скажем, ислам в понимании Шамиля Басаева или ислам Усамы бен Ладена — это прямо противоположный ислам, хотя и его ценности разделяют миллионы людей.

Мы не строим иллюзий насчет того, что есть общеисламская позиция по всем вопросам. Можно привести массу примеров — в частности, отношение к иракской войне. Половина наших муфтиев поддержала объявленный Талгатом Таджуддином джихад Америке, а другая половина категорически его отвергла. Тут мнения разделились пополам. То же самое можно сказать о ситуации в Югославии, о принятии закона о свободе совести; то есть практически по любому вопросу люди, относящиеся к одному ханафитскому мазхабу, высказывали диаметрально противоположные точки зрения. Мы это учитываем и ведем переговоры с конкретными людьми. Вряд ли сейчас один исламский лидер может представлять все исламское сообщество России. Известно, что в России есть три основных исламских центра, несколько крупных независимых. С каждым из этих центров мы стараемся вести переговоры — за исключением самых маргинальных, которые никем не признаются.

Далее хотелось бы затронуть проблему ваххабизма. В нашем понимании современный российский ваххабизм — это не некая группа радикальных ханбалитов (см. выше — *сноска о мазхабах. — Ред.*), а совокупность прикрывающихся исламом экстремистских течений, откровенно враждебных православным христианам. Десятки тысяч наших верующих и трое священников погибли от рук этих людей, которые уже давно перестали быть чисто мусульманской проблемой. Мы оставляем за собой право рассматривать ваххабизм, равно как и любое другое враждебное христианству направление ислама, как агрессивную тоталитарную секту, подлежащую скорейшему уничтожению.

Так что в принципе перспективы диалога у нас сохраняются. Дело в том, что в России не меняются пропорции: православных христиан ровно в десять раз больше, чем мусульман, и это соотношение не изменяются. И тенденции к его изменению нет. Мы проводили соответствующие исследования и обнаружили, что нет никаких оснований полагать, что России, как некоторые сейчас говорят, предстоит исламизация и через тридцать лет мусульмане будут составлять половину населения. Этого не будет ни через тридцать, ни через сто лет. Нам с мусульманами, в общем-то, делить нечего, равно как с иудеями и с буддистами. У нас отсутствуют какие-либо взаимные прозелитические претензии. Во всяком случае, ни РПЦ не ведет миссионерской работы среди мусульман, ни традиционные мусульманские центры этим не занимаются.

А. Зубов (*МГИМО, «Континент»*). Для обсуждения были предложены три вопроса, и я попытаюсь ответить на каждый из них, не вдаваясь в те аспекты, которые уже были здесь освещены. Во-первых, диалог сам по себе. Для современной общественной мысли характерно предположение, что диалог в любом случае улучшает социальный климат. Однако политологическая наука в лице серьезных своих представителей — в первую очередь голландского ученого Аренда Липхарда, который изучал отношения в многосоставных, сложных обществах — говорит о другом: о том, что диалог должен вестись на уровне образованных элит и не должен вестись на уровне народной массы, которая всегда надстроена более радикально. Идеальна ситуация, когда элиты сотрудничают, а простые люди живут раздельно, просто уважая в другом другого и не более того — и не пытаясь выяснить, почему другой это другой, что, как правило,

приводит к плохим результатам. Поэтому в такой стране, как Россия, диалог, безусловно, нужен. Причем диалог не только о таких внешних вещах, как проблемы общественной жизни, экономические реалии и даже проблемы общего врага. Общий враг — довольно неприятная вещь, поскольку поиск общего врага приводит к тому, что сначала создается один блок, потом другой блок, и тот, кто вчера был другом, завтра становится врагом. Так что негативные союзы не приводят к большому положительному эффекту.

Следует заметить, что не только ислам плюрален; не надо забывать, что православие в России тоже плюрально, что православие — это отнюдь не католицизм, где декларация папы *ex cathedra* является обязательной для всего католического мира. Святейший патриарх не является абсолютным религиозным авторитетом для православных — он является администратором церкви, и право на теологумен, на независимое богословское мнение никогда не отрицалось в православии ни у нас, ни в Греции, ни где-либо еще. В этом отношении православный мир тоже плюрален, и, скажем, позиции по многим вопросам — по тому же Ираку, по Югославии, по Собору 1917-1918 годов — могут на 180 градусов различаться и среди духовенства, и среди епископата, и среди мирян Русской Православной Церкви.

Что же касается диалога, то его, безусловно, надо вести на уровне элит, в том числе диалог богословский. Мы в МГИМО, где учатся, естественно, и мусульмане, и православные, проводим подобные эксперименты, например, недавно у нас был студенческий семинар «Церковь и умма — две формы религиозной общности». Содоклады делают благочестивый интеллигентный студент мусульманин и столь же благочестивый, столь же интеллигентный православный студент. Предполагает ли это, что кто-то кого-то обратит? Ни в коей мере. Предполагает ли это, что мое — хорошее, а другое — плохое? Нет, это не разрешено. Разрешено другое: показать, что́ есть церковь и что́ есть умма, и чтобы о том, что есть умма, говорил не православный, а сам мусульманин. Таким образом, каждый понимает пределы своей богословской системы, свои цели, свою аксиологию, и это позволяет уважать в другом другого, понимать другого, не переубеждая его. Жизнь сама расставит акценты и определит, кто захочет перейти из ислама в христианство, кто захочет из христианства перейти в ислам. Как известно, такое случается. Но задача не в этом, а в том, чтобы узнать о другой религии из первых уст, от носителя традиции, находящегося на том же культурном уровне и в той же социальной страте, что и ты сам. Я думаю, такого типа диалоги — в высших учебных заведениях, в каких-то культурных центрах — нужны для нашего будущего, для наших детей, которые, надеюсь, вырастут в более терпимой среде, чем росли мы в условиях тоталитарного государства с нетерпимым отношением человека к человеку.

Теперь о конфликте цивилизаций. Эта тема здесь еще не поднималась, но это действительно очень важная тема. Как XIX век исходил из принципа, что нации неизбежно находятся в конфликте, как в начале XX века исходили из того, что люди находятся в конфликте и живут по закону джунглей, точно так же сейчас, с легкой руки Хантингтона, говорят о том, что в конфликте находятся цивилизации и что это неизбежно. Думаю, что это не так. И нации, и люди, и цивилизации могут находиться в конфликте, а могут не находится в

конфликте. С точки зрения христианина, потенции конфликта связаны с самой падшестью человека, но и исламом признается несовершенство человека, иначе не было бы потребности в исламе — покорности Богу. Итак, возможность конфликта есть. Но обязательности конфликта в христианской и исламской цивилизациях нет. Но есть другое.

Есть исламская цивилизация, потому что в странах, традиционно исповедующих ислам, большинство людей его действительно исповедуют и исповедуют горячо. Исламской цивилизации противостоит христианская цивилизация. Но проблема в том, что эта цивилизация, в которой так же горячо исповедовали христианство, к сожалению, исчезла — по крайней мере, с эпохой Просвещения, если не раньше, то есть в XVII-XVIII вв. Из Французской революции европейское общество выходит клерикальным, но отнюдь не религиозным. Так что современному исламскому миру противостоит, в общем-то, антирелигиозное западное общество, в которое включается и Россия. Общество, где люди формально могут себя называть христианами, но не ведут себя как христиане. Конечно, для нормального не только мусульманина, но и христианина любой конфессии, жившего 100-150 лет назад, проблемы, которые сейчас обсуждаются на Западе, показались бы абсолютно дикими, невозможными. В диалогах Жозефа де Местра, в его знаменитых «Санкт-Петербургских вечерах», говориться, что дикари дошли до того, что у них нет слова для обозначения небесного Бога-Творца, но зато есть слово для обозначения аборта. Для европейца начала XIX века такое казалось совершенно диким — убийство ребенка во чреве в тогдашнем европейском обществе было столь же аномальным явлением, как и убийство взрослого человека на улице. Сейчас, как вы понимаете, это тривиальная проблема. Естественно, мир ислама не может этого и подобного пережить. То же самое относительно, скажем, однополых браков или распада семьи, который в так называемых христианских странах стал чуть ли не нормой. Так вот, я думаю, здесь речь идет не о конфликте цивилизаций, а о конфликте действительно религиозной культуры, не обязательно исламской, и культуры пострелигиозной, которая несет на себе очевидные следы вырождения, распада и тления. И религиозные люди пугаются этого и ненавидят эту культуру, которая может заразить религиозную культуру. А в силу несовершенства своей природы человек в том, чего боится, и в том, что ему ненавистно, видит врага и пытается с ним бороться.

К этому, к сожалению, присовокупляется другой момент — зависть, потому что мусульмане в основном живут в странах небогатых. Другое дело, что лидеры радикальных движений часто происходят из очень богатых семей, но не это важно. Лидеры большевиков тоже происходили из вполне благополучных семей, но они бы никогда не пришли к власти, если бы не нашли поддержки в нищем и униженном русском народе. И мусульмане в основном происходят из неблагополучных регионов мира с дурным управлением и с коррупцией. Живут люди бедно и естественно ненавидят богатых, потому что завидуют им. То же и мусульмане, приехавшие на Запад, которым, как людям иной культуры, в основном не удается встроиться в высшие страты общества (те, кому удалось, большей частью помалкивают). Они там тоже недовольны, тоже мечтают о некоем реванше, и здесь религия очень часто является просто идентификатом.

Так что, я думаю, имеет место не конфликт цивилизаций, а конфликт разных уровней — не типов, а уровней — религиозного напряжения и разных уровней экономических. Это сочетание вызывает взрывоопасный синдром. Ведь действительно, что греха таить, по международным опросам где-то от 3/4 до 4/5 мусульман в разных странах мира поддержали террористические акты 11 сентября 2001 года (в том числе в США больше 60%). Так мы переходим к третьей теме — проблеме экстремизма.

К сожалению, в исламе действительно присутствуют некоторые потенции для экстремизма (к сожалению — с нашей точки зрения, но это объективная реальность). Мне уже приходилось говорить на одной конференции, что сунна (поведение, образ жизни) пророка Мухаммада и сунна Христа принципиально различны. Сунна Христа — это страдать самому и проливать свою кровь для спасения людей. Сунна Мухаммада, как известно, — проливать чужую кровь. Первая кровь, которая была пролита в проповеди веры ислама, это была кровь врага Мухаммада, которого ослиной челюстью ударил Али во время молитвы Мухаммада в Мекке, еще до бегства в Медину. Сама деятельность Мухаммада, уже как вождя уммы[7], это деятельность завоевателя, деятельность правителя-военачальника, который покорял мечем не покорившиеся ему добровольно племена и города, где не хотели принимать ислам. Сама главная формулировка войны в исламе — джихада — предполагает, что для людей Книги, то есть иудеев и христиан, есть только два варианта: или перейти в ислам, что лучше всего, или платить джизью и быть на вторых ролях (о других просто не говориться; их выбор — или принять ислам, или погибнуть). Вспомните знаменитый аят (стих Корана): «Воюйте с теми, которые не веруют в Бога и в Последний День, не считают запрещённым того, что запретил Бог и Его Посланник; и с теми из получивших Писание, которые не принимают истинного Вероустава, дотоле, покуда они не будут давать выкуп за свою жизнь, обессиленные, уничиженные» (9, 29). Одно только невозможно — чтобы мусульмане подчинялись немусульманской власти сколь-либо долго. Это Коран считает неправильным, потому что шариат может работать только в той системе, где умма контролирует власть.

Все это делает возможными в Исламе апелляции к религиозной традиции при пропаганде нетерпимости. Для христианина борьба за христианское государство абсурдна (хотя в истории много раз такое бывало), потому что христианин изначально привык жить в нехристианском государстве, каким была, скажем, Римская империя до ее христианизации. Для мусульманина это не абсурдно; хотя проблема государства здесь не возникает, но на место государства становится умма. И это — питательная среда для экстремизма. Если учесть, что сейчас ислам находится на духовном подъеме после спячки XIX — первой половины XX века и после увлечения такими вещами, такими уклонениями, как национализм и социализм в середине и во второй половине XX века, то мы можем понять, что и почему происходит: люди отдают свою жизнь за некую религиозную идею (как это сейчас имеет место по всему исламскому миру). Это говорит о том, что вера сильна. Вера настолько сильна, что европе-

[7] Умма — общемусульманская религиозная общность, всемирное сообщество мусульман. — *Ред.*

ец с холодной, почти умершей верой не может понять шахида. Он объясняет его действие самопожертвования чем угодно — экономическими интересами, чуть ли не сексуальными устремлениями, которые тот мечтает реализовать на том свете (как мне говорил один израильский коллега), но только не мощной и горячей верой. И в этой ситуации религиозно-ценностной отличности холодного нынешнего западного мира от мира горячего — исламского мы имеем дело с исламским экстремизмом. И никуда мы от него не денемся, сколько бы ни говорили политические и религиозные лидеры ислама о том, что это неправильно, нехорошо; сколько бы, тем более мы, немусульмане, ни говорили о том, что джихад — это совсем не обязательно война, что мир разделяется на дар аль-ислам и дар аль-харб (область покорности и область войны) совсем не обязательно политически, он может разделяться в твоем сердце, как у суфиев, и т.д. Никого мы этим не убедим. К сожалению, это реальность — реальность, если говорить в категориях Льва Гумилева, большей нынешней пассионарности, большей энергетической напряженности народов ислама. И положительным ответом на исламскую пассионарность в этом падшем мире может быть только одно — восстановление, возобновление, возгревание христианской веры, которое позволило бы противопоставить исламской религиозности высокую и глубокую христианскую религиозность в странах традиционно христианской культуры. Это, я думаю, успокоило бы ситуацию. В ином случае мы действительно будем иметь дело с постепенной исламизацией постхристианского мира, потому что свято место пусто не бывает.

А что касается цифр, то они действительно пока достаточно утешительны. Я сам проводил всероссийский опрос в 1997 году, и тогда результаты были такие: примерно 49% опрошенных назвали себя православными и 3,5% — мусульманами. В 2002 году опрос, проведенный фондом Фридриха Эберта с другой целью, но с религиозными матрицами, дал абсолютно те же цифры. Так что в России пока ситуация стабильная. Другое дело — уровень активности тех людей, которые называют себя сейчас мусульманами или православными. Мы все прекрасно понимаем, что людей, которые регулярно ходят в церковь (скажем, раз в месяц и чаще), по опросам 11% среди православных, а людей, которые регулярно ходят в мечети, среди мусульман, видимо, больше; то есть уровень активности разный.

Так что проблема сложная, и призывы жить дружно — это смешные призывы в условиях, когда действительно какие-то мощнейшие внутренние энергии в одной части мира замирают по нашей же вине, по нашему же неправильному выбору, а в другой части мира, наоборот, с каждым часом усиливаются.

А. Журавский (*Институт восточных культур РГГУ*). Исламский экстремизм — это проблема, которая меня как исламоведа и религиоведа очень беспокоит. Мы сейчас очень сильно акцентируем эту проблему. Но всегда нужно делать социальную поправку. Давайте вспомним, каким было христианство в XVI веке, сколько кровушки пролилось... Действительно, мусульмане в современном мире находятся в очень серьезной ситуации. Христианство входило в Новое время мучительно, но органично. Ислам же мы отчасти заставляем входить в это Новое время насильно, и сопротивление в данном случае естествен-

но. Тем более что еще в доисламской Аравии была такая категория, как сабр, — сопротивляемость всему внешнему, тому, что навязывается. Это сопротивление вызывает агрессию, и это нужно учитывать, когда мы анализируем современный исламский экстремизм.

Второе соображение касается религиозного невежества, которое в равной мере свойственно и нашим православным, и бывшим советским (а теперь российским) мусульманам. Думаю, что если мы упустим поколение, которое было воспитано еще на советских ценностях, то следующее поколение можно воспитать, действительно, в экстремистских понятиях. Религиозное невежество, я бы сказал, носит двоякий характер: с одной стороны, оно страшно, но, с другой, еще есть воспитуемые, только нужно очень стараться. В России, как мне кажется, следует последовательно проводить принцип светского государства, ни в коей мере не настаивая на том, что мы в основном все-таки православное государство — а у нас есть такое искушение. По Конституции, мы светское государство, и надо всячески это подчеркивать, предоставляя верующим общаться между собой без какого-либо государственного вмешательства. Мы все равны перед законом.

Кто должен вести диалог — элита или масса? Здесь у меня главное возражение. Очень хорошо, когда кабинетные ученые собираются вместе и беседуют. Но я вспоминаю высказывание Луи Гарде: «Диалог между двумя рабочими — мусульманином и христианином, которые на стройке пожимают друг другу руку, гораздо более реален, нежели диалог между кабинетными учеными».

Еще одна поправка. Дело в том, что в исламе помимо «территории войны» и «территории ислама» существует еще одно очень интересное понятие: дар аль-сульх — «территория перемирия». Это та территория, где находятся мусульмане, но где они еще не составляют большинства и где еще не установлены законы Корана. В качестве такой территории мусульмане рассматривают Европу, и там, по шариату, должны действовать законы большинства. Поэтому мусульманин, приезжая в какую-либо европейскую страну, уже отчасти отказывается от многих шариатских установлений и подчиняется закону, который действует в этой стране. Это своего рода уловка. Так, приезжая в европейскую страну, некоторые мусульмане играют в азартные игры, в рулетку и т.п., ведь там действует закон большинства.

И еще одно уточнение. В исламе очень долго не было понятия «религия» и понятия «культура» — был просто ислам. Оба эти понятия возникают только в XIX веке, уже под европейским влиянием, а до этого ислам являет некое единство, тотальность. Это тоже важно учитывать.

Что касается исламо-христианского диалога, то примеров и его тупиков, и прогресса можно привести много. Для меня межрелигиозный диалог на современном уровне означает только одно: мы должны узнавать и познавать другого, и если мы хотим познать другого, мы должны, прежде всего, лучше познать самих себя. Я думаю, что на данном этапе диалог заключается в таком взаимном просвещении.

Ж. Лакашева. (*Институт этнологии и антропологии РАН*). Я занимаюсь этнографией ислама, и мне как этнографу приходилось сталкиваться со мно-

гими проблемами, когда человек, живя среди так называемого большинства или меньшинства, проявляет себя не адекватно этому большинству или меньшинству. И, с одной стороны, мы сейчас рассматриваем глобальную проблему диалога ислама и христианства как религий, а с другой, мы все время сталкиваемся с проблемами непосредственного вооруженного столкновения носителей христианства и носителей ислама. Конечно, у нас светское государство и должна соблюдаться равноудаленность и высказываться в отношении ислама нужно очень осторожно. Ведь мы, и христиане, и мусульмане, живем на одной территории, и нам, вольно или невольно, в течение многих веков приходилось жить, уважая друг друга, или, во всяком случае, пытаясь найти какие-то точки соприкосновения, какую-то почву для позитивного диалога, чтобы не доводить отношения до состояния конфликта. Говоря об исламе, мы часто забываем, что ислам — это образ жизни. Действительно, как религия он стал пониматься только в XIX веке. Люди, рожденные в исламской культуре, в своем доме следуют тому же образу жизни, который был предписан за много веков до их появления. Это отношение между мужчинами и женщинами, это отношения между отцами и детьми, это отношение к пище и способ приема ее, это отношение даже к немусульманам — это все отношения, которые сегодня культивируются и мимо которых пройти невозможно. Другой разговор, что носители исламской культуры, оказываясь на территориях с другим большинством, пытаются навязать свою мусульманскую культуру либо, наоборот, от нее отказываются. Но, возвращаясь обратно к себе на родину или в те регионы, где их большинство, они снова следуют тем правилам мусульманской культуры, которые для них привычны, и отказываются от принципов западной культуры, которым следовали, пока были в меньшинстве.

Мы в нашей стране, признавая существование мусульманского образа жизни, к сожалению, не знаем и не хотим знать, что такое ислам и этот самый образ жизни. Мы считаем, что нас больше, что мы как бы православная страна, потому что 86% у нас православные. Хотя мы прекрасно понимаем, чего стоят эти цифры. Мы не учитываем, что ислам на территории нашей страны распространялся в различные исторические эпохи. Считается, что он появился с XII века, но в каких-то районах позже, в каких-то раньше; к тому же наш ислам многолик. И пытаясь установить добрые отношения с мусульманами, мы должны учитывать, что ислам в нашей стране имел различные особенности, которые были более или менее мирно инкорпорированы в исламскую религию и «работают» в настоящее время. Надо сказать, что у нас практически нет по настоящему научного исламоведения. В основном существуют вот эти экспертные советы, куда входят так называемые эксперты по исламу. Но должно быть исламоведение, которое изучает не только чисто богословское восприятие ислама, но и реальное состояние ислама, то, как он сочетается с местными традициями и с местными обычаями. А у нас сейчас в СМИ имеет место эдакое «терминотворчество»: какие только слова там не присутствуют — хотя бы те же «ваххабиты», и каждый понимает под этим термином все, что угодно. То же самое и с «исламской цивилизацией» — практически все выступающие сейчас вкладывают в это словосочетание свой смысл. Мы признаем исламскую культуру, исламскую политику, исламский образ жизни и т.д., но вопрос в том, что такое исламская

цивилизация и как она противодействует западному образу жизни. Можно, конечно, говорить о социальной неустроенности. Но когда говорят о том, что исламский мир завидует западному миру, забывают, что у этих миров совершенно разные ценности, разный менталитет и то, что ценно для западного мира, для восточного мусульманского мира абсолютно никакой ценности не представляет. Мусульмане принимают и машины, и телевизоры, и, так сказать, все блага цивилизации, то есть они пользуются этим, но это только внешняя сторона их быта. У них и у нас совершенно разные ценности, не сравнимые. Знаете, в Афганистане мне часто задавали очень показательный в этом отношении вопрос: «Как вы считаете, смог бы англичанин выжить в наших горах?».

Надо стремиться найти пути к диалогу, не идти на конфликт, а пытаться понять друг друга. А для этого, на мой взгляд, необходима корректная, непредвзятая пропаганда знаний об исламе. Потому что СМИ и те люди, которые не приемлют ислам как религию, уже много наговорили об исламе плохого: там проливают чужую кровь, а здесь — свою; там хотят создать исламское государство, а здесь никогда не говорят о создании христианского государства и т.д. А между тем и в Коране, и в хадисах можно найти доводы в подтверждение и такой точки зрения, и другой. А еще можно вспомнить Крестовые походы... Но мы же сегодня диалог ведем и не должны измерять, сколько и какой крови было пролито. Сегодня четверть населения земли следует исламу, и ислам — наиболее молодая религия, которая сейчас подпитывается, так сказать, энергией масс. И как бы мы ни боролись с экстремизмом и с терроризмом, все равно должны считаться с тем образом жизни, который ведут миллионы людей. А потому, хотим мы или не хотим, но надо вести именно непредвзятый диалог, который должен привести к взаимному пониманию, а не конфликтам.

А. Журавский. Я бы хотел развить тему ислама как образа жизни. Действительно, ислам — как некая тотальность — гораздо лучше выжил в советский период, чем православие, потому что он мог существовать не только на религиозном уровне, но и на уровне бытовом, то есть воспроизводя себя не просто как религию, но как набор жизненных установок. Я могу поделиться своими личными наблюдениями в парижском аэропорту: приезжают иранские девушки в хиджабах, заходят уже в аэропорту в туалет и выходят оттуда в джинсах, коротких кофточках и т.д. То есть на самом деле они очень мобильны, очень приспосабливаемы. И когда мы говорим, что ислам, особенно для женщин, это покорность, — да нет никакой покорности. Это очень гибкая, очень отзывчивая система, и женщина готова снять хиджаб при любой возможности и очень быстро.

Что касается сопротивляемости ислама западному образу жизни, — это очень актуальная проблема, и возникает она, я повторяюсь, в XIX веке. Дело в том, что на самом деле и Европа, и отчасти мы расхлебываем последствия колониализма (у нас был внутренний колониализм, а у Европы внешний). Мусульманский мир до сих пор на уровне, так сказать, генетической памяти не может простить нам это вмешательство в свой внутренний мир. И помимо этого действует традиционная ценность сопротивляемости внешнему влиянию. Поэтому идея Хантингтона о конфликте цивилизаций в некоторых мусульманских кругах встречает одобрение. Но любопытно, что когда я был в Иране, они ее

всячески пытались оспорить и доказывали, что ни в коем случае невозможен конфликт цивилизаций, что это американская идея и что мы должны стремиться к диалогу цивилизаций.

А. Булатов (*Институт этнологии и антропологии РАН*). Я родился и бóльшую часть жизни прожил в Дагестане. С некоторыми проблемами, которые здесь обсуждались, я сталкивался на практике. Естественно, Дагестан — это не весь мусульманский мир, и к тому же я бы не стал его однозначно относить к мусульманскому миру: там довольно неоднородный ислам, который вобрал в себя очень много из местных традиций. Я занимаюсь проблемами сакральных практик и могу сказать, что в дагестанский ислам вошло очень много из традиционных сакральных практик, которые не имеют к исламу никакого отношения. Эта характерно не только для Дагестана, но и для Средней Азии и других регионов.

Я согласен почти со всем, что здесь услышал. Но мне хотелось бы несколько переставить акценты, а некоторые моменты развить на основании конкретного материала, с которым я знаком.

Сначала о более общих вещах. Я думаю, что в многонациональной и многоконфессиональной стране обязательно должен быть диалог между представителями разных групп населения, и тут очень большая ответственность лежит на власть предержащих. Когда власть в лице ее носителя объявляет, что Россия будет ориентироваться в своей политике на ценности православия, то, при всем моем глубоком уважении к христианству и к православию, я думаю, что это, мягко говоря, сказано неосторожно. Потому что тут же возникают вопросы у представителей других конфессий. Я сталкивался с тем, что мусульмане в Дагестане — люди, изначально далекие от политики — в конце 90-х годов делали достаточно четко ориентированные политические заявления в том смысле, что если христиане могут выступать в качестве политической силы, почему не могут делать этого мусульмане? Если представители христианства играют важную роль во внутренней политике, почему не могут этого делать мусульмане? И это было достаточно тревожно, потому что ситуация тогда в Дагестане была довольно сложной.

Теперь об общем соотношении ислама и христианства, в том числе в историческом аспекте. Действительно, сунна Пророка Мухаммада и сунна Иисуса Христа отличаются, и отличия, прежде всего, в жизненном пути основателей этих религий. Но до того, как Пророк стал полководцем и стал вести войну, был период его пророческой мирной деятельности. Считается, что впервые откровения ему были даны в 610 году, хиджра[8] произошла в 622, то есть примерно 12 с небольшим лет он вел исключительном мирную деятельность. А когда выяснилось, что таким образом цели достигнуть не удается и начались конфликты, на смену слову пришел меч. Я вношу это уточнение для того, чтобы обратить внимание на многозначность, возможность поливариантных решений,

[8] Хиджра — переселение Мухаммада и его сторонников из Мекки в Медину, событие религиозной исламской истории, сыгравшее решающую роль в формировании и распространении ислама. — *Ред.*

исходя из самого коранического содержания. Ни один мусульманин никогда не признает, что Коран противоречив или что это не цельное учение. Но на самом деле при решениях в том числе и политических проблем различные алимы[9], опираясь на коранические высказывания, отстаивают самые разные точки зрения. Просто в разных ситуациях можно использовать разные подходы, и мусульманские теологи это с успехом делают.

Можно привести примитивный, приближенный к бытовым реалиям пример. Представим, что где-то на улице, скажем, на остановке хулиган пристает к женщине и при этом присутствуют три человека: буддист, христианин и мусульманин. Как они отреагируют, если исходить из первоначального содержания этих религий? Буддист, наверное, должен просто пропустить это мимо себя, потому что он решит: в этом мире все зло; я здесь это зло остановлю, а этот человек пойдет куда-нибудь за угол и там кого-нибудь покалечит; нет смысла вмешиваться. Христианин должен вмешаться и попытаться воззвать к добрым чувствам, к совести хулигана, но если тот применит по отношению к нему насилие, то он не должен отвечать на него насилием. Что должен сделать мусульманин? Он, естественно, тоже должен вмешаться и поначалу именно путем убеждений, тоже воззвать к совести или к сознанию этого человека, сказать: «Может, у тебя самого есть сестра, или жена, или дочь, что будет, если к ним тоже кто-нибудь будет так приставать?». Но если это не даст желаемого результата, более того, если он сам станет объектом агрессии, тогда он должен применить силу. Вот это и есть, при всей примитивности примера, практический образ действия мусульманина в разных жизненных ситуациях.

При том, что ислам воспринимается многими как очень воинственная религия, я знаю случаи, и их было немало, когда в связи с обострением межнациональных отношений — между чеченцами-акинцами, аварцами и лакцами, жившими и сейчас живущими в спорной зоне на территории Новолакского района, новообразованного в годы Великой Отечественной войны на бывших землях чеченцев-акинцев — именно местные алимы сами эти отношения урегулировали; власть ничего не смогла сделать, а им удалось развести враждующие стороны без кровопролития, без каких-то актов насилия. И хотя сейчас с исламом — с приверженцами определенного направления ислама — связано много террористических актов и в бытовой сфере ислам часто ассоциируется с чем-то агрессивным, с насилием, я хочу сказать: в исламе есть немалый потенциал для мирного развития и мирного разрешения конфликтных ситуаций. И это проявляется на практике в тех регионах, где ислам присутствует исторически.

Многие мусульманские страны и в самом деле отстают по темпам социально-экономического развития от стран Запада. И в нашей стране ваххабизм получил распространение в регионах, наиболее отсталых в социально-экономическом отношении или в тех, которые стали такими в последние десятилетия. Я жил в Дагестане и во времена тоталитаризма, и в последующий период и могу сказать, что при советской власти там конфликтов не было. Наверное, это происходило еще и потому, что все давилось сверху. Но на бытовом уровне все было

[9] Алимы (улемы) — собирательное название знатоков богословия, историко-религиозного предания и этико-правовых норм ислама. — *Ред.*

мирно: тот, кто хотел сохранять религию, сохранял ее без каких-либо проблем, просто это нельзя было показывать открыто. А когда начались неурядицы, когда резко упал уровень жизни, тогда все конфликты стали выходить наружу.

Я имел возможность наблюдать, как некоторые молодые люди из числа моих бывших студентов приходят к ваххабизму. Это были ребята, которые просто не могли найти себе применения в обществе; они понимали, что у них нет того будущего, какое они хотели бы иметь и о котором им каждый день официально говорилось. То есть реальная жизнь и пропаганда очень сильно отличались, а способов для выражения протеста в общественно-политическом плане у них не было, потому что те партии, которые есть в центре, там практически не действовали. А к официальной религии они не обращались по той причине, что официальные религиозные деятели поддерживали официальные порядки, практически были государственными служащими. Поэтому они обращались к тем, кто был в оппозиции и выступал поначалу с социальной критикой, а это полностью укладывалось в сферу деятельности ваххабитов. Но вот прошли годы, ваххабизм разгромлен в военном, а также в значительной степени и в политическом отношении. И что делают эти люди? Никто из них в Саудовскую Аравию не поехал, никто из них не поехал участвовать в джихаде в Афганистан, или Ирак, или еще куда-то. Они едут в Москву и устраиваются здесь любым способом, чтобы зарабатывать деньги. Они едут в качестве беженцев или под любым другим предлогом в страны Западной Европы и живут там обычной жизнью, не занимаясь проповедью мусульманских идей, даже не стремясь поддерживать отношения со своими единоверцами.

Сейчас много говорят о ваххабизме, но, как мне кажется, это отчасти запоздало, потому что когда шло формирование ваххабиских организаций в 1992-1994 годах, на эту проблему внимания обращали мало, почти никто не говорил и не писал, а потом, когда это уже вышло на поверхность и стало определенной силой, вот тогда это и привлекло внимание. Но сейчас ваххабизм — не самая актуальная проблема в религиозном отношении для Северного Кавказа, не только для Дагестана. Это мое личное мнение, основанное, так сказать, на полевом материале. Политического будущего он не имеет, хотя, конечно, какие-то силы сохраняются и террористическая деятельность проводится; но по мере укрепления государственной власти это должно изживаться, а самое главное — должен измениться социально-экономический климат. Если люди будут жить лучше, то социальная база для ваххабизма будет сужаться.

Наиболее важным является процесс политизации суфизма, который отчасти уже завершился, а отчасти еще идет. Суфизм — это традиционное направление для северокавказского региона, в частности, для дагестанского и чеченского ислама. Изначально суфизм — это эзотерическая практика. Суфии не ориентированы на участие в политике и в общественной жизни, это мистический путь познания, который предполагает, напротив, максимальный уход от мира, насколько это возможно. Хотя в Дагестане получил наибольшее распространение суфизм накшбандийского толка, который предполагает определенное сочетание земных интересов и мистической практики, тем не менее, это тоже суфизм со всеми его ценностями и нормами. С начала 1990-х годов, когда ислам стал возрождаться, началось и возрождение суфизма, но он тогда

себя в политическом отношении не проявлял. Однако в ходе борьбы с ваххабизмом суфизм выступил как противостоящее ему течение — как традиционная форма ислама. И вот тогда началась его политизация. А после того как ваххабизм был разгромлен, суфийское духовенство осталось единственным представителем местных мусульман, и хотя сейчас суфийские лидеры не имеют своих партий или организаций, тем не менее это реальная сила. За суфийскими шейхами следует немало учеников — мюридов, идея мюридизма получила широкое распространение в различных слоях общества, среди мюридов немало представителей местной элиты, в том числе политической и бизнес-элиты. И мне кажется, что центральным органам власти в своей региональной политике следовало бы учитывать этот фактор. Если обратиться к истории XIX века, то именно суфийские шейхи и вообще представители суфизма были предводителями антиколониальной борьбы. Все имамы Дагестана были суфиями и послушниками шейхов, в том числе и сам Шамиль. Но после того как война закончилась, суфизм стал опять мирным. И я думаю, что в интересах и России в целом, и дагестанского общества, чтобы эта политизация суфизма как-то уложилась в принятые, может быть, не самые совершенные, рамки. А для этого, наверное, одним из самых важных моментов является, помимо укрепления центральной власти и улучшения социально-экономической ситуации в этом регионе, еще и хотя бы видимое равноправие между исламом и христианством. Хотя, на мой взгляд, самый лучший принцип тот, который закреплен законодательно, — принцип светского государства.

Я не знаю, насколько законодательно обосновано преподавание религиозных предметов в светских школах и других учебных заведениях, но по опыту своей преподавательской деятельности в Махачкале знаю, что идет очень сильное давление со стороны местного мусульманского духовенства в том плане, чтобы преподавать религиозные предметы в вузах и школах. И в то же время — исключить оттуда общегуманитарные дисциплины, в первую очередь мировоззренческого характера. То есть, не нужна философия, не нужна история культуры и даже история религии — нужна история ислама. Но это встречает противодействие, на местах есть достаточно трезво мыслящие представители духовенства, которые это не поддерживают.

И последнее. Если говорить о положении христиан в Дагестане, то, насколько мне известно, там нет сейчас какого-то противостояния и не было в течение 1990-х годов. Сложности, с которыми столкнулось православное население, касались скорее проблем криминального характера: русские уезжали из Дагестана не из-за того, что ущемлялись их интересы в конфессиональном плане или в национальном, а из-за того, что они были наименее защищенными перед разгулом криминалитета — в силу просто меньшего количества родственных связей. Теперь этот вопрос не полностью, но в значительной степени снят. Сейчас строятся новые церкви. За прошлый год было построено две церкви — в Буйнакске и в Избербаше, причем там, где раньше их не было; была построена церковь в поселке Кочубей, ремонтируется Успенский храм в Махачкале, заканчиваются отделочные работы в христианской церкви в Каспийске, проводятся ремонтно-восстановительные работы в храме в Дербенте. И настоятель Успенской церкви в Махачкале отец Николай Стеничкин, с которым я лично

знаком, самым высоким образом отзывается о возможностях сотрудничества с местной администрацией. Тут много зависит от конкретной личности.

А. Зубов. По существу никуда не исчезла ни мусульманская, ни христианская интенция к проповеди истины. Никто не отменял слов Иисуса Христа о том, чтобы идти и учить все языки, крестя во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мр 16:15). Точно так же и призыв Мухаммада о проповеди ислама никто до сих пор не отменял в мусульманском мире и отменить, видимо, не может. Поэтому призывы к тому, чтобы жить дружно, чтобы не переступать границ друг друга — это нонсенс. И мусульмане в душе радуются, когда некий христианин или некий человек христианской цивилизации (например, Роже Гароди или священник Вячеслав Полосин) обращается в ислам. И мы радуемся — чего греха таить, — когда люди из мусульманских семей (я знаю несколько таких случаев, это даже были дети имамов, муфтиев) обращаются в христианство, всякий раз сознательно, глубоко пережив и поняв, что христианство дает то, чего не дает ислам. Это для меня всегда было радостно. Я понимаю, что это нормальная вещь, потому что обе религии — и христианство, и ислам — являются религиями проповеди, религиями прозелитическими. И горе тому, кто это отменит и будет рассматривать наши веры просто как некие элементы культурно-политических сообществ, которые следует сохранять, но нельзя никому чужому предлагать; тогда он просто перестанет быть мусульманином или христианином.

Но есть понятие государства, есть понятие государственной общности, и здесь, конечно, существуют определенные правила. Эти правила, я думаю, должны все признавать — *насилия в обращении быть не должно*. Это совершенно ясно. Обращение приветствуется, когда оно свободно, но не приветствуется, когда оно насильственно. Здесь тоже есть, кстати, одна мелочь, но очень существенная, которая отличает ислам. Если мусульманин изменяет исламу, то, по закону шариата, он должен быть убит. Другое дело, что не всегда так делают и во многих местах так не делают, но, увы, это факт. В христианстве ничего подобного нет. И отсюда мы переходим к следующему моменту.

Я отнюдь не говорил, что ислам плох потому, что там больше радикализма, но радикализм в исламе есть, это реальность. Поэтому те люди в исламе, которые апеллируют к радикальным чувствам, могут найти эту плоть, могут ее взять — тот же бен Ладен. У нас в христианстве тоже есть горячие головы, безумцы, какое-нибудь жаждущее драться «Общество хоругвеносцев». Но им не к чему в христианстве апеллировать. Христос сказал: если тебя бьют по одной щеке, подставь другую. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». К чему тут апеллировать? Слов «Бей жидов» вы не найдете ни в одном каноническом тексте христианства. И именно поэтому христианской Церкви легче бороться со своими радикалами, чем умеренным и благоразумным мусульманам. Противники последних могут указать соответствующие места в тексте, и начинается богословский спор, который действительно далеко заводит. Помните того суданского богослова, который сказал, что надо различать мединские и мекканские суры, так как одни суры агрессивны, а другие примирительны? И к чему это привело? Его просто лишили права называться учителем ислама. Потому что ислам целостен, Коран целостен и богооткровенен: он не может иметь, с точки зре-

ния мусульманина, внутренних противоречий, потому что целостен и непротиворечив Бог, ниспославший Коран Пророку. Это просто надо иметь в виду — это абсолютный культурный факт, от него никуда не денешься. Уровень радикализма в исламе потенциально выше, чем в христианстве, хотя, действительно, были времена, когда и христианство было очень радикальным.

Теперь о проблеме светского государства. Здесь говорили, что у нас светское государство, что у нас есть Конституция. Но дело в том, что есть конституция и конституция. Первоначально слово «конституция» обозначало не то, что написано на бумаге, а то, что составляет само тело общества, само это образование. И вот в этом смысле мы должны внимательно посмотреть, какова же у нас реальная конституция, а не формальная — не Конституция от 12 декабря 1993 года, а действительный органический строй нашей жизни. И если эта реальная конституция сильно отличается от формальной, то, соответственно, или будут внесены коррективы в конституцию формальную, или никто ее не будет соблюдать как норму. А реальность заключается в том, что не только в мусульманских, но и в традиционно православных регионах России (кстати говоря, и в буддистских — это интересный культурный факт), в отличие, скажем, от Западной Европы, сейчас наблюдается довольно интенсивный религиозный рост. А когда происходит рост религиозных настроений, то, соответственно, возникает и желание укоренить в вере семью: люди понимают, что вне веры семья зыбка.

Но и государство тоже хотят укоренить в вере, как оно укоренено во всей Западной Европе, кроме Франции; хотят, чтобы государство опиралось на некоторые религиозные основания. Не будем забывать, что Конституция Швейцарии, например, начинается со слов: «Во имя Всемогущего Бога. Аминь». Конституция Германии, написанная в 1949 году, начинается со слов: «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, мы, немецкий народ...». В Великобритании главой и церкви и государства является королева, и королева не может быть мусульманкой, даже православной и даже католичкой, она может быть только англиканкой. А премьер-министр Англии де-факто (Конституции в Англии нет) не может быть католиком — только англиканином. Поскольку Энтони Блэр фактически является католиком, это создает проблемы: на Островах он ходит в англиканскую церковь, а причащаться ездит в католическую церковь на континент.

На самом деле мы после 70 лет советской власти вообще отвыкли понимать, что государство без религии — это довольно надуманная вещь, это французская штучка, французская болезнь. Любая традиция пытается опереться на некое сверхъестественное, трансцендентное основание. Означает ли это, что надо бороться с другими? — Нет, конечно. Ни в Швейцарии, ни в Германии, ни в Англии с мусульманами никто не борется, никто не запрещает им строить мечети, никто никаких репрессий не делает. Но одно дело — господствующая традиция, в которой сформировалось данное общество и которая практически везде является тем фундаментом, на котором строится государство. Другое дело — что других не надо, так сказать, загонять за Можай и лишать прав.

Возьмем те же Соединенные Штаты, с которых мы собственно и брали пример. В Америке каждый штат был строго конфессионален: в одном — методисты, в другом, скажем, — анабаптисты и т.д. И они объединились в конфе-

дерацию. В конце XVIII века внутри штата все могли быть только этой конфессии, а не другой. Когда же они объединились, то признали, что протестантские деноминации имеют все права. Католицизм же как равноправная конфессия в политической жизни приобрел права гражданства только после второй мировой войны, в середине XX века. И президент Кеннеди был первый президент-католик. И сегодня американское общество не отделено от религии, об этом, кстати, говорил недавно в МГИМО известный специалист по религии Кристофер Марш из Техасского университета.

Мы должны понимать, что мир далеко не так прост, как нам иногда кажется из нашего московского угла. И в этом смысле то, что происходит сейчас в России де-факто, — это очень важная вещь. Означает ли это, что мусульмане Дагестана будут считаться людьми второго сорта в будущей православной России? Конечно, нет. Я уверен, что тот же процесс будет проходить и в Дагестане, только там государствообразующим моментом будет ислам — а что же еще? А в России в целом, разумеется, православие — а что же еще? В противном случае ничего не получится. Если только у нас опять не будет упадка религиозности, но его пока нет. Если он произойдет, тогда мы сможем выбрать французский вариант. Возрождение веры — это не то, чего мы хотим или не хотим, это — реальность. И президенты наши — и Ельцин, и Путин — как реальные политики вынуждены считаться с патриархом, ходить в храм, даже если лично они не особо религиозные люди. Что будет, скажем, с президентом Египта, если он объявит себя не мусульманином, — долго он останется на своем посту? А Египет пока еще светское государство, и там есть христиане-копты, и их немало.

Еще один момент. Алексей Журавский говорил, что колониализм нанес мусульманам травму. Но в данном случае мы, как говориться, квиты. Действительно, христиане завоевали мусульманские страны, но до этого мусульмане благополучно завоевали христианские страны — это та же Византия, Греция, Балканы, наконец, Россия в эпоху орды, да и Испания в известное время. Поэтому этот момент надо просто забыть. Этот шрам у них есть и у нас есть, и все мы, как говорится, тараканов друг другу в суп кидали.

Теперь очень важный, трагически важный момент — о чем говорил А.В. Журавский. Я слышал это не в первый раз. Один благочестивый таджикский мусульманин, очень образованный, доктор наук, мне говорил с какой-то внутренней радостью — потому что сам он, конечно, советско-российской традиции и человек светский. Знаешь, говорит, лечу я из Ирана, и вот эта метаморфоза с иранскими девушками, даже не во французском аэропорту, а в туалете самолета: как только самолет отрывается от земли, девицы выстраиваются в очередь в туалет и выходят оттуда другими — раскрашенные, в мини-юбках. Я, по правде сказать, подумал: а чего же здесь хорошего, чему радоваться? Это ведь говорит только об одном — что традиция становится внешней оболочкой, теряет внутреннюю суть. А если это так, то уже завтра ее не будет, ислам перестанет быть образом жизни, если он становится образом жизни только для внешних глаз.

Ведь и у нас в России христианство когда-то было образом жизни, скажем, в XVII веке. Но как раз в этом веке, как замечали о. Георгий Флоровский и о. Александр Шмеман, возникает подчеркнутое внимание к обряду, и это было свидетельством того, что обряд уже умирал, вера уже умирала. То же самое, я

думаю, сейчас происходит в исламе. Это очень опасно, потому что именно в момент умирания традиции, но пока она еще достаточно сильна, происходит тот самый пассионарный внешний выброс. Поэтому мы сейчас в исламе наблюдаем — это ужасно сказать — именно вот такой выброс в момент распада. Как ядерный заряд: когда он начинает распадаться, то дает мощнейший выброс энергии. То есть это не подъем ислама во всем мире, а это выброс энергии в период распада. Об этом надо много говорить, но я пока просто фиксирую этот факт.

Было сказано, что мусульмане используют технические средства западной цивилизации, но они им не нужны. Еще как нужны! Я уже не говорю, что в жарком климате нужен кондиционер, но нужны и другие вещи. Если бы для них это было бы нечто чисто внешнее, то не было бы такой громадной миграции на Запад. Как мы только что слышали, даже из Дагестана мусульмане стремятся на Запад, в иную культуру, вот в этот самый мир смешения, «на территорию перемирия», потому что там лучше жить. Они не хотят сохранять свой образ жизни у себя, а хотят переместиться туда и там этот образ жизни нарушают. Те, кому приходилось видеть дипломатов ливийской Джамахирии на приемах, сталкивались с тем, что меня как православного христианина всегда огорчало: когда уходит старший, они начинают тихо наливать водку в стаканы с соком. Это печальный, но факт.

Итак, никто западные ценности Востоку не навязывает. Не потому возмущаются мусульмане, что им навязывают западные ценности; если бы они этим возмущались, то не ехали бы жить на Запад. Они стремятся к этим ценностям, поэтому и едут. В этом весь ужас. Ведь, в конце концов, прожить можно и без Запада, но плохо, а этого не хочется — хочется жить лучше, то есть как на Западе. В этом вся ужасающая проблема современного мира, который реально сложен. Из этой сложности возникает конфликт, и сколько мы его ни будем заклинать, боюсь, по крайней мере, моего ума не хватит, чтобы понять, как его можно исцелить и исправить. Но во всяком случае не словами «давайте жить дружно», «давайте не вспоминать, что есть кровожадного в исламе и что есть плохого в прошлом в христианстве». Кому надо, тот вспомнит; мы не вспомним, другие вспомнят. И именно этих других-то мы и боимся, мы же не себя боимся в данном случае. Как ученые мы должны только подвергать анализу ситуацию и констатировать факты, а не заклинать и не произносить обереги.

А.Кырлежев (*«Континент»*). Уточните, пожалуйста: вы считаете, что сегодня в мире противостоят друг другу две безбожные цивилизации?

А. Зубов. Не совсем так. Западная цивилизация, если иметь в виду Соединенные Штаты, сейчас снова переживает быстрый подъем религиозного фундаментализма. Этого не надо забывать. В лице президента Буша и республиканской администрации мы имеем, конечно, фундаменталистское крыло протестантизма со своей двухсотлетней традицией, начиная от Моравских братьев. Эту традицию надо изучать. Но Европа, безусловно, находится в другом модусе; там, в целом, упадок религиозности (за исключением Англии, где в принципе происходит то же самое, но пока медленнее). А континентальная Европа —

это упадок традиции. Хотя кое-где и в Европе в последние годы замечаются слабые еще признаки религиозного подъема, например, в Греции.

Что касается ислама, там происходит другое. Это не простая вещь, в одной фразе не скажешь. Там происходит следующее: практически это ситуация Европы XVI века, России XVII века. Это не значит, что это плохо — это типологически сходно: внутренняя духовная, религиозная, мистическая составляющая постепенно угасает. Вы помните, как говорили в суфизме в XII веке, что раньше не было понятия «суфий», но были суфии в жизни, а сейчас есть слово «суфий», но суфиев уже нет. Так говорили еще в XII веке, хотя конечно, тогда суфии еще были. Сейчас же (хотя, безусловно, отдельные светила есть всюду и в любой стране) в целом происходит угасание. Массовая эмиграция на Запад, увлечение исподволь западным образом жизни говорят о том, что происходит деградация религиозной системы ценностей. Если вчерашние дагестанские молодые ваххабиты, студенты, образованные и интеллигентные, теперь едут устраиваться просто на хорошую работу в Россию, а еще лучше на Запад, значит, деградация религиозных ценностей у них налицо. И они даже не пытаются связаться, как только что было сказано, со своими единоверцами, не ходят в мечеть. А если и ходят, то не создают общину, малую умму. Просто как-то что-то кое-как выполняют из Вероустава.

Это беда общая — и христиан, и мусульман. Но разные уровни. В какой-нибудь Швеции или во Франции сейчас уже практически полное отсутствие религии. В Швеции сами пасторы говорят, что церковь, как больница: когда хорошо, она не нужна, когда плохо, в нее можно обратиться, поэтому пусть уж будет. Конечно, в исламе совсем не такой упадок, но некоторая деградация происходит — распад того самого цельного образа жизни, цельного сознания. А эти моменты распада особенно опасны и приводят к взрыву, к внешней агрессии. Потому что когда происходит распад системы, тогда, цепляясь за части целого, верующий становится агрессивным. Тридцатилетняя война в Европе в первой половине XVII века — как раз пример такой агрессии при деградирующей религиозности

Современный мусульманский радикализм особенно опасен в нерелигиозном европейском мире. И не случайно немцы и французы говорят американцам: не лезьте, не трогайте, «не гоните волну», нам же достанется. А в Америке коса нашла на камень, мы сами Бога знаем и будем свое дело делать и агрессии противостоять — и так возникает конфликт.

А. Кырлежев. Я хочу сказать пару слов для того, чтобы несколько сбалансировать то, что говорил А.Б. Зубов. Как известно, в поздней Византии, христианской, был такой закон: кто уходит из православия, подлежит смерти. Это первое. Второе — что касается «хоругвеносцев» и вообще православных радикалов. В христианской православной традиции, помимо Евангелия, существуют прецеденты — в частности, для православного сознания характерно восприятие Византийской империи, которая была православным государством, как своеобразной нормы. Это часть традиции, и поэтому совершенно законно православным людям апеллировать, скажем, к византийским нормам, для этого есть основание, а не только к Евангелию. Это тоже входит в церковную память.

А. Зубов. Этого нет в Деяниях, в канонах Соборов как нормы. У нас ведь все-таки, в отличие от ислама, очень четкая нормативная база. Разумеется, можно говорить: а вот это было в Византии. Но это был государственный закон, а не религиозный, а государственные законы бывают всякие. Они — не религиозный канон.

А. Кырлежев. Дело в том, что в Византии церковное и государственное было перемешано, но это, конечно, отдельный разговор. А по поводу государства я вспоминаю высказывание президента Путина, которого спросили, что такое религиозный экстремизм, и он дал такое определение: когда мусульмане требуют исламского государства, это экстремизм. По этой схеме можно говорить и о православных: когда требуют православного государства, это тоже религиозный экстремизм. Я согласен с тем, что за 70 лет мы выпали из традиции, что есть европейская традиция, для которой нормальна даже государственная церковь при полной свободе совести, — это все очевидные вещи. Но в нашей ситуации и у российских мусульман, и у православных есть возможность апеллировать к одному и тому же — к конфессиональному государству. Для православных это логично: это было в Византии, это было и в России. То есть здесь существуют некоторые, так сказать, параллели. И с другой стороны, скажем, когда Татарстан хочет назвать себя мусульманской республикой в составе России — это тоже большой вопрос.

А. Зубов. Это очень важный момент. И как раз здесь я хотел бы отметить, что для нашей будущей правовой практики очень важно исходить не из заклинания, что у нас светское государство, и таким образом просто снимать эту проблему. Проблема есть, и она заключается в том, что есть на определенных территориях России стремление к исламскому государству и есть стремление к государству, опирающемуся на православную основу, в России в целом. Вопрос в том, как эти две традиции соотнести, чтобы в Дагестане общество могло выстраивать себя на мусульманской основе, но при этом, естественно, не ограничивая ни в каких правах иные конфессии; а в России в целом — на христианской основе, при этом не ограничивая другие конфессии. То есть, чтобы Россия была моделью терпимого религиозно обоснованного государства для Татарстана или Дагестана — на общенациональном уровне. Это реальная правовая проблема, которую нам, безусловно, следует продумывать заранее, потому что через некоторое время уже будет поздно. Не решим ее — и вспыхнет межрелигиозный конфликт. И распадётся Россия.

С. Арутюнов. Государство без религии и в самом деле трудно себе представить. Во всяком случае, советское государство было, безусловно, религиозным государством: у него была своя атеистическая религия — свои святые, пророки, храмы, святилища, иконы и т.п. Республикой советское государство трудно назвать, потому что республики, конечно, бывают разные, но они тяготеют к отделению церкви от государства, тогда как монархии действительно без религии обойтись не могут. Другой вопрос: может ли государство с монархическим устройством считаться исламским государством? Вообще, кто является христианином, а кто мусульманином, кто лжехристианин, а кто лжемусульманин — это

каждый определяет индивидуально. И никогда мы не найдем формального признака, который бы позволил это определить математически точно. Но есть разные платформы и точки зрения. И мы можем встать на ту или другую платформу и, находясь на этой платформе, считать кого-то лжехристианами и лжемусульманами. Скажем, те христиане XV-XVI веков, которые посылали на костер якобы еретиков (а на самом деле, вполне возможно, в большинстве случаев нормальных убежденных добрых христиан), и те, которые крестили индейцев огнем и мечом, — с моей точки зрения, были лжехристианами, хотя считали подлинными христианами, безусловно, себя. А, скажем, когда началась Реформация, то через пару десятков лет уже реформатов христианами не считали. И точно так же с мусульманами. В компании мусульман на вопрос о моей конфессиональной принадлежности я сказал, что крещен в лоне Армянской Апостольской Церкви, однако я верю, что Бог един и Мухаммад был Его пророком. «Тогда вы мусульманин», — сказали мне мусульмане. И по-своему они были правы. А, с другой стороны, мой приятель приехал в чеченское село: там два дома были ваххабитов, и его туда долго не хотели пускать. Шофер-чеченец, который его привез, чувствовал себя крайне неловко, потому что это вопиющее нарушение законов гостеприимства, чеченских адатов, и в любом другом доме незнакомого человека приняли бы с распростертыми объятиями. Но эти ваххабиты очень долго не хотели его впускать, в конце концов, пустили, нехотя поставили какое-то угощение, и они стали разговаривать. Он спросил: «Кто вы?». — «Мы мусульмане». Он говорит, мол, в селе все мусульмане — а там еще дворов сто. «Кто мусульмане? Кроме нас, здесь нет мусульман, — сказали эти люди. — Те все язычники, а мусульмане только мы».

Я считаю, что террористы, действительно, в значительной мере не имеют национальности, впрочем, они сами от нее нередко отказываются, заявляя, что у них нет нации, а есть только умма. Но и к умме они не принадлежат, потому что нарушают заповеди Корана, гласящие, что нет принуждения в религии, что, убивая одного человека, убиваешь все человечество. Какая-то часть мусульманской традиции может призывать, но Коран никоим образом не призывает к агрессии. Очень часто пишут и говорят об исламе со ссылкой на Коран, но ссылка берется в оборванном виде или берется один аят вне связи с предшествующими и последующими аятами, и получается совершенно иной смысл, нежели при чтении связанного текста. На самом деле джихад (малый джихад, конечно, потому что есть еще средний и большой) — это джихад с оружием в руках, но только если кто-то пытается помешать тебе исповедовать твою веру, кто-то приходит в твою страну, в твое селение и хочет тебя лишить твоей земли, свободы, жизни на твоей собственной земле. Сопротивляясь ему, ты можешь вести джихад, но это будет справедливой войной. А агрессивная война, с точки зрения Корана, это несправедливая война.

И здесь я хочу вернуться к нашей действительности и к чеченской реальности и сопоставить четыре позиции — Кадырова, Басаева, Масхадова и Нухаева. Позиция Кадырова, который себя, во всяком случае, объявляет мусульманином и который был в свое время верховным муфтием, — в том, что он, будучи мусульманином, тем не менее хочет быть главой светского государства. Он лоялен по отношению к государству или, во всяком случае, заявляет себя таковым.

Позиция Масхадова, при том, что он был вынужден пойти на уступки сторонникам шариатских судов, — это тоже позиция человека, который желает быть главой независимого, но, в общем, светского государства, где будут сделаны определенные уступки исламу, но в целом его идеалом является государство светское. Позиция Басаева, насколько я его понимаю, и в особенности его арабских друзей, — это не позиция национального сепаратизма, а позиция халифата, то есть независимая Чечня рисуется как маленький плацдарм, опираясь на который, в конечном счете, можно будет воссоздать всемирный халифат. И здесь я бы хотел обратить внимание на очень интересную позицию Нухаева. Нухаев был вице-премьером в правительстве Яндарбиева, а потом, когда уже и Яндарбиев и Нухаев ушли в эмиграцию, между ними наметились существенные разногласия. Нухаев, безусловно, негативно относится к Басаеву. Но он считает, что и Масхадов не прав, что Масхадов может быть, так сказать, вождем чеченского народа, только если он откажется от поста президента и от идеи независимости Чечни как светского государства. Идея Нухаева состоит в том, что исламское государство невозможно принципиально, невозможно по Корану. Идеал общественного устройства — то, что было при жизни Мухаммада в Медине — мединская конституция, когда существовал договорный конфедерационный союз мусульманских племен. Это была племенная организация, не политическая, а потестарная, причем существовал союз мусульманских племен, иудейских племен и даже языческие племена в принципе могли быть в него допущены, а также, бесспорно, и христианские племена, просто в тот момент в Ятрибе не было христианских племен, насколько я помню. Но даже с языческими племенами был заключен договор, они были включены в эту конституцию. И племена управлялись по своим адатам, а в случае невозможности управиться по адатам было сказано: придите к Пророку и к Аллаху. Таким образом, тот план, который предлагает Нухаев для Чечни, — это как бы резервация, очень похожая, на мой взгляд, на лигу ирокезов, резервация, которая управлялась бы по адатам и шариату, была бы выключена из правового поля Российской Федерации именно по типу резервации, но не претендовала бы ни на международное представительство, ни на самостоятельность территорий, ни на какую-либо государственную самостоятельность. А с точки зрения религиозной — это один из вариантов миротворческого плана, и достаточно перспективный миротворческий план, поскольку он противопоставлен и исламистам, и национал-сепаратистам.

Заканчивая публикацию материалов Круглого стола, мы не будем подводить итоги. Практические выводы делать не «Континенту». Мы в реальной политике не участвуем и не для того затевали этот разговор. А те цели, ради которых он затевался, как нам кажется, достигнуты. Состоялся интересный разговор, был проделан достаточно разносторонний анализ, и ясно, что ситуация очень сложная — в плане как межрелигиозного, так и межцивилизационного диалога. Даже не совсем понятно, нужен ли в нынешней ситуации собственно богословский диалог. Во всяком случае, наиболее острые проблемы сегодняшних взаимоотношений между миром ислама и миром постхристианской цивилизации лежат, судя по всему, отнюдь не в этой области.

РИМСКИЕ ЭТЮДЫ

Записки паломника

Площадь перед собором св. Петра вмещает триста тысяч человек. Но сегодня, используя вместимость прилегающих улиц, здесь будет более четырехсот. Половина из них юноши и девушки. Канонизация Хосемария Эскривы собрала в Рим паломников со всего мира. Волонтеры, их 1800 человек, тоже в основном молодежь и не только итальянцы. Они приехали заранее, за две недели, для специальной подготовки. И сейчас, в разливах и водоворотах уличной толпы, держатся как настоящие лоцманы. Их ключевые пункты — в аэропорте, на городских улицах, на соборной площади.

По мере приближения к собору смыкаются теснее цепи неприступно-вежливых карабинеров. Инвалидные коляски пропускаются вперед. В бессчетном количестве они группируются у колоннады, поближе к алтарю. В одной коляске — священник. Тринадцать лет тому назад он попал в автомобильную катастрофу и оказался парализованным навсегда. Травма не помешала ему остаться действующим пастырем, помогать другим, служить мессу каждый день...

Солнце уже осветило купол собора, портрет Хосемарии Эскривы, крест на игле обелиска; но на площади еще зябко и свежо, как в горной долине, которая медленно заполняются паломниками.

На крыше правого и левого крыла колоннады, как мне показалось, множество кустистых растений. Они в центре Рима не редкость. Внизу ни травинки — сплошной асфальт и булыжник, а на крышах заросли в больших ящиках и горшках. Но приглядевшись, я понял, что это не растения, а репортеры со своей ветвистой аппаратурой.

Сзади меня две пожилые женщины, по виду домохозяйки. Кто-то им, наверное, сказал, что мы русские. Сверкая глазами и жестикулируя они говорят: «Nosotras rezamos para la difusion de los libros de Josemaria Escriva en Rusia. Somos de Sevilla». (Мы молимся о распространении книг Хосемарии в России. Мы из Севильи).

А прямо передо мной глыба спины — негр из Нигерии. Я его спрашиваю: «Много вас»? «Восемьсот человек», — и показывает черным пальцем: «Вон наши!»

Александр ЗОРИН — родился в 1941 г. в Москве. Окончил Геологический техникум и Литературный институт им.Горького. Член Союза писателей с 1978 г. Автор поэтических сборников «Яблоневый день», «Каменный листопад», «Вверх по водопаду», «Гнездо», «Дорога ночью» и книги воспоминаний об о. Александре Мене «Ангел-чернорабочий». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Континент», «Юность». Живет в Москве.

Но спина его не помеха. Огромные экраны в нескольких местах площади будут доносить до каждого присутствующего всё, что здесь происходит.

Белый мрамор перед вынесенным алтарем убран цветами в виде широкой и пестрой пальмовой ветви. Мириады цветов — подарок цветочницы из Латинской Америки.

Народ прибывает, солнышко поднимается, вот засияла справа над колоннадой икона Божьей Матери. Она появилась на этом месте сравнительно недавно, при понтификате последнего Папы. Однажды ему было замечено, что на площади святого Петра нет изображения Богоматери. «Да, действительно, — согласился он, — это надо исправить».

Златоволосая мулаточка с красным крестом на груди. Сектор № 4, а точнее, часть сектора — под ее наблюдением. Волонтеры, работающие на площади, обходятся без мегафонов и радиосвязи. Громким голосом она объявляет, что она врач и что при малейшей надобности обращаться следует к ней. Она может оказать только первую помощь, дать конфетку от всех недугов. При слове «конфетка» пожилая публика, оценив юмор, возликовала и захлопала в ладоши.

День обещает быть знойным, однако зонтиков от солнца нет ни у кого. Шляпки, береты, а когда совсем станет припекать, замелькают шарфики и сложенные планшеткой карты Рима. Мы не запаслись ничем и, как обнаружилось вечером, левая сторона у каждого, — щека, шея, — изрядно поджаренная, контрастно отличается от правой.

Ударили колокола. Мягкий мелодический звон.

Вдруг вся площадь взволновалась, поднялась с мест, многие встают на стулья: на боковой дорожке появился белый лимузин. В нем Папа — сгорбленный, сосредоточенный. Поднимает голову, его рука дрожит, посылающая благословение.

Лимузин въезжает на подиум. К алтарю Папа идет без посторонней помощи, припадая на посох.

Не католику трудно понять столь громкое и безусловное почитание этого человека. Вчера вечером перед папскими покоями собралась молодежь, море скандирующих голосов: «Виват, Папа!», «Папа, весь мир любит тебя!»

Так ли уж и весь?.. Давний выстрел в него позволяет в этом усомниться. Я хорошо помню тот майский день. Мы, группа православных мирян, собрались на молитву в одной из московских квартир. Звонок по телефону принес нам эту страшную весть. Я был уверен, что это рука Москвы и стреляли из Кремля... Карательным органом тогда руководил Андропов. Позже он встал у власти, точнее лег, ибо был смертельно болен. Хорошо, если я ошибся. Потому что в продлении его жизни молитвенно участвовали верующие люди и даже католики...

В чистейшем, «что твой Буонарроти», небе кружит вертолет. Робкий пневматический стрекот. Снижаясь над площадью, он то вынырнет из-за купола, то скроется за крышами Ватикана. Каково его назначение: корректировать телесъемку или следить за безопасностью?

На экранах возникает площадь, видимая с его высоты. Масса голов — да простится мне это сравнение, — словно паюсная икра. Я обернулся — у каждой икринки осмысленный участвующий взгляд.

А над Папой, над кровлей, затеняющей алтарь, на фронтоне Собора парит портрет Хосемарии Эскривы. Простое лицо в очках — лик! — на голубом фоне, точно таком же, сияющем, как небо Микеланджело Буонарроти.

Он родился в 1902 году в Барбастро, старинном испанском городе, расположенном в предгорье Пиренеев. В многодетной семье коммерсанта. В двухлетнем возрасте он серьезно заболел, и мать, в молитвах к Богородице, обещала, если он выздоровеет, посвятить сына Ей, отдать под Ее покровительство. Сын выздоровел, и никогда не забывал о своем чудесном выздоровлении; ежедневную свою молитву он начинал словами: «Мария, Матерь моя, всецело посвящаю себя Тебе».

Хосемария рос озорным, веселым ребенком, играл с мальчишками в уличные игры, в том числе в «сыщики — воры». Иной раз пробирался тайно на кухню, чтобы стянуть какое-нибудь лакомство. Его детство, его беспокойный характер еще раз подтверждают, что святыми не рождаются.

Призвание свое он почувствовал в 16 лет, когда однажды на снегу увидел следы босых ног монаха-кармелита, который в это утро прошел по улице. След запал глубоко в душу, он понял, что это Божий призыв. С тех пор он стал регулярно бывать в храме, исповедоваться и всё более и более укрепляться в желании стать священником. Отец, узнав об этом, был потрясен: ведь Хосемария — единственный сын, преемник его дела. «Священник должен быть святым», — сказал он, и эти слова определили священнический путь Хосемарии.

Но тогда, приняв сан, он не понимал, чего хочет от него Господь. Сначала в деревне, потом в бедных кварталах Мадрида он честно выполнял свой пастырский долг. Без исповеди и причастия не умер ни один несчастный из его паствы. Каждому он посвящал столько времени, сколько нужно для осознания этого таинства. А таких только за один 1927 год было более 4000.

И вот, 2 октября 1928 года, в праздник ангелов-хранителей, когда звонили колокола на соседней церкви, он, погруженный в молитву, вдруг увидел дело своей жизни, Opus Dei (Дело Божье), понял, к чему призывает его Господь. К освящению повседневного труда и семейной жизни. «Что я имел в ту пору? Двадцать шесть лет, Божие благословение и здоровое чувство юмора — вот и все. Если бы я знал тогда, что мне предстоит, я бы умер».

Так возникло движение, которое в будущем охватило десятки тысяч христиан разных национальностей.

Основатель Opus Dei получил духовное образование, но был широко начитан, знал театр, музыку, классическую литературу. По его мнению человечество пожирают не только физические недуги. Самые страшные болезни — невежество и равнодушие.

Он вел специальный курс Христианского образования для студентов-медиков.

В то время, когда авангард современного искусства (Дали, Сикейрос, Пикассо, Лорка, Элюар и другие) бредил коммунистическими идями, Эскрива писал и повторял в больших аудиториях, что коммунизм «серьезнейшее заблуждение».

В гражданскую войну, не прекращая своей миротворческой миссии, он оказывался не раз на краю гибели. За ним буквально охотились.

Много нападок и притеснений испытал он и в мирное время. Но его учение о роли мирян (апостолат мирян) нашло наконец официальное признание на II Ва-

тиканском Соборе (1962 г.). То, что Эскрива проповедовал с 1928 года, стало официальным мнением Церкви.

Умер он в 1975 году, оставив десятки написанных книг (более 13 000 страниц). Экспертная комиссия отметила: «Эскрива обладает силой классических авторов и гениальностью отцов Церкви».

Месса началась.

В самом начале, перед Литургией Слова кардинал, глава конгрегации по делам Святых, обратился к Папе с прошением о канонизации Эскривы. И Папа огласил формулу превозношения святым.

Двадцатилетний путь к признанию святости Эскривы завершен. Это не такое уж большое время в сравнении с теми, кто ожидал своего часа сотни лет. Жизнь его была безупречна до очевидности, и многие люди еще помнят это. Однако комиссия собрала тысячи документов, подтверждающих чистоту его жизни. А также чудеса, имевшие место после его смерти. Впрочем для комиссии достаточно одного чуда, являющего силу святости в земном измерении. Врач рентгенолог обратился в больницу с подозрением на рак кожи. Диагноз подтвердился, и он как специалист понял, что положение безнадежное. Кто-то из друзей посоветовал ему молиться об исцелении блаженному Хосемарии Эскриве. Через несколько дней он поехал на медицинскую конференцию в Вену. И там в нескольких храмах он увидел открытку с изображением блаженного и вновь стал молиться ему, стал просить Эскриву о помощи, просить его молитв перед Богом. Через неделю рак кожи исчез.

Мессу на латинском языке знают не все католики. Кой у кого в руках текст. Папа произносит евхаристический канон, начинается самая важная часть литургии. На площади, где в молитвенном таинстве соединились сотни тысяч христиан, тихо, как в комнате.

Вычерчивая плавную кардиограмму тишины, пролетает бабочка.

Голос Папы, голос орга́на, голос общей молитвы. Причастие...

Две тысячи священников тремя сквозными потоками вливаются в замершие ряды. У них в руках чаши со святыми дарами, а над ними будто белые лилии раскрыты белые зонтики. Каждый из них знает свое место.

Удивительно видеть этот привычный для католиков порядок. Стулья составляются один на другой высокими столбиками и причастники (повторяю, их сотни тысяч), не толкаясь и не торопясь подходят к чашам.

Тень от обелиска, как стрелка часов, дошла и до нашего ряда. Обелиск — древнейший памятник, привезенный сюда из Гелиополя — свидетель гибели первых мучеников... Именно на этом месте во времена императорского Рима простирался цирк Нерона. Христиан бросали как живое мясо голодным псам и диким животным. Здесь сейчас приносится бескровная жертва.

Стрелка часов по головам молящихся указывает на портрет святого. Он тоже претерпел великие испытания, он сораспинался Христу в повседневной будничной жизни. Папа скажет в проповеди о нем: «Главное в основателе Opus Dei — его любовь к Божьей воле. Преданное исполнение Божьей воли до крайних ее последствий — вот верный знак святости. У Господа есть замысел

для каждого человека; каждому он дает конкретную миссию на земле. Святой живет лишь для того, чтобы исполнить эту миссию, ему даже не приходит в голову жить и действовать за пределами замысла Божия.

Святой Хосемария был избран Богом для провозглашения всеобщего призыва к святости; для провозглашения того, что обычные занятия, составляющие ткань повседневной жизни — это путь к святости. Можно сказать, что Святой Хосемария — Святой повседневности. В самом деле, он был убежден, что для человека, глубоко верующего в Бога, любое событие его жизни — это повод к встрече с Богом, стимул к молитве. Когда мы смотрим на повседневную жизнь с этой точки зрения, мы открываем в ней величие, неведомое раньше. Мы понимаем, что святость доступна всем людям».

А вот слова самого Эскривы. Завтра, после мессы, ему посвященной, он возникнет здесь на экранах. Кинолента донесла до нас его встречи с разными аудиториями. Его спрашивают: «Как можно полюбить Иисуса?» — «Общаться с Ним в Слове и в Хлебе. Разговаривать с Ним весь день. Но когда Иисус приходит, с Ним приходит и крест. Болезнь, предательство — надо быть готовым к этому. Когда человек готов, это поднимает его, крест возносит». Еще: «Что-то есть Божественное в повседневной жизни. Вы должны открыть это что-то...» Еще: «У меня очень много друзей среди не католиков...»

В их числе и мы — четверо из России. Да, да, всего четверо — среди сотен тысяч, приехавших из 84-х стран...

Экуменический дух свойствен понтификату Папы Иоанна Павла II. Неожиданно для всех, как бесценный подарок к празднику, на подиуме появился Патриарх румынской православной церкви. Площадь взорвалась ликованием!!!

А эти кто, двое старичков?.. Судя по всему, местные, итальянцы. У них один слуховой аппарат, на двоих по одному наушнику. И бинокль, к которому прикладываются по очереди. Возле них постоянная дежурная. Она помогает им забраться на стулья, когда Папа, объезжая площадь, оказывается совсем близко. Смешно поддерживает их, неустойчивых, как былинки. Юная волонтерочка с экстравагантным колечком в носу.

По радио предупредили, что в машину Папы не разрешается бросать ни цветов, ни флагов, ни писем. По традиции к машине подносят младенцев. Папа благословляет их, некоторых целует. И вдруг — не удержали материнские руки — один падает прямо к нему на колени. Сокровенное, пищащее письмецо — из двадцать первого века.

Главный герой феллиниевского «Рима» — уличный грохот и рев сирен. Фильм старый, но «герой» не постарел и соответствует сегодняшнему дню. Может быть, улетучились выхлопные газы; как никак, а Европа уже давно заправляется газолином. Публика, сидящая за столиками кафе вплотную к мостовой, грохота не слышит, ибо такая же шумная и жестикулирующая. Отец Владимир Зелинский, живущий в провинциальном (в нашем, конечно, понимании этого слова) городке, говорит, что Италия вся такая — шумная и стремительная. Автотрассы — ее кровеносная система, ее артерии и капилляры.

Связующую важность дорог хорошо понимал древний Рим. Прочные коммуникации Рима пережили тысячелетия потому, что строились мастерами по

правилам инженерного искусства. По надежно пригнанным камням шли не только легионеры, но и консулы, законодатели права и порядка. А потом — вестники Слова Божия. Правовое сознание прокладывало путь апостолам и будущим христианским миссионерам. Хорошие дороги — это показатель не только технической цивилизации, но и реальной близости людей между собою, возможность понимать и договариваться друг с другом.

Разумеется, не могу я не вспомнить о состоянии дорог в России, перемену которого Пушкин предсказал лет через триста. Можем утешиться, большая часть этого срока уже миновала...

Давно я мечтал попасть на Аппиеву дорогу. «Королева дорог», как ее называли в древности. Сюда, навстречу апостолу Павлу, узнику, вышли братья — христиане римской общины. Они ждали его на Аппиевой площади у Трех Гостиниц. Евангелист Лука пишет: «Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился» (Деян.28:15).

Отвлекусь еще на законопослушность древних римлян. Павел, избитый и обвиняемый толпой иудеев, потребовал суда в высшей инстанции, то есть в присутствии Кесаря. Как римский гражданин он имел на это право. И сотник, верный закону, выполнил его требование. Павла под стражей из далекой провинции отправили в Рим, что стоило властям немалых средств и хлопот. А ведь могли бы — современный аргумент — и не тратиться...

На Аппиевой дороге апостол Петр встретил Христа, когда бежал из охваченного огнем Рима. А после встречи вернулся...

В третий день после канонизации Хосемарии Эскривы паломникам разрешался бесплатный проезд на городском транспорте. Как не воспользоваться. Но тут начались препятствия. Сначала мы вышли не на той станции метро, потом сели не на тот автобус, вернулись и ждали нужного автобуса более часа. И наконец, вот она, вот эти могучие не подвластные времени булыжины. В полутора километрах отсюда, на месте встречи Петра с Христом, стоит храм. На туристической карте Рима его нет, но сотрудник катакомбного музея, что в начале дороги, показал нам направление. Древняя мостовая скоро кончилась, влилась в зеркально-гладкое шоссе — летящую, ревущую трассу. По обеим сторонам бетонная стена. Мы шли как по тоннелю, вжимаясь в стену, оглушенные и овеваемые горячим ветром.

Но оказалось, не одни мы такие отважные. Навстречу, гуськом, как на горной тропинке, две женщины. «Правильно ли мы идем к храму?» — задали мы вопрос по-английски. В ответ посыпались разноязычные слова, итальянские, английские и, как мне показалось, польские. Совершенно лишенные смысла, но... пересыпанные знакомыми междометиями «ну, вот»... Мы знали, что храм, куда мы идем, принадлежит польской общине. «Кажется, они поляки», — сказал я и спросил: «Are you from Poland?» «Да какие поляки, мы русские» — закричали женщины, обрадованные, что мы их, наконец, понимаем! — «Да вы не туда идете! Никакого там храма нет! И вообще там неинтересно!!! Хотите, мы вам завтра Рим покажем?!» Усомнившись в их решительном «неинтересно», мы двинулись в том же направлении, тем более что стена стала понижаться и открылись зеленеющие просторы и скоро можно было ступить на обочину. А вот и храм Domine Quo Vadis. Внутри полумрак, тихо; трассу, как отрезало. Сидя

на низких скамьях, поляки вполголоса молятся по Розарию. На полу камень, на котором якобы стоял Христос, встретивший Своего ученика. Следы Его ступней отпечатались на камне и, возможно, кем-то когда-то выдолблены...

Как относиться к этой реликвии? Как к преданию. Для кого-то это важный аргумент, а для кого-то второстепенный, потому что вера опирается не только на предание.

Возвращались мы затемно. На автобусной остановке группа молодых бразильцев. Их вожатый, Мартин, разговорчивый и общительный, угостил нас мороженым... «О, русские! Мой зубной врач тоже русская. Очень хороший врач».

И как завершение этого дня, еще одна встреча, мгновенная, но впечатляющая. В городе, возле метро, *опершися на гранит*, как Евгений Онегин, респектабельный господин разговаривает по мобильному телефону: «Ну ты, блядь, если мне завтра бабки не выложишь...» Окончания фразы я, несомый толпой, уже не расслышал. Но кто ж из нас, русских, не знает ее окончания...

В городе в эти дни много изображений нового святого. Иконы разных размеров, портреты — в витринах магазинов, на шкатулках, на открытках, на брелоках. Еще в аэропорте нас предупредили, что покупать сувениры рекомендуется в определенных местах, чтобы доходы по возможности поступали на счет Opus Dei. Как минимум 300 000 паломников, члены этой организации, внесли вклад в Фонд солидарности — по 5 евро каждый, лепта вдовы. Эти деньги пойдут на образовательные и воспитательные программы в Африке. Ощутимый духовный плод канонизации.

Мощи Хосемарии в эти дни находились в храме св. Евгения. Откуда их снова должны перенести в Церковь Пресвятой Богородицы — Владычицы мира, где они и покоились доселе.

Я торопился на мессу, зная, что пускают в храм по билетам, а у меня билета нет. Но, думаю, как-нибудь попаду заранее. Однако желающих, безбилетных, оказалось так много, что к храму невозможно было протиснуться. Железных ограждений явно не хватало, полиция и волонтеры сдерживали напор. Особенно в дверях, которые закрывать не хотели, но и впускать уже не было никакой возможности. У нас в России так осаждают двери театра, пробиваясь на модный спектакль, мюзикл или на футбольный матч.

Справедливости ради скажу: увы, не все слышавшие звуки органа были охвачены религиозным чувством. У некоторых чувства совсем иные. Например, здесь же, среди толпящихся верующих, пьянчужка сшибает на выпивку, а говорит, что голодный. К храму я шел по берегу Тибра, куда с набережной спускаются мраморные лестницы. Я хотел, было, подняться наверх, как увидел юношу, сбежавшего на несколько ступенек вниз и поспешно поливающего остальные... Не донес, бедняга, свое содержание до биотуалета, а они в этот день во множестве расставлены по городу и функционируют бесплатно... Специфический запах и влажность заметил я и на других лестницах набережной...

Колизей ночью экономно иллюминирован. Со стороны via Ostilia закопченные циклопические стены подсвечиваются всего лишь несколькими фонарями. В затемненной тишине легче представить себе мрачное величие этого

колосса. Говорят, что в его недрах сегодня обитают тысячи кошек. Днем их оттесняют толпы туристов, зато ночью они безбоязненно выходят на промысел. Одна увязалась за мной, — я подкормил ее пахучим пармезаном, — до самой церкви св. Бонавентуры, что стоит на холме примерно в километре от Колизея.

Когда империя уже лежала в развалинах, городской цирк потерял свое назначение и стал превращаться в гигантскую каменоломню. Цельные блоки растаскивали на строительство вилл и культовых зданий. Разорение остановил Папа Бенедикт XIV, освятив водруженным крестом место гибели христианских мучеников.

Друзья пригласили меня поужинать в ресторане, которым владеет брат одного из них. Брата зовут Джузеппе Мацони, а его жену Галя. Четыре года тому назад Галя жила в Москве, в Бибирево, где остался ее отец. Джузеппе седовласый импозантный господин, похожий на сенатора. В Москве он открыл несколько кафе-пицерий, разбогател, женился на русской и, родив двоих детей, вернулся на родину. Здесь имеет свою харчевню. Он сам обслуживает своих клиентов, к чему обязывает, наверное, уровень его заведения. Делает он это неторопливо и даже величаво. Ресторанчик в далеком пригороде больше похож на забегаловку, не в обиду хозяину будь сказано. Одна и та же местная публика заходит сюда вечером распить бутылочку Villa Tascona и обсудить телевизионные новости. Галя сидит за кассой и тоже выглядит на все сто. Хорошо выглядеть на работе — профессиональный долг.

— Тепло здесь? — спросил я Галю, не зная, о чем спросить.

— Нет, сыро, дожди... Климат плохой.

— Зато юг...

— Московский лучше. Там снег...

— Скучаете?

— Очень.

— Может быть, позвонить отцу, или что-нибудь передать?..

— Спасибо, я звоню в Москву каждый день.

За нашим столом две пары, тоже друзья Джованни. Мне показалось, что они супруги, и япоинтересовался, много ли у них детей? Вышла неловкость. Они вовсе не супруги, а сожители: boy friends и girl friends. «Ой,какие у тебя духи, как пахнут! дай понюхать!» — воскликнула молодая леди и ткнулась носом в шею своей соседке. «В России хорошие рестораны, дорогие?» — спросил меня ее друг. Но в основном говорили об Америке, которую они все не любят, считая американцев слишком богатыми и самодовольными. Они патриоты, Италия им нравится больше. «А вы, Алекс, любите Америку»? — «Я люблю Азию, Европу, Австралию, Индию, Антарктиду с Атлантидой, Америку и, конечно, Африку».

Практика добрачной совместной жизни, весьма нынче популярная и на Западе и у нас, опасна для самих брачующихся, о чем они не подозревают. Ведь они ничем не связаны, кроме чувства, по природе своей изменчивого; нет между ними главного — ответственности друг перед другом. Чувства долга, которое не менее богато и важно, чем привязанность. И должны они третьему — Богу,

который есть условие их союза. В браке дается обещание Богу о верности их друг другу. А Бог — в них. Значит обещают друг другу (и Богу в них) хранить верность. Таким образом преодолеваются природные препятствия психического или иного свойства, порой кажущаяся несовместимость. Все это и преодолевается на первых этапах близости с Божьей помощью. Любящие борются с ними. Одолевают их. Они созидают в этой борьбе и семью и себя, каждый в отдельности. Созидать можно, только испытывая препятствия, преодолевая препятствия. А в безбрачном союзе — никто никому не должен...

Ватиканский музей.

Если придти за час до открытия и оказаться в очереди одним из первых, то в Сикстинской капелле можно побыть в относительном одиночестве минут пятнадцать, а то и двадцать. Можно лечь на каменную скамью, обратив лицо и всего себя к «Сотворению мира» — грандиозному творению Микеланджело.

Пробуждение Адама — к жизни. Бог устремляет могучую длань к человеку. Его взгляд и выброс руки — это единый порыв, заостренный на указательном пальце, откуда перетекает невидимая энергия к тому, кого Он сотворил по Своему подобию. Две десницы: одна властная и устремленная к цели, другая вялая, полуоткрытая и все же протянутая навстречу... Человек еще не пробудился к жизни, а уже подвластен воле Творца и делает навстречу к Нему первое смутное движение. Их пальцы не соприкоснулись, меж ними останется вечный зазор.

Бог, прикровенный воздушной сенью и сонмом ангелов, и голый Адам на голой земле. Его телосложение — эталон античной классики — идеально. Чистый сосуд, уготованный стать вместилищем святого Духа. Греция с ее безукоризненным чувством формы, унаследованной Римом, и стала вместилищем христианского Откровения.

Но вот капелла заполняется народом, и вежливый смотритель просит меня принять вертикальное положение.

Теперь у меня перед глазами «Страшный Суд». Отец Александр Мень говорил, что Божий Суд начался с приходом на землю Мессии, что Суд продолжается и сейчас и каждый, в ком жива совесть, предстоит перед Высшим Судией.

Христос у Микеланджело так же атлетически могуч, как и Адам. Не зря же Он зовется Новым Адамом. Его решительный жест, отделяющий овец от козлищ...

Почти такой же жест, но отягощенный смертоносным веслом, являет нам и Харон. Здесь ритмический и смысловой акцент. Харон ставит точку в судьбе отвергнутого человечества. Почему, кстати, мифический персонаж, похожий на Люцифера, оказался в новозаветном сюжете? Потому, что он есть у Данта в Божественной комедии. Микеланджело в своем замысле соединил Апокалипсис апостола Иоанна с Дантовым адом. Иллюстрация очевидна, вплоть до портретного сходства: «А бес Харон сзывает стаю грешных,/ Вращая взор, как уголья в золе, / И гонит их и бьет веслом неспешных».

А еще потому, что мастера Возрождения брали за эталон античное искусство. Отцы Церкви тоже находили в греческой культуре много полезного и поучительного. Чему противился клерикализм нового времени.

Эта фреска была не раз переписана позднейшими художниками. Тридентский Собор (1563 г.) принял специальное решение, по которому герои произведений искусства, украшающие храм, обязаны быть одетыми. Один из современников Микеланджело так отозвался о его работе: «Полное бесстыдство — изображать в месте столь священном столько голых людей, которые, не стыдясь, показывают свои срамные части; такое произведение годится для бань и кабаков, а не для папской капеллы». Первого, кто взялся драпировать «срамные части», прозвали «штанишником». Приступили к «облачению» только после смерти художника, помнили, как он увековечил своего критика, поместив его на фреске в аду, обвитого змеями...

В первозданный вид она была приведена совсем недавно, при понтификате последнего Папы. Ему мы обязаны чудом второго рождения Сикстинской капеллы, которую он назвал «храмом богословия человеческого тела».

В браке облагораживается эрос. Интимные отношения регулируются, учитываются при актуализации главного. Пол — не главное. Можно доказывать это разными способами: драпировать гениталии — куда взгляд притягивается, как бильярдный шар в лузу. А можно, как поступали «христианизированные» вандалы, отшибать их у античных статуй, а так же всё, по чему пол узнается: груди, головы... Интерес к полу при таком подходе только обостряется, загоняется в подсознание, в болезненную сферу, порождая ханжескую мораль.

Микеланджело пишет человеческое тело, не умаляя в нем чувственных токов. Но и не забывая его небесного происхождения, благодаря чему оно ориентировано в духовных координатах: рая и ада, верха и низа. Он не отделяет душу от плоти. Это — сгусток мыслящей материи, причастный духовным потокам.

В «Страшном Суде» столько характеров и судеб, что каждый, кто честно вглядывается в происходящее на фреске, найдет в ней и себя.

Небесная твердь — единственная опора, на которой удерживаются праведники и с которой соскальзывают и погружаются во тьму грешники.

Я тоже нашел себя в правом нижнем углу, под занесенным веслом Харона...

Галерея римских портретов. В таком уплотненном множестве я их вижу впервые. Ни дать, ни взять — вагон метро в час пик. Совершенно современные лица, на которых те же заботы, страсти, раздумья.

Мраморнокудрые. Иные лавром увенчаны, обличьем богоравным, иные плешью — мудрости залог. Тот — внятно-зорок, этот — волоок. Рты скорбные иль мечущие громы. Шальные Каракаллы и Нероны, до ужаса знакомые черты... Такие ж точно рожи бронзовели, торчавшие вчера на мавзолее, и ныне захватившие бразды. Смотрю на них отнюдь не с высоты. Плебей. Гимнаст. Возничий. Горожанин. О, этот нашим потрясеньем ранен, на нем двадцатого столетья тень. Вольноотпущенных, трудом галерным повязанных и страхом суеверным, с лихвой прибило в настоящий день. Тем царствовать под сонным зодиаком и жировать, вкушая миражи, пока их не подняли на ножи. Все будут сыты — с гаком или с таком. А праведники скормлены собакам. Пространства обесточенные холод берет за глотку, множа мятежи. И каждый смертный на судьбу наколот. И вечный вой: ты с этими иль с теми?!! Какой-такой Спаситель в

Вифлееме родился? Да и где он, Вифлеем? Угомонись. Кого спасать? Зачем? Назад лет двести, говоришь, родился? Две тысячи? Да ты со счету сбился!..

В зале современного искусства — две работы Сальвадора Дали. Тоненькие, похожие на крылатых муравьев ангелочки. Дали расчетлив и суперрационален. О чем не стеснялся говорить. Во всех его религиозных сюжетах математическая продуманность и пунктуальность. Ни грана мистики, хотя и был он великий мистификатор. Например, в Тайной вечере пространство, в котором помещена горница, расширено, но не запредельно. Видимость, далекая и подробная, ограничивает его. Интересно, что среди апостолов не выделен Иуда. Предательство прикровенно и, по мнению художника, не может быть опознано. Давно известные соображения об Иуде людей глубоко сомневающихся, склонных к самооправданию.

Конечно, художник волен выражать любую идею. Но не любая близка к сакральности. Взять хотя бы его Распятие. Крест с телом тяжело навис над землею. Это совершенно противно евангельскому смыслу голгофы. Голгофа — вертикаль, вознесение, возвышение мира до жертвы. Христос обнимает мир на кресте, устремленном ввысь.

Считается, что эту идею Дали вычитал у Хуана де ла Круса. Но образ поэта-мистика вовсе не претендует на каноническое изображение. Однако этот живописный образ встречается в виде иконы.

Рядом с этим апокрифическим Распятием сопоставимо то, которое изобразил Андрей Вознесенский в своем четверостишии:

— Мама, кто это голенастенький,
Руки в стороны и парит?
— Знать инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

Это взгляд на Христа из толпы людей, стоящих на Голгофе. Глазея и посмеиваясь, они кричали — пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, вот тогда и уверуем. Голгофа совершается и сегодня. Тьмы испытанных острословов тычут в Него пальцем и объясняют своим детям, что это романтик, идеалист, что участь этого «голенастенького» — парить в облаках. Когда на самом-то деле Он взошел на Крест для того, чтобы остаться на земле, чтобы пребывать с теми, кто обращается к Нему. Он спасает не мир вообще, а отдельного человека. Мир всегда был Ему враждебен и неспособен в своей природной общности что-либо «за Ним повторить».

Вчера концерт, посвященный Эскрива. Исполнялись песни, которые он слышал в детстве. Народная и классическая музыка. Хор, скрипка, арфа, флейта, духовые инструменты. Дирижер — эксцентричный и остроумный. Он перемежал номера своими пояснительными заставками. Словом, жестом, пантомимой пояснял музыку. Выходило и остроумно, и к месту. Его изобразительные иллюстрации не мешали музыке, а может быть даже обогащали ее. Дивное контральто. Колыбельная. Душа пела — чистая, глубокая душа...

В 1980 году умер Папа Павел VI. Гроб с телом был выставлен на площади перед собором св. Петра. Сверху положено Евангелие. Было видно, как ветер колеблет и переворачивает страницы...

Двухэтажная электричка. Наверх по трапу поднимаешься, как в салон океанского лайнера. Она летит бесшумно и стремительно, сверху кажется, будто летит на подводных крыльях.

За окном прибранный италийский пейзаж с овцами и стайками сосен... Вдруг — до ужаса знакомые картинки... Уж не Подмосковье ли за окном?! Огороды, мелкие участки черной земли (урожай уже собран), огороженные спинками кроватей, каким-то ржавым железом; телефонная будка без дверцы, тоже ржавая, в ней лопаты, грабли; женщина стряпает на печке-времянке, споласкивает сковороду и выливает тут же, чуть ли не себе под ноги.

Кому-то достижения цивилизации вовсе не нужны, без комфорта им даже удобнее... Сидящий рядом со мной журналист, поборник цивилизованных форм жизни, замечает:

— Главное, комфорт высвобождает больше времени для Бога.

В этом благочестивом соображении есть что-то двусмысленное, с чем я не могу согласиться. Богу не надо «больше» времени, Ему нужна наша верность и в большом и в малом, и тогда получается, что все наше время принадлежит Ему. Как писал Эскрива: «Дай Ему, что можешь, — заслуга не в том, мало это или много, а в том, охотно ли ты даешь».

В уповании на комфорт, который якобы сближает с Богом, есть претензия потребителя, не имеющая ничего общего с евангельским «единое на потребу».

Две недели промелькнули, как этот пейзаж за окном. Человеку, вступившему в преклонный возраст, всё напоминает о быстротечности жизни, о неминуемом ее завершении... Но, как это сказано у Эскривы в одном из его афоризмов, которое я осмелился оправить в четверостишие

Смерть. Никуда от нее не уйдешь...
Но, если в служении миру
Был ты помощник Христа, — не умрешь.
Просто сменишь квартиру.

Свидетельства Меджугорья·

В этом номере мы предлагаем вниманию наших читателей текст беседы, проведенной отцом Ливио Фанцага с Вицкой Иванкович на волнах Радио «Мария» для итальянских слушателей летом 1998 года во время ежегодного молитвенного форума молодежи. Записанная на магнитофон беседа с незначительными поправками была, с разрешения Вицки, распечатана и опубликована на разных языках мира. Русский текст печатается впервые.

Напоминаем: Вицка Иванкович — одна из шестерых визионеров Меджугорья. Когда в этой югославской деревне в июне 1981 года начались чудесные явления Богородицы[1], Вицка была самой старшей из детей, на которых необъяснимо пал Небесный выбор, и они стали день изо дня общаться с Пресвятой Девой Марией, видеть Ее во плоти, дотрагиваться до Нее, разговаривать, петь и молиться вместе. До сегодняшнего дня Вицка и двое других молодых людей продолжают общаться с Госпой (так зовут Богородицу хорваты) ежедневно.

Вицка несла и несет уникальную в своем роде службу: встречается с паломниками. Обычно она появляется на крыльце своего дома и рассказывает вновь прибывшим группам о посланиях Богородицы. Это происходит по нескольку раз в день в течение 22-х лет. Те, кто бывал во дворе Иванковичей на этих встречах, могли заметить, что Дева Мария не только дала Вицке трудное и ответственное поручение, но и щедро одарила ее, наделив проповедническим талантом и ни с чем не сравнимой неугасающей улыбкой. В речи Вицки практически отсутствуют собственные трактовки и домыслы. С детской чистотой и зрелой ответственностью она посвящает себя тому, чтобы как можно вернее принять самой и передать миру послания Божьей Матери. Этим служением объясняется и то, что Вицка последней из шестерых вступила в брак, суженый ждал ее решения почти два десятка лет.

ВИЦКА ОБРАЩАЕТСЯ К МОЛОДЫМ

Отец Ливио: *Сердечно приветствую всех слушателей Радио «Мария». Мы находимся в Меджугорье, где проходит фестиваль молодежи. Я участвую в нем впервые и должен сказать, что это необыкновенное переживание. Приехало, по меньшей мере, тысяч десять молодых людей со всего мира, чтобы слушать посла-*

· О назначении и содержании рубрики см. в № 117: *Игорь Виноградов. По поводу новой рубрики и книги сестры Эммануэль.* Главы из книги сестры Эммануэль печатались в №№ 117 и 118. Текст книги предварен автором следующим заявлением: «Употребляя выражение "Пресвятая Дева явилась...", мы никоим образом не предваряем заключения Церкви о подлинности явлений Пресвятой Девы в Меджугорье. Здесь приводится лишь наше личное мнение, а также мнение свидетелей событий, происходящих в Меджугорье в настоящее время. Мы заявляем, что публикуем эту книгу с целью информировать о происходящем и подчинимся решению Церкви, как только оно будет оглашено». Редакция «Континента» полностью разделяет такую позицию.

[1] См. об этом в № 115: Я даю тебе свою любовь, передавай ее дальше. *О явлениях Богородицы в Междугорье.*

ния Царицы мира. Чувствуется огромная вера и энтузиазм, который передается нам, людям старшего возраста.

Особенно много здесь молодежи из Восточной Европы, но также много итальянцев, среди них большая группа тех, кто ходит на катехизацию Радио «Мария».

Программа очень насыщена, мы заняты с утра до поздней ночи, особенно во время молитвенных встреч. Думаю, Божья Матерь очень довольна этим множеством прибывшей молодежи, наполняющей наши сердца надеждой на будущее. А сейчас я передаю микрофон Вицке, чтобы она могла донести до всех слушателей послания Богородицы.

Вицка: Сердечно приветствую всех слушателей Радио «Мария». Я очень рада этой возможности, этому дару, что отец Ливио находится здесь со мной и что мы можем провести вместе несколько дней. Еще больше радуюсь тому, что могу передать вам слова, которые Божья Матерь говорит мне, чтобы я доносила их до всех вас.

Главные призывы Госпы, адресованные ко всем, это молитва, мир, обращение, исповедь и пост. Богородица хочет, чтобы мы ежедневно читали три части святого Розария: тайны радостные, скорбные и славные[2]. Она просит также, чтобы мы постились на хлебе и воде каждую среду и пятницу. И особенно призывает нас просить у Бога сильной веры.

Когда Богородица призывает нас к молитве, Она не хочет, чтобы мы молились одними лишь словами и устами, Она настаивает, чтобы мы прилагали усилия и старались день ото дня все больше открывать свои сердца так, чтобы молитва становилась для нас радостью.

Говоря об этом, Госпа воспользовалась прекрасным примером. У всех вас, говорит Она, есть дома цветы в горшках, которые вы регулярно поливаете и наблюдаете за ними. Вы видите, как ваше растение растет, пока, наконец, не распустится прекрасным цветком. То же самое происходит с нашим сердцем. Если ежедневно оживляем наше сердце молитвой, то оно возрастает и распускается, как цветок. Но если мы на какое-то время перестанем заботиться о нашем растении, то вскоре заметим, как оно начинает вянуть и может вовсе погибнуть. Нечто подобное происходит с нашим сердцем, когда ему не хватает молитвы.

Божья Матерь говорит, что мы находим множество отговорок, когда приходит время молитвы. Часто говорим себе: «Я устал, я сейчас не настроен молиться, сделаю это завтра». Но на следующий день снова откладываем молитву на «потом». И таким образом отрываемся от нее, а наше сердце отдаляется от Бога. Богородица хочет, чтобы мы поняли, что как цветок без воды, мы не можем жить без благодати Божьей, которую получаем в молитве.

Молитва сердцем — это не то, чему можно научиться, слушая лекции или читая книги. Такой молитве мы учимся изо дня в день, впитывая ее всем сердцем и продвигаясь понемножку вперед.

---

[2] Многовековая католическая традиция молитвы на четках имеет сходство с «Богородичным правилом» св. Серафима Саровского. Полный Розарий включает три круга молитвы на четках. Это 150 «Радуйся, Мария...», это три части размышлений о жизни Иисуса и Марии. С октября 2002 года Папа Иоанн Павел II дополнил этот способ молитвенного созерцания, введя четвертую часть святого Розария — тайны Светлые.

Следующая просьба Божьей Матери — пост два раза в неделю. Если кто-то из вас болен, не обязательно поститься на хлебе и воде. Достаточно будет пожертвовать каким-то отказом от того, к чему вы особенно привязаны. В то же время те, кто вполне здоров, пусть не боятся, что пост вызовет у них какое-нибудь физическое расстройство. Божья Матерь говорит, что если поститься с большой любовью к Богу и к Ней, то все трудности легко преодолимы. Единственное, чего нам не хватает, чтобы поститься — это сильная воля.

Богородица призывает нас к полному обращению. Мария говорит, что когда возникают проблемы и трудности, мы думаем, что Она и Иисус где-то далеко от нас, но на самом деле это не так. «Нет, дорогие деточки, — говорит Она, — мы всегда рядом с вами! Вы только откройте свои сердца и тогда сумеете увидеть, как горячо Мы вас любим».

Госпа просит нас также о маленьких отречениях, но более всего Она радуется, когда мы отказываемся от зла и от греховной жизни. Тогда Мария передает нам свой мир и всю свою любовь. «А вы, — говорит Она, — несите это в ваши семьи, к вашим друзьям и знакомым». Божья Матерь благословляет нас и Сама молится за всех нас.

Пресвятая Дева говорит, что особенно приятно Ей было бы, если бы в наших коллективах, общинах и семьях мы вместе молились на четках. Она несказанно радуется, когда родители молятся вместе с детьми, а дети с родителями. Когда семьи объединяются в молитве, сатана не способен им навредить. Кроме того, Богородица хочет объяснить нам, что сатана неутомим, он действует непрерывно, отвлекая нас от молитвы и нарушая наш покой. Поэтому Мария умоляет нас быть постоянными в молитве. «Сильнейшее оружие против сатаны, — говорит Она, — это розарий в руке». Она рекомендует также иметь при себе освященные предметы (крестик, медальон или еще что-то), это будет знаком против сатаны и свидетельством, что вы принадлежите Ей.

Особо Божья Матерь акцентирует наше внимание на том, чтобы поставить на первое место Божественную Литургию. Это важнейший и самый священный момент, потому что Сам живой Иисус приходит к нам и мы принимаем Его в свои сердца. Госпа призывает приступать к Нему без боязни, однако не забывать, что к этому событию нужно готовиться достойно и с любовью.

Богородица призывает нас чаще приступать к исповеди, по крайней мере раз в месяц, в соответствии с нашей потребностью. Однако мы не должны ограничивать исповедь простым перечислением грехов. Она должна нас менять! И мы должны поставить задачу изменяться и становиться новыми людьми, прося у священника совета, чтобы совершенствоваться на своем духовном пути.

Госпа очень обеспокоена положением молодежи во всем мире. Ситуация молодых в наше время очень-очень трудна. Каждый из нас может помочь молодым людям, делясь с ними нашей любовью и сердечной молитвой. Дорогая молодежь! — обращается Богородица. — Все, что предлагает вам сегодня этот мир, мимолетно, и вы сами можете заметить, как сатана использует ваше свободное время для своей корысти. Сегодня, продолжает Мария, сатана необычайно активен. Он старается направить молодых на дурной путь и внести раздор в наши семьи. Именно поэтому Мария призвала нас целый год молиться за молодежь, а потом попросила еще об одном годе молитвы о молодежи и семьях.

Богородица многократно повторяет, что сейчас продолжается время великой благодати, когда мы призваны принять Ее послания и начать ими жить. Она просит нести Ее мир и любовь другим и молиться о мире во всем мире. Но сначала мы должны обрести мир в собственных сердцах, реализовать мир в своих семьях, коллективах, общинах. «Если вы молитесь о мире на земле, а в своих сердцах не имеете мира, то такая молитва не представляет особой ценности».

В последнее время Богородица просит нас прежде всего молиться в Ее интенциях и за Ее особый план. Она просит, чтобы мы ежедневно брали в руки Библию и читали несколько стихов, а потом, в продолжение дня, старались жить ими. Она просит также молиться за Святого Отца, за епископов, священников, за всю Церковь, которая очень нуждается в наших молитвах. В последнее время Божья Матерь особенно призывает нас молиться о реализации Ее плана, который должен осуществиться. Она приглашает нас молиться в Ее интенциях и помогать Ей нашими молитвами[3]. Но Ее особой заботой продолжает оставаться молитва о молодежи и семьях.

Отец Ливио: *Спасибо тебе, Вицка, за такое ясное представление посланий, которые через тебя дает всем нам Божья Матерь. Уже столько лет тебя слушаю и снова убеждаюсь, что твое обобщение указаний Богородицы каждый раз обогащается чем-то новым, что Она тебе передает. Вместе с тем сам замечаю, что в последнее время Госпа (прежде всего посредством общения с тобой) являет миру Свою материнскую тревогу о молодежи, которая слишком часто сворачивает на дурной путь и проявляет озабоченность по поводу распадающихся семей.*

Но сейчас я хочу, чтобы ты рассказала нам больше о самой Богородице, — например, о том, как Она выглядит.

Мы знаем, что с 25 июня 1981 года Божью Матерь видят шесть человек. Однако в настоящее время Мирьяна и Иванка видят Ее только раз в году. Ты, Иван, Яков и Мария видите Ее ежедневно[4]. В связи с этим, Вицка, расскажи нам, как происходит явление.

Вицка: Да, четверо из нас продолжают иметь ежедневные явления, хотя время от времени Госпа просит меня о жертве — о каком-нибудь перерыве в наших встречах. Я все это принимаю с открытым сердцем[5].

---

[3] В своих посланиях Дева Мария подчеркивает, что без наших молитв Она не может сделать ничего. Меджугорское явление напоминает, что все мы — один народ, одна община, состоящая из Церкви, странствующей здесь, на земле, Церкви, страдающей в чистилище, и Церкви, ликующей на Небе. Вершина и жемчужина сонма святых, Пресвятая Богородица призывает соединить наши молитвы со Своими.

[4] Эта беседа имела место 3 августа 1998 года. Спустя несколько недель, 12 сентября, у Якова было последнее ежедневное явление. Богородица открыла ему последнюю десятую тайну и обещала впредь являться к нему 25 декабря в праздник Рождества Христова.

[5] До дня этой беседы Божья Матерь четыре раза просила Вицку о перерыве в своих явлениях, каждый из которых длился по 40 дней. А в 1998 году таких сорокадневных перерывов было два.

Итак, перед появлением Богородицы мы видим три вспышки света. Это знак, что Она приближается. Появляется Она обычно в сером платье с белым покрывалом. У Нее черные волосы и голубые глаза, ноги стоят на сером облаке, а вокруг головы двенадцать звезд. По большим праздникам, например, на Рождество или Пасху, в день Ее рождения (5 августа) или в годовщину явлений (25 июня) Божья Матерь появляется в золотом платье. Каждый раз на Рождество Христово Мария приходит с маленьким, только что родившимся Иисусом-Младенцем на руках. Несколько лет назад в Страстную Пятницу Госпа появилась рядом с избитым окровавленным Господом Иисусом в терновом венце и сказала нам: «Я хотела вам показать, как много выстрадал Иисус за нас всех».

Все, что я вам описала до сих пор, касается лишь Ее внешности, потому что саму личность Богородицы невозможно описать никакими словами. Божью Матерь нельзя воспринимать как статую. Она — живая, Она разговаривает, рассказывает, поет, иногда улыбается, а порой даже смеется.

Когда у Божьей Матери или у кого-то из нас выпадает день рожденья, Она обнимает нас и целует. Она делает это совершенно так же, как каждый человек, так же, как делаем это мы с вами.

Отец Ливио: *Глаза и голос часто и у нас, простых людей, выдают, что у человека в душе. А не могла бы ты чуть больше рассказать о глазах и голосе Богородицы?*

Вицка: Глаза у Нее голубые, но такой голубизны здесь на земле не бывает. То же самое можно сказать о Ее голосе. Невозможно с твердостью сказать, поет Она или говорит.... Слушаешь Ее, как неуловимую мелодию.

Отец Ливио: *Сейчас явления длятся, как правило, пять-десять минут. В первые годы они были более продолжительными, иногда больше получаса. Помню, когда-то я читал с тобой Розарий у тебя дома в комнате, где происходят явления, вдруг пришла Богородица и, к моему величайшему изумлению, пробыла с тобой целых 45 минут. Что вы, визионеры, делаете в ходе явлений?*

Вицка: Только от Божьей Матери зависит, как долго Она с нами пробудет. Если в обычной жизни мы всегда замечаем, сколько времени прошло, полчаса или час, то в момент явления время как бы перестает существовать. Ты оказываешься в ситуации, которую нельзя пересказать, очень отличной от нашей. И лишь после окончания явления мы можем проверить, сколько времени прошло.

Отец Ливио: *И что вы делаете все это время, длительность которого вы определить не можете? И что делает Госпа? Как обычно протекает само явление?*

Вицка: Когда Госпа является, Она всегда приветствует нас словами: Слава Иисусу Христу! А дальше все зависит от Нее. Если Она начинает молиться, мы тоже молимся. Если говорит, мы Ее слушаем, когда дает какие-нибудь указания, мы их принимаем, а когда о чем-нибудь просит, соглашаемся. Все зависит от Нее. Я, в основном, ограничиваюсь слушанием, только прошу Ее о людях, а когда есть возможность, задаю вопросы. Кроме того, представляю Богородице просьбы и нужды всех людей, которых встретила в течение дня и которые просили меня о молитве, особенно больных.

Отец Ливио: *Вицка, ты в течение дня встречаешь такое множество людей, которые просят, чтобы ты поручила их Божьей Матери. Многие из них, особенно американцы, приносят тебе целые коробки писем, и ты заносишь их в комнату явлений. Когда ты все это преподносишь Богородице, что Она с ними делает? Она тебя выслушивает?*

Вицка: Конечно, выслушивает! Во время встречи я говорю Мадонне: «Ты знаешь, сколько людей пришло с того момента, когда я встала, знаешь все их нужды. Говорю Тебе о них только потому, что я им обещала». Ну а потом сама молюсь о них и вверяю их Марии. Такова моя задача. А остальное делает Госпа.

Отец Ливио: *Многие считают, что им крупно повезло, что удалось добраться до тебя и попросить, чтобы во время явления ты их поручила Божьей Матери. А не кажется ли тебе, что Богородица и так их выслушает, если они будут молиться с верой?*

Вицка: Ну, конечно же! Часто ко мне приходят паломники с вопросом: можно ли написать письмо и передать его в момент явления. Не вижу в этом никакой проблемы и жду, пока они напишут. Однако Мария читает в твоем сердце и в твоей душе, Ей не нужно читать никаких билетиков. Она прекрасно знает, что ты сюда прибыл, и видит все твои проблемы. Если кто-то не может приехать в Меджугорье и пишет свои просьбы — привези их. Но если ты здесь находишься сам, незачем писать, Божья Матерь и так все знает.

Отец Ливио: *Богородица часто говорит: «Я — ваша Мать и люблю вас». Скажи, Вицка, как ты воспринимаешь Божью Матерь? Как маму?*

Вицка: Что касается меня, то не могу сказать, что воспринимаю Ее как маму. У меня дома есть мама, с которой я общаюсь совершенно по-другому. А Марию скорее воспринимаю как подругу. Понимаешь, Госпе не 60 лет, как моей маме. Она молоденькая!

Отец Ливио: *А сколько лет Ей дашь на вид?*

Вицка: Лет двадцать. Всегда Она такая юная и прекрасная. Именно поэтому вижу в Ней скорее подругу, чем мать. И в то же время это не такая подруга, которая редко тебя навещает, а, придя, почти не слушает тебя. Это настоящая подруга, которой все можно сказать и которая все примет близко к сердцу. Вижу, как Она одаривает каждого огромной любовью, как молится за каждого из нас. Она очень терпелива, ведь каждый день Она приходит с неба сюда на землю, чтобы сказать нам: «Если б вы знали, как вас люблю, вы бы плакали от радости!».

Мы, к сожалению, не понимаем этой любви! Поначалу воспринимаем ее, а потом быстро забываем. Богородица как мать говорит нам, что всех нас Она любит одинаково. Она не любит Вицку больше, чем отца Ливио или кого-то другого. Мне достался этот замечательный дар явлений, но при этом я никогда не сказала бы, что Божья Матерь меня любит больше других, я знаю, что остальных Она любит точно также. Я всего лишь слуга, я должна помогать другим. Так решил Бог. Но Госпа изливает на всех точно такую же любовь.

Отец Ливио: *Случалось ли тебе делиться с Богородицей какими-то личными делами и нуждами или просить совета и помощи?*

Вицка: Может, это покажется невероятным, но я никогда не обращалась за личным советом, потому что считаю, что Богородица и так одарила меня сверх всякой меры, выбрав меня для своих явлений. А когда Она дает через меня послания, я прежде всего воспринимаю их для себя, а потом уже для других. Мне кажется, то, что я стараюсь жить посланиями, которые от Нее получаю — это само по себе Ее большой совет. Жить посланиями, претворять их в жизнь и передавать другим — это уже очень много.

Отец Ливио: *Расскажи, чем заканчивается явление и как ты после него себя чувствуешь?*

Вицка: Матерь Божья приветствует нас, когда приходит, а когда уходит, снова приветствует нас словами: «Идите в мире Божьем». Благодаря этому мы понимаем, что явление подошло к концу. Я чувствую себя прекрасно, потому что жду, что на следующий день Она снова придет. Вероятно, все было бы по-другому, если бы Она сказала: «Ухожу и больше не вернусь». Не знаю, не могу сказать, пока этого не случилось.

Но однажды наступит минута, когда Матерь Божья скажет: «Я и так слишком долго оставалась здесь, вот пришло время окончания явлений». И я должна буду сказать Богородице: «Благодарю Тебя за все милости, за все эти дни и годы, на протяжении которых Ты мне давала этот бесценный дар». Мне кажется, что в тот момент буду благодарить Ее без грусти и постараюсь сделать все, чего Она ждет. Когда не будет возможности видеть Ее глазами, попытаюсь видеть сердцем, Она ведь всегда с нами.

Отец Ливио: *Выдающийся святой Гриньон де Монфор сказал когда-то, что Мария — это рай Божий. Что ты об этом думаешь?*

Вицка: Думаю, он хорошо сказал. Ни прибавить, ни убавить. Именно так и есть!

Отец Ливио: *Поговорим теперь о вещах, касающихся молодежи. Здесь, на фестивале, находятся тысячи молодых людей, приехавших в Меджугорье по призыву Царицы Мира. Однако на свете есть множество юношей и девушек, которые не представляют, как распорядиться своей жизнью. Не случайно Богородица говорит, что молодые сегодня находятся в исключительно трудной ситуации. Как, по-твоему, до этого дошло?*

Вицка: Божья Матерь не раз выражала беспокойство по поводу молодежи и семей, но о молодежи, кажется, Она тревожится больше. Думаю, в том, что молодой человек утрачивает веру, надежду и упование, виновата во многом и семья. Если бы мы молились вместе в семьях, как просит об этом Богородица, наверняка бы до этого не дошло. Понятное дело, это не означает, что мы должны молиться целыми днями. Хотя бы десять-пятнадцать минут. Важнее всего то, что хоть немного мы молимся вместе. На самом деле каждый идет своим собственным путем: родители работают, им некогда заниматься своими детьми, в свою очередь дети уходят из дома и поздно возвращаются. И так ни у кого нет времени друг для друга, и молодые выбирают гибельный путь.

Но когда семья представляет единство и находит время, чтобы собираться вместе, то в ней не бывает таких проблем. А если и появляются, то их

быстро удается разрешить, потому что есть взаимопомощь и все ошибки у семьи на виду.

Сейчас, к сожалению, почти все семьи похожи. Ребенок, приходя домой, даже не здоровается с родителями, а те вечно жалуются на нехватку времени, всегда куда-то спешат, у них ведь так много более важных дел! И вот так, изо дня в день, из года в год семья разрушается, а дети полностью отдаляются от Бога.

Отец Ливио: *Вицка, скажи нам, что можно посоветовать в той ситуации, когда проблема зашла уже далеко, когда дело дошло до полного распада семьи и никто никого не хочет понять?*

Вицка: Госпа говорит, что одними только нотациями мы ничего не добьемся. Только личным примером и молитвой мы можем достучаться до сердец молодых людей. Когда их отчитываем, мы рискуем еще больше их отдалить от себя, потому что они не готовы принимать наши слова. Сначала мы должны приготовить их сердца, но одновременно раскрепостить для них и свои собственные сердца.

А когда они задают вопросы, мы должны быть готовы на них ответить. Но пока наши дети замкнуты в себе, они не имеют к нам вопросов, и все наши слова сыплются впустую, пока в сердцах подростков нет места для наших слов.

Отец Ливио: *Мне кажется, ты хочешь этим сказать, что добротой, жизненным примером и благодатью, исходящей от молитвы, мы можем тронуть молодые сердца и привлечь их к себе настолько, что дети сами начнут задавать нам вопросы. Только тогда наши слова найдут в их сердцах подходящую почву.*

Вицка: Да, все именно так, как ты говоришь. Возьмем, к примеру, воскресенье. Конечно, невозможно молиться целый день, но, к сожалению, случается так, что всевозможные занятия в семьях — друзья, развлечения — оказываются важнее Господа Иисуса. Не хватает времени на церковь. И сразу видно, что в этой семье Бог не стоит на первом месте.

Божья Матерь призывает нас радикально измениться и отвести Богу первое место в нашей жизни. А все остальное потом приложится. Если мы не поставим Бога на первый план, мы не сумеем двигаться вперед; наоборот, будет все хуже и хуже. В этом смысле каждый из нас сам знает, что он должен изменить, и мне нет нужды об этом говорить.

Отец Ливио: *Кто виноват в таком положении вещей? И кто должен измениться: родители или дети?*

Вицка: В нашем случае, о котором речь, должны измениться все, отведя Богу первостепенное место в своей жизни. Однако в семье должно быть ясно, на ком лежит наибольшая ответственность. Я, например, не могу о себе сказать, что я важней других в моей семье. Нет, я скорее занимаю последнее место или где-то посерединке, учитывая возраст. Самые главные у нас в семье — родители, за ними идем мы, дети, и мы должны их слушаться, быть простыми и готовыми помочь, даже когда речь идет о самой неблагодарной работе.

Милые, никоим образом не собираюсь вас осуждать. Говорю, как ваша подруга, лишь потому, что хочу вам добра, и поэтому даю вам кое-какие советы. В

наши дни дошло до того, что родители ради своих детей готовы на все, и всякие материальные блага, которые на самом деле не так существенны, ставятся на первый план. Даже семи-восьмилетний мальчик требует себе мотоцикл, чтобы кататься на нем, где захочет. Молодежь совсем не задумывается над тем, какие возможности есть у родителей. Если чего-то хотят, добиваются этого любой ценой, даже когда точно знают, что таких денег в семье нет. Начинается ругань с отцом, с матерью, со всей семьей, и это добром не кончается.

Сейчас, например, много говорится о любви, но на самом деле любовь в системе ценностей занимает последнее место. Это относится и к супружествам. Ясно, как должны себя вести помолвленные парень и девушка. А между тем, как ни в чем не бывало, они говорят родителям: «Иду с моим парнем, куда хочу, и делаю, что мне нравится». Таким образом, часто еще перед вступлением в брак они уже все попробовали и все у них закончилось. Естественно, кто так себя ведет, не имеет в сердце радости, потому что не воспринимает жизнь как дар. Хотел взять от жизни все и бросился на нее, как на добычу, как будто кто-то ее отбирает.

Отец Ливио: *К сожалению, многие семьи именно так и выглядят. Но что же делать, чтобы все восстановить и начать сначала?*

Вицка: Если семья хочет быть крепкой, она должна на первое место поставить диалог. Нужно пытаться поговорить друг с другом, выяснить, что подходит одной и другой стороне. Нужно вернуться к семейной молитве, начиная с малого, двигаться вперед. Например, сегодня произнесем только «Отче наш», потом больше.

Если молодой человек начнет молиться хоть чуточку, жизнь его изменится, начнет расцветать, потому что Бог ждет тебя! Бог всегда тебя ожидает и стремится осыпать тебя множеством даров, но Он не может дать их тебе, если ты не жаждешь их принять. Бог не разбрасывает своих даров, но терпеливо ждет того момента, когда чье-то сердце, чья-то душа раскроется, чтобы их принять. Если кто-то взывает к Нему, Он готов тут же ответить и одарить тебя Своей благодатью!

Родные, обращаюсь к вам от всего сердца, ибо чувствую призыв Матери Божьей и всю огромность Ее материнской заботы. Сужу об этом не только по Ее словам, но и по Ее виду. Понимаете? Когда Мария укоряет нас, Она улыбается, и эта улыбка дает надежду. Но за улыбкой проглядывает Ее великое страдание. Я должна вам об этом сказать, потому что вижу это собственными глазами. Говорю, чтобы вы задумались и подвергли испытанию свою совесть. Посмотрите, что в вашем сердце не так. Богородица всегда вас ждет и любит.

Отец Ливио: *Тот факт, что ты в улыбке Марии замечаешь великое страдание, особенно когда речь идет о молодежи, меня настолько тронул, что благодаря ему я понял Ее материнское сердце. Это одна из прекраснейших вещей, которые я слышал от вас, визионеров! Сегодня мы оказались в ситуации, когда всему поколению молодых грозит утрата Бога, а вместе с этим утрата радости жизни и самого смысла жизни. Матерь Божья предостерегает молодых, говоря, что сатана использует в своих целях их свободное время. Что, по-твоему, имеется ввиду?*

Вицка: Думаю, что в сложившейся ситуации задача сатаны упрощена. Он прекрасно видит, что уже немного осталось сделать. Готов напасть на нас в любой момент, поскольку мы сами развязали ему руки. Если ежедневно мы оставляем ему хоть чуточку места, он обязательно проскальзывает в то место, а потом не желает оттуда выходить, ведь мы сами его допустили. Чаще всего делаем это бессознательно, а он, пользуясь этим, проникает в семьи, разбивает их и подталкивает молодых к наркомании или на другие гибельные пути.

Вспоминаю, что рассказала мне Мирьяна. Когда-то, будучи в Сараеве, она в ожидании явления начала молитву Розария. Вдруг появился какой-то очень симпатичный молодой человек и начал дурно говорить о Богородице: «Зачем ты это делаешь, Мирьяна? Что тебе дает Божья Матерь? Ничего! Она требует от тебя молитв, отречений и жертв. Зато я дам тебе богатство, дам тебе все, что пожелаешь, только оставь Божью Матерь». Это типичная тактика сатаны. Это он искушает, говоря: «Дам тебе то и это», — и предлагает нам тысячи возможностей, только бы мы оставили Богородицу. Мирьяна взглянула на этого мужчину, встретила его пронизывающий взгляд и ощутила острое беспокойство. Она вышла и убежала оттуда. Через несколько минут к ней явилась Госпа и сказала: «Мирьяна, сатана не всегда появляется в отвратительном виде, чтобы нас напугать. Часто он принимает красивую внешность, чтобы легче было нас обмануть».

Отец Ливио: *Когда-то в пустыне сатана пробовал искусить Христа, подсовывая ему всякие блага этого мира, поэтому не стоит удивляться, что он и нас пытается поймать на тот самый крючок, особенно молодых. Но послушай, Вицка, что бы ты посоветовала молодому человеку, если он забеспокоился, начал понимать, что движется не в том направлении? Допустим, он несчастен, но далек от Бога и не имеет мужества обратиться к Нему. Что, по-твоему, он должен делать?*

Вицка: Не говори, отец, что не хватает мужества, скорее, нет желания. Это две абсолютно разные вещи. Когда кто-то действительно хочет, он найдет тысячи способов. Достаточно сказать: «Я ошибся и хочу вернуться». И проблемы нет. Но когда молодой человек говорит: «хочу вернуться», а сам в глубине души надеется, что будет продолжать держаться своих пороков, то таким путем он не достигнет ничего. Нужно понять это всем сердцем и ответственно сказать себе: «Я решаю оставить моих друзей, которые вовлекают меня в порок. Оставляю все, чтобы спасти свою душу». Думаю, это правильная очередность: задуматься, обозначить цель, а потом принять решение.

Наверняка ты сам часто разговариваешь с молодыми, они о многом спрашивают, а потом так и не принимают никакого решения. Мы, молодые, выкручиваемся на тысячи ладов, прямо как тот парень, который не находил повода, который заставил бы его измениться. Но мы должны быть серьезны и знать, чего хотим, решаясь бросить все, что портит нашу жизнь. Лишь тогда мы будем в состоянии просить у Бога благодати, которую Он всегда готов дать в преизбытке. Стоит только всем сердцем решиться: «Не хочу больше идти дурным путем, хочу познать Бога и следовать за Ним». Бог всегда готов отозваться на нашу добрую волю.

Отец Ливио: *Вицка, мы подошли к теме, которую Божья Матерь затрагивает довольно часто. Мария напоминает нам о великом даре свободы, которым наделил нас Бог, и побуждает нас к рефлексии над этим фактом. Много раз Богородица говорила, что не хочет нас принуждать, что пришла призвать нас к тому, чтобы мы добровольно выбрали Бога из любви к Нему Самому. «Решитесь на Бога», — повторяет Она в разные моменты. Но молодой человек, к сожалению, не всегда осознает последствия того, что он выбирает.*

Вицка: Но у него есть полная свобода выбора! Он волен выбрать зло, но также свободен решиться на перемену. Если хочет, он может попросить у Бога этот дар и вернуться к Нему. Отец ждет с распростертыми объятиями.

Отец Ливио: *Что ты могла бы посоветовать родителям, чей ребенок не хочет их слушать, упорствует, оставаясь на гибельном пути? Есть ли какой-то способ вернуться к диалогу? Ты сказала, что слова ничего не дают. Что в таком случае они должны делать?*

Вицка: Прежде всего запастись терпением. Мы не можем сразу твердить, что молодой человек ужасен. Может быть, он как раз ждет от своих родителей терпимости по отношению к себе. Порой родители подвергаются испытанию именно для того, чтобы они сами увидели, что должны давать ребенку что-то большее или что-то иное, что в действительности они не дают ему ничего ценного. Возможно, Бог хочет их испытать и приготовить к тому, чтобы в подобных ситуациях они были способны выйти навстречу своему ребенку.

Когда конфликт уже произошел, лучше всего подождать и помолиться в тишине. Если выйти на разговор пока не удается — что ж, наберитесь терпения! Ничего не выйдет, если, входя в дом, начнешь ворчать на ребенка: «Чего не откликаешься?» Лучше уж ничего не говорить, потому что если начнешь говорить в неподходящий момент, ты лишь ухудшишь положение. Самое правильное — это оставить его в покое и молиться в тишине вместе с супругом и другими членами семьи за своего ребенка. Увидишь, что постепенно твой ребенок начнет меняться.

Отец Ливио: *Будем надеяться. Нужно верить и ожидать лучшего, как святая Моника — мать святого Августина. Всю жизнь она молилась об обращении своего сына. И что же? Результат превзошел все ожидания, это было поистине свидетельство бесконечного милосердия Божьего!*

Послушай, Вицка, Богородица говорит, что сатана особенно усердствует в разрушении наших семей. Не кажется ли тебе, что эта хрупкость супружеств зависит также и оттого, что многие молодые люди не готовятся к браку серьезно?

Вицка: Да, не готовятся! Конечно, нельзя назвать хорошей подготовкой то, что перед вступлением в брак люди по нескольку лет сожительствуют вместе. И лишь потом они задумываются о том, подходят ли они друг другу. Не должно так быть, это недопустимо! К сожалению, венчанию в наши дни не отводится первостепенной роли. Перед тем, как будет принято решение о браке, нужно взвесить многие моменты, не достаточно сказать «люблю тебя». Слова «я тебя люблю» должны означать, что ты готов посвятить себя другому человеку.

В наше время часто бывает так, что молодые женятся, а через несколько недель расходятся, объясняя, что они не подходят друг другу или что не находят общего языка. Спрашивается, что они делали в годы своей помолвки, когда жили вместе? Раз не сумели друг друга как следует узнать, значит потеряли время зря. Сатана нашел лазейку, ему удалось войти в этот союз и начать там действовать. И он не остановится, пока не доведет семью до распада. Это огромное зло, и не без основания Божья Матерь призывает семьи сохранять бдительность, потому что без совместной молитвы нет единства в семье. Я уже говорила, что как цветок не может жить без воды, так семьи не могут процветать без благодати Божьей.

Отец Ливио: *По-моему, не нужно ждать свадьбы, чтобы начать молиться вместе. Уже в период помолвки нужно вдвоем начинать духовный путь, особенно путь молитвы.*

Вицка: Ну конечно! К супружеству нужно готовиться с молитвой. И потом, когда оба чувствуют себя готовыми, очень легко сказать друг другу: «Да, мы готовы». Однако когда подготовка идет с молитвой, молодая пара начинает понимать, что нужно быть готовыми на страдание для другого человека, не ждать, что все пойдет легко. Двое молодых женятся и думают, что им предстоит жить и развлекаться. Нет! Их ждет любовь, ответственность, жертвенность, постоянное пребывание вместе. Они должны строить семью, думать о детях, чтобы те появились на свет в настоящей семье, а не в такой, какие они сейчас. И это невозможно без молитвы и единства.

Отец Ливио: *Послушай, Вицка. К сожалению, есть еще одна серьезная проблема, касающаяся молодежи, которая, честно говоря, не знает, зачем живет, не видит смысла и ощущает огромную пустоту в душе.*

Вицка: Жизнь — это бесценный дар. Это Бог дал жизнь каждому из нас. Если я родилась, значит, была какая-то причина, что так случилось. Если ты появился на свет, значит, был тому повод. И это касается каждого существа. Нет людей ненужных! Это мы сами приводим себя к гибели, но у Бога есть план о каждом из нас. Хотела бы обратиться ко всем, кто не видит смысла жизни. А может быть вы ни разу не приложили усилия, чтобы жить? Не посвящали себя другим, были бесполезны, только и ждали внимания к себе других? Мне случается разговаривать с молодежью. И вот однажды пришла какая-то шестнадцатилетняя девушка и говорит: «Вицка, я устала от жизни и хочу умереть». «Как это? — ответила я. — Ты хочешь умереть, когда тебе 16 лет, когда только начала жить? Ты не представляешь даже, как прекрасна жизнь, какой это величайший дар!»

Отец Ливио: *В своих посланиях Божья Матерь говорит о красоте и осмысленности жизни, когда проходишь ее с Богом.*

Вицка: То, что сказала Божья Матерь, я повторяю по собственному примеру: жизнь красивая-прекрасивая! Это воистину величайший Божий дар! Но мы должны сделать Бога основой нашей жизни и через Него упорядочить и организовать нашу жизнь для достижения конкретных целей.

Но как разглядит красоту жизни молодой человек, который вечером отправляется на дискотеку и там остается до рассвета? Вернувшись домой, он спит до вечера, чтобы потом снова пойти на дискотеку. Парень или девушка растрачивают свою жизнь ради этой отупляющей музыки и наркотиков, которые не позволяют увидеть действительную красоту вещей. Ничего удивительного, когда после этого человек утверждает, что жизнь отвратительна.

Отец Ливио: *Задам тебе несколько провокационный вопрос. Чему, в конечном счете, служит жизнь? Зачем мы существуем на этом свете? Чтобы ты ответила на такой вопрос молодым?*

Вицка: Чтобы понять ценность жизни, нужно обратиться к Богу. И нам станет ясно то, о чем я уже сказала, что каждый из нас должен выполнить свою задачу. Бог дал жизнь тебе и мне и всем нам для того, чтобы мы выполняли Его план, который Он приготовил для каждого из нас. Для начала мы должны постараться хорошо жить каждый свой день. А затем, чтобы твоя жизнь не была бесполезной, приглядись, кто нуждается в твоей помощи. Начни помогать, не скупись на улыбку, поболтай немного. Сходи проведать больного или отправься туда, где ты мог бы пригодиться. Тогда почувствуешь, насколько ценна твоя жизнь!

Мы должны стараться любить, и, беря на себя труд любви, мы лучше узнаем самих себя. Пока не обращаем внимания на ближнего, мы не представляем, насколько мы способны любить и сколько готовы сделать для других.

Кто-то говорит, что никогда не испытывал любви, что даже не знает, что это такое. Но когда начинает любить, переживать, тогда любовь становится бесконечной радостью. Поэтому Богородица и сказала, что здесь, на земле, мы прохожие, но жизнь длится вечно.

Отец Ливио: *Несомненно, чтобы ощущать ценность жизни, нужно уметь смотреть в вечность. Иначе ничто нас не будет устраивать. Меня, однако, беспокоит, что многие молодые живут в страхе и боятся будущего. Я бы даже сказал о своего рода психической блокаде, которая не позволяет им принимать долгосрочных решений, брать на себя какие-либо обязанности.*

Вицка: Да, согласна. Но откуда эти опасения? Причину следует искать в том, что люди боятся вещей еще более отдаленных, которые, может быть, никогда не случатся. Божья Матерь, наоборот, призывает не беспокоиться о завтрашнем дне. Она приглашает нас всегда сосредоточиваться на том, что нужно сделать сегодня, минута за минутой.

Многие ждут скорого конца света или каких-то глобальных катастроф. Порой кто-то приходит ко мне и говорит: «Вицка, будет три дня темноты, а потом в 2000 году наступит конец света». «А кто это сказал? — спрашиваю я. — Божья Матерь? Где? Здесь? Впервые слышу!» Не слушайте этого, это неправда! Богородица никогда не обращается к нам с тем, чтобы напугать. Она всегда разговаривает так, чтобы дать нам надежду. Что будет дальше, знает только Бог, мы не должны бояться будущего. Все эти разговоры вносят смятение, а молодежь не представляет, что им с этим делать.

Тот молодой человек, который старательно проживает день за днем и шаг за шагом идет вперед, не даст себя запугать. Госпа объясняет нам, что страх

никогда не происходит от Бога, но всегда с противоположной стороны. Когда мы радостны и спокойны, тут уж сразу понятно, что это идет от Бога. Но когда нам что-то мешает, когда носим в себе злость или страх — ясное дело, это идет от демона. Поэтому, родные, если чувствуете покой, принимайте его всем сердцем и двигайтесь дальше, но если появляются опасения, то это сигнал от Бога, что вам нужно позаботиться о том, чтобы вернуться на безопасный путь и реализовать то, что вы уже начали.

Отец Ливио: *Мы не должны забывать, что мы не одни на жизненном пути, что Богородица с нами и охраняет нас.*

Вицка: Да, отец, Она всегда нас охраняет, но и Ей не удастся нас уберечь, если мы этого не захотим. Если я хочу, чтобы Госпа меня берегла, то верю, что Она всегда рядом. А если кто-нибудь в это не верит и не доверяется Ей, как же Она ему поможет? Она всегда близко, но только от нас зависит, попросим ли мы у Нее помощи. С благодатью нельзя шутить.

Отец Ливио: *Теперь я хотел бы затронуть очень важную для нашей молодежи проблему. Мне часто случается беседовать со многими молодыми людьми — в том числе, с участниками молодежной катехизации Радио «Мария», которые не могут определить свое жизненное призвание — чего от них хочет Бог, и чем они должны в жизни заняться. Им трудно распознать путь, на который их призывает Бог.*

Вицка: Когда кто-то молится о том, чтобы понять свое призвание, а при этом в голове прокручивает самые различные мысли, планы, желания и так далее, то он никогда не поймет, к чему на самом деле призван. Когда мы молимся, нужно очистить свое сердце и отдать его Богу, говоря: «Вот я, делай, что хочешь и скажи мне в сердце, что я должен делать». Если я спрашиваю серьезно, Он мне ответит. Наверняка покажет, что делать: выбрать ли путь супружества или монашество, или священство, или что-то другое.

Зачастую мы молимся об этом даре, но одновременно думаем о чем-то другом, и тогда ответ не приходит. Но если я всерьез озабочен своим призванием, следует отложить в сторону все посторонние мысли. Если я молюсь о том, чтобы найти свое призвание, а у самой есть жених, то конечно ответа не дождусь, потому что не имею согласия внутри себя. Прося Бога, чтобы просветил, нужно быть готовым на то, чтобы то или другое пришлось оставить.

Сказала и еще раз повторю: если кто-то просит у Богородицы ответа о своем жизненном призвании, то Она ответит прямо в его сердце, какой ему идти дорогой. Она всегда готова дать нам ответ, но мы должны приготовить для Нее место, освободиться от всех других голосов, чтобы слышать Ее голос.

Отец Ливио: *Услышать сердцем призыв Бога — это не так-то просто. Без готовности к полному самоотречению очень легко ошибиться, перепутать наши желания с голосом Бога. Как мы можем быть уверены, что это действительно Божья Матерь и действительно Бог указывает нам путь?*

Вицка: Мы можем быть уверены настолько, насколько искренне просим об этом Бога. Когда молишься Ему, говоря: «Освободи меня, Боже, от всех моих мыслей, от всего, что тревожит мое сердце, ибо хочу слышать Твой голос», тог-

да Бог отвечает. Сам увидишь, что Его голос сильнее всех других. Его голос тебя разбудит!

Так часто бывает, что ждем ответа, а сами теряем терпение, потому что хотим иметь ответ сию минуту. Молимся пять дней подряд, шесть дней.... А поскольку ответа нет, на седьмой день перестаем молиться. И тут ошибка, потому что когда молимся, нужно уметь ждать Бога с большим смирением. Он велит нам ждать, чтобы испытать нас, но потом даст ответы на все вопросы.

Мы должны быть терпеливы и неустанно просить ответа. Мы должны также молиться правильно, сказать Богу: «Вот я. Хочу выслушать все, что Ты скажешь. Я готов». Бог всегда пребывает в сердце, которое проявляет такую готовность. Мы же чаще всего желаем, чтобы Бог ответил нам немедленно, а потом, после Его прихода, ведем себя так, будто Он нам ничего не сказал. Вот так позволяем себе шутить с Богом. Но если я прошу всем сердцем, ответ в свое время придет в самое сердце.

Отец Ливио: *Все же я заметил, да и ты наверно тоже заметила, что у молодых есть страх иного рода. Многие из них боятся идти за голосом Бога, опасаясь, что Он потребует от них чего-то такого, что выше их сил.*

Вицка: К сожалению, так говорят не только молодые. Приведу здесь такой пример. Как-то приехала сюда большая группа итальянцев. Я как обычно начала с молитвы, а потом стала рассказывать о посланиях Богородицы. Когда пришло время вопросов, один довольно молодой священник поднял руку и сказал: «Вицка, по-моему, Божья Матерь требует от нас слишком многого». А я ему ответила: «Отец, все, о чем нас просит Госпа, — это вещи легкие, тем более что то же самое нам рекомендует Церковь. Мария сказала мне, что пришла не за тем, чтобы сказать что-то новое, а затем, чтобы пробудить нашу веру. Все, к чему призывает нас Богородица, в Церкви уже существует. Только нужно начать этим жить». Но священника я так до конца и не убедила. Он считал, что в большом приходе невозможно выкроить время на проведение трех частей Розария, как просит об этом Госпа. Я ответила, что это только совет Богородицы, и если он хочет — пусть примет, а если нет — то не должен. И с тем он уехал. Через месяц возвращается и говорит: «Вицка, я начал ежедневно чуть больше молиться и понял, что все возможно. В тот раз, когда приезжал, я не был готов принять советы Божьей Матери, мне показалось, что это слишком трудно. Но теперь мне удается понемногу реализовывать в жизни все, о чем Она просит».

Что касается молодых, то хочу сказать, что у многих из них сегодня в головах столько иных вещей, что им кажется ужасно трудно пойти за Богом. Но если молодой человек приведет в порядок свою жизнь и больше времени уделит Богу, то все изменится. Можно таким путем весь мир изменить.

Отец Ливио: *Стало быть, пойти за Иисусом вовсе не трудно?*

Вицка: Это трудно тому, кто никогда не пробовал и ничего для этого не делал. Именно такие говорят, что трудно. А кто попытался и постарался идти за Богом, у тех нет проблем, им легко.

Отец Ливио: *Поскольку говорим о том, как Божья Матерь беспокоится о молодежи, позволь мне сконцентрировать внимание на одном моменте. Как пра-*

вило, для Своих явлений Богородица выбирает детей. Так было и в Лурде, и в Ля Саллет, и в Фатиме, и в Банно, и в других местах. В то же время в Меджугорье Она выбрала шестерых подростков, в основном 15-16 лет, когда вы как раз вступали в такой чувствительный и трудный возраст. Может, самим этим выбором Госпа хотела показать, как Она заботится о современной молодежи, которая, как Сама Она говорит, находится в крайне тяжелой ситуации?

Вицка: Матерь Божья знает, чем Она руководствовалась в этом выборе. Я не знаю. Якову тогда было всего десять лет. Я, однако, верю, что Богородица, делает выбор согласно с собственными потребностями. Однажды мы спросили Марию, почему Она выбрала именно нас. А Она ответила, что такова была воля Бога. Бог так решил, а Она — Раба Господня и делает то, чего хочет Бог. В других случаях, когда мы просили Ее о ком-то, Она отвечала, что может дать нам только те благодати, которые получила от Бога. Таким образом, Она посредничает между нами и Богом, как огниво, соединяющее нас с огнем.

Отец Ливио: *Один из самых жизнеутверждающих моментов, который наблюдаю в вас, визионерах, это то, что уже больше семнадцати лет вы отдаете свое время Божьей Матери. Кроме приема паломников вы открыты для каждого встречного, каждый день вы видите Богородицу, и с этим неизменно связана молитва. А ведь многие молодые люди сегодня ищут свободы, не хотят, чтобы их что-то связывало. Многие в открытую говорят: «Это моя жизнь, и я сам ею распоряжаюсь». Вы же совсем наоборот — живете в постоянной готовности отдать свое время и жизнь Божьей Матери. Чего стоит для вас такое самопожертвование? И есть ли что-то, что делаете с удовольствием?*

Вицка: Я бы скорей сказала, что день мой слишком короток, чтобы служить Богородице. Сюда приезжает много паломников, есть много дел. Меня приглашают то туда, то сюда. Приходит вечер, я говорю Богу: «Может, сегодня я сделала не так много. Могла ли сделать больше?». В течение дня стараюсь служить как можно лучше, иногда и ночью бываю нужна людям, а перед сном, когда делаю испытание совести, спрашиваю себя, а не могла ли я сделать больше? И каждый раз приходит мысль, что да, могла бы.

Но я должна сказать, что нет большей радости, чем нести послания и делать то, о чем меня просит Бог. Я этого не могу передать ни словами, ни образами. Ничего нет прекрасней, чем помогать другим, подать нуждающимся руку, выполнять все, что ждет от тебя Богородица и Сам Бог. Это для меня самое важное в жизни. Помогать людям — огромная радость, протянуть руку и сделать это от сердца. Все хотят с тобой поговорить, и ты должен всем передать эту радость. Я всегда говорю, что Божья Матерь дала мне так много, что я обязана ответить на Ее любовь и давать ее другим.

Отец Ливио: *А ты довольна своей жизнью?*

Вицка: Еще как! Очень довольна! Нет на свете такой радости, которая была бы большей, чем радость жизни. Просто не существует!

Отец Ливио: *По тебе видно, что ты довольна. На твоем лице написана улыбка Марии, а еще Богородица в награду за твое служение одолжила тебе свои глаза.*

Но, когда на тебя смотрят люди, чьи души полны тревоги и сомнений, они могут подумать, что ты — счастливица, ты получила от Бога большую миссию, а они не получили никакого серьезного задания.

Вицка: Да нет же! Каждый из нас имеет миссию, которую должен исполнить. Одни работают, другие учатся, кто-то работает врачом, кто-то еще кем-то — у каждого свое призвание, и к нему надо относиться серьезно. Если кто-то помогает другим, уже одно это — великая миссия.

Отец Ливио: *Ладно, хватит нам говорить о молодежи. Давай теперь попробуем рассмотреть одно из важнейших посланий Меджугорья, а именно, перейдем к теме вечности. Я не раз говорил на волнах Радио «Мария», что за два тысячелетия христианства еще ни разу не случалось, чтобы Богородица забрала с собой в потусторонний мир сразу двоих человек вместе с их телами. Эти двое исчезли из земного мира и были перенесены на тот свет, чтобы увидеть рай, чистилище и ад. Речь идет об исключительном в своем роде событии. Это чрезвычайно важное послание нашим современникам, многие из которых думают, что все кончится вместе со смертью. Расскажи об этом случае поподробней.*

Вицка: Это случилось в начале меджугорских явлений, кажется, в конце 1982 года. (Вицка сказала, что ей нужно заглянуть в свою тетрадь, чтобы назвать конкретную дату). Нам с Яковом и впрямь повезло, что довелось пережить этот опыт. Благодаря этому, мы можем помогать другим. Богородица никогда не запрещала нам рассказывать о том, что мы там видели. Она сказала нам: «Ступайте оба за мной, вы увидите рай, чистилище и ад, чтобы потом вы могли рассказать об этом другим». Госпа говорит, что здесь, на земле, очень многие люди считают, что со смертью кончается все. «Это большое заблуждение, — говорит Божья Матерь. — Здесь вы только прохожие. А за смертью — целая вечность». Богородица забрала нас в потусторонний мир, чтобы мы рассказали другим обо всем, что там увидели.

Отец Ливио: *Скажи, где вы находились, и который был час.*

Вицка: Когда явилась Божья Матерь, мы были дома у Якова. Было около 15.20. Да, именно 15. 20.

Отец Ливио: *Вы ждали появления Госпы?*

Вицка: Нет. Мы как раз вернулись с Яковом из Читлука и пошли к нему домой, а там была его мама. (В настоящее время мамы Якова уже нет в живых). У Якова в доме была одна комната и кухня. Мама Якова пошла приготовить нам что-нибудь, потому что мы потом собирались идти в церковь. Пока ее ждали, мы стали рассматривать альбом с фотографиями. И вдруг у меня на глазах Яков как-то сполз с дивана на пол, и я поняла, что пришла Богородица. Она сразу же сказала нам: «Вицка, Яков, идемте со мной посмотреть рай, чистилище и ад». Я решила, ладно, раз так хочет Божья Матерь. А Яков сказал: «Возьми Вицку, у нее много сестер и братьев. Не забирай меня, потому что я — один в семье». Сказал так, потому что не хотел туда идти.

Отец Ливио: *Видимо, решил, что назад оттуда уже не вернется!*

Вицка: Да, он думал, что мы отправляемся туда навечно. А я тем временем размышляла: сколько же потребуется на это часов или дней и куда мы двинемся — вверх или вниз...

Но в одно мгновение Богородица взяла меня за правую руку, Якова — за левую. И над нами раскрылась крыша дома, чтобы мы могли выйти...

Отец Ливио: *Вся крыша раскрылась?*

Вицка: Нет, не вся целиком, а лишь та часть, которой хватило бы нам для выхода. Спустя несколько секунд мы уже были в раю. Когда поднимались вверх, мы видели совсем маленькие дома внизу, меньше, чем мы видим с самолета.

Отец Ливио: *Значит, когда вас поднимало вверх, ты смотрела вниз, на землю?*

Вицка: Да. Мы смотрели вниз.

Отец Ливио: *И что там еще видели?*

Вицка: Все выглядело таким маленьким, меньше, чем выглядит с высоты самолета. А я между тем думала, кто знает, сколько это может продлиться часов или дней. И увидела огромное пространство...

Отец Ливио: *Слушай, я где-то читал, не знаю, насколько это правда, что там есть двери, а рядом стоит некто почтенного возраста.*

Вицка: Да, да. Есть двери. Деревянные.

Отец Ливио: *Большие или маленькие?*

Вицка: Большие. Да, большие.

Отец Ливио: *Это важно. Это значит, что туда входит много людей. И что, эти двери были открыты или закрыты?*

Вицка: Они были закрыты, но Матерь Божья их открыла, и мы вошли.

Отец Ливио: *Каким образом Она их открыла?*

Вицка: Просто мы подошли, и они открылись.

Отец Ливио: *Я, кажется, понял, почему Богородица — это и в самом деле «Дверь Небесная»!*

Вицка: Справа от дверей стоял святой Петр.

Отец Ливио: *А откуда ты знаешь, что это был именно святой Петр?*

Вицка: Я сразу поняла, что это был он. У него был ключ. Он был довольно низкорослый, скорее даже приземистый, с бородой, с густыми волосами. Он ничуть не изменился.

Отец Ливио: *Он стоял или сидел?*

Вицка: Стоял, стоял, при дверях. Мы, когда вошли, прошли каких-то три-четыре метра. Мы не видели всего рая целиком, но Богородица нам все представила. Мы видели огромное пространство, залитое таким светом, какого на земле не

существует. Мы видели каких-то людей, не худых, не толстых — все были одинаковы. Одежда на них была трех цветов: серая, желтая и красная. Все они ходили, пели, молились. Там были еще маленькие ангелочки, которые летали. Божья Матерь сказала нам: «Посмотрите, как довольны и счастливы люди, которые очутились в раю». Эта радость не поддается описанию, на земле такой не существует.

Отец Ливио: *Госпа дала вам почувствовать сущность рая, это бесконечное счастье. «В раю пребывает радость», — сказала Она в одном из Своих посланий. Затем показала вам совершенных людей, без каких бы то ни было физических недостатков, чтобы мы поняли, что, когда произойдет воскресение мертвых, у нас будут прославленные тела, подобные телу Воскресшего Господа Иисуса. Все же, я хотел бы узнать, что на них было надето? Какие-нибудь туники?*

Вицка: Да, туники.

Отец Ливио: *Короткие или длинные?*

Вицка: Они были длинные, закрывали ступни. Серого, желтого и красного цвета.

Отец Ливио: *Как, по-твоему, эти цвета имеют какой-то смысл?*

Вицка: Госпа нам этого не объяснила. Когда Она хочет, Она объясняет, но в тот раз Она этого делать не стала.

Отец Ливио: *А как выглядят ангелы?*

Вицка: Они как маленькие дети.

Отец Ливио: *У них есть тела, или только головы, как в искусстве барокко?*

Вицка: У них есть тела.

Отец Ливио: *И что, они тоже одеты в туники?*

Вицка: Да, только в короткие.

Отец Ливио: *А из-под них видны ножки?*

Вицка: Видны, ведь на них нету длинных одеяний.

Отец Ливио: *И у них есть крылышки?*

Вицка: Да, они имеют крылья и летают над теми людьми, которые в раю.

Отец Ливио: *Как-то Богородица говорила об абортах. Она сказала, что это очень тяжкий грех, и тем, кто его допускает, придется за него ответить. В то же время дети не виноваты, они подобны ангелам в небесах. Не кажется ли тебе, что ангелочки, которых ты видела в раю, и есть те не рожденные дети?*

Вицка: Божья Матерь не сказала, что эти ангелочки — не рожденные дети. Но сказала, что аборт — это смертный грех и что отвечают за него те, кто его совершает, но не дети.

Отец Ливио: *И потом вы отправились в чистилище?*

Вицка: Да, потом мы отправились в чистилище.

Отец Ливио: *Это было далеко?*
Вицка: Нет, чистилище не было далеко.

Отец Ливио: *Вас туда провожала Богородица?*
Вицка: Да, держа нас за руки.

Отец Ливио: *Вы шли или летели по воздуху?*
Вицка: Нет, по воздуху мы не летели.

Отец Ливио: *Понимаю, Госпа перенесла вас туда, держа за руки.*
Вицка: Чистилище — это тоже огромное пространство, только в чистилище никого не видно, только густая пелена, и чувствуется...

Отец Ливио: *Что чувствуется?*
Вицка: Что люди там страдают. Знаешь, там слышны звуки...

Отец Ливио: *Только что сдал в печать книгу «Почему я верю Меджугорью», в которой написал, что в чистилище слышны плач, крики, удары... Это действительно так? Кроме всего мне трудно было найти соответствующие слова в итальянском языке, чтобы передать смысл того, что ты рассказываешь паломникам по-хорватски.*
Вицка: Нельзя сказать, что там слышны удары или плач. Там не видно людей, все выглядит иначе, чем в раю.

Отец Ливио: *В таком случае, что там слышно?*
Вицка: Слышно, что мучаются. Но это мучение иного рода. Слышны людские голоса и какие-то звуки, будто кто-то бьется.

Отец Ливио: *Бьются между собой?*
Вицка: Слышны такие звуки, но я не могла ничего разглядеть. Очень трудно, отец, объяснить то, чего ты не видел. Одно дело услышать, а другое — увидеть. В раю видно, как там ходят, поют, молятся, поэтому легко точно описать. А в чистилище видна лишь густая пелена. Находящиеся там люди ждут наших молитв, чтобы как можно скорей перейти в рай.

Отец Ливио: *Откуда ты знаешь, что они ждут наших молитв?*
Вицка: Госпа нам сказала, что люди в чистилище ждут наших молитв, чтобы как можно быстрей пойти на Небо.

Отец Ливио: *Послушай, Вицка, наверно тот свет в раю можно считать присутствием Божьим, в котором пребывают люди, находящиеся в вечном счастье. Тогда эта пелена в чистилище — что она, по-твоему, означает?*
Вицка: Для меня пелена — это, конечно же, знак надежды. Они мучаются, но верят и надеются, что попадут на Небо.

Отец Ливио: *Меня потрясает тот факт, что Госпа настаивает, чтобы мы молились о душах в чистилище.*

Вицка: Да, Божья Матерь говорит, что они нуждаются в наших молитвах, чтобы поскорей очутиться в раю.

Отец Ливио: *Значит, наши молитвы могут сократить их пребывание в чистилище?*

Вицка: Да, если мы молимся, то они пойдут в рай быстрее.

Отец Ливио: *Теперь расскажи нам об аде.*

Вицка: Сначала мы увидели огромный огонь.

Отец Ливио: *Меня интересует одна вещь: было ли там жарко?*

Вицка: Да. Мы были довольно близко, и перед нами был огонь.

Отец Ливио: *Понятно. К тому же Иисус тоже говорит о «вечном огне».*

Вицка: Знаешь, мы там были с Божьей Матерью. Для нас это было что-то совсем другое. Понимаешь?

Отец Ливио: *Да, конечно, конечно! Вы там были только зрителями, а не актерами этой ужасной драмы.*

Вицка: Мы видели людей перед тем, как они входили в огонь...

Отец Ливио: *Извини, этот огонь был большой или не очень?*

Вицка: Огромный. Это был огромный огонь. И мы видели людей, которые перед тем, как войти в огонь, выглядели нормально. Но потом, когда они бросались в огонь, они стали превращаться в отвратительных зверей. Там слышны были сплошные ругательства людей, которые кричали и выли.

Отец Ливио: *Эта перемена людей в ужасных зверей для меня означает состояние вырождения тех обреченных, которые пылают в огне ненависти к Богу. Можешь еще удовлетворить мое любопытство? У тех жутких существ есть рога?*

Вицка: Что ты сказал? Рога?

Отец Ливио: *Ну, такие, как у чертей.*

Вицка: Да. Это как если бы ты видел какого-то человека, например, какую-нибудь блондинку, которая сначала выглядит нормально, а после того как бросится в огонь, выходит из него уже переменившись в чудовище. Выглядит так, будто никогда не была человеком.

Отец Ливио: *Визионерка Мария говорила нам в интервью для Радио «Мария», что когда в момент явления Госпа показала вам ад (не погружая вас в него), та красивая блондинка, выйдя из огня, имела не только рога, но и хвост. Это правда?*

Вицка: Да, действительно.

Отец Ливио: *Тот факт, что люди, превратившись в чудовищ, обретают рога и хвосты, для меня означает одно: они уподобились демонам.*

Вицка: Да, они вот так превращаются в демонов. И это превращение происходит так быстро! Перед тем, как попасть в огонь, они нормальны, а возвра-

щаются уже преображенными. Матерь Божья сказала нам: «Люди, которые здесь находятся, попали сюда по собственной воле, они стремились оказаться здесь. Сюда попадает тот, кто на земле противится Богу и уже на земле начинает переживать ад, а потом лишь продолжает в нем пребывать».

Отец Ливио: *Так объяснила Госпа?*
Вицка: Да, так Она сказала.

Отец Ливио: *Затем Она продолжала — может, иными словами, но постараюсь выразить мысль — что в ад идут те, кто туда стремится, те, кто борется с Богом до конца.*
Вицка: Туда действительно попадают лишь те, кто сам этого хочет. Попадает тот, кто противится Божьей воле. Кто хочет, тот и идет. Бог никого туда не отправляет. Все мы имеем возможность спастись.

Отец Ливио: *Бог никого не отправляет в ад — это сказала Богородица, или это твои собственные слова?*
Вицка: Бог не посылает туда никого. Божья Матерь сказала, что Бог никому не велит туда идти. Это мы сами туда стремимся по собственному выбору.

Отец Ливио: *У меня запечатлелось в глазах, вероятно, прочитал где-то, будто Госпа сказала, что бесполезно молиться за погибшие души в аду.*
Вицка: За погибшие — нет смысла. Богородица просила молиться за души в чистилище, а не за те, которые в аду.

Отец Ливио: *К тому же те, кто в аду, вовсе не хотят наших молитв.*
Вицка: И они не хотят, и пользы никакой бы не было.

Отец Ливио: *Хотел бы задать тебе вопрос, касающийся самой тебя. Божья Матерь поручила тебе свидетельствовать обо всем этом перед другими. Чего тебе это стоит? Не стыдишься ли говорить о таких вещах, которые современным людям кажутся не совсем правдоподобными? Даже священники порой обходят тему ада как не касающуюся реальности.*
Вицка: Ну что ты! Я очень довольна! Если любишь Богородицу, то все, что Она велит делать, делаешь от всего сердца. Уверяю тебя, я очень довольна, что кто-то может это выслушать, проникнуться этим и переосмыслить. Это большая радость, что нам дана такая возможность слышать эти истины и что Матерь Божья ради нашего спасения обращается к нам.

Отец Ливио: *Ты не встретила никого из знакомых ни в раю, ни в аду?*
Вицка: Нет, никого.

Отец Ливио: *А правда, что когда-то вы видели маму Иванки, умершую за два месяца до начала явлений.*
Вицка: Да, однажды, когда мы были все вместе, во время явления Богородица пришла вместе с мамой Иванки.

Отец Ливио: *И ты ее тоже видела?*

Вицка: Да. Она выглядела как при жизни и была в раю с Божьей Матерью.

Отец Ливио: *Говорят, мама Иванки была обыкновенной женщиной, как любая мама. Это означает, что попасть в рай не так уж трудно?*

Вицка: Нет, не трудно. А кто сказал, что трудно? Достаточно жить нормальной христианской жизнью. Нет нужды делать что-то чрезвычайное.

Отец Ливио: *Лучше всего, конечно, было бы миновать чистилище и попасть прямо на Небо. Как думаешь, можно ли без чистилища сразу после смерти попасть в рай?*

Вицка: Надо довериться Богу. Никто из нас не может ответить на этот вопрос.

Отец Ливио: *Надо начать понемножку отрабатывать здесь, на земле, так мне кажется.*

Вицка: Отрабатывать и не только это, а в конце Бог спросит с нас за все.

Отец Ливио: *Прошу тебя ответить еще на несколько вопросов, касающихся покаяния, хотя слышу, как люди стучат в двери, а твоя мама уже два раза приходила, чтобы тебя позвать.*

Вицка: Все нормально, спрашивай.

Отец Ливио: *Как ты знаешь, Госпа несколько раз приглашала нас идти путем святости. Некоторые даже боятся такого ответственного задания. Потвоему, трудно стать святым? Что надо делать, чтобы им стать?*

Вицка: Нет, на самом деле это вовсе не трудно. Сегодня, когда Богородица призывает нас стать святыми, решиться идти по пути святости, многие люди задумываются: «Как это я могу стать святым?» Но Божья Матерь ведь не просит, чтобы мы были святы каким-то совершенно необычайным образом, как, например, святой Антоний. Скорее, Она приглашает нас на путь простоты, чтобы мы пытались жить святостью ежедневно, и к тому же хочет вразумить нас, что святость не бывает без молитвы и добрых дел. Кроме того, Она говорит, что одних лишь добрых поступков не достаточно, нужна молитва. Точно так же недостаточно только молиться, не делая добрых дел. Необходимо и то, и другое. Мы должны испрашивать нашу святость у Бога как дар. Так же, как мы просим о даре веры, нужно просить и о даре святости.

Желая продвигаться вперед на пути святости, мы не должны ограничиваться вознесением молитв к Богу в течение всего дня. Кроме этого мы должны прислушиваться к потребностям окружающих, работать... Свою святость нужно добывать всеми способами. Святость возрастает на молитве, но точно также она крепнет, когда мы помогаем другим, через нашу самоотверженность и через наше страдание. Такое поведение ведет к тому, что мы все время движемся вперед и все лучше понимаем, что такое святость.

Отец Ливио: *Получается, что святым можно стать, живя совершенно обычной жизнью?*

Вицка: Именно, живя обычной жизнью.

Отец Ливио: *А мать семейства тоже может стать святой?*

Вицка: Ну, конечно! Несмотря на то, что она очень занята в своей семье множеством обязанностей, она все же должна посвятить свою семью Богу и сказать: «Я хочу, чтобы все вместе, всей нашей семьей, мы возрастали на пути святости». Послания, которые дает Госпа — это и есть путь к святости. Пытаясь ими жить, мы уже на пути к святости.

Отец Ливио: *Значит, мы все до одного можем стать святыми, идя по пути, который нам уже так долго указывает Божья Матерь?*

Вицка: Все. Все те, кто этого хочет.

Отец Ливио: *Госпа сказала, что важнейшим призывом, который Она дала здесь, в Меджугорье, является обращение. Как, по-твоему, следует понимать эту настойчивую просьбу Царицы Мира об обращении и мире? Когда-то Она даже сказала: «Умоляю вас, обращайтесь!»*

Вицка: Когда Божья Матерь призывает нас к обращению, Она имеет ввиду всю нашу жизнь. Иногда мы слышим, как кто-то говорит: «Я обратился». А правильно было бы сказать: «Я начал обращаться». Наше обращение — это задача каждого дня, и никто не может сказать, что он уже обратился. Зато каждый день мы должны себе повторять, что мы хотим двигаться дальше в своем обращении. Кроме этого нужно просить Бога дать нам этот дар, чтобы Он дал нам возможность понимать и переживать свое обращение.

Если кто-то хвалится, что он уже обратился, значит, он просто застрял на месте, и обращение для него — пустой звук. Наше обращение — это всегда движение вперед, но многие люди не знают, что нельзя говорить «я обратился», а наоборот, нужно говорить «хочу обратиться» и повторять это всю жизнь изо дня в день.

Отец Ливио: *Как тебе кажется, тех, кто находится в состоянии особой благодати, например, священников, монахинь и монахов, людей получивших иные посвящения — их тоже касается призыв Богородицы к обращению?*

Вицка: А как же! Вы все, имеющие этот дар, обязаны стать святыми! Когда Госпа говорит, Она обращается ко всем, ждет ответа абсолютно от всех.

Отец Ливио: *Слушай, Вицка. Когда-то в четыре часа утра мы совершали молитву Крестного Пути, поднимаясь на гору Крижевац с тобой, с сестрой Эльвирой и группой парней из ее общины. Это было необычайное событие. С уверенностью могу сказать, что это был, пожалуй, длиннейший Крестный путь в моей жизни, потому что закончился он около полудня. На каждом стоянии ты молилась спонтанной молитвой, и я услышал из твоих уст прекрасное воззвание, которое звучало примерно так: «Благодарю Тебя, Иисус, ибо крест — это благодать. Благодарю Тебя, Иисус, ибо крест — это радость». Как получилось, что такие чудесные слова выплыли из твоего сердца?*

Вицка: Ну, знаешь... Не то, чтобы я сама... Это Божья Матерь так говорит, что когда Бог посылает нам страдание или крест, то наверняка это Его дар. Можем только благодарить Бога и сказать Ему: «Благодарю Тебя за этот дар, а если у

Тебя есть еще какое-нибудь испытание или крест для меня, я готова его принять. Сейчас прошу у Тебя лишь силы и храбрости, чтобы его выдержать». Богородица говорит: «Вы еще не знаете, какую великую ценность имеет у Бога ваше страдание!»

Отец Ливио: *Теперь мне ясно, откуда взялись те слова, которые ты сказала на Крестном Пути. Но скажи мне еще кое-что. Что лучше для больного: просить для него благодати исцеления или выдержки?*

Вицка: Лично я думаю, лучше просить о благодати терпения. Божья Матерь говорит, что хорошо просить у Бога Ее заступничеством различных благодатей, в которых нуждаемся, в том числе, и исцеления. По сути дела у всех нас есть проблемы и трудности. Но мне кажется, Госпа особенно радуется, когда мы молимся в Ее интенциях, Она и так прекрасно знает наши проблемы. Мария говорит, что видит наши сердца и знает обо всем, о чем мы только собираемся Ее просить, и в свое время Она ответит благодатью. Мы должны молиться в Ее интенциях и оставить Ей Самой заступничество за нас перед Богом.

Отец Ливио: *Значит, всегда лучше молиться в интенциях Божьей Матери?*

Вицка: Да, соединяться с Ее просьбами — это всегда лучше.

Отец Ливио: *А не просила ли Госпа когда-нибудь особо помолиться за Римского Папу?*

Вицка: Да, иногда Она просит нас о молитве за Святого Отца, он в этом очень нуждается.

Отец Ливио: *Мне кажется, Мария как-то по-особому полюбила нынешнего Папу, Она ведь спасла ему жизнь*[6].

Вицка: Это точно. Матерь Божья любит Папу необыкновенной любовью, и это можно заметить, но как мать Она бесконечно любит и каждого из нас, ведь все мы — Ее дети.

Отец Ливио: *Мы приближаемся к концу, но я хотел бы еще попросить тебя сказать нам несколько слов о будущем. Прошло уже 17 лет с тех пор, как Богородица стала ежедневно появляться в Меджугорье. Я хотел бы узнать, как ты считаешь, почему Она так долго остается с нами?*

Вицка: Как-то мы спросили Божью Матерь, почему Она остается с нами так долго, но Она ответила вопросом: «А что, вам уже надоело?» С тех пор мы ни о чем таком не спрашиваем, пока Она сама нам что-нибудь не скажет.

Отец Ливио: *Честно говоря, Госпа много раз объясняла нам повод, из-за которого Она решила быть с нами так долго. Ответ можно найти во многих*

---

[6] Речь идет о покушении на Папу Иоанна Павла II в день Богородицы Фатимской 13 мая, когда пуля убийцы необъяснимо сменила траекторию, уже войдя в тело Святого Отца, и он чудом остался жив.

четверговых посланиях и тех, которые Она дает 25 числа каждого месяца. Как Она говорит, Она поступает так, поскольку хочет поддержать нас во время испытаний; хочет научить нас молитве и направить на путь святости. Она приходит еще и потому, что хочет, чтобы все души спаслись и чтобы Она могла преподнести их Богу. Мне думается все же, что Ей пришлось долго и терпеливо ждать, прежде чем Ей удалось собрать хоть немного плодов Своей работы.

Как ты думаешь, Вицка, за это долгое время, когда нас посещает Божья Матерь, не назревает ли что-то прекрасное?

Вицка: Думаю, да. Богородица твердит, что время, в котором живем, благодатно. Говоря это, Она наверняка знает, что хочет выразить.

Отец Ливио: *Скажи, для чего, по-твоему, дано нам это время благодати?*

Вицка: Великой благодатью является то, что Мария с нами и ведет нас. Благодаря этому мы чувствуем себя в безопасности, потому что, если с нами Мама, среди нас царит мир, согласие, чувство свободы... Может быть, когда Ее уже с нами не будет... посмотрим! Но сейчас это огромная благодать, что Она среди нас.

Отец Ливио: *У меня такое впечатление, что здесь, в Меджугорье, Богородица одаривает нас особой благодатью.*

Вицка: Так и есть, и это происходит каждый день!

Отец Ливио: *Прежде всего, я говорю о благодати обращения, какой я не наблюдал нигде.*

Вицка: Наверняка. Госпа призывает людей сюда, в Меджугорье, а затем побуждает их к обращению, стоит открыть Ей свое сердце. Кое-что вам скажу: все, кто сюда приезжает, были сначала позваны, да, именно позваны. Матерь Божья собирает нас, и нет никого, кто попал бы сюда случайно. Это только мы думаем, что это случайно, а на самом деле Мария все уже приготовила и дает нам шанс. А вот как на это ответить — решать нам.

Отец Ливио: *Бог создал нас свободными, и никто не может за нас решать. Это одно из глубочайших посланий, идущих с этой благословенной земли. Однако и от нашей молитвы тоже зависит, сколько людей обратится. Возвращаясь к нашей теме, хочу спросить: какими чувствами мы можем руководствоваться, глядя в будущее? Надеждой и радостью?*

Вицка: Ясное дело! Мы должны смотреть в будущее с огромной надеждой. Даже в самые трудные времена войны на Балканах Божья Матерь всегда давала нам надежду, и сейчас Она продолжает это делать. С улыбкой на устах, с миром и радостью Она дает миру великую надежду.

Отец Ливио: *Благодарю тебя, Вицка, за такое замечательное свидетельство. Ты дала его, сидя спокойно в своем домике в Меджугорье, а слушали тысячи людей в Италии и во всем мире. Может быть, скажешь какое-нибудь специальное приветствие слушателям Радио «Мария», особенно молодежи и тем, кто болен?*

Вицка: Дорогие юноши и девушки! Хочу сказать вам, что очень вас люблю и специально молюсь Божьей Матери о вас и ваших семьях. Прошу вас, обдумайте слова Богородицы, благодаря им обязательно мы все станем лучше — и я, и вы. Обещаю, что никогда не перестану за вас молиться.

Надеюсь, вы не устали, слушая меня все это время. Я, как видящая, должна говорить и передавать послания. И я довольна, что выпала возможность сделать это интервью, это для меня большая радость. Скажу вам, что мне всегда радостно, когда возникает возможность приветствовать так много людей, а тем более людей больных. Молюсь особо за всех, кто страдает, чтобы Бог дал вам силу и смелость нести дар креста, чтобы вы сумели перенести все. Хочу всем сказать, что желаю вам добра, что ношу вас в сердце и молюсь за каждого из вас. Всем слушателям — мой сердечный поцелуй!

Меджугорье, 3 августа 1998 г.
Время 14.15–15.45

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы

(декабрь 2003 г. – февраль 2004 г.)

(Краткий обзор)

1. «Основы православной культуры» в школе

В конце января в Москве прошли XII Международные Рождественские образовательные чтения — крупнейший форум православной общественности, организованный Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. На чтения приехали представители почти всех епархий РПЦ. Активное участие в них приняли государственные, политические и общественные деятели. Достаточно назвать имена министра образования В.М. Филиппова, министра юстиции Ю.Я. Чайки, ректора МГУ В.А. Садовничего.

Одним из важных аспектов этого мероприятия стало обсуждение «школьного вопроса». **«Независимая газета»** (**Д. Щипков** «Покушение на 29-ю статью Конституции», 27.01.2004) сообщила, что на открытии чтений в Кремлевском дворце патриарх Алексий II «предложил возродить традицию изучения житий православных святых и "включить их в содержание учебных предметов гуманитарного цикла" в общеобразовательных школах. Присутствовавший на форуме министр образования Владимир Филиппов, вероятно, не был готов к такому предложению. Тем не менее он дал понять, что не исключает подобной возможности, оговорившись, впрочем, что речь идет о внеклассных, факультативных занятиях. В то же время министр заявил о своей поддержке идеи ввести изучение предмета "Основы православной культуры" в школах».

Газета **«Газета»** («Школа надевает православную форму», 27.01.2004) напоминает: «До 2002 г. к идее введения ОПК в школе Владимир Филиппов относился отрицательно. А в августе того года Владимир Путин в Казани высказался за факультативное преподавание ОПК в школе. Уже в октябре за подписью министра по регионам было разослано информационное письмо с программой курса (правда, тогда шла речь о факультативном изучении курса и финансировании преподавания из внебюджетных источников). По данным Газеты, к этому времени уже в 20 регионах РФ "Основы православной культуры" в школах преподавались по соглашению с местной администрацией, в том числе в Московской области. Московский департамент образования воспротивился новшествам. Руководитель департамента Любовь Кезина заявила, что "нельзя вводить православие в школах и будоражить людей, исповедующих другую религию". В августе 2003 года Минобразование опубликовало приказ "О предоставлении государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательной программы" с правом "изучать не только православие, но и любую другую религию". Но последнее заявление министра это решение дезавуирует».

«Вечерняя Москва» («Не мир, но меч принесет в страну преподавание основ православия в российских школах», 29.01.2004) высказалась решительно про-

тив ОПК: «Нужно ли изучать религиоведение в светской школе? Конечно, нужно, спору нет. История религий — это история мировой культуры. Но именно религий, а не исключительно православия. Нелепо "назидать юношество" представлениями о мировой культуре и морали, основываясь только на житиях православных святых. И без того наша православная церковь стоит особняком — и довольно агрессивным — к остальному христианскому миру (даже христианскому!). Теперь она желает стать наставником и учителем всей молодой России — без каких-либо национальных и религиозных различий».

«Новая газета» («Вопрос "кто виноват?" чужд православному», №6, 2004), комментируя итоги проведенной в рамках Рождественских чтений конференции «Изучение православной культуры в светской школе», не без ехидства замечает: «Судя по выступлениям менее именитых докладчиков, православная культура вполне сможет заменить утраченную в смуте реформ идеологию. Жаль только, что новый "кодекс строителя коммунизма" вряд ли пройдет "обсуждение в трудовых коллективах" братских, но совершенно неправославных российских автономий».

Газета **«Известия»** (**О. Тимофеева**, «Прививка от атеизма», 28.01.2004) привела немало «говорящих» подробностей с этой конференции: «Разбавляя партийные штампы псевдорелигиозным пафосом, начала свое выступление начальник управления образования Дмитровского района Московской области, и, как из щедринского Органчика, посыпались на головы собравшихся "дискретность... духовность... формирование комплекса нормативно-правового... информационно-методическое обеспечение школ... Бог помогает!"

Уходя на обеденный перерыв, собрание постановило: если ввести православную культуру в программу, то те директора школ, которые будут против этого предмета, ответят перед законом. В проекте итогового документа конференции предлагается "пересмотреть и доработать содержание государственных образовательных стандартов, программ дошкольного, общего и профессионального образования с целью включения в них знаний о ценностях и традициях отечественной духовной культуры, в том числе истории и культуры православия". Предлагается включить разделы о православном христианстве в программы по литературе, русскому языку, истории, обществознанию, изобразительному искусству, музыке».

Газета **«Россія»** предоставила свои страницы диакону **Андрею Кураеву** («Только — без комиссарства», 29.01.2004), который утверждает: «Основы православной культуры — это предмет культурологический, а не религиозный. Его преподавание регулируется не Законом о свободе совести, а внутренними инструкциями министерства и даже решением самой школы... И как можно объяснить логику греческого мифа, не превращая урок в проповедь олимпийской веры, так же можно и объяснить логику православной вселенной, не рассыпая при этом императивы и не демонстрируя обязательно-навязчивой доказательности». В заключение статьи автор пишет: «Я боюсь духа комиссарства. Общественное сознание сейчас совершенно не готово к такого рода проектам. К согласованной нами цели надо будет идти, а не прыгать».

Промежуточные итоги дискуссии подвели **«НГ-Религии»** («Министерская невнятица», 18.02.2004): «Дело об ОПК оказалось запутанным настолько, что разобраться в нем уже не может даже сам министр образования Владимир

Филиппов. Недавно на пресс-конференции в Смоленске он заявил, что православный компонент в школьную образовательную программу будет вводиться по желанию субъектов РФ, которые сами должны разрабатывать соответствующие учебники. Однако спустя несколько дней в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Филиппов отметил, что Минобразования никогда не ставило вопрос о том, чтобы вводить в обязательном порядке в школу атеизм или религию. По его словам, "это может быть решением только совета школы, — регион не имеет права приказать вводить для всех школ страны основы православной культуры... Школа дает право каждому ребенку посещать или не посещать по его выбору этот факультатив"». «Подобная невнятица в высказываниях министра еще раз показывает, что его позиция по этому вопросу остается неопределенной. С одной стороны, он не хочет "обидеть" Русскую Православную Церковь, с другой — вынужден учитывать конституционный принцип светскости российского государства», — утверждает издание.

В статье приводится высказывание Путина: «"У нас есть Конституция и федеральные законы, согласно которым государство отделено от религии, религия — от государства. Ничего в этом плане мы менять не собираемся", — заявил президент. В то же время он дал понять, что тема преподавания знаний о религии в школах не снимается. По его мнению, "нужно подумать, в каком формате и объеме преподавать в школах вопросы истории религии, как это делать в светском государстве"».

2. VIII Всемирный русский народный собор

3-4 февраля в Московской духовной академии и Даниловом монастыре прошел VIII Всемирный русский народный собор. Тема форума — «Россия и православный мир». В отличие от прошлых лет Собор прошел без представителей традиционных конфессий и речей лидеров думских фракций. Зато на него были приглашены представители всех 15 поместных Православных Церквей, министр иностранных дел Игорь Иванов, полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко, а также лидеры общественных и политических организаций, деятели науки и культуры. Всего в работе форума приняли участие более 600 человек.

Надежда Кеворкова в газете **«Газета»** («Привычка воровать у государства должна быть осуждена», 04.02.2004) рассказала о первом дне собрания: «В своей речи Патриарх задался вопросом, как долго еще православные будут оставаться разобщенными... Главную тему Собора — объединение православных — развивал в своем докладе и министр иностранных дел Игорь Иванов... Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, в свою очередь, впервые назвал число людей, исповедующих православие по всему миру. Оказалось, что таковых 300 миллионов. В связи с этим митрополит предложил министру иностранных дел, МИДу и России не довольствоваться объединением православных церквей, а заняться объединением стран, в которых живут православные народы».

Кульминацией Собора стала раздача текста «Свода нравственных принципов и правил в хозяйствовании». Основными разработчиками документа стали Сергей Глазьев, экономист Владимир Мау и зампред Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. В

преамбуле документа говорится, что он адресован «для добровольного принятия» руководителям предприятий, коммерческих структур, предпринимателям и их сообществам, работникам профсоюзов и т.д. Сформулированные в нем принципы и правила основываются на «десяти заповедях, данных Богом, а также на опыте их усвоения христианством и другими традиционными религиями России». Комментируя документ, **«Время новостей»** (05.02.2004) отмечает: «Авторам православной экономической этики удалось составить некий аналог "Протестантской этики" Макса Вебера, в которой рассказывается, как следование религиозным идеалам повлияло на зарождение капитализма в Западной Европе. С той только разницей, что Вебер описывал процесс накопления капиталов, а создателей русской этики больше волновал вопрос, как следует использовать уже накопленное богатство. Бедному человеку рекомендовано "достойно вести себя, стремиться к эффективному труду, повышать профессиональный уровень, чтобы выйти из бедственного состояния". Зато взаимоотношения богатых описаны подробно и со знанием дела».

«Независимая газета» («Церковь развела бизнес и политику», 04.02.2004) обратила внимание читателей на седьмой пункт документа: «Политическая власть и власть экономическая должны быть разделены. Участие бизнеса в политике, его воздействие на общественное мнение может быть только прозрачным и открытым». Этот пункт выделил и **Сергей Бычков**, религиозный обозреватель **«Московского комсомольца»** («Новые бизнес-заповеди», 10.02.2004). Автор полагает, что «он явно адресован Ходорковскому со други».

«Российская газета» («Лавра и рыночные лавры», 06.02.2004) считает, что «идеи, озвученные в Троице-Сергиевой лавре, выдержаны строго в духе лояльности экономическому и политическому курсу власти, в духе рыночной экономики и отсутствия экстремизма». По мнению издания, «если РПЦ проявит гибкость и инициативу, при крупных храмах вполне можно ожидать появления бизнес-клубов, объединяющих нормальных ребят, уставших от свинцовых мерзостей бизнес-бытия».

«Новые Известия» (**Михаил Камышин**, «С паперти на госпенсию», 04.02.2004) поместили событие в общественно-политический контекст. Автор обращает внимание читателей на то, что хотя президент Путин в Сергиев Посад не приехал, однако накануне открытия Собора сделал его председателю дорогой подарок: «Священнослужители и монахи будут отныне получать пенсию в полном объеме, как и все прочие граждане государства, которое, не забудем, отделено от Церкви. "Соглашение о сотрудничестве" скрепили подписями Патриарх и председатель правления Пенсионного фонда России Михаил Зурабов. Только наивный наблюдатель может подумать, что речь идет о случайном совпадении». В статье предпринята попытка подвести предварительные итоги десятилетней работы ВРНС: «За десять лет существования Всемирный Русский Народный Собор, увы, не оправдал своего громкого имени и не осуществил высокой миссии реального объединения всех сил, озабоченных судьбами России, как выражался Чапаев из кино, "в мировом масштабе". В силу того, что у каждой из этих сил своя забота (и своя Россия), ВРНС остался организацией по преимуществу декоративной, чьи инициативы и решения слишком часто походили на выпуск пара».

3. Православно-католический диалог

Тема православно-католического диалога по-прежнему привлекает внимание российских средств массовой информации. Однако прорыва в непростых отношениях двух Церквей пока не наступило.

Под занавес прошлого, 2003, года патриарх Алексий II заявил **«Интерфаксу»** (30.12.2003, http://www.interfax.ru/r/B/0/2.html?id_issue=8175917), что категорически отказывается «от встречи с папой Римским до тех пор, пока Ватикан не сделает реальных шагов для улучшения отношений с Русской православной церковью».

Католический священник **Игорь Ковалевский** в **«НГ-Религиях»** («Страсти между Москвой и Ватиканом утихают», 04.02.2004) высказал мнение, что отношения между Церквами начинают улучшаться. «Наша Церковь стремится к полноценному пастырскому окормлению своей немногочисленной паствы, а не к переманиванию православных в католичество. Структуры Католической Церкви в России призваны служить исключительно этой цели», — заявил он. Однако с этим утверждением не согласился сотрудник ОВЦС священник **Игорь Выжанов**, отметивший в том же номере газеты (статья «Рим не слышит Москву»), что «уже более 10 лет приходится постоянно подчеркивать те два печальных явления, которые наша Церковь считает препятствием для улучшения отношений с Ватиканом. Речь, как неоднократно говорилось, идет о католическом прозелитизме на территории России и СНГ, а также о конфликте православных с греко-католиками на Западной Украине».

Между тем, по сообщению **«Благовест-инфо»**, вышел в свет «Новый православный противокатолический катехизис» (М.: Трифонов Печенгский монастырь, «Ковчег», 2003). Книга издана по благословению епископа Мурманского и Мончегорского Симона (Гети). Католическая Церковь в книге определяется как «антихристианская неоязыческая религия, поклонение в которой ведется папе и богам-идолам, выдуманным католиками». Авторы издания утверждают, что «современное римо-католичество имеет своим непосредственным предшественником неоиндуизм, возникший в середине XIX в.», и католики, «отвергнув Единого Бога, признают истинными “живыми богами” нетриипостасных богов-идолов иудеев и мусульман, “богов” и “верховные божества” язычников, приравнивая их к Истинному Богу Пресвятой Троице и приписывая им функции творения, судейства и другие свойства Истинного Бога, а поклонение им верующих считают ведущим ко спасению». Кроме того, если верить «Новому катехизису», католики ведут «активную, прикрываемую христианской фразеологией скрытую борьбу против Бога (Пресвятой Троицы и Христа) и его откровения (Нового Завета и Откровения в целом), закладывающую основы для создания вселенских универсальных религии и церкви».

В связи с широким распространением этого издания заместитель председателя ОВЦС **о. Всеволод Чаплин** вынужден был сделать заявление, что «содержащиеся в “Новом православном противокатолическом катехизисе” утверждения — частное мнение авторов данного издания, не всегда соответствующее официальной позиции Русской Православной Церкви». Прот. Всеволод Чаплин сообщил, что официальная позиция РПЦ по поводу католичества представлена

в документе «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», принятом на Юбилейном архиерейском Соборе в 2000 году. (Источник: информационно-аналитический центр **«Сова»**, http://religion.sova-center.ru/events/13B7442/13DEC88/31859A0).

Выступая на Рождественских чтениях (см. об этом форуме выше), глава ОВЦС митрополит Кирилл довольно резко высказался о «католическом прозелитизме». По мнению **«Независимой газеты»** («Католики, не лезьте в Россию!», 28.01.2004), «заявления митрополита выглядят как демонстрация силы накануне важных переговоров между Московским Патриархатом и Ватиканом».

Под «важными переговорами» имелся в виду визит в первопрестольную главы Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Вальтера Каспера.

Кардинал далеко не с первой попытки, но все же прибыл в Россию 17 февраля и встретился с руководством РПЦ. «После вчерашней встречи кардинала с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, — пишет **Кирилл Васильенко** в газете **«Время новостей»** (20.02.2004), — было объявлено о создании совместной комиссии православной и католической церквей, которой предстоит обсудить все спорные межконфессиональные вопросы. И, в частности, планы западнохристианской церкви на миссионерскую деятельность внутри бывшего Советского Союза».

Под «планами» имелся в виду и проект учреждения греко-католического патриархата в Восточной Украине, где до сих пор не было униатских структур.

Обозреватель газеты **«Труд» Владислав Петрушко** («Кто подставил Каспера?», 20.02.2004) скептически отнесся к переговорам: «В отношениях с Москвой Святой престол демонстрирует бесконечное "топтание на месте": нежелание что-либо в корне изменить сочетается с настойчивым стремлением множить бесплодные контакты... Русская православная церковь сталкивается в конечном счете не с каким-то единым курсом, формируемым Ватиканом в отношении Московского Патриархата и православного мира в целом, а с результатом борьбы различных направлений внутри католицизма. Сам Каспер считается представителем достаточно умеренных кругов, выступающих за меры, способные привести к реальным сдвигам в отношениях с Русской православной церковью и достичь примирения. Но у тех, кто стоит за смягчение восточного курса Ватикана, есть весьма влиятельные противники, ратующие, напротив, за более жесткие действия в отношениях с православными».

Впрочем, этот скепсис не может помешать переговорному процессу, потому что, как заметил кардинал, «Россия нуждается в Риме, иначе она рискует оказаться в изоляции».

4. Выставка «Осторожно, религия!»

В январе 2003 года в центре имени Сахарова прошла выставка художников-концептуалистов «Осторожно, религия!». 39 художников решили представить свой художественный взгляд на место Русской Православной Церкви в нынешнем обществе. При этом выставка имела явно провокационный характер. К примеру, среди экспонатов были икона Спасителя на фоне рекламы Coca-Cola с надпи-

сью «Сие есть кровь моя», фигура святого с вырезанным ликом, куда каждый желающий мог подставить голову, плакат с фотографией обнаженной путаны, распятой на кресте, изображение православного креста с развешенной на нем гирляндой сосисок и тому подобные «творческие находки».

18 января в здание музея ворвались шесть человек, которые устроили в выставочном зале погром: резали полотна, обливали краской инсталляции. Двоих задержали. Они оказались членами комитета «За нравственное возрождение Отечества», которым руководит протоиерей Александр Шаргунов. Тут же возбудили уголовное дело, однако вскоре его прекратили и открыли другое — уже против организаторов самой выставки.

После погрома в прессе и в обществе разгорелась оживленная полемика по вопросу о корректности проведения подобных выставок и о допустимости силовых методов, примененных группой верующих. Не стихла эта полемика и через год, тем более что организаторам выставки предъявлено обвинение в разжигании межрелигиозной розни.

По мнению газеты **«Московский комсомолец»** (**М. Овсова**, «Жертвам погрома грозит по пять лет тюрьмы», №2, 2004), «при попустительстве властей одна из религиозных конфессий (по крайней мере, ее самые радикальные представители) начинает диктовать условия всему светскому обществу. И самое главное из условий — Русская православная церковь и ее символы должны оставаться вне критики. Более того, во всем этом настораживает факт, что ни та же церковь, ни власть не осудили погром, тем самым провоцируя радикально настроенных верующих на подобные действия в дальнейшем. А так недалеко и до инквизиции, которую все помнят по курсу средневековой истории».

«Московские новости» (**Д. Пушкарь**, «Потерпевший стал обвиняемым», № 48, 2003), защищая устроителей выставки, приводят высказывание руководителя Сахаровского центра Ю.В. Самодурова: «Идея выставки в том, что, с одной стороны, нельзя позволить религиозным институтам вести себя агрессивно и превращать божье имя в брэнд, а с другой — что надо внимательно и осторожно относиться к вере людей».

Константин Кедров в газете **«Русский курьер»** (20.01.2004) признается: «Лично я, как человек, верующий в Бога, далеко не уверен, что выставка в Музее Сахарова — шедевр изящества и вкуса. Она груба, тенденциозна и пошловата. Но это уже дело посетителей и искусствоведов — судить о качестве выставки и ее экспонатов... На самом деле никто бы и не узнал об этой выставке, если бы не ворвались в музей воинствующие раскольниковы и не привлекли тем самым к ней внимание, которого, честно говоря, эта экспозиция вряд ли достойна». «Любить или не любить религию — это личное дело каждого. А вот крушить или не крушить музейную экспозицию — это дело уже не личное, а уголовное», — замечает критик.

С ним солидаризируется **Марина Колдобская**, обозреватель еженедельника **«Новое время»** («Неосторожное обращение с религией», 08.02.2004): «Наверное, для правоверных христиан эти произведения неприятны. Но мы, согласно Конституции, живем в свободной стране. Художники полагали, что у них есть право на высказывание. А высказаться хотелось, поскольку национал-консервативное православие в качестве новой официальной доктрины многих нервирует».

С подобными заявлениями решительно не согласен известный журналист **Максим Соколов.** На сайте **Globalrus.ru** (09.02.2004, http://www.globalrus.ru/opinions/136323) он утверждает: «Если так сложилось, что уже не одно десятилетие мэйнстрим так называемого "современного искусства" сводится к тому, чтобы как можно более эффектно нагадить в как можно менее подходящем для таких отправлений месте, то это уже вопрос не столько к инквизиции (что бы под таковой ни разумелось), сколько к деятелям современного искусства, установившим в качестве творческого канона, что действия, именуемые ими творческими и художественными, обязательно должны иметь касательство к уголовному кодексу — а иначе это не искусство».

Возражения, что православным просто не надо было ходить на эту выставку, критик парирует так: «Выставка "Осторожно, религия!" была попыткой соединить два принципиально различных права — право обратиться к обществу с публичным посланием и право в приватном порядке делать что угодно. Если Ю.В. Самодуров желал быть водителем эзотерического сообщества, вольного предаваться кощунствам — нет проблем, только тогда нужно отсутствие рекламы, фейс-контроль и "оглашенные, изыдите!". Если он желал воспользоваться преимуществами публичности, он должен был понимать, что за эти преимущества платят минимальным уровнем лояльности к обществу». В заключение статьи Соколов пишет: «Мы стоим перед выбором: или общество само уймет разнуздавшихся бесноватых, или их станет обуздывать государство, а уж оно наобуздает. И чем больше мы будем усердствовать в либеральном заступничестве по поводу мерзости перед Господом, тем вернее мы придем к наихудшему способу искоренения мерзости».

Борис Колымагин в статье «ОСТОРОЖНО, РЕЛИГИЯ или Кнутом Россию не объять» на сайте **Портал-Кредо** (21.01.2004, http://portal-credo.ru/site/index.php?act=fresh&id=169) приводит мнение директора Зверевского центра современного искусства Алексея Сосны о том, что «нормальной реакцией христианина на кощунственные явления... была бы сугубая молитва за заблудших и публичная улыбка над их произведениями». Кроме того, замечает автор статьи, «Церкви просто необходимо формировать нужное ей общественное мнение с помощью компетентных арт-критиков. И это мнение будет куда более действенным, чем бравые налеты». По мысли автора, разгром выставки дал политтехнологам еще один — художественный — ресурс влияния на отношения церкви и государства: «При смене конъюнктуры у политических игроков теперь всегда будет удобный и, главное, легко просчитываемый вариант: скандальная выставка — неадекватная реакция "православной общественности" — позиционирование церкви в качестве Великого Инквизитора во всех доступных СМИ. Попридержи свящ. Александр Шаргунов своих хлопцев — и поле для подобных игрищ явно бы сузилось».

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в русской периодике 2003 г.

Сегодня, когда подвергаются сомнению возможности человеческого разума, когда со всех сторон слышно, что мы не способны осознать подлинную реальность действительности и адекватно выразить ее словом, — именно сегодня кажется особенно уместным разговор ***о языке Библии***.

С. Крисп, автор статьи **«Образ невыразимого, православный взгляд на язык в связи с особенностями его употребления в библейском переводе»** («Альфа и Омега», № 2) справедливо утверждает, что дело переводчика связано с толкованием, толкование предполагает определенный метод, а все вместе зависит от понимания сути языка. Язык может пониматься двояко — либо как сумма логических высказываний, либо как инструмент для выражения невыразимого. Именно этого второго понимания, следуя преданию восточных Отцов, придерживается Православие, для которого язык словесно исполняет символическую роль, подобную той, что визуально исполняют иконы. Православные переводчики понимают Слово не как адекватное выражение, но как «милостивое приспособление, Божие снисхождение к людям в мир человеческих мыслей и слов». Иными словами, Бог открывает Себя и одновременно остается скрытым в своем инобытии. Поэтому отношение языка к реальностям, описанным в Библии, воспринимается как сложный и таинственный процесс. Это окно в другой мир. Такое понимание языка дает переводчику чувство дистанции между современным читателем и древним текстом, сохраняя за библейскми словом качество необыкновенности и инаковости.

«Учение о богодухновенности Священного Писания в древней Церкви (I-V вв.)» излагает **А. Фокин** («Альфа и Омега», № 2). Мужи Апостольские и учителя древней Церкви были убеждены, что все Священное Писание Ветхого и Нового Завета было написано совместным действием Бога и людей (святых писателей), при этом Божественная премудрость распространялась даже на отдельные буквы. Правда, точных указаний на богодухновенность перевода (LXX), которым пользовались при толковании большинство из них, Фокин нигде не нашел. В отличие от эллинистического (языческого) экстаза, исступления, для святых писателей сам акт вдохновения не имел бессознательного и пассивного характера, хотя Тертуллиан, например, называл «исступление» — силой Святого Духа, производящего пророчества. Однако в целом учителя древней Церкви были убеждены, что вдохновение не отнимало сознания и свободы, и святые писатели полноценно использовали свои естественные способности (разум, память, волю, чувства). Градус богодухновенности, по мнению учителей Церкви, различался в зависимости от жанра Священных книг (исторические, пророческие, послания, книги премудрости и т.д.), личных способностей святых писателей и Божественного замысла. Вдохновение, по убеждению большинства учителей Церкви, было единым действием Святой Троицы. Но Алексан-

дрийцы, например, отличали Бога-Отца как Первоисточник всякой истины и считали Его Автором Священного Писания. А Ориген выразил это так: «Священные книги не суть человеческие писания, но вдохновлены Святым Духом, по воле Отца всяческих, через Иисуса Христа написаны и переданы нам».

Ориген почитается основателем христианского богословия. Он первым предпринял серьезную попытку систематически объяснить христианство в категориях эллинской мысли. И хотя посмертно он и был осужден как еретик, авторитет Оригена признавался долгие века как на Западе, так и на Востоке. **А. Серегин** в статье **«Апокатастасис и традиционная эсхатология у Оригена»** («Вестник Древней истории», № 3) обращается к оригеновскому учению о спасении, понимаемому как возвращение человека к изначальному состоянию богосозерцания, к единству с Богом. Домостроительство спасения по Оригену заключается в том, чтобы, не нарушая свободы твари, привести мир, все духовные существа (включая дьявола) ко всеобщему восстановлению, первозданному единству с абсолютным Добром — к состоянию, в котором мир пребывал до грехопадения. В таком виде учение Оригена явно отклоняется от ортодоксальной доктрины христианской эсхатологии, предполагающей окончательное разделение праведников и грешников, вечное блаженство для одних и вечные муки для других. Правда, ни в Священном Писании, ни в Священном Предании христиан, нигде не говорится определенно о конце времен, а сам Ориген нигде не высказывает своей неортодоксальности категорически. Это позволяет Серегину предположить, что собственную теорию Ориген выдвигает как гипотезу, органически связанную с другой его же гипотезой, согласно которой нынешний тварный мир — лишь один из многочисленных миров или «эонов», хронологически следующих друг за другом в процессе космической истории. Серегин полагает, что в таком контексте оба варианта — и эсхатологическое разделение праведников и грешников, и всеобщее спасение (апокатастасис) — не противоречат друг другу, так как соотносятся с разными этапами единого процесса. Просто в каждом ионе происходит постепенная подготовка ко всеобщему спасению, а именно индивидуальное перераспределение разумных существ по рангам духовной иерархии в зависимости от праведности.

Следуя примеру величайших умов Церкви, объединить ***усилия веры и разума в познании мира*** стремится священник **Владимир Шпалий**, автор статьи **«Космология святых Отцов Каппадокийцев: вклад в современный диалог науки и богословия»** («Альфа и Омега», № 2). Космология эта основана на учении о творении как явлении энергий Бога. Энергии эти суть слова Божьи (логосы), которыми Он творит мир. Физический мир понимается как Среда взаимодействия Личности Бога и сотворенной по образу Божию личности человека. Творение обретает образ «внутрибожественной экстатической любви». Оно же (и прежде всего человек как венец творения) призвано к ответной любви, так же экстатичной. Космос, таким образом, оказывается иерархической системой символов, «живой книгой», средством коммуникации, образования и научения, в которой реализуется вложенная в человека способность постичь Творца. В этом акте любви Кападокийцы утверждают приоритет воли и свободы над судьбой, над «законом», над «природой», приоритет нравственного закона над естественным, приоритет воли над мыслью. Нет ничего космического и физи-

ческого вне этического. Мир есть задание-процесс-развертывание многозначного и непредсказуемого диалога Творца и творения. И в этом Шпалий видит глубочайший смысл и ценность науки, постигающей природу и устройство мира, который совсем не самодостаточен, а представляет собой всего лишь часть великого проекта.

Стихийный богослов **В. Родин** в оригинальном (во всяком случае, начисто игнорирующем полуторатысячелетние достижения богословия в данной области) трактате **«Единство Библии и науки в вопросе о происхождении Земли»** доказывает сформулированную в названии истину («Полигнозис», № 3). «Шестоднев» микробиолога Родина претендует на создание единой непротиворечивой библейско-научной картины сотворения Земли. Автор, как ему кажется, без натяжек и противоречий связывает библейский текст о днях Творения с данными современной космологической и космогонической науки. В частности, приводит научную версию периода развития нашей планеты, когда Земли уже была, а Солнце еще не было сотворено — когда «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

Проблема сотворения мира навела **С. Бетяева** на **«Размышления о креационизме»** («Вестник Московского Университета» — М., 2003. Сер 7, Философия, № 4). Идея креационизма, возникшая в конце XVIII века в Англии, заключается в том, что всё живое и неживое сотворено по замыслу Творца и, однажды возникнув, остается неизменным, подобно часовому механизму, где все части целесообразно подобраны и отрегулированы раз и навсегда. Идея креационизма претерпевала массу изменений, но варьировалась между двумя крайностями: фундаментальным креационизмом (творение за шесть дней) и воинствующим атеизмом, который отрицает всякое божественное участие, а первопринципами считает самовозникновение и самоорганизацию. Наиболее оптимальным и соответствующим вкусу Бетяева представляется так называемый научный креационизм. Последний признает и таинство сотворения мира (участие Бога), и самоорганизацию природных сил (эволюцию). Научный креационизм разрешает проблему знания и веры, науки и религии как аверса и реверса одной медали, которые нельзя ни совмещать, ни противопоставлять. Бетяев уверенно толкует шесть дней творения книги Бытия в свете известных ему естественнонаучных и археологических данных. Так, с его подачи можно узнать, в частности, что библейское повествование об Адаме и Еве можно рассматривать в качестве поэтическое свидетельства о потере сигнала течки у современного homo sapiens.

В светской публицистике отчетливо прослеживается и ***некий религиозно-политологический*** крен. **А.Лазарева** рассматривает **»Идеи нравственно-духовного единства и свободы личности в русской религиозной философии»** («Философские исследования», № 2). Она подробно описывает, как русские религиозные философы перенесли в мир понятие соборности, позаимствовав его из символа веры, где оно определяло сущность церкви. И такая экстраполяция не обмирщила соборной сути церковной общины, а напротив освятила понимание мирской общности людей. Соборное общество Лазарева представляет как альтернативную модель общества гражданского. При таком сравнении естественно встает проблема прав и свободы человека. В русской философии различа-

лась свобода соборная и гражданская. Последняя означала деятельное начало обособления индивида, утверждение его независимости от других, от общества, обретение самостоятельности в качестве правового лица. Соборная свобода личности — это свобода несения креста. Настоящую свободу человек должен заслужить нравственным подвигом. Это не удобство жизни, а бремя. «Надо воспитать себя в свободе, надо созреть к ней, дорасти до нее, иначе она станет источником соблазна и гибели». Перед нами выбор подхода к жизни — правового или нравственного. Лазарева отдает предпочтение второму.

К наследию русских ***евразийских*** идеологов прошлого века обращается **В. Сторчак**. В статье **»Религиозные основы евразийства: источники, содержание, уроки»** («Религиоведение», № 3) идею мессианского предназначения России он представляет как стержневую линию и доминанту евразийства. Революцию евразийцы видели как «суд Божий», как наказание за попранные идеалы Святой Руси и ее державного (удерживающего от сатаны) предназначения. Реформы Петра I извратили русское национальное сознание: идея Москвы как наследницы Византийского Царства, средоточия и оплота христианства в борьбе с язычеством и западной еретической культурой утратила свой религиозный смысл, т.е. абсолютное обоснование. В противовес западному национализму евразийцы выдвигают свой. Евразийская нация — это симфоническое единство народов, населяющих континент, где русским принадлежит несомненный приоритет. Эта «наднациональность» определяется принадлежностью к православию. Православие — «единственная непорочная Церковь», рядом с которой католичество и протестантизм выглядят «как разные степени еретических уклонов». Православие есть нечто большее, чем вероисповедание. Это своеобразный симбиоз византийства и слявянства, эсхатологии «Третьего Рима» и «туранской» ментальности. В результате такого симбиоза у евразийцев появляется понятие ***«русское православие»*** со специфическими чертами всеединства, вселюбви, всемилости. Политический идеал евразийцев — «православная русская республика», в которой избранный президент («посадник») должен нести ответственность за народ перед Богом и защищать православную Церковь. Важнейшее место в системе политического регулирования отводится государственной идеологии. В этом смысле государство евразийцев — идеократия, предполагающая «строить Россию-Евразию по заветам старцев, наполняя эти заветы новым содержанием», что чрезвычайно актуально, т.к. в хаосе современной глобализации Россия как государство потеряет силы, волю, способности и самый смысл существования.

С. Филатов в статье **»Осознает ли Третий Рим свое родство с Римом первым?»** («Неприкосновенный запас», №4) указывает на исторические корни противостояния России Западу в исповедании веры и отношения к неограниченной власти самодержца. Коммунистическое иго укрепило барьеры, отделявшие Россию от остальной Европы. Патриарх Сергий (Страгородский) сформулировал ***концепцию «патриотического служения»***, ставшую опорой авторитарной власти Сталина. По мнению Филатова, пятнадцать лет жизни РПЦ после падения советской власти убедительно продемонстрировали, что идеология «патриотического служения» была не тактическим приемом, совершенным ради сохранения Церкви, а свидетельством вполне искренней позиции — возвра-

щению к национальным традициям и противостоянию западной цивилизации как носительнице материализма, бездуховности и эгоизма. Что, по мнению автора, означает, что РПЦ фактически является единственной крупной и влиятельной христианской церковью в мире, чуждой принципам демократии и прав человека. В «Основах социальной концепции РПЦ» демократическое правовое государство признается как результат секуляризации и неизбежное зло. А связывая идею свободы и прав личности с идеей служения, РПЦ, полагает Филатов, лишает понятие о неотъемлемых правах человека всякого содержания. Официальные социально-политические установки РПЦ чрезвычайно далеки от реальных обстоятельств российской жизни. А реальная религиозность «народа-богоносца», оцениваемая по таким показателям, как вера в личного Бога, в Воскресение Христа, в посмертное воздаяние за грехи и т.п., судя по многочисленным социологическим опросам, свидетельствует о том, что Россия — одна из наиболее безрелигиозных стран. В области морали (аборты, разводы, проституция, миллионы беспризорных детей) Россия также не проявляет особой приверженности христианской традиции и ничем не отличается от Запада. Реально, в действительности, православие из веры превращается в культурно-идеологический символ национальной идентичности. Такая религиозность не требует ни веры в догматы, ни молитвы, ни участия в богослужениях, ни соблюдения нравственных правил. Но РПЦ и часть политической элиты игнорируют реальность и по-прежнему воспринимают Россию в качестве «традиционной» и «православной». Филатову не понятно, чем поддерживается их вера в существование священного православного царства («Святой Руси») и кто ее разделяет. В том, что это не большинство граждан, автор статьи уверен. Церковь, полагает он, не желает знать, что представляет собой ее народ, так же, как и народ, не желающий знать, что представляет собой его Церковь.

Видимо, для того, чтобы компенсировать прохладное отношение Русской Православной Церкви к ***экуменизму***, журнал «Полигнозис», № 3 представляет его светскую версию в исполнении доктора технических наук **И. Борзенко**. В статье **«Н.Ф.Федоров и современность: внехрамовая литургия для верующих и неверующих»** он в духе мечтательного экуменизма трактует человека как существо биосоциокосмическое и уверяет, что необходимо создать стратегический проект всемирной истории, направленный на совершенствование жизни всех и каждого. Кроме того этот проект призван органично гармонизировать отношения человека и природы в масштабе всего космоса. В контексте этого проекта весьма актуальными автору видятся идеи «Философии общего дела» Н.Ф.Федорова. Суть федоровского замысла, полагает Борзенко, состоит в том, что храмовая литургия христиан «есть не конец, а начало новой внехрамовой литургии». Деятельность вне храма должна стать «общим делом» преодоления грехов человеческих путем науки (знания) и искусства (умения). Борзенко полагает, что именно после Федорова идея «всеобщего объединения» кристаллизовалась в экуменическом движении. Однако, по мнению Борзенко, никакая мировоззренческая парадигма в настоящее время не может быть общезначимой, если она не опирается на естественнонаучный рационализм. Поэтому основой нового экуменизма должно стать гуманистически ориентиро-

ванное научное творчество объединившихся верующих и неверующих. Кроме того, экуменические диалоги должны быть направлены не на синтез религий (это повлечет эклектику), а на союз, построенный на общем деле внехрамовой литургии в мире разума.

Церковные писатели полагают, что для подлинного экуменизма и для понимания того, что такое истинное ***христианство,*** необходимо умение отличать его от других вероисповеданий — например, от ***ислама.*** Чтобы христианство стало понятным, например, для мусульман, по мнению **Ю. Максимова**, начинать следует с учения о грехе. Что и было сделано в его статье **«Представление о грехе в христианстве и исламе»** («Альфа и Омега», № 2). Существо греха, согласно исламу, есть неведение Божественного закона: «Ученый мог бы не совершать благих деяний — он был бы оправдан своими знаниями». Грех в понимании православного христианина — не отсутствие правильного знания, не преступление юридических или нравственных норм, это прежде всего болезнь человеческой природы. Отсюда фундаментальное общечеловеческое значение первородного греха. После вкушения запретного плода Адам не узнал чего-то нового и не утратил части знания, коим обладал. Грехопадение качественно изменило его отношения с Богом, образовав между ними пропасть и осквернив само человеческое естество. С этих пор каждый человек от рождения получает природу, пораженную грехом, ибо «чистый от нечистого не рождается» (Иов 14.4). Грехопадение, по христианскому учению, извратило всю прежнюю богозданную иерархию человеческого строения: дух перестал жить Богом, душа — духом, тело — душой. Вместо этого дух паразитирует на душе, питаясь ее ценностями, душа паразитирует на теле, наполняясь страстями, а тело становится паразитом земной вселенной, питая себя убийством и само обретая смерть. В исламе грехопадению прародителей не предается такого общечеловеческого значения. Адам покаялся и был прощен, его неведение было упразднено, грех исчез. Практика самого покаяния также отличается от христианской. Религиозное сознание мусульман хорошо иллюстрирует арабская поговорка «После прегрешения соверши доброе дело, и ты загладишь свой грех». Кроме того, рассматривая хадисы (Священное Предание мусульман) и высказывания исламских теологов, Максимов пришел к выводу, что строго выполняющий ритуал мусульманин может быть вообще свободен от греха и покаяния. У христиан же суровый реализм отношения ко греху имеет смысл не устрашения, но упования на Иисуса Христа, «взявшего на себя грех мира» (Ин. 1,29).

Ш. Шукуров в статье »Шехина и Сакина. Паломничество и Храм в **ИУДАИЗМЕ, ХРИСТИАНСТВЕ** и **ИСЛАМЕ»** («Интеллектуальный форум», № 13) рассматривает содержательную и формальную стороны паломничества в авраамических религиях. В ***иудаизме*** осуществляется практика ритуального паломничества к Иерусалимскому Храму, то есть к месту пребывания, присутствия Бога. В этом смысле еврей — не только исторически и этимологически («эвер», по Мидрашу, — другая сторона. «Когда весь мир с одной стороны реки, он на другой стороне»), но и метафизически является паломником, пребывающим в пути ради достижения Завета и храмовой святыни. Паломничество ко

Храму — это не просто тяжкий труд и духовный подвиг, но и процесс приближения к Богу. Паломник пребывает в поиске на пути Учения, целью же пройденного пути оказывается место покоя Всевышнего, вхождение в сферу Шехины — принципиально нового трансцендентального пространства, незримого проявления Божественного Присутствия и Славы Господней. Храм — идеальное место присутствия Шехины или Яви Творца. В ***христианстве*** традиция паломничества снизила накал ритуального напряжения, ибо для христианина храмовый центр принципиально вездесущ и всемирен. Внутренняя духовная динамика образа Шехины в христианском храме лишь невнятно угадывается в новозаветных текстах. Главный же научный интерес автора статьи сосредоточен на исламской теории пути. Именно ***в исламе***, по мнению Шукурова, сконцентрирован («задержан») иудаистский и христианский опыт паломничества. В исламе паломничество (хадж) в Мекку к Заповедной мечети (Харам) и Каабе входило в число пяти обязанностей каждого мусульманина. В целом понятия паломничество, храм, Сакина (арабская версия Шехины) в сознании мусульманина синтезируются. Бытие Человека и бытие Космоса связывает незримое присутствие, интегрирующее их в неразделимое пространственно-временное единство универсального Храма. Сакина, будучи эманацией идеи Храма в сердцах верующих, напрямую связана с коранический и общепринятым в культуре ислама понятием Святого Духа (Рух Аллах, Рух ал-Кудс). Именно Святой Дух ведет паломников к цели, и Шукуров дает подробную научную экспликацию этого процесса.

Обращаясь к категории ***благочестия***, **Л. Семенченко** оспаривает общепринятое представление **«О понятии благочестия в "Иудейских древностях" Иосифа Флавия»** («Вестник Древней истории», № 3). Большинство нынешних любителей древности полагают, что иудейский историк свидетельствует о какой-то особой форме благочестия, свойственной евреям, современникам тех, кто распял Христа, и что оно де не было похоже на «эусебию» (этим греческим словом было принято называть благочестие граждан Римской империи, среди которых эти евреи жили). Иосиф, ссылаясь на Ветхий Завет, утверждает, что Моисей, в отличие от греков «сделал не благочестие составной частью добродетели, но все остальные <добродетели> составными частями благочестия». Т.о. благочестием должны определяться все поступки и помыслы евреев, а все эти поступки и помыслы подчинены богопочитанию и потому добродетельны. Добродетель и благочестие таким образом оказываются синонимами. Кроме того, согласно Иосифу, необходимость добродетельного образа жизни вытекает из Промысла Божьего. Поэтому законодатель Моисей, прежде чем составлять законы, должен был обратиться к изучению божественной природы и созерцанию божественных деяний. Моисей не просто устанавливает законы, но выводит их из определенного понятия о Боге и Его роли в жизни мира и человека. Насколько это оригинально с точки зрения грека? Семенченко находит точно такое же понимание благочестия у эллинских философов, историков и законодателей. Мало того, сам Иосиф, защищая евреев от распространенных в ту пору обвинений в человеконенавистничестве, действительно указывает на их благочестие, но отнюдь не акцентирует его особенности, напротив подчер-

кивает его общечеловеческий характер. Это дает основание Семенченко концепцию благочестия у Иосифа Флавия, а стало быть и у остальных евреев, назвать по преимуществу эллинистической (общечеловеческой). Иудейский смысл слово «благочестие» обретает у Иосифа только тогда, когда он говорит о неукоснительном исполнении всех предписаний Торы.

А. Зайцев в статье **«Кровавые жертвы вуду»** («Знание — сила», № 7) знакомит читателей с афро-американским культом ***вуду*** (он же сантерия, макумба), довольно популярным в некоторых странах Африки, на Гаити, Кубе, в Бразилии и США. Приверженцев этого культа насчитывается около 50 миллионов. Особенности богослужения заключаются в натуральном кровавом жертвоприношении (рубят голову петуху), осуществляемом «священником» в тот момент, когда толпа прихожан доведена ритуальным танцем и ритмичным барабанным боем до высшей степени «благочестивого» возбуждения. Жертвоприношение — апофеоз ритуала. После него прихожане впадают в транс, обретая единство с духом. В теологии вуду есть высший Бог-Творец, окруженный сонмом помощников. Человек наделен двумя душами. Одна определяет его индивидуальность и существует вечно, другая — искра Божия — наделяет человека совестью и покидает тело после смерти, растворяясь в Творце. Причина всех бед человеческих — гнев богов или колдовские козни недоброжелателей. Последнее нейтрализуется специальными магическими обрядами, талисманами, амулетами и т.п. Прогневанные боги умилостивляются жертвоприношениями. Особенно широкую известность вуду приобрел тогда, когда просвещенный мир узнал о способности колдунов Гаити оживлять трупы и превращать их в зомби, послушных воле хозяина. Один гарвардский профессор сумел найти этому феномену убедительное объяснение, но сам, конечно, ничего подобного сделать не смог.

Обзор подготовил Александр Денискин

У книжной полки

Георгий ЧИСТЯКОВ

БОГА НИКТО ВЫДУМАТЬ НЕ МОЖЕТ

Симона Вейль. Укоренение. Письмо к клирику.

Дух і Літера. Киев. 2000

Появления этого издания у нас ждали — покойный Сергей Аверинцев, составитель книги Константин Сигов, Анна Шмаина-Великанова и еще два-три человека. И это понятно: математик и блестящий филолог-классик, одна из самых неординарных мыслителей первой половины XX века, Симона Вейль (1909-1943), почти неизвестна в России. И если с кем и сравнивать Симону Вейль, то только со знаменитой святой монахиней-кармелиткой Эдит Штайн — тоже философом, ученицей Гуссерля, тоже еврейкой и тоже в прошлом атеисткой.

Ангелика Крогман, автор книги «Симона Вейль, свидетельствующая о себе», вышедшей на русском языке в начале 2003 г. в Челябинске в издательстве «Аркаим», называет Ассизи «духовной родиной» Симоны Вейль. «В Ассизи, — пишет сама Симона в одном из писем, — все вокруг францисканское за исключением того, что сделали люди в честь святого Франциска... Можно подумать, что провидение создало эти веселые поля и эти трогательно-скромные часовни специально к его приходу. И когда я осталась одна в маленькой романской часовне XII столетия Santa Maria degli Angeli, под сводами этого несравненного чуда красоты, где святой Франциск часто молился, что-то более сильное, чем я, заставило меня впервые в жизни опуститься на колени...»[1].

Этот текст очень характерен для Симоны Вейль, которая при всей любви к Франциску «то, что люди сделали в честь святого Франциска», принять не может, потому что всё это, с ее точки зрения, искусственное, не имеющее никакого отношения к настоящему Франциску, к его жизни и, главное, к его бедности. Бедности, о которой Симона знает не понаслышке, с которой она сама сроднилась и которую узнала, живя среди рабочих и работая на заводе. Другое дело — «веселые поля» и «трогательно-скромные часовни» — то, что существовало во времена Франциска. Это то подлинное, что Симона может принять, то, что может захватить ее и заставить «впервые в жизни опуститься на колени».

[1] Ангелика Крогман. «Симона Вейль, свидетельствующая о себе», с. 41.

Георгий ЧИСТЯКОВ — родился в 1953 году в Москве. Окончил классическое отделение филфака МГУ, кандидат исторических наук. Рукоположен во священника в 1993 году. Служит в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине. Живет в Москве.

Это действительно событие. Симона, бунтарь, в недалеком прошлом троцкистка, революционерка, нигилистка и т.д.; Симона, человек, не признающий несвободу ни в какой форме, **здесь, в Ассизи**, становится на колени — потому что в жизнь ее вошел Бог. В 1937 г. в соборе Св.Петра на Троицу она переживает «божественную музыку под божественным сводом» и пишет затем: «нет ничего прекраснее, чем тексты католической литургии...»[2]... И это, между прочим, мнение филолога-классика — человека, прочитавшего по-гречески всего Платона и вообще блестяще знающего греческую и латинскую литературу. И в самом деле, косноязычная и одновременно возвышенная поэзия литургических текстов есть что-то действительно особенное и уникальное. Мистическое... Не будем переводить, просто вслушаемся в музыку текста: Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria.

Мистическая составляющая католической литургии, мистика вообще чрезвычайно важны для Симоны Вейль. «Читал ли ты, — пишет она брату, — святого Хуана де ла Крус? В данный момент — это мое основное занятие. Я также достала текст на санскрите ("Бхагаватгита"), записанный латинскими буквами. Мысли в обоих случаях чрезвычайно схожи. Мистика во всех странах одинакова. Я думаю, сюда следует отнести и Платона, так как он сделал математику предметом мистического созерцания»[3]... «Мнения мистиков почти всех религиозных традиций, — напишет она и в книге, — сходятся почти до полного тождества. Они представляют истину каждой из этих традиций»[4].

Любопытно, что такое — безусловно, очень смелое — мнение высказывали и другие весьма замечательные умы. Так, Станислав Гроф, один из основоположников трансперсональной психологии, писал: «Глубокое мистическое переживание проявляет склонность к размыванию границ между религиями, тогда как догматизм организованных религий стремится упирать как раз на различия и порождает враждебность и противоборство». И далее: «Истинная духовность является вселенской и всеохватывающей»[5]...

Рассуждая о мистической природе духовности, говоря о том, что «нет спасения без "нового рождения", без внутреннего озарения, без присутствия в душе Христа и Святого Духа», Симона Вейль тут же задается вопросом — а «может ли человек обрести спасение вне видимой Церкви»?.. И приходит к следующему выводу: «если существует возможность спасения вне Церкви, то существует и возможность индивидуального или коллективного откровения вне христианства»[6]. Еще одно чрезвычайно смелое утверждение. Но разве не о том же самом говорит и митрополит Антоний Сурожский, восклицая: «А мы очень легко, слишком легко, мне кажется, говорим, что Бог как бы является нашей собственностью, что мы хранители веры и что у других вообще ничего нет»?! Вспоминается давний, еще тридцатых годов, спор владыки Антония со

---

[2] Там же, с. 49

[3] Ангелика Крогман. «Симона Вейль, свидетельствующая о себе», с. 129.

[4] «Письма к клирику», с. 291.

[5] С. Гроф. «Психология будущего», с. 264

[6] «Письма к клирику», с. 290.

знаменитым богословом и историком Церкви Владимиром Николаевичем Лосским. «Он, — говорит митрополит Антоний, — тогда был очень отрицательно настроен против восточных религий. Мы это долго обсуждали, и он твердо мне сказал: "Нет, в них истины нет!" Я пришел домой, взял книгу Упанишад, выписал восемь цитат, вернулся к нему и говорю: "Владимир Николаевич, я, читая святых отцов, всегда делаю выписки и пишу имя того, кому принадлежит данное изречение, а вот тут у меня восемь изречений без авторов. Можете ли вы 'по звуку' их узнать?" Он взял мои восемь цитат из Упанишад, взглянул и в течение двух минут назвал имена восьми отцов Православной Церкви. Тогда я ему сказал, откуда это взято... Это послужило какому-то началу пересмотра им этого вопроса».

Мы привыкли думать, что православие абсолютно монопольно владеет Истиной. Но, отказываясь прислушиваться к чужому мнению, не закрываем ли мы тем самым слух для Истины? «Мы должны, — замечает митрополит Антоний, — относиться очень бережно и осторожно к тем, которые не христиане или не верят в Бога Ветхого и Нового Завета, и к тем, которые вообще являются безбожниками или, во всяком случае, идейно, мировоззренчески себя считают таковыми». И все это по той причине, что «Бога никто *выдумать* не может. Можно, пережив нечто, называть это различными именами... но для того, чтобы о *Боге* говорить, надо хотя бы *коснуться края Его ризы*».

«Похоже, — пишет Симона Вейль, — что со временем воплощением Бога на земле люди стали считать не Иисуса, а Церковь» В самом деле. Один наш политик, словно специально взявшись проиллюстрировать это высказывание Симоны, даже заявил как-то, что в Бога он не верит, но верит в Церковь как в структуру, что несет людям «разумное, доброе, вечное», объединяет их и запрещает делать дурное, но не в Бога, которого «не видел никто никогда» и которого, как говорится у Николая Гумилева, химией не докажешь. Неверующий, мыслящий рационалистически и к тому же циничный политик нередко сегодня думает, что церковь можно использовать как структуру, спекулируя на том, что люди ей доверяют, прекрасно осознавая, что никакого Бога, конечно же, нет и никогда не было, и считая все разговоры о Нем пустопорожними и вредными. Именно таким образом наши политики сегодня спекулируют на доверии русского человека к православию, одновременно преследуя протестантов, лишая виз католических священников и высылая их из России. Всё это до предела ясно показывает, что в Бога эти люди не верят, о христианстве не имеют ни малейшего понятия, а над верующими элементарно издеваются. К тому же, постоянно апеллируя к авторитету Церкви и вспоминая о ее роли в истории России, они никогда и ни при каких обстоятельствах не вспоминают об Иисусе и о том, чего Он ждет от нас.

Нечто подобное и предвидела Симона Вейль. В другом месте она пишет, что «христианская цивилизация, при которой свет христианства озарил бы всю жизнь, была бы возможна лишь при условии устранения римской концепции порабощения умов церковью»[7]. Иными словами, христианская цивилизация состоялась бы лишь в том случае, если бы Церковь не повелевала, не требовала

[7] Там же, с. 265.

думать именно так или, наоборот, по-другому, но просто бы поддерживала человека на пути его духовных исканий, на его дороге к Богу.

Запрещая или разрешая нам что-либо, церковные установления зачастую апеллируют исключительно к нашему сознанию и, более того, возводят преграды между нами и Богом живым, который открывается человеку в его личном, если хотите, мистическом опыте, останавливают нас на пути к Богу. «Когда я читаю, — пишет Симона Вейль, — катехизис Тридентского собора, мне кажется, что я не имею ничего общего с описанной в нем религией. Когда читаю Новый Завет, мистиков, литургические тексты, когда я присутствую на богослужении, я чувствую, я почти уверена, что это вера — моя или, точнее, могла бы стать моею, не будь между нами расстояния, вызванного моим несовершенством»[8].

Об этом же пишет Юнг: «Каждый, кто приобретает опыт в непосредственном общении с Богом, оказывается, по крайней мере немного, несоответствующим порядку, установленному церковью. Но люди легко забывают, что она сама вряд ли была бы создана, если бы Сын Божий был законопослушным фарисеем»[9]. Станислав Гроф в книге «Путешествие в поисках себя» (М., 2001) говорит о том, что личный духовный опыт, как правило, не делает человека ближе к официальной церковности и не побуждает его чаще ходить на формализованные службы... Напротив, личный духовный опыт приводит к пониманию того, что официальная церковность во многом ограничена и даже в чем-то от истинной духовности отклонилась.

И сразу вспоминается Митрополит Антоний Сурожский, который на епархиальной конференции в мае 2001 г. ребром поставил вопрос where has Christianity gone wrong? — «где ошиблось христианство?»... Свой доклад на этой конференции он закончил словами: «И мы должны ... принести миру наш опыт Бога (our experience of God), не «христианство», не правила, не каноны, не даже формы молитвы, но саму суть нашего общения с Богом»[10]. Цитируя Юнга, который сказал однажды, что «основная функция формализованной религии состоит в том, чтобы защищать людей от непосредственного переживания Бога», С. Гроф замечает, что при этом «непосредственные духовные переживания полностью совместимы с мистическими ответвлениями великих мировых религий, таких, как различные направления христианского мистицизма, суфизм, каббала, хасидизм». Как раз на это указывает и Симона Вейль, замечая, что мнения мистиков почти всех религиозных традиций сходятся почти до полного тождества. Симоне дорог католицизм, но не катехизиса Тридентского собора, то есть официальных документов, жестко регламентирующих поведение верующего, а святого Франциска и тех молитв, что звучат во время мессы, той атмосферы, того духовного полета, что переживает во время литургии верующий человек в глубинах своего сердца.

«Религия провозглашена частным делом», — пишет Симона Вейль. Казалось бы, прекрасно, однако... «Согласно современному образу мысли, это не

---

[8] Там же, с. 271.

[9] Карл Густав Юнг. «Бог и бессознательное», с. 44.

[10] Diocesan conference, Haedington, Oxford, 25th — 28th May 2001, p.40.

означает, что она содержится в глубине души, в этом глубоко скрытом месте, куда даже сознание наше не проникает. Это означает, что религия — дело выбора, мнения, вкуса, почти фантазии, нечто вроде выбора политической партии или даже выбора галстука»[11].

Кстати об этом же говорится у Юнга[12]: «Современному человеку религии больше не являются изнутри, как исходящие от души; они стали для него принадлежностью внешнего мира. Надмировой дух не охватывает его своим внутренним откровением; он пытается выбрать религии и убеждения, словно примеряя воскресный наряд, чтобы, в конце концов, снова сбросить их как поношенную одежду».

И Юнг, и Симона Вейль говорят о том, что религия превращается в идеологию, в нечто такое, что человек выбирает, исходя из рациональных установок и считая, что избранная им религия и есть воплощение истины в последней инстанции. Именно считая, но не чувствуя, не ощущая сердцем: *путь, который я выбираю, быть может, и не лучший, но именно его вопреки всему рациональному мне каким-то таинственным образом указывает сам Бог.* Именно об этом говорит Симона Вейль, утверждая: «Нет спасения ... без внутреннего озарения, без присутствия в душе Христа и Святого Духа» — «без внутреннего озарения, без присутствия в душе»... без того «внутреннего откровения», о котором говорит и Юнг.

Порою Симона мыслит шокирующими парадоксами, которые могут оттолкнуть иного верующего читателя: «Умри и воскресни Гитлер хоть пятьдесят раз, я не считала бы его Сыном Божиим. И если бы в Евангелии отсутствовало упоминание о Воскресении Христа, вера была бы для меня доступнее. Мне довольно и Креста»...

На мой взгляд, сказано замечательно. Действительно, мы принимаем Евангелие не потому, что Христос воскрес, а потому что Он был в мире и потому, что Он сказал это и так жить нас научил. И уже только потом останавливаемся перед великой тайной Воскресения. Современному человеку, принявшему Христа, ясно и то, что (и в этом смысле мы даже спорим с апостолом Павлом) даже и не воскресни Господь, мы все равно остались бы христианами и вера наша не была бы тщетна.

И об этом же в другом месте: «Слова, адресованные Фоме: "блаженны не видевшие и уверовавшие", не могут относиться к тем, кто, не видев, верит в факт Воскресения. Это была бы похвала легковерию, не вере... Без сомнения, блаженными здесь названы те, кто не нуждается в воскресении, чтобы уверовать, те, для кого совершенство и Крест — достаточные доказательства»[13]..

Весной 1938 г. Симона провела Страстную неделю в Солеме, где выучила наизусть стихотворение английского поэта Джона Герберта (1593 — 1633) «Любовь», чтобы читать его вслух с предельной сосредоточенностью (слово самой Симоны!) в те минуты, когда головные боли, которыми она страдала,

[11] «Письма к клирику», с. 128.

[12] Карл Густав Юнг. «Проблемы души нашего времени». СПб, «Питер», с. 326.

[13] «Письма к клирику», с. 341.

становились невыносимыми. «Я думала, что всего лишь произношу прекрасное стихотворение, но это чтение имело — хотя я того сама не сознавала — силу молитвы». Однажды, когда она в очередной раз читала стихотворение вслух, ей показалось, что Сам Христос сошел вниз и что она ощущает Его присутствие. Симона пишет, что ей приходилось слышать о подобных состояниях, но прежде она не понимала, что это такое: «Ни чувства, ни сила воображения не принимали ни малейшего участия в этом переживании внезапного подчинения силе; я лишь чувствовала сквозь страдание присутствие любви, подобной той, которую мы узнаем в улыбке любимого лица»...

Практически в этих же самых словах митрополит Антоний, который всего лишь на пять лет моложе Симоны Вейль, рассказывает о том, как впервые в жизни (в возрасте четырнадцати лет) он стал читать Евангелие от Марка, выбрав именно его, потому что оно оказалось самым коротким. «И вот я сел читать, — говорит митрополит, — и тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете. Когда идешь — и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал ... читал медленно, потому что язык был непривычный, и вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос... И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть... Но даже, когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно»[14].

Когда же Симона выучила по-гречески «Отче наш», произошло нечто удивительное. «Бесконечная сладость этого греческого текста, — вспоминает она, — захватила меня настолько, что несколько дней подряд я не обходилась без того, чтобы не повторять его снова и снова». Сила этого упражнения, говорит Симона, всякий раз превосходит ожидание. «Уже начальные слова порой исторгают мой дух из тела и перемещают его в какое-то другое место за пределами пространства, в бесконечность второй или третьей степени. Иногда Христос присутствует лично, но при этом с бесконечно более реальной, ясной и преисполненной любви достоверностью, нежели в тот первый раз, когда он захватил меня»[15].

«Помню, что я тогда ... подумал ... — рассказывает митрополит Антоний, — если Христос живой стоит тут — значит, это воскресший Христос. Значит, я **знаю** достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес и, значит, все, что о Нем говорят, — правда»... Митрополит Антоний прямо говорит о том, что он понял, что больше не нуждается в *мифе* (конечно, в платоновском смысле этого слова, то есть в том тексте, в который необходимо поверить, в — используя сегодняшний язык — сообщении!) о воскресшем Христе, ибо **знает** из своего собственного опыта, что Он воистину воскрес. На самом деле именно об этом говорит в приведенных выше текстах и Симона Вейль. Христос, действительно, остается с нами «во все дни до скончания века» и мы знаем это. Как поется в средневековой латинской секвенции, которая предшествуют чтению Евангелия во время пасхальной мессы —

[14] Антоний, митрополит Сурожский. «О встрече», СПб, «Сатис», 1994, сс. 36-37.

[15] Цит. по: Ангелика Крогман. «Симона Вейль, свидетельствующая о себе», сс. 143-144.

Scimus Christum surrexisse de mortuis vere,
Tu nobis victor rex miserere... —

Мы **знаем**, что воистину воскрес Христос из мертвых,
Царю и Спасителю, помилуй нас...

...мы знаем, именно уже знаем, а не верим, знаем из своего личного опыта, что распятый и умерший на Кресте воскрес Господь и явился не только Симону-Петру, но и каждому из нас. Мы обладаем этим знанием, но только, увы, не можем передать его другим, потому что такое знание не передается теми способами, которыми может быть передано знание физики или математики. Оно просто приходит в какой-то момент в нашу жизнь и сразу обновляет ее и делает принципиально иною...

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

в русской периодике 2003 г.

Слово **«ФИЛОСОФИЯ»**, как известно, в переводе с греческого означает «любовь к мудрости». И вот доктор философии **Л. Столович** задался вопросом: а что такое ***мудрость*** и чем отличается она от простого знания? Достаточно ли обладать здравым рассудком и эрудицией, чтобы быть мудрецом? (**«Мудрость и знание»** — «Вопросы философии», № 11). Исследовав мнения философов от Гераклита до М.Эпштейна, автор статьи дополнил их своими соображениями. Мудрость для него — это способность постижения жизненных явлений. Ее не гарантирует даже исключительная развитость ума. Мудрость — это интуиция разума, подобно тому, как совесть — интуиция нравственная, а вкус — эстетическая. Мудрость содержит в себе диалектическое противоречие между познавательным и ценностным началами. Она сама — сплав познания и оценивания. Мудрость имеет свои градации, то есть нечто может быть более мудрым или менее мудрым. Мудрость содержится во всякой национальной культуре, но как таковая она носит общечеловеческий характер. И именно мудрость составляет основу общечеловеческой культуры. И чем больше мудрости в мире, тем больше в нем мира.

Любви к мудрости не чужд и **В. Осипов**, автор статьи **«Ноосфера — человек — разум (расширение сферы разума)»** («Философия. Наука. Культура», № 2). Он чтит ее в человеческом разуме, стремящемся к постижению истины, обретению знания во всевозможных науках. Творческая и интеллектуальная деятельность также объемлются разумом. В отличие от рассудка, ориентирующего человека в суете обыденной реальности, разум позволяет субъекту существовать идеализированно, т.е. безотносительно к условиям пребывания. Саморефлексия позволяет разуму развиваться независимо от воздействующих на него обстоятельств. Но, несмотря на это, всякий разумный человек предпочитает жить комфортно и не иначе, как в обществе, где царит порядок. Появление большого количества разумных людей способствует развитию общечеловеческого разума (ноосферы), который, в свою очередь, создает условия для реализации высшей в мире ценности — Человека.

Свидетельство поразительной философской стойкости — статья **И. Гобозова «Философия как постижение эпохи»** («Философия и общество», № 3). Автор рыцарски верен ***Марксу*** и, несмотря ни на что, по-прежнему считает его труды вершиной мировой философии. Вслед за учителем Гобозов убежден, что именно материальная жизнь и материальные общественные отношения детерминируют все другие формы деятельности людей — религию, культуру, науку, искусство, политику. Главной движущей силой истории являются экономические отношения, человек становится человеком только в обществе, а умственный про-

гресс возможен только тогда, когда сознание освобождается от религиозного мракобесия. С очевидным несоответствием марксизма современной практике Гомозов разбирается просто: чтобы оправдать теорию своего кумира, он ополчается на реальную действительность. Она же предстает перед ним в образе многоликого постмодернизма, который, понятное дело, явился следствием кризиса капиталистического производства. Так что пока общество переживает кризис производительных сил, философия переживает кризис сил умственных, чем лишний раз подтверждается бессмертная марксова истина: «не сознание людей определяет бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

Мудрость бескомпромиссного, сурового ***материализма*** демонстрирует **В. Ф. Гершанский**, автор статьи **«Философский гилодинамизм»** («Вопросы философии», № 11). Исходный принцип этой науки[1] — признание материи субстанцией. Материя — несотворима и неуничтожима, существует вечно, бесконечно и многообразно по формам проявления. Все явления в мире детерминированы естественными материальными связями, причинно-следственными отношениями и объективными законами природы. Человеческая психика и сознание определяются материальными процессами в мозгу, и только они являются высшими формами отражения внешнего мира. Кредо своей науки Гершанский декларирует, будто новый Экклесиаст. Формулировки чеканны, как эпитафии. Так и видится начертанное на могильном камне: «Материя — это то, из чего все происходит, из чего все состоит, во что все превращается».

Худо ли бедно, но на практике человечество ***смысл жизни*** все же находит. А вот в теоретическом плане это остается одной из наиболее запутанных проблем. **Р. Шакуров** пытается восполнить этот пробел усилиями психологической мысли (**«Психология смыслов: теория преодоления»** — «Вопросы психологии», № 5). Для решения проблемы в качестве базового доктор психологических наук берет понятие «ценность». В содержательном плане наибольшие смыслосозидающие потенции имеют деятельность и духовные ценности, особенно крупные отдаленные ценности-цели. Богаче всего ценностями творческая деятельность. В смыслообразовании ключевую роль играют преграды, что особенно ясно проявляется, когда они слишком велики или когда отсутствуют совсем. Непреодолимые преграды приводят к психологическим кризисам и утрате смысла жизни, но то же самое происходит и при их отсутствии. Оказывается, при стабильном достатке и отсутствии препятствий к удовлетворению потребностей смысл жизни утрачивается. Смыслообразующий потенциал ценностей определяется в первую очередь их дефицитностью. Интересно, что мышление, по наблюдениям Шакурова, в смыслообразовании имеет лишь второстепенное, инструментальное значение. Главное — эмоции (чувства). И в самом деле, с обыденной точки зрения, что может быть желанней счастья?! А это — эмоция.

Социальные философы проводят ревизию своего инструментария, уточняя ***смысл терминов***, которыми пользуются. Как говорил М. Хайдеггер: «дело философии охранять силу у элементарнейших слов»... Иначе ведь запутаться можно. **К. Васильева** выясняет, что думала **«Европейская гуманитарная мысль о менталитете»** («Философия. Наука. Культура», № 2), реставрируя этот затертый до

[1] hyle — материя и dynamis — сила (*греч.*)

неузнаваемости термин. Впервые слово «менталитет» употребили американец Эмерсон и француз М.Блондель. С тех пор прошло много лет, термином стали пользоваться все, кому не лень. Васильева не дает законченного определения, но выстраивает ассоциативный ряд, в котором значение понятия проясняется историческим контекстом. Выбранные контексты таковы: средневековье, строительство коммунизма, Вторая мировая война. И везде обнаруживаются идеи и вера, «абсурдные с точки зрения здравого смысла». При самых благих намерениях автора, на наш взгляд, такие выводы могут компрометировать здравый смысл.

Хорошо рассматривать всякое понятие в его историческом контексте. Но, уточняет **Н. Смирнова,** всякое время для осознания себя требует своего ума (**«Когнитивные[2] практики в различных типах цивилизации»** — «Полигнозис», № 3). Общепринятые до сего дня на Западе и едва усвоенные у нас методы не годятся для понимания цивилизации постмодерна (не следует путать постмодерн как эпоху с постмодернизмом как философией этой эпохи). Сейчас наиболее пригоден метод социально-культурной экспертизы. Специализированная экспертиза — это оценка того, насколько объект соответствует тем или иным социальным интересам. Но есть еще социально-гуманистическая экспертиза, где эталоном выступают общечеловеческие ценности. Такая экспертиза вводит «человеческое измерение» и оценивает степень «человеческой соразмерности» масштабных технических, экологических и социальных проектов. Экспертиза не сводима к формально-логическому выводу. Эксперт не доказывает, а убеждает. Это, в некотором смысле, — консенсус профессионалов. Кроме того, экспертиза включает в себя процедуры интерпретации, толкования, как самостоятельный метод познания. Этакая «мягкая» неопределенность экспертизы свидетельствует о зыбкости самой социальной жизни постмодерна. Она не похожа на классическую парадигму предыдущей поры (модерна). Но сформулированным в ту пору строгим универсальным законам соответствовать в наше время никто и ничто не станет.

Философы выявили проблему нового века. Технологический прогресс последних десятилетий (***постмодерн***) создал новые способы коммуникации, равно применимые во всех сферах человеческого бытия от бизнеса до развлечений. Новые коммуникации принципиально меняют все прежние формы общественных отношений, так что сегодня мы наблюдаем зарождение нового общества. По мнению лингвистов, появление Интернета равнозначно изобретению речи и письма. Сами же письмо и речь в СМИ породили так называемый *феномен журнализма*, для которого характерна жажда публичной экспозиции и новаций. Ситуативное сознание эту жажду утоляет, взамен же утрачивает способность теоретической интерпретации, заботу о концептуальной оформленности и ответственности текста, а в конечном итоге — о логической связности вообще. «Журнализм» размывает критерии истинности, подлинной ценности. Умопомрачительное развитие информационных технологий обусловлено, как известно, ориентацией на разумные принципы жизни, на научную рациональность, на либеральные ценности, демократические институты и проч. Однако в реальности все оказалось значительно сложней.

---

[2] cognitio — знание, познание (*лат.*)

Проблему **«Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре»** ставит за своим круглым столом журнал «Вопросы философии» (№ 12).

Б. Пружинин с тревогой обнаруживает, что новейшие информационные технологии породили процессы, разрушительные для самой породившей их цивилизации. Так, мощность информационных технологий настолько перекрывает возможности индивида к усвоению информации, что он лишается способности самостоятельно формировать собственные представления и отдается произволу потока. В руках СМИ сосредотачивается небывалая власть над сознанием индивида. Так что сомнения вызывают и реальность демократического режима, и возможность свободного политического выбора, да и сама идея свободного волеизъявления, а вместе с ней идея личности вообще. Стирается грань между реальным «Я» и «Я» виртуальным. Это заметно во всех сферах жизнедеятельности: в политике, в экономике, в культуре, в науке. Так, благодаря Интернету резко возросла мобильность научных коммуникаций, но одновременно рухнули барьеры экспертных оценок, ведь равноправие научного и профанного в конкретных науках ведет к размыванию научных стандартов. Обратившийся к Интернету ученый тонет в немаркированной информации, массив которой превосходит его критические возможности. Задача философов прояснить смысл происходящего, а сохраняться ли при этом традиционные ценности, зависит от нас самих.

Трезвей всех — с точки зрения своей иронической отстраненности — на эту проблему смотрят философы-постмодернисты. **Д. Дубровский** считает, что виртуальная реальность, будучи особой формой бытия, формирует собственные потребности — гедонические ориентации, новые роли и игровые образы собственного «Я». Возникает параллельная «якобы жизнь» со своими критериями реальности, что порождает раздвоенность сознания, ценностную, смысловую, экзистенциальную децентрализацию. В итоге размываются основания критических регистров определенности. Словом, проблемы множатся и стратегическая задача человечества состоит в том, чтобы контролировать этот процесс. Необходимо преодолеть ментальность индустриальной эпохи, безответственно относившейся к последствиям технологических новаций. Концентрироваться следует на задачах прогноза, безопасности и противодействия деструктивным тенденциям технологического прогресса.

Н. Громыко утверждает, что новые информационные технологии манипулируют нами, они являются «консциентальным оружием», т.е. направлены на поражение и уничтожение определенных форм сознания и режимов его функционирования. Современный человек неразрывно связан с мерцающим экраном (телевизор, компьютер, мобильный телефон и т.п.), его сознание стало экранным сознанием. Незаметно от нас его эксплуатируют до перегрева, до потери аналитических способностей.

И Интернет имеет свои плюсы, замечает **Н. Автономова**. В мировой истории всякий раз создание новых информационных технологиа, будь то письменность, книгопечатание или телевидение, воспринималось как разрыв с подлинным, истинным, ценным, духовным. Интернет дает нам свободу нового передвижения по свету, делает публичным становление текста (в том числе научного), и это его безусловные плюсы. Что же до манипулирования созна-

нием, то феномен этот столь же давний, как и само сознание. Конечно, влияние зрительного образа совокупно с текстом (экран) огромно и вездесуще, но связано это не со злым умыслом темных сил, а с общей эстетизацией действительности и мысли о ней (т.е. с мировоззрением), с новым запросом современного сознания на синкретику (смешение) в ущерб аналитике. Как с этим справляться, пока не ясно. А вот область, где философы могут и должны себя проявить, — это риторика, ведь все поле социального дискурса риторично. Человек, подвергшийся воздействию информационных технологий, на самом деле не может отличить, где слух, где версия, где мнение, а где факт. Философ может помочь в этом разобраться, но и сам он не свободен от манипулятивных (убеждающих) стратегий. Итак, новые средства нужно использовать разумно: заполнять, по мере возможности, новые информационные пространства высоким и ценным, систематизировать наличное содержание этих пространств, овладевать ими, как библиотекой. Интернет — бесценное хранилище культурной памяти, и необходимо совершенствовать нашу способность выбирать то, что нам нужно.

По мнению **В. Розина**, новые информационные технологии — главная движущая сила социального развития, а возникновение информационного общества — естественный этап развития общества постиндустриального. Зарождающаяся техногенная цивилизация преобразует буквально все стороны жизни и создает новые виртуальные реальности, позволяющие человеку воплощать свои идеалы, мечты и фантазии. Виртуальная реальность хотя и символична, но чувственна, жизненна, событийна, может быть обжита и казаться более или менее естественной. Новые технологии создают некую информационную реальность, которая образует новые сообщества и экспериментирует по части выращивания новых форм жизни (симбиоз «человек-компьютер-машина»). Новая реальность прорисовывает контуры «метакультуры» и, в частности, новой глобальной цивилизации, включающей в себя отдельные культуры.

Доктор философии **В. Кутырев** находит, что культурологической транскрипцией новых информационных технологий является философия постмодернизма. Своими деконструкциями она расчищает место для новых реальностей. Разрушая традиционную метафизику, отменяет ту картину мира, которую человечество культивировало более двух тысяч лет и которую Кутырев называет «этнофалло-фоно-логоцентризмом» (где этно — человечество в целом; фалло — генитальная символизация человека как индивидуального телесного существа; фоно — специфическое обозначение эмпирического существования (живой человек всегда шумит — фонит); логоцентризм — естественное языковое мышление). Так сложно названный дискурс в своем развитии двигался от «мифа к логосу». Почему, недоумевает Кутырев, в постмодернизме отвергается Логос-слово, ведь таким образом в пользу информации отвергается сама жизнь? Оказывается, вина слова в том, что информационно-компьютерное мышление — не словесное, а цифровое. Оно стремиться все «оцифрить» и свести к определенному числу серийных действий, к чистой математике, двигаясь от «логоса к матезису». Постмодернистское мышление «мыслит без мысли о том, что мыслит человек» — такой вывод делает философ.

В. Порус вспоминает о трех ударах по человеческой гордыне. Первый из них нанес Коперник, переместив человека из центра Вселенной на перифе-

рию, затем Дарвин подорвал уверенность в нашем божественном происхождении, третьим стал Фрейд, отвергший разумное основание сознания. Теперь приходится констатировать четвертый удар: человеческое «Я», казавшееся субстанциональным (неизменно сущностным), в стремительном потоке информационных изменений вдруг обнаружило свою неполноценную (функциональную) природу. Все прежние определения самодовлеющего «Я» — всего лишь теоретические конструкты, фикции и место им — в философской кунсткамере. Именно постмодернисты ясней и раньше других заметили это. Прежнее «Я», которое они считают иллюзией, уступает место безликому индивиду, предмету, с которым манипулируют информационные технологии. В политическом процессе такой индивид теряет свою суверенность и автономность и превращается в простой «человеческий материал», в штампованный суррогат, не отличимый от множества подобных. В такой ситуации под сомнение ставится идея демократии, ибо народ низводится до «электората», составленного из марионеток. Порус с сожалением обнаруживает, что в условиях современной цивилизации сознание человека все больше напоминает технологическое устройство. Недавний спор «мыслит ли компьютер?» превращается в спор «мыслит ли человек?» Интернет как эхо постмодернизма прекрасно воплощает ироническое отношение к действительности, оценки которой становятся виртуальными, как и она сама. А тягу к виртуальности Порус воспринимает как симптом вырождения человечества.

А. Кусжанова полагает, что культуры различаются в зависимости от того, кто кому передает опыт. Бывает, что потомки учатся у предков (традиционная культура), а бывает и наоборот (как раз современная ситуация). Наши дети в освоении новой культурной среды оказались мобильнее нас и обращаются с компьютером, как нам и не снилось. Мы уже архаичны. Это в нас вызывает дискомфорт, неприятие, отторжение. Отсюда и критика. Что мы можем противопоставить сегодняшней культуре? Вот и оцениваем существующее как негатив. В этом случае постмодернисты оказались разумней и добросовестней, ибо не отворачиваются с отвращением от новой реальности, а пытаются ее описать. Их интерпретация со всевозможными дискурсами, симулякрами и резомами адекватно воспроизводит проблематичность современного мира, выявляя его специфику и отличие от предыдущих эпох. Они старательно создают зеркало. Отражение нас пугает, но это не их вина.

Чтобы оправдать компетентность ученого собрания, **Л. Макешина** сосредотачивает внимание собеседников на гносеологии — фундаментальной области философского знания, в которую компьютер внес заметные изменения. Компьютер вынудил изменить не только процедуру познания, но и его содержание. Он открыл новые единицы философского знания: текст, фрейм (сценарий), схема, ситуационная модель. Сегодня при всей ее значимости речевая словесная форма выражения — лишь один из многочисленных способов представления знания. Кроме того компьютер открывает широкие возможности для развития человеческого мышления. Он помогает анализировать стили мышления, научает думать о своем мышлении и получать «знания о своем знании», то бишь то, над чем феноменологи, например, без особого успеха работают уже более ста лет. Что касается постмодернизма, Макешина находит в

нем немало поучительного и ценит за то, что он избегает всех форм догматизма, а вместо этого провозглашает множественность, разнообразие и конкуренцию идей, проектов жизни, социальных взаимоотношений, философских учений и научных концепций. Постмодернизм, по мнению Макешиной, «добавляя свежей крови» современной философии, продлевает ее жизнь.

К той же теме присоединяются другие журналы. **Д. Дубровский** в статье **«Новая реальность: человек и компьютер»** («Полигнозис», № 3) предупреждает об угрозе самой природе человека, его биологической организации. Обретая посредством компьютера огромную дополнительную мощь, человек в такой же степени становится зависимым от «умной» машины. Однако не настолько, чтобы лишиться своего главного преимущества — способности к мышлению. Компьютеры этого не умеют (пока!). Кроме того, настоящий человеческий разум предполагает существование сознания, т.е. субъективную реальность. Это не просто некий эпифеномен мозговых процессов, а «особый способ переработки, производства и использования информации в самоорганизующейся системе». Субъективная реальность не поддается никаким измерениям, следовательно — объективистскому (научному) описанию и технологическому воспроизводству. Количество информации в компьютере, сколь бы велико оно ни было, никак не перерастет в качество, которое позволительно было бы назвать сознанием. Так что не следует усердствовать в бессмысленном деле сотворения «электронного человека», необходимо заботиться о сохранении жизни человека земного. Настоящее требует в равной мере как производства новаций, так и здравой оценки их последствий. Творческая мощь науки должна быть нацелена на задачи безопасности, на противодействие деструктивным тенденциям, а главное, на сохранение и упрочение жизнестойкости земной биологическо-социальной системы. Такой поворот в науке Дубровский считает панацеей от «размножения ошибок», чреватых концом света.

А. Воронин анализирует наблюдения немецких исследователей за тем, каковы **«Социальные последствия техники»** («Философские исследования», №2). Немцы замечают, что пресловутый здравый смысл глупеет и теряет компетентность. Также начинает вызывать сомнения разумность демократического способа принятия решений. Знания большинства не поспевают за скоростью техногенных преобразований. Воронин полагает, что нужно менять всю организацию сегодняшнего рацио — систему образования, общественного, политического, финансового контроля. Во главу угла следует поставить принципы самосохранения, самоконтроля и ответственности. Необходимо вернуться к идее цензуры от имени свободно организованного научного сообщества. Нужна профессиональная экспертиза, решающая, что можно делать ради познания и комфорта, а что непозволительно. Необходима широкая дискуссия о новых стандартах познавательной и инновационной деятельности, в образовании и циркуляции информации. По мнению автора, современная цивилизация в целом все острее ощущает потребность в изобретении коммуникативных фильтров, которые аккумулировали бы в себе достоверные правила — что человеку нужно, а чего следует избегать.

Наблюдая активное внедрение в жизнь новых информационных технологий, **Д. Драгунский** приходит к выводу, что началась **«Гражданская война цивилизаций»** («Космополис», № 2(4)). Имея потенциально безграничное число пользо-

вателей, Интернет постепенно приобретает очертания альтернативной цивилизации (т.е. реально существующего типа культуры). Главная особенность интернет-цивилизации в том, что она разрушает основные институты (нормы и ценности) евроатлантической цивилизации. Идет интенсивный виртуальный (пока!) слом табу, на которых держится культура — запрета на убийство, на ложь, на кражу, на предательство, на прелюбодеяние, на инцест. В энтузиазме самовыражения граждане Интернета во всевозможных чатах, форумах и «живых дневниках» вываливают напоказ интимное и сокровенное, теряя стыд — свойство, отличающее homo sapiens от всех других видов животных. Еще одна чрезвычайная особенность граждан Интернета — изменение в отношении к факту. Факт переводится в мир виртуальный и перестает быть реальным событием, произошедшим в действительности. К текстам и визуальным образам в Интернете критерий правды или вымысла не применим в принципе. Вместо основополагающих институтов цивилизации (запрета, стыда и факта) Интернет предлагает институт выбора. А выбор этот не имеет нравственных критериев. Убить — не убить, украсть — не украсть... Выбирая между тем, что раньше считалось «достойным» или «постыдным», «истиной» и «ложью», пользователь ставит ценностно безразличные знаки — лишь с одной целью: быть понятым компьютером.

Д. Песков в статье **«Интернет-пространство: состояние премодерна»** («Политические исследования», № 5) пытается найти оптимальную методологию для будущей науки об Интернете. Современный мир основывается на коммуникации и интерпретации. Обмен информацией не всегда есть знание. В Интернете, по Пескову, технология суть общество. А оно уже не равнозначно системе социальных, культурных, политических и прочих институтов. Мир офлайна и онлайна — это пространство внеинституциональных коммуникаций. Проблематика информационного общества изжила себя, ее место заняли проблемы «сетевого общества», где акцент перенесен с содержания на коммуникацию. Развитие интернет-технологий сопровождается распространением различных сетевых форм человеческой активности. В пространство Интернета попадает и политика, теряющая здесь свои традиционные очертания: власть растворяется в культурных кодах и вступает во взаимоотношения, которые никак не совпадают с логикой взаимоотношения политических институтов. В пространстве Интернета появляются принципиально новые факторы, влияющие на мировую политику (хакеры, виртуальные общественные и квазигосударственные организации, компьютерные агенты, вирусы и т.п.). Рождается новый исторический персонаж — гражданин Интернета. Грань между реальностью и виртуальностью стирается. Появляется глобальная альтернативная реальность, данная в ощущениях, но отсутствующая в действительности. Автор статьи полагает, что из всех ныне существующих политико-философских течений только постмодернизм полноценно воспринимает технологический характер современности и адекватно описывает в своих категориях политическую реальность мира и политическую виртуальность Интернета. Именно постмодернизм дает нам в руки работающие инструменты анализа новой действительности.

Среди материалов, посвященных специально ***постмодернизму***, обращает на себя внимание «очерк истории русского философского постмодернизма»

В. Софронова-Антомони, который называется **«Пошли пузыри»** («Логос», № 2). Распространившиеся в России постмодернистские представления о релятивизме методов и теорий познания, о текучести и относительности типов реальности автор непосредственно связывает с социально-экономическими и политическими реалиями России 90-х годов. Тут тебе и эфемерные формы собственности, и текучесть власти, да и неопределенность самих форм жизни. Плюс бум информационно-цифровых технологий. Чтобы осмыслить этот слом социально-экономических формаций, автор прибегает к марксистскому классовому анализу. Он (правда, в кавычках) выделяет «класс интеллектуалов», для которых весь мир представляется гигантской языковой/текстовой конструкцией: «Нет ничего до текста, нет такого пре-текста, который уже не был бы текстом» — Деррида. Отвлеченные понятия приобретают самостоятельность, происходит гипостазирование языка, ослабление истины («различие между истиной и ложью есть фальсификация» — Фуко) и обеспорядочивание истории, которая превращается в ряд случайностей. У постмодерниста, совсем как у художника, не спросишь: что вы хотели этим сказать? Постмодернизм герметичен, замкнут на себе и есть не что иное как эстетизация теории познания со всеми присущими эстетизации достоинствами (блеск и соблазняющая сила) и недостатками (бесполезность вне собственных границ). Именно поэтому в обращении с модной терминологией следует соблюдать осторожность: категории постмодернизма еще требуют длительного и кропотливого осмысления. Автора поражает молчание интеллектуалов о современной общественно-политической ситуации. Постмодернисты пассивно приспосабливаются к господствующим веяниям, уходят в текст, а их политические позиции поражают бессмысленностью. Русский постмодернизм, по убеждению Софронова-Антомони, есть классическое воплощение реакции.

ПОЛИТОЛОГИ осуществляют свои анализы и строят проекты, не обращая внимания на философскую критику, кризис умственных способностей и декаданс разума. **Э. Баталов** в статье **«"Новый мировой порядок": к методологии анализа»** («Политические исследования», № 3) выясняет, что словосочетание ***«мировой порядок»*** подразумевает систему непротиворечивых связей между государствами, неправительственными организациями и гражданами. Мировой порядок направлен на обеспечение жизнедеятельности и развития мировой политической системы в соответствии с преобладающими на данном историческом этапе целями и ценностями. Сегодняшнюю ситуацию аналитик оценивает как переход человечества от ялтинско-потсдамского (1945 г.) к новому порядку. Каким он может оказаться? Во-первых, для него больше не будет характерно противостояние двух систем. Скорее всего грядет многоуровневая и многомерная мировая система, где центры военной силы не будут совпадать с экономическими центрами. Во-вторых, социально-экономической основой уже не будет капитализм. В-третьих, в основе будущего мирового порядка не может лежать система либеральных ценностей, так как либерализм достиг своих пределов. Возможно, это будет симбиоз социалистических идей. Главной и определяющей силой в системе становящегося нового мирового порядка, по-видимому, надолго останутся США. Но они не способны играть роль морального лидера человечества потому, что не знают, куда идет мир и

куда его следует вести. Впрочем, этого не знает никто, следовательно, никто не сможет стать универсальным мировым лидером. Еще одной характерной чертой нового мирового порядка, конечно, является развитие информационных технологий. Они, по мнению политолога, обретают чуть ли не психотропное значение. Человечество порой уже не может осознать, реально ли переживаемое событие или оно виртуально. А в таких условия разговор о мировом порядке теряет не только пафос, но и смысл.

Каким стал **«Мировой порядок после войны в Ираке»,** пытаются выяснить за круглым столом журнала «Вестник аналитики» (№ 3). **А. Коробейников** обеспокоен неадекватностью внешней политики России в этой и ей подобной ситуациях. По его мнению, следовало бы законодательно упорядочить международную деятельность нашего государства, чтобы обезопасить ее от конъюнктурных изменений внутриполитической обстановки. События в Ираке наглядно показали, что сегодня необходимо создать стройную систему планетарной юстиции. Россия же должна решительно объединиться с Европой для разумного противостояния не всегда оправданному милитаристскому напору Америки. Несмотря на возмущение коллег, думец **В. Ивер** вынужден признать необходимость сотрудничества с США во всех жизненно важных сферах: в экономике, в политике, в науке, в вооружении. Депутат Бундестага **М. Меркель** согласился с тем, что у американцев международная правовая культура хромает и нужно повысить эффективность ООН как главного инструмента в поддержании мирового порядка. ЕС пока что субъектом международного права не стал. **Г. Мирский** обеспокоен судьбой Ирака и очень сомневается в обещании США сделать эту страну витриной демократии. Какой режим там можно установить путем всеобщих выборов, если 60% населения — шииты? **А. Володин** отметил, что управлять мировым сообществом Америка уже не способна. Доказательством этому служит неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения, да и курс доллара чахнет на глазах. **А. Адамишин** заметил, что иракская война обнаружила эффективность американской военной мощи и беспомощность ООН в деле разрешения подобного рода конфликтов. Необходимо реформировать ООН. **А. Коновалов** определил каким должно быть легитимное правительство в Ираке: уважаемым своим народом; признанным мировым сообществом; не враждебным к США; не фундаменталистским — и вдобавок должно контролировать все территории страны. На деле же сформировать такое правительство невозможно. Реальность подсказывает, что произойдет либо распад государства, либо в действие вступит протекторат США или ООН. Коновалов также нашел оправдание действиям США в Уставе ООН: применение силы в ответ на агрессию в случае явных признаков подготовки к ней считается легитимным. Идею превентивности признает и Россия: Путин, ведь резервирует за собой право бить по «гнездам» террористов, по их финансовым спонсорам и идейным вдохновителям. **А. Зубов** призвал коллег осознать, что обсуждаемое событие стало первым в мировой практике случаем сознательного уничтожения тоталитарного режима. Однако необходимость строить демократическое государство в Ираке поставило перед США массу проблем. И главная — та, что к демократии иракское общество совершенно не готово. Это традиционное монархическое общество. И сами западные исследователи говорят, что в подобных случаях на Ближнем Во-

стоке демократизация приводит к власти радикальные исламские тоталитарные режимы. **А. Загорский** уточняет, что речь идет не о формировании прямой демократии, а о легитимной форме правления Ираком, которая принималась бы всеми слоями общества. И американцы способны это сделать. **А. Горелик** задается вопросом: что должно преобладать в мировой политике — право силы или сила права? Косовская и иракская истории явно обнаруживают, что США нарушает существовавшие ранее правила политической игры и самый Устав ООН. Создается прецедент и начинает приобретать отчетливые очертания прецедентное право. А это в международной политике недопустимо. **А. Богатуров** указал на путаницу в разделении функций различных международных организаций и институтов западной — ООН, ЕС, НАТО — и восточной ориентации — Организация договора и коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Во избежание хаоса, который может вылиться в противостояние, все это нужно привести в гармонию. **В. Дворкин** заметил, что существующая международно-правовая система бессильна помешать распространению оружия массового уничтожения, терроризму и бесчинствам тоталитаризма. В войне с Ираком США совершили много грубых ошибок, и нам следует помогать исправлять их. **Д. Данилов** полагает, что реформировать ООН необходимо, но все попытки реорганизации ее изнутри обречены на провал. Извне Россия призывает к реконструкции, но ничего внятного и конкретного не предложила. Реальную же роль лидера в системе международных отношений взяли на себя американцы, и в реформировании ООН это надо принимать во внимание. Вновь взявший слово **А. Загорский** заметил: что представляет собой Америка без ООН, она показала в Ираке. А что будет представлять собой ООН без Америки?.. **А. Салмин** сомневается в том, что США стремятся завладеть правами лидера. За это нужно платить, а они не готовы. ООН не бесполезна до тех пор, пока она может хотя бы грозить пальцем нарушителям международных норм и прав. Правда, в борьбе с терроризмом она показала свою беспомощность, но для этого нужно создавать другие международные институты типа «антитеррористического интернационала». Для России, находящейся в ситуации «сотрудничества с неизбежностью» («искусством сотрудничества с неизбежностью» называл политику Талейран), право — это действительно последнее прибежище. Но позиция международного защитника прав человека пока нам не по росту. **В. Аверчев** пожалел о том, что в период войны Россия не продемонстрировала никаких внятно выраженных национальных интересов, кроме пассивного сочувствия частным команиям, потерявшим контракты в Ираке. Для борьбы с двойными стандартами в международной политике и для защиты прав человека **В. Милитарев** предлагает создать экзотическую правозащитную коалицию вместе со Швецией, Индией, Южной Африкой и Малайзией. **С. Картунов** вспомнил о прогнозах, которые присутствующие аналитики давали за круглым столом, предшествовавшим иракской войне. Ничего из предсказанного, увы, не сбылось. После войны в мире установился порядок ограниченного национального суверенитета. Произошла катастрофическая маргинализация ООН. Партнерство с США стало для России главным условием участия в формировании нового мирового порядка. Видимо, памятуя о собственных несбывшихся прогнозах, итогов нынешнему круглому столу подводить не стали.

Почти так же остро, как в нашем социальном бытии, в умозрении политологов стоит ***проблема терроризма***. Необходимость фундаментальной ревизии социальных наук и создания специальной теории террора утверждает **В. Никитаев** в статье **«Тело террора. К проблеме теории терроризма»** («Полигнозис», № 3). Для объективации предмета исследования Никитаев предлагает рассматривать терроризм как «тело действия» и сравнивает его с телом человеческим. Определение последнего всегда опиралось на жесткую половую оппозицию — мужское/женское. Однако на протяжении последних ста лет происходит либерализация пола, в результате которой множатся разные типы тел: бисексуальное, транссексуальное, гомосексуальное. Подобного рода явления интерпретируются как форма сопротивления власти, т.е. традиционному порядку противопоставляется нетрадиционный. Это противопоставление Никитаев называет «контрразличением». В политической системе исламизм так же отрицает традиционное различение на светское и религиозное. В этом контексте контрразличение определяет тело террора. Оно не вписывается в привычные для социальных наук оппозиции: социальное — индивидуальное, война — мир, либеральная демократия — мусульманский фундаментализм. Составив полный набор контрразличений терроризма, Никитаев «картографирует» его тело и определяет направления ударов на поражение. На примере Чечни он показывает, какой должна быть война: законы военного времени, жесткий контроль за любой деятельностью и перемещением чеченцев, никаких денег на восстановление того, что завтра может быть снова разрушено, переговоры только о безоговорочной капитуляции и т.п. Если мир, то — конституция; чеченское правительство и чеченские правоохранительные органы, полностью ответственны за правопорядок перед населением и Центром; нарушения считаются преступлением (а не борьбой за свободу) всегда, везде и всеми. Есть еще одна стратегия борьбы с терроризмом. Это — контроль за развитием, созреванием и ростом «тела террора». Тут нужно уловить, когда террор становится делом профессионалов и образует соответствующую корпорацию, определить, чьи интересы она обслуживает и какой идеей вдохновлена. Так победим. Главное, чтобы победа не была пирровой.

Не оставляют нас своими попечениями западные авторы. Они воспитывают в российском читателе вкус к западным ценностям. Американский профессор **Дж. Стур**, автор статьи **«Открывая демократию заново»**(«Полические исследования», № 3), демонстрирует свою верность главным ***принципам демократии***: правление большинства при соблюдении прав меньшинства, разделение властей, верховенство закона, равенство прав и возможностей, всеобщее избирательное право, гражданские свободы. Но вместе с тем Стур убежден, что демократия это не есть раз и навсегда свершившийся факт. Она требует осмысления, критики и совершенствования. К этому призывал прагматик-идеалист Дьюи, с чьими идеями подробно и добросовестно знакомит читателя автор статьи. Демократия — туманный термин, он имеет множество значений и используется в самых разнообразных контекстах. Но в основном, произнося это слово, все имеют ввиду институт правления, власть. Дьюи же, напротив, считал демократию в первую очередь и преимущественно формой жизни, а власть для него была всего лишь ее политическим аспектом. Понимание демократии как образа жизни значи-

тельно расширяет демократическую идею и требует от ее приверженцев серьезной личностной культурной перестройки, глубоких изменений в стиле мышления, поведения, ценностных ориентаций. Следует помнить, что демократия — это идеал. Но «идеальность» в данном случае не тождественна «неосуществимости». Она означает направление развития. Из этого следует, что демократия как образ жизни есть этическое понятие. Демократические процессы не нейтральны в ценностном отношении, ибо стремятся к торжеству гуманистической культуры, выбирая соответствующие этому предпочтения.

Журнал «Общая тетрадь» (№ 3) нашел уместным опубликовать мнение о демократии, высказанное в начале 60-х годов американским историком **К. Бринтоном**. Его статья называется **«Наша неудовлетворенность»**. Автор полагал, что демократический образ мысли, сложившийся в XVIII веке, стал возможным благодаря развитию научной мысли, которая наблюдала факты и приходила к выводам и обобщениям. Все суждения интеллекта должны соответствовать реальностям этого мира, не выходить за их пределы и не противоречить им. Однако именно в таком положении оказались фундаментальные оптимистические тезисы демократии — природная добродетельность человека и неумолимый прогресс его совершенствования. Их нельзя принять даже в порядке грубо приблизительных суждений. Получается, что демократия частично представляет собою систему суждений, которые не согласуются с истиной, утверждаемой естественными науками. Конечно, демократ мог бы сказать, что царствие его не от мира сего и подвергать его истину научной проверке — всё равно что проводить химический анализ вина и хлеба Евхаристии... Но тогда демократия превратилась бы в трансцендентную религию, в рамках которой вера не ослабевает от несогласуемости ее догматов с фактами земной жизни. Отчасти это и происходит. Демократия способна изымать обетованный ею рай из этого мира и переносить его в мир идеалов, т.е. обрядности, веры и символического удовлетворения человеческих потребностей. Однако Бринтон все же надеется увидеть демократию реалистическую, в которой отдельные граждане принимали бы ее этику и политику, будучи готовы преодолевать трудности, подобно старательному фермеру или опытному врачу. Такая демократия требует от своих граждан больше, чем какая-либо иная человеческая культура в прошлом. Она ориентирует их на подвиг.

Профессор берлинского университета им. Гумбольдта **Х. Мюнклер** в статье ***«Европа как* политическая идея»** («Неприкосновенный запас», № 4) пытается проследить, с точки зрения политической географии, все версии европейских границ со времен Геродота (V в. до н. э.). Мюнклер приходит к выводу, что ***Европа*** — не географический факт, а культурно-политическая идея, которая постоянно переопределяется и переосмысливается. Как политическая идея Европа ясно оформилась тогда, когда определялась через противостояние чему-то другому. Представления о культурно-цивилизаторском превосходстве Европы и ее ведущей роли в экономическом развитии всего мира в значительной степени определило мышление XVII и XIX вв. Двадцатый век модифицировал эту идею, и в статье довольно подробно описаны эти модификации. Подводя итоги своему ретроспективному обзору, Мюнклер приходит к выводу, что Европа, благодаря своей географии отдает предпочтение не единству, а много-

образию. Это означает, что различие наций есть ее сущностная черта, и там, где заканчивается множественность и разнообразие, заканчивается Европа.

Проблемой ***западной традиции*** вдохновлена **М. Дегтярева**. Ее статья **«Традиция: модель или перспектива? Жозеф де Местр и Эдмунд Берк»** опубликована в журнале «Политические исследования» (№ 5). Автора интересует практический смысл ***традиционалистских идей***. Может ли следование традиции (теократическая монархия, сословная градация общества и проч.) принести стабильность и продлить порядок вещей, возникший еще в античности? Допускает ли следование традиции отступление от образца, оставляет ли оно место для свободного развития? Чтобы ответить себе на эти вопросы, Дегтярева пытается разобраться в наследии часто цитируемых сегодня консервативных философов XIX века — англичанина Э.Берка и француза Ж. де Местра. Берк считал, что именно традиция сообщает британскому обществу стабильность. Важнейшие составляющие традиции: национальная самобытность, религиозный характер политических норм и институтов, дух свободы. Последнее — плод старинной конституции, строящейся на равновесии монархии, народа и аристократии. Берк предполагает взаимодействие традиции и новации. Живущее поколение совершенствует наследие предшественников и передает его потомкам. Де Местр подчеркивает «естественное отвращение всех здравых умов к инновациям», одновременно признавая, что революция стала реальной альтернативой традиции. Он надеялся, что консервативная идея останется одной из самых значительных интеллектуальных интенций будущего, и не ошибся: в XX веке появилась идея, парадоксально соединяющая традицию и инновацию и названная «консервативной революцией».

В этом же журнале представлены фрагменты книги идеолога немецкой версии ***консервативной революции*** **А.Меллера ван ден Брука «Третий Рейх»**. Написана она в 1922 году, за одиннадцать лет до того, как к власти пришли нацисты и узурпировали и дискредитировали идею «третьего рейха», претворяя ее в действительность. Меж тем истоки этой идеи кроются в чаянии грядущего тысячелетнего царства добра и мира (Откровение Иоанна) и в историческом опыте универсализма Священной Римской Империи. Идея «третьего царства» претерпела множество метаморфоз (в частности, «Москва — третий Рим») и у Меллера приобрела форму современного политического мифа. Объясняя замысел своей книги, он уверял, что все зло немецкой политики исходит от партийной борьбы, и критиковал либерализм, парламентскую демократию и консерватизм старого образца. Он хотел артикулировать идеологию «третьей партии» (кроме либеральной и социалистической), партии преемственности немецкой истории, партии всех желающих сохранить Германию для немецкого народа, партию тех, кто не желает «смиренно принимать дело уничтожения, начинающегося с расчленения страны, которое закончится истреблением народа». Усилия Меллера как идеолога направлены на сохранение всего, что достойно в Германии сохранения. По его словам это не консерватизм, а национализм. Но нация для него не самоцель. Он трактует нацию, исходя из ее предначертания. Немецкий национализм есть своеобразное выражение универсализма. Последний, однако, не стремится к образованию «над-

национального единства» с общечеловеческими характеристиками. Немецкий национализм должен сохранить немецкое, чтобы нация осознала свою историческую задачу, которая вытекает из немецкой сущности и которую не способен решить ни один другой народ. Нация, по Меллеру, есть ценностная общность и национализм есть ценностное сознание. Государство должно быть сильно, чтобы защищать нацию, ее культуру. Меллер одобряет демократию, но демократию «государственного народа» (всех его слоев, включая пролетариат), ибо она подразумевает участие в ответственном определении своей судьбы. Национализм требует сопричастности всех, но от известных форм демократии отличается тем, что осуществляется сверху. Демократ склонен к космополитизму, пролетарий к интернационализму, в котором стираются ценности разных народов. Националист, напротив, исходит из того, что ценности есть характернейшее свойство жизни, что они — выражение ее сущности, центр тяжести, не терпящий перемещений. Немецкий Рейх есть обетование немецкого народа, которое другие народы пытаются оспорить, они уничтожили Третий Рейх, но до сих пор боятся его политической тени. Однако Рейх не сломлен, он существует. Существует лишь один Рейх, как имеется лишь одна церковь. Немецкий националист — мистик, но его духовности не чуждо человеческое, а значит — политическое. Как политический человек немец — скептик, он не верит народам, победившим его и приписывающим себе миссию цивилизации Запада, он знает, что эти народы деградируют. Он думает о Германии двухтысячелетнего прошлого и вечного настоящего... Нечто подобное сегодня случается слышать и в исполнении современных русских традиционалистов — применительно к русской ситуации. Явление симптоматическое, и объясняется оно, как мы полагаем, не тривиальными заимствованиями идеологических конструкций, а сформулированным Р. Геноном «онтологическим законом соответствия», объясняющим глубинную связь всех вещей и явлений в Универсальном Существовании.

Недалеки от метафизических прозрений и мыслители, занимающиеся проблемами **ЭТИКИ**. Так, **Л. Зальцман**, в статье **«Источники устойчивости жизни: жизненные силы»** («Полигнозис», № 3) интерпретирует, так сказать, метафизические принципы в материально-физическом ключе. «Быть», «существовать» у него значит обладать физической устойчивостью. Быть вечным — значит быть абсолютно физически устойчивым. Мир держится на равновесии добра и зла. И то, и другое имеет естественную природу. Естественной природой добра является гармония. Гармонично действующая система (организм, общество, галактика) всегда остается устойчивой. Царство гармонии есть царство добра. Красота есть проявление гармонии. Но картина устойчивого гармонического мира динамична, она все время меняется, переходя от одной устойчивости к другой. Переход выражен неустойчивыми состояниями. Действие сил, порождающих и осуществляющих переходные процессы, носителями жизни (бытия) воспринимается как зло. Отдельные люди или сообщества, инициирующие или реализующие переходные процессы, неизбежно порождают зло. Поэтому не только революции, но и мирные реформы — дело не безобидное. В силу законов бытия избавиться от такого зла невозможно. Выход один — приспосо-

биться, обеспечить свою устойчивость, несмотря на воздействие злых сил. Для этого необходимы жизненные силы. Они представляют собой особую тактику поведения живой природы. Ее можно сравнить с тактикой боксера, ловко уходящего от удара вместо того, чтобы противопоставить противнику встречный удар равной силы. Вместо противодействия природе (злу) равными ей усилиями, субъекты выстраивают цепочку малых действий, лишь в сумме обеспечивающих самосохранение. У жизни как природного явления есть внутренний враг — физическая смертность субъектов. Последняя компенсируется полной и своевременной заменой прародителей. В живых организмах аппарат, формирующий жизненные силы, а значит и физическую устойчивость, представляет собой геннохромосомную систему. В человеческом сообществе пока ничего такого, что бы ее напоминало, нет. Разве что Юнеско, ООН, Красный крест и т.п. Чтобы обрести действительно мощный аппарат, ответственный за устойчивость мира, человечеству необходимо пережить Апокалипсис (имеется в виду не всеобщая погибель, а буквальное значение этого греческого слова — откровение), т.е. осознание всеми и каждым своего места и предназначения в едином планетарном организме. И тогда Земная Цивилизация войдет в Галактическое сообщество гуманоидов (в существовании разумной жизни вне Земли Зальцман, по-видимому не сомневается) и обретет вечность в непоколебимой физической устойчивости. Да, наука развивается не зря. Раньше гармония механицистов (а Зальцман проповедует именно версию механицизма) обеспечивалась разумностью часового механизма, теперь — всемогуществом самоорганизующейся генетической системы. И по боку вся метафизическая чушь о бытии и существовании, о предопределении и свободе воли, о времени и вечности. Главное, чтобы логика рассуждений была безукоризненна.

Логика, и в самом деле, великая вещь. Если с точки зрения логики взглянуть на ***мораль***, как делает это **К. Якимец**, автор статьи **«Свое и чужое»** («Вопросы философии», № 11), то нравственным может оказаться даже инстинкт самосохранения. Именно этот инстинкт Якимец объявляет Категорическим императивом, то есть основным законом, определяющим нравственное поведения человека. Мораль — условность, зависящая от установок культуры того или иного общества, открытый же Категорический императив (Якимец всегда пишет его с прописной буквы) звучит так: «Береги себя». Рассматривая в свете этого закона высоконравственные поступки, такие как самопожертвование, Якимец рассуждает так: чем жертвует человек, отдавая жизнь в защиту детей? — Остатком своей биологической жизни ради жизни своего потомства. Чем жертвует камикадзе? — Остатком своей биологической жизни ради своей Родины. Чем жертвовал Джордано Бруно? — Остатком своей биологической жизни ради своих убеждений. Ключевое слово в этих рассуждениях «СВОЙ»: человек жертвует чем-то своим ради чего-то своего же. Получается, что мотивы самопожертвования всегда эгоистичны и альтруизмом это названо лишь по недоразумению. Так что христианская заповедь благословлять проклинающих или возлюбить врагов своих кажется Якимцу полнейшим абсурдом. Он составил даже своеобразную памятку, «манифест сноба»: Чужая религия — суеверие. Чужая логика — абсурд. Чужие ценности — предрассудок. Чужой порядок — хаос. И, в конце концов, чужой снобизм — чушь. Ошибочно говорить о своем

как об общезначимом. С этой точки зрения, всякие «золотые правила этики» и «общечеловеческие ценности» — очевидная глупость.

А вот **Ф. Жюльен** полагает, что европейская мысль Нового времени в основу морали положила ***жалость*** (**«Тайна жалости»** — «Философские исследования», № 2). Именно жалость предшествует всякому размышлению и побуждает нас не раздумывая приходить на помощь тем, кто страдает. Вся моральная жизнь есть лишь следствие нашего корневого опыта жалости. Жюльен внимательно прослеживает, как европейские мыслители пытались жалость рационализировать. Но тут оказалось столько двусмысленностей, что за ними пропадало первоначальное моральное чувство. Кончилось тем, что жалость признали тайной, по-прежнему считая ее неопровержимым и самым универсальным фактом человеческой совести. Радикальное решение этой проблемы синолог Жюльен нашел, разумеется, в Китае — у философа-конфуцианца IV-III в. до н.э. Менцзы. Это — «реакция невыносимости», возникающая перед лицом угрозы другому и напоминающая нам об общности нашего существования, о связи между всеми людьми, которая и есть сама жизнь.

«Всегда ли добрые дела надо делать втайне?» Такова тема конкурса, проходившего в МГУ. Так же называется и статья победителя конкурса **Е. Дубко** («Вестник Московского университетета». Сер.7. Философия, № 4). Дубко рассматривает ***благотворительность*** в длинной исторической ретроспективе, начиная с дохристианских времен. Тогда филантропия, хотя и была этически спорной, однако же представлялась традиционно-нормативной, была синонимом моральной деятельности. Правда, греко-римский мир обходился без частной благотворительности, а также не связывал благотворительность с милосердием и жалостью. Филантропия была гражданской добродетелью. После Иисуса Христа милосердие становится нравственной нормой индивидуального поведения. Эпоха милосердия торжествовала до XVIII в. и завершилась Адамом Смитом. Настали иные времена. Секуляризация общественного бытия изменила нравственный климат мира. Ведь благодеяние базируется на религиозных аффектах и понятиях и не превращается в коллективный идеал. Благодеяние не вписывается в социальную этику и остается мелким культурным мифом морального сознания. Тайные благодеяния — весьма ветхая, устаревшая идея доиндустриального мира. Современный мир изгоняет патриархально-идеалистическое из общественной жизни, он не позволяет себе возвышенных парений и осмеивает идею тайных благодеяний. Корысть царит над всем и говорит на всех языках. Но тайные благодеяния живут. Они загадочны, абсолютно не эффективны, метафоричны, нематериализуемы. «Они — историческая загадка, а не капсула для фиксированных мыслей, которые можно обсуждать и тем более критиковать. Тайные благодеяния — синтез и сплав обстоятельств культурных трендов, духовных спиралей и отклонений». Формулировка, с точки зрения риторики, быть может и не совершенна, но по благородству мысли вполне достойна полученного приза.

Не остается без внимания и субъект морали, «Я» человека. Пока этика ищет рациональных, теоретических обоснований ***прав и свобод личности***, **ПСИХОЛОГИЯ** в терапевтических экзерсисах находит их практическое осуществле-

ние. Есть гипотеза, что личность человека, его «Я», состоит из его опыта, «Я — сценария», окостеневших привычек, набора формул и штампов, которые давно и прочно в нем поселились и отягощают настоящее прошлым. Истинное же «Я» скрыто. **Т. Буякас** предлагает **«Инициальный путь развития личности: возможности психологической работы»** («Вопросы психологии», № 5). Инициацией обыкновенно называется обряд посвящения в традиционных или эзотерических обществах. Здесь — это разновидность психотерапии, предназначенной для того, чтобы высвободить в личности некое позитивное начало, творческий душевный и телесный потенциалы, породить новый личностный опыт здесь и сейчас. Буякас исходит из метафизических представлений о человеке и приводит слова Хайдеггера «Человек принадлежит своему существу лишь постольку, поскольку он слышит требования Бытия... Состояние в просвете бытия я (Хайдеггер — *ред.*) называю экзистенцией человека. Экзистенция есть то, в чем существо человека хранит источник своего определения». Становление человека Буякас мыслит через опыт «соприкосновения с бытием». Источник «Я» понимается как место, в котором бытие может само узнать себя и появиться в мир в образе индивидуальности определенного человека. Самоосуществление ради бытия и есть инициальный путь. Опыт встречи с чем-то большим в себе распахивает замкнутость человека, раскалывает скорлупу «Я-сценария». Сам человек должен уловить весть о сути собственного существа и вместе с психотерапевтом высвободить, раскрыть, развернуть то, что в нем поистине есть.

Л. Гуцаленко задается вопросом: **«Нужна ли социологии жизни живая личность?»** («Социологические исследования», № 10). Он перебирает свыше двухсот определений, и все они трактуют человеческую личность как продукт социальных отношений, который даже не живет, а функционирует. Мало того, по мнению социологов, человек, чтобы стать личностью, должен возвыситься над собой как живым существом, т.е. перестать быть собой. Теряет ли человек «на пути к личности» свои космо-природные свойства? Как они видоизменяются, взаимодействуя с новоприобретенными социальными качествами? На это наука не дает ответа. Она безжалостно разлучает и различает общественное и индивидуальное сознания. Гуцаленко надеется, что это заблуждение минет, когда человек наконец овладеет тончайшей материей своей нейродинамической системы. Ведь мы не ведаем, как осуществляется работа 100 миллиардов нейронов человеческого мозга. Разгадка этой физиологической тайны, поражающей воображение двенадцатизначным числом, может, по мнению автора статьи, высвободить такие человеческие силы, которые породят духовную революцию непредсказуемых масштабов. И тогда наука столкнется с реальностью социума, превосходящего все способы его измерения.

Обзор подготовил Александр Денискин

Евгений ЕРМОЛИН

РЕАБИЛИТАЦИЯ СВОБОДЫ

ОТ РЕДАКЦИИ: *В сетевом «Русском журнале» (www.russ.ru) в рубрике «Это критика» 8 января 2004 года было опубликовано интервью, которое дал Михаилу Эдельштейну член редколлегии нашего журнала Евгений Ермолин. В начале года он ответил и на вопросы анкеты в заочной дискуссии «Ответственность/ответность литературной критики», которую проводит фонд «Либеральная миссия» (кабинет Е.Г. Ясина, «Высшая Школа экономики», Мясницкая, 20) по проекту «Открытая книга: живая дискуссия». В этих текстах изложена позиция, с которой мы находим нужным и важным познакомить и читателей «Континента».*

1

«Русский журнал»: *Вы рассматриваете литературу и искусство вообще как «попытку свидетельства об истине» и «орудие познания Бога». Возможно ли, на Ваш взгляд, в рамках литературы прикосновение к истине или литература все же — лишь тоска по ней, «сны о чем-то большем»?*

Евгений Ермолин: Но ведь и сны — это прорывы и провалы в бездну, это опыт Бога, или путь к Нему. Некоторые мои важнейшие мистические переживания связаны с пребыванием в состоянии сна. И так, наверное, могут сказать многие. На своих вершинах литература — это сюрреалистический гнозис, проникающий к основам человеческого и космического бытия. Откровение Иоанна Богослова — архетекст почти всей последующей словесности. Это диалог с тайной. В нем рождается истина о человеке. О мире.

РЖ: *О Боге?*

Е.Е.: Да, и о Боге, в той мере, в какой Бог отразился в человеке и в нашем мире. Бог хочет быть познанным. Он не скрывается, не таится. Почему же писатель лишен способности осуществить этот предельно ответственный гнозис? Я не вижу здесь пропасти. Бог встречается с человеком и в литературе. Конечно, лучше, наверное, получить базисные сведения о Боге из Библии, а не из современной литературы. Но я верю, что Бог говорит с миром и человеком *сегодня*, что Он *особым* образом раскрывается во *всяком* личном опыте.

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Доктор искусствоведения, профессор Ярославского университета. Автор ряда литературно-критических статей, нескольких книг по культуре и истории Ярославля. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

РЖ: *Ваши эстетические симпатии на стороне того направления (в самом широком смысле слова), которое на языке критики XIX века называлось «идеализмом». Не кажется ли Вам, что в современной литературе (я имею в виду практически все постреалистические течения) «побеждают» именно те произведения, где идеал остается не названным, где он присутствует лишь в свернутом виде или даже по видимости отсутствует вовсе (самые разные имена: Джойс, Платонов, Хармс, Беккет, Уэльбек и т.д.)? Возможно ли в сегодняшней ситуации образное воплощение идеала или литература сейчас способна указывать на него лишь «от противного»?*

Е.Е.: Погодите-погодите. Что еще за «постреалистические течения»? Давайте сначала в этом разберемся. Сегодня, когда очевиден провал на экзамене истории проекта «русский постмодернизм» со всеми его причиндалами (кстати, предсказанный мною десять лет назад, в 1993 году, в «континентовской» статье «Место человека во вселенной»), даже смешно отождествлять (хотя бы даже так деликатно, как это делаете вы) современную литературу с постреалистическими течениями. Вообще нельзя недооценивать позорный провал игрового релятивизма и доморощенного пандемонизма в искусстве. Это главное литературное событие начала XXI века. Реализм же в искусстве — я уверен — никогда не устареет, не кончится. Он был всегда и будет всегда, составляя главное, а иногда и единственное содержание искусства в любую эпоху. Храмовый синтез искусств в христианстве — тотально реалистичен. Осевые экзистенциальные свидетельства каждого века — в высшей степени реалистичны. Экспрессионизм, сюрреализм и — в значительной мере — неоклассика в искусстве XX века — это, почва, на которой перманентно произрастал экзистенц-реализм. ...В той мере, разумеется, в какой мы видим в реализме прежде всего не средства (они-то как раз и меняются, устаревают и, слава Богу, обновляются), а цель.

Теперь об идеализме. Вы, наверное, вспомнили мою программную статью «Идеалисты» в «Новом мире» (см.: «Новый мир», 2003, №2. — *Ред.*). Ну да, я — идеалист, и не только по своим философским воззрениям и верованиям. Я — идеалист и в смысле чаяния высшего, стремления к целокупно-позитивному идеалу. И вот давайте я это подчеркну. Мне это приятно сделать. Не прагматическая сермяга, не тайная дипломатия, не потакание злобе дня и сиюминутной выгоде, не обслуживание власть имущих, а жажда идеала и стремление опознать, назвать, и даже воплотить его сейчас и здесь. Ради этого и из-за этого пришел я в критику. С этим я прошел сквозь чужой для меня литературный карнавал 90-х с их нетрезвыми играми и скучными вакханалиями. Оцените, кстати, это двойственное отщепенство — сначала, в 80-х, по отношению к режиму, а потом по отношению к литературной среде и тусовке — тоже своего рода тоталитарному микросоциуму. И меня радует, что в новом веке и в новом литературном поколении я очень часто нахожу и понимание, и поддержку. Не то чтобы это меня укрепило, меня уже трудно вообще сдвинуть, но это меня... ну да, просто радует.

Живые люди задыхаются и не хотят прозябать в той мутной клоаке, в которую попытались превратить литературу — увы, увы! — мои ровесники. Скандальный крах этого литературного поколения еще долго будет примером того, как можно славно начать (ну все-таки, в позднесоветском-то андеграунде) и бесславно кончить. Не взрывом, а всхлипом. Их слава обернулась бесславьем.

Сколько бы они еще ни пыжились на ТВ и сколько бы ни верещала их тусовка. Они — ну хоть те же *знаковые* Вик Ерофеев с Сорокиным — остались — персонажами литературной эстрады, литпопсой. Это дома на песке. И как это совпало с *политическим* фиаско в начале века практически всех, за редчайшим исключением, представителей той же генерации. В поколении нет ни одного государственного деятеля, только мелкие популисты или сектанты! Ни одного сколько-то крупного философа! Ни одного великого писателя! Это ужасно. Впрочем, сам себе противореча, я все-таки скажу, что питаю кое-какие надежды на Юрия Малецкого, Андрея Волоса, Олега Павлова, Александра Вяльцева, Сергея Щербакова... Ну, не знаю на кого бы еще. Может быть, на Андрея Дмитриева? Или Марину Вишневецкую? Питал бы и на Александра Еременко с Иваном Ждановым, но они вот взяли и замолчали... А Тимур Кибиров — говорит, но лучше бы, кажется иногда, помолчал. Любить — одно, а питать надежды — другое. Я и Немцова с Хакамадой люблю, и Чубайса с Ходорковским. А что толку? Ну, я молюсь о них.

У России, может быть, и осталось-то только искусство, чтобы было чем гордиться, и не только, конечно, гордиться, а чтобы было что-то выше пошлого плинтуса, выше сортирного юмора, чтобы была духовная опора, чтобы было средство адекватного, духовно емкого, осмысленного диалога с другими народами, со всяким человеком, чтобы, избежав полного банкротства, хоть что-то предъявить Господу Богу на Страшном Суде. По крайней мере в наше время литература (и отчасти другие искусства) — это и есть Россия, а все прочее пока не доказало своей сущностной причастности к стрежню русской культуры.

Будущее России — это будущее ее литературы. Не будет литературы — не будет и России. Не будет России — хотя бы литература останется, как памятник духовной атлантиде. Только наша дикость мешает это понять. Это, может быть, даже Сталин понимал здоровым краешком своей больной, растленной души...

И у тех наших авторов, о ком я писал и пишу, я вижу и так или иначе выраженное свидетельство о человеческом призвании и предназначении, в напряженном сопряжении с обстоятельствами и вообще возможностями существования. Юрий Домбровский, Георгий Владимов, Анатолий Азольский, Виктор Астафьев, Василь Быков, Алесь Адамович, Владимир Маканин, Инна Лиснянская, Семен Липкин, Александр Беляков, Нина Горланова, Юрий Давыдов, да и Вера Павлова, например... Об Олеге Чухонцеве я в последний раз подробно написал — исключительно для себя — в 18 лет, но сильно резонирую и на его новые стихи... Вообще в современной поэзии много событий и много личностной значительности. Юрий Кублановский, Лев Лосев, Александр Кушнер, Виктор Соснора, Евгений Рейн... нет, всех не перечислить.

Идеал нельзя просто назвать. Его нужно выстрадать, выносить, и нет тут никаких гарантий или легких путей в мире, у которого уже давно слегка сдвинута крыша. В искусстве ценны целеполагание и путь. А куда это приведет... Много ругают последние рассказы Владимира Маканина, а я их ставлю высоко именно как предельно драматичное изживание безыдеальности нашей жизни... Иногда в остатке действительно остается только глубина тоски.

РЖ: *Вы неоднократно говорили о том, что литература призвана давать образ времени, рисовать портрет поколения, так или иначе откликаться на перелом-*

ные моменты жизни социума. В связи с этим: справедливо ли мнение, что сегодняшний читающий россиянин скорее находит свой портрет и набор значимых для себя проблем и вопросов в зарубежной литературе (Мураками, Уэльбек, Кутзее — называю только тех авторов, о которых Вы писали), нежели в русской?

Е.Е.: И да, и нет. Да, трудно иногда хотя бы отчасти совпасть с теми, кто пишет о современности. Но можно. Я за последний год написал, кроме всего прочего, о Домбровском, Лиснянской, Владимове, «Физиологии духа» Малецкого, «Маскавской Мекке» Волоса, рассказах Маканина — и диалогическое общение с текстами этих писателей в совместном творческом процессе переросло в сложный опыт личностного соучастия. По крайней мере для меня их духовные посылы очень важны именно сейчас.

Или пример вроде бы из совсем другого ряда — «Ура!» Сергея Шаргунова. Я очень остро пережил эту вещь как литературный и жизненный факт. Ведь не обязательно со всем и сразу соглашаться, чтобы принять в сердце. Так что есть еще порох в наших литературных пороховницах. Не могу не отметить вообще стремление к честному свидетельству у молодого поколения писателей — это Олег Павлов, Денис Гуцко, Александр Карасев, Роман Сенчин, Максим Свириденков, Илья Кочергин, если брать только прозаиков. Я с ними, с ними. Эта очная ставка с миром, каков он есть, крайне важна для современного человека эпохи фикций и зрелищ...

С другой стороны, Уэльбек и Мураками. Я думаю, что как наши современники они действительно незаменимы. И я так подробно пытался это объяснить в моих статьях, что не буду уже здесь занимать время и место. Это не уровень Фолкнера и не уровень Грэма Грина. Но это — жгучие свидетельства духовного неблагополучия, это незарастающие раны. В русской литературе нашей последних лет мало или вовсе нет того уровня боли, который несет в себе современный человек, и многовато неприятного мне цинизма. Нужно иногда, чтобы кто-то напомнил нам, что душа у нас еще существует, хотя бы — изранив ее. Сегодня на что-то претендующая литература не может не говорить о кризисе культуры, о заброшенности человека, об экзистенциальных тупиках бытия. Что мы потеряли и к чему мы стремимся.

***РЖ:** В своих недавних статьях о критике в Сети Вы указали на некоторые особенности сетевой критики — в области стиля, в первую очередь. Насколько велико сегодня влияние сетевой критики на бумажную? Наблюдаете ли вы в бумажной критике то раскрепощение стиля, которое отмечаете в критике сетевой?*

Е.Е.: Сеть для меня — это пространство свободы. А свободу нельзя не любить, как Бога. Сетевая критика — привилегированное пространство свободы. И еще она — возможность тотального диалога, в котором, собственно, только и может состояться личность. Это очень заманчиво. Сеть — ежедневный соблазн. Этот дух свободы. Веяние ее, со всеми ошеломлениями и издержками. Я не люблю никаких принудительных ограничений и всегда прорывался сквозь них, и Сеть для меня — овеществляющаяся безграничность возможностей.

Но проблема вот в чем. Сетевой критике нужно еще состояться как значительному духовному явлению. Может быть, это и случится, может быть, соци-

альные перипетии и вероятные ограничения свобод в бумажной прессе тому будут даже содействовать. Но не сегодня и еще не завтра.

Мне кажется, пока существует «Журнальный зал», нет сильного стимула для творческой самореализации литературного критика именно в Сети. Это может быть лишь личный более или менее экстравагантный проект.

Я, например, давно уже не вижу многих моих статей в бумажном их воплощении, находя их именно в «Журнальном зале». Но мне по-прежнему льстит, что люди, коих я глубоко уважаю, находят смысл в том, чтобы размещать их в своих бумажных изданиях, обладающих сложившейся репутацией, — в «Знамени», «Новом мире», «Дружбе народов» и, конечно, в «Континенте». Все-таки пока еще, если взглянуть на вещи непредвзято, литературная жизнь — это по-прежнему прежде всего десяток ведущих толстых журналов (да еще ежегодный форум в Липках, который для молодых писателей — просто великий дар). Все остальное, сколь бы ни было само по себе приятным и заманчивым, по своей значимости для литературы пока не может конкурировать с ними. Мне важно присутствовать, хотя бы отмечаться именно там, в журналах, потому что это издания не просто с моральным реноме, но и с общественной позицией, с глобальным отношением к миру. Я в общем и целом разделяю эти позиции и хотел бы в меру моих сил поддержать это направление в общественной мысли, в духовной жизни России — и что-то привнести.

Раскрепостился ли бумажный критик? Пожалуй, 90-е дали такой тотальный опыт свободы, что это не могло не случиться. Скажу о себе. Я — да. Абсолютно. Вот говорят, что в каждый журнал нужно писать, учитывая его гиперстиль. Возможно. Но в последнее время у меня с этим нет проблем. Я пишу, как дышу. Наверное, в придачу я нашел какой-то общий, приемлемый для многих звук. Не знаю. (Ну да, вы скажете, что это несложно, если ты — христианский гуманист, христианский либерал с неоконсервативной жилкой, даже немножко христианский социалист...)

РЖ: *А каковы перспективы взаимодействия и взаимовлияния сетевой и бумажной критики?*

Е.Е.: Пока их мало. Я думаю, что самое важное для Сети — разжиться мозгами. С рецензиями там все в порядке. Мыслей мало. Поэтому я приветствую усилия «Русского журнала», например, направленные на то, чтобы их аккумулировать, в том числе и немного откачать эту интеллектуальную энергию из бумажных изданий. И приветствую работу коллег в этом направлении. Критики, близкие мне по ценностной ориентации, пока мало сделали для завоевания Рунета. В это нужно вкладываться. Хотя и сам я по этой части жутко отстал.

Вот такова самая выигрышная пока для всех перспектива взаимодействия. И — ждать: вдруг именно в Сети появится личность критика, с которой будет нельзя не считаться.

РЖ: *Какая традиция в русской критике Вам кажется «своей»? С кем из критиков прошлого (дореволюционного или советского) вы ощущаете идейное, духовное родство?*

Е.Е.: Я помню, как в 19 лет я получил вожделенный допуск в главный читальный зал библиотеки МГУ и впервые прочитал книгу Бердяева «Sub

specie aeternitatis». Это было ошеломление. Я соприкоснулся с чем-то, очень мне близким. Тогда и потом мысли Бердяева об искусстве и художниках сильно и многосторонне на меня влияли. Говорят, что у меня есть и стилистическое сходство с Бердяевым. Может быть. Тогда же я прочитал «Русских критиков» Акима Волынского и навсегда остыл душой к критике XIX века, хотя ее историческое значение сознаю, конечно.

Мой вектор — это религиозно-философская критика экзистенциального направления. Дмитрий Мережковский, Сергей Булгаков («Чехов как мыслитель»), Лев Шестов, Георгий Адамович (я о нем писал; он, наверное, — самый близкий мой предшественник, редкий пример русского критика-персоналиста). И Андре Базен, конечно, — как законченный, концептуальный арткритик-персоналист.

Из современников мне ближе всего Игорь Виноградов, еще от его давней статьи о Михаиле Булгакове и со времен, когда он был руководителем моей критической мастерской на журфаке МГУ. Конечно, сказывается и многолетний опыт нашего творческого общения. И очень ценю я Ирину Роднянскую.

Люблю или любил я и многое другое, впрочем. Когда-то на меня сильное впечатление произвели и Корней Чуковский («От Чехова до наших дней», «Книга об Александре Блоке»), и, представьте, Юлий Айхенвальд («Силуэты русских писателей»). Я месяцами ходил под впечатлением статей Бориса Емельянова о драматургии 30-х, Михаила Лифшица о Шагинян, Марка Щеглова о Леонове, Петра Палиевского о Грэме Грине, Эрика Соловьева о Хемингуэе, Бенедикта Сарнова о Катаеве и Эренбурге, Игоря Дедкова о Бондареве, новомирской критики 60-х...

Вообще, критик — это бездонное, притом инструментализированное чувствилище, инструментализированный интеллект, гиперболизированный настрой на диалог. Он берет везде, где хоть что-то есть. А литература (включая и критику) — это ж почти райский сад, и одновременно адская бездна. В ней есть все. И все дается практически даром и в дар. Это — из лучшего, что нам вообще дается судьбой. Бери — не хочу. И брать, точнее входить в контакт, устанавливать и держать связь, жить вместе — это такое наслаждение!

2

Слово «либерал» и от него производные стали определенной частью литературных критиков нового призыва употребляться как бранные, а слово «консерватор» перестало соответствовать своему содержанию. Каковы особенности и в чем причина нового антилиберального давления на либеральные ценности в современной словесности? Разочарование? Поколенческое противостояние? Компрометация либеральных идей?

Е.Е.: Свобода в России с ее рисками и тревогой потеряла прелесть новизны и приелась. Сегодня она почти никому не нужна. Вот в чем, я думаю, дело. Свобода как ценность, как практика, как выбор — не имеет кредита ни у российских элит, ни у массы. Они не понимают ее ценности, а часто видят в ней что-то опасное и вредное. Свободе люди стали предпочитать иллюзии «покоя», «стабильности», «сильного государства», «управляемой демократии»,

«справедливости»... Они стали жить зажиточнее и благополучнее, но это не научило их любить свободу именно и только за то, что она есть.

Когда общество духовно деградировало, впало в детскую бессознательность и безответственность и погрузилось в инфантильные грезы, попутно выродились и представления о либерализме и консерватизме. Либерал воспринимается теперь как космополит, эгоист, гедонист и попуститель. Консерватор же истолкован как этатист, ура-патриот и неосоветский реваншист. Ничуть не удивительно, что такое настроение пришло и в критику, в литературную журналистику.

К сожалению, выродились и извращены не только представления, но и практика реализации той и другой жизненной позиции.

Есть много причин этого кризиса. Но одна из них — это откровенная бесовщина, которая овладела модными художниками и теоретиками, позиционировавшими себя в парадигме «русского постмодернизма». Адепты этой идеологии узурпировали право называться либералами, по-шулерски перехватили козыри свободы. Загрузившись в столь удобные розвальни, постмодернистская богема погнала *к яру*, активно потреблять удовольствия, а своих оппонентов по дороге убивала снисходительно-презрительными взглядами.

Что-то слышалось родное в песнях ямщика. Только на смену лозунгу «победа коммунизма неизбежна» пришел слоган «победа постмодернизма неизбежна». Иными словами, критикам этого поветрия или сомневающихся не было предоставлено никакой возможности не подчиниться якобы фатальной логике культурных процессов.

Реально это явление едва ли может считаться аналогом западного постмодернизма, разве что очень дальним родственником. Это скорее банальный циничный захлеб и разгул на фоне постсоветского раскрепощения. Что-то вроде русского вольтерьянства в описании Василия Ключевского. На Западе просто были выбраны подходящие ярлыки для обозначения отечественной болезни, эпидемически поразившей последнее в основном поколение советского андеграунда.

Это был просто обвал. Ведь именно литература в России веками формировала общественную повестку дня, именно здесь выносились на мирской и Божий суд главные мысли и чувства человека. И вдруг ни с того ни с сего всякая литературная мелочь забегала с криками о том, что ей, мелочи, страшно мешает духовная и социальная миссия словесности. Что ей тяжело нести. Что ей хочется легкости. Почти в одночасье пространство литературы оказалось заполнено отрыжкой пошлых игрищ.

Писатель (повторю, заявлявший себя «либералом») сбросил бремя ответственности за судьбу культуры, страны, народа. Он то ли утратил веру и убеждения, то ли перестал о них говорить, а главное — он замолчал и почти ни разу не возвысил свой голос по конкретному поводу, в связи с конкретным общественным конфликтом или человеческой трагедией. В тот момент, когда народ потерял ориентиры, у нас почти не нашлось духовных авторитетов, взявших на себя миссию внесения ясности в помраченное сознание масс. (Практически не было и встречных попыток выстроить «политику» с опорой на реальный духовный авторитет.) Зато нашлись литераторы с талантом и именем, которые отвергли не только важность и насущность этих задач, но даже и

само право на их постановку. Прописали литературу в детской, в коробке с игрушками. И в течение десятилетия таковые мазурики вытаптывали поле культуры, оскверняли ценности, разрушали иерархии, не предложив ничего взамен, кроме техник самодостаточной знаковой манипуляции.

На фоне недоумения и растерянности у читателя возникло горячее желание, во-первых, отождествить либерализм с самыми одиозными фигурами, а во-вторых, вместе с этими ребятами выплеснуть прочь и уважение к современной литературе как таковой, к современному писателю как таковому.

После ожесточенной полемики неозападников и неославянофилов конца 80-х — начала 90-х в литературе наступила пауза деидеологизации. Почему возникло новое идеологическое размежевание?

Е.Е.: Не угодно ли: «пауза деидеологизации»! Никакой «деидеологизацией» там не пахло. Это было время процветания агрессивной идеологии релятивизма, цинического гедонизма и полной духовной расслабухи: баян-ширянов в полный рост. И некоторые литераторы (критики в том числе) купились на этот примитив. Свободу взысканий и тревог они принесли в жертву «интеллектуальной» моде, разоружились и впали в расслабленность.

Конечно, такое состояние не могло длиться вечно, хотя кое-кто, может статься, собирался бражничать до последней черты. Неодекаданс сошел на нет при первых признаках усыхания свободы, которое им же и было спровоцировано. Точнее, сдался, позорно разоружился и капитулировал. (Да и чем бы, впрочем, он мог ответить на атаки врагов свободы? Дешевизна его эскапад видна, например, в недавнем паническом интервью в германской прессе В. Ерофеева, в тусклом, перепуганном бормотании В. Сорокина.) Есть хаос, есть смятение, есть капитуляция заигравшихся сочинителей (кульминация такого настроения в литературе — роман С. Гандлевского «НРЗБ»: ну полный пстмдрн).

Теперь уже это явление исчерпало свой срок. Просто неловко видеть в журналах Ю. Буйду, В. Шарова или там А. Королева, которые этого не заметили. В. Пелевин живет на ренту. Даже М. Вишневецкая, автор весьма сомнительной книги «Опытов» (этакой мастеровито выложенной релятивистской мозаики), получила свои премии не за книгу в целом, а за один лишь «опыт», в котором как раз есть позитивное духовное содержание. И это, что ни говорите, показатель.

Новое же противоборство — это реальная борьба за реальные ценности. Такой она и должна быть. И мы обязаны в ней победить.

Как Вы оцениваете результаты радикального и консервативного проектов в современной литературной практике.

Е.Е.: Современная литературная практика — это, наверное, литература нового века?

Коли так, то нужно сначала сказать, что «русский постмодернизм» в ней накрылся медным тазом. Некоторые из его адептов и сегодня мелькают на ТВ и продолжают титуловать себя «либералами»... Они даже по-прежнему (если не больше) влиятельны, став, по сути, персонажами масскульта, попсовыми «звездами», и с выгодой эксплуатируя свой имидж шутов гороховых. Может быть, есть и те, кто раскаялись, сбрили волосы, посыпали голову пеплом и замаливают грех где-нибудь на Соловках. Хочется поверить.

Новые сшибки по крайней мере честнее, в них больше предметов названы своими именами, в них меньше цинизма и подмен. Оттого ли, что подморозило, или нет, но воздух стал прозрачней. Все цвета времени становятся хорошо видны. Хотя реально я пока не вижу, к сожалению, четкого размежевания «проектов» (правильнее сказать, лагерей, или уж там — *станов*). Где реальные центры либерализма в литературе, где его штабы? Есть только одинокие воины и некоторые издания, в принципе предрасположенные к выражению либеральных ценностей, но, в общем-то, увы, в основном пока далекие от наступательного утверждения свободы как фундамента личностного самосозидания, как основы богоподобия человека, от бескомпромиссной реализации этой свободы в публичных актах духовного и социального выбора. Может быть, я излишне критичен. Хорошо бы ошибиться.

Да и неосоветский радикализм как выражение специфического консерватизма, клонящегося к мракобесию, у нас литературно беден. Это и закономерно, и утешительно. Э. Лимонов и А. Проханов как *литературное* знамя воинствующей реакции выглядят не весьма убедительно. Их слава связана с конвульсивной попыткой лощеных тусовочных циников сконструировать из них идолов масскульта по признаку политической экзотичности... А другие «заслуженные радикалы» еще меньше заметны как творческие величины. Может быть, Л. Бородин? Или В. Бондаренко?

Время потихоньку расставляет все по своим местам. Чем ночь темней, тем ярче звезды — и не попсовые, а путеводные. Я надеюсь, что лучшим нашим *писателям нового века* дорога́ не свобода потребления, а свобода духовного взыскания. И я думаю, что нужно их назвать здесь. В сущности, это наша духовная элита. Прозаики и поэты: Ю. Малецкий, В. Маканин, А. Волос, Н. Горланова, А. Азольский, О. Павлов, Л. Улицкая, А. Вяльцев, А. Дмитриев, В. Попов, А. Курчаткин, Л. Юзефович, О. Чухонцев, Ю. Кублановский, И. Лиснянская, Г. Русаков, А. Кушнер, А. Беляков... Наверняка кого-то забыл упомянуть. Да, и серьезные критики, вот хотя бы некоторые: И. Роднянская, Н. Иванова, С. Чупринин, М. Ремизова, П. Басинский, Н. Елисеев, А. Немзер...

Конечно, они разные. При таком умонастроении не может быть стандартной иерархии ценностей. Творческая личность делает свой выбор в большом пространстве духа. Но именно на этих писателях прежде всего лежит бремя духовной ответственности за судьбу России, бремя учительства. А с учетом принципиального значения именно литературы для самоосознания народа можно сказать, что только они и могут (если смогут) определить вектор исторического выбора и обеспечить тем самым будущее России.

Я не раз уже говорил, и еще раз скажу, что убежден: это огромное заблуждение, что Россия способна существовать без актуальной духовно емкой литературы. Весь наш исторический опыт свидетельствует об обратном. Не будет серьезной и значительной русской литературы — не будет и России. Или это будет другая страна, «Россия». Чем меньше литературы, тем меньше России. То, что литература сейчас так слабо представлена в зоне общественного внимания, и означает впадание общества в злокачественное детство.

К счастью, литературное дело у нас далеко не безнадежно. Во дни сомнений это почти единственное, что способно утешить. Новое литературное по-

коление (скажем, прозаики Д. Гуцко, Д. Новиков, Р. Сенчин, А. Карасев, М. Свириденков, И. Кочергин, Вас. Орлова, С. Вербицкий, С. Шаргунов, Б. Гречин, Д. Артемов, поэты И. Белов, И. Волков, Н. Ключарева, С. Михайлов, И. Овсянников, С. Янышев, А. Беляева, группа Шторамаг, критики Г. Циплаков, В. Пустовая, А. Рудалев, Т. Михайлова и мн. др.) стихийно либерально и стихийно консервативно. Но уж, во всяком случае, не цинично. (Они даже из прозы умного циника Пелевина пытаются иной раз вычитать идеализм.) Было бы странно и страшно, если бы у нас народилось новое поколение «постмодернистов». Но пока ничего такого не наблюдается.

Это новое поколение, во-первых, обычно очень слабо ориентируется в литературе второй половины XX века, в том числе и в литературном обиходе 90-х (спасибо школе и вузу, где таковые курсы преподаются из рук вон плохо), и зачастую также отождествляет это время с фигурами модных спекулянтов, но притом нередко еще и презирает последних. Это, впрочем, нормальная реакция человека на явленный воочию духовный распад.

Молодые люди, во-вторых, как ни странно, настроены скорее идеалистично. По крайней мере — из тех, с кем я общался (но это довольно широкий круг). Им хочется иметь простые и окончательные ответы на весьма и весьма радикальные взыскания оскорбленного духа. Хочется служить истине и приносить жертвы на алтарь настоящего бога. Но им трудно выбирать в ситуации, где свобода сплелась в один клубок с практикой ее безответственной реализации, с ощущением исторического провала, прозябания, умертвия. Им мало дано на выбор. Оказалось, что у нас практически не осталось широко признанных и при этом живых духовных авторитетов (они отвергнуты, развенчаны), у нас страшнейший дефицит здоровых ценностей и страшно искаженное, исковерканное культурное пространство. Вот часто именно отсюда идет увлечение державно-милитаристской имперской риторикой, самыми грубыми вариантами национализма, эзотерической бесовщиной. Правда, талантливых юных фашистов мне наблюдать не привелось. Одна бездарь, и в основном — далеко за 30, а то и сильно за 40.

В большинстве своем новые литераторы не приемлют, как мне кажется, не либеральные ценности, а то бездуховное прозябание, которое к ним прицепилось. Да, среди молодых есть те, кто называет себя анархистами или троцкистами, атеистами или неохристианами, но при этом пишет, к примеру, пронзительные экзистенциально выверенные стихи. Я — за такой радикализм. Он основан на неприятии в мире того, что удручает и меня. Он означает неготовность к компромиссам с убогой социальностью и с духовной прострацией наших дней.

Существует ли единое поле действия литературной критики — вне зависимости от деления критиков на «традиционалистов» и «постмодернистов»? Если да, то опишите его. Если нет, то покажите границу, линии оппозиции и пункты «встречи», т.е. возможного диалога.

Е.Е.: «Это — поле боя». Есть такой отличный роман у Грэма Грина. И мне нечего добавить к английскому классику. Я давно чувствую себя солдатом безымянной войны за свободу.

Что еще сказать? ...Критикам-«постмодернистам» пора разоружиться и признать, что они принесли литературе немало вреда и сильно содействовали тому социальному и культурному оползню, в котором мы пребываем. Мне их жаль. Они провалились, как давно никто не проваливался. Некоторые (В.Курицын) уже и удалились по-пластунски куда-то в благополучную сторону, фактически признав свое фиаско. Другие никогда и не пытались покинуть свое прекрасное далеко, откуда так комфортно, например, брать под защиту ничтожного Сорокина. Я вижу, как угасает эта волна, как из последних сил временами подгоняют ее отдельно взятые представители постмодернистского арьергарда. Опомнитесь, господа. Уже хватит.

Ситуация слишком трудная, момент слишком решительный, чтобы миндальничать. Реабилитация свободы — дело нелегкое. Речь не может идти о соглашениях или компромиссах, основанных на существующем статус-кво, во многом унаследованном от 90-х или ставшем реакцией на недавнее прошлое. Речь должна идти о готовности к решительному переопределению и понятий, и стратегий.

Начну с себя. На протяжении 90-х годов я обычно определял свою позицию как неоконсервативную, имея в виду совершаемый мною выбор традиционных ценностей христианско-гуманистической цивилизации в качестве смысловой опоры. Еще в «знаменских» статьях 2001-2003 годов о Т.Кибирове и В.Павловой есть явные следы этого миросозерцательного уклона. В принципе я ему нисколько не изменил и ныне. Но в новой ситуации уже практически перестал употреблять понятие «неоконсерватизм», опасаясь быть неверно понятым (в общем-то, у нас ведь никто особенно не стремится верно и точно понимать позицию другого, это нужно признать). Кроме того, в последнее время я все более энергично пытаюсь утвердить свободу как экзистенциальную норму и как базисную основу христианского понимания человека, поскольку считаю, что это — главное требование момента.

Критик, мне кажется, должен и может решить проблему духовной коммуникации в нашем глухом и слепом мире, для человека с отшибленными духовными окончаниями. Я никому ничего не предписываю, но для меня самого, наряду с талантом и мастерством, важнейшей темой является духовный смысл литературного явления. Но и социальная полезность, да. (Мы отвернулись от этого: фи, какая добролюбовщина! В результате мы имеем только густопсовую пироговщину. Портяночную ольшанщину. Коричневые розы.)

Если литература в целом есть свободное самосознание общества и личности, то критик призван предельно оптимизировать процедуру такого самоосознания. Но не всякий сможет хотя бы осознать эту задачу, со своим наличным арсеналом идей и подходов к литературе. Некоторые литературные фельетонисты идут в обратную сторону, к отказу от свободы, в сторону агрессивного и воинственного ее обличения, утверждения идеалов казармы и барака. (Сами-то эти критики, как правило, ни в казарме, ни в бараке не обитали. Но это их, конечно, не извиняет.) Ну о чем мне, помилуй Бог, говорить с такими людьми? Я все знаю и про барак, и про казарму. Мотал я эти портянки и никакой прелести в них не нахожу.

P. S. В послесловии к интервью в РЖ Михаил Эдельштейн назвал меня «критиком-идеологом» (у меня де «конкретная оценка вырастает из общей

концепции»). Нельзя сказать, что меня это определение вдохновило. Я далек от навязывания жизни абстрактных схем. Я просто пытаюсь свободно размышлять, вдохновляясь тем, что мне дорого. По-моему, это можно назвать свободным философствованием — но не рассудочным системотворчеством. Исповедуемый мной принцип (и метод) диалогического персонализма вообще исключает идеологические априори. Истина рождается сегодня. Поэтому, в частности, когда Эдельштейн говорит, что реализм (миметизм) и идеализм — это, что ли, антиподы, а я их вроде как отождествляю, — то я вижу тут смешное недоразумение. Равно как и в некоторых других возражениях, на которых я здесь уже не буду останавливаться.

Разве что заступлюсь (в который раз) за Анатолия Азольского. Ну с чего же вдруг Эдельштейн в том же послесловии взял, что духовный опыт у Азольского только назван, но не оформлен литературно, не преломлен. Я-то считаю, что именно Азольский — один из немногих наших писателей старшего поколения, который в 90-е годы создал особый образ реальности и притом как раз находится в движении, в творческом поиске, открывая новые возможности свидетельства о том, что открылось ему в бытии — где-то между Кафкой и все тем же Грэмом Грином... Отсюда, кстати, и неровность, и противоречивость его прозы.

Е. Е.

Владимир ХОЛКИН

«ВРЕМЯ ЕСТЬ ЗАМЕДЛЕНИЕ ВЕЩЕЙ ПРЕХОДЯЩИХ...»*

Смерть одного (отдельного, единичного) человека литературу сегодня занимать перестала. Отказываясь внять значительности смерти как события неповторимо индивидуального и психологически сокровенного — или, тем более, в событие это вникнуть, литература вновь возвращается к постройкам мифотворчества и символизма.

Однако время давно всё обернуло и переиначило: *миф* привык к обыденному ничтожеству любой человеческой жизни, а *символ* оказался непререкаемо равнодушен ко всякой индивидуальной судьбе. Оба стали циничны, расхожи, потеряли в страстности и глубине и давно уж пошли в услужение к социальной пропаганде или откровенно лубочной культуре. (В иных — совсем уж замкнутых на себе — случаях и то и другое стало достоянием интеллектуалов или эсхатологически настроенных социологов.)

Пренебрегши нравственно скудеющим обществом, время предпочитает теперь разглядывать натуральный продукт несложных биологических отправлений человека. И правда о сокровенной неповторимости отдельной жизни оказалась опрокинутой — как и тайна постепенного человеческого из жизни убывания.

Смерть как таинство ухода одной личности — таинство сугубого переживания перемен, сдвигов и резкого преображения всего для этой самой личности важно сущего — перестала быть проблемой, волнующей литературу. Двадцатый век с его кровожадностью и стремлением убивать как можно больше, планомернее и идейней (то есть истово, безлико и равнодушно) растворил в войнах и утопиях тему индивидуальной человеческой смерти. На знаменательные же попытки возродить в литературе наклонность к глубокому психологическому проникновению в самую сердцевину души умирающего человека время (тоже знаменательно) накладывает печать холодной созерцательности и бессердечного любопытства.

Попробуем внимательно вчитаться в пять — разного времени — произведений, чтобы понять, как на протяжении всего века убывал из времени и литературы внутренний, нравственно и психологически подробный сострадательный интерес к такому предельно индивидуальному явлению, как человеческая смерть. И как, наоборот, прибывало отстранение: откровенно неучастливое и созерцательное, простирающееся вплоть до эмоционально приблизи-

* Папа Римский Пий VII.

Владимир ХОЛКИН — родился В 1946 г. в Приморье. Закончил режиссерское отделение Ленинградского института культуры. Статьи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Новый мир», «Русская литература». Живет в Великом Новгороде.

тельного или нескромно зрительского любопытства. Речь пойдет о толстовской «Смерти Ивана Ильича», рассказе Ильи Сургучева «Смерть», рассказе Юрия Олеши «Лиомпа», этюде Михаила Осоргина «Вещи человека» и повести Александра Хургина «Возвращение желаний».

Мы отдаем себе отчет в том, что наш выбор может показаться случайным и произвольным. Но поскольку нас интересует тип писательского отношения к смерти персонажа и изменения этого отношения во времени, то выбор представляется скорее неподобающе редко пунктирным.

Начиная наше рассуждение с разговора о «Смерти Ивана Ильича», мы бегло упомянем и некоторые другие опыты в занимающей нас области. Такого рода исследования в русской литературе редки, но они есть.

В частности, под знаком тягостной болезни и неизбежной смерти как исхода или не-исхода из неволи могут быть понимаемы и толкованы, скажем, и пушкинская «Пиковая дама», и гоголевская «Шинель». И хотя Пушкин, в отличие от Гоголя, не ведет своего героя в прямое небытие, но и весь ход, и самое завершение душевного пути Германна ручаются за предположение той сокровенной мысли, что тайна его безумия вполне равновелика тайне смерти. По Гоголю же, потеря Акакием Акакиевичем шинели есть потеря жизни. Поэтому все перипетии, связанные с мечтой, обретением и утратой ее суть вехи таинства, вехи утаенного, интимного движения из жизни в смерть.

Словно предваряя тон проникающего толстовского психологизма и пристально внимательный интерес к мельчайшему в человеке, исследует душу героя и гончаровский роман «Обломов». И здесь как основной звучит мотив медленного «потухания» человека. Мотив, который, выявляя самое нелицеприятно тайное души и жизни, делает роман Гончарова, так же как и повесть Толстого, «опытом существования».

Однако европейские войны второй половины XIX века изрядно пошатнули прежние ценности — в том числе ценность единичной жизни, равно как и целостность трагизма единичной смерти. И время стало все настойчивей уводить культуру по пути ценностей уже не реальных, а символических, ибо чем натуралистичней «цветы зла», тем они — как ни парадоксально — символичнее. Время отняло у человека возможность приобщиться тайн одинокого «ухода», его сугубой сущности, оставив взамен форму, символ, эмблему. И кажется, что именно поэтому (позднее — но всё же именно как итог такого опустошения) столь звучно, словно в театре, перекликаются между собой «Пляска смерти» Сен-Санса и Стриндберга со «Снежной маской» Блока и «Смертью человека» Леонида Андреева. Или, при всем его устрашающем натурализме, даже с верещагинским «Апофеозом войны».

Представляется, что «Смерть Ивана Ильича» это еще и яростное опровержение такого обесценивания, обстоятельно страстный, хотя, как показало время, и обреченный спор с ним.

Наиболее психологически разяще и достоверно и — психологически же — неторопливо подробно, а потому и с выматывающей душу трагической подлинностью, смерть как умирание исследуется, бесспорно, именно в этой повести Толстого. Правда, в исследовании этом таится и кроется, а после неторопливо раскрывается одна важнейшая особенность. Особенность не только

жанровая, но и нравственная. Дело в том, что «Смерть Ивана Ильича» — это не история смерти, а история жизни — неглубокой, приблизительной и скверной («ужасной», по Толстому) жизни как подступа к неизбежному от этой скверны очищению и избавлению. Избавлению ценой не столько физических, сколько нервных страданий и путем ухода на глубину души — к себе, так сказать, уже «неделимому», первоначальному и фальшью не искривленному.

А еще это — история болезни или, прибегая к прежнему, более выразительному названию, *скорбный лист*. И вот в этом-то словосочетании, лишь со временем ставшем тонко поэтическим образом, и залегают, как ни странно, пласты нравственных верований повести. То есть таких верований, когда сердцевиной писательского чувства становится скорбь, вслед за которой неизбежно приходит в душу и сострадание.

Однако появление и исследование истории именно Ивана Ильича Головина как предмета отдельного и суверенного — это, прежде всего, событие произвольное. Ибо Иван Ильич — один из многих похожих. На его месте, то есть в качестве центрального толстовского героя, мог бы оказаться любой из его сослуживцев или партнеров по винту — и так же обоснованно удостоиться обстоятельного рассказа о себе как единственном и о своей сложной, истемна глубокой душе как уникальной. Иными словами, история, рассказанная Толстым, это — открытие предельно непохожего индивидуального в неразборчиво одинаковом множестве. Открытие, обусловленное заповеданной от века истиной о потаенной самодостаточности «потемок чужой души». Это движение от повторяющегося к неповторимому, это путь от всех к одному — путь выделения особого из всеобщего и разъяснения этого особого как самодостаточного.

А может быть, это и собственное Толстого внутреннее движение к себе как глубочайше одному. Вот два небольших, но явственных признания. Первое: С. А. Толстая — сестре (4 декабря 1884 года): «На днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа, мрачно немножко, но очень хорошо; *вот пишет-то, точно пережил что-то важное*, когда прочел и такой маленький отрывок...». И второе: Л.Н. Толстой — князю Урусову (20 августа 1885 года): «Начал нынче кончать и продолжать смерть Ивана Ильича. Я, кажется, рассказывал Вам план: *описание простой смерти простого человека, описывая из него*»*. В пользу предположения об особо личном «стволе» повести говорит и само устройство ее композиции. Это рассказ-исследование, где не смыкаемо и даже не параллельно текут два разных потока и в разных же мирах происходят два события. Одно — событие мучительно досадливой для окружающих предыстории смерти человека, смерти как прекращения его в их повседневности присутствия. То есть событие очевидно внешнее. И другое — событие от окружающих утаенное, внутреннее; событие ухода, убытия человека из своей собственной жизни. Событие преображения всякого дня в единственный.

Собственно, изощренно проста и внешне обыденна лишь фабула повести. Проста, как притча. Медленно же и трагично сплетающийся в тугой жгут сюжет ее — это неуклонный, напряженно размеренный ход от экзистенциального *остранненния* писателем литературного персонажа. Ход от намеренно спокой-

* Курсив мой. — *В.Х.*

ной (но спокойной все-таки нестерпимо) ироничности тона к страстному сопереживанию. К готовности не только осмыслить тяготы одинокого человеческого страдания, но восчувствовать и разделить их. Ход, который лишь изнутри переживания завершается ликующим открытием, что нет не только страха смерти, нет и самой смерти, а есть свет и радость освобождения. Извне же звучат два, близких уже лишь сторонне, голоса. Один — судьбы ли, ангела ли хранителя — произносящий величаво и эпически просто: «Кончено!». И другой — авторский, уже переживший сострадание и потому в простоте своей звучащий смиренно и чуть ли не безразлично — как последняя строка взаправдашнего, а не образно символического «скорбного листа»: «Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер».

Но сострадание приходит в рассказ не сразу. Оно прибывает по мере того, как прибывает полнота зоркости, с которой автор вглядывается в подробности не столько жизни Ивана Ильича, сколько его из жизни исхода. И всё возрастающая полнота сопричастности открывает (что психологически естественно) дорогу к состраданию. Толстого, собственно, течение исхода только и интересует. Интересует в первую очередь морально. И этот моральный интерес, идя путем прилежного и подробнейшего исследования и изумляя естественностью, по мере углубления в переживания души и ума Ивана Ильича, изменяется не только психологически. Он преображается и нравственно.

Первые же нерушимо моральные вехи Толстой расставляет уже в начальной фразе второй главы: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная». Расставляет их определено, со строгостью неотступной и убежденностью неколебимой. Фраза звучит непререкаемо, безнадежно и, вопреки спокойному порядку простых слов, страстно осуждающе. Страстность и осуждающий пафос ей придают, по плавному контрасту с остальными, два последних слова. Что вполне согласуется со знаменитым толстовским приемом «остранения» обыденных слов и явлений с помощью других, еще более обыкновенных. Прием этот можно было бы определить и так: взгляд неискушенного человека, впервые увидевшего мир фальши, искушений и условностей и с непритворным недоумением и любопытством этот мир со стороны описывающего.

История жизни Ивана Ильича поначалу и описывается как история безнадежной моральной болезни, очевидной мудрому простецу, который не испорчен ложью и непритворно дивится силе их (болезни и лжи) тотального охвата. Так, собственно, не снижаясь к душевной путанице и физической муке героя — то есть описанием явления со стороны (описанием, совершенно согласным с убеждениями склонного к обличению и моральному учительству писателя), — история эта могла бы и закончиться. И поначалу, по первом чтении, действительно кажется, что моральное выздоровление героя возможно только на путях воздаяния, то есть ценой страдания, обезоруживающего страх смерти. Но начиная с морального приговора, сам Толстой испытания сочувствием к морально осужденному не выдерживает, несмотря на упорные старания во что бы то ни стало сохранить взятый тон. По мере все уплотняющегося движения сюжета вглубь личности Ивана Ильича моральные вехи с их жестким ригоризмом постепенно отдаляются и медленно теряют очертания.

С первых строк шестой главы в отношение Толстого к Ивану Ильичу входит (и входит, по-видимому, не вполне предугаданным загодя) то, что оказывается много сложнее морально самоуверенного знания. Входит начало знания душевного, всё более — по мере приближения к сути тайны умирания — в себе как в знании сомневающееся. «Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого <...> пример силлогизма: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему».

Именно здесь возникает, чтобы после разрастись в повести вполне, одно заветное допущение, непреложное и не могущее для толстовского исповедания личности быть нарушенным безнаказанно. Допущение об особой для всякого человека сокровенности переживания жизни, об индивидуальной неповторимости этого переживания, о его незаменимой ценности, о его не поддающемся обобщениям в силлогизмах неизменном своеобразии. Но главное — допущение о человеке как о не-заурядной сущности, парадоксально одновременно находящейся и в ряду с прочими и вне его. Сущности пестрейше целостной и простому счислению не подвластной. «Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне... А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?» Здесь и далее, во многом вопреки твердости поздних моралистических установок Толстого, отчетливо выпукло проговаривается мысль о человеке как мире. Человеке как особом духовном пространстве, странно непохожем на внешне ему подобные. Пространстве, существенно противоречивом, достойном не только внимания и наблюдательного изучения, — но и признания, но и сочувственного, уважительного почтения ко всем, даже ничтожно мелким своим проявлениям. Окончательно же говоря, достойном нравственно тщательного сострадания даже в морально ложной или душевно печальной или в физически уродливой немощной участи своей.

В «Смерти Ивана Ильича» есть одна примечательная этическая черта, предметно особенно важная. Она лишь косвенно связана с самим воздухом этой повести — воздухом ее психологизма, критичным, но глубоко чутким к тягостям души. Это черта реальной, исподволь растущей, сокровенной интимности повествования, подробный исповедальный отчет в переживаниях персонажа — в постепенно сужающемся, постепенно уплотняющемся клубке переживаний, связанных с непереносимым раздражением жизнью вкупе со страхом смерти. Черта, являющая совершенную действительность отражения чувств в слове, вскрывающая изначальную сообразность слова чувству как единственному своему источнику. И говорит эта черта не только о выдающейся психологической правдивости и психологической же трехмерной объемности образов, созданных Толстым-художником. Она явно свидетельствует и о том, что переживания эти есть достояние именно души Толстого-человека и что увидены и описаны они *изнутри* как, несомненно, этой душе принадлежащие. Здесь к слову будет сказать, что весь ход повести — с его скрупулезно по-дневным содержанием и пристрастным анализом происходящего в душе — напоминает не только «историю бо-

лезни», обстоятельно исследуемую вчуже. Порой приближение столь тесно, столь душевно разоблачительно, что вызывает в памяти стиль, вкус и беспощадную искренность дневников самого писателя. Вот этот-то острый и нелицеприятно цепкий взгляд понимания изнутри (взгляд, душу Ивана Ильича не щадящий, а ей глубоко, как своей — а быть может, не «как», но и вправду своей — сочувствующий и ее от самых корней знающий) и есть та самая наиболее высокая точка сострадания писателя своему, уходящему в смерть, герою.

На этой точке заканчивается свойственное девятнадцатому веку участливое нравственно-психологическое поведение литератора по отношению к своему персонажу. С нее начинается новая проникновенность автора героем в веке двадцатом — проникновенность уже слегка подсушенная спрямленным нравственным состраданием.

Несколько особняком в начале этой новой истории стоит чеховский «Архиерей». Герой этого рассказа, написанного в 1903 году уже смертельно больным писателем, тоже человек убывающий, но, в отличие от Ивана Ильича, постигнутый не внезапным надломом здоровья, а пораженный долгим недугом — усталостью жить без согласия с собой. И если у толстовского героя случайная, обрекающая его на уход из «обыкновенной» жизни болезнь становится истоком духовного преображения, то чеховскому Преосвященному предстает томительный, но естественный исход, освобождение от груза «не своей», так сказать, жизни — когда она, даже благополучная и благочинная, уже невмоготу. «Какой я архиерей?... Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит все это... давит...» И второе: «А он (уже умирающий владыка. — *В.Х.*) уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!».

Философское (не повествовательное) поле рассказа простирается между двумя этими откровениями. Но сам писатель, при всей правдивости своего наблюдательного слова, лишь внятно понимает своего персонажа, лишь его со стороны ободряет, а не соучаствует в преображении — и уж тем более не сострадает. Созерцательная чеховская сдержанность к человеку, так трудно им всю жизнь созидаемая, со всей возможной полнотой проявилась и в этом, во многом личном рассказе. Подтверждается она и таким вот решительным его признанием самому себе в одной из последних записных книжек: «Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь».

Есть, правда, в русской словесности 10-х годов прошлого века два разной степени важности события, отмеченные не только литературно-философским влиянием толстовской повести, но и продолжительным и прямым нравственным ее влиянием. Я имею в виду бунинского «Господина из Сан-Франциско» и «Смерть» Бориса Зайцева. Разной силы художественной тяжести, эти произведения оказались тем не менее одинаково замешаны в тяжбу со временем; оба пытаются выявить ход в смерть не как «символическое шествие», а как переживание бытия замкнутой для других человеческой души. Однако бунинское — вслед толстовскому приему — «остраненное» слово (при всем его

неоспоримом богатстве) сквозит только холодно едким, лишенным толстовского сострадания, бесстрашно созерцательным неучастием в смертной судьбе героя, а бытовой рассказ Зайцева оказывается слишком спокойным, благостным и сентиментальным, чтобы достойно противостоять времени, фатально утрачивающему внимание к отдельной смерти.

Попытку же такого противостояния — очень в русской литературе примечательную, но и по сию пору достойно не оцененную — делает другой младший современник Бунина, Илья Сургучев. И делает ее дважды: в материально важном эпизоде нервной, тщательно выверенного психологического рисунка повести «Губернатор» и в небольшом, скуповато точном рассказе «Смерть».

Несколько слов пояснения. Живший и писавший в России вплоть до всей послереволюционной смуты, Сургучев в 19-м году эмигрировал и всю изгнаннические половину своей жизни непросто жил, трудно писал и не слишком успешно печатался в Праге и Париже. Почти флоберовской точности стилист и неторопливый, тонкого психологизма сочинитель, он был наделен морально пытливым мировоззрением «живописца души», во многом близким к толстовскому. Толстовски же естественным был и его порыв к драматургии с ее возможностью в живом и выпуклом разговорном слове воплотить особенности собственного нравственно-философского исповедания. Известна успешная, мхатовская 1915 года, постановка его «Осенних скрипок». Пьеса же 1927 года «Реки вавилонские» в горькой, саркастической своей печали вполне, представляется, наследует толстовским «Плодам просвещения». В свою очередь, и само сургучевское письмо заметно — порой даже изобильно заметно — повлияло, кажется, на стилистику русской прозы 20-х годов, явственно, например, сказавшись в плотности некоторых рассказов Замятина.

Итак, «Смерть» Ильи Сургучева — явление, приметное художественной безупречностью и характерное этически. Рассказ значимый именно тем, что знаменует собой начало наметившегося в литературе двадцатого века перехода от совершенного со-участия чувств автора в чувствах персонажа к совершенной же от них отчужденности. У Сургучева тоже разыгрывается постепенный уход человека из жизни. Но угасает герой не как субъект собственной жизни, а как объект чужого наблюдения. Причем объект привычно и изо дня в день неизменно пустеющий смыслом существования. Он давно уж стал отчужденным, сторонним предметом не только для окружающих, но и для себя самого и для всей своей безвозвратно миновавшей жизни. История эта, так же как и у Толстого, внешне незамысловата и как житейское происшествие бедна. Она о нескольких, данных как бы разрядкой последних днях жизни столетнего старика, о его последнем эмоционально невнятном свидании с сыном, о миге его смерти и о его домашнем отпевании.

Однако философски (а рассказ, несомненно, несет в себе нерв и настрой содержательно философический) взгляд писателя почти не сбивается на попытки осмыслить или, тем более, восчувствовать героя изнутри. Взгляд этот грустен, стойко наблюдателен и лишь элегически искренне сочувствен. Сургучев, будучи художником по-бунински зорким и поэтичным, а психологом исповедания не только толстовского, но и импрессионистического, начинает рассказ как символическое построение — как сравнительное сопоставление по-

зднего «бабьего лета» природы с осенью человеческой жизни. И так метафорически начиная, он так же его и заканчивает.

Рассказ полнится этим осенним настроением и тончайшей музыкой слова. Но его собственно эстетические черты — предмет для особого разговора, нам же важны черты нравственно психологические, степень душевной заинтересованности и, главное, душевного участия автора в горьком веществе предсмертных переживаний героя. Важно расположение сокровенных чувств писателя, от полноты поворота которых к чувствам героя напрямую зависит расстояние между автором и его персонажем. От этого же неравенства зависит и ответ на вопрос: что есть душевный материал, из которого сделано описание героя и каков способ его постижения? Преимущественно ли это погруженность писателя во внутренний мир персонажа для его с этим миром совпадения и соучастия в нем, то есть для совместного с ним бытия? Или все-таки благожелательно заинтересованное, но стороннее свидетельство об этом внутреннем мире?

Рассказ посвящен умиранию и всему тому немногому, что вокруг этого умирания происходит. А еще он о смерти — неизбежно близкой и долгожданной для одинокого столетнего героя. И сопоставление сургучевского рассказа со «Смертью Ивана Ильича» в силу разности сюжетных обстоятельств кажется, на первый взгляд, невозможным — потому хотя бы, что сорокапятилетний Иван Ильич умирает внешне случайно, умирает полным сил, успешным и вполне благополучным семейным человеком.

Но дело тут не только в разнице между тягостной драмой одного ухода и эпическом спокойствием другого. Дело еще и в изменившейся философии времени, которое становится все более созерцательным, все более безучастным к повседневности и судьбе частной человеческой души. Именно время, влияя на писателя, преображает его соучастие и сострадание персонажу в дружелюбно любопытствующее внимание и предметно насыщенную, элегически наблюдательную печаль. Оттого и сам охваченный равнодушием времени человек отдаляется от памяти и размышлений о вековечной паре «жизнь — смерть».

Сургучев начинает рассказ акварельно прозрачным и графически ясным описанием: «Золотые дни “бабьего лета”, казалось, установились надолго.... В такие дни, от бодрящего холодка, от крепкого воздуха, настроение становится бодрым, здоровым и ровным. *Спокойно думаешь о бывшем и будущем*»*. А заканчивает так: «Бабье лето умерло, но народилась другая радость земли — первая, белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам». И, парадоксально, именно эта плотская, духовитая, великолепно жизнелюбивая фраза придает психологическому по всем приметам рассказу оттенок явного символического иносказания. Фраза, будто наследующая Екклесиасту с его спокойным «И приходит род, и уходит род, а земля пребывает вовеки». Метафоричность эта к концу рассказа становится все более и очевидно полной и поэтически завершенной. Ибо «бабье лето» (то есть лето уже хронологически незаконное, лишнее, шальное) оказывается спутником и знаком жизни, не путем задержавшейся, силящейся уйти и заждавшейся умереть. Вернее, символом короткого, перед окончательным умиранием, слабого всплеска жизни Ипполи-

* Курсив мой. — *В.Х.*

та Ипполитовича. А «первая, белая пороша» символически же выявляет вкус к «законной» жизни, прихлынувший к его сыну после нескольких чувственно ярких деревенских впечатлений. Именно между этими двумя описаниями и размещает автор всю короткую историю смерти Ипполита Ипполитовича, включая свидание и разговор с растерянным душевно сыном.

Время позаботилось о том, чтобы психологического сходства между повестью Толстого и рассказом Сургучева было меньше, чем различия. Сходство тут, пожалуй, лишь в короткости упоминаний о прошлой жизни героев, да в видимом к ним сочувствии. Но если Толстого прежде всего интересует внутренний человек Ивана Ильича, то Сургучев занят внешними повседневными признаками слабости и безразличия своего героя. В повести Толстого герой переживает убывание пространства душевно и физически внутреннего, ежеминутно панически ощущая вытравливание и сужение этого вместилища жизни изнутри. В рассказе же Сургучева от тела и от глаз героя уходит, тоже сужаясь и сходя почти на нет, пространство внешнее, уходит вместилище вещей, давно переставших за недоступностью (а потому и ненужностью) быть полезными или сколь-нибудь необходимыми. Из жизни человека уходят вещи, а не чувства и мысли: те покинули его уже незапамятно давно. А из всех многочисленных и разнообразных вещей его жизни у него остался только диван, на котором он проводит все дни и ночи: «Он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми, выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и застланном медвежьей шкурой... У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито, и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия у него отупели».

В отрывке этом выразительно многое. Обстоятельное описание внешнего состояния Ипполита Ипполитовича и едва ли не более обстоятельное описание дивана, с характерными для близкой и близко же увиденной вещи подробностями. Решительная сухость косвенных о себе стариковых признаний, воспроизведенных автором на основании своего бесспорного предположения и откровенно сочное описание дивана. Здесь особенно важно подчеркнуть, что диван описан и дотошнее и тщательней, чем другие вещи комнаты и уж тем более, чем вся история успешно прошедшей жизни Ипполита Ипполитовича. История, уместившаяся в три строки: «В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байроном. В шестидесятых годах вместе с государем Александром он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым». Диван именно потому, кажется, так описан, что все остальные вещи жизни давно уж для героя рассказа существуют лишь в очертаниях. С диваном же Ипполит Ипполитович будто сросся и, как лежащий кентавр, являет единое целое. Оттого и выписан он так скрупулезно точно, что давно стал незаменимой частью старикова тела. Психологически же весь отрывок (как, впрочем и рассказ в целом) — не сопереживание вместе с героем сокровенного, а участливо стороннее предположение о его переживаниях как об откровенных, видимых. Предположение — извне.

Но пристальное смотрение на героя углублено у Сургучева особой словесной меткостью. Автор не только умилен простодушным лукавством старика в редкие минуты пробуждения. Смотрение участливо наблюдающего писателя

еще и — со всей композиционной отчетливостью — прямо философично. Ибо вслед безотрадному зрелищу немощи умирания приходит картина сначала и растерянной, а затем все более крепнущей силы другой — молодой — жизни. Приходит уверенность автора в том, что наступившая «пора первой, белой пороши» не менее прекрасна, чем пора уходящего «бабьего лета».

Стоит, правда, сказать, что попытка понять умирание человека изнутри в рассказе делается. Но делается исподволь; писатель препоручает это сыну героя. Вот как излагает автор внутренний монолог Ильи Ипполитовича: «Умрет человек — умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет ни сознавать, ни чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет — ничто? Сознает ли это отец? Или он верит в Бога — до боли хотелось узнать это от отца, ибо в его, отцовских ста годах чуялась какая-то большая мудрость». В монологе этом, прежде иного явственно звучит мысль о первостепенности мира как самодовлеющего целого сравнительно с человеком — миром зависимым и частичным. То есть важнейшим в этом неравенстве оказывается не то, что мир людей безвозвратно лишается мира одного, неповторимого, человека. Важнейшим представляется, что со смертью человека умирает для него этот самый большой людской мир. Смерть одного человека — это потеря для человека, а не для мира: в ней не мир невосполнимо теряет личность, а личность превращается для мира в ничто. Вернее же будет сказать: человек-мир уходит в ничто, а мир людей, несмотря на это, продолжает пребывать не ущербным. «Илья Ипполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного, светлого. А теперь — смерть. И не останется ничего. Ничего!»

Насколько иначе с течением времени стала решаться проблема проникновения в тайну умирания, много говорит авторский, словно разводящий в сожалении руками, голос сургучевского рассказа. Писатель то ли не отваживается почувствовать мир умирающего изнутри, то ли это ему не по силам, то ли мир этот представляется ему настолько истлевшим, что уже ни к чему, кроме усталости, не способен: «Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит: — Вот, когда человек спать хочет... дороже всего сон... так и умереть захочешь... понимаешь? Когда устанешь...». Но более вероятной кажется догадка о том, что мир этот — как уже совершенно плоский, безжизненный и голый — онтологического интереса для писателя не представляет и занимает его лишь как изображение. Ибо от внятно самостоятельных чувств и последовательных о себе мыслей такой человек-мир, по Сургучеву, давно ушел.

И тогда писатель отдает свое психологическое предпочтение сорокапятилетнему Илье Ипполитовичу, заодно перенося на него нагрузку осмыслить этот почти убывший мир. Оттого отдает и оттого переносит, что, повторим, сам убывающий в небытие человек-мир не способен уж, согласно писателю, ни к переживанию, ни к самодеятельной, выслеживающей это переживание рефлексии. Но поскольку, вслед автору, Илья думает об отце вчуже, у него, недоумевающего и умственно растерянного, живого сопереживания отцовской душе не выходит. То есть не выходит ничего проникновенного, кроме обще философских рассуждений на тему жизни и смерти. Разве что ненадолго приходит к нему странный страх, внушенный непонятным, хитро усмешливым отноше-

нием отца к собственной смерти. «...Илья быстро как-то, чрезмерно тихо, почти шепотом спрашивает: — А ты разве не боишься? — Нет! Хгы! Хгы! — В Бога веришь? — Нет! Хгы! И отец и сын — молчат долго... Илья смотрит в хитрое лицо отца, смотрит долго широко открытыми глазами, не шевелясь, и в него вселяется страх. А старик уже дремлет». Но это единственное в рассказе место, где, пусть совсем на мгновение, пусть малым совсем, но тяжким краем проступает сквозь внешнее внутреннее. Приходит откуда-то из темных стариковских глубин. Сквозь лицо душа. Сквозь вид — сущность.

Правда, вскоре — под влиянием плотского впечатления и чувства жизни, которое, в свою очередь, успокаивает душу и ведет ее к степенным философским умозаключениям, — страх из души Ильи Ипполитовича уходит. Уже преодоленный, а потому бессильно чуждый, страх этот преображается в покой и используется как материал для постройки такого вот размышления: «И вдруг перед глазами Ильи в другом свете проходит смерть отца и вырастает прекрасный, зверино радостный образ Василисы (деревенской бабы, что обихаживала отца. — *В.Х.*). И в душу входит ясновидящий, молитвенный покой. И удивительно покойно, торжественно спокойно проходит мысль: "Пусть ничто! Да, — только ничто! Но пусть жизнь пройдет полной и нужной, и тогда ничто будет — желанным и нужным. Пусть ничто — есть ничто!" И Илье Ипполитовичу легко». Возвратившейся интерес к естеству жизни целиком перекрывает и сводит на нет пробудившийся было интерес к таинству смерти. Гасит явившийся лишь на миг порыв к слежению за путями, которыми — сродными с путями веры — человек близится к Богу. Герой же Толстого — Илья Ильич Головин — избавляется от страха смерти, преодолевая страх жизни. Полновесный плод этого одинокого труда преодоления — свет вместо смерти — ему приносит самоё беспощадное и разборчивое внимание к путанице убытия из жизни.

И здесь возникает одна догадка. Сургучев как писатель иного литературного времени — времени, теряющего пытливость к внутреннему человеку, — обходит (вернее же, отводит от себя) порыв понять смерть как проблему индивидуально одинокого бытия. А отказываясь от смерти как проблемы, неприметно преображает ее в одну из упрямых тем *жизни*. И таким образом снимает и сам вопрос, ставя онтологическую философию смерти в прямую зависимость от социальной этики, то есть от сознания «полно и нужно» проживаемой жизни. Оказывается, что страх смерти — страх «ничто» — успешно снимается отчетом о плодотворно протекшей жизни. Более того, именно и только в этом случае это самое «ничто» становится и «желанным и нужным».

Так «чеховский» мотив душевной опрятности и социальной значимости «полной и нужной» жизни замещает собой мотив «толстовский», где трагизм индивидуального бытия — как субъект самосознания — каждый миг является истиной.

Продолжая уценку отдельной человеческой жизни, но не оставляя стремления «вызнать смертные чувства» уходящего человека, время, а вместе с ним и литература, все тверже смещают направление своей любознательности. Смещают вовне — подмечая, например, недоумение умирающего человека, заметившего отлет самых обиходных вещей. Человека обескураженного и ошеломленного не убыванием души, а исходом вещей, чередой шествующих из доступной явности в

недостижимую мнимость. Словно углубляться или содержательно уподобиться миру, навсегда уходящему из жизни в смерть, уже ни к чему, да и недосуг.

Здесь, имея в виду не только литературную осанку, но и общекультурную стать времени, ужесточившего свои — и к жизни и к смерти — чувства, стоит сказать о некоем общем нарушении всего обозримого вещного мира человека. Нарушении, распаде и подмене прежде непреложного порядка, понятного состава и стойких ритмов ритмами рваными, составом, зачастую случайным и порядком неустойчиво валким.

Этот продолженный временем сбой, «успешно» проявив себя в годы Первой мировой войны и двух, беспросветно кромешных для России обвалов (революции и гражданской бойни), перекинулся, не переводя дыхания, в десятые — двадцатые годы двадцатого века. Так, русский авангард в живописи не только сопровождает отчуждение мира вещей от мира человека, но, заметно это отчуждение поощряя, его же, собственно, и воплощает. Вещи в работах того же Шагала становятся летучими, легко теряя привычное место и форму. Или, как у Экстер, Ларионова или Гончаровой, разлагаясь на вызывающе динамические сочетания ущербных плоскостей, становятся не только неузнаваемыми, но и совершенно перерождаются.

Подобные смещения происходят и в литературе. Спустя почти сто лет (1919 г.), прошедших со дня выхода «Шинели», время — в соавторстве с русским формализмом — сподобилось знаменательного итога, создав другую, более сообразную своей эстетике и своему жесткому нраву, повесть — статью Бориса Эйхенбаума «Как сделана "Шинель"». Чем окончательно закрепило, культурно обосновав и оформив его в «прямолинейно-блистательной этой работе» (Шкловский), фатальное отчуждение человека не только от вещи, но и от тайны собственной души.

В подобных, подневольно близких отношениях со временем оказывается даже такой романтически чувствительный ко всему внутри человека происходящему писатель, как Юрий Олеша. И он не избегает жесткой иронии времени, смягчая ее, правда, причудливо образными метафорами. Но продолжением его смягченной иронии зачастую оказывается траурная грусть по участи современной человеческой души. Как, скажем, в «Зависти». Или в книге спокойного, едва ли не умиротворяющего пессимизма «Ни дня без строчки», где касательно времени и тяжких с ним отношений есть такое вот признание: «Уже почти не о чем писать. Я, конечно, мог бы писать романы с действующими лицами, как писал Лев Толстой или Гончаров, который, кстати говоря, порывался уже в неписание, но мне делать это было бы уныло. Время тлеть».

Рассказ Юрия Олеши «Лиомпа», написанный в 1927 году, всем своим метафорически «подвижным», так сказать, изобразительным составом вполне соотносим с картинами Марка Шагала с их прихотливым миром стронувшихся с места и вольно парящих вещей. Но с другой — драматической — стороны, он словно развивает до густоты живописи мотив распада вещного обиталища человека, лишь акварельно намеченный у Сургучева.

Начать с того, что Олеша, тоже пользуется приемом откровенно философским, но, в отличие от предшественника, применяет его явственно внешне и бесхитростно символически. Однако, сопоставив, подобно Сургучеву, жизнь в поре

и жизнь на исходе, Олеша обнажает этот прием уже предельно. В малом пространстве комнаты он почти вплотную сближает здорового ребенка и тяжко умирающего взрослого, чтобы тут же развести их. Развести глубоко и необратимо: одного в обыденно временную жизнь, другого в обыденно же неминуемую смерть. Развести, чтобы показать и коротко, бесповоротно высказаться о нескончаемой заурядности, монотонной повторяемости как человека, так и всего с ним происходящего. Постепенная утрата человеком вещного мира не есть, по Олеше, его уникально личная трагедия — то же самое в положенный срок произойдет и с нынешним младенцем и другими многими, «коим же несть числа».

И взгляд этот не только сторонний, он к тому же и смиренный, и цинический одновременно. Ибо если для Пономарева (героя рассказа) вещи исчезают, то для ребенка они, пока еще даже безымянные, только нарождаются и обильно плодятся: «Мальчик только вступал в познавание вещей. Он не умел еще различать разницу во времени их существования». Но и возникают и разрастаются вещи для того, чтобы, в конце концов, так же постепенно и безвозвратно кануть. «С тоской смотрел Пономарев на ребенка. Тот ходил. Вещи неслись ему навстречу. Он улыбался им, не зная ни одного имени. Он ходил, и пышный шлейф вещей бился за ним. — Слушай, — позвал ребенка больной, — слушай... Ты знаешь, когда я умру, ничего не останется. Ни дерева, ни двора... я заберу с собой всё». Выходит, полнота жизни и полнота смерти как событий заведомо писателю внешних могут быть исчерпывающе измерены (и измеряются-таки) полнотой прилива или отлива вещей из обихода человека. Вещи становятся не только эмблемами и знаками, они замещают собой суть, заполняют пространство внутреннее, душевное, ставя его в жесткую от себя экзистенциальную зависимость.

Символически сопоставляя старика и младенца, Олеша сторонится проникнуть внутрь переживания героя еще отчетливей, еще ярче, нежели Сургучев. Он отчуждается от соучастия в них, уходя путем литературным, косвенным и странным — путем выпуклых гротескных метафор. Путем, на котором взгляд сторонний, ироничный и примечающий явно предпочтен взгляду причастному, горькому и проницающему. Еще раз оговорюсь. В рассуждении этом никоим образом не подвергается критическому сомнению собственно художественные достоинства прозы Юрия Олеши. Достоинства эти, особенные именно барочным изобилием видимого писателем мира, — явление творчески необходимое, достаточное и непреложное.

Герой Олеши — это герой времени, предельно к человеку изменившегося внешне и продолжающего, в сторону равнодушия, стремглав изменяться и внутренне. Он тягостно растерян мыслью, обнаруживая в мире несообразность именно внешнюю, а логику своих отношений с миром вещей находя напрочь порушенной. «...Я думал, что глаз мой и слух управляют вещами, я думал, мир перестанет существовать, когда перестану существовать я. Но вот... я вижу, все отворачиваются от еще живого меня. Ведь я еще существую! Почему же вещи не существуют? ...и только имена их... А что мне с этих имен?» Эти рассуждения сходны с размышлениями толстовского героя. Но сходны лишь по внешним признакам вопрошающей рефлексии и по напряженному — и тоже, так сказать, лицевому, а не изнаночному — недоумению самих вопросов. Ибо в одном герое верховодит тягостное чувство тоски, а в другом исступленное чувство смятенного духа.

Да и предмет переживания у них несводимо разный: в одном недоступно тающие вещи, в другом трагически преображающееся бытие собственного «я».

И опять впору подчеркнуть: дело не в материи или доле писательского таланта и даже не в особой остроте психологического проникновения в душу персонажа. Дело во времени, которое удаляется от человека одинокого, стремительно обретая вкус к массе. Дело и в человеке, которого подавляющая соотнесенность собственно времени и собственно души утомляет нервной актуальностью своей настолько, что перестает интересовать вовсе. Потому и писатель этого иного времени предпочитает понимать смерть персонажа как «исчезновение» из его замкнутого прозябания знакомых вещей. И, наоборот, не пытается понять ее впрямую, то есть изнутри души, то есть сострадательно исследовать ее как убывающее, перестающее быть равным себе «я».

Есть в рассказе Олеши и еще одно, внутрисмысловое, сюжетно важное совпадение с толстовской повестью и, косвенное, с сургучевским рассказом. Речь о том, каково содержание мысли последних мигов, о том, что является каждому из героев в эти мгновения, и о том, что особенно выделяет в этих последних вопросах, видениях или желаниях сам писатель.

«На кухню проникла крыса. Пономарев слушал: крыса хозяйничает, стучит тарелками, открывает кран, шуршит в ведре...Тут же в голову пришла ему беспокойная мысль, что крыса может иметь собственное имя, неизвестное людям. Он начал придумывать такое имя. Он был в бреду. По мере того как он придумывал, его охватывал все сильнее и сильнее страх. Он понимал, что во что бы то ни стало надо остановиться, ...что в тот самый миг, когда придумается это единственное и страшное имя, — он умрет. — Лиомпа! — вдруг закричал он ужасным голосом».

Крыса дважды является и в рассказе Сургучева. Является вскользь, но выразительно — как вестник распада и смерти; как знак медленного опустошения жизненного пространства человека — и его, вместе с человеком, умирания. Является как давний знак вытеснения души смертью: «Ночью шумят мыши. В большом колонном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы. Старик не слышит». И еще раз, в самый миг смерти, будто множащимся эхом: «Где-то близко пробегает и шлепается крыса. Старик не слышит». В этой глухой безучастности кроется важное символическое отличие сургучевского героя от героя Олеши. Существенным оно кажется и для темы отражения времени в творчестве этих писателей. Уходящий из жизни старик ни пространство житейское, ни пространство душевное воспринять и слышать не может оттого, что устал жить и вникать в их требовательный шум. Оттого и сам писатель глядит на присутствие крысы рядом с умирающим как на явление обыденное и с невозмутимой находчивостью употребляет подобный символ в своем повествовании. Символ яркий, глубоко значимый, очевидно сопутствующий прояснению предмета, но все-таки символ.

Сургучеву как писателю, за Толстым следующему, пока еще продолжает быть интересной душа убывающего человека. Но писатель прежде всего следует своему времени и, почти отказывая в самовыражении самой душе старика, пытается участвовать в ней не прямым чувством, а наглядно косвенно, через душу сына: «К нему (отцу. — *В.Х.*) приходит Илья Ипполитович. Он опять нарочито бодр, но в глазах, уже усталых, тоскование. А в его бритом лице, в

сером английском костюме и желтых ботинках чуется почему-то большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться».

Умирающему же герою Олеши подобного наблюдателя не дано. Писатель обходится в рассказе без посредника. Линия переживания душевной драмы выверяется по символическим иносказаниям. Потому и знаками, оповещающими героя о собственной смерти, становятся происшествия, происходящие не внутри, а вне его и даже вне его достижимости. Эмблемой полного бессилия улетает модель планера, эмблемой смертного страха шуршит в сорном ведре крыса. Состязаются не переживания и чувства, а их метафоры и знаки.

Эмблемно густо окрашено и содержание последнего мига, разрешающего умирание и от жизни, и от страха. Оно сведено к исступленно искомому и в ужасе найденному напоследок имени обыкновенной подпольной крысы: герой знает, «что в тот самый миг, когда придумается это единственное и страшное имя, он умрет».

Таким образом, конец умирания, убытия, ухода обнаруживает себя абсолютно зависимым от найденного, придуманного знака, а не от живого смысла ухода как трагически бытийного действа. Примечателен в своей символичности и самый финал «Лиомпы». Умирающий Пономарев, на последнем уже издыхании, идет «забирать вещи». Это не удается — последняя увиденная им вещь, модель планера, улетела. Но одна вещь к нему, уже мертвому, все-таки приходит. Словно зная вместе с писателем, что убывший дорожил доступностью вещей как наиглавнейшим признаком жизни, «мальчик, шлепая сандалиями, побежал впереди. — Дедушка! Дедушка! — закричал он, — Тебе гроб принесли».

Так время, всегда отменно приспевающее к собственному интересу, все увереннее отдает предпочтение не трудному исследованию, а трудной игре метафор и символов.

И, наконец, последние миги убывающего в исход смерти человека, воссозданные в «Смерти Ивана Ильича»: «Жалко их (домашних. — *В.Х.*), надо сделать, чтоб им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. "Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?". Он стал прислушиваться. "Да вот она. Ну что ж пускай боль". "А смерть? Где она?". Он искал своего прежнего привычного страха и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет... Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось».

Здесь веское простое слово, непростая его связь с внезапно открытым, отважной правды, смыслом и сам этот смысл совпадают без зазора. А потому в объясняющих символах не нуждаются. Как постепенно, в нескором течении повести, перестают нуждаться и в «остранении». Ибо оно состраданием преображается в не странное, подлинно ясное участие в деле души одинокого человека. У Толстого хватало отваги несогласия, в том числе и со Временем.

Но вот... «Умер обыкновенный человек» — так начинается маленький рассказ-этюд Михаила Осоргина «Вещи человека». — «Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение... Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. ...Но он умер — и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним ».

Здесь уместно будет вспомнить личный, творческий и социальный контекст, в котором пришлось жить Осоргину, высланному из России в 1922 году на пресловутом «философском пароходе». Высланному — как распорядилось обновленное идеями социального обезличивания и культурного обесценивания *одного* человека время — безвозвратно, безнадежно и навсегда. Если же к этому общему явлению прибавить частные, глубоко душевные переживания изгнанного, оторванного от питательной русской почвы Осоргина как нераскаянно истового, действенного патриота, то становятся понятными и жанровый и символический смысл этого рассказа-плача, написанного в эмигрантском Париже в 1929 году. Непреходящая острота непримиренной осоргинской тоски по *руссейшим* (его слово) вещам насквозь пронзает не только новеллистическое, но и все его романное творчество, в частности роман «Сивцев вражек». И в этом смысле эмоционально и, что важно, словесно разнится от, скажем, романа другого русского писателя-эмигранта Ивана Шмелева «Лето Господне», в котором неотступная тоска уже преодолена и, который до верху полон радостью бытия и божьего света. И, не сдержавшись, добавим отчетливо кажущееся: само русское слово, которого потому свободнее и краше, то есть, богаче и многослойнее.

Возвращаемся к искомым знаковым переменам в обычае меняющегося «не по дням, а по часам» времени.

Зачин рассказа «Вещи человека» обещает как будто бы повествование об уже умершем человеке. Но первая фраза, как сразу же выясняется, никакого подробного жизнеописания не предполагает. Смерть здесь окончательна и воспоминаний о жизни усопшего (а тем более писательского соучастия в проживании его последних дней) не допускает. Нет здесь и предсмертного — судорожного ли, безучастно ли мнимого — общения человека с исчезающими, удаляющимися от него навсегда вещами.

Наоборот, у Осоргина смерть предстает как мгновенное рассеяние смысла принадлежавших человеку вещей, как их летучее превращение в «безхозяйный» хлам и ненужный мусор. Самого умершего владельца в рассказе нет. Есть множество — в том числе причудливо бесполезных — предметов и есть женская рука, перебирающая эти предметы, отпирающая ящики и открывающая коробки с вещицами: камушками, вышитыми бисером закладками, старой оправой пенсне... Здесь душа убывшего человека может быть осмотрена и легко понята через орнаментальность скопления вещей. Она же сама как таковая с ее живым мучительным миром предстает неудобной, то есть слишком взыскующей внимания, слишком непредсказуемой и слишком сознанием... не выносимой.

И словно само время — для того чтобы, нет, не понять, а уже истаявшее, уже отбывшее свое бытие души просто мерно обозначить, — перебирает спокойной, «особенно белой от каемки траурных кружев» рукой вещи человека и бездумно разрезает бечевку на пачке его пожелтевших писем. И этого ему (времени) оказывается достаточно для того, чтобы «он (человек) ушел в шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками». Движения руки и элегичны, и решительны, и пусты одновременно. Элегичность же — свойство и всего рассказа в целом. Именно она и размывает, растворяет его жанровые свойства, переплавляя их в долгую эпитафию, сложенную в жанре печального «стихотворения в прозе».

Вот и заканчивается рассказ на готически скорбной ноте. Но заканчивается не раздумчивым троеточием, а твердой, как последний ком земли, точкой. «Осколки храма стали мусором. Много раньше, чем белая рука решила их дальнейшую участь, — еще живя в материи, умерли в духе вещи человека».

Однако время людей движется не только вперед, но и вкруговую. И порой смыкает — как внешне похожие — не только жизненные, но и литературные формы, пытаясь уже на ином по крутизне повороте содержательно повторить однажды найденное. Так, спустя век с небольшим оно закольцевало тему «Смерти Ивана Ильича» повестью Александра Хургина «Возвращение желаний»)*. Закольцевало находчиво, щегольски небрежно и смело на такой формальной спайке настаивая.

Но, идя путями толстовской повести (и даже сургучевского рассказа, с которым «Возвращение желаний» тоже перекликается), произведение Хургина заботится лишь о внимательном повторении *формы* слежения за уходящим в небытие человеком. И не заботится о том, чтобы возобновить сущность и смысл этого слежения. Писателю словно в тягость соучастие в душевных трудах героя. Оттого и слежение выходит хотя и заинтересованным, однако ничем не затрудненным, словоохотливым и бестрепетно созерцательным. Оттого и сострадание писателя к своему герою содержательно не присуще этой повести. Погрузив героя в неприглядный быт и проницательно приметив в частной жизни общие проблемы человеческого бытия, автор слишком легко и уверенно о них философствует. Происходит это оттого, что само наблюдение и, тем более, описание даются зоркому писателю и без труда и с лихвой (если учесть многие, в том числе и откровенно физиологические подробности прозябания умирающего человека и докучного за ним ухода). Даются же они легко «по одной простой причине»: автор глядит на картину извне. Преимущество близости к персонажу безраздельно отдано домашним. Но эта родственная близость — во-первых, до оскомины привычна, а во-вторых, неизбежно досадно овнешнена.

На внутреннюю же, душевную, близость с героем писатель идти не хочет, верно предчувствуя ее многие нравственные хлопоты. А опасаясь хлопот, предпочитает снисходительно (ибо сторонящаяся сердца ироническая снисходительность — хороший тон времени), но, будем справедливы, все же пространно сочувственно размышлять. Однако размышляет он независимо, в одиночку — не вместе с героем, а вокруг или, в лучшем случае, вместо него; размышляет со стороны и привольно. А потому и воспроизводит безотрадные его дни, впечатления и рефлексию убывания со слишком уж «бодрым», слишком уж искушенным в иронии философским «реализмом». Писатель сопереживает персонажу не здесь и сейчас, а отстранившись и давно: формы его авторского сопереживания ладно готовы загодя.

Да и сопереживание ли это? Грамматически настоящее время воспринимается скорее как убедительный прием, нежели как отражение сиюминутно застигнутого и сейчас проживаемого мгновения. Скорее как форма домашнего сказания о спокойно когда-то наблюденном и неспешно теперь философски толкуемом происшествии. Сказание, правда, полное вещных, бытовых и житейс-

* «Дружба народов», 2000, № 10

ки точных мелочей и деталей. Но мелочей безжалостных, а деталей натуралистичных. Таких, например, как освобождение упрямо застенчивого, но беспомощного старика, запершего себя в туалете: «— Надо сорвать крючок, — сказала жена старика. Светка дернула как следует, и дверь распахнулась. Старик Полухин почти лежал на унитазе. Головой опираясь на белый сливной бачок. И протягивал одну руку. Ноги были стреножены трусами и не касались пола».

Повествование, ни разу ни на чем не споткнувшись, движется гладко, словно наизусть — без остановок, сомнений и колебаний; его ровное дыхание не пресекается ни на минуту. Однако неторопливо расстилая перед читателем свое полотно, оно не погружает его в психологическую глубь и явь, а представляет для созерцания лишь философическое, со стороны, свидетельство. Главным для писателя оказывается не внутренне дискретный мир уходящего из жизни человека, а раздумчивый или повествовательно беспрерывный к нему комментарий. Не участие в проживании каждого мига убытия, а пристальное, жесткое сожаление, с которым он извне рассматривает наружный мир тающего у него на глазах героя.

Особенностью же такого «распределения ролей» оказывается в повести прием «косвенной речи», с помощью которой автор этот мир разглядывает. Но прибегая к давнему в литературе — «толстовскому» пополам с «брехтовским» — приему, писатель так и оставляет героя в пределах «косвенности». Он не столько восчувствует внутренние монологи убывающего, сколько прозрачно исподволь толкует в них свои онтологические убеждения. Так герой оказывается нужным писателю косвенно, а не прямо — как объект обозрения, а не как субъект самостоятельной жизни.

Но поскольку внутренний помысел «Возвращения желаний» заведомо обращен назад, к Толстому, то, тщась скрыть *зримую* «объектность» своего персонажа, писатель пытается вывести его из времени общего и открытого — с тем чтобы поместить во время отдельное, замкнутое и субъектное. Но делает он это не постепенно и в чувствах тщательно, а поспешно и умозрительно. Озаботясь спасти героя от равнодушно большого времени, а себя от упреков в равнодушии к «маленькому человеку», писатель прибегает к размышлению о двойственной природе времени: «И еще реже...стал он (старик Полухин. — *В.Х.*) выходить из своего времени в общее... Но то, что у него есть свое время, по-настоящему понял он лишь недавно. И у каждого человека оно есть — время, которое принадлежит только ему, а другим не принадлежит. Но в старости это "мое время" становится безраздельной собственностью, попадает во власть человека, прожившего его... Наверно, поэтому старику Полухину легко вспоминалось все. То есть не вспоминалось. Виделось. Что лишний раз подтверждает гипотезу о замкнутости личного человеческого времени, о временном круге старости».

Но в этих и многих дальнейших (об отсутствии страха, например, и присутствии, наоборот, покоя) рассуждениях повести на темы «своего» времени как раз и проглядывает, неотступно диктуя писателю свою волю, время большое, общее и безразличное. Проглядывает в них и — скрыто полемически заостренная против тайной сокровенности толстовской повести — намеренно распахнутая откровенность повествования, которую только подчеркивают пространные (и вполне беззаботно фаталистические) умозаключения писателя на темы

жизни, смерти, времени и личного бытия. «Когда время, идя вперед, уходит и остается сзади, а ты... тоже идешь вперед, шагая в ногу со временем, прошлое от тебя все удаляется... Потом ты останавливаешься и уже никуда не идешь, а стоишь в ожидании. И тогда время — твое время — не может идти как прежде, поскольку получится, что оно тебя бросило и пошло без тебя. Кстати, общее время так и поступает».

Но в какой-то момент повести к писательскому бесстрастно рассудительному наблюдению за персонажем примешивается житейская, горькая жалость. И тогда, вместе с охладевшим к человеку временем, писатель принимается снижать, травестировать большие темы, вводя их в рядовой обиход тем повседневных, наравне с желаниями старика поесть сыру или некстати, но самостоятельно полностью одеться в пиджачную пару. И, кажется, именно в намеренную, усмешливую противоположность Ивану Ильичу героем Хургина движут не страх смерти и благо духовного преодоления этого страха, а гротескно мелкие желания и воспоминания всей своей без остатка и добросовестно отданной социуму повседневной жизни. Оттого и уходит его душа не сквозь свет — к Богу, а возвращается памятью к темноте материнской утробы и мигу собственного рождения.

Именно в таком переводе стремления и хода повести с путей, ведущих к выходу из страха смерти в свет, на пути, ведущие к входу в безопасную темноту первоначала жизни, и содержится в свернутом виде отклик нынешней словесности на безразличие нынешнего же опасного времени к событию смерти человека. Отклик этот по всем почти приметам совпадает с состоянием неотступного «страха жизни». Вот и пытается писатель, ведя своего героя окольным путем, от этого самого страха его укрыть и от пренебрежения «общего» времени оберечь. Укрыть в самый спокойный приют — приют «детского места» и оберечь в укромности другого времени: совершенно отдельного и совершенно «своего».

«А он был в сознании. Он пытался вспомнить. Что вспомнить? Он не знал. Знал только, что ему нужно что-то вспомнить. И вспоминал. Вспоминал всё не то. — Я тебе сыру принесла, — сказала жена. И услышав слово принесла, он наконец вспомнил. То, что хотел... с глаголом «принесла», он вспомнил момент своего рождения. А вспомнив, умер. Потому, что больше вспоминать ему было нечего».

Тем и заканчивается эта нынешняя повесть об уходе, убытии, умирании и смерти отдельного человека. Как будто просто закруглился ноль.

Хочу напоследок подчеркнуть: разговор о собственно филологических достоинствах рассмотренных произведений остается за пределами статьи, но сами эти достоинства никакому сомнению не подвергаются. Сказанное в доброй мере относится и к повести Александра Хургина.

P. S. Есть в анналах человеческой культуры одно безотрадное напоминание: вы думаете, время проходит? Безумцы! Время стоит на месте: проходите вы!. Но время, даже оставаясь неподвижным, все равно сохраняет и несет на себе все оставляемые *проходящими* или оставленные *уже прошедшими* отчетливые следы. А обрастая этими следами, как листьями, время начинает медленно, но неиз-

бежно вочеловечиваться. Когда же вся эта масса малых человеческих следов становится, наконец, критической, она, словно сплавляясь в некую однородную материю, становится большой точкой зрения времени. И потому участливость или рассеянность внимания времени к человеку зачастую определяется содержанием тех нравственных вложений, что сделал в него человек. Проводником же, посредником между человеком и временем является культура, в частности словесность. И все, что человек ей для отдания времени передоверяет, она исправно по назначению и несет. Другого богатства у литературы нет.

О литературе можно говорить (и размышлять) по-разному. Можно написать диссертацию, можно — эссе, статью, памфлет. Можно написать многостраничную биографию писателя, а можно обойтись двухстрочной аннотацией. Дело, в конце концов, не в жанре — а в том, насколько глубоко и точно будет охарактеризовано рассматриваемое явление.

В нынешнем выпуске «Континента» мы помещаем сразу два материала, посвященные прозаическим опытам писателя, известного под именем Б. Акунина. Один — статья американского публициста Л. Арона, выполненная в традиционном аналитическом духе и обращенная не столько к самим романам Б. Акунина, сколько к проблеме русской интеллигенции вообще. Поэтому мы и поместили ее в публицистическом разделе «Россия и мир»

Второй текст — литературная пародия Славы Сергеева, который пробует — и весьма, как нам кажется, эффектно — ответить Б. Акунину, вступив в игру на его же поле. Дополнительным оправданием эксперименту Сергеева, если подобный шаг вообще нуждается в оправданиях, служит то, что в эпоху, куда Акунин помещает своего главного героя Фандорина, пародия служила частым аргументом в литературных спорах. Так что помимо всего прочего наш автор как бы апеллирует к духу времени, который, как убеждают нас многочисленные поклонники творчества Григория Чхартишвили, является чуть ли не главным действующим лицом фандоринского цикла.

И еще — в защиту *не слишком серьезного* подхода к литературным артефактам. *Всерьез* разбирая идейную составляющую акунинских романов и выявляя в ней позитивную тенденцию превращения интеллигенции из деструктивной силы в конструктивную, способную положить себя в основание новой российской государственности, наш *серьезный* заокеанский автор как будто нарочно не замечает «мины», заложенной в псевдониме автора. И потому не задается вопросом — а стоит ли доверять *таким* программам, если они опубликованы под именем, отсылающем не к кому-нибудь, а к самому родоначальнику анархизма? Даже если предположить, что выбор псевдонима — это *просто* игра.

Право ответа на этот вопрос мы, редакция, смело оставляем за собой.

Слава СЕРГЕЕВ

ТАЙНЫЙ АГЕНТ, ИЛИ КОРОНАЦИЯ (ВСЕГО НОВОГО)

роман-коктейль

Предисловие

Эта потрепанная папка случайно привлекла наше внимание в отделе рукописей одной провинциальной библиотеки.

«Дело было летом, в июле, когда пышная листва заглядывает в окна присутствий, не давая чиновникам толком работать, а зной и мухи не позволяют оставлять на балконе клубничный компот и банки с огурцами

...Какой компот, какие огурцы?!. Или там желе из смородины...»

Этот пожелтевший лист лежал сверху.

Наш знакомый библиотекарь, провинциальный интеллигент и книгочей, за чаем с вареньем на тихой улице в районе исторического центра города Н. сказал нам, что компоты чудесно варит его теща, да в таких количествах, что девать некуда, и хорошо — на таких женщинах, на неспешном жарком лете, да на фруктовых компотах, говорят, от века держалась Россия. Ну, а папка...

Папка попала к нему в библиотеку недавно, из местного спецхрана, перед визитом столичной комиссии, когда особисты спешно сбрасывали всякий хлам, копившийся у них десятилетиями, со времен реквизиций и великих чисток прошлого века, стараясь показать высокому начальству, что и они тоже не отстают от времени.

Они передали ему папку со странными сопроводительными словами:

— На, может, пригодится?..

— И, как всегда, на «ты», — посетовал наш провинциальный друг.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Пролог

Был чудесный зимний день 188... года. Все цвело в Поднебесной под пристальным взглядом Обер-прокурора Священного Синода, да ниспошлет Господь ему 10, а лучше 20 тысяч лет жизни! Территории, ремесла, промышленность, образование, музы, науки...

Возок Его Высокопревосходительства товарища министра юстиции сворачивал с Большой Никитской на Малую под звуки гармони, вой сирен, блеск солнца на зимних пейзажах Б. Кустодиева и крики «пади, пади!».

Как вдруг — взрыв!..

Ей оторвало руки, Ему голову, а одного очень достойного господина вообще — съели живьем.

Глава 2. Эразм

Мефодий Ксаверьевич, кряхтя, сел пить чай.

Шел снег.

«Империя, милостивый государь, древо, и уход за ней должен быть соответствующий, нежный, но без подхалимства и азиатчины...» — продолжил секретарь чтение последнего романа модного автора, г-на К. Ропоткина, вопреки своей инсургентской фамилии, по иронии судеб, человека достойного и благонадежного. Хотя и не без осторожной фронды.

— Впрочем, кто нынче без фронды, — подумал Мефодий Ксаверьевич, — мода... — и недовольно остановил секретаря.

Слава СЕРГЕЕВ — родился в Москве. Закончил МИНХ и ГП им. Губкина, четыре курса учился в Литературном институте им. Горького. До 1994 г. работал геологом в системе Академии наук СССР и РАН. Постоянный автор журналов «Дружба народов», «Новое литературное обозрение», «Континент». Живет в Москве.

Этот секретарь был милый молодой человек, немец из бедных, приятной наружности и большая умница, сын старого товарища Мефодия Ксаверьевича по Пажескому корпусу, разорившегося банкира Ивана Пандорина...

Эразм Иванович, если полностью.

— Странная фантазия была у Ивана Феофилактыча, — снова мельком подумал полицмейстер, — назвать сына Эразмом...

Однако к делу.

Настроение Мефодия Ксаверьевича было испорчено. Опять взрыв. Который за последние полгода? Пятый? И это уж ни с чем не сообразное людоедство. Не оставили даже мундира! Прибрали всё подчистую!

Наверняка балуется молодежь, причем из хороших фамилий, — подумал Ксаверий Феофилактович. — С жиру бесятся, все у них есть, а вот поди ж ты!..

Молодой секретарь в отдалении почтительно ожидал распоряжений...

Прошло десять лет.

Глава 3. На презентации

— Господа, позвольте представить!.. Пора.

(Князь, довольный, обвел глазами собравшихся.)

— Последнее достижение отечественной мысли! Потомственный дворянин, защитник престола, просвещенный патриот, воин и интеллектуал, самурай, мизантроп и стратегически мыслящий полиглот, — князь сделал паузу... — надворный советник Эразм Пандоринский — Пандорин!

— Аплодисменты, господа!..

— А сделан (тут князь, как мне показалось, растерянно улыбнулся, но — не утверждаю, место, которое мне досталось, было далеко от сцены) — сделан из папье-маше.

Что тут началось.

И аплодисменты, как хотел князь, и поклонники, причем, заметьте, не хухры-мухры публика собралась, цвет столичного общества, можно сказать, сливки-с! всё писатели, политики, как нынче говорят, *бизнесмены*... И журналы наперебой просят интервью, и издатели, один другого солиднее, суют визитки и рокочут: если вдруг, мон бон, мемуары... — просим к нам, гонорарий высокий, разумеется; и дамы, одна другой прелестнее, веером его по руке — вы почему сегодня не у меня?..

Ох уж эти наши дамы...

И BBC и CBS.

Словом — аншлаг...

Радостно за Россию, за нашу литературу.

Да...

Такой знаете, молодой, а виски седые. Говорят (позвольте посплетничать), он поседел после того, как его буквально ударило по голове деревянной ногой его невесты.

Ну это, разумеется, мрачная шутка — насчет деревянной. Нога была совершенно настоящая, причем (если это слово уместно в столь драматических об-

стоятельствах) совершенно прелестная с виду. Жаль, наш великий поэт не дожил до того печального момента, он бы соответствующее место в своем «Онегине» тут же бы и переписал. Я уверен.

А нога буквально свалилась на Эразма Ивановича с неба — после взрыва.

Да-да, неслыханное злодеяние...

Негодяи прислали бомбу по почте. И попробуйте после этого сказать, что мы отстали от прогресса. На дворе 188... год, а наши мастера уже собирают адские машины, умещающиеся в небольшом пакете. Воистину, подкуют блоху.

Шельмецы... Только это и умеют.

Г-н Пандоринский уцелел только потому, что погнался за каким-то мазуриком из нигилистов. Защитник отечества всегда на работе!.. Увидел карбонария в окно (тот как раз куда-то проезжал в карете, какова наглость, средь бела дня!..), все бросил, невесту, гостей, пакет, выскочил как оглашенный... Стой! Стой!

Родственники, бывшие там же, прямо переглянулись, *мда...* мол, *нашла...* странный какой-то...

Тем и спасся. От дома ее папеньки, известного негоцианта, остались одни руины, а от Лизаньки и ее мексиканской собачки — ошейник, хвост, разорванное белое платье, да вот еще эта злополучная нога. Причем, представьте ужасную подробность (какая, пардон, извращенная фантазия у «авторов» теракта, я лично уверен, что и это было подстроено): именно на этой ноге у барышни в интимной части — было тату. Господин Пандоринский как увидел это тату, так тут же упал в обморок, натурально, хлоп — и все, а встал уже с седыми висками.

Такая вот история.

Но, впрочем, что я, не будем о грустном. Да, я же говорю, такой, знаете, чудесный молодой человек, полиглот, скромняга, еще, говорят, очень увлекается Востоком, ну да это ничего, сейчас это модно...

Кстати, кто-то мне сказал, что на самом деле, его зовут не Эразм, а Эраст, и даже вовсе не Эраст, а вообще — это переодетая женщина, провинциальная монахиня, по имени не то Хеврония, не то Малания!..

Бред, конечно, но я решил на всякий случай записать, чтобы нашим бездельникам-аналитикам было о чем подумать...

Глава 4. Балканы

Из частного письма. Без названия

И был вечер, и было утро. И еще.

Не зря старики говорили, что время и дорога лечат. Помните, как нашего героя контузило оторванной ногой невесты, каким он был во времена русско-турецкой войны?

Да его просто не было! Был человек, и нет человека. Один силуэт остался. Силуэт выступал время от времени с какими-то разоблачительными монологами при неловком или сочувственном молчании окружающих, а остальное время пропадал неизвестно где.

Вместо него весь роман отдувалась какая-то курсистка по имени Вера. Но не Павловна. Чуть ли не Осман-пашу ловила сама, без всякой посторонней помощи. И еще бы немного — поймала!

Можно было бы даже так роман назвать: «Верочка», а не городить огород про шпионов, но из уважения к г-ну Пандорину не стали.

Ничтожество-муж увез ее от силуэта Пандорина в Москву, кушать булочки в «Kofe Bean», так ничего не заметив. Впрочем, не заметить было немудрено. Потому как Силуэт даже в финальной сцене не пророронил ни слова. Траур, что вы хотите...

Газеты снова могут писать о точной стилизации. А поезд пойдет считать километры.

...Так вот, спешу вас обрадовать! Отошел наш батюшка, отошел свет ясный. В смысле воспрял, тьфу ты...

Пять лет пропадал неизвестно где, говорили, был в Африке, путешествовал по пустыне Сахаре, жил в джунглях с дикой негритянкой и — прошла его хандра. Помогла негритянка.

Вернулся щеголем, привез обезьяну, китайца-слугу, негритянку, мопса, остановился табором в «Метрополе» и — надо же такая удача (то есть что я говорю... несчастье) — аккурат в это время, в той же гостинице умирает герой Плевны, народный любимец, генерал С. Кобелев ...

Но — все по порядку.

Глава 5. Шпион

Перевод с немецкого

Поразительная, хотя и банальная вещь — до чего русская публика падка на сенсации...

Докладываю обстановку. Шифр А-2. С чего все началось.

Это было года три назад. Вся Москва была взбудоражена. Некто наводнил столицу возмутительными анонимными брошюрами, содержания не то что антиправительственного, нет, даже наоборот, но весьма ироничного.

Несколько умелых статей в газетах только разогрели страсти. Все гадали, кто скрывается за псевдонимом. Кто-то сказал, что это лидер думских кадетов, кто-то подозревал К.Р., а кто-то вообще сказал, что это сам издатель балуется. А тут еще случилось, слава богу, победоносное завершение балканской кампании и — я уже говорил — в матушку Москву вернулся её герой, красавец — генерал С. К.

Разумеется, чтобы сохранить дипломатический иммунитет, я, так сказать, употребляю генерала под псевдонимом. А то ведь обвинят, чего доброго, в непочтении к отеческим гробам!

Да...

У нас ведь как — раз генерал, победитель, народный любимец — значит, сразу в Наполеоны. Забегая вперед, скажу, что именно это его и подвело. Ведь сколько завистников, нашептали Государю, так мол и так, армия его любит, народ тоже, не то в консулы, не то в проконсулы метит, а то и, не приведи Бог, в Буонапарты, Ваше Величество. А дальше дорога известная.

По приезде в Москву пошел генерал со товарищи до ресторации и там раз — и объелся грибков... Два — и поехал к известной даме-камелии... Три — откинул, по просту говоря, прямо у нее коньки.

Sic transit gloria mundi.

(А мой информатор в гвардии, достойный человек, патриот... — в общем, можно верить, передавал, что... чуть ли не сказать — на ней).

Позор... Герой турецкой компании.

Кто это сказал? Вяземский о Пушкине? Великий человек, а пропал как заяц. Сколько таких в России было, сколько еще будет.

Было бросились звонить по докторам — да куда там, все было кончено. Дама в истерике, но к ней, хе-хе, какие претензии...

Официальной версией стало: «сердечный припадок».

Прямо скажем, если рассуждать отвлеченно, заинтересованные в гибели генерала лица видны, что называется, без монокля.

Кстати, в тот же вечер на party у графини В-ской молодой офицер из свиты генерала, грузинский князь А-дзе вызвал на дуэль одного чиновника по иностранным делам, некоего Б-на., посмевшего намекнуть на обстоятельства смерти генерала.

Б-н и А-дзе были доставлены в участок, на party получился скандал.

(Ох уж мне эта южная истерическая горячность плюс готовность «защищат» чужую честь. Простите меня, лучше бы дома порядок навели. А то еще наш бедный классик писал: проехать пять минут на извозчике, от скверного еврейского ресторана до сомнительных бань, якобы турецких, — серебряный рубль с полтиной!.. А взятки? Говорят, надо давать, даже чтобы заплатить за мобильный телефон! И дрова в гостиницах кончаются чуть не каждый месяц!.. Но — не буду отвлекаться...)

И неизвестно, что было бы вообще, если бы не наш г-н Пандоринский.

Никто не обратил внимание на внезапность кончины героя, никто, ни полиция, ни жандармы, у нас как: ну умер и умер, и ладно, как говорится, а наш герой только на свечу догоревшую посмотрел и говорит: па-а-звольте!..

Не стану утомлять подробностями, скажу лишь, что рискуя жизнью, г-н Пандоринский выяснил, что смерти генерала желала вся Европа: и в Лондоне, и в Париже, и, разумеется, наши старые друзья в Вене и Брюсселе, а также в Нью-Йорке, Риме, Стамбуле, Катманду и Копенгагене.

Особенно отличились венцы.

А чем уж генерал не угодил индейцам и тибетским ламам, не могу и предположить.

Все против нас!.. Как всегда.

Впрочем, простите за вульгаризм, порешили героя — свои. И тоже «как всегда».

Зачем? Вы еще спрашиваете. На всякий случай!

Глава 6. Литература

Из книги интервью К. Ропоткина «Как я стал писателем»

«...А вот еще одна история. Вы только представьте.

Юная, чистая, красивая девушка отправляется за женихом в действующую армию. Случайно знакомится со знаменитым сыщиком, страдающим черной

меланхолией. Жених оказывается размазней и чайником, из-за его халатности срывается штурм Плевны. Гибнет 10, а лучше 20 тысяч наших солдат. После этого жених попадает в каталажку, сидит там до последней страницы, и, как автор, вы о нем можете больше не думать.

В отсутствие жениха с девушкой беседуют: знаменитый сыщик — из чистого альтруизма, иностранные корреспонденты — из галантности, бретер и бабник из вашего предыдущего романа — с целью вступить в половую, простите, связь. А также великие князья, граф Аракчеев, Самодержец Всероссийский Царь Александр Второй, но это всё второстепенные персонажи (тоже — из папье-маше) и роли не играют.

Откуда взялся бретер и зачем? Из Константинополя, проездом.

Зачем?.. Затем, что... А впрочем, это и неважно. Потом, страниц через 20, можете его мимолетно застрелить, вместе с начальником русской тайной полиции, попутно обвинив последнего в противуестественных наклонностях.

Бред? Бред. Но не велика беда, лучше скажите, мало ли сейчас бреда печатают?..

Потом девушка попадает на передний край, потом в Бухарест с восточноевропейским князьком (что они все без нас?! ничто!..), там скандал, ресторан, дуэль, потом опять на передний край, потом русские войска терпят поражение, чуть ли не из-за нее, девице становится стыдно, и ее приглашают сразу на аудиенцию к Государю. Здесь вы вспоминаете фильм «Корона Российской империи» и изображаете императора Александра ограниченным и усталым от жизни бонвиваном.

Хотя, впрочем, особенно не старайтесь, потому что публика все равно все съест, что вы ей ни предложите, и еще попросит.

Не волнуйтесь, совершенно не важно, если у вас в середине главы Самодержец Всероссийский начнет смахивать на полковника советской милиции, а в конце вообще превратится в картонный силуэт (опять ?!)... Эх, будь я критиком, я бы очень красиво назвал книгу о г-не Ропоткине: «Силуэты»... С субтитрами внизу — «Из-под глыб», а прогрессивная пресса все равно скажет, что от ваших книг «вкусно пахнет великой русской литературой».

Эх, сказал бы я господам-либералам, чем пахнет от моих книг! Написал бы большую статью, но мне лень, к тому же все опять подумают, что это такой пиар, стиль, парадокс в духе Паскаля и тому подобное, ибо наша прогрессивная критика, уж вы меня простите, похожа на глухаря в период его весеннего спаривания, она слышит только собственную песнь.

М-да.

Вообще, должен вам сказать, господа, я — большой лентяй. Иногда и романы надоедает писать.

Вы спрашиваете, что я делаю в таких случаях? Да ничего! Ха-ха-ха! Беру нитки, лучше всего белые, и — давай строчить через край!.. Так мило получается! Диалог к эпилогу, пейзаж к паровозу, Андреевский флаг на корму линкора «Маршал Ахромеев».

И ничего! Берут!..

Еще раз повторяю, главное — не стесняться.

Глава 7. Пожилая актриса

Но мы отвлеклись.

Как я уже писал, злоумышленники скрылись. Выяснилось, что все они воспитывались у некоей леди, англичанки по происхождению. Кстати, недавно видел недурную постановку на эту тему. Ее, эту леди, изумительно играла одна некогда прима, красавица, а теперь просто — одна пожилая актриса. Река времен, как сказал поэт, что вы хотите. Пандорину, узнавшему эту страшную тайну (я про воспитанников), дали понюхать эфир, чтоб отключился. Но он досчитал до ста, включил самолюбие, выключил самосознание, сделал пару дыхательных упражнений по системе йоги (их сейчас все писатели делают) и застрелил одного гнусного типа, иноверца по происхождению.

Перед тем произошла отвратительная сцена — главный предатель погнался за нашим Эразмом, но, наткнувшись на острый сук, испустил дух.

Стена отодвинулась, и леди-англичанка зловеще засмеялась:

— Некий Фрейд из Одессы велел вам кланяться! — сказала она.

Вообще — ох, и вредит же нам эта «владычица морей»! Причем, как-то мелко... То пудру старую подсунет, то роль отберет.

Ибо хоть и «владычица», а все равно — дама.

Глава 8. Кстати

A propos, вы помните, конечно, книгу К. Ропоткина в тех местах, где он шутит по поводу модного сейчас буддизма.

Слуга-японец, сосредоточение на так называемых «чакрах», упражнения в каллиграфии и тому подобное...

Так вот, господа, наблюдая за объектом, я вдруг обнаружил поразительную вещь:

Он не шутит! Местами он абсолютно серьезен!..

Он действительно во все это верит!..

Оставляю свое открытие без комментариев.

И еще, о «литературе». Нужна экзотика. Дайте пару интервью на суахили, а лучше ни с того ни с сего вставьте куда-нибудь, в самое неожиданное место, хоть в диалог давешней курсистки Верочки и прогрессивного наследника азиатского престола, вдруг уличенного Пандориным в шпионаже, пару буддийских терминов.

— Так, мол, и так, сударыня, — печально говорит азиат курсистке, — а слышали ли вы что нибудь о... вечном возвращении? Нет?! А зря. Прелюбопытнейшая штучка-с!..

И так и смотрит на нее своими черными глазами, бесенок!..

Или пусть ваш герой обладает феноменальными способностями — типа: может угадывать любую карту, всегда вытащит заряженный пистолет, что-нибудь такое, а là этот жулик Копперфилд...

И так далее.

Это поможет потом при развязках трудных ситуаций, не надо будет долго мучиться с сюжетом. Случается что-нибудь сложное, а вы раз — и у него фено-

менальная реакция, два — и он видит в темноте, три — пьет шампанское, как лошадь. И тому подобное.

Глава 9. Повествующая о том, как воспитать благородного мужа

Очень хорошо также, если один из положительных персонажей, хоть сыщик, хоть епископ, а хоть и архиепископ, прости Господи, будет в прошлом богат и даже иметь привычку к роскоши, а ныне беден и прост, как церковная крыса.

Причем обязательно, чтобы богат был не сейчас, этого у нас, как известно, не любят, а именно в прошлом — вот будет настоящее комильфо. Трудно понять причины данного явления — почему именно в прошлом — но несомненно это является...

И, может быть, наша публика еще увидит.

Не могу сказать, но Россия несомненно...

(Далее неразборчиво — примечание редакции*)*

.....

.....

Также очень хорошо, если ваш герой периодически куда-нибудь удаляется. Начальство ему предлагает чины, почести, звания, даже сан!.. или, на худой конец, золотую цепь длиной в 12 сяку, а он вздохнет тяжело — и с печалью на лице попросит то ли дальнюю командировку, то ли приход поглуше...

Это выглядит черезвычайно благородно.

Вспоминаю также, как в какой-то американской фильме Арнольд Шварценеггер, победив машины, всех обняв, бросился в расплавленное олово — чтобы из случайно оставленной микросхемы Роберт Патрик и Компания случайно не воссоздали супергероя!..

Впрочем...

Возможно, я зря здесь иронизирую. Кто сказал, что наши авторы пасуют перед Холливудом? Не факт!..

Кстати, о Холливуде. Ходят упорные слухи, что по книгам г-на Ропоткина американцы собираются снимать фильму, из заграничной жизни. С какой-то ихней кинодивой в главной роли.

Но об этом позже.

Глава 10. Что сказать наместнику

Из перехваченнного письма — анонимной корреспондентке

А в наших модных журналах, мой друг, мою писанину назвали «красивой и стильной». Вы ревнуете, а по-моему, дама, написавшая это, дура (pardon) и невесть что обо мне вообразила... (И о себе, кстати, тоже).

Особенно забавно последнее определение. Ох уж эти наши «стильные» господа где-нибудь у метро, на Московском вокзале или в журнальном киоске на фабричной окраине, красочные фото на теннисном корте или светском «пати», среди продажных политиков, откровенной уголовщины и их разодетых в парижские шелка тамбовских марух...

Зрелище столь же жалкое, сколь и постыдное. Так и кажется, что ты в какой-нибудь Гватемале, Уганде, а то и того похуже.

Какой то журналистик тут как-то спросил меня — а что бы я дал почитать нашему Наместнику?

— Иван Иванычу? — с улыбкой сказал я, судорожно соображая, можно ли пошутить. Сообразил, что нельзя, и сказал с тенью иронии (так пока можно): Иван Иванычу я дал бы то-то...

Потом понес что-то о неизменяемой сущности власти, а сам подумал:

— Опять, боже мой, опять... Я опять их боюсь...

P. S. Представлял тут себе, совершенно абстрактно: переодеться в интеллектуала и — выступить по ТВ, причем выступить свободолюбиво, вот номер-то будет.

Этакий моноспектакль. И милость к падшим призывал. Аншлаги гарантированы.

Обнимаю Вас, мой друг...

Глава 11. Чайка. Ни больше — ни меньше

«...Он отомстил! Он отомстил!!!

За всех. За всех за нас, бедных...

А то : «застрелился Константин Гаврилыч, застрелился ...»

Сколько ж можно!

На — до — е — ло! Персонажи поочередно выходили на сцену и сбивчиво признавались в ненависти к Констанин Гаврилычу, а я скажу, на самом деле — я это поняла на середине второго дубля, т.е. действия, — к настоящему автору, страшно вымолвить, к ... господину Чехову.

Не зря, то ли в шутку, то ли случайно, на афише аршинными буквами — «конец комедии».

И то — сколько же им пришлось вытерпеть, бедным...Это что ж такое — 100 лет. 100 ! И ставят и ставят, и ставят и ставят...

Помилуйте, каждый заштатный театрик, каждый провинциальный режиссеришка норовят обязательно на этой пьесе, извините, отметиться. Как фестиваль — «Чайка». Открытие сезона — «Чайка». Премьера, где нибудь в Бразилии, — и опять «Чайка». Интерпретации, постановка частями, постановка в современных костюмах, декорациях и предметах — кто то даже поставил отдельной пьесой реплики повара и горничной !

Вы знаете, мон шер, я не верю во всю эту чушь, но нельзя же так перегружать астрал!..

Ну и занесло, конечно. Такие люди, актеры. Ясное дело — взрослый человек выбирает своей профессией кривляться перед публикой. Что с него возьмешь?

Судите сами : главный герой-то наш, наш бедный Константин Гаврилыч, в одном месте стал маниаком, а писатель Тригорин в него влюбился.

За что и убил. На почве ревности к доктору.

М-да... Оно, конечно, дань моде — однополая любовь, как писал классик — «люди лунного света», но все же, как-то это того, как-то слишком.

Хочу, кстати, заметить: дорогой мой, вы обратили внимание, что у нашего новоявленного Оскар-Уайльда почти в каждом произведении, пусть на эпизодических ролях, но обязательно присутствуют господа с, как бы это сказать... со странными наклонностями. Эти самые «лунного света». Говорится об этом как бы вскользь, но они — присутствуют.

Раз уж мы в прошлом письме заговорили о писателе Чехове, то мне эти персонажи напоминают (прошу прощения за дурной каламбур, но вы знаете мое отношение к русской классике — я перед ней преклоняюсь!..) гм, знаменитое ружье, которое, как известно, рано или поздно должно выстрелить : иначе зачем такой опытный беллетрист, как г-н Ропоткин, стал бы его вешать?

Однако этого не происходит.

Странно... Что интересно, ни один рецензент — ни один — об этом не написал. Испугались? Кого или чего?.. Наверное, ружья. Все, особенно вначале — деликатно промолчали. Ох уж эта политкорректность.

Но — и на солнце, как говорится, есть пятна. Неважно!

Особенно мне понравилось вначале. Выстрел, трах! бац! — и что вы думаете — на сцене появляется наш славный г-н Пандорин. Нет, шучу, шучу, не так примитивно — просто выяснилось, что доктор, представьте, ему дальний родственник. Вот она, эстафетная палочка культуры, о которой когда-то говорила поэту царскосельская муза. Так просто.

— А ну, — говорит наш герой (не муза), — давайте разбираться!..

И разобрался. Аж чучело сначала закрякало, а потом улетело. Мистика!..

Что помимо решения, так сказать, тактических задач, несомненно символизировало:

Всё! Конец «Чайке»! Больше ее — *не будет*!!!

P.S. Я сначала возмутилась, дорогой друг, на что руку поднимают! А потом подумала: и правильно. В конце концов, кто будет сейчас читать пиесу в журнале? Никто. А так — может, и прочтут.

К тому же, действительно, прямо просится: все у этого Чехова стреляются. То дядя Ваня, то... даже писать неудобно — Константин Гаврилыч».

Глава 12. Ключи к успеху

Заметки к историческому роману

Ну, вот и все. А камердинера, повторяю, надо будет обязательно назвать Лукичом. Кузьма Лукич, Лука Кузьмич, как-нибудь так. Вообще, я вам скажу, воссоздавать, воссоздавать с любовью и тщательностью...

Всех этих Фомичей, гоффурьеров, штабс-капитанов, горничных для гувернанток, поваров, юнкеров, все эти «пожалуйте», «благодарствую» и «никак нет-с!», весь этот пафос служения, разницу между «ты» и «вы» от начальства и самоотверженную любовь к Царствующему Дому...

Как «зачем»?! Это же наша история.

Писать, как чай пить, с расстановкой, отдуваясь, на хорошем фарфоре и чтобы до поту...

Но при этом вплетать, обязательно вплетать. Факты... Ведь мы теперь, увы, всё знаем... И до чего либерализм доводит, и про увлечение этим «вы», и про предательство окружения...

Кстати, тут недавно было по TV: оказывается, в Царском Селе сохранилось кладбище лошадей царствующей фамилии. Где каждая лошадь удостоена отдельной плиты. И та, которая Государя возила, и та, которая Принцесс, и та, которая дядю Императора... (Интересно, что скажет Ожегов: *дядя* — здесь с большой или с маленькой?)

Но мало того, при кладбище было, так сказать, пожизненное заведение, конюшня с полным пансионом!

Когда молодой диктор читал этот текст, голос его звенел от волнения. По разысканиям Государственного Эрмитажа выходит, что ни одна европейская монархия не могла себе позволить подобной роскоши!

А мы — пожалуйста!..

Но ведь дело, конечно же, не в роскоши. Душа, душа-то какая!..

Я, слушая эти News, прослезился. Атлантида, воистину Атлантида! Куда там Богдыханам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. Сударыня-барыня

Из частного письма

Всякое вино переходит в уксус.
Восточная мудрость

Устал.

Все говорят: пиши, пиши, пока масть пошла...

Пишу.

Но темп держать все сложнее. Нет-нет, да и собьешься с ноги. В общем воодушевлении этого конечно не заметят, всё будут говорить об изобретательности Умберто Эко и языке Достоевского, однако, получая в руки очередной пахнущий типографской краской том, нет-нет, а иногда и поморщишься.

Хуже всего эти подмигивания публике.

То военного министра назовешь его настоящей, нынешней фамилией, то по продаже «освященной» минеральной воды пройдешься, то актуальный указ Цезаря о свободе книготорговли воткнешь, как морковку в грядку, в 1894 год, рядом с Константином Победоносцевым и неким Бобруйским, серым кардиналом из выкрестов при нашем губернаторе.

Кто таков этот *Бобруйский*... — никто никогда не догадается, а уж причем тут свобода книготорговли, тем более. Просто так, к слову пришлось.

А то все газеты с ума посходили: ваши главные злодеи — все поголовно инородцы!.. — Вы *патриот*, мсье Ропоткин?.. — *Патриот*. Но — просвещенный. Т.е. вот, нате вам — этот самый Бобруйский, после Архиерея, самая большая душка! Ну что, сьели?!

Увы, ничего не поделаешь. Писать-то надо. Издатели не ждут. Сам Суворин почитай через день звонят и начинают издалека: ну, как дела сегодня? Сколько страниц?

Хочется бросить трубку, а сдерживаешь себя. Сам ведь сказал: коммерческий писатель. Теперь ничего не поделаешь.

Как говорят в народе, назвался груздем — полезай в кузов.

Ну и, конечно, от главного героя многое зависит.

Г-н Пандоринский-то ведь бросил нас, уехал в Америку, не выдержав подлости русской жизни, вместо него ко-продюссеры взяли какую-то даму, но дама, она, что называется, дама и есть!

Наша Россия не дамское место! Опыт всяких *миссис Марпл* здесь не подходит, менталитет не тот и места не те, и если раньше белые нитки приходилось употреблять от случая к случаю, то теперь на них держится, почитай, весь дом.

Но опять же, говорю, обязательства есть обязательства. Обещал Суворину серию — теперь изволь, отдавай хоть борзыми щенками...

И приходится отдавать — никуда не денешься.

Потом еще эти бесконечные «party». То один «club» откроют, то другой.

И всюду просют, как откажешь.

Вот и получается, что в суете начинаешь юлить и иногда вместо романа писать фельетон.

Глава 2. Конец агента

Перевод с французского. Отрывок

...Наблюдение предлагаю снять, дело закрыть.

— Но почему, что произошло? — спросите Вы.

Так и слышу Ваш спокойный, чуть глуховатый голос, вижу маленький стол, свет настольной лампы, а за окном начинающиеся сумерки, площадь, бульвар, огни, вывески, экипажи, панораму столь любимого мною города... Увижу ли его когда-нибудь? Бог весть...

— А ничего, — отвечу я, — ровным счетом ничего. Что деньги и слава делают с людьми, с любым, даже значительным талантом! Никакое Третье Отделение не сделало бы того, что произошло само собой. Наш объект мало-помалу превратился в обычного, хорошего, но — что греха таить — весьма среднего литератора. Плодовитого, но без звезд. Таких в старые времена называли крепкими профессионалами. Вот теперь и за «современность» взялся... Хм.

Все же странная штука — успех. Во всяком случае — у нас. Все оборачивается какой-то суетой. ТВ, синема, журналисты... — голова кругом. А душу, прошу простить, незаметно теряем.

У него даже появились последователи. Безобиднейший, кстати, очень милый человек, не то бывший химик, не то геолог...

Да. Вот Вы, mon général, какое-то время назад просили меня рассказать, о чем последние романы г-на Ропоткина, а я не знаю, что писать. О чем роман?..

Так...

Уезд. Богатая помещица. Юная девушка. Монастырь. Какой-то призрак смущает души... Щенки... Дама под вуалью.

Так...

В общем, прошу Вас доложить наверх: Шифр «В-3». Дело предлагаю закрыть. Г-н Ропоткин стал частью системы, пусть фрондирующей, но частью,

что в принципе обнадеживает: раньше это государство азартно лепило себе врагов, теперь оно делает не друзей, нет, этого нет и у вас...

Оно, с грехом пополам (причем, буквально), ищет коммерческих партнеров. Согласитесь, это обнадеживает. Наш герой (как здесь еще шутят — «гувернер», забавно, не правда ли, окрестили за обходительные манеры) может сделаться депутатом следующей Думы, может уехать за границу, может даже возглавить теневой кабинет, но — интереснее от этого — увы, — он не станет... Если даже предположить, что г-н Пандоринский примкнет к оппозиции нынешнему режиму и, невероятно: они выиграют выборы! Что от этого изменится в принципе? Ничего. Хотя они никогда не выиграют.

Согласитесь, это «ничего» как-то... не обнадеживает. Ни Европу, ни нас, персиян грешных.

Еще раз кланяйтесь от меня Городу, его мостовым, маленьким кафе, бульварам, паркам, набережным и аркам. Г-н Ропоткин сотоварищи утверждает, что когда-то это все было и у нас.

Не знаю — не знаю...

Конечно, все возможно, но лично я — сомневаюсь.

Москва — Санкт-Петербург
1861–2002

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Четвертый квартал 2003 г.)

1. Художественная проза

«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», «Урал»

К концу года — такое складывается впечатление — журнальная проза как будто выдохлась. Известно, что в критические периоды литература тяготеет к мелкотемью и сосредоточению на всевозможных частностях личной жизни. То же наблюдается и теперь: характерно внимание авторов **СЕМЕЙНЫМ САГАМ** и прочим **ПОРТРЕТАМ В ИНТЕРЬЕРЕ**. Большинство попавших в наше поле зрения текстов не выходят за рамки **БЫТОПИСАНИЯ**, выполняя роль в лучшем случае простого *зеркала*, в худшем — зеркала не столько кривого, сколько мутного и со здорово поврежденной амальгамой. Сколько-нибудь отчетливое отражение современника и окружающих его проблем узнать в таком зеркале довольно проблематично.

Одно из ***заметных событий*** в прозе сезона — повесть **Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»** («Наш современник», № 11). Случилась семейная драма. Жили себе и жили, люди не сильно далекие, но хорошие, кое-как выживали в трудные времена. Но раз пропала Светка, шестнадцатилетняя девочка, дочь. А когда нашлась, оказалось, что ее изнасиловал парень. Азербайджанец с рынка. Писатель растравляет язвы, входит в детали. Чтоб и читатель прочувствовал драму момента. Родители пытаются искать справедливость в прокуратуре, но скоро мать решает, что нет там никакой правды и все продажно. Не верит больше Тамара Ивановна в правосудье. Находит на нее мысль самой свершить суд. Да по максимуму. И, ни с кем не советуясь, Тамара убивает обидчика дочери. Вот такая история случилась в городе на Ангаре. А в связи с нею Распутин выкладывает свои мысли о жизни. В повести много авторской дидактики, стандартной риторики. Даже мальчишка Иван думает здесь, как сам В.Г. Такой юный старичок. Впрочем, симпатичный. Весь в автора. А у автора откровенная тенденциозность и неприятие новой жизни — даже в мелочах, как будто в ней одни пороки. Подспудно — страх перед кавказцами, их организованностью и силой. Живешь как бы уже почти в оккупации. Всех покупают «азеры». Не любит и не понимает Распутин эту свободу; одни от нее беды. Вот и героиня его — женщина твердых правил, традиционного воспитания. Жить, как заведено, — вот ее мораль. И горяча: не понравилось, что показывают по телевизору, — грохнула его об пол... Иной вопрос, что писатель не может скрыть от себя горькую истину: традиция и норма не выдерживают натиска пестрой новизны современного мира. Да и беда ведь послана семье в испытание, чтобы каждому лучше понять себя, сделать выбор и принять его последствия. И что? Ответ: убить обидчика. (А что будет с Иваном и этой Светкой — не подумала дура.) Автор, по всему, склонен

понять грешную Тамару и даже, пожалуй, оправдать ее. Да и «зал стоя устроил ей овацию». А по христиански — как? А неизвестно как. Разве что так: натворила — отвечай. И Тамара безропотно идет в тюрьму. И хотя эта повесть напоминает лучшее, что было у писателя — «Деньги для Марии», Распутин все-таки, как всегда, не умеет найти выхода, выйти на какую-то духовно емкую мысль и художественно ее воплотить. Женское отчаянье и безнадежность — вот что получается у него лучше всего. Тут дело не в историческом моменте, а в специфике душевной жизни автора. Есть у него и острота непосредственного переживания хаоса: «Как много страха, безумия, безнадежности!» Но нет и не было никогда прорыва в новое измерение жизни, в полноценный духовный поиск. Ближе к финалу Ваня отправляется с артелью строить церковь. Дело, конечно, хорошее. Но... Есть ощущение, что он едет потому только, что хватается за всякую всячину на пробу, наобум. Распутин заводит жизнь в тупики, но, кажется, не умеет выводить ее на простор. Впрочем, есть у него беспокойство, есть тревожность. Это уже немало. Люди не на месте. Людям плохо и они не могут согласиться с чем-то слишком мелким и пошлым, чего так много в окрестной жизни... Еще в повести много ярких подробностей. Забавно, например, как Иван в словах копается: что значит «бездна» да как называются первые огурцы. Или наблюдения за душевной жизнью героини: «Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, или вдруг окрыляющееся, распирающее ту же самую грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут. Песни она слышала из себя не однажды, и все того же тонкого тоскующего голоса. Она терялась от мысли, что она совершенно себя не знает. Все видимое имеет какую-то функцию, все пойдет в дело, для жизни и продолжения жизни, но нельзя же всю женщину, сколько ее есть, определить в постель и на кухню. Она вся туда не поместится, и не все будет принадлежать мужу. А что же есть то, что останется свободно, что-то сверхчувственное, не плотское, держащее себя в чистоте, устраивающее хозяйский обход, ласкающее женщину, когда не хватает ласки, и тихотихо перебирающее ее струны? Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига». Да неужто ж убийство — подвиг? Блуждает по свету и во тьме душа. Бредит, мерцает, ждет.

Неотразимо обаятельны два новых **рассказа** из книги «Высокая-высокая луна», которые опубликовал в «Новом мире» **Владимир Маканин**. В рассказе **«Могли ли демократы написать гимн...»** («Новый Мир», № 10) писатель изобразил очередные приключения своего горячего старикана, известного нам уже по повести «Без политики». Манит его луна над дачным поселком. Вечно влюбленный старый бесстыдник, свободный от комплексов и норм, он уже в постели — с тридцатилетней замужней прекрасной Лилей. А тут является муж, политический деятель либеральной ориентации, и едва не застигает парочку. Но отвлекается на теледебаты. «— Лёльк. Ни-че-го!.. Что-то... Хоть что-то! Хоть

что-то в жизни может перемениться?.. Я кричу, я спрашиваю вас, жопы, может хоть что-то перемениться в нашем любимом отечестве?». Может быть, эти риторические вопрошания мужа-рогоносца и намекают на то, откуда у Маканина взялся такой герой и такой сюжет. Далее, впрочем, следует пьяная исповедь политика-«демократа», где он признается себе и жене в том, что ему нечего воспеть в родной стране (а значит, и гимн у него не вышел бы) и вообще все ему здесь осталось чужим, да и сам он не на месте, а в соседней комнате старичок снова берется за свое, испытанное... Этот фарсовый перехлест ведет к предельному заострению ситуации и в итоге главным планом в рассказе становится именно покаяние русского либерала, который не справился с эпохой и с собой, и даже над женой не властен. И как своевременно это прозвучало. Маканин не судит, он *понимает*, воспринимая всякого человека в его жизненной сложности, не как картонку. Скандальность ситуации только оттеняет новизну темы. Ничего на таком уровне мы не видели пока в современной словесности о провале поколения, в режиме рефлексии. Острая форма провоцирует осмыслить нестандартно судьбы либеральной идеи и позицию Маканина — между сочувствием и насмешкой... Писатель виртуозно владеет искусством косвенного говорения, когда смысл рождается от интонации, от незначительной, казалось, бы детали, от сшибки действий... Неадекватная проза неадекватного времени о кризисе надежд и мертвых социальных горизонтах.

А с напечатанного в № 11 рассказа **«Боржоми»** книга «Высокая-высокая луна» должна бы начинаться: старик шел в комнату — попал в другую. Прямо к спящей девице. «Я получал радость по высшему разряду. В моем возрасте радость особенна. (Все равно завтра инсульт или что-нибудь еще.) Так что я все взял». Живая, умная, скандальная даже по нынешним временам проза. В размер ли она автору? Открытый вопрос. Только как-то всё больше смущают у Маканина героини. Неотразимо милые и прекрасные, они все-таки слишком напоминают чудесных зверушек.

Очередные **«опыты» Марины Вишневецкой** опубликованы в «Знамени» (№ 10). «Опыт иного» **«У.Х.В.»** представляет собой речевой поток, приписанный немолодой женщине из простонародья. Героиня удивляется, сколь сильно они с сестрой друг на друга непохожи. Опус виртуозно-бессмысленный, хотя предметность, как всегда, завидно густа, а героиня — симпатичный человек, душевный. Другой опыт, «опыт исчезновения» **«Я.А.Ю.»** — это довольно болезненный переполненный женской патетикой монолог некоей юной высококультурной особы, которая, узнав, что у любимого мать сошла с ума, передумала выходить замуж и даже вычистила плод. Вообще, в монологи эти, в эти очерки трудных женских судеб вложено немеряно души, эмоций, чувств. Но к чему это все — не вполне ясно. Эмоциональное заражение без духовного обогащения, без интеллектуального обобщения.

Алексей Чуманов в **романе «Три птицы на одной ветке»** («Урал», № 9, 10) выводит на сцену екатеринбургскую семью — мать, бабушку и внучку. Удивляет неспособность автора вычленить какие-нибудь сюжетно значительные события, чтобы читатель не ломал голову, зачем ему все эти сведения из ничем не примечательных биографий чужих и малосимпатичных людей. Все три женщины эгоистичны, мелки душой и озабочены лишь сиюминутным личным комфортом.

Особых материальных проблем не испытывают. Легко сходятся и расходятся с мужчинами, в том числе, и мужьями. Особенной стервозностью отличается внучка. В какой-то момент она ухитряется охмурить австралийца и отбывает с ним на далекий материк. Через год приглашает мать нянчить народившегося ребенка и третирует ее как прислугу. Впоследствии оставляет ребенка матери и отбывает в Америку. Ребенок грозит вырасти в такое же эгоистичное чудовище. Мать, похоронив, наконец, бабушку, вместо того, чтобы заняться воспитанием внука, мечтает побыстрее окончить собственный жизненный путь.

Немногим отличается от этого романа **повесть «Плот» Михаила Немченко** («Урал», № 10). Здесь, правда, семья победнее: главная героиня — внезапно овдовевшая уборщица, вырастившая без посторонней помощи двоих детей. И ведь как обидно: только стали на ноги, получили квартиру, построили дачу — как муж-шофер погиб в аварии. Выпивал, правда. Но денег-то приносил немало. Теперь все мечты о новой мебели и прочих приметах благополучия пошли прахом. Дочка сбилась с пути, бросила школу, погналась за длинным рублем да за красивой жизнью, вот и осталась в конце концов с дочкой и сожителем-алкоголиком. А сын, хозяйственный, но слишком скромный, сошелся с корыстной шалавой, которая обобрала недотепу, да и выгнала вон. От всех этих расстройств бедная женщина слегла, мучаясь перед смертью, что без нее некому будет бороться с пьянством в семье.

Более изысканный вариант предлагает **Елена Холмогорова в повести «Трио для квартета»** («Дружба народов», № 10). Женщина бальзаковского возраста, в молодости недолго побывавшая замужем, вынуждена ухаживать за впадающий в старческий маразм бабушкой, проводить у нее все больше и больше времени, «заражаясь» духом царящей вокруг смерти. А жить-то хочется. У нее самой все налажено — ухоженная квартирка, комнатные цветы, состоятельный любовник... Вот любовник познакомил ее со своим старым другом-врачом, и чувствует бедная женщина, что духовно-тонкий врач ей куда милей грубоватого любовника, и у врача-то лежит к ней душа, но решимости разом переменить жизнь нету. Ей хочется не счастья, а покоя. Но покоя, как назло, все нет и нет. Племянница, на которую обращена нереализованная любовь к детям, стала чудить и сторониться семейных проблем (хотя тетушка охотно спонсирует ее аборт), а брат старается уклониться от ухода за умирающей старушкой. Но потом вдруг как-то разом умирают и бабушка, и врач. А женщина сидит, пишет дневник, раздумывает — что же такое счастье...

Валентина Ерофеева в рассказе «Влюбленные» («Москва», № 10) от имени праздной моралистки поведала о любви уличной торговки и нищего-инвалида, просящего подаяние на паперти. Всюду жизнь. Всюду эрос. Всюду — повод нагрузить читателя вагоном благонамеренной дидактики.

Удивительно, как мало ***заграница*** отличается от родных осин. Во всяком случае, к такому заключению можно прийти благодаря **«Музыке бдения, или Вполне тривиальному рассказу» Бориса Хазанова** («Дружба народов», № 11). Некий писатель, русский эмигрант (потому ограниченный в средствах), знакомится для известных нужд с продавщицей из местного магазина. Девушка легко соглашается и на ресторан, и на интимное продолжение ужина. Писателя вроде бы тоже устраивают ни к чему не обязывающие отношения. Впрочем как личность, не

чуждая высоких материй, он старается отрефлектировать всё — даже мимолетные постельные утехи. Рефлексия помогает ему прийти к мысли, что мужчина и женщина — две несоприкасающиеся вселенные.

Рассказы Нины Горлановой и **Вячеслава Букура** («Урал», № 10), как всегда, предлагают вниманию частную жизнь супружеских пар — в разных обстоятельствах, но с удивительно похожими реакциями, речевыми особенностями, однотипным чувством юмора и т.п. Как всегда, авторы смело делятся с читателем образчиками творчества своих персонажей, каковое, кажется, представляется им чем-то вроде модного художественного примитива:

О сверхужасный геморроид,
Ты поразил меня во сне!
И, как из бездны астероид,
Пронзил внезапно недра мне!

Однако...

Близки к предыдущим по тематике **рассказы Петра Ореховского** из подборки **«Бутылка, законченная питьем»** («Октябрь», № 11). Однако этот автор все-таки чуть-чуть приподнимается над текстом, да и пишет жестче и лаконичнее, благодаря чему рассказы держатся хотя бы конструктивно. Кроме того взаимоотношения между мужчиной и женщиной получают здесь подобие «концептуальной» оценки, к тому же у Ореховского эти взаимоотношения несколько разнообразнее по формам.

«Трилогия», **рассказы Бориса Телкова** («Урал», № 12) всё о том же. В ходе мирной домашней беседы муж заподозрил, что жена ему изменяет. Поссорились. Дело идет к разводу, хотя оба такому обороту не рады. А в новогодний вечер — по телефону — удалось-таки сделать шаг навстречу друг другу, муж на радостях бросился домой, да на беду попал в вытрезвитель. Финал оставлен открытым.

«Восемь узбекских халатов» Розы Хуснутдиновой («Знамя», № 12) — подборка **рассказов**, объединенных теплой интонацией. Автор не скрывает своего любовного отношения к простым и милым героям. В рассказе **«Рауза и Заужян в Москве»** выведена супружеская чета, чем-то напоминающая гоголевских старосветских помещиков. В **«Птицах»** переговариваются птицы-души умерших. **«Анна Сергеевна»** — рассказ об армянской старушке былых времен в Баку... Трогательная проза.

Молодой автор «простых рассказиков» **«О жизни и смерти» Петр Епифанов** («Звезда», № 12) живет при одном из монастырей. **«Зайчик милый»** — история о том, как пожилая медсестра ненароком в Чистый четверг услышала ругань из уст тяжелобольного. И не о наказании богохульника она печется, а о том, как бы его помыть да заставить испить святой воды. **«Двоеданка»** — об овдовевшей староверке, добившейся-таки отпевания своего мужа-старовера в православной церкви. Герой **«Паломника по святым местам»** тоже старовер, по зову души снова и снова приезжающий в монастырь приложиться к мощам святого инока, жившего в XVI веке.

Обширной «провинциальной фантазией» **«Сны Апорья»** делится с читателями **Владимир Шпаков** («Нева», № 12). В маленьком городке, как в капле воды, отображаются события, сотрясающие страну, — только как бы искривленно, и в сильно уменьшенном масштабе, отчего видней становится что серьезность их,

что откровенная глупость. В «фантазиях» почти нет сюжета, но они небезынтересны: автор с удовольствием выписывает провинциальные характеры и нравы, памятуя, что Россия это и есть многочисленные провинции, а не столицы.

Людмила Агеева в **рассказе «Бедная Лиза»** («Звезда», № 10) описывает беспросветную жизнь женщины, в старости оказавшейся никому не нужной. Была когда-то Елизавета Павловна невенчанной женой старого профессора, но тот на склоне лет женился на молоденькой аспирантке. Теперь та выживает из квартиры несчастную старуху, у которой нет своего угла. Потихоньку-полегоньку оказывается «бедная Лиза» на заброшенной даче в полном одиночестве и умирает загадочной смертью.

Трагическую историю поведал **Николай Остожин** в **рассказе «Стадион»** («Звезда», № 10). У мальчика-очкарика Пети, ребенка застенчивого и «книжного», жизнь не задалась с малых лет. В детстве его дразнили, а повзрослев, стал он заурядным учителем, живущим на копейки, да и влюбленность в смазливую девицу кончилась ничем. Оно бы и ладно, но пришла настоящая беда. Как-то за собственными невзгодами проглядел он сына. А сын — наркоман и гибнет при попытке ограбить магазин. Героя уже ничего не привязывает к жизни — остается ему только на стадионе, в диком одурении, вместе со всеми вопить: «Го-о-о-л!»

К этой теме примыкает и **повесть Евгения Лобанова «Птенцы асфальта»** («Урал», № 12) о провинциальных беспризорниках, оказавшихся на улице благодаря неурядицам в семье и школе и неспособности к социальной адаптации. Автор как-то слишком уж идеалистично смотрит на мир маленьких бродяг — дети, годами живущие на улице, изъясняются почти нормативным языком, почти не тронуты цинизмом и даже практически не воруют. Шестнадцатилетняя барышня, уже отбывшая срок, грозит ровеснику: еще раз «сматеришься» — зарежу. Реализм на всех парах...

Разные бывают люди на свете, разные случаи, нечего и говорить. Вот и в **рассказе Ларисы Клецовой «Шарик»** («Москва», № 10) героиня — инспектор по проведению предрейсового медицинского обследования на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — воюет с шоферюгами. Которые без водки жить не могут. «Не забывайте меня, дяденьки. Дышите. Да нет, не так, а как будто шарик надуваете...»

Представлена оказалась не только ***городская среда***, но и ***деревенская***.

В **повести Петра Краснова «Пой, скворушка, пой»** («Москва», № 10) немолодой мужик Василий вернулся в брошенный было отцовский дом в деревне — жить. Успел повоевать в Приднестровье. Натерпелся. Остался один-одинешенек. Но ведь надо жить и выживать. Невеселая история. Нет, не цепляет красновское многословье, длинные его, вялые, холодные фразы. И ладно бы глубокий смысл таился в подтексте, так ведь нет никакой глубины. Другим берет Краснов. Вниманием к житейскому обиходу и, возможно, сентиментальным сочувствием к герою. Но как все-таки далеко ему... ну хоть до Екимова! Зато только у Краснова найдешь публицистическое определение нашего местожительства: «сраная Эрэфия». И мысли о русской смуте — тяжелые, основательные.

В **рассказе Сергея Фролова «Коммунариха»** («Москва», № 10) рушится колхозный сельский мир, горюет председатель. И безысходна жизнь, и хочет всё

это бросить к чертям доярка Коммунариха. «Коммунариха... семижильная баба, волочившая за всех, как проклятая, несчетные воза колхозные... Всю жизнь несуразная — безответная, бестолковая, безотказная... И в самом деле — Коммунариха... На работе свихнутая, чуть не колхоз, чуть не коммунию эту заместившая... Всем селом, огулом, осмеянная. О себе понятия не имеющая. Бессменная... у коровьих грязных хвостов... Сама вечно в навозе, в сенной трухе... в каком-то немыслимом, заскорузлом до ломкости одеянии, многими слоями обмученном серой пылью дробленки, отрубями. Лицо, брови, выбившиеся неряшливые кудлы — тоже в муке. Пугало, страшила. И все же — небом... небесами... скотинья заботница...» Нет, не бросит она ферму, где осталась одна-одинешенька, «пожизненная скотница, доярка... поилица-кормилица скотинья». И автору больше нечего к этому добавить.

Усиленно нагнетает краски **Ольга Белова** в **рассказе «Егорка»** («Октябрь», № 10). Доярка родила без мужа, зато по любви. Вот и пришлось одной рвать жилы на непосильной работе. В итоге — рак и малолетний сын-сирота. На похороны приехали из города сестры, избу продали, деньги забрали себе, а бабушку с внучком поселили в затхлой каморке, без деревенского воздуха, без средств к существованию.

Не вдруг поймешь, к чему клонит **Борислав Васильев** в **рассказе «Девятины»** («Урал», № 12). Родители присоветовали дочке идти не за любимого, а за богатого. На беду свадебный кортеж попал в аварию и невеста погибла... Широко, по-деревенски, гуляет родня на поминках. Прибывший с соболезнованиями несостоявшийся жених вызвал было подозрения и недовольство, но «выпил по-нашему» — и настало всеобщее примирение. Присутствующая богомолица, увидев залетевшую пчелу, догадалась, что это — душа усопшей.

«Короткие истории» кубанца **Николая Ивеншева** («Москва», № 11) — на разные южнорусские темы. Случаи, анекдоты. Старики-сердечники в больнице и их палатный обиход. Умерла станичная дурочка, на похороны приехал сын-декан из Сибири. Сельские анекдоты времен войны и оккупации.

«Время московское» приморца **Николая Шадрина** («Москва», № 11) — подборка набросков. История об обаятельном дурачке. Новая робинзонада и общение с медведем. Дедушка Никита приготовился умирать, а смерть-то не спешит.

Лена Гулыга взяла на себя труд составить некий «сборник» сельских баек на тему контакта с нечистой силой (**«Вологодские были»** — «Дружба народов», № 12). Два разноприродных мира прекрасно уживаются друг с другом. Такая вот разлюли-малина.

И все-таки некоторые не оставляют попыток найти какую-то более сложную **ФОРМУЛУ ЖИЗНИ**. Когда за текстом прочитывается нечто большее, чем просто задача — ***рассказать историю***. И нечто более сложное, чем однозначный диагноз социального плана существования.

Повесть Славы Сергеева «Путем актера» («Дружба народов», № 12) — легкий, ироничный и очень неглупый текст — по видимости о разных пустяках, на самом деле — о жизни. Рассказчик, легко отождествляемый с автором, делится впечатлениями о дурацком приключении на съемках фильма, куда попал совершенно случайно и почти против воли. Собственно, сами съемки отменились, зато воз-

никла спонтанная компания молодых людей, которые, узнав, что их надули, решили поддержать попранную честь единственным возможным способом — выпить. Отличная наблюдательность автора и свободный слог создают из мозаики впечатлений полноценную картину жизни *как она есть*. Блестяще поданы диалоги.

В **повести Александра Вяльцева «Ферапонт. Дневник художника»** («Нева», № 10) изложена история героя, который ни в искусстве себя не нашел, ни с женщинами не смог разобраться на рандеву. Урок и опыт сына века, представителя поколения сорокалетних, к которому принадлежит и сам автор. Причем урок и опыт неутешительные. Повесть вливается в тот ряд литературы, который связан с острым переживанием исторического провала молодых людей, для которых в 90-е годы открылись новые горизонты самореализации. Вяльцев прочерчивает прямо-таки модельную ситуацию, хорошо прописывая контекст, среду. Но повести недостает убедительности. Пафос капитуляции чрезмерно заострен и никак не гармонирует с глубокими и остроумными размышлениями героя об искусстве и о жизни. Эти иногда просто сногсшибательно оригинальные и интересные мысли никак не свидетельствуют о бесталанности, которой автор обременил героя. Выходит, что неуспех Ферапонта скорее случайность, но зачем тогда нагорожен этот огород? Да и неудачи с любимыми... Материя это, конечно, тонкая, но сложный драматический план взаимоотношений, которые изображены писателем, не предполагает того приговора, который выносится сюжетно... Впрочем, в финале герой стоически вооружается мужеством жить дальше. Красивая и умная, как всегда у Вяльцева, вещь.

Главная примета **рассказов Александра Филимонова** (к сожалению, покойного) из подборки **«Ничего не случилось»** («Октябрь», № 12) — какая-то сквозная безнадежность. Описана жизнь в провинциальных городках и поселках. **«Самая красивая в мире женщина»** — о грустной любви рассказчика к эгоистичной и неглубокой девушке, для которой он существует лишь на периферии сознания, тогда как она для него — вся жизнь. Остальные — о глухой тоске существования, которую герои даже не пробуют выразить на словах. И все — без малейшего надрыва, только через полутона и намеки. Очень точные штрихи и детали.

Еще одна история человеческого одиночества: **«Вдоль дороги» Валерия Нариманова** («Москва», № 11). Герой, Ахмет, сначала все потерял, потом кое-что нашел. Лишился работы и квартиры — получил по наследству корову. Идет с коровой по дороге, попадает в переделки, пытается где-нибудь перезимовать... Не «Кот в сапогах», конечно, но похоже. И — очень точно прописанный социальный задник. Хорошая вещь.

Другие авторы ищут путь из плоскости бытового существования иначе — через привнесенную в текст ***экзотику***. Не важно, в чем она будет заключаться — в нестандартной интриге или нестандартном приеме. А, бывает, и сам выбор объекта внимания выводит авторов за пределы обыденности.

Несколько запоздавшую **сказку «Новый год»** представила **Нина Катерли** («Звезда», № 12). Написана она еще в 1980-м. Под наступающий праздник где-то в пустой квартире сходятся пожилой Старый год и молоденький Новый. За Старым числилось немало грехов, которые унаследовал и Новый, вроде пьянок

на работе или выпуска никчемных товаров (каково-то читалось бы это в свое время!). Старый год знакомит молодого собрата с человеком в ватнике (1937-й) и парнем в гимнастерке (1941-й). Все усилия Нового года устроить жизнь в соответствии с правилами ни к чему не приводят. Богатый урожай частью сгноили в хранилищах, частью оставили в земле. Мораль: люди живут по-своему и почти ничего от усилий начальства (в сказке — Нового года) не зависит.

Давид Маркиш в **романе «Белый круг»** («Октябрь», № 10, 11) предлагает авантюрный сюжет. В основе — история о некоем гениальном художнике-авангардисте, при жизни практически не известном — советская власть признала его сумасшедшим и выслала в Среднюю Азию. Мотором для развития действия и служат поиски бесценного наследия, производимые — исключительно ради выгоды — непрямыми потомками художника. Ретроспекции в его биографию, а также в семейные предыстории позволяют автору путешествовать по миру и во времени, попутно излагая вульгаризированную историю современного искусства. Увы, сочинение весьма поверхностно и явственно отдает духом коммерческой литературы. Характерен финал с миллионными ценами, по которым «ушли» первые из обретенных шедевров.

В **повести Екатерины Салмановой «Точка необратимости»** («Нева», № 11) интеллигентная женщина с не сложившейся судьбой обретает долгожданную любовь в чужом краю. Героиня живет в Америке нелегально, поскольку бывший муж не соглашается расстаться с дочерью. В конце концов конфликт разрешается и появляется шанс получить вид на жительство. Но тут оказывается, что новый муж для разрешения своих финансовых проблем связался с ее давним приятелем, занятым отмыванием каких-то сомнительных денег. ФБР, естественно, не дремлет. Впрочем, повесть развивается отнюдь не по детективному сценарию, хотя питерский бизнесмен и погибает от рук сотоварищей. И даже не по набухающему психологическому, связанному с очевидным охлаждением нового мужа к героине. Волнует автора другое. Еще живя на родине наша Вероника по-матерински опекала мальчика из интерната, а накануне отъезда клятвенно обещала вернуться. И вот она приезжает в Питер. Но мальчик вырос, он уже другой человек. Мало того, в последнее время его опекал тот самый убитый бизнесмен. Володя подкарауливает бывшую учительницу в темном подъезде, решив поквитаться с ней за свою никому ненужную жизнь. Но в последний момент так и не решается нажать на курок. На том к недоумению читателя повесть и завершается.

К этой же теме примыкает **роман Любови Аксеновой** и **Евгения Вертеля «Европад»** («Нева», № 11, 12). Поначалу авторы лихо закручивают детективно-фантастическую интригу. Из дорогого отеля на берегу Средиземного моря таинственно исчезает один из постояльцев. Это бывший россиянин, а ныне американец Алекс Пивоваров. Исчезает, но с тем, чтобы спустя какое-то время объявиться уже в другом обличье. Точнее, почти в другом. Брат исчезнувшего бизнесмена не без труда распознает в немолодом господине сильно состарившегося Алекса. Словно в его тело вселилась чужая душа. Но вроде бы и тело не совсем его... Больше всего от неясности страдает юная подруга Алекса, имя которой авторы установили не до конца: она именуется то Элеонорой, то Эльвирой. По профессии она журналистка, но судьба ее непроста. Случай не-

надолго сводит ее с другим богатым бывшим соотечественником. Этот господин оказывается крутым пройдохой, ловко использовавшим ее для обделывания каких-то сложных финансовых махинаций. Интрига с перевоплощением Алекса так и не проясняется. Он то предстает в виде пожилого джентльмена с другой фамилией, то объясняет по телефону, что после авиакатастрофы страдает амнезией. Распутать этот клубок не под силу даже прорицателям. Где уж тут разобраться читателю!.. Труднее всех Эльвире-Элеоноре. Из газеты ее увольняют, и она вплотную сталкивается с трудностями эмиграции. Но едва впав в отчаяние, обнаруживает на своем банковском счету миллион евро — и сразу решает купить виллу в Ницце. И вот на земле Ривьеры изумленную героиню поджидает роскошный дом, а в одной из комнат лежат неизвестно кем приготовленные махровый халат и полотенце... Мистика продолжается. Вдруг возле дома появляется Алекс... и тут же гремят таинственные выстрелы, и оба героя погибают. Надо сказать, единственное, чему веришь в этом романе, — горестные сентенции героини относительно трудностей эмигрантской жизни.

В **рассказе**-страшилке **Евгения Эрастова «Муравейник»** («Москва», № 11) старый вор Рябой бежит из лагеря, прихватив с собой паренька Сашку. Незавидное будущее у парнишки: «...предстояло покончить с Сашкой, расчленить его тело, развести костер и съесть первую порцию мяса. Надо было спешить, пока парень не проснулся. Рябой не хотел тратить силы на борьбу, к тому же и для самого Сашки смерть во сне была бы лучшим уделом»... Однако в момент убийства на Рябого нападает голодная волчица. Итог: два трупа. Далее в действие вступают муравьи. В общем, борьба за существование... В другой же страшилке Эрастова, **«Уроки английского»**, опознается уже недавно читанная — не в «Нашем современнике» ли? — история про учительницу, которую обманули демократы и сжили со свету бандиты. Где появится она в следующий раз?..

На нечто значительное замахнулся **Д. Тарасов** в **рассказе «Потерять и найти»** («Звезда», № 10). Был некогда у рассказчика добрый знакомец с непомерно сложной фамилией, которую для удобства превратили в «Перов». Многообещающий был парень, и теория у него имелась соответствующая: каждый человек, мол, уже рождается либо бедным, либо богатым, так что без толку все ужимки-прыжки несчастных бедняков. Спустя годы тот же Перов встретился рассказчику в облике небритого бедолаги, сдающего пустые бутылки. Но — метаморфоза: незнамо откуда вдруг взялся у Перова роскошный «Мерседес» и собственный двухэтажный дом. Дело просто: он получил наследство от американского дядюшки. Ан судьба на то и судьба — она снова отвернулась от Перова: у дядюшки отыскался более близкий родственник. Богатству пришел конец, а несчастный Перов повесился. Мораль, однако же, из этого следует отнюдь не тривиальная. Именно благодаря Перову, написано в тексте, открылся рассказчику совершенно иной мир — лишенный возни и суеты вокруг денег...

Рассказы Ольги Кучкиной «Собрание сочинений» («Знамя», № 12) посвящены разным предметам. Придумки, упражнения. Любовь и музыка. Беззаботный шабашник с криминальным прошлым в московской квартире. Случайная влюбленность и череда других случайных совпадений. Метафизический смысл баньки.

В **рассказе Елены Шварц «Трогальщик»** («Знамя», № 10) художника Никодима посещает некая вышняя Сила, понуждающая его мотаться по свету и трогать

рукой святыни. Так, в Милане он трогает фреску Леонардо, в Дельфах — камень, возле которого стоял треножник Пифии, в Париже — чернильницу Марии-Антуанетты и так далее. «Иногда Никодим пытался сопротивляться этому настоятельному голосу. Он отворачивался, медлил, но все кончалось тем, что все-таки он трогал, трогал и трогал. Это был фатум». Вернувшись в родной Питер, Никодим той же рукой тронул нищего — и тот повалился мертвым... Чего только не бывает на свете — и что только не придет в голову петербургским поэтессам!

Девушка Саша, героиня **рассказа Натальи Смирновой «Хорхе»** («Знамя», № 11), становится подружкой горячего влюбленного кавказца Феликса, но у нее в воображении обитает еще и некий циник Хорхе, который насмешливо комментирует все с нею и Феликсом происходящее. Фантастическая примесь к банальным вещам. Женским причудам посвящен и рассказ **«Плавная, редкая»**.

Роман Светланы Максимовой «Хождение за три солнца» («Дружба народов», № 10, 11) — это смесь галлюцинаторных фантазий на темы Латинской Америки и столь же экзотичных мемориев о Петербурге 90-х годов. При известной изощренности стиля (Максимова более известна как поэт), проза кажется довольно манерной, а главное — герметичной. Автор смело вводит в текст ключевое понятие «психоделический».

Татьяна Алферова, автор **рассказов «Неомифологический словарь»** («Нева», № 11), дабы предать своим житейским историям дополнительный смысл, соотносит их с древними мифами. Она то спорит со своими персонажами, то соглашается, словом — вступает с ними во взаимоотношения, как с живыми существами. **«Бавкида»** — о супругах, сначала бурно любивших, потом изводивших друг друга бесконечными ссорами, а в конечном счете не мыслящих жизни один без другого. **«Цирцея»** — о разгневанной на мужа женщине, которая идет к проходной его завода с обрезком трубы, чтобы наказать его, «изменщика». **«Орландина»** — о совершенно идеальной женщине, которая, в силу своей идеальности, так и не смогла произнести слово «нет». **«Сфинкс»** — исповедь мужчины, женившегося по страстной любви, но, как оказалось, на женщине-«дьяволе», бывшей подруге своего приятеля.

«Юрьев день» Ирины Поволоцкой («Новый мир», № 12) — стильная дамская проза о красивых и важных мелочах жизни. Женский список, нитки судеб. Простой, душевный народ.

В **рассказах Андрея Ильенкова** («Дружба народов», № 12) сведено воедино как минимум три разнородных пласта: реалистический (дело происходит в армии, все бытовые детали, вплоть до речевых характеристик — подчеркнуто натуралистичны), абсурдистский (к середине каждого текста реальность искажается до полного несоответствия представлений о ней) и текстуально-игровой (автор не без блеска пародирует фрагменты известных классических текстов — от Гоголя до Булгакова). Забавно, но быстро приедается.

Семен Файбисович в **рассказе «Кепочка»** («Знамя», № 11) пространно рассуждает о том, как он (наверняка сам автор, а не абстрактный рассказчик) не может вспомнить, идентифицировать и не сумел бы опознать встретившегося ему как-то мальчика. С массой необязательных, докучных подробностей. Ох, многовато на сей раз у него, как выражается сам автор, «словесного поноса». Есть забавный — про съемки Москвы на фотокамеру. Есть так себе: о банкете-

фуршете с участием опознаваемых вип-персон... Что ценно: безжалостность Файбисовича к самому себе и высокоразвитая, до самой крайности, рефлексия. Мальчонка же появляется снова почти в финале некороткого рассказа, чтобы стащить у автора бумажник. По этому поводу — снова турусы на колесах.

Повесть **Игоря Черницкого «Ай эм эн экта!»** («Москва», № 11) — монолог актера. Нищий украинский актер нанимается в кинопроект к богатеньким итальянцам. От комплексов наглеет... Будни киносъемок. Смешные иностранные затеи. Безразмерный актерский треп.

Подборка **Александра Образцова «9 /2 рассказов для Дженнифер Лопес»** («Звезда», № 11) отдает некоторой надуманностью. Своим маленьким историям автор придает нарочитую незаконченность: вот вам, господа, сырье для будущих сценариев, для познания российской души. Актриса Дженнифер Лопес в этих рассказиках — почти такое же действующее лицо, как и другие герои, то есть не столько реально существующая дама, сколько бутафорско-кукольная фигурка. Каждый рассказ рисует чаще всего какую-то одну из черточек живой Дженнифер. Материал частенько сопротивляется однозначному прочтению.

Рассказы ученого-зоолога **Петра Стрелкова «Гюрза»** и **«Эрик»** («Нева», № 11) — о змеях из Туркменской пустыни, перевезенных в Питер, в квартиру путешественника. Автор повествует о них с теплотой и даже уважением. «Законные степные жители, с могучим инстинктом свободы, который не пропал и вдали от родины...»

Из солидных размеров повествования **«Шепот звезд» Александра Старостина** («Москва», № 12) мы процитируем такой вот пассаж: «Все помнят случай, когда коммунисты и комсомольцы во главе с президентом и группой наиболее юрких идеологов марксизма-ленинизма рвали свои членские билеты и швыряли в лицо того, кто для них еще вчера олицетворял ум, честь и совесть. Тогда же — это многие помнят — в городе N принялись сдергивать памятник самого человечного, и Ильич пришиб своей кепкой трех комсомольцев; один из них оказался племянником Софьи Марковны — не то Сеня, не то Миша. Трех героев, которые перед гибелью смело порвали билеты, провожал весь город. Цветы, музыка, шествия, песни рок-групп. Новые властители по привычке несли с высоких трибун слова, в которые сами не верили, а президент не то Газпрома, не то просто президент сказал со слезой в голосе: "Простите нас, мы вас не уберегли..."». Надеемся, хватит?

Как всегда представлена проза и **ВОВСЕ НИ О ЧЕМ**

Тексты **Сергея Солоуха «Метаморфозы. Три лета»** («Знамя», № 12) — опыты в манере лирического наива. «Лев Алексеевич Кулешов в столярке. Дверь распахнута. За порогом блестят стружки. Светятся. На солнцепеке. Время от времени свежий ворох ложится новым слоем. Осыпается. Будто перья в курятнике. В детстве дед гонял голубей. А теперь строгает. Летает рубанок. В бане будет новый полок». И далее в той же надоедной манере.

Сочинение **Алексея Слаповского «Жили-были»** («Знамя», № 11) имеет огромный подзаголовок: «Книга о современной жизни, о ее людях и обстоятельствах, о ее сложностях и заботах, ее печалях, трудностях, радостях, неожиданностях, парадоксах и закономерностях, а также о том, что в этой современ-

ной жизни случается». Умозрительно сконструированные анекдоты. Игровые подмены. Современной жизни ни на один процент. Есть свидетельство писательского истощения-изнурения. Уже ничего, кажется, там нет, а он все дергает и дергает за сосок, пытаясь выдоить еще каплю-другую вдохновения.

«История» **Олега Дивова «Запомним Таню мертвой»** («Знамя», № 12) — бестолковый поток речи по поводу смерти, суицида и прочих неприятностей. Глазами психоаналитика.

Рассказ школьника из Оренбурга **Алексея Гнеушева «Один час»** («Москва», № 10) — проба пера. Герой просыпается и собирается в школу. Воюет с котом. Пришивает пуговицы к рубашке. И т.п.

В **рассказе Антона Уткина «Брейгель-младший»** («Новый мир», № 10) кропотливо передан ход различных незначительных соображений героя, который носит фамилию голландского живописца, а живет в современной Москве. Герой никуда не спешит, писатель никуда не спешит и предлагает читателю тоже никуда не спешить. Читателю скучно. Вялая, анемичная проза.

Рассказ Татьяны Немковой «Чайник» («Москва», № 10) — про посуду. Между Андерсеном и поздней Петрушевской. «В кухню принесли новый французский чайник и поставили на салфеточку в центре стола. Вся посуда уставилась на него, как на невиданное зрелище. — Bonjour, — заговорил чайник. — Je suis la vaisselle de la generation nouvelle».

«Конспекты романов» главного редактора альманаха «Петрополь» **Николая Якимчука «Феллини, Гоголь и другие»** («Знамя», № 10) — миниатюры от имени тонкого и умного человека, друга поочередно Басе, Андрея Белого, Блюмкина, Бюнуэля и т.д. Изысканные, иногда не без манерности, упражнения.

Рассказ Кима Бакши «Под синевой небес» («Знамя», № 12): видение Бунина в Ельце.

О ПРОШЛОМ.

Повесть Бориса Иванова «До свидания, товарищи!» («Знамя», № 12) — о военных летчиках 40-х. Красавцы и умницы.

«Хроники частной жизни» **Александра Кабакова «Все поправимо»** («Знамя», № 10) — вторая часть романа, который полностью будет издан «Вагриусом». Московская фарца начала 60-х годов: образ поколения. Тряпки, пьянки, гулянки, чуждость всему советскому. Герой — студент. Дела молодые, сложный рельеф довольно, впрочем, мелкой жизни. Детали, детальки, *дух времени*, ликующая плоть. Молодая ревнивая жена, горячая любовница, измены, бурные объяснения и еще более бурные совокупления. Моральное, так сказать, разложение, разбавленное вольнодумством... Плюс: умирающая мать в соседней комнате, ее предсмертные наставления, ее тихая мудрость. Плюс: нелегальный мелкий бизнес. Иностранный прикид как способ побыть иностранцем в СССР и чувствовать себя выше убогого советского отстойника, способ скрыться от глаз милиционера и власти. Быть иным. Далее — персональное дело на комсомольском собрании и нарастающие угрозы, вплоть до разговора с человеком из органов. Вербуют. Одно спасение — уйти в армию на три года... В общем, портрет юноши шального поколения в суховатой ретрорамочке. Могло бы, наверное, быть и красиво. Но вышло иногда интересно, а в целом скучновато. Текст написан опыт-

ной рукой, но — инертный, персонажи мелкотравчаты. Возможно, тем, кому за 60, кто сам угробил юность на охоту за «фирмой», это и будет интересно. Особенно бесконечные периоды про заграничные шмотки с тщательным их описанием. Типа: «Он натянул, прыгая на одной ноге, обнаруженные под столом свои любимые американские брюки, успев привычно им порадоваться — таких, настоящих дакроновых Brooks Brothers с узенькими манжетами, без складок у пояса и с правым задним карманом без пуговицы, в Москве было по пальцам пересчитать. Надел рубашку, свою лучшую голубую Arrow button-down pin-point, вчера к вечеру выбирал самое лучшее, хотя ничего особенного не предполагалось, но так, на всякий случай. Пиджак и галстук висели за дверью, но он надел прямо на рубашку чешский длинный рыжий муттон с поясом и белым воротником мехом наружу...» Или: «От скуки он начал снова бродить по комиссионкам, выискивая интересные тряпки себе и Нине, — другого применения деньгам найти не мог, копить на «запорожец» почему-то расхотелось. Поиски были удачными, летом комки переживали мертвый сезон, а зимой всегда начиналось оживление. На Герцена наскочил на новенькое американское пальто, мягкая бежевая верблюжья шерсть, разрез сзади на пуговичку застегивается, под воротником петелька, рукава спереди реглан, а сзади вшитые — в общем, настоящее «айви лиг». На подкладке под внутренним карманом лэйбл made in Philadelfia, вышито красным по черному, а в кармане еще один, белая тряпочка с маленькой, напечатанной черным швейной машинкой — в общем, все настоящее. И всего заплатил сто тридцать рублей да продавцу, который вынул из-под прилавка, дал червонец». Поражает память автора, который в новом веке старательно и даже вдохновенно воссоздает номенклатуру и прейскурант подпольной фарцы. Но до чего же это все бедно, думаешь, и убого, и неизвестно зачем написано, если сравнить хотя б с социологическим дискурсом Уэльбека! Может быть, это попытка сурового суда и над подлым временем, и над пустоватым молодым человеком? Или косвенная исповедь сына века?

Роман Александра Мелехова «Чума» («Новый мир», № 9, 10) — о мальчике Вите из 60-х годов, из отдаленного ленинградского пригорода. Занятные подробности: посещение зоопарка, впечатления от чтения «Юности». Борьба за жизнь, потом эйфорическое студенчество. Сначала — океан вязкого многословья, но потом история начинает выстраиваться вокруг чудесной девочки Ани. Эта юная аристократка аккумулирует в себе восторги впечатлительного, тонко чувствующего мальчика из простонародья. Счастливый роман, счастливый брак. Дальше повествование устремляется вперед галопом. Прелестный этюд о милом мальчугане сменяется историей душевного надлома. Сын-наркоман разрушает жизнь родителей. Финал этой поучительной истории мрачен.

Мемуарный **роман Ксении Ершовой-Кривошеиной «Русская рулетка»** («Звезда», № 12) носит ностальгический характер. Не по застойным годам, а по молодости, хотя и прожитой в атмосфере лжи, всеобщей зависти и засорения мозгов. Собственно, героев в романе двое — рассказчица, по профессии художница, и ее отец, тоже художник, человек неординарный, талантливый, но, что называется, без царя в голове. Не любить его она не может, но знает и цену ему — человеку в жизненных перипетиях ненадежному однако, неизменно обаятельному, до последних дней способному снова и снова влюблять в

себя женщин, всякий раз увиливая от семейных уз. Роман вполне может быть прочитан и как еще одна история мятущегося таланта, который не вписывается в заурядные житейские рамки. Конечно, дочери тоже непросто с таким отцом, тем паче, что он когда-то бросил семью. Но, наконец-то обретши семейное счастье во Франции, она устраивает в родном Ленинграде посмертную выставку отца. Бурный успех, восторженная пресса, телепередачи, затем новая выставка — уже в Москве... Однако значительная часть работ куда-то сгинула: не в личные ли коллекции чекистов брежневского времени, все-таки знавших цену подлинному искусству?.. Впрочем, суть в другом — в том, что жизнь талантливого человека оказалась не только растраченной на пустяки, но и пущенной под откос. На борьбу с какими только запретами ни тратились силы!..

«Вологодский конвой» Александра Цыганова («Москва», № 12) — о лагерных буднях охранника. «Вологодский конвой шутить не любит: шаг влево — агитация, шаг вправо — провокация, прыжок вверх <...> А прыжок вверх — попытка к бегству». Нечто в духе «и конвоиры любить умеют». Кто бы сомневался. «Я начальник отряда осужденных, или отрядник, как говорят все, кому не лень: и сотрудники зоны, и сами осужденные, и родственники, приезжающие на свидание... Конечно, порой не удержишься и поправишь, но проку в этом нет: люди проторили, люди и ходят. А наш-то почет для них, выходит, совсем и не впрочет, потому как наша честь с утра и до позднего вечера — в зоне. Воспитатель, советчик, начальник, отец, старший брат, вершитель судеб — все в одном лице. И здесь только сердце — вещун, а душа твоя мера...»

Двумя **рассказами** представлен в 10-м номере «Звезды» **Борис Вайль**. В **«Жалобе»** дело начинается с давней, еще послевоенных времен, обиды маленького мальчика на учительницу, напрасно поставившую ему двойку. **«О жизни после смерти»** — милый пустячок о переселении душ, точнее, о том, что душа не испытывает ни сожаления, ни тоски о брошенном ею теле.

Повесть прозаика из Оренбурга, уральского казака, эмигранта из Кахзахстана **Николая Корсунова «Закрытые ставни»** («Москва», № 10) — история любви. Послевоенная печаль. Алексей любит замужнюю Наталью, а та ни тпру, ни ну. Наконец, соблазнил, получил свое. А муж-то возьми и удавись. Совестно Алеше. Искренняя беллетристика невысокого полета.

Аж в XIII век отправляется **Игорь Ефимов** в **романе «Новгородский толмач»** («Звезда», № 10, 11). Почти весь роман разворачивается в письмах, лишь иногда перемежаемых отрывками из дневника героя. Герой, Стефан Златоброд, свободно владеет двенадцатью языками. Сам он немец, уроженец Любека. В Новгородской республике он и гость, и работник, и домашний учитель в семье богатого купца Алольцева, и миссионер. Миссионерская деятельность направлена на возвращение «восточных отступников» в лоно католичества. Но как раз об этом в романе сказано немного. Зато форма писем в Любек позволяет автору развернуть любопытное повествование о нравах и обычаях древней Руси. Новгород и Псков как раз в эти годы теряют свою самостоятельность, перейдя под покровительство Москвы. Это обернулось жесточайшими войнами, свидетелем которых автор делает толмача Стефана. В одном из сражений погибает его хозяин вместе с сыном. Стефан, давно в тайне любивший жену Алольцева, женится на вдове. Но та не может оправиться от горя и умирает. Вновь ставший одиноким

Стефан, уже на склоне лет думает о браке со своей, давней, еще детской любовью, очаровательной Гретой, тоже успевшей овдоветь. Здесь повествование заканчивается, и место предоставлено историкам. Отрывки из книг Карамзина, Ключевского, Борисова, Соловьева, Скрынникова и др., которыми заканчивается роман, кажутся его естественным продолжением.

Мемуары

В «Новом мире» (№ 11) — воспоминания **Александра Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания»** (часть четвертая, последняя; 1987 — 1994). Вехи перестройки. Игнат и Ермолай в Англии. Старые счеты. Замучили докучные визитеры, мешают работать. Отношения с Сахаровым — очень осторожно. Наконец публикации на родине... Вплоть до момента возвращения в Россию. Неподражаемая интонация бойца и героя. «...А в друзьях своих числю — русские просторы. Русскую провинцию. Малые и средние города. Что-то еще успею сказать и сделать?»

В рубрике «non fiction» в «Знамени» (№ 10) публикуется текст смоленского литературоведа **Вадима Баевского «Сны моего детства»**. Приведем выдержку: «Посреди обеда великий стилист (Ю.К. Олеша — *ред.*) внятно произнес, внимательно разглядывая приезжих дам: "Говно абсолютное". После внезапного всеобщего потрясения Лидия Карловна первая пришла в себя. Она воскликнула: "Юрий Карлович! Что вы такое говорите! Как можно? Извинитесь сейчас же, ради всего святого!" Он встал, невысокий, плотный, с крупной головой, поклонился двум тонным гостьям, расшаркался и сказал: "Простите, если можете, что я сказал 'абсолютное'"».

В «Новом мире» (№ 12) завершается публикация **«Книги о жизни» Анны Василевской** (начало в № 2, 3). Записки девушки из простонародья на фоне истории первой половины XX века. Из деревни в Ленинград в начале 30-х. Фокус — жизнь семьи. Заботы, случаи, эксцессы. С ощутимым элементом беллетризации.

«Правда останется» Лазаря Лазарева («Знамя», № 12) — содержательные, добросовестные воспоминания о Василе Быкове.

В «Нашем современнике» (№ 12) **Алексей Вульфов («Теперь лишь вспоминать. Записки»)** рассказывает о своих встречах с композитором Георгием Свиридовым. Много любви и нежности.

Воспоминания профессора университетов Линкольна (США) и Тренто (Италия) **Владимира Фридкина «Лицеисты советских времен»** («Знамя», № 11) воскрешают события из жизни старшеклассников московской 110-й школы в Мерзляковском переулке начала 50-х годов — своего рода оранжереи, где выращивалась культурная и научная элита. Дух времени, всяческие забавности. Автор когда-то написал выпускное сочинение «по мотивам» постановления об Ахматовой и Зощенко. Он правильно заранее угадал одну из тем и получил медаль. Но потом, когда он прочитал стихи Ахматовой, ему было стыдно. «Стыд этот, липкий и жгучий, преследовал меня всю жизнь».

В **рассказе** (или, точнее, повести) **Людмилы Черной «Главная книга»** («Звезда», № 10) воспроизведено советское время: конец 50-х — начало 60-х годов. Уж, казалось бы... Шлюзы открыты, повеяло свежестью, романтически настроенная часть интеллигенции впала в очередные иллюзии. Тема, за которую взя-

лись тогда Черная вместе с мужем, профессором-историком Даниилом Меламидом, казалась им абсолютно свободной от любых подозрений идеологических верхов. Авторы задумали исследовать природу фашизма. Подспорьем им должна была стать огромная библиотека — подарок Генриха Бёлля. Но тут тоталитарная машина спохватилась. На тему было наложено табу. На страницах воспоминаний Черной разыгрывается карнавально-драматическая ситуация: ведь впрямую разъяснить бестолковым историкам, что анализируют они не столько гитлеровскую империю, сколько сходство тоталитарных систем, советские идеологи не могли. А сходство было просто кричащим. И обнаруживалось не только в методах подавления инакомыслия, в руководстве экономикой, опоре на систему доносов и т.д., но и в психологических характеристиках Сталина и Гитлера. С публикацией книги в «Новом мире», у Твардовского, ничего не вышло — наступил август 1968-го. Книга ушла в самиздат. Непосредственным душителем ее стал Альберт Беляев, тогдашний работник ЦК, позднее ставший главным редактором «Культуры». Но в этой истории и тут рано ставить точку. Не так давно отрывок из уже напечатанной книги послужил послесловием к изданному в России гитлеровскому труду. Однако адвокат, к кому обратилась Черная, откровенно сознался, что в суд подавать остерегается...

В «Знамени» (№ 12) — продолжение **«Дневника военных лет»** литературоведа **Леонида Тимофеева** (начало в № 6 за 2002 г.). Это фрагменты Дневника, относящиеся к 1942 и 1943 годам. «Объявлен закрытый конкурс на гимн для Союза: нормального (?!) советского содержания. Привлечены поэты крупного по нашим масштабам калибра. Упорный слух о сокращении нормы хлеба: 300 иждивенцам, 500 служащим, 600 рабочим. Вступил в борьбу за лучшую квартиру, расположенную рядом. На нее выдан уже кому-то ордер, но Союз писателей хлопочет за меня в Моссовете». Много живописных деталей, переданных с осторожно-предусмолтрительным чувством дистанции по отношению и к великому, и к мелкому.

Текст **Дмитрия Шеварова «Пушкинский бульвар»** («Новый мир», № 12) — очерковые заметки-припоминания на тему «я и Пушкин».

ДРАМАТУРГИЯ

В «Новом мире» (№ 11) в кои-то веки напечатана **пьеса — «Первый мужчина»** молодого драматурга **Елены Исаевой**. Женские истории «про папу». Это эксперимент. Автор объясняет его суть так. Пьеса сделана по методике «Verbatim» в рамках проекта «Документальный театр». Техника «Verbatim» появилась в Англии, в Лондонском театре «Роял Корт». Драматург определяет для себя социально значимую тему, проблему, идею. Если этой темой он «заражает» режиссера и актерскую команду, то начинается совместный труд. Актеры сами «идут в народ» с диктофонами в руках и опрашивают на заданную тему энное количество человек (чем больше — тем лучше). Записывая беседу, актеры попутно внимательно наблюдают интервьюируемых, запоминая характерные черты поведения — языковые особенности, жесты и так далее. Весь собранный материал передается драматургу, который «расшифровывает» его, не редактируя и оставляя оригинальные свойства так называемых «информационных доноров» вплоть до пауз, охов, ахов, придыхания, заикания, «вредных

словечек» и тому подобного. Затем на основе этого материала драматург пишет пьесу. Сложность в том, что автор не имеет права редактировать текст своих персонажей. Он может только компилировать и сокращать. Но придумывать свои истории «по мотивам» услышанного, добавлять, где надо, саспенс или, скажем, недостающий «драматургический узел» — не имеет права.

В этом сезоне сразу два журнала — «Октябрь» и «Урал» — сделали по ***молодежному выпуску***. Акция эта, как показывает опыт, полезна не только начинающим авторам (дебютировать в нашей печати довольно сложно), но и самим журналам, как, впрочем, и литературной ситуации в целом. Рассмотреть прозаические опыты нового поколения мы решили отдельным блоком — прежде всего, потому, что у «новой прозы» есть немало характерных черт, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это очень заметная языковая раскрепощенность и вообще — свободное владение разговорным языком, что придает текстам необходимую достоверность. Во-вторых, — и это свойственно решительно всем авторам — лаконизм, заметный даже на уровне фразы, часто укладывающейся в одну строку: минимум эпитетов и вообще никаких отвлеченных рассуждений плюс стремление перенести смысловую нагрузку на диалог (отсюда — значимость прямой речи). В-третьих, не менее заметная тяга к определенной сюжетной «виртуальности», когда реалистическое письмо свободно перетекает в явную фантастику, а потом столь же свободно дрейфует обратно. И в-четвертых, категорический отказ от какой бы то ни было сентиментальности. Молодые пишут жестко, как правило, точно и весьма натуралистично. При этом иной раз поражает какая-то вопиющая безграмотность пионеров литературного фронта умудряющихся даже написать «Селленджер», то есть с тремя (!) ошибками.

Молодежные выпуски — «Урал» № 11 и «Октябрь» № 12.

Повесть Сергея Агафонова «Девочка, ты хочешь слетать на Марс?» («Урал») — в высшей степени показательный образец наиболее характерных черт «новой прозы». Легкое ироничное письмо, при всем том не лишенное «идейного содержания». Сугубые приметы современной обыденности наложены на самый фантастический сюжет: некий старик-профессор и случайно встреченная девочка-подросток отправляются на Марс, который, оказывается, давно уже приспособлен к жизни — как колония, где изжиты все недостатки пришедшей в упадок земной цивилизации. Характерно, что упадок касается не технической стороны, а как бы «гуманитарной» — ценности общества потребления, помноженные на общее тупоумие, не удовлетворяют не только некоторых представителей человечества, но даже саму планету, готовую вот-вот «стряхнуть» с себя дискредитировавшую себя расу. Но и «марсианский рай», вынужденный скрывать свое существование, планомерно уничтожая направляемые на Марс научные спутники, описан автором — при всех симпатиях — отчасти в ироническом ключе. Это совсем не похоже на фантастику 60-х годов — если это и манифест, то изрядно приправленный сарказмом.

Олег Зайончковский предлагает нечто вроде гибрида семейной саги с воспоминаниями о детстве (**роман «Петрович»** — «Октябрь»). Ребенок рассматривает альбомы со старыми фотографиями, а дед что-то отрывочно ему сообщает. «Детский» взгляд позволяет автору вырваться из плена опутывающих со-

знание взрослого стереотипов и создать эффект если не инобытия, то, по крайней мере, свежести восприятия.

В рассказе Лидии Шевяковой «Жара» («Октябрь») тоже использован довольно простой прием — но использован эффективно. Последовательно заглядывая в салоны томящихся у железнодорожного переезда машин, автор дает моментальные «срезы» разных социальных слоев, представителей которых объединяет одно — ищущая и, в конце концов, находящая выход агрессия.

Повесть «Спящие» Анны Кармановой («Урал») — это погружение в бездну безнадежности методом жестокого натурализма. Основной эффект достигается за счет умело провоцируемой сюжетной «неожиданности»: уже к середине текста начинаешь подозревать, что странная, изломанная душой и серьезно больная женщина, с которой живет молодой студент, на самом деле — мужчина. Мрак, в котором живут эти люди, непреодолим, поскольку источник его — в них самих. Морали здесь нет — только эмоции, в которых персонажи пытаются укрыться, как в убежище. Убежище оказывается ловушкой.

В пьесе Александры Чекановой «Нулевой километр» («Урал») безнадежность бытия передается через гиперболизированное разрушение быта: проживающая вместе пара (но не семья — это несколько раз подчеркнуто в тексте) пытается обменять по объявлению в газете квартиру, в которой беспрестанно прорывает канализацию, в подъезде — орут и дерутся, а из окна видны завод и кладбище. В финале они, естественно, понимают, что им никогда и никуда не выбраться.

Похожий мотив и в **пьесе Антона Валова «Рецидив трусости»** («Урал»). Подросток, ощущающий себя поэтом, хотя и не пишет стихов, все время пасует перед миром, оборачивающимся к нему то лицом озверевших гопников, то агрессивных обитателей дурдома, то ополоумевшей от одиночества учительницы, то малолетней шлюхи, в которую он без памяти влюблен... В финал, впрочем, заложена попытка катарсиса — через волевое приятие *невозможного мира*.

Вообще, *любовная тема* в «новой прозе» решается довольно экзотично. Точнее было бы сказать — методом от противного.

Герой в **рассказе Александра Карасева «Наташа»** («Октябрь») испытывает все большее и большее раздражение к проживающей с ним барышне. Хотя та изо всех сил старается ему угодить, и, вообще, он отчетливо сознает, что никаких внятных претензий сформулировать не может. Единственное, что может хоть както объяснить нарастающее отвращение — смутное подозрение, что девушке во что бы то ни стало надо зацепиться в городе до окончания института...

В **повести Данила Гурьянова «Глупая улитка»** («Урал») изображена гораздо более жесткая ситуация. В молодого красавца, женатого на красавице (оба вступили в брак скорее по необходимости, чем по любви), влюбляется нелепая и нескладная сотрудница, на которую он даже смотреть не может без отвращения. Однажды в пылу пьяной агрессии он овладевает ею и в дальнейшем, боясь уголовного кодекса, имитирует нежные чувства. Одновременно он разыгрывает целый спектакль, чтобы дискредитировать в глазах жены приятеля, к которому она неравнодушна. В конечном счете этот странный герой оказывается у разбитого корыта.

В молоденькую девушку из **рассказа Евгения Гуфа «Дракончик»** («Октябрь») влюбляется домовой — завязывает ей на голове странный узел из волос и

начинает осыпать подарками — то кошелек на дороге подбросит, то еще что. Девушка сперва из страха терпит роль «невесты», но потом решает состричь магический узел. Не тут-то было — едва попытавшись освободиться, она тут же почернела и умерла.

2. Литературная критика

«Ex libris», «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Неприкосновенный запас», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», Сеть.

В критике сезона есть один лейтмотив. **КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**, выход на арену врагов свободы.

В «Знамени» (№ 10) **Наталья Иванова** в статье **«Новый агитпроп: в "правом" интерьере и "левом" пейзаже»** замечает, что в литературе поразвелось немало разного толка реваншистов. Тут и старый конь Проханов, и некий Елизаров из Ганновера, и мрачный питерский маньяк Крусанов. Кругом и всюду — неприязнь к либерализму, «попытка реванша», беззаветная любовь к «советскому», позиционирование ненависти ко всему «демократическому»... «все собственно литературные газеты обнаружили вполне ретроградные настроения». Либеральный критик пытается дать этому объяснение. В середине 90-х «правые» интеллектуалы, иронически, при помощи стеба используя советский бренд, невольно способствовали его оживлению. Шутили-шутили — и дошутились, как неразумные дети, смехом-смехом, но вызвавшие монстра из небытия. «В единый пучок смыкаются три, казалось бы, совершенно отдельных и даже противостоящих направления: 1) консервативно-советско-реабилитационное; 2) необуржуазное; 3) леворадикальное».

О том же в «Неприкосновенном запасе» (№ 4) публикуется аналитическая статья профессора Университета Майнца-Гермерсхайма **Биргит Менцель «Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий телескоп»**. Нерв статьи — попытка понять, отчего постмодернист Иванов издает в «Ad marginem» «национал-патриотического демагога» Проханова. Автор отмечает, что альянс «анархо-либералов» и «национал-патриотов» подпитывается образом общего врага — «political correctness». Бывшая духовно-литературная элита тяжело переживает утрату своего социального значения и регрессивно ностальгирует по мэйнстриму массового сознания. «...Критики чувствуют себя обманутыми политическим руководством, но и не видят возможности самим организовать свою жизнь, чувствуют себя брошенными или "уволенными" государством; бывшие идеалы перестройки — демократизация и реформы — дезавуированы, преданы и высмеяны; а литература, которая отображала эти процессы, обвиняется в их создании и отвергается». Вот так это видится извне.

Когда коричневый цвет входит в моду, появляются его поклонники и в литературных кругах. Новейший критик-идеолог нацистского толка **Лев Пирогов («Архипелаг Pasternak»**: «НГ Ex libris», 2 октября) пространно рассуждает о впечатлившей его книге Михаила Елизарова «Pasternak». Художественные достоинства произведения критика «вообще не потрясают»: «это не роман, а

теорема». Два героя — русский язычник и русский православный вместе борются против «объединенных сил всех чужебесов». Пирогов, как можно понять, на стороне автора и обоих молодчиков, он только уточняет направление удара: «либеральная энтропия» и «разъедающий всякую живую душу "плюрализм"». Заканчивает же Пирогов разъяснениями, что искусство — вспомогательная (служебная) часть жизни и книжки нужно читать не для комфорта.

В «Неприкосновенном запасе» (2003, №5) напечатана статья экономиста **Евгения Сабурова «Постлитературоцентричная общественная жизнь»**. Что-то вроде фельетона, где в нашей ненормальности автор винит русскую литературу. «До сих пор в обществе не изжиты экономические бредни Льва Толстого и не менее бредовые представления Федора Достоевского о политическом развитии России». И далее: «Ничего рационального и полезного сделать невозможно, пока общество озабочено поисками "духовности", "самобытности" и судорожно ищет в избирательных бюллетенях нового "властителя дум". Мы не можем отказаться от своей национальной самобытности. Мы не можем "жить не по лжи" не потому, что мы такие уж патологические вруны, а потому, что это не интересно. И это противоречит всему тому, что воспитала в нас вся русская литература. Демократия посягает на "наше все", на литературоцентричность русской общественной жизни, в конце концов, она посягает на самое дорогое — на фигу в кармане». Молодые люди не перестали читать, просто они перестали вычитывать из книжек «правду жизни» и указания на то, как «сеять разумное, доброе, вечное». И, лишившись поддержки литературы, политика потеряла ореол сакральности, перестала быть осуществлением идеалов и превратилась либо в шоу, либо предельно рационализировалась. Сабуров тихо надеется, что наступит совсем нормальная, совсем постлитературоцентричная эпоха.

СКАНДАЛЫ СЕЗОНА

Лев Гурский в статье **«Лена — киска баскервилей»** («Русский Журнал», 8 декабря) рецензирует скандальный бестселлер — книгу Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера». «Думаю, многим из героев рецензируемой книги ныне остается лишь перелистывать страницы, бессильно бормоча: "Дрянь. Дрянь. Дрянь!" Собственно, этими тремя словами рецензию на мемуары Елены Трегубовой, бывшей представительницы "кремлевского пула" московских журналистов, можно было бы, пожалуй, и ограничить». «Молодая дама, несколько лет допускаемая на открытые и закрытые кремлевские тусовки, а потому обладающая кое-какой конфиденциальной (хотя и несекретной) информацией о тамошних чиновниках, теперь с удовольствием несет по кочкам всех, кто ей встречался в коридорах власти и был с ней более-менее откровенен. Киска заранее придумала себе оправдание: мол, кремлевские обитатели "напоминали людей, но в действительности — совсем не люди". А раз это "мутанты" (определение автора), то их не жалко и перед ними не стыдно. Наоборот: приятно, что царапины, оставленные кошачьими коготками, долго не заживают». «Люди, оцарапанные злой киской, известны всем, кто интересуется современной политикой. Фигуранты эти (фамильярно называемые автором Валей, Володей, Лешкой, Славкой и т.п.), быть может, заслуживают презрения, негодования, увольнения по статье или даже уголовного дела по другой статье. Но циничного предательства не

заслуживает никто... вопреки желанию автора, читатель невольно начинает чувствовать нечто вроде мужской солидарности <...> даже с Путиным (коему инкриминируется не столько авторитаризм, сколько умение "ловко прятать ухмылку" плюс "идиотские шутки подзаборного пошиба")». Чтобы окончательно убедить читателя в ничтожестве кремлевских экс-приятелей, Трегубова то и дело подчеркивает собственное величие. Уже к середине книги кажется, будто российская политика вращается исключительно вокруг Трегубовой...

Обзор новых книг о Путине и его окружении производит **Константин Мильчин** в «Русском Журнале» 6 декабря (**«Кремлекопание»**). Вышло два тома биографии Путина, написанных журналистом Олегом Блоцким. Вещь обстоятельная, никаких «специфических» подробностей в книге (кстати, написанной в тесном сотрудничестве с женой президента) искать не стоит. Общий пафос — ребята, учите немецкий, занимайтесь спортом, прилежно работайте, не унывайте, забудьте об алкоголе и курении и, может быть, когда-нибудь и вы станете президентами. Книга Елены Трегубовой «Записки кремлевского диггера» — для любителей сенсаций и сплетен. Одна сплошная изюминка, правда, дурно пахнущая. Книжка «Питерское окружение президента» Алексея Мухина написана с пропрезидентских позиций. Андрей Колесников создал панегирик под названием «Неизвестный Чубайс. Страницы из биографии». Нельзя хвалить политика столь страстно. Андрей Фадеев («Тень Чубайса над ЖКХ») написал памфлет-брошюрку о том, как из-за Чубайса российский народ поставлен на грань физического исчезновения. В книге Николая Анисина («После Ельцина. Картинки путинской поры») есть историческая концепция: во всем виноваты Чубайс и Путин, которые не дают бизнесу развиваться, а простому человеку жить по-человечески.

В сентябре-декабре прокатилась волна публикаций с обвинениями по адресу Александра Солженицына. Одна из самых заметных — статья **Марка Дейча «Бесстыжий классик. Александр Солженицын как зеркало русской ксенофобии»** («Московский комсомолец» 24 — 26 сентября и 24 ноября). См. также: **Семен Резник. «Солженицынская трагедия».** — «Еврейское слово», № 45 (http://www.e-slovo.ru). В защиту Солженицына выступили **Андрей Немзер** (**«Черные дни»**, 29 октября) и **Павел Басинский** (**«Потемщики сраму не имут»**: «Русский Журнал», 12 декабря). Оба упрекают коллег-писателей за молчание в тот час, когда оскорбляют великого собрата. Немзер: «...не нашлось в России писателя, который бы внятно и громко сказал: лгать — стыдно (... даже если мы полагаем его сегодняшнюю позицию «реакционной» и «опасной»); позоря Солженицына, вы, клеветники, позорите Россию, писательское сообщество и меня, сочинителя такого-то, лично; все минется — одна правда останется. Не нашлось в России такого писателя». Басинский: «Бульварная газета (с тиражом, между прочим, два с лишним миллиона экземпляров) нагло, по-хамски и последовательно травит крупнейшего русского писателя. Издевается над ним, как хочет, как урки когда-то издевались над интеллигентными "политическими". Травля, издевательства эти сознательно приурочены к 85-летию писателя».

Сам **Солженицын** остро и болезненно отреагировал на обвинения в прессе. В своей статье **«Потемщики света не ищут»** («Литературная газета», № 43) он ответил: «кто прочел мои книги — всем их совокупным духовным уровнем, тоном и содержанием заранее защищены от прилипания таких клевет».

КРИТИКА О ПРОЗЕ И ПРОЗАИКАХ

Любопытный — и весьма неожиданный — взгляд на отечественную литературу предлагает статья итальянского слависта **Марио Карамитти «Мода и перспективы. Сегодняшняя русская литература в Италии и из Италии»** («Октябрь», № 10). Прежде всего приятен ее доброжелательно-ироничный и беспафосный тон — Европа в который раз дает урок хороших манер. В общем, так: в Италии русскую культура не знают совершенно (кто бы сомневался), что, по мнению автора, чести европейцам не делает — оказывается, мы даже не подозреваем, какими сокровищами обладаем. У нас сохранилась масса реликтов, которые не только ценны сами по себе (институт толстых журналов, например, или способность к горячим литературным дебатам — итальянский автор с нескрываемой грустью замечает, что там, у себя, он не мог бы даже мечтать о столь запальчивых литературных склоках), но и могут дать плоды, спасительные для всего мирового (sic!) культурного процесса. Внимание: «... в России <...> до сих пор присутствует нечто вроде предубеждения по отношению к десакрализации литературы, к тому, чтобы бросить ее в большой котел долларизированного искусства. Ведь именно таково положение литературы во всем мире, одинаково отвратительное и губительное, и ему не позавидуешь. И именно от России следует ожидать славной и антиисторической реакции.» Автор перечисляет несколько направлений, которые обещают дать значимые художественные результаты. К таковым, по его мнению, относятся: «анахроничный» авангард, реализм, готовый впитать наработки романтизма и постмодернизма, «эго-романистика», абсурд и, как ни странно, «сетелитература», которой на Западе, оказывается, просто не существует.

Сергей Беляков, с упорством мономана доказывающий превосходство прозы Проханова над всей остальной словесностью, вновь берется долбить свое дупло — в третий раз за год и в том же самом журнале. Разобравшись ранее с недоброжелательной к Проханову критикой, в обширной статье **«Дракон в лабиринте: к тупику нового реализма»** («Урал», № 10) автор сводит счеты со всеми, кто, по его мнению, может составить конкуренцию его герою на почве реалистического письма. Все поголовно «новые реалисты», к которым автор почему-то причисляет Бабченко, Сенчина, Шаргунова, Плужникова плюс несколько малоизвестных имен (не объясняя, что между ними общего и почему за бортом оставлены те, кого критика сопрягала с понятием «нового реализма» до Белякова), никуда не годятся. Приводятся удивительные аргументы, заставляющие недоумевать, из каких литературоведческих источников господин Беляков черпает свои теоретические постулаты.

Критик обратил свои взоры и в сторону повести Марии Ремизовой «Москва — Питер и обратно». По мнению Белякова, Ремизова принадлежит к «поколению next» — однако не по возрасту, а по художественной манере. Критик находит, что в этой повести «минимум вымысла, минимум фантазии», если упомянутый вымысел есть вообще. Ведь скучную жизнь своих персонажей «...автор предпочитает передавать <...> как можно более точно, не выдумывая затейливой фабулы».

Елена Иваницкая в соавторстве с дочерью — **Надеждой Иваницкой** — предпринимает экскурс в дебри коммерческой литературы (**«Masslit»**: «Дружба народов», № 10). Написанная не без иронического блеска, статья, увы, доказывает

очевидное: коммерческая литература — мусор. Впрочем, авторы настаивают на том, что и в «занимательных жанрах» могут работать качественные писатели: Акунин, Юлия Латынина, Лев Гурский, Михаил Успенский и другие.

Ряд статей посвящены ***отдельным прозаикам***.

О новейшей прозе Анатолия Азольского («Глаша»; «Севастополь и далее») пишет в статье **«Тихие герои»** сыктывкарский критик **Владимир Цивунин** («Знамя», № 12). Критик актуализирует известную аналогию: Азольский — Грэм Грин. Глубинная основа сходства: их герои не столько делают что-то, сколько... просто живут.

Марина Абашева в «Новом мире» (№ 11) в статье **«Биография свободы. Свобода биографии»** рассуждает о прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура («Нельзя. Можно. Нельзя» в «Знамени», «Лидия и другие» в «Континенте»). Биография автора, о которой читатель только догадывался, в новых произведениях стала творческим заданием, а что было доселе главным — сюжет, приключения яркого, «устного», живого слова героя, — уходит в скобки. Изменяется статус слова: биография, непридуманное становится собственно текстом, «фикциональная», художественная проза — комментарием к нему, заметками на полях. О чем роман Горлановой? О свободе. Это взросление, становление женщины, обретение писательницей умения по-своему видеть мир. Сюжет романа-монолога может прочитываться как осознанная перемена властных инстанций: отец народов — собственно отец — Бог Отец. Не сложилась пока, утверждает Абашева, современная биография как культурная форма. Но произведения Горлановой и Букура — шаг к такой форме.

Александр Агеев в своей русскожурнальной рубрике рассуждает о финалистах Русского Букера (**«Голод 86»**, 13 октября). Ругает жюри, не включившее в шорт-лист романы Быкова, Шарова, Полянской, Юрьева. У жюри вышел «кислый список», и выход тут только один — дать премию «Юпитеру» Леонида Зорина.

Петра Аретина в статье **«Между Юпитером и быком»** («Русский Журнал», 12 ноября) тоже анализирует роман Леонида Зорина. «Я думаю сходно с Зориным — и о личности, и об истории, и о стране с ее стариками, пожилыми и молодыми людьми, и о Юпитерах всех мастей я думаю так же, как Леонид Зорин. А чувствую... Чувствую, что роман всецело подчинился публицистическому высказыванию. Что новый Юпитер зажал синтетический, сложный мир — хотя и романный — в схему, безоговорочно подчинил своей цели, своему внятному высказыванию». Зорин — мастер афоризма. Многословие ему не идет. Та же **Аретина** в **статье «Герр Штурм, кровать с Ниной и уши Каренина»** в «Русском журнале» 20 ноября весьма критично пишет о романе Афанасия Мамедова «Фрау Шрам», также вошедшем в шорт-лист Русского Букера. «Пишет Мамедов на редкость закомплексованно и неумело. Подворовывает у Набокова...». Есть примеры. А в статье **«Те же и покер»** («Русский Журнал», 28 ноября) **Аретина** пишет о финалисте Русского Букера Наталье Галкиной с ее романом «Вилла Рено»: «прелестный роман».

Татьяна Сотникова в статье **«Напрасный детектив»** («Русский Журнал», 6 ноября) делится соображениями об еще одной вошедшей в шорт-лист Букера книге — романе Леонида Юзефовича «Казароза». По прочтении этой де-

тективной книги запоминаются не перипетии сюжета, а какие-то едва уловимые даже не тона, а оттенки жизни, увиденные автором. Юзефович попал «в очень распространенную повествовательную ловушку. Суть ее состоит в том, что в острый сюжет якобы хорошо ложатся глубокие мысли и образы и что читатель лучше воспринимает их в одежке этого самого острого сюжета. Между тем беллетристическая динамика, пресловутый драйв, принципиальным образом отличается от динамики художественной прозы. Беллетристическое — в том числе детективное — напряжение создается не просто за счет иных повествовательных приемов, а за счет иного типа писательского дарования».

А вот нашумевшая «Орфография. Опера в трёх действиях» Дмитрия Быкова в шорт не вошла. В «Знамени» (№ 10) **Дарья Маркова** в статье **«Вальс-опера»** азартно цитирует это произведение. И приходит к выводу, что роман-то скучноват и легко сводится к философизмам, слабо поддержанным образной логикой. Исторические декорации привлечены, чтоб поставить «оперу идей» Быкова. Неудивительно, что «исторический» ряд читатели и критики, не без помощи вездесущего автора, дополняют ассоциациями с современностью.

Об этом же произведении Быкова пишет и **Максим Кронгауз** в статье **«Игра в роман и вопросы языкознания»** («Новый Мир», № 12). Кронгауз полагает, что налицо книга-игра — игра автора с читателем, с критиком, причем не на интерес, а на вполне определенную ставку. Это игра в роман, в которой автор начинает и постоянно выигрывает. Главная из игр — игра в угадайку, отгадывание прототипов. Сами персонажи всего лишь пародии, в массе своей крайне несимпатичные. В целом текст стилизован под классическую русскую литературу вообще. Еще одна игра и еще один парадокс связаны со столкновением «тогда» и «сейчас». Отдельное восхищение критики вызывает тот факт, что такой роман — безупречный этически и вообще серьезный и большой — написал человек с неоднозначной репутацией, а попросту говоря, борец с либерализмом, enfant terrible сегодняшней культуры. В действительности речь идет об игре Быкова с читателем. Писатель конструирует *правильный* текст. Сегодня слово «правильный» формирует новый стиль поведения, следовать которому должен «продвинутый» человек. Можно сказать, что речь идет о создании нового русского дендизма, особого свода правил, «как себя вести», «какую одежду носить», «что есть», «куда ходить» и в числе много другого — «что читать». Наше время, констатирует Кронгауз, замечательно тем, что «литературными чемпионами» становятся не банальные бестселлеры, а исключительно правильные тексты. К ним и относится «Орфография», которая будет переиздаваться, быть может, получать премии и считаться серьезным большим романом. Единственным ее, впрочем несущественным, недостатком оказывается то, что ее неинтересно читать.

А у **Михаила Эдельштейна** в статье **«Назову себя Клингенмайер»** («Новый Мир», № 12) роман Быкова оказывается чуть ли не гениальным творческим парадоксом. Все тот же Быков — живой, настоящий, узнаваемый в каждой строчке. И стихи, и роман Быкова написаны для тех, кто все еще верит, что книга не просто черные буквы на белой бумаге, но горе и радость, смех и слезы. «От “Орфографии” получаешь удовольствие в самом прямом, до-бартовском, смысле <...> Закрадывается совершенно неприличное для критика желание просто сказать автору “спасибо” и перечитать текст еще раз». Быкову удалось

создать идеологический роман без диктата авторского голоса. Это роман об игре, в которой не бывает победителей; об истории, не имеющей ни конца, ни смысла (как брех собак в ночном Гурзуфе). О том, что жизнь скользит вниз, в «первичный бульон». О том, что каждый всегда стоит перед выбором. И о том, что выбора нет — с одной стороны петля, с другой удавка... В какой-то момент Эдельштейн просто переходит на пенье.

Павел Басинский в статье **«Космополит супротив инородца»** («Русский Журнал», 31 декабря) пишет о книге Бориса Акунина «Алмазная колесница». Он задается вопросом, как это стопроцентный западник, стопроцентный глобалист и стопроцентный праволиберал, автор насквозь идеологичных романов умудряется иметь в России успех, когда страна выблюнула либерал-интеллигент-западников, над нею издевавшихся. А потому что дьявольски талантливый литератор. Акунин — состоявшийся проект. Состоявшийся — потому что все его части сработали.

Рецензируя роман Владимира Кантора «Рождественская история», **Александр Люсый** («Дружба нардов», № 11) сосредотачивается на медицинской составляющей текста (действие происходит в больнице). Обширные цитаты из Мишеля Фуко. Медицина как метафора современного мира. Восприятие героем современной больницы как «остаточного ГУЛАГа». Заговор врачей против пациентов, которому Кантор придает почти сакральный смысл, выводит его к идее невольной жертвы (введен мотив жертвенной святости Бориса и Глеба). Благополучное разрешение судьбы героя кажется критику «реализаций исконной российской мечты об истинном ревизоре и его силах быстрого реагирования, которые смогли бы обеспечить тихое человеческое счастье».

В «Русском Журнале» состоялось очередное обсуждение вечной темы. Теперь ее формулировка такова: ***«о "женском", или, если угодно, "дамском", чтиве»***. 22 октября **Ася Фисейская** в статье **«О брачных играх гиппопотамов и не только»** рассуждает о романах «по любовь». Ругает «сиропную прозу» Анны Берсеньевой и ставит ей в пример Ноэль Шатле, Сигрид Унсет. Этой последней «удалось описать любовные отношения героев так, что они не ассоциируются с брачными играми гиппопотамов». **Юля Беломлинская** в статье **«Будет чисто и светло»** пишет о сочинениях Петрушевской и ей подобных ярко и с чувством, режет правду-матку: «Вот эта, поколения наших родителей, бедная, горькая, наполненная пахучей, тяжелой, неблагополучной физиологией женская проза <...> После этих книг остается ощущение, что тебе в рот запихнули бурую от крови менструальную вату <...> Тошно оттого, что женщины-писательницы этого поколения избрали жанр "Книги жалоб" — любимым и единственным». Еще Беломлинской не по нраву Улицкая («у нее физиология сгущена до невыносимости», «бульварщина, написанная великолепным стилем»). «В ней есть еще какая-то невероятная безнравственность, запутанная, не сразу заметная, выдаваемая даже за христианское всепрощение. <...> При этом Улицкая позиционируется критиками и литературоведами как представитель Классической Русской Литературы. Наследница и проч. и проч. Это не какая-нибудь Таня Толстая, которая хоть и твердит на каждом углу, что она хорошая, всем ясно, что плохая и гуманизм с ней, чисто по генокоду, рядом никогда не

ночевал. Там, в общем-то, все честно. Веселая порочная Барынька, внучка веселого порочного Барина. А эта? Она такая вся Своя-Наша! Еврейская девушка, с понтом гуманистка». Приводятся доказательства. Из писательниц критикессе нравятся Денежкина и Наташа Медведева. Еще Дашкова — за то, что не притворщица. О них сказано мельком.

Татьяна Сотникова размышляет в «Русском Журнале» (17 октября, **«История приглядчивой женщины»**) о романах Ольги Новиковой. Женская проза приглядчива — возможно, это и есть главная ее характеристика. Новикова выявляет связь между характером и поведением. Кто во что одет и почему; как сложены блузочки в шкафу юной девушки и что это означает; какая пропасть лежит между женщиной, кладущей в песочное тесто маргарин, и женщиной, кладущей туда же масло...

Галина Ермошина тоже анализирует три романа Ольги Новиковой (**«Отвернувшись от зеркала»**: «Дружба народов», № 11). Находя в них определенные *художественные* достоинства, связанные почему-то скорее с *социальной* направленностью, — критик, тем не менее, делает Новикой упрек в известной схематичности и однотипности фабульных построений. Однако третий роман вышел, по впечатлениям критика, более глубоким, чем первые два, точнее, может служить чем-то вроде синтеза — взаимоотношения мужчины и женщины, главная тема Новиковой, получили здесь новый смысл, как проблема, которую следует окончательно доразрешить читателю — где-то вне текста.

Сергей Чистихин в статье **«Раздраконенный мир»** («Знамя», № 11) характеризует недавно вышедшую раннюю вещь Анатолия Королева «Дракон: Представление» в самых комплиментарных выражениях. Хоть сейчас ему Нобелевку выдавай. Любопытно, что сам автор, кажется, относится к своему давнему опусу снисходительно.

Никита Елисеев в статье **«Желание взлететь»** («Русский Журнал», 7 ноября) пишет о фантасте Вячеславе Рыбакове. Его антиутопия названа вызывающе и провоцирующе: «На будущий год в Москве»: дескать, погубили наше государство, наше общество, но ничего, ничего — мы не теряем надежды. «Дьявольская трудность писать рецензию на книгу, которая тебе пондра эстетически и психологически, и совсем не пондра идеологически». «...основа, эмоциональная основа повести: высоколобые — опять не у дел, вот и несется жизнь вразнос».

Новые и относительно новые имена в фокусе критики.

Мария Ремизова в «Знамени» (№ 12) в статье **«Здравствуй, проза молодая»** размышляет о прозе новых авторов. Заметим для порядка, что еще вчера критик Ремизова тоже считалась представительницей молодого поколения. Теперь она смело меняет статус и умудренно поглядывает на начинающих. Среди которых, кстати, не такой уж молодой литератор Андрей Геласимов. Статья предлагает законченную версию вхождения в литературу молодого автора (Сергея Шаргунова, Анны Матвеевой или того же Геласимова). Выясняется, что автор этот — довольно профессиональный беллетрист. «"Новые беллетристы" исходят вовсе не из абстрактных литературных задач — они пишут так, как пишут, просто потому, что ощущают громко звучащий запрос времени. А время требует качественного продукта для любой экономической ниши. В этом смысле они, конечно, первые

цивилизованные литературные бизнесмены». Динамичная, энергичная, написанная разговорным языком проза. Этому и многому другому Шаргунов учился у Лимонова, а Геласимов — у западных собратьев по перу. Есть в статье и смысловые характеристики. Довольно сурово охарактеризован Шаргунов: «Перед нами <...> тинейджер, примеряющий разные прикиды — вот это мне пойдет? А это? А в этом я как смотрюсь?.. Собственно личностного здесь почти и нету — так, дешевенький маскарад <...> Он просто-напросто красуется в очередной своей роли, наслаждаясь сознанием того, что ни на кого не похож. Путь, между тем, чреват опасностями — прежде всего той, что с каждым новым переодеванием эпатировать будет все сложнее. Да и экстравагантных амплуа не так уж много».

О прозаиках — Станиславе Львовском и Ольге Зондберг — пишет **Андрей Урицкий** в статье **«Тонкие круги одиночества»** («Дружба народов», № 10). Проза Львовского предназначена для очень узкого круга — и пишет он о всяких «необязательных» мелочах, впрочем, тонко и стилистически интересно. Однако тоскует о читателе, в чем и признается. Зондберг тоже сосредоточена на «фрагментах» — это «цепочки микроисторий, цепочки полупортретов <...> мелькающих и исчезающих ... силуэтов». Основная тема для обоих — «экзистенциальное одиночество». Но — «изощренности, ума, вкуса — в избытке, а силы недостает». Считать ли это изъяном? — задается вопросом критик. И изящно уходит от ответа.

Валерия Пустовая в «Русском Журнале» в статье **«Воскресить "умруна"»** 10 ноября пишет о книге Дмитрия Бортникова «Свинобург». Возражая Павлу Крусанову, Пустовая пишет: «... нет повести гуманнее на свете, чем та, в которой отверженному, немоватому, невзрачному мальчику дают, наконец, исполнить давнюю мечту: высказаться. "Свинобург" написан для того, чтобы мы смогли понять этого мальчика... И когда мы понимаем, что жирный нелюбимый ребенок Фриц в действительности имел право на жизнь — и основания для отказа от нее, гуманизм в повести Бортникова торжествует».

Владимир Елистратов в статье **«Он — Она — Оно — Они, или Заговор подсознания»** («Знамя», № 12) высказывается по поводу романа «бельгийского писателя», «члена фламандского ПЕН-клуба» Александра Скоробогатова «Земля безводная». То ли это психологический триллер. То ли нет. Наблюдения критика фиксируют кучу всяких диковин. Как будто Скоробогатов написал классическую итоговую прозу, венец литературного развития. Как можно понять, Елистратов был бы не прочь получить от прозаика вещи более здорового тона, без тошноты и чернухи.

В свою очередь **Александр Агеев** (**«Голод 93»**: «Русский Журнал», 22 декабря) о другом романе Скоробогатова, «Кокаине», замечает: «...Скоробогатов в «Кокаине» попросту непроходимо скучен. Да он и сам про это знает, и даже говорит в одном месте: "Господа. Автор — усталый человек. Автору страшно надоело размахивать топором". Так и не надо размахивать. Надо отдохнуть».

Александр Люсый в статье **«Чемодан смысла»** («Знамя», № 12) пишет о романе Ольги Ляшенко «Собиратель чемоданов». Вывод таков: «Ляшенко смастерила едва ли не самую вместительную упаковку духовно насыщенной творческой пустоты со своими увлекательными пустотными сюжетами».

В статье **Артема Каратеева «Невидимый фронт»** («Знамя», № 12) речь идет о прозе поэта и автора религиозных эссе Регины Дериевой. Тема борьбы с

придурками — центральная для всех ее повестей. Критик и пытается вникнуть в перипетии этой борьбы. Если расшифровать иносказательно-притчевый язык, то обнаружится много соответствий с жизненными обстоятельствами автора. Здесь зашифровано и былое диссидентство, и крещение в Римско-католической церкви, и эмиграция в Израиль, и лишение тамошнего гражданства. Все отрицательное и сатанинское фокусируется для Дериевой в понятии Предательства. Для критика неясно, в какой степени получившееся у Дериевой в результате можно отнести к настоящему искусству.

Руслан Миронов в «Русском Журнале» 21 октября (**«Пересолил, или Катарсис наизнанку»**) представляет книгу Ильи Масодова «Небесная соль». Садомазо. Крутой замес. Критик к мастеровитому автору снисходителен, но в финале и он замечает: «...есть у Ильи Масодова все возможности писать так, чтобы не было причин ассоциировать его героев с существующими в великом множестве под лозунгом "все дети делают это" Егоркой-трупоедом и Алешей Мертвосековым».

Ирина Тарасова в статье **«Война Закона и Любви»** велеречиво и едва не косноязычно нахваливает исторический роман-дилогию Михаила Крупина «Рай зверей. Окаянный престол». Вот так, к примеру: «Автором воссозданы пласты столь глубинные и сокровенные, что они способны взволновать именно нашего современника — любой авантажно-фантастический выкрутас а-ля Пелевин был бы избыточен. Смотрелся бы пустяшным и нелепым украшательством на общем фоне прозы Крупина, и без того облекающей самой тканью своей нечто достоверно-фантастичное...» Или: «любовные сцены выстроены в романах как положения единой теоремы — призванной доказать законы глубинного родства грешного человеческого естества и "государственного комплекса" чувств человеческих, а также эффектно опровергнуть известную теорию Фрейда».

Ирина Дедюхова в **статье «Прогулки с Вергилием. Заметки о сетевой «голубой» прозе»** («Русский Журнал», 20 октября) производит обзор таковой словесности. «...С авторов голубой прозы спрос особый. Здесь пустяками не отбрешешься, здесь нужен иной уровень правды и образности языка, чтобы объяснить недоумевающим присутствующим, как это докатился до жизни такой и вместо девочки полюбил мальчика». «...что же отнести к собственно голубой прозе? Непременное наличие момента совращения. Если его нет, то это всего лишь проза — можно снять бронежилеты и противогазы». Дедюхова рассказывает, как она организовывала конкурс рассказа и что из этого вышло. Цитирует. Процитируем и мы. Например: «Серега рожал. Он лежал на земле, широко расставив согнутые в коленях черные от кровищи и грязи ноги, и тужился, дико кряхтел, мелко дрожа опавшим вдруг животом. Серые, обычно тихо-усмешливые его глаза закатились и теперь страшно белели на черном, искаженном мукой лице». Это В. Бондаренко. Про колхоз гомосексуалистов.

Евгений Яблоков в статье **«Тревожный постскриптум»** («Русский Журнал», 26 ноября) пишет о книге Бориса Стругацкого «Комментарий к пройденному». Это мемуарного плана повествование о братьях-писателях. По вехам их жизни идет и Яблоков, с большим пиететом фиксируя достижения Аркадия и Бориса Натановичей.

В отзыве же **Романа Арбитмана «Пикник на двух обочинах»** (27 ноября) отмечается и подробность описания того, как простые советские парни посте-

пенно стали чуть ли не внутренними эмигрантами, как трудно рукопись превращалась в книгу (в 70-е у Стругацких не вышло ни одной новой книги — при том, что новые вещи были и кое-как протискивались к читателю в тонких научно-популярных или региональных журналах), — и странность появления книг Стругацких в «Амфоре» с ее симпатиями к Проханову-Крусанову. «...похоже, Стругацкие нужны «Амфоре» в качестве банальной индульгенции, лукавой отмазки, дабы совсем не утопить свое реноме в глазах чистоплотного читателя». Как живой щит. Но оборачивается это небрежной подготовкой книг к печати. «...произвол составителя бросается в глаза с первых же строк». «И тут нам скрепя сердце приходится задать неизбежный и неприятный вопрос: для чего Борис Натанович вообще связался с этой «Амфорой»? Теряемся в догадках».

О мемуарах плодовитой детективщицы Дарьи Донцовой «Записки безумной оптимистки» пишет в статье **«Коротко, красиво и отлично смотрится...»** в «Русском Журнале» 22 октября спец по жанру детектива **Роман Арбитман**. Для начала он отмечает, что Донцова Дарья Аркадьевна — лицо вполне реальное. Что уже хорошо. Но она же есть и высшая и последняя стадия издательских манипуляций. Был человек — стал проект. Свежевыпущенная автобиография писательницы призвана лишь утвердить эту схему в последнем чтении, окончательно пришпилив мираж к пустому горизонту. На выбранный имидж народной любимицы работает все, начиная с имени на обложке. «Невинная дамская графомания, поставленная на поток, усилиями издателей превращена в эталон pulp fiction, а страстотерпица Дарья Донцова из фигуры частной делается фигурой общенациональной...» Не удержался злой критик и от толики разоблачений. Вот вам: о папе-писателе сказано лишь, что «отец был человеком щедрым и добрым». «Читатель от литературы далекий и не узнает никогда, что секретарь СП и член многочисленных редколлегий Аркадий Васильев, автор романа «Есть такая партия!», был, мягко говоря, не самым достойным представителем писательского цеха, а говоря грубо — литературным погромщиком». Арбитман полагает, что в «образе ДД» мы имеем пролегомены к национальной идее. «У нас удача улыбается не слишком умной, не слишком талантливой, не слишком амбициозной, хотя бесспорно трудолюбивой пожилой женщине».

Светлана Селиванова, **«Эсхатологический реализм Анатолия Афанасьева»** («Москва», № 11). Некролог. Начало и финал: «Перестало биться сердце прекрасного русского писателя, автора нашего журнала Анатолия Владимировича Афанасьева. Его проза последних лет явно «выламывалась» из общего потока литературной продукции. На первый взгляд, он писал типичные «триллеры»... Только перед правдой бессилен оборотень, только пониманием можно преодолеть зло. Своими книгами Анатолий Афанасьев сделал бесстрашный шаг по пути такого преодоления».

КРИТИКА ПОЭЗИИ

В статье **«Смерть поэтического диалога»** («Знамя», № 11) **Юлия Качалкина** горюет о том, что «нет ныне почти ни одного русского поэта, который бы сделал героем своих стихов другого живого иноязычного поэта. При том условии, что они не будут лично знакомы». Нет диалога, нет... Но зато каждый отдельный наш поэт стремится стать метафизиком. А «метафизическим сегод-

ня называется тот поэт, который пишет, нарушая законы метра и ритма, тяготея к верлибру, умело пользуясь арсеналом архетипически сильных понятий (вводит в строку абстрактные категории бога, времени, пространства, человека, всех человеческих чувств, названных с большой буквы). И стихотворение получается похожим на подстрочный перевод с какого-то несуществующего языка. А вернее — на перевод смысла из области философии, психологии, любой гуманитарной дисциплины — в область поэзии».

Поэтическое открытие фиксирует **Владимир Губайловский** в «Русском Журнале» в статье **«Визуальная рифма»** 20 ноября. Он пишет о книге Владимира Гандельсмана «Новые рифмы». Гандельсман «убедил меня своей книгой ...что у русской рифмы есть неиспользованный ресурс: это — давно и хорошо известная в английской поэзии визуальная рифма». Гандельсман рифмует: зимы — невыразимо, побелку — белку. Если читать эти стихи вслух, они звучат как слегка ритмизованный верлибр — на рифму нет и малого намека. Но мы привыкли читать стихи с листа, проговаривая. И наступает неожиданное рассогласование: глаз видит одно — слух различает другое. Глаза видят зимы — невыразимо, а слух напряженно вслушивается, но созвучия, которое явно должно быть не находит. Это не новые рифмы, это — антирифмы. Они существует только на отзвуке, точнее, на противозвуке. Постоянно возникающий диссонанс, почти какофония, создает впечатление вторгающегося в стихи хаоса. Но этот хаос регулярен. Этот хаос похож на ощетинившуюся гвоздями доску. Гвозди разной длины, даже формы, одни — меньше, другие — большие, но все они колют, о каждый можно пораниться. В стихах смещается центр тяжести. Они колеблются, но не относительно какого-то отдельного текста, а относительно всей стихотворной традиции, и сама традиция оборачивается новой гранью.

Алексей Алехин в статье **«Поэзия как поэзия»** («Арион», № 3) утверждает, что приходит время жизнеутверждающей поэзии. Что быть пьяницей и забулдыгой уже не модно.

Там же **Дмитрий Бак** в статье **«Generation-30?»** пишет об антологии «10/30, стихи тридцатилетних». Пространно рассуждая о каждом из авторов сборника, он радуется приходу нового поколения. Довольно вяло Баком сформулирован «общий знаменатель творческих задач большинства “тридцатилетних” поэтов»: «поиски соответствий и различий между традиционными поэтическими практиками и современными, с их точки зрения, задачами и проблемами поэзии». Прочитаешь такое — и не потянет прочь от эдаких скучных схоластов-пиитов...

Евгений Ермолин представляет в рубрике «Знамени» (№ 12) «nomenclatura» взгляд на творчество поэтессы Инны Лиснянской (статья **«Зима и лето Евы»**). В последние два десятилетия Лиснянская становится большой фигурой в нашей литературе. Правдолюбие и правдоискательство кажется сутью ее поэзии. Равно как и романтическое неразличение поэзии и жизни. Жизнь и творчество Лиснянской во многом формировалось как результат сюжета «Метрополь», когда она поступила бескомпромиссно и заплатила за это по самому большому счету. Состоять на учете только у Бога. Это маршрут жизни. С этим связано и национальное чувство, оно вводится в рамки христианской прописки. Поэтесса нашла смирение. Ее рефлексы покорности иногда уже запредельны. Освобождение от личного, очищение. Это приводит к очень сосредоточенному и локаль-

ному зрению, к очень лаконичному стиху. Слово бедное, скупое, голое. Только суть. Короткий стих. Строфа из 10-15 слов. Включая предлоги. Изжитые страсти, преодоленное эго. Она переименовывает себя, входя в Библию. Ева и Суламифь, оглянувшаяся жена Лота — как формула душевной боли и признание в неспособности отказаться от памяти. Взгляд Лиснянской исполнен сострадания, в стихах 2000 г. оно выражено особенно сильно. Поэзия благословения.

В статье **Владимира Губайловского «Глубина неподвижности»** («Новый Мир», № 12) речь идет о лирике петербуржанки Галины Гампер («Что из того, что лестница крута...»). Важнейшее качество поэзии Гампер, по Губайловскому, глубина неподвижности. Эта неподвижность — абсолютная точка стояния, точка Предназначения. Это акцентированный выбор.

Анастасия Ермакова в статье **«Рог изобилия»** («Знамя», № 12) рассуждает о стихах Эллы Крыловой (сборники «Цветок пустоты» и «Простор»). Есть в книгах Крыловой стихи, которые можно назвать «шикарными», уж слишком они цветистые, и порой им попросту не хватает вкуса; не слышна озвучивающая настоящие строки тишина, нет проникновенности, говорящей о том, что переживания искренни. Это шумный пестрый поток, эдакое словесное барокко с подобающими данному стилю помпезностью и витиеватостью. Прихотливые образы, торжественность (не всегда уместная) интонации, излишняя патетичность и театральность переживаний не дают пробиться тому хрупкому и затаенному, чем живет лирическое стихотворение. Слова заглушают сами себя. Стихотворения слишком густо населены персонажами греческой и славянской мифологии; из книги в книгу кочует Будда Амида; часто призывается к ответу Иисус Христос.

Александр Уланов в статье **«Заключенный в пустоте»** («Русский Журнал», 24 ноября) пишет о новых стихах Михаила Айзенберга. «С советских времен Айзенберг занимает достойнейшую позицию частного лица. Не ложный пафос, а постоянный самоотчет. Отказ быть хозяином жизни — и глубокое понимание того, что у жизни и не должно быть хозяина. Не православная надежда на то, что Боженька все простит и спишет, а жесткая европейская ответственность». Айзенберг «не учит, не призывает, не врет». Утешение в его мире только одно — детство, сказка. «Это есть у братьев Гримм». Золотой век всегда позади. В мире, увиденном так, действительно только и остается — выживать.

Елена Невзглядова в статье **«Диезы для тонкого слуха»** («Новый Мир», № 12) представляет книгу Ивана Дуды «Разлинованная тетрадь. Фрагменты». «Иван Дуда — человек мягкий, застенчивый, свой ум выказывающий как бы по необходимости, живущий нелегкой жизнью, любя ее «от противного» тайной, запретной любовью». Его стихи доказывают: «лирический герой — вовсе не непременное условие лирики».

Прочувствованный панегирик **«Жить не по лжи»** посвятил Дмитрию Пригову **Псой Короленко** (www.polit.ru: 10 ноября). «...новому поколению авторов надо было прожить эти восьмидесятые годы с Приговым, чтобы сквозь весь этот видимый миру стёб расслышать невидимые ему пафос и катарсис. И получить свободу, позволяющую «после постмодернизма» писать стихи, выходить на настоящие смыслы, на предельный интерес и глубину существования». Вот и так, оказывается, можно воспринимать вклады Пригова.

Михаил Крупин в статье **«Игла в бисер»** («Москва», № 11) пишет о книге стихов Виктора Широкова «Иглы мглы». Это отчет Широкова за сорок лет поэтической работы. «Удивителен сегодня поэт Виктор Широков прежде всего незаемной интонацией, своеобразной тональностью, которую я бы определил как шутливую пафосность».

В «Немзересках» **Андрей Немзер** пишет о стихах Максима Амелина (**«Возвращение славного Брюса»**, 17 октября). Он находит в книге «Конь Горгоны» все хорошее. Здесь невозможность поэзии (все слова сказаны — если не Овидием, то Хвостовым, если не Языковым, то Хармсом) ратоборствует с ее неизбежностью, греховность всякого человека и его избранность, отчаяние и по-детски нежная любовь к бытию. Потому в ювелирно «сделанных» стихах слышен гитарный надрыв, а за чуть приправленными иронией хвалами золотой середине слышится безмерность истинного поэта.

Владимир Бондаренко пишет о Глебе Горбовском в обширной статье **«Покаяние грешного Глебушки...»** («Наш современник», № 12). Отчасти это вялый обзор, отчасти попытка вписать судьбу поэта в свой идеологический концепт. (Заунывное: «Почвенники и космополиты — два вечно соперничающих, часто перекрещивающихся, дополняющих друг друга мира русской культуры <...> Глеб Горбовский нашел себя в русской национальной поэзии. Расширил свое индивидуальное «я» до народного «мы»»). Впрочем, жизненная и творческая эволюция Горбовского давала к тому поводы. Настойчиво Горбовский противопоставляется всем своим современникам-питерцам Бродскому, Кушнеру, Бобышеву, Рейну, Найману (ведь те, утверждает Бондаренко, не любят родину — «мастера поэтических конструкций, почитатели словесной игры») и предельно сближается с Беловым и Рубцовым (эти родину любят). «Его путь — это был путь расставания с самим собой, изживания себя — былого, мерзкого, окаянного, умирания самого себя». «Горбовский перешагнул через свою полупокойницкую сложность мира». Бондаренко хвалит поэта за стремление к простоте в творчестве, приближение к истине, покаяние. Что-то здесь так, а что-то и не так. Политическая поэзия 90-х у Горбовского являет нам уже далеко не яркий талант, а только ожесточенного версификатора.

КРИТИКА О КРИТИКЕ.

В «Русском Журнале» (www.russ.ru) в рубрике **«Это критика» (выпуск 18)** опубликована беседа с главным редактором «Континента» **Игорем Виноградовым**. «Континент» — в первую очередь, журнал интеллектуальных рубрик, которые здесь, как правило, богаче, чем в других толстых журналах — преимущество ежеквартального издания. «...с моей точки зрения, настоящая критика возникает тогда, когда критик способен быть публицистом на литературном материале. Это не значит, что он должен заниматься политической пропагандой,.. но если критик не обладает цельным мировоззрением, если у него нет индивидуального взгляда на важнейшие проблемы бытия, он не может быть и критиком, превращаясь в простого эксперта-оценщика. Сейчас как раз и настало время такой экспертной критики...Человечество все активнее строит цивилизацию без Бога. Необходим новый взгляд, чтобы осмыслить этот процесс, чтобы понять роль культуры в изменившемся мире. Увы, в русской лите-

ратуре сегодня не видно сколько-нибудь серьезных, значительных примеров выхода на этот уровень духовной проблематики».

В **15 выпуске** рубрики **«Это критика» Михаил Эдельштейн** беседовал с **Сергеем Боровиковым**, который рассуждал о возможности литературного журнала в провинции и о критике вообще. Эдельштейн отмечает, что главная заслуга Боровикова — безвременно скончавшийся журнал «Волга».

В **19 выпуске** был представлен еще один редактор, **Андрей Василевский**. Он говорил о «Новом мире»: журнал — своего рода «золотая середина», условная ось, по отношению к которой (не обязательно осознанно) позиционируются другие журналы. По одну сторону этой «оси» — «Знамя», по другую, скажем, «Москва». Ничего общего между собой не имеющие, эти журналы имеют нечто общее с «Новым миром». То есть «Новый мир» среди толстых журналов наиболее универсален. «Принцип "Нового мира" — печатать не все, но замечать все и по возможности писать обо всем. То есть мы должны видеть и обозревать все литературное поле, независимо от того, нравится оно нам или нет». Эдельштейн отметил, что как литературный критик Василевский последние несколько лет практически не выступает. Превратился в публициста. Остается вспоминать его достоинства: завидный полемический темперамент, впечатляющий диапазон возможностей.

В **20 выпуске** гость рубрики — петербуржец **Никита Елисеев**, которого Михаил Эдельштейн назвал критиком-диагностом. «Рискну утверждать: нет никаких оппозиций в современной русской литературе. Современная русская литература от канализованного состояния при соввласти (самиздат-тамиздат и просто-издат, традиционалисты и радикалы, либералы и почвенники) перешла к состоянию диффузному, болотистому, атомизированному». «...самая мощная традиция современной русской литературы и критики — розановская. А коль скоро она (эта традиция) столь мощна, то, стало быть, в ней плодотворного ровно столько же, сколько губительного».

Вместо несостоявшегося интервью с Александром Генисом **Михаил Эдельштейн** в **17 выпуске** представил 20 собственных тезисов. «Эссе Гениса читаются с удовольствием. При этом когда по прочтении пытаешься восстановить в памяти прочитанное, то не можешь вспомнить ничего». «Генис не является критиком. Темперамент не тот. Откуда у дзен-буддиста критический темперамент?»

С **Леонидом Бахновым** беседует **Эдельштейн** в **16 выпуске**. О писательских семьях, о критике 70-х и нынешней. «Серьезные, основательные критики столкнулись с тем, что почти не осталось площадок для полноценного высказывания <...> Появилась в толстом журнале интересная вещь, вызвала водопад мыслей — куда их скачивать? Тоже в толстый журнал? Но "толстяки" не слишком любят замечать друг друга, исключения составляют разве что "Дружба народов" и "Континент"». «Парадоксальный факт: обсуждение толстожурнальных публикаций переместилось в Интернет, там это как-то отслеживается, об этом пишут. А в газетах — разве что Андрей Немзер мужественно продолжает тянуть свою колонку во «Времени новостей». В других газетах все свелось к коротышкам-анноташкам и к сдобренным здоровым скепсисом заметкам о премиальных сюжетах». Михаил Эдельштейн: Леонид Бахнов участвовал в литературном процессе последних лет в качестве не только (не столько) критика, но и редактора. Именно работа в «Дружбе народов», до того в «Литературном обозрении», еще

раньше — в «Литгазете» — основное критическое высказывание Бахнова. Мне кажется, бахновское ретро — это сознательная позиция, ощущение своей миссии, если угодно. В Бахнове интересно это сочетание своеобразного эстетизма и откровенной социально-политической ангажированности.

Александр Агеев в **«Голоде 90»** («Русский Журнал», 24 ноября) злопыхательски оценивает происходящую в «Литературной газете» дискуссию «Критика: самоубийство жанра?». «"Литгазета" вообще стала каким-то похоронным бюро — то литературу на ее страницах хоронили, а теперь вот и критику закапывают». Дальше Агеев переходит к «Ex»libris'у», чтобы учинить выволочку Сенчину и Шаргунову. Прочая газетная литпериодика удостаивается не меньшего презрения. «С горя заглядываешь даже в бондаренковский "День литературы", но первый же случайно открытый текст оказывается людоедской рецензией на людоедскую же книжку: Марина Струкова пишет о творении Дмитрия Нестерова "Скины. Русь пробуждается"».

Алла Латынина в новомирской рубрике «Комментарии» в статье **«Андерсеновский мальчик — роль навсегда»** («Новый Мир», № 12) пишет о книге критики, публицистики и эссеистики Наума Коржавина **«В защиту банальных истин»**. Правдивость — имманентное свойство личности Коржавина. Книга, где собраны работы едва ли не за сорок лет, свидетельствует: взгляды автора могут меняться, но пафос правдоискательства — всегда остается. Давно достигшему совершеннолетия андерсеновскому мальчику все неймется раскрыть глаза заблуждающемуся большинству. В связи с рассуждениями Коржавина о Бродском, опубликованными впервые в «Континенте», Латынина пишет: «Область воздействия поэзии на читателя — это сфера, где трудно приходится правдолюбцу, уверенному в «органической связи искусства с Высоким и Добрым» (и не обнаружившего у Бродского этой связи). Коржавин признает, что Бродский оказал большое влияние на современную поэзию, «но вряд ли оно было благотворно». Справедливость требует признать, что противоположная точка зрения на вклад Бродского в поэзию имеет не меньшее право на существование и что ценители его поэзии не "пребывают в заблуждении", а просто имеют мнение, отличное от коржавинского».

Елена Иваницкая в «Знамени» (№ 12: **«Весело и убедительно, точно и смешно»**) пишет о книге эссе критика Никиты Елисеева «Предостережение пишущим». Свои чувства и мысли она передает словами «интеллектуальная веселость».

Андрей Немзер (31 октября сравнил публицистику Михаила Безродного («Пиши пропало») и Максима Соколова («Чуден Рейн при тихой погоде» и «Новые разыскания»). В итоге у великого миротворца получилось: «почвенник и государственник, апологет культуры и «критик отвлеченных начал» Максим Юрьевич так же одинок, как скиталец и деструктор мифов, враг всех гимнов-знамен и собиратель-истребитель цитат Михаил Владимирович... Не почва, так судьба».

Статья **Алексея Кожевникова «Не величие, а — уникальность»** («Наш современник», № 12) — почти насквозь цитатна. Цитаты взяты из мемуарных очерков Валентины Ивановой «Записки литературного раба», некоторые из которых почти дословно пересказаны.

Обзор подготовили Евгений Ермолин, Мария Ремизова и Евгения Щеглова

Анатолий СЛЕПЫШЕВ

НАБРОСКИ О ПАРИЖЕ

1

Роза несет в себе образ благоухающих тенистых садов, тяжелого, густого сумрака таинств, вздыханий и желаний, архитектонику мира, согласно которой построены парки, перекаты ручьев, руины дворцов, штрихи былого величия Греции или Востока, — как след от кисти большого мастера, ежедневно тренирующего руку, отдающего дань мастерству и надеющегося, что будущее поколение разгадает коды, вложенные в слои краски на бездумной равнине холста, равнодушно разрушающего белизну своего бытия.

Бессмертие времени.

«И жизнь любого, сколь бы ни жалка, торит свой путь в ничтожестве и мраке» — Хорхе Луис Борхес...

2

Неощутимость бытия просачивается, утекая ежедневностью, неуклонно оставляя в сознании бессилие и бессмысленность понять хоть что-то, ответить на какое-то «зачем?».

Часть ли я всего этого процесса — то медленно, то скоротечно идущего к финалу развязки?

Ощущение неощутимого...

Каждый день нужно писать картины, сомневаясь и мучаясь неудовлетворенностью, неудовлетворительностью результата.

И чем старее, тем больше сомнений, тем дальше цель недостижимого желания, тем больше разрывов между возможностями и пониманием бесконечности и грандиозности задач.

Можно подсчитать, сколько было записано холстов, сколько переведено краски, сколько истерто кистей, сколько выброшено на помойку вконец истертых палитр. Но это только если на мгновенье остановиться, выбраться из заданного ритма жизни.

Анатолий СЛЕПЫШЕВ — родился в 1932 году в Пензенской области. Окончил Московский Суриковский институт. Широко известен в России и за рубежом как один из крупнейших русских художников современности; его картины представлены во всех ведущих художественных музеях мира. Автор книг «Этюды о Тяпушкине» (переиздана дважды), «Художники московских чердаков» (фрагменты публиковались в журнале «Творчество»), а также статей о художниках. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Да и можно ли задумываться о том, что было вчера...

Где же истина?

Возможно, она идет от старых фресок, древних картин.

Но ведь там краска превратилась в камень под воздействием времени. Где-то совсем стерлась, где-то спеклась, перевоплотившись в нечто необыкновенное, от чего щемит под ложечкой.

Трут и перетирают современные художники краску на холсте, перемешивая и превращая ее то в камень, то в остатки штукатурки на стене. Чем необычнее, чем непонятнее фактура, тем загадочнее и интереснее произведение. Это дань современности.

Но и это уходит, а грядет что-то новое, еще никем не открытое.

3

Булонский лес образует прекрасный ансамбль рощ и кущ, населенных мириадами живых организмов — от еле видимой мелюзги до черных пятен грачей и галок. Красота всего этого опрокидывается в искусственные водоемы Булонских прудов, с незапамятных времен обихоженных и совершенствуемых миллионами садовников, зорко удаляющих ненужные детали и портящиеся, отмирающие сучья и листочки.

Толпы парижан дефилируют в разных направлениях, впитывая в себя всё это, вдыхая экологию видов, любуясь бесконечностью красоты, вглядываясь в изгибы берегов и голубые прорывы неба — бесконечно разнообразного в формах и сезонах — в розовую пряность заката, холодную синеву полдня, серость ненастья...

Собаки, бегуны, спортсмены, медленно бредущие старики и яркие, как бабочки жарких стран, дети, масса детей.

Всё тянется к этому волшебно-прекрасному парку.

Иду, как путник издалека, не надеясь дойти.

Художник — усталый путник, бесконечно блуждающий в путанице деревьев, не надеясь дойти до хорошо освещенной полянки.

Ливень солнца, отраженный листьями магнолий, краплеными пятнами белых душных цветов... Как дева, полная зрелости.

Холмится почва, стянутая корягами корней, крепко впившихся в неровности, пронизанные тропинками, усеянные то желудями, то коричневыми шлифованными каштанами...

Сетка воды, переливы ее, игра забытого воображения, старательно передаваемая импрессионистами, не сумевшими передать живой организм воды — только игру цветов.

...Мелкие кустарники, крапленые кадмием прямо из тюбика — как будто посыпанные красной манкой. Местами ярко-желтые огоньки, и сыпется откуда-то сбоку мелкий золотой песок, сверкая, переливаясь до рези в глазах...

4

Прозрачность для проникновения глаза в саму гущу среды.

Чего могла добиться только современная инсталляция.

Моментальная смена цветов и эффектов от малиновых до обморочного состояния голубых, каких и вообразить не под силу даже поэту.

Инсталляция сделала еще маленький шажок, передвинув проблему изобразительного искусства к новым достижениям и немного обогатив количество информации о знаках, о возможностях передачи человеческой мысли.

5

Париж — город, который, пустив в себя один раз, не выпускает никогда.

Не так уж много городов, где я был. Но в Вене, в Дюссельдорфе, в Берлине, у знаменитого швейцарского фонтана я был всегда маним в Париж.

За пять лет однообразного пребывания в Париже мне очень надоело.

Каждодневное торчание в мастерской, почти ежедневные прогулки, огни смотрящего Парижа и никаких общений с парижанами, этими заносчивыми и недалекими в основной массе обывателями. Да и где они?

Их не видно.

Либо сидят в своих лавочках, либо в офисах делают бумаги.

Огромные безликие массы туристов, бросающихся из одной стороны в другую, да мириады автомобилей, так плотно населяющих все тротуары и закутки, что кажется, на каждого парижанина — по семь машин.

А ведь это только видимая часть жизни Парижа.

В каждом доме имеется обширный двор с автомобилями, с огороженными от посторонних глаз садами и парками, со скрытой от посторонних глаз жизнью большого города внутри.

6

Пишу старый Париж. Архитектуру дворцов, знаменитых ансамблей. С толпами фантастических фигур, перемешанных и характерно подчеркнутых экстравагантными костюмами, растворяющихся в таинстве фантастического, особенного, дурманящего и пьянящего воздуха, где вечность истории висит как бы сама по себе, волнуя и будоража воображение любого художника и поэта, кто рвется в этот город вечной страсти и авантюр. В это место жизни жестоких и равнодушных особей, занятых сиюминутным выживанием — не только отдельных особей, но и самого города, его среды, его неповторимости, — к равнодушной этой химере цементных и бесконечно чистых мраморных дворцов...

Французы загадочны. Живущие в другом измерении от иностранцев. Параллельно-вежливо-неощутимо-существующие, не видящие и не желающие видеть, кто их окружает. Вечно с головой погруженные в свои маленькие и большие проблемы, недоступные непосвященным.

Не воспринимающие «черных», так густо населяющих окраины Парижа. Как бы два государства, не замечающие друг друга. Между ними нет никаких проблем. Как экзотические цветы, как несколько красок, лежащих на палитре, тесно прижавшись друг к другу, но не перемешанных, — холодных и теплых тонов.

И напрасно прогнозировать истощение национальных особенностей, несмотря на случающиеся яркие миражи — вроде француженки, несущей и ведущей за руку кучу негритят, своих детей — безуспешной попытки смешения рас.

Ни пламени костров, ни бурям, ни времени не оставить следа на особенности этой выживающей в вечности нации. Именно здесь насаждается и консервируется в веках мировая культура, своеобразная под воздействием незначительной эликсирной добавки всех культур, происходящих в соседних странах.

Голландия и Фландрия, Пуссены и Лоррены, концентрация классики, профанация наследия XIX века, история современности. Импрессионизм — гипербола, доступная для среднего буржуа, для салона, — и высочайший уровень концентрации мировых достижений в образе Матисса, Пикассо и Сальвадора Дали...

И пустота суперкризиса настоящего времени — когда ни проблем, ни желаний! Проблема загадочного нежелания хоть во что-то включиться, задуматься и осознать происходящее. Загадка нежелания... И поглощенность ежедневной, ежесекундной проблемой незаметного показного самоутверждения, самолюбования — но не во вне, а исключительно в себе, внутри своего клана, своего сословия, всякий член которого способен выразить себя, проявить для мира, заявить о собственном своеобразии только за счет уже пройденных эпох и на их же языке.

7

Города и села чисто выметены, заасфальтированы, особенно усажены цветниками и садами, искромсаны сетью дорог без путников, прошиты движением автомобилей и сверхскоростных поездов. И мосты. Бесконечные конструкции мостов, горбящихся на реках, притоках по всей Франции от севера и предгорной бесконечности Средиземноморья, лазурных берегов. Бесконечные фермы — ряды карнавальных фигур, черных, ярких, длинноногих, перетянутых в талии ридо, пестрых расцветок изящно-длинных фигур, напоминающих греческие колонны.

Париж — карнавал выставленных на показ чувств.

8

Верещагин, изображая пожар в Москве, передает удушливую жару, пульсирующую волнами воздуха, простреливающую густую среду горящими головешками. Костюмы наполеоновских генералов написаны как будто волшебной кистью Тициана...

А в Париже у него была огромная мастерская. Построенная по его собственному проекту, она в течение дня поворачивалась, двигаясь вслед за солнцем.

Мои очень скудные сведения о Верещагине — из тоненькой тетрадки, написанной кем-то еще при жизни Верещагина. Упор здесь делается на недюжинном уме художника, его авантюрном характере, массе головокружительных впечатлений и трудном жизненном опыте — и все это призвано разрешить загадки его мастерства.

Всю свою не очень длинную, но постоянно наполненную сложными катаклизмами жизнь он пытается понять законы жизни, срисовывая с натуры ратные будни, прямо под пулями и снарядами, по локоть в крови — постоянно соприкасаясь с насильственной смертью. Бурное течение его будней в мастерской перебивается волнами путешествий по земному шару от вершин

Гималаев до знойных пустынь Америки и кровавыми войнами, в пучине одной из которых он нашел себе успокоение.

Триумфы его грандиозных выставок, на открытие которых народ шел, как на религиозный обряд, часто оборачивались скандалами. Положительный заряд его картин, мощная энергия его гимнов мастерству творчества, радость и смысл жизни, слитой с процессом отторжения от повседневности, с процессом рождения картины в душе художника.

Материальная ценность картины не имеет равноценности. Она принадлежит народу, обогащает его, и ее невозможно продать или купить. И права была вдова художника, не продавшая иностранцам и за десятки миллионов картины войны 1812 года и оставившая без денег многочисленное семейство. А картины забыты в запасниках российских музеев...

9

Магнолия — мистическое название. Изгиб ствола фантастической формы. Масса глянцевитых листьев и пятна очень больших цветов — бело-кремовых, словно невеста в подвенечном платье.

И вскипает кровь, кружа голову, населяя запретными мыслями при виде дам с колясками и проходящих девушек.

Почему французы не стоят толпами, наслаждаясь цветением магнолии, впитывая ее красоту, как это делают японцы в период цветения сакуры?

Серо-зеленый ствол мелкой изрезанностью кроны утыкается в бледность неба. Нежно-желтая крупа цветов. По исполнению очень похоже на картины XIX века из провинциальных музеев Европы, или на Клода Лоррена и каких-нибудь голландцев, никогда мной не виденных.

Ярко-желтые пятна города.

Вороны нахохлились, как стрижи, зорко следя за жизнью зелени, как будто охраняя свои бесценные сокровища.

Ходят слухи, что детей воруют на запасные органы для супермиллионеров...

10

Парки Парижа запестрели яркими цветами фантастических раскрасок.

Парижане задыхаются от гриппа.

В торговом представительстве России открылась выставка Купермана, переделавшего себя в Купера.

Об этом художнике я слыхал еще на последнем курсе. Очень энергичный молодой человек, сумевший пробить, минуя рутину застоя, администрацию и более преуспевающих коллег по МОСХу, первую выставку-продажу картин. Потом из МОСХа его смели более крепкие товарищи.

И вот он здесь, на Западе, уже лет двадцать преуспевающий художник, создатель нового стиля — инсталляции. Отрицающий всё и вся. Трубящий гимны разложению и падали. С нижестоящими жестокий и очень грубый.

Два последних года я смотрел на его творчество как зачарованный, открыв от восторга рот. Как провинциал, попавший в город, — персонаж театра Кабуки.

Блестящая техника передачи объема, пространства, игра цветов всей палитры. Виден огромный труд, титаническая работа над картиной. Полная имитация правды.

И вот сегодня, в день открытия выставки, водрузив очки на нос, при хорошем освещении — я был горько разочарован. Нет ни длительного труда, ни следа мучительных поисков и ошибок, нет сомнений и гениальных открытий. Один прием, где-то подсмотренный, — и просто наклейка предмета на предмет для выявления объема или брызганье из пульверизатора. В голову приходит эпизод из популярной кинокомедии, где герой, получив по физиономии тортом, огорчается: жулик-кондитер не пропитал-таки торт ромом!

11

Чем больше проникаешь в бытие других стран, чем больше понимаешь их, тем яснее, что понимаешь лишь малую капельку. Может быть, без этой капельки ты был бы счастливей, ведь для сознания собственного величия не полезно ощущать себя миллиграммом в огромном теле природы. Меньше самой незначительной букашки, которую также создала природа, но совершенство которой, может быть, настолько длительно и бесконечно во времени, настолько тщательно отшлифовано, что человеку не тягаться. И эта бесконечная пропасть, эта вечность не поддается осознанию. Так что же тогда такое моя самость, где величие моего провинциального сознания, решившего, что это от моего бытия кружится и вертится мир и галактики существуют, пока существую я?! Что же такое мириады таких же самостей, борющихся за микроны солнечного тепла и счастья, гибнущих незамеченными и не оставляющих на этой огромной природе и незначительной царапины — ни в размере, ни во времени?! Да и сумей мы что-либо оставить на память о своем бытии, всё равно всё конечно во времени.

12

Особенность английских парков в их лугах, яркости, остриженности поля по краям, зарослях торжественных кущ с черными вкраплениях отдельных деревьев прямо в гущу, яркой до рези зелени лугов, растянувшихся и вширь и в глубину ровной окраски — как будто художник долго втирал и заглаживал фонарно-зеленый цвет, пока не превратил его в однородную массу малахита, подсвеченную изнутри солнцем. И еще, парковые власти разрешают посетителям внедряться в эту зеленую прелесть своими обнаженными, обожженными летним солнцем телами. И эти тела группками разбросаны в разных позах и сочетаниях, перебивая друг друга яркими одеждами.

13

Маленький человечек, но очень важная персона, делает небольшую проминку — возможно, отдыхает от долгого сидения в седле. Или, вылезя из тяжелого дорогого автомобиля, полусонно оглядывает красоты окрестной осени, щедро расцвеченной всевозможными красками берез, осин и кленов. Яркая девица застенчиво предлагает шефу рюмочку коньячка.

История человечества движется посредством чудовищных жертв, приносимых идолу величия. Начиная со всевозможных авантюр во имя денег, потреб-

ных для того, чтоб превзойти всё мыслимое и немыслимое, всё бывшее у кого-то и когда-то — лишь бы на один хотя бы день стать всемогущим — да настолько, чтобы весь мир замер в ожидании одного мановения чьего-то величественного пальца.

Хрущев говорил, что даже бабы надоедают и только наркоз власти захватывает всего человека целиком. Но тогда он перестает быть человеком и становится врагом своего величия, безобразным монстром, Плюшкиным власти.

14

Жизнь призрачна и эфемерна и неизвестно, когда более реальна: во сне или наяву. Явь неощутима и неуловима и уж совсем непонятна.

Что ведет нас от одного поступка к другому, кто нами руководит?

Жизнь идет, не останавливаясь ни на мгновение, и осознать мгновение не дано никому.

Прозрачно-зеленый цвет — даже где-то ближе к желтому, и на нем цветы: пятна от серого — в розовое.

Чуть отдающая венецианской школой ностальгия о былых временах.

Вспыхивают белые блики.

Хорошо бы побольше прозрачности и как можно больше света. Наше время знаменито темными помещениями: не то энергию экономят, не то боятся терактов, но отгораживаются от внешнего проникновения светонепроницаемыми стенами.

Ролан Быков говорил, что идет война огромных денег, которые всеми возможными и невозможными средствами отбираются у тех, кто еще способен хоть что-то делать. И что война эта уничтожает последнюю надежду на созидательные возможности человечества.

Светло-голубое или зеленое только тогда прозвучит, когда будет заключено в темное обрамление — подобно свету окон на фоне вечернего неба. Это часто использовалось художниками, даже Сальвадором Дали.

Эффект свечения краски, процесс свечения — это особое ее состояние, над которым бьются многие поколения художников. Свечение пламени — всегда на темном фоне, так как любой фон темнее самого пламени. Движение внутри пламени — только еле уловимой градацией света.

Накопление средств в одних руках дает возможность вложить эти средства в оружие, которое станет средством увеличить эти накопления.

Из разговора художника с главой военной миссии в Париже:

«Хочешь, я тебе за пару твоих картин дам французское гражданство?»

Глава большой торговой фирмы, уж не знаю, как это бывает попал под следствие. Просидел девять месяцев, выпущен под залог.

— Слыхал, Толя, что со мной случилось?

Слегка грузный, большой любитель жизни, теперь как-то осунулся, обвис, в глазах грусть.

— Вот ведь как бывает... Жена умерла, надо бы со всеми рассчитаться и ехать в Москву.

Подари мне картину. Как бы это скрасило мою жизнь.

15

«...Втирать, втирать, превращать краску в материал наподобие камня. Тогда она становится светящейся. Чем больше втирать — тем больше светится. И чем ближе тональность, тем лучше» — из разговора с художником Куперманом.

Чем больше холст, тем меньше проблем.

Само движение следа краски от кисти на большом холсте уже является фактурой и чем свободнее написано, тем лучше читается на расстоянии. Достаточно узловые места проработать более тщательно. А большинство мест можно превратить в затяжные паузы. Чем длиннее паузы, тем больше заинтригован зритель — как в музыке. В паузе, если она хорошо использована, сердце слушателя просто обрывается, заходится от восторга. Но еще раз: если это хорошо исполнено.

В маленьких же картинках очень много проблем.

Трешь, трешь ее, а она всё серее и серее. И что удивительно: чем больше над ней работаешь, тем больше проблем. Да и если вдруг она *произошла*, эта маленькая картина, это видно только при очень тщательном изучении. А художники обычно хотят, чтобы картина зрителя сразу захватила и раскрылась перед ним всеми своими таинствами.

А то глянул: ну не перевернула она ничего в душе — и пошел себе прочь...

16

Маленький человек со своими проблемами — некая субстанция недоразумений.

Один из героев Островского говорил еще в XIX веке: если человек не может заработать денег для того, чтоб достойно жить, ему и жить незачем.

Судьба маленького человека предопределена. Он должен оставаться на своем месте человека-генофонда. А большие люди будут экспериментировать над этой массой, как им будет угодно, — не зря же простолюдин способен производить себе подобных в неограниченном количестве. Но если бы ему дать неограниченное количество женщин, он количеством вытеснил бы стоящих над ним. И не нужно было бы никаких революций за уравниловку.

Саморегулирование производится бедностью, болезнями, неумением жить и т. д.

Художники, которые занимаются только усовершенствованием своего мастерства, не могут заниматься самоутверждением и бороться с легионами тех, кто умеет ловко «втюривать» свою мазню. Обычно талантливые художники уходят из жизни, не достигнув ничего. Возможно, впрыскивание высокого искусства в общество и должно совершаться именно малыми дозами, ведь значительная его масса может отравить общество, лишив его божественной способности воспринимать искусство и получать от него удовольствие.

17

И опять же Париж, который будет в моей душе вечно теплой загадкой обаяния, притягательности и любви. Любви даже в своих проблемах — проблемах неудовлетворения.

Переход климата в другой — в жаркий, сухой климат юга. Это как бы уже не север, но и не изнуряющая жара Испании или Италии. Климат вечного цветения, когда одни растения еще не отцвели, а другие только распускаются, еще только обещают все величие своей красоты.

Парки и пруды, полные жизни. С рыбаками, покупающими лицензии на отлов здешней рыбы, настолько зараженной грязностью прудов, что всё выловленное здесь же, на берегу, и бросают. С огромным количеством разнообразнейших птиц, живущих прямо в середине города, в Булонском лесу. С архитектурой, невозможной ни для одного города мира: здания со всеми неудобствами, построенные в XIX веке как доходные дома. И эти скучные постройки, которые в обозримом будущем, возможно, будут снесены, всё же по-своему красивы и как-то очень гармонично воспринимаются на улицах, авеню и перекрестках — хотя бы на Champs-Elysées, ширина которой идеально гармонирует с однообразной архитектурой, мимо которой течет вечный праздник карнавального движения, вечные толпы европейских туристов, густо перемешанных с выходцами из более экзотических стран. То и дело встречаешь японца или малайца, поражаешься яркой красоте подобных амфорам длинноногих негров, радуешься густым россыпям глазасто-черноглазых арапчат.

Тюильри, Булонский лес, Венсенн. А Люксембургский сад с огромным прудом посредине, набитым радиоуправляемыми лодочками, которыми с берега распоряжаются разодетые по-средневековому — с бантами — дети!

Всё это хочется написать. Хватило бы здоровья, а желания не занимать.

18

Очень важный момент в изоискусстве — контур предмета, нарисованный по всему пятну как можно точнее к натуре. Где-то он должен читаться очень четко. Где-то исчезать. При этом пятно должно жить своей автономной жизнью вне зависимости от остальных пятен картины. К тому же пятно это до́лжно искать очень долго.

Это очень важный момент.

Чем дольше оно будет уточняться, тем оно будет больше найдено — и тем больше тогда в нем будет передано обаяния, какой-то симпатичности и заманчивости. Да к тому же оно должно быть очень обобщено. Но ни в коем случае не примитивно. А нести свою сложную фактуру живописности и необычности и в уме зрителя как бы постоянно обобщаться, приближаясь к пятну — а это почти невозможно — голов у Леонардо да Винчи. И этого совершенно не нужно бояться. Да к этому величайшему мастеру и невозможно приблизиться. Главное — в той точности и обобщенности, которых Леонардо добивался в передаче пятна. И современный художник, задерганный ритмом современной жизни, просто не способен приблизиться к этой гармонии.

Ни под каким видом не уходить в сложность и многогранность, в которых и выражается экспрессионизм современной живописи! Пятно — вот основная цель моей живописи. Обеими руками держаться за пятно и не сбиваться в рваность контура, чем я всегда страдал и страдаю.

Лучше стилизация и обобщение, усложняющиеся от работы к работе, лучше постепенное проникновение, бесконечное возвращение. Лучше корпеть над

одним и тем же местом, преодолевая, отказываясь от случайных, даже и очень хороших, находок. Думая и думая над контуром пятна, как можно точнее приближаясь к самой природе.

Никогда не подсматривать за природой. Лучше стараться учиться у великих мастеров, особенно эпохи Возрождения, заглядывая иногда и в Средневековье.

О, как прекрасно Распятие в Лувре работы не то Джотто — не то его школы! Его и осознать-то невозможно, не то что чему-то научиться — у этого нечеловечески великого художественного произведения.

19

О кафе в Париже особый разговор. Эта тема задевает меня до щемления под ложечкой и где-то между лопаток струящегося холодка. Кафе — это особый мир жизни, который можно ощутить, только пожив в этом городе достаточно долго.

Кафе в Париже начинается прямо с тротуара. Легкие кресла с малюсенькими столиками, за которые успевают усесться по четыре персоны — под зонтом или под тентом, прикрепленным к стене кафе. Кое-как укрывшись от солнца и дождя.

Ну во время дождя посетители предпочитают войти внутрь крохотных кафе — густонаселенных в модных районах Парижа, полупустых на окраинах и ежеминутно рискующих, что ветер снесет их прямо под колеса машин.

В этих капелюшечных кафе французы особенно любят просиживать вечерами — или над чашкой прекрасного кофе или бокалом пива, болтая о проблемах местной обыденности, или пожирая друг друга взглядом, растворяясь в любовной атмосфере, которой пропитан самый воздух Парижа.

Весна. Фантастические деревья, унизанные густой круглости белыми пирамидами цветов, с яркими вкраплениями — стеклянные стаканы кафе и выдавленные оттуда кресла с пестрыми пятнами посетителей.

Француженки — существа, поражавшие славянина своим imag'ем еще во времена Гоголя, ну а меня, провинциала, и просто сбивающие с копыт. Длинноногие, с очень узким мускулистым задом; плечи — только за счет нескольких свитеров, надетых друг на друга, да еще один свитер на бедрах, с рукавами, свисающими вдоль бедер. Огромные ботинки и тонкие ноги, разъезжающиеся, как у новорожденного козленка. Постные физиономии, голова немного втянута в плечи и рыжие свислые космы. Иногда ярко накрашенный рот.

Да, не забыть еще. Рукава одежды часто свисают ниже кистей рук.

Молодежь сплошь вся в джинсовых костюмах — как одно время одевались китайцы в рабочую одежду.

В руках сумки, а с плеч спускается что-то вроде кофров.

Ярко-контрастно расцвечена одежда, какую можно только вообразить.

Очень много крупных — возможно, нормандок. Но еще больше маленьких с круглыми физиономиями в возрасте до тридцати лет — но малоразличимых, как будто все одного возраста.

Кто побогаче, кто победнее, можно различить только по одежде — если хорошо знаешь фирмы.

20

И, конечно, атмосфера разнузданности и нереальности бытия. Все призрачно, неощутимо обволакивающе, волшебно.

Тишина.

Я никогда не помню, чтоб в кафе был разговор шума.

Только вертикаль белого запятнанного фартука вертикально торчащего официанта с карандашом и блокнотом в руках.

21

Невостребованность художника ... То, что художник уходит из жизни, не оставив в ней ни следа, хотя, может быть, нес в себе кладезь, который мог обогатить искусство новыми невиданными гранями.

Это особенно понятно в Париже.

Востребованность тоже бывает разная. Нужно, чтобы кто-то захотел, чтоб художник мог работать. То есть нужно, чтобы кто-то захотел вложить в художника деньги с целью на нем заработать или самоутвердиться.

Творчество — это деньги. Большие деньги.

Мастерские, краски, расходы на выставки и рекламу.

Одного того, что у художника есть внутреннее желание работать, мало.

Я считаю, что сила таланта пропорциональна желанию работать. Пропорциональна страсти, сжигающей потребности к работе. Но сила, подталкивающая к постоянному творческому процессу, — это и востребованность художника, его известность, его разрекламированность.

Иногда эта связь с финансовыми мафиози бывает и негативной, как в случае с Шагалом. Ведь в начале своего творческого пути в Витебске он был очень значителен, очень остр и зол в своих картинах, а потом под воздействием работодателей стал просто декоративным, боящимся написать что-нибудь хуже уже достигнутого уровня.

И это не исключение.

Но обычно, если в художника кто-то не вложил деньги и не разрекламировал его в начале его творческого пути, он может уйти из жизни незамеченным, а зачастую ему и жить-то будет не на что — не то что работать. А ведь чтобы быть художником хоть мало-мальски заметным, нужно трудиться и день, и ночь. Последнее не относится к России 40–60-х, когда, умирая с голоду, такие художники, как Фонвизин, Митрохин, Басманов, создавали шедевры, равные мировым стандартам. Но и их все-таки кто-то поддерживал — пусть и в обход властей, в обход государства.

22

Живопись в настоящее время. Бьюсь над тем, чтобы использовать как можно больше выраженность объема — с чем я же долгое время усиленно боролся. Выраженный объем предмета как бы открывает возможность построения нового пространства. Акриловые краски в сочетании с маслом дают бóльшую глубину пространства.

Вначале это у меня вышло случайно.

Француженки, они в характерном своем образе длинноногие в коротких юбках или в штанах, черных, обтягивающих, плюс свободный пиджак с цветком типа кимоно. Иные в длинных узких платьях до пят, искусно подчеркивающих длинноту фигуры, похожей на веретено.

Все формы мягкие, расплывчатые.

Силуэт читается довольно-таки четко. Простой, но изящно-гибкий.

Сколько ни пишу Париж, густонаселенный фигурами, очень хочется, чтобы персонажи получались французскими, но мне все время говорят, что пока это все русские.

Ужасно!

23

Люди. Огромное необозримое человеческое море. И каждый — со своей единственной неповторимой судьбой.

И каждый индивидуум из этой всепоглощающей толпы пробивается кверху, к солнцу — хоть каплю урвать, хоть толику света.

А южные страны, где погода способствует увеличению поголовья!

Индия...

Как-то видел документальный фильм о толпах, наводняющих просторы этой влажной безумной природы, — индусов грязных, полуголых, вечно голодных.

И каждый считает, что он единственный и неповторимый. И каждый надеется, что он-то и создан для свершения чего-то великого и соседи его затирают, оттесняют, не допускают к столу вечного пиршества, где сидят великие мира сего — так же легионом, и так же конкурируя и борясь друг с другом за обладание самым жирным куском.

И кто из них главнее, кто более природе нужен? Где начинается отчет, кто люди, а кто просто генофонд? Кто — пирующий за столом жизни, а кто — материал для экспериментов над собой?

Может, это и есть вопрос, который пытаются решить художники, стоящие за станком с утра до вечера — всю жизнь, «ОТ И ДО» всей отпущенной им персональной судьбы.

...Краски, техника, мастерство, загадки и находки в процессе эксперимента.

Малюсенькие удачи и необузданная радость открытия.

Как соединить глобальные проблемы, стоящие перед художником, и его технические возможности?

Инсталляция.

Все средства хороши для передачи предмета, самой его сути.

Материальность образа железа или картона, за чем и стоит всё человеческое восприятие мира. Разделение огромного мира на его составные части и частички. Опознание их через произведение — через воплощение с документальной точностью...

К глубокому сожалению, редакция «Континента» вынуждена признать, что мы были введены в заблуждение: как оказалось, опубликованный в № 118 нашего журнала очерк Алексея Михеева «Записки мелкого предпринимателя, или Деньги» ранее уже был напечатан в «Новом мире». Приносим читателям свои извинения.

Благодарим Свято-Филаретовский институт,
предоставивший фото Сергея Аверинцева
для обложки этого номера

ЛР № 066469
Подписано в печать 25.03.2004. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 29,00. Усл. печ. л. 28,16. Тираж 3500 экз.
Заказ № 9843

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Ефима Бершина
Надежды Болтянской
Наталии Горбаневской
Юрия Кублановского
Инны Лиснянской
Ларисы Миллер
Игоря Петрова
Ольги Седаковой

Новые романы, повести и рассказы

Анатолия Азольского
Сергея Бабаяна
Екатерины Дубининой
Юрия Екишева
Сергея Каледина
Юлия Крелина
Антона Савина
Славы Сергеева
Владимира Сотникова
Бориса Черныха

В разделах

РОССИЯ И МИР; ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ; РЕЛИГИЯ; ГНОЗИС

- Статьи и очерки **Марины Адамович, Галины Аккерман, Александра Кырлежева, о. Анри Мартена, Зои Масленниковой, Ольги Седаковой, Виктора Тополянского, Виктора Шендеровича, Юрия Щеглова, сестры Эммануэль**

В разделах

ПРОЧТЕНИЕ; ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ; ИСКУССТВО

- Статьи и очерки **Анатолия Васильева, Игоря Виноградова, Татьяны Геворкян, Сергея Голлербаха, Лии Звонниковой, Евгения Ермолина, Жоржа Нива, Марии Ремизовой, Дмитрия Сарабьянова, Петра Фоменко, Генриетты Яновской**

«КОНТИНЕНТ» № 119, 480 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (каталог Роспечати)
и 15706 (Объединенный каталог «Пресса России»)